

ДБ
350
С 79

т I

М., Л., 1928

Ю. М. СТЕКЛОВ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

I



A dark gray, almost black, rectangular surface with a fine grid pattern. The grid consists of thin, light gray lines forming a 10x10 array of squares. The surface appears slightly textured or grainy.



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

1872

ДБ
350
С79

Ю. М. СТЕКЛОВ

X

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

*

1828—1889

ТОМ

I

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ
ИСПРАВЛЕННОЕ
И ДОПОЛНЕННОЕ



1 9 2 8

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА * ЛЕНИНГРАД

НОВЫЕ М. О.



Главлит А-13 230.

С. 52. Гиз 26 270.

Зак. 1 444.

Тираж 3 000

1-я Образцовая типография Госиздата, Москва, Пятницкая, 71

„ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ СОХРАНИМ НАШЕ УДИВЛЕНИЕ, КОТОРЫЕ, ОПЕРЕЖАЯ СВОЮ ЭПОХУ, ИМЕЛИ СЛАВУ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ЗОРЮ ГРЯДУЩЕГО ДНЯ, ИМЕЛИ МУЖЕСТВО ПРИВЕТСТВОВАТЬ ЕГО ПРИХОД; ВОЗВЫШАТЬ НЕЗАВИСИМЫЙ И ГОРДЫЙ ГОЛОС, КОГДА ПРОТИВ ВАС ШУМИТ МНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА; БОРОТЬСЯ С СИЛОЮ, КОТОРАЯ ОКЛЕВЕЩЕТ ВАС НА ПОЛЬЗУ ТОЛПЫ, КОТОРАЯ НЕ ПОНИМАЕТ ИЛИ НЕ ЗНАЕТ ВАС; В САМОМ СЕБЕ НАХОДИТЬ СВОЕ ОБОДРЕНИЕ, СВОЮ СИЛУ, СВОЮ НАДЕЖДУ; С НЕПРЕКЛОННОЮ ДУШОЙ, СО СВЯТОЮ ЖАЖДОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ ИТТИ К ЦЕЛИ, НЕ ОЗИРАЯСЬ, ИДЕТ ЛИ ЗА ВАМИ ТОЛПА, И ДОСТИГНУТЬ ВЫСОТ, ТОЛЬКО ПУТЬ К КОТОРЫМ МОЖНО УКАЗАТЬ ОТСТАВШЕМУ СВОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ, И КОНЧИТЬ ЖИЗНЬ В ГОРЬКОМ ОДИНОЧЕСТВЕ СВОЕГО УМА И СВОЕГО СЕРДЦА — ВОТ ЧТО ДОСТОЙНО ВЕЧНОГО УДИВЛЕНИЯ, И В ЧЕСТЬ ТЕХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ СПОСОБНЫ К ТАКОМУ ПОДВИГУ, ДОЛЖНА ВОЗЖИГАТЬ СВОЙ ФИМИАМ ИСТОРИЯ“.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ — „ТЮРГО, ЕГО УЧЕНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ“.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
—
ГОДЫ ПОДГОТОВКИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

МОЛОДОСТЬ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

1. В СЕМЕЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ¹

Николай Гаврилович Чернышевский родился 12/25 июля 1828 года в Саратове. Таким образом 25 июля 1928 года исполняется столетие со дня рождения великого русского мыслителя и революционера.

Предки Н. Г. Чернышевского вели свой род из великороссиян Чембарского округа Пензенской губернии и с незапамятных времен принадлежали к духовенству. Один из них, некий Федот, был священником в селе Чернышеве Чембарского округа. Отец Н. Г. Чернышевского, Гавриил Иванович (1793—1861), при поступлении в Пензенскую духовную семинарию, впервые получил фамилию Чернышевского по имени села, где он родился и провел свое раннее детство.

¹ Для биографических справок см. Г. Л. Малышенко — «Н. Г. Чернышевский (биографический очерк)». «Русская Мысль», 1906 г., 4, 5 и 6; брошюры К. М. Федорова — «Н. Г. Чернышевский», Спб. 1905, и Н. Денисюка — «Н. Г. Чернышевский», Москва, 1906, а также ряд статей Е. Ляцкого, основанных на изучении семейного архива, а именно: 1) «Н. Г. Чернышевский в годы учения и на пути в университет». «Совр. Мир», 1908, 5 и 6; 2) «Н. Г. Чернышевский в университете». «Совр. Мир», 1908, 12 и 1909, 3; 3) «Юношеская любовь Чернышевского». «Познание России», 1909, 1; 4) «Н. Г. Чернышевский и Ш. Фурье». «Совр. Мир», 1909, 11; 5) «Н. Г. Чернышевский и учителя его мысли». «Совр. Мир», 1910, 10 и 11; 6) «Н. Г. Чернышевский и И. И. Введенский». «Совр. Мир», 1910, 6; 7) «Н. Г. Чернышевский в 1848—1850 гг.». «Совр. Мир», 1912, 2 и 3; 8) «На перепутьи к новой жизни». «Современник», 1912, 5; 9) «Чернышевский — учитель». «Современник», 1912, 6; 10) «Любовь и запросы личного счастья в жизни Н. Г. Чернышевского». «Современник», 1912, 9—12; 11) «Н. Г. Чернышевский на пороге семейной жизни». «Современник», 1913, 1 и 4; 12) «Н. Г. Чернышевский в редакции «Современника». «Совр. Мир», 1911, 9—11. Список книг и статей о Чернышевском см. в конце X тома полного собрания его сочинений, а также в составленной его сыном М. Н. Чернышевским брошюре «О Чернышевском. Библиография. 1854—1910», Спб., 1911, изд. 2-е; третье издание готовилось, но до сих пор, к сожалению, не вышло.

Повидимому, Г. И. Чернышевский учился в семинарии хорошо. Одно время он даже мечтал об ученой карьере. Но от этой мечты пришлось отказаться, и Г. И. Чернышевский пошел по обычному пути тогдашнего православного духовенства. В 1818 году он женился на дочери покойного протоиерея Голубева, Евгении Егоровне, которой тогда было всего 15 лет¹. Первая их дочь Пелагея умерла, а на десятом году их брака родился единственный сын Николай, которому суждено было прославить имя Чернышевских.

Мать Николая Гавриловича, как женщина забитая и отсталая, погруженная всецело в семейные заботы и бывшая самой рядовой верующей обывательницей, хотя и очень доброй по характеру, не могла оказывать влияния на духовное развитие своего сына. Напротив, отец его Гавриил Иванович, протоиерей Сергиевской церкви в Саратове, человек умный от природы и довольно образованный, был другом и наставником своего сына, заложил в его душу стремление к знанию, к высшим запросам духа и вместе с тем старался обставить его развитие так, чтобы оно встречало как можно меньше препятствий и уродующих влияний.

Николай Гаврилович сам признавал благотворное влияние своего отца на формирование его характера и склонностей. Так, в дневнике своем под 1 августа 1848 года он записывает: «Я более и более сознаю сходство между им и мною в хорошие минуты моей жизни или во всяком случае между тем, что я сам считаю за хорошее в человеке».

Не следует однако идеализировать отца Н. Г. Чернышевского и представлять его себе в виде какого-то чуть ли не прогрессивного и свободомыслящего человека. Его житейский путь был обычный путь православного священника при самодержавном режиме, да еще в эпоху крепостного права. Как истый чиновник, он «увещевал» раскольников, присоединял старообрядцев к единоверию, обращал евреев в христианство². А всякий, кто имеет хотя бы слабое представление об эпохе Николая I, знает, с какими насилиями и издевательствами связано было «увещание» раскольников и т. п. Будучи не чужд литературе, Г. И. Чернышевский, в бытность свою инспектором духовного училища, не брезговал, однако, и применением телесного наказания. Такова уж была та проклятой памяти эпоха³.

¹ Лебедев—«Н. Г. Чернышевский». «Русская Старина», 1912, № 1, стр. 91.

² Таким образом в Саратове появились однофамильцы Чернышевского из крещеных евреев, которые вовсе не были его родственниками, а были обращены в православие его отцом.

³ Ср. С. Чернов—«Семья Чернышевских», в «Известиях Краеведческого института изучения южно-волжской области при Саратовском университете», т. II, Саратов, 1927, стр. 217 и сл.

«Гавриил Иванович, — говорит Ф. Духовников¹, — был самым деятельным борцом за православие, а при архиерее Иакове, строгом ревнителе православия, кроме того достойным сотрудником и точным исполнителем начертаний этого преосвященного по делам раскола и управлению епархией». Как строгий ревнитель православия, Г. И. Чернышевский и подвигался вверх по служебной лестнице. Но когда ему вздумалось переизродить Ирода и оказаться более строгим блюстителем ортодоксии, чем сам архиерей, он жестоко из-за этого пострадал. По рассказу Александра Лебедева², когда саратовский архиерей Иаков примкнул к обскурантскому «обществу благочестивых», имевшему, как тогда думали, сектантский характер, Гавриил Иванович сделал на него донос в синод, и это испортило их отношения. Старик Чернышевский впал в немилость, и эта ссора, быть может, спасла его сына от «духовной» карьеры.

В скромной патриархальной обстановке провинциального священнического дома рос и развивался будущий низвергатель авторитетов. Семья была небогатая, но ни в чем не нуждалась.

В юные годы Николай отличался чрезвычайно нежною, привлекательною наружностью и скромными манерами. Заядлый реакционер И. У. Палимпсестов (брат его Федор был другом Чернышевского по семинарии) в своих воспоминаниях³ так описывает юного Н. Г.: «Он действительно в свое время походил на ангела во плоти, и не мог не походить на него, живя под кровом такого отца, каким был протоиерей Гавриил Иванович... Я нередко видел, как Гавриил Иванович вел за руку своего малютку, идя из церкви, или сидел с ним на берегу широкой Волги, прислушиваясь к плеску ее волн. Врезались в моей памяти черты лица этого малютки, которого называли не иначе, как херувимчиком. Чистое, белое личико с легкою тенью румянца и едва заметными веснушками, открытый лобик, кроткие пытливые глаза; изящно очерченный маленький ротик, окаймленный розовыми губами; шелковистые рыжеватые кудерьки; приветливая улыбка при встрече со знакомыми; тихий голос, такой же, как у отца, — вот черты, которые запечатлелись в моей памяти... Таков был Чернышевский, приходя и в отроческий возраст и даже во время пребывания его в семинарии. Девственная скромность, чистота сердца, легкая застенчивость, нередко высту-

¹ «Н. Г. Чернышевский. Его жизнь в Саратове». «Русская Старина», 1890, № 9, стр. 543.

² А. Лебедев — «К биографии Н. Г. Чернышевского». «Исторический Вестник», 1909, № 12, стр. 100—101.

³ Ив. Палимпсестов — «Н. Г. Чернышевский по воспоминаниям земляка». «Русский Архив», 1890, № 4, стр. 554.

павшая румянцем; вдумчивость или углубление в самого себя; молчаливая приветливость ко всем и каждому, — все это резко выделяло его из круга семинарских товарищей, которые ради того и называли его красной девицей».

Аналогичное описание юного Чернышевского дает его товарищ по семинарии А. И. Розанов¹; впрочем, это описание относится уже к отроческому возрасту Николая Гавриловича. По словам Розанова, он был тогда «несколько более среднего роста, с необыкновенно нежным, женственным лицом; волосы светло-желтые², но волнистые, мягкие и красивые; голос его был тихий, речь приятная; вообще это был юноша как самая скромная, симпатичная и невольно располагающая к себе девушка. К его несчастью, он был крайне близорук; книгу или тетрадь он держал всегда у самых глаз, а писал, всегда наклонившись к самому столу».

Но эта скромность и невинность не исключали в мальчике живого нрава и не мешали ему в детстве принимать самое активное участие в играх, устраивавшихся ватагами мальчишек на дворе и на улице.

Однако с молодых лет Чернышевский пристрастился к занятиям другого рода. Под влиянием отца и двоюродной сестры Любови Николаевны Котляревской³ в нем с раннего детства развилась настоящая страсть к чтению. В библиотеке Гавриила Ивановича, по словам А. Пыпина, имелись всякие книги. За Ролленом, Шрейком, аббатом Милотом, шла история Карамзина; Энциклопедический словарь Плюшара сменялся Путешествием вокруг света Дюмон-Дюрвиля. Рядом с литературой духовной шла новая русская и французская литература, Пушкин, Жуковский, Гоголь, некоторые журналы. А позже сюда попали и «Отечественные Записки» со статьями Белинского и Искандера (Герцена).

В своей «Автобиографии» Чернышевский сам рассказывает о своей страсти к книгам.

«Я, — говорит он, — сделался библиофагом, пожирателем книг, очень рано. В десять лет я уже знал и о Фрейнгемии, и о Петавии, и о Гревии, и об ученой госпоже Дасиере; в 12 лет к моим ежедневным предметам рассмотрения прибавились люди в[роде] Корнелиуса Ла-

¹ А. И. Розанов — «Н. Г. Чернышевский». «Русская Старина», 1889, № 11, стр. 500.

² Палимпсестов и сын Чернышевского говорят, что волосы у него были рыжие.

³ Впоследствии вышла за синодского чиновника И. Терсинского, дослужившегося до высоких чинов. Во времена своего студенчества Чернышевский жил у них на квартире, а позже из Сибири переписывался с родными через этого Терсинского.

пиде, Буддея, Адама Зерникова... При таких отдаленных поездках по книжной части странно было бы мне не исходить вдоль и поперек более близкие книжные пажити.

«Не умею сказать в точности, 12 или 11 или уж и 13 лет было мне, когда я принялся читать Минеи Четиих... неправильно называемые просто Четь-Минеями».

Читал он романы Жорж Занд и Диккенса в русских переводах. Знал наизусть чуть ли не все лирические пьесы Лермонтова, восхищался «Обыкновенною историею» Гончарова (но его «Обломова» уже до конца не дочитал).

А. Пыпин в «Моих заметках» («В. Европы», 1905, февраль, стр. 479) пишет по этому поводу: «Любознательность Н. Г. была сильная и разнообразная. То, чему он учился, он быстро схватывал и прочно сохранял, в чем помогала ему необыкновенная память. Кажется, очень рано он был хорошим латинистом; мне ясно припоминается он за чтением старой латинской книги, напечатанной, помнится, в два столбца мелким шрифтом... Это было старое, первых годов XVII столетия, издание Цицерона; помню, что он читал его свободно, не обращаясь к словарю».

Чернышевский был книжным человеком по преимуществу (в хорошем смысле этого слова). Любовь к чтению действительно превратилась у него в настоящую страсть. Он читал, что называется, запоем. И за обедом и ужином Чернышевский не расстаётся с книгой, и эта привычка остается у него навсегда: и впоследствии за обедом он просматривает газеты и журналы. Усиленным чтением он испортил себе зрение, и ранняя близорукость заставляет его носить очки¹.

Характерно, что по свидетельству некоторых саратовских старожилов Чернышевский отличался с детства сильно развитым самолюбием. При всей своей мягкости он, относившийся с уважением к чужой личности, требовал от других такого же уважения к себе. Так, по рассказу Духовникова, в юных годах Чернышевский перестал ходить в частный пансион, куда его отдали для обучения французскому языку, за то, что товарищи смеялись над его французским произношением. Тот же Духовников рассказывает, что, уже будучи учителем Саратовской гимназии, Чернышевский начал было брать уроки французского языка у девицы Ступиной. Но когда она не удержалась от смеха при неправильном чтении им французских слов, Чернышев-

¹ В е т р и н с к и й — «Н. Г. Чернышевский». Изд. «Колос», Петр., 1923, стр. 17.

ский схватил шапку и убежал не простившись, после чего перестал брать у нее уроки¹.

Родители души не чаяли в своем единственном детище.

В этом, конечно, была и отрицательная сторона. Во-первых, родители развили в мальчике сильнейшее религиозное настроение, которое засело в нем так глубоко, что, уже будучи студентом и склоняясь к крайним революционным доктринам, Чернышевский не мог сразу отделаться от христианской веры и даже сохранил до зрелых лет склонность к внешней обрядности (ходил на церковные службы, крестился на храмы и т. п.). Во-вторых, держа его постоянно при себе, водя его гулять за руку и т. п., отец, быть может, сам того не желая, способствовал развитию в мальчике глубокой застенчивости и робости. Впоследствии эти черты много вредили Чернышевскому, который до конца своей жизни так и не научился держать себя свободно в обществе, дичился незнакомых людей, смущался на многолюдных собраниях и невольно делал промахи (напр., во время своих редких ораторских выступлений).

Таким образом семейная среда, с одной стороны, способствовала развитию заложенных в Николае Гавриловиче хороших задатков, а с другой — привила ему некоторые отрицательные черты, одни из которых он, хотя и с трудом, стряхнул с себя, но от других никогда не мог освободиться.

2. В семинарии

Г. И. Чернышевский, по собственному опыту знавший, какая атмосфера господствовала в училищах духовного ведомства, решил воспитывать своего сына дома и сам занялся его обучением. Таким образом молодой Чернышевский был избавлен от развращающей и отупляющей обстановки старой бursы. Желая снять с семинарии обвинение в том, что она воспитывала таких ужасных революционеров, как Н. Г. Чернышевский, Одесский архиепископ Никанор подчеркивает, что «воспитание Чернышевского было совсем исключительное, дворянское (?), в нашей духовной среде совершенно неслыханное»... И дальше Никанор, по слухам, сообщает, будто к Чернышевскому «с раннего детства приставлен был гувернер-француз (?): ему-то в Саратове и приписывали первоначальное направление юного Чернышевского». Он же утверждает, что до поступления в семинарию Чернышевский был подготовлен преподавателями семинарии и гимназии (подчеркнуто

¹ Ф. Духовников — «Н. Г. Чернышевский. Его жизнь в Саратове»... «Русская Старина», 1911, № 1, стр. 94.

автором). Отсюда Никанор делает вывод, что «бурсацизм ни малейшего притязания на Чернышевского пред'являть не может. Он весь, кроме рождения от своего отца, принадлежит светскому миру, особенно же по умственному своему развитию». Погубили Чернышевского университет и... Введенский! ¹

В 1836 году Чернышевский был зачислен в ученики духовного училища, но фактически не посещал его, продолжая заниматься дома и являясь только на экзамены. В 16 лет Чернышевский, минуя низшие классы семинарии, поступил прямо в старший класс (1844 г.), а именно в класс риторики (низшее отделение 2-го класса) ².

К этому времени, по свидетельству современников, Чернышевский уже обладал поразительной начитанностью и умственным развитием. Он знал языки: латинский, греческий, еврейский, французский, немецкий, польский и английский. Он занялся даже изучением персидского языка, для чего был разыскан какой-то торговец апельсинами, который согласился обучать Николая Гавриловича персидскому языку в обмен на уроки русского. Немецкому языку Чернышевский обучался у колониста Грефа. О его филологических способностях рассказывают Лебедев и П. Юдин ³.

«На уроках словесности, — пишет Лебедев ⁴, — преподаватель Воскресенский должен был об'яснять по уставу священное писание. Обычно все дело сводилось лишь к чтению книги. На этих уроках Н. Г. поражал как преподавателя, так и товарищей своими познаниями: такой-то немецкий толкователь толкует так-то, такой-то французский — иначе, а английский толкователь понимает это место в таком смысле».

Об этом же сообщают и другие повествователи, писавшие о тогдашнем периоде жизни Н. Г. Чернышевского со слов современников и очевидцев. Бывало, в классе учитель заговорит о чем-нибудь и спросит, не читал ли кто-нибудь об этом; все или молчат, или ответят, что не читали. «Ну, а вы, Чернышевский?» — спросит он. В то время как учитель говорил и спрашивал, Чернышевский по обыкновению читал что-нибудь. Во время классных занятий он всегда делал выписки из

¹ «Беседа преосв. Никанора, арх. херсонского и одесского, о значении семинарского образования». «Странник», 1890, май, стр. 31—35.

² В семинарии Чернышевский познакомился с Гр. Евл. Благодетелем (впоследствии редактором журнала «Русское Слово»), который был на 4 года старше его.

³ «Н. Г. Чернышевский. Его жизнь в Саратове». «Исторический Вестник», 1905, № 12, стр. 574.

⁴ Лебедев — «Н. Г. Чернышевский». «Русская Старина», 1912, № 3, стр. 475.

лексиконов. Услышавши вопрос учителя, Чернышевский вставал и начинал: «Германский писатель такой-то говорит об этом то-то, французский — то-то, английский — то-то» и т. д. «Слушаешь бывало, — прибавляет передающий об этом Розанов («Русская Старина», 1889, № 11, стр. 501), — и не можешь понять, откуда человек набрал столько сведений». По сообщению Е. Ляцкого («Н. Г. Чернышевский в годы учения», «Совр. Мир», 1908, № 5, стр. 70), на уроках истории класс оживлялся, только когда отвечал Чернышевский.

Неудивительно, что такими обширными познаниями в молодые годы Чернышевский поражал не только своих сверстников, но и учебное начальство.

Возможно, что блестящий талант и обширная начитанность Н. Чернышевского, с одной стороны, и видное положение, занимаемое его отцом среди духовной иерархии Саратова, — с другой, внушало юноше смелость, которая в тогдашней забитой бурсацкой среде могла казаться чем-то исключительным. Чернышевский позволял себе не только спорить с учителями, но и вступал в споры и возражения при архиерее, который однажды, взбесившись, сказал ему: «Садись! тебя не спрашивают»¹. Впрочем, эта смелость в вопросах науки уживалась в юноше с величайшей скромностью и застенчивостью.

Исключительное положение, которого достиг Чернышевский в семинарии благодаря своим познаниям и поведению, несколько не отчуждало от него однокашников, из которых большинство отличалось совсем другими качествами. Это объяснялось тем, что в Чернышевском уже тогда сильно развито было чувство товарищества и простоты. Товарищи по семинарии не только не отдалялись от него, но напротив очень его любили. Он старался оказывать им всякие услуги и помогать в работе. Но, благодаря низкому уровню развития большинства семинаристов и отсутствию у них духовных интересов, Чернышевский мог тесно сблизиться только с немногими из них.

Ив. Палимпсестов объясняет это необщительностью молодого Чернышевского; но дело, конечно, было вовсе не в этом. Напротив, Чернышевский искал друзей среди сотоварищей, но их не находил. Это видно, напр., из той дружбы, которая связывала Н. Г. Чернышевского с товарищем по семинарии М. Левицким. Об этом ближайшем друге детства Чернышевского, повидимому, выдающемся юноше, засосанном тогдашней губительной обстановкой крепостной России, Духовников (цит. ст., стр. 553) рассказывает так: «Он был талантливая личность; его живая натура не могла помириться

¹ Ф. Духовников, цит. ст., стр. 556.

с теми схоластическими приемами, которые тогда царили в семинарии; поэтому он редко был согласен во мнениях как с учениками, так и с учителями». Один из них укорял Левицкого в склонности к лютеранству. Особенно он принимал к сердцу тогдашние приемы «увещания» старообрядцев.

Очень возможно, что именно Миша Левицкий, происходивший из очень бедной семьи, с юных лет познавший тернии жизни и настроенный резко оппозиционно, впервые заронил в безмятежную душу Н. Чернышевского семена протеста, позже взошедшие такими пышными всходами. Наше предположение отчасти подтверждается тем, что когда впоследствии Чернышевский захотел вывести в «Прологе» молодого революционера, не желающего мириться с мерзостями самодержавного режима и готового в протесте против них идти до конца, человека бурных страстей, твердой воли и критического ума, он списал черты его с Н. А. Добролюбова, своего последнего друга и сотрудника по «Современнику», а придал ему имя Левицкого, своего первого друга по Саратовской семинарии.

К сожалению, таких товарищей, как М. Левицкий, Чернышевский не мог много найти среди тогдашних питомцев Саратовской семинарии. Слишком низок был уровень их развития¹.

Неудивительно, что при таких условиях Чернышевский с его уже тогда высокими умственными запросами оставался в семинарии одиноким. В то время он был довольно высоким юношей с нежным женственным лицом, рыжеватыми волнистыми волосами, тихим голосом, застенчивый, вдумчивый, молчаливый и приветливый. Товарищи называли его красной девицей; начальство считало его будущим светилом церкви, но уже тогда некоторые наблюдатели (например, И. Палимпсестов, который был старше Чернышевского на 10 лет) догадывались, что «в глубине этой юной души лежит нечто таинственное, от всех скрываемое, что она недовольна окружающею ее средою и подозревает другого рода мировоззрения». Но тот же Палимпсестов, впоследствии скорбевший о блудном сыне, об этом «существе с самою чистою душою», который под влиянием западных лжеучений превратился в «падшего ангела», утверждает, как мы видели, что в свое время Чернышевский действительно походил на «ангела во плоти». Наивные, простодушные люди, знавшие этого мягкого, простого, доброго и уступчивого юношу, впоследствии изумлялись, как такой человек мог превратиться в потрясателя основ.

¹ Об этом говорит И. Палимпсестов (цит. ст., стр. 565).

Что в Чернышевском уже в семинарский период начали пробуждаться какие-то общественные интересы (быть может, под влиянием М. Левицкого), это вряд ли подлежит сомнению.

А. Пыпин вспоминает, что в юности Чернышевский носился с Шиллером, Жуковским и Пушкиным, причем его увлекали не только картины, но и возвышенные идеи этих писателей.

«Учение в семинарии, — рассказывает тот же Пыпин¹, — не удовлетворяло Чернышевского. Его научные интересы шли дальше этих точек зрения, а, вероятно, и вопросы общественные. Среди своих товарищей в семинарии он, помнится, находил только очень немногих, двух-трех, с которыми бывало у него общее понимание; но бывали у него другие сверстники, с которыми он любил проводить время в долгих прогулках и долгих разговорах. Это были молодые люди из того помещичьего круга, с которым бывал знаком его отец, молодые люди с известным светским образованием, между прочим университетским...². Судя по более поздним воспоминаниям, в этих беседах затрагивались именно темы идеалистические и первые темы общественные».

Но для чуткой натуры — а таковою Чернышевский и был — не требовалось посторонних влияний и внушений, для того чтобы пробудить в нем отвращение к отрицательным сторонам тогдашней русской жизни, которые слишком резко бросались в глаза и слишком больно били по нервам. Уже одного зрелища «увещеваемых» раскольников, приходивших на двор к его отцу, достаточно было для того, чтобы возбудить в благородном юноше болезненное недоумение и жалость. Еще сильнее действовало на него зрелище истязуемых на плацу солдат, жалкий заморенный вид городских рабочих и крестьян, рассказы о тяжести мужицкой жизни и о крестьянских бунтах, которые дети слышали от крепостной прислуги. Но уже тогда молодого семинариста поражала не только или, пожалуй, не столько тяжелая жизнь белых рабов самодержавной России, сколько их безответность и покорность, впечатление от которой навсегда запало в его душу и внушило ему чувство глубокого пессимизма и неверия в революционные силы русского народа.

В автобиографическом романе «Пролог», где Чернышевский выводит самого себя под именем Волгина, он вспоминает о том чувстве тяжелого недоумения, которое в нем возбуждала народная масса, на

¹ А. Пыпин — «Мои заметки». «В. Европы», 1905, февраль, стр. 482, и отдельное издание, М. 1910, стр. 22.

² Кто были эти молодые люди, Пыпин, к сожалению, не сообщает. Не было ли среди них того Бахметьева, который впоследствии в романе «Что делать?» послужил прототипом для Рахметова?

вид, казалось бы, столь грозная, но на деле проникнутая рабским страхом перед ничтожными носителями власти.

«Он вырос не в благородном обществе. Воспоминания его относились к жизни грубой, бедной. Ему вспоминались теперь сцены, от которых недоумевал он в детстве... Ему вспоминалось, как бывало идет по улице его родного города толпа пьяных бурлаков: шум, гам, крик, удалые песни, разбойничьи песни. Чужой подумал бы: город в опасности; вот, вот бросятся грабить лавки и дома, разнесут все по щепочке. Немножко растворяется дверь будки, оттуда просовывается заspanное старческое лицо с седыми, наполовину вылинявшими усами, раскрывается беззубый рот и не то кричит не то стонет дряхлым хрипом: «Скоты, чего разорались? Вот я вас!» Удалая ватага притихла, передний за заднего прячется; еще бы такой окрик, и разбежались бы удалые молодцы, величавшие себя «не ворами, не разбойничками, Стеньки Разина работничками», обещавшие, что «как они веслом махнут», то и «Москвой тряхнут», разбежались бы, куда глаза глядят, куда ноги понесут, крикни еще раз инвалид в дверь будки; но старый будочник знает, что перед богом грех был бы слишком пугать удалых молодцов: лбы себе перебьют, ноги переломают, навек, бедные, искалечатся, — будочник, понюхав табаку, говорит: «Идите себе, ребята, с богом, только не будите меня, старика, не вводите в сердце». И затворяется в будке, — и ватага удалых молодцов, Стеньки Разина бывших работничков, скромно идет дальше, перешептываясь, что будочник, на счастье им, видно добрый человек. В детстве Волгин приходил в недоумение от этих сцен».

Впоследствии он встретил то же холопство и среди так называемых «высших» классов, среди дворянства, и, вспоминая свои детские впечатления на берегу Волги¹, Чернышевский приходил к скорбному выводу, что вся русская нация, сверху донизу, состоит из жалких рабов.

Во всяком случае не подлежит сомнению, что первые проблески оппозиционного, а быть может, и революционного настроения проявились в Чернышевском уже в годы юности, в Саратове, на берегах Волги. Дальнейшие впечатления, полученные им в Петербурге, должны были усилить это смутное настроение и превратить его в глубокую и сознательную революционную страсть.

Но все это произошло впоследствии. А пока что Чернышевский писал семинарские сочинения («задачки»), проникнутые религиозным духом, восторгавшие учителей основательным знанием священного пи-

¹ Отсюда и псевдоним «Волгин».

сания и заставлявшие их предсказывать, что «автор со временем будет мастер хороший своего дела». Уже в этих юношеских упражнениях проглядывают зачатки будущих воззрений Чернышевского. В одном сочинении, относящемся к 1845 году, будущий великий просветитель указывает на важное значение распространения научных знаний: «Знание это — неиссякаемый рудник, который доставляет владельцам своим тем большие сокровища, чем глубже будет разработан... Подумаем только, — восклицает он восторженно, — ход образования целого человечества зависит от нашей деятельности!» В сочинении на тему «Обманывают ли нас чувственные органы?» Чернышевский возражал Эккартсгаузену, утверждавшему, что мы не в состоянии установить соответствие наших представлений о предметах с самими предметами. А в другой работе на тему «Откуда составилось у евреев понятие о Мессии как царе чувственном?» Чернышевский старается объяснить это явление историческими причинами и в частности политическим положением иудеев во времена римского владычества.

Особенно увлекался Чернышевский занятиями по филологии: целые тетради исписывались им под словари и грамматические правила; между прочим была списана целая татарская грамматика с множеством примеров и цитат. Латынью он владел настолько свободно, что мог писать стихи, о которых его учитель заметил: «размер верен, а поэзии не видно». И действительно в Чернышевском рассудочность решительно брала верх над воображением. И в годы зрелости Чернышевский неоднократно обращался к поэтической форме, но в беллетристических его произведениях ученый и мыслитель брали верх над поэтом.

Уже в годы семинарской учебы у Чернышевского, сознававшего свои силы и знания, не перестававшего получать самые хвалебные отзывы от учителей, естественно должна была зародиться вера в свой талант и в свое призвание. Под влиянием мысли о безграничном могуществе знания у него возникло стремление к поступлению в университет, который его воображению рисовался в виде храма науки, в виде источника живой воды, к которому тянулась его жаждущая душа. По мере того как юноша созревал, он сам и родители его начинали задумываться над мыслью о его будущей карьере. Отец как будто замечал, что семинария становится тесной для его сына, и начал склоняться к мысли о поступлении юноши в университет. Сам Чернышевский мечтал об университете, о деятельности профессора, ученого, пролагающего в науке новые пути, о славе просветителя родного народа. Это стремление к славе органически соединялось в уме молодого Чернышевского с мыслью о служении человечеству. Своему знакомому са-

ратовцу А. Раеву Чернышевский однажды на прогулке сказал: «Славы хотел бы я». Но не суетной славы завоевателя или правителя, а славы ученого, просветителя своей страны. Когда после ухода Чернышевского из семинарии знакомый священник Каракозов пожелал ему вернуться из университета «профессором, великим мужем», восторженный юноша, сообщая об этом пожелании, прибавляет: «Как душа моя вдруг тронулась этим! Как приятно видеть человека, который, хотя и нечаянно, без намерения, может быть, но все-таки скажет, что ты сам думаешь, пожелает тебе того, чего ты жаждешь, и чего почти никто не пожелает ни себе, ни тебе, особенно в таких летах, как я, и положении!»

А когда уже на пути в Петербург дьякон Протасов сказал ему: «Желаю вам, чтобы вы были полезны для просвещения в России», Чернышевский отметил: «Вот второй человек!.. Мне теперь обязанность: быть им... вечно благодарным за их желания: верно, эти люди могут понять, что такое значит стремление к славе и служба человечеству. Маменька сказала: «это уже слишком много, довольно, если и для отца и матери»; нет, этого еще весьма мало, скажут о нем; надобно именно быть полезным и для всего отечества (курсив мой). Я вечно должен их помнить».

Он их запомнил, и вся его последующая жизнь показала, что он остался верен голосу своей совести и все свои богатые силы посвятил на служение родному отечеству и всему человечеству.

Выше мы уже передавали ходивший среди саратовской публики слух о том, что старик Чернышевский написал донос на местного архиерея Иакова, заподозренного им в сектантстве. Тот решил отомстить врагу. Придравшись к какой-то неправильной записи в церковных книгах, он уволил старого протоиерея и вообще стал его прижимать. Так или иначе, но после ссоры с архиереем отец Чернышевского решил взять сына из семинарии и определить его в гражданское учебное заведение.

«Таким образом, — говорит П. Юдин («Истор. Вестник», 1905, № 12, стр. 879), — благодаря незначительному случаю Н. Г. вместо духовной кафедры избрал светскую, где прославил свое имя. Впоследствии местные духовные деятели очень сожалели о том, что лишились такого избранника. Рассказывают, на одном каком-то званом обеде инспектор семинарии, о. Тихон, сказал его матери: «Очень жаль, Евгения Егоровна, что вы отнимаете у нас вашего сына, который был бы великим светильником в православном духовенстве».

Но Н. Г. Чернышевскому предстояло сделаться светильником на другом поприще, более славном, чем дурачение народа в рядах право-

славного духовенства. После некоторых колебаний со стороны родителей жребий был брошен, и 18 мая 1846 года молодой Чернышевский покинул отчий дом и в сопровождении матери двинулся на долгие в Петербург.

Путешествие тянулось очень долго. По дороге Чернышевский превратил рыдван в кабинет для чтения и все время читал лежа. Только 12 июня путники прибыли в Москву, где они начали с усердного посещения храмов. Молодой аспирант в студенты охотно ходил по церковным службам и подробно описывал их отцу. Старое наследие сидело в нем еще крепко. 19 июня Чернышевский с матерью приехали наконец в Петербург. Юный провинциал, рвавшийся в столицу для учения, прежде всего обратил внимание на книжные магазины: их множество в Петербурге поразило его, как видно из цитируемых Е. Ляцким его писем к отцу. Но, налюбовавшись на книжные лавки, Чернышевский пошел затем по церквям. Он побывал в соборах, из которых особенно понравился ему Исаакиевский. Пять раз ходил он в Публичную Библиотеку, но всегда находил ее запертою. И, читая письма молодого энтузиаста, проявлявшего тогда одинаковый интерес к церквям и библиотекам, невольно вспоминаешь слова Клода из «Собора Парижской Богоматери» Гюго: «*ceci tuera cela!*» Книга убьет веру, и борьба между ними за власть над душою Чернышевского будет недолгой.

Среди чудес цивилизации, на которые молодой человек натолкнулся в столице, был паровоз, который он впервые там увидал.

Поселился он в первое время у своего земляка, названного выше А. Раева. Какие интересы владели тогда Чернышевским, видно между прочим из письма его к отцу от 6 июля 1846 года, написанного после беглого ознакомления с петербургскими библиотеками.

«Книжная лавка (Шмицдорфа) из немецких здесь, кажется, первая, — пишет он, — но библиотека для чтения не стоит того, чтобы подписываться: одни повести, романы, путешествия и театральные пьесы. Серьезных книг очень немного в каталоге... Ищешь той, другой серьезной книги европейской славы — нет почти ни одной, нет даже ни Герена, ни Шеллинга, ни Гегеля, ни Нибура, ни Раумера, нет ничего... Только решительно и нашел я из истории и философии что несколько сочинений (а не полное собрание их) Гердера и автобиографию Стефенса, отрывки из которой были в «Москвитянине»... Не знаю, не хороша ли разве библиотека у Беллизара: я у него еще не был; надобно сходить и посмотреть каталог».

Мы видим, что уже в то время у Чернышевского были довольно серьезные умственные интересы и идейные запросы. Но из свидетельства его двоюродного брата А. Пыпина, будущего историка литературы,

развивавшегося под влиянием Н. Чернышевского, вытекает, что в Чернышевском билась тогда уже и общественная жилка, в частности в нем сказывалась ненависть к крепостному праву.

Будучи на четыре года старше Пыпина, Николай Гаврилович был его первым другом и руководителем. Пыпин рассказывает об этом так: «В начале сознательной жизни моим ближайшим руководителем и старшим товарищем был мой двоюродный брат, не родной, но ближе, чем родной. Он был юноша, ревностно искавший научных знаний и полный идеализма; я был мальчик. Он был уже богат сведениями, которые сохраняла его редкая память; в поэзии он носился с Шиллером, Жуковским и Пушкиным. Его увлекали не только поэтические картины, но и возвышенные человеческие идеи. Когда он был в университете, я был в первых классах гимназии. В письмах он поддерживал во мне интерес к знаниям, особенно рекомендовал историю: с тех пор я узнал имена Раумера, Шлоссера, хотя в провинции не мог иметь их в руках. Часто писал он мне длинные письма по-латыни; сам он был отличный латинист и хотел меня приучить к латыни; а также он касался в письмах таких вопросов, о которых было менее удобно писать по-русски. Здесь в первый раз к концу 40-х годов я увидел возможность крестьянского вопроса. В письмах в связи с историей говорилось о *glebae adscripti* и *terrae firmi*», т. е. прикрепленных к земле, крепостных (по полицейским условиям Чернышевский не решался называть вещи собственными именами).

Мать Чернышевского, то ли из опасения, что сын ее плохо подготовлен к экзаменам, то ли по старой российской привычке, ходила по университетским профессорам, кланялась им и просила отнестись к нему снисходительно. Чернышевский был крайне недоволен таким провинциальным поведением матушки, тем более, что считал его совершенно ненужным. И действительно Чернышевский блистательно выдержал вступительный экзамен (только по французскому и греческому он получил тройку) и 14 августа 1846 года был принят в университет на философский, впоследствии историко-филологический, факультет.

В жизни его начиналась новая, переломная полоса.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ — СТУДЕНТ

1. УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЗАНЯТИЯ

В университете Чернышевский пробыл 4 года. Это была мрачная пора Николаевской реакции. В истории наших университетов 40-е годы являются периодом застоя и упадка. Взгляд правительства на университеты, как на рассадники крамолы, подозрительное отношение к науке со стороны министерства народного просвещения, которое, по выражению Герцена, скорее напоминало пожарное дело, постоянно тушившее знание, вымуштрованная и искусно подобранная профессорская коллегия, исключение наиболее интересных предметов из курса университетского преподавания и приспособление всей университетской учебы к пресловутой уваровской троице: «православие, самодержавие, народность» — таковы были отличительные черты тогдашнего университета, заставлявшие молодых людей искать настоящего знания на стороне.

Чернышевского привлекала ученая карьера. Он, по выражению его письма от 21 января 1847 года, собирался пойти «по ученой части», сделаться ученым филологом. Но не о том, чтобы стать сухим специалистом, оторванным от жизни и священнодействующим где-то в тайниках храма науки, вдали от глаз непросвещенной черни, мечтал молодой студент. Он хотел быть ученым для того, чтобы тем успешнее служить своей родине. Любовь к науке связывалась у него с любовью к человечеству, делу просвещения которого он и собирался посвятить свои силы. И эти свои заветные мысли он выражает в письмах к А. Н. Пыпину. Стараясь пробудить в своем младшем двоюродном брате стремление к служению интересам родного народа, Чернышевский между прочим писал ему: «Что до сих пор внесли русские своего в науку? Увы, ничего. Что внесла наука в жизнь русских? Тоже ничего... Неужели наше призвание ограничивается тем, что мы имеем 1.500.000 войска и можем как гунны, как монголы завоевать Европу, если захотим? Жалко или нет бытие подобных народов? Беша и быша, якоже не бывше. Пришли как буря, все разорили, сожгли, полонили, разграбили,

и только. Таково ли и наше назначение? Быть всемогущими в политическом и военном отношении и ничтожными по другим высшим элементам жизни народной? В таком случае лучше вовсе не родиться, чем родиться гунном, Аттилою, Чингиз-ханом, Тамерланом или одним из их воинов и подданных».

Чернышевский надеется, что в будущем Россия вложит свою лепту в общую сокровищницу человечества: «Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь духовную мира, как внесла и вносит в жизнь политическую, выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества и на другом великом поприще жизни — науке, как сделала она это уже в одном — жизни государственной и политической. И да совершится через нас хоть частию это великое событие! И тогда недаром проживем мы на свете; можем спокойно перейти в жизнь за пробом. Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу отечества: что может быть выше и возделеннее этого? Попросим у бога, чтобы он судил нам этот жребий»...

Вот какие мысли владели Чернышевским уже на школьной скамье. Быть просветителем русского народа, до тех пор игравшего лишь роль европейского жандарма, приобщить к мировой культуре этот отставший народ, успевший пока создать лишь грандиозный разрушительный и угнетательный аппарат, сблизить его с духовными интересами цивилизованного человечества — вот о чем мечтал благородный юноша, вот для чего он жадно учился и запасался знаниями.

Но совершенно очевидно, что университет николаевской эпохи не мог дать Чернышевскому того, чего тот от него ожидал — и не мог дать не только со стороны общественной, но и со стороны чисто научной. В первых своих письмах к отцу молодой студент, еще полный воодушевления, владевшего им до приезда в столицу, с чувством благоговения говорит об университетских профессорах, об их преданности науке и об их глубоких познаниях. Но скоро должно было наступить разочарование.

Благодушный А. Пыпин, которому с 1850 года пришлось слушать тех же профессоров (кроме ректора П. А. Плетнева, который ко времени перевода Пыпина в Петербург прекратил чтение лекций), в общем дает о них положительный отзыв, хотя даже в мягких суждениях этого нетребовательного человека слышится невольный тон некоторого отрицания. «Вообще говоря, научный уровень не был особенно высок; но в тех условиях, в каких находилась русская наука, а также и литература, университет несомненно приносил свою пользу, т. е. расширял горизонт сведений и возбуждал собственную деятельность». Из профессоров филологического факультета, приносивших, по словам Пыпина,

пользу студентам своими лекциями, он называет М. С. Куторгу, читавшего преимущественно древнюю греческую историю и старавшегося знакомить слушателей с литературой предмета, И. И. Срезневского, занимавшего кафедру славянских наречий и старавшегося привлекать своих слушателей, в том числе и Чернышевского, к работе по вопросам словаря русского языка. Классические языки преподавали по старому обычаю выписанные из Германии профессора: Грефе — греческий и Фрейтаг — латинский, оба — типичные немецкие профессора старой школы, т. е. черствые, закорюзлые гелертеры, способные только убивать в юношах интерес к науке. По теории словесности читал А. В. Никитенко: он мог мало дать Чернышевскому, но последнего привлекла к нему обходительность и отзывчивость. Впоследствии Чернышевский бывал у него и ему же представил свое кандидатское сочинение. Были еще лекции по русской истории Устрялова и по истории российских гражданских законов Неволлина, но вряд ли они могли много дать Чернышевскому. Наконец лекции по истории русской литературы читал Плетнев (его Чернышевский слушал на 4-м курсе).

В качестве лектора Плетнев, настроенный благодушно (он же был тогда редактором «Современника»), несколько смягчал прубую резкость уваровской системы. Но зато духу этой системы прекрасно соответствовал назначенный в 1846 году попечителем учебного округа М. А. Мусин-Пушкин, человек взбалмошный и грубый. Чернышевский относился к Мусину-Пушкину враждебно, а тот, со своей стороны, также был к нему нерасположен. Мусин-Пушкин следил за чтением лекций профессорами, проделывая это довольно бесцеременно. Пыпин в «Моих заметках» описывает характерную сцену, как Мусин-Пушкин, являясь на лекции Куторги, который, повидимому, считался либералом или преподавал «опасный» предмет, садился подле кафедры, а иногда вставал и, опершись боком о кафедру, смотрел в упор на несчастного профессора, принужденного таким образом читать чуть ли не из-под палки. Куторга сильно потускнел в глазах Чернышевского после того, как он познакомился с работами Тьерри и Гизо.

Понятно, что такая обстановка и бессодержательность профессорских лекций способны были только отбивать у юношей охоту к серьезной работе. Но в первое время Чернышевский усердно предавался университетским занятиям. Между прочим под руководством И. Срезневского Чернышевский начал составлять словарь к «Ипатьевской летописи»¹.

¹ Этот опыт словаря к Ипатьевской летописи, напечатанный в «Прибавлениях к Известиям 2-го Отделения Академии Наук» 1853 года, был первым трудом этого рода в русской литературе после словаря к «Остромирову

Впоследствии Чернышевский зло иронизировал над этими своими университетскими работами, носившими совершенно схоластический характер¹.

Но наш «пожиратель книг», разумеется, не удовлетворялся хождением в университет и слушанием лекций. С самого начала он стал много читать — сперва по предметам, связанным с университетским курсом, а скоро и по таким, которые тогдашней программой университетской науки вовсе не предусматривались. Читал он и в публичной, и в университетской библиотеке, и у себя дома. И уже через несколько месяцев после начала слушания лекций Чернышевский, оставаясь аккуратным студентом, начал пессимистически относиться к университетскому преподаванию. Сообщая 12 сентября 1846 года родителям о том, что его месячный расход достигает 20 рублей в месяц — сумма, которая могла казаться громадной только Чернышевскому при его скромном образе жизни², — он прибавляет: «Боже мой, как дорого!

Евангелию». Перепечатан в полном собрании сочинений (т. X, ч. 2, стр. 21—82). Г. Ильинский в статье «О филологических работах Н. Г. Чернышевского» (Сборник «Н. Г. Чернышевский». Изд. Нижне-Волжского Областного Народного Общества Краеведения. Саратов, 1926, стр. 68—72) признает этот труд Чернышевского «далеким от совершенства уже в первый момент появления его в печати», а допущенные им промахи считает указанием «на недостаточное знакомство молодого автора с элементарными правилами старославянской грамматики», оправдывая, впрочем, эти ошибки тем, что «в то время этимологическая наука находилась еще в пеленках, и потому не только начинающий ученый, но и искушенные научным опытом специалисты не были гарантированы от этого рода ошибок». «Тем не менее, — говорит Г. Ильинский, — наука должна быть признательна Срезневскому за его обнародование: при всех своих многочисленных недостатках работа Чернышевского значительно умножила наши сведения о лексикальных особенностях языка древне-русских летописей, и впоследствии не одна золотая крупинка перешла оттуда в «Материалы для исторического словаря русского языка» его учителя, которыми так гордится русская наука».

¹ См. его письмо к сыну от 21/IV 1877 г. из Вилюйска в книге «Чернышевский в Сибири», т. III, стр. 142. — А. Г. Ильинский (цит. ст., стр. 72) по этому поводу замечает: «Конечно, Чернышевский никогда не был филологом по призванию: интерес к лингвистическим изучением был только не продолжительным эпизодом (1849—1850) в его многосторонней литературной деятельности. Возбужденный исключительно личным обаянием и авторитетом Срезневского, этот интерес не получил глубокого развития и скоро замер почти совершенно, когда наступившая эпоха великих реформ увлекла его боевую натуру на форпосты социально-политической борьбы».

² Насколько скромную жизнь Чернышевский вел во время своего студенчества, видно из того, что он избегал посещения театра, который молодых людей привлекает особенно сильно. Правда, родным он писал, что театра «терпеть не может», но из вилюйского письма его от 25 апреля 1877

Если бы я знал, не поехал бы сюда. И из-за чего весь этот огромный расход? Из-за вздора! Выписавши на 100 р. сер. книг в Саратов, можно было бы приобрести гораздо более познаний». А по поводу выхода А. Плещеева из университета Чернышевский 25 сентября пишет родителям: «Вообще нашим знаменитостям плохо удаются экзамены, или, как говорит один наш знакомец, страшный либерал (это он говорит серьезно ведь), «они не в дружбе с правительством» вообще. Да вот Плещеев — вышел в поэты и вышел из университета. Белинский не выдержал экзамена в университет Московский, впрочем, поступил в вольнослушающие и все-таки не дослушал до степени. Искандеру тоже помешало что-то окончить курс¹ так же, как и Леопольдову (кажется, ведь и он не кончил: по крайней мере, он был замешан в одно дело с Искандером)²; одно что-нибудь: или внутреннее, или внешнее; или существенность, или имя. И то, и другое вместе у нас как-то редко бывает».

А 13 декабря 1846 года он писал домой: «Читать самому гораздо полезнее, нежели слушать лекции... Мне кажется, что лекции должно предпочитать книгам только тогда, когда их читает человек, подобный Неволину; но таких людей немного... Лекции прочих профессоров вообще хороши для тех, у кого нет охоты или умения читать».

Однако, пока Чернышевский довольствовался теми книгами, которые он мог доставать в библиотеке, он не находил в них ответа на волновавшие его вопросы. Состав тогдашней университетской библиотеки его не удовлетворял: по богословию, которым он в то время интересовался, подходящих книг было мало; по философии не имелось даже полного экземпляра сочинений Гегеля («3 или 4 тома из середины нет»). Публичную библиотеку Чернышевский особенно усердно посещал во вторую половину первого учебного года. Но и там он, конечно,

года видно, что он не ходил в театр по совершенно иным мотивам. «Я, — говорит он там, — любил театр. Но очень мало бывал в нем. Пока я был студентом, я опасался, что если раз пойду в театр, то меня будет сильно тянуть бывать в нем беспрестанно. А это отвлекало бы меня от занятий. И больше чем три года из четырех я удерживал себя от посещения театра». Но однажды семья И. Введенского пригласила его в театр; отказаться он не мог. «И я поехал с ними. Беды не произошло: у меня достало характера не бывать после того в театре чаще, чем случался у меня и досуг, и лишний четвертак. Но все-таки я сожалел о времени и деньгах, уходящих у меня на развлечение. Такой чудака я был тогда. А после у меня уже действительно не было досуга посещать театр» («Чернышевский в Сибири», т. II, стр. 156).

¹ Это ошибка; Герцен кончил курс, но вместо золотой медали получил серебряную, что очень его обидело.

² Такой по делу Герцена не привлекался.

не находил того, что ему нужно было. Из историков он в то время особенно любил Шлоссера, который нравился ему проповедью морали правды.

В литературных произведениях он ставил на первый план не художественные достоинства, а идейное содержание и моральное значение. С этой точки зрения он сильно увлекался романами Евгения Сю, проводившего идеи утопического социализма и проповедывавшего смутный демократический гуманизм. «Главное, — восклицает Чернышевский в письме к своей бывшей наставнице Л. Котляревской от 30 августа 1846 г., — какая высокая, священная любовь к человечеству у Сю! А есть люди, которые ставят какого-нибудь Жорж Занд выше его». Но скоро Чернышевский изменил свое мнение о Жорж Занд: в ее произведениях он как раз нашел то, что отвечало его душевному настроению. И в дневнике его 11 июля 1849 года мы уже читаем: «Поклоняюсь Лермонтову, Гоголю, Жоржу Занду более всего». А 29 апреля 1849 г.: «Да, сильный, великий, увлекательный, поражающий душу писатель — этот Жорж Занд: все ее сочинения должно перечитать»¹. Надо полагать, что в это же время Чернышевский основательно ознакомился с главными произведениями немецкой художественной литературы, о которых он имел, впрочем, представление и в Саратове. Что он больше всего предпочитал из этой литературы, видно между прочим из письма его из Сибири от 7 марта 1881 года, где он говорит: «Лучшее в немецкой литературе — хорошие вещи Шиллера и Гете. После них таких талантов у немцев еще не являлось. У Шиллера половина, у Гете девять десятых — плохие вещи, зато остальное неизмеримо выше всего, писанного по-немецки» («Чернышевский в Сибири», т. III, стр. 150).

Однако смутные порывы к общественному служению, гуманитарные мечтания, сочувствие страждущим (вспомним его латинские письма к Пыпину о «крепких земле» крестьянах) в первое время мирно уживались в душе Чернышевского с старыми представлениями, вынесенными из обстановки провинциального священнического дома, с прежними верованиями детства. Религиозное чувство попрежнему было в нем еще сильно, хотя нужно сказать, что христианство понималось юным Чернышевским в смысле религии любви к человечеству, веры в лучшие нравственные стороны человеческого духа. Это, однако, не ме-

¹ В письме от 14 мая 1878 года из Сибири, советуя сыновьям читать произведения Жорж Занд и Диккенса, Чернышевский говорит: «Они устарели! Они устареют, когда явится что-нибудь написанное с таким же талантом, с таким же умом и с такою же честностью. У немцев таких романистов не было в нашем столетии» («Чернышевский в Сибири», т. III, стр. 104).

шало тому, что молодой студент отдавал много внимания обрядовой стороне православия, усердно посещал церковные службы, служил молебны, соблюдал посты (для чего просил даже отца прислать ему роспись всем постам и постным дням их Саратовской церкви), ходил и в Казанский собор, и на Сенную, и в храм Введения. В день своего ангела (6 декабря) он ходит в церковь к обедне. Молитвой он встречает и провожает новый год. Словом, перед нами, казалось бы, обычного типа провинциальный семинарист, попавший в университет и готовящийся по окончании курса пополнить лишней единицей ряды царского чиновничества, как это и случилось с большинством его сверстников, например, с тем же А. Раевым, с которым он вместе жил на квартире, или в лучшем случае стать ученым сухарем вроде тех профессоров, лекции которых он слушал в университете. Но не такая судьба предназначена была Чернышевскому. Скоро, очень скоро, под влиянием суровых уроков тогдашней русской жизни и под впечатлением грандиозных событий, произошедших в ближайшие годы в Западной Европе, в душе молодого человека, усердно грызшего «гранит науки», произошел крутой перелом, и из-под серой оболочки смиренного постника вылупился суровый образ подвижника идеи и грозного разрушителя всех авторитетов, земных и небесных. Через два года пребывания в университете перед нами выступает совершенно другая фигура.

2. Знакомство и связи

В. П. Лободовский, А. В. Ханыков, М. И. Михайлов, И. И. Введенский

В первое время круг знакомых Чернышевского в Петербурге ограничивался теми людьми, к которым он был направлен родителями. Все это были «солидные» духовные или чиновные лица, общение с которыми могло только укрепить молодого студента на пути благочестия и верноподданничества. Но скоро он нашел как в университете, так и вне его стен других знакомых, сближение с которыми должно было развить другие стороны, заложенные в его характере, и дать иное направление его мыслям и интересам.

Организованных студенческих кружков с каким-либо определенным политическим направлением в то время в Петербургском университете не существовало. Однако в окружении Чернышевского скоро составила группа более или менее единомыслящих людей, связанных любовью к науке и литературе и проникнутых некоторого рода смутными прогрессивными стремлениями, пока еще не вылившимися в определенную форму. Из этих университетских товарищей Чернышевского, несомненно имевших влияние на совершавшийся в нем духовный

перелом, нам известны Н. П. Карелкин, М. И. Михайлов и В. П. Лободовский.

Из них троих только М. И. Михайлов, как и сам Чернышевский, в конце концов вступил на тернистый путь революционера и впоследствии был близок к Чернышевскому; другие пошли по обывательской дорожке. Но в свое время они, повидимому, оказали на Чернышевского благотворное влияние. Карелкин был серьезный и вдумчивый юноша, пользовавшийся особенной симпатией Чернышевского, но точно о влиянии его на Чернышевского мы не знаем¹. Василий Петрович Лободовский, впоследствии крупный чиновник², бывший харьковский семинарист, готовившийся в то время (в 1848 году) к сдаче кандидатских экзаменов в Петербурге, был на несколько лет старше Чернышевского. Находясь в то время в стадии брожения и недовольства жизнью, быть может, по причине своего стесненного материального положения, Лободовский был настроен революционно или, вернее, щеполял революционным настроением. Но то, что в нем было наносным и скоропреходящим, в глубокой натуре Чернышевского пускало все более прочные корни и превращалось в твердое убеждение. Лободовский вел с Чернышевским беседы на тему о революции — и притом не только в применении к Западу, но и в применении к России. Сам Лободовский, видимо, не придавал этим разговорам серьезного значения и больше заботился об устройстве своей личной судьбы. Для Чернышевского же эти беседы связаны были с решением вопроса о всей его дальнейшей жизни и деятельности. И хотя сам Лободовский в конце концов оказался личностью пустой и черствой, его заслуга заключается в том, что он дал толчок политическому самоопределению Чернышевского и в частности направил его мысль на вопрос о революционном движении в России.

В первое время Чернышевский смотрел на Лободовского снизу вверх. Он считал его гениальным человеком, призванным сыграть крупную роль в судьбах родной страны. Вдобавок молодой Чернышевский был платонически влюблен в жену Лободовского, Надежду Егоровну.

¹ Е. Ляцкий в статье «Н. Г. Чернышевский в 1848—1850 гг.» («Совр. Мир», 1912, № 2, стр. 160—161) сообщает, что Чернышевский часто беседовал с Карелкиным на революционные темы; там же он приводит выдержки из письма Чернышевского к Карелкину, относящегося к лету 1848 года и написанного каким-то явно условным языком — видимо, по поводу событий этого года.

² Замечательно, что в своих воспоминаниях, напечатанных в «Русской Старине» (1904—1905 гг.), он ни словом не упоминает о своем знакомстве с Чернышевским. Умер Лободовский в 1890 году.

ровну¹, — чувство, которое в девственнике Чернышевском, твердо решившем сохранить физическую чистоту до брака, принимало особенно напряженные формы. Чтобы помочь нуждавшейся чете, Чернышевский отдавал им свои деньги, до крайности урезывая свой скудный бюджет, недостаточно питаясь и плохо одеваясь, хлопотал о месте для Лободовского, искал для него уроков, писал статьи, гонорар за которые собирался отдать ему же. Чернышевский совершенно обносился, а вследствие плохого питания здоровье его было сильно подорвано (дневник его переполнен жалобами на расстройство пищеварения, постоянную рвоту, головные боли). Трубка и чай были единственными средствами, к которым он, при усиленных умственных занятиях, прибегал для избавления от страданий.

Только постепенно, по мере того как перед ним выясняются недостатки Лободовского, его эгоизм, неохота к серьезному труду, отсутствие действительного интереса к общественным вопросам, Чернышевский начинает менять свое отношение к Лободовскому, и преклонение перед приятелем уступает в его душе место критическому анализу. В конце октября 1848 года он начинает смотреть более трезвым взглядом и на Надежду Егоровну, которую до тех пор слишком идеализировал. Однако отношение это меняется не сразу. И несомненно, что тот глубокий интерес, который Чернышевский уже в годы зрелости всегда питал к положению женщины в современном обществе, впервые внушен был ему зрелищем тяжелой жизни Н. Е. Лободовской, которой принадлежала его первая юношеская любовь.

Она же, повидимому, сама о том не зная, внушила ему мысль написать беллетристическое произведение. Под влиянием ее судьбы у него зарождается идея романа, который постепенно переходит в произведение, посвященное положению женщины в современном обществе и ратует за ее равноправие, свободу и самостоятельность. В беседе с А. Ф. Раевым он говорит: «Женщина у нас — или лакей, или вольноотпущенник, взявший в руки своего барина, или дитя: три положения, все три неестественны». И вот Чернышевский уже тогда приходит к мысли, что русской женщине должен быть предоставлен свободный доступ к образованию, к науке и к общественной работе. Это в сущности те же мысли, которые впоследствии будут развиты им в знаменитом романе «Что делать?».

¹ Е. Ляцкий — «Юношеская любовь Н. Г. Чернышевского», «Познание России», 1909, книга I, стр. 117 и след. — Повидимому, и дневник свой Чернышевский начал в мае 1848 года писать под влиянием своей любви к Н. Е. Лободовской.

Постепенно, по мере обогащения собственного внутреннего мира Чернышевского, чувство его к друзьям слабеет, глаза его открываются, и, оставаясь попрежнему к ним расположенным, он освобождается от преувеличения их воображаемых достоинств и от уничижения себя перед ними. В июле 1850 года он смотрит уже на Надежду Егоровну «как на обыкновенную, добрую, простую женщину», малообразованную и жившую в малообразованном обществе. А в декабре 1850 года Чернышевский окончательно разочаровывается в гениальности В. П. Лободовского и начинает смотреть на него как на человека «равного себе по уму». Впрочем, даже это было явным преувеличением, которое объясняется молодостью Чернышевского. Лободовский оказался в конечном счете рядовым обывателем.

Скрытный и застенчивый, но обладавший твердой волей, Чернышевский таил свои внутренние переживания про себя и делился своими мыслями только со своим дневником, который он начал вести с 20-х чисел мая 1848 года, а затем после некоторого перерыва — с 12 июля. Как передавала Е. Ляцкому Е. Н. Пыпина-Нейман, И. Г. Терсинский, у которого Чернышевский позже жил на квартире, вспоминая про студенческие годы своего жильца, находил некоторые странности в его характере: он был «вечно попружен в свои книги, молчалив, задумчив и словно не замечал ничего, что делалось вокруг». Но Чернышевский вовсе не хотел делиться своими мыслями с благонамеренным чиновником Терсинским и его женой Л. Н. Котляревской, некогда бывшей его руководительницей, а теперь с головой погрузившейся в мелочи повседневного быта. Как раз в это время он переживал глубокий духовный переворот, и под несколько чудаческой внешностью в нем совершалась крутая ломка старых представлений и чувствований, что естественно ускользало от внимания таких поглощенных своими житейскими заботами людей, как супруги Терсинские.

Лободовский несомненно играл значительную роль в этом процессе духовного самоопределения молодого Чернышевского. Как можно судить по дневнику, в целом ряде случаев перед Чернышевским вставали вопросы о внутренней жизни, о его призвании в будущем, о судьбах русского народа — именно в результате бесед его с Лободовским.

Какие разговоры велись между друзьями, видно из записей в дневнике Чернышевского. Так, под 3 августа 1848 года там записан следующий разговор с Лободовским: «Он сильно говорил о том, как бы можно поднять у нас революцию, и не шутя думает об этом. «Элементы, говорит, есть: ведь поднимаются целыми селами и потом не выдают друг друга, так что приходится наказывать по жребии, только единства нет, да еще разориться могут, а создать ничего не в со-

стоянии, потому что ничего еще нет». Мысль о восстании для предводительства у него уже давно».

Итак, Лободовский, как видно из последней фразы, отводил себе в грядущей русской революции роль вождя, с чем Чернышевский в первое время естественно соглашался, тем более, что для него такие разговоры были тогда настоящим откровением. Об этом же свидетельствует и запись от 16 февраля 1850 года: «Пришел Вас[илий] П[етрович]. Мы... стали поворот о переворотах, которых должно ждать у нас; он воображает, что он будет главным действующим лицом». Но здесь мы уже слышим у Чернышевского скептическую ноту.

26 января 1849 года отмечен разговор с Лободовским относительно униатов и насильственной политики царизма по отношению к ним; оба друга его возмущались, и Чернышевский записывает: «оба обременились позором поведения нашего правительства в этом случае». Через несколько дней, 3 февраля, новый разговор, интересный для нас в том отношении, что показывает, откуда еще шло политическое влияние на Чернышевского, пожалуй, еще более сильное, чем влияние Лободовского. Итак, Чернышевский заносит в свой дневник: «Я ему (Лободовскому. — Ю. С.) все говорил о революции и о хилости нашего правительства, — мнение, которого зародыши положил Ханыков, — и прочее в этом роде».

Речь идет о петрашевце А. В. Ханыкове¹, который сыграл в жизни Чернышевского крупную роль тем, что обратил его внимание на сочинения Фурье (об этом ниже). Ханыков, который к моменту своего знакомства с Чернышевским был уже сложившимся умственно человеком, знакомым с главными произведениями европейской социалистической литературы и стоявшим во всех отношениях выше Лободовского, естественно должен был оказать на Чернышевского более сильное влияние, хотя их и не связывала близкая личная дружба. Как видно из дневника Чернышевского, Ханыков вел с юношей беседы не только на отвлеченные темы и на темы западно-европейской жизни, но и по животрепещущим вопросам русской действительности. В частности именно Ханыков первый внушил Чернышевскому мысль о «хи-

¹ Х а н ы к о в, Александр Владимирович (1825—1853) учился в петербургском университете; посещал Петрашевского с 1845 года и был одним из первых обращенных им фурьеристов. На обеде в честь Фурье 7 апреля 1849 года произнес вступительную речь на свою излюбленную тему о гармонии страстей; приговоренный сначала к 4 годам каторги, затем к смертной казни, был по конфирмации отправлен в Орскую крепость рядовым в Оренбургские батальоны. Умер от холеры в возрасте 28 лет (см. В. Лейкина — «Петрашевцы», М. 1924, стр. 127).

лости» царизма, о том, что он является колоссом на глиняных ногах, что борьба с ним не только необходима, но и имеет немалые шансы на успех. Так, 11 декабря 1848 года Чернышевский в дневнике сообщает, что он заходил «к Ханыкову, с которым более всего говорили о возможности и близости у нас революции, и он здесь показался мне умнее меня, показавши мне множество элементов возмущения, например, раскольники, общинное устройство удельных крестьян, неравенство большей части служащего класса и проч., так что в самом деле массы я не заметил или, может быть, не хотел заметить, потому что (подходил) с другой точки. Итак, по его словам, эта вещь, конечно, возможна, и которую, может быть, недолго дожидаться. Это меня несколько обеспокоило, что, как говорит Гумбольдт о землетрясениях, этот твердый, неподвижный Boden (почва), на котором стояли и в непоколебимость которого верили, вдруг, видим мы, волнуется как вода».

Итак, Ханыков, не ограничиваясь разговорами о тяжести народной жизни и моральной обязанности борьбы с гнетом, раскрыл перед Чернышевским некоторые, как ему казалось, реальные перспективы, указав ему на непрочность тех основ, на которых зиждется самодержавие (в частности впервые обратив его внимание на общинное землевладение как на базу для революционеров). И эти перспективы были настолько живо представлены пылкому юноше, что он даже забеспокоился, сразу ощутительно почувствовав непрочность той почвы, на которой до тех пор стоял. Именно эти мысли, навеянные Ханыковым, Чернышевский через несколько недель повторил в беседе с Лободовским.

6 февраля 1849 года Чернышевский снова заносит в дневник: «Вечером был у Вас. Петр., толковал все о революции у нас и проч., и проч. Как и раньше, он любит заводить об этом речь, но раньше я не сочувствовал, теперь не прочь и я. Мнение его об Искан-^{дере} не переменялось к худшему, во всяком случае, я думаю, что теперь он, как я, считает его чем-то вроде Пушкина».

В этой записи нас не столько интересует высокое мнение Чернышевского о Герцене, которого он приравнивает к Пушкину, т. е. к пролагателю новых путей и зачинателю нового периода в истории литературы, сколько обстоятельство, констатируемое в подчеркнутых нами словах. Они показывают, что прежде Чернышевский не любил разговоров о революции в России, но с недавнего времени начал им сочувствовать. Как это понимать? Мы думаем, что по мере того как взгляды Чернышевского под влиянием европейских революционных событий принимали все более крайний характер, он все более охотно

начинал прислушиваться и к разговорам о русской революции¹. Но нужно было влияние Ханыкова и бесед с ним, во время которых вопрос о революции в России поставлен был на осязательную, конкретную почву, для того чтобы окончательно направить мысль Чернышевского в это русло.

Другим университетским приятелем Чернышевского, знакомство с которым также без сомнения не осталось без влияния на формирование как его литературных вкусов, так и политических убеждений, был Михаил Илларионович Михайлов.

М. Михайлов был сыном чиновника, но дед его был крепостным; отпущенный было на волю, но затем вновь закрепощенный (вследствие какой-то ошибки в форме выданной ему «вольной»), он протестовал против этого грубого произвола, был посажен в острог и подвергнут наказанию розгами, в результате чего умер. Это событие оказало сильнейшее действие на М. Михайлова в смысле его революционизирования. Получив хорошее домашнее воспитание, М. Михайлов сделался ходячей литературной энциклопедией², что несомненно способствовало его сближению с Чернышевским. Впоследствии М. Михайлов сделался известным поэтом и переводчиком европейских поэтов, особенно Гейне.

Познакомился он с Чернышевским в конце 1846 года в университете, куда Михайлов поступил вольнослушателем, так как не выдержал вступительного экзамена³.

А. Пыпин следующим образом объясняет причины сближения между Михайловым и Чернышевским: «Они сошлись, потому что Н. Г. встретил в Михайлове образованного молодого человека, с которым у

¹ Надо думать, что в связи с развитием его политических воззрений стояла следующая сравнительная оценка им русских писателей: «Я, по голосу Вас. П. (Лободовского), ставлю Лермонтова выше Пушкина, а Гоголя выше всего на свете, со включением в это все и Шекспира и кого угодно» (запись в дневнике под 19 января 1850 года). Естественно, что Лермонтова, в поэзии которого голос протеста слышен резче, чем у «олимпийца» Пушкина, Чернышевский ставил выше последнего, а Гоголя, в котором обличительный элемент решительно преобладает, ставил выше всех. Эти мотивы — противоположение «пушкинского» элемента «гоголевскому» — мы услышим и впоследствии во время разрыва между умеренными либералами и крайними радикалами в «Современнике».

² Н. В. Шелгунов — «Воспоминания». Петр., Гиз, 1923, стр. 194 сл. и *passim*.

³ О встрече их рассказывается в воспоминаниях Л. П. Шелгуновой — «Из далекого прошлого». Спб., 1911, стр. 111; приблизительно так же, со слов М. Михайлова, описывает это знакомство и Н. В. Шелгунов (цит. соч., стр. 95).

них нашлись общие литературные интересы. Михайлов был очень живой, начитанный, остроумный человек и с несомненным, хотя и неглубоким дарованием; из него вышел потом едва ли не лучший переводчик Гейне. В то время среди молодежи немного было людей, знакомых с иностранной литературой; Михайлов ею интересовался и много читал; Н. Г. тоже очень много читал, и хотя его больше интересовала современная политическая история, у них находилось немало точек соприкосновения, например, на Гейне, Берне и т. д.»¹.

Но здесь дело было, очевидно, не в одной общности литературных интересов. Надо полагать, что приятели сходились и в воззрениях на жизнь и на праждацкий долг мыслящих людей, хотя в то время политические воззрения обоих вряд ли могли отличаться особенной определенностью. Но факт тот, что они сошлись очень близко и сделались закадычными друзьями. По сообщению Е. Ляцкого («Чернышевский в университете», «Современный Мир», 1908, № 12, стр. 39), использовавшего семейный архив Чернышевских, первое упоминание о М. Михайлове попадает в письмо Чернышевского к родителям от 6 декабря 1846 года. «Мне он нравится, — сказано в этом письме, — чрезвычайно умная голова. Из него выйдет человек очень замечательный». А 10 января 1847 года Чернышевский уже сообщает родителям: «редкий день проходит без того, чтобы Михайлов не был у нас, или я у него». Так как родители пожелали иметь подробные сведения о новом друге их сына, то Чернышевский сообщил им эти сведения, а 7 февраля писал отцу: «Мы очень часто бываем друг у друга. Когда бываем, то очень не церемонимся... Он со мной откровенен, очень откровенен, но у него уже такой характер, не то, что у меня. Впрочем, и я с ним гораздо более откровенен, нежели с другими. Не любить его нельзя, потому что у него слишком доброе сердце... Сблизились мы очень скоро. Разумеется, чем больше я стал узнавать его, тем более стал любить, хоть и не скажу, чтобы все в нем мне нравилось. Но все же я его более всех других люблю».

Какие интересы сблизили Михайлова с Чернышевским, видно из беглого упоминания в письме последнего к родным от 4 января относительно того, что они вдвоем читали «Отечественные Записки» и приложение к «Современнику». Что они также вели между собою беседы на темы, затрагивавшиеся Чернышевским в беседах с Лободовским и Ханыковым, в этом можно не сомневаться, ибо, как мы видим из дневника, Чернышевский пускался в революционные разговоры даже с консервативно настроенными товарищами. Надо полагать, что в лице

¹ А. Пыпин — «Мои заметки». «Вестник Европы», 1905, март, стр. 9.

экспансивного Михайлова Чернышевский встречал не оппонента, а собеседника во всяком случае единомышленного, если даже не более тогда передового.

Однако Михайлов не долго пробыл в университете. Весной 1847 года он уже уехал из Петербурга. Но связь его с Чернышевским и после того не прекращалась. Они переписывались, а каждый раз, когда Михайлов наезжал в Петербург, они видались лично. Впоследствии Михайлов был деятельным сотрудником «Современника», и они совместно участвовали в революционных конспирациях.

Из внеуниверситетских знакомых Чернышевского нужно в особенности указать на Иринарха Ивановича Введенского, общение с которым также без сомнения оказало сильное влияние на формирование взглядов Чернышевского. Через Введенского, как и через Ханыкова, Чернышевский попал в сферу влияния кружка петрашевцев. Таким образом петрашевцы оставили после своей гибели преемника, который доставил проповедуемым ими социалистическим идеям небывалое до тех пор распространение в России.

Введенский был земляком Чернышевского и также происходил из духовного сословия. Сын бедного сельского священника, родившийся 21 ноября 1813 года, он, по окончании пензенского духовного училища и саратовской семинарии (в 1834 г.), поступил в Московскую духовную академию, за 5 месяцев до окончания курса перешел в Московский университет, а затем в Петербургский, где в 1842 году получил степень кандидата по философскому факультету. Переводчик Диккенса, Теккерея, он кроме того писал статьи по истории литературы. В 1853 году его постигло ужасное несчастье — он лишился зрения, а 14 июля 1855 года он умер.

Ко времени поступления Чернышевского в университет Введенский был уже преподавателем русской словесности в военно-учебных заведениях и писал в журналах. Возможно, что Чернышевский встречался с ним еще в Саратове. В Петербурге они встретились в течение 1847—1848 учебного года, т. е. на второй год пребывания Чернышевского в университете. Скоро Чернышевский начал бывать на литературных вечерах Введенского.

Известный московский реакционер М. П. Погодин называл Введенского «родоначальником нигилизма» — возможно, имея между прочим в виду его влияние на Чернышевского. С другой стороны, хорошо знавший его А. Милюков, имевший некоторое слабое касательство к петрашевцам и стоявший, подобно Введенскому и многим другим тогдашним интеллигентам, на периферии петрашевских кружков, в своей известной книжке «Литературные встречи» уверяет, что Вве-

денский не был «нигилистом» и не держался радикальных взглядов ни в политике, ни в литературе¹. В изображении же Чернышевского (в его дневнике) Введенский выступает в виде определенного демократа, если не сторонника социалистических идей. Во всяком случае несомненно, что Введенский был представителем нарождавшейся тогда новой социальной категории интеллигентов-разночинцев, проникнутых демократическим настроением и являвшихся прямыми предшественниками радикально настроенных шестидесятников.

В № 129 издававшейся Погодиным газеты «Русский» за 1863 г. помещена была статья А. «За И. И. Введенского», где автор пытается защитить Введенского от упрека петербургского литератора (т. е. Погодина) в создании нигилизма.

«Может быть, — говорит он, — Петербургский литератор, по рекомендации которого Введенский пожалован в родоначальники нигилистов, желал намекнуть на знакомство Введенского со студентом Чернышевским. Помню очень хорошо на вечерах Введенского этого рыжеволосого юношу, который крикливым и тонким голосом рьяно защищал фантазии коммунистов и социалистов. Хозяин дома, бывало, молча шагавший по комнате и не разделяя мнений отуманенного учением Фурье и Прудона, внезапно остановится и каким-нибудь по обыкновению резким замечанием, как обухом по голове, оборвет бесконечные периоды оратора. Могу положительно уверить, что Введенский не был адептом тех коммунистов и социалистов, из которых состоял обширный кружок «петрашевцев», не разделяя их увлечений, может быть, и потому, что он, как истый ученый, всецело отдаваясь своим любимым занятиям, мало заботился о современных вопросах, волновавших тогдашнее общество. Многие из знакомых потешались нередко над его невежеством по этой части. Не такого рода человек был Чернышевский, и потому между ними было общего разве только то, что они были уроженцы одной и той же губернии и происходили... оба из духовного звания. Только в этой случайности должно искать повод и причину их знакомства, которое никогда не доходило до интимности уже по тому одному, что Введенский был чуть ли не вдвое старше летами Чернышевского»².

На самом деле, как мы увидим, Введенский и Чернышевский были довольно близки между собою и взаимно уважали друг друга. Более старый Введенский сразу почувствовал в молодом знакомце громадную

¹ А. П. М и л ю к о в — «Литературные встречи и знакомства». Спб., 1890, стр. 72—73.

² Е. Л я ц к и й — «Н. Г. Чернышевский и И. И. Введенский». «Совр. Мир», 1910, № 6, стр. 159—160.

³ Ю. С т е к л о в. Н. Г. Чернышевский. Т. I.

умственную силу и предсказывал ему большое будущее. С своей стороны юный прозелит демократии испытывал глубокое почтение к И. Введенскому и несомненно развивался под влиянием того, что удавалось ему слышать в собиравшемся у Введенского кружке.

«Познакомившись, как говорят, через Ив. Ив. Срезневского с Иринархом Ивановичем Введенским, — пишет А. В. Смирнов¹, — Н. Г. имел возможность бывать на вечерах у Иринарха Ивановича раз в неделю, по средам; на эти вечера собирались немногие друзья. Здесь в дружеском кругу Н. Г. открылся новый мир понятий, и, чтобы не отстать от друзей, он начал дома старательно изучать литературу, близкую к предметам споров (социальные, исторические, экономические, а также естественные науки), и через несколько месяцев явился с такими сведениями, что занял первое место среди друзей».

Как рассказывает А. Милюков (цит. соч., стр. 71), на вечерах у Введенского бывали В. Д. Яковлев, автор книги «Италия»; Г. Е. Благовослов; В. Н. Рюмин, издатель «Общезанимательного Вестника». «Несколько позже стал посещать эти вечера Н. Г. Чернышевский, тогда еще молодой человек, скромный и даже несколько застенчивый. В нем особенно выдавалось противоречие между мягким, женственным его голосом и резкостью мнений, нередко очень оригинальных по своей парадоксальности». В другом месте Милюков называет посетителями вечеров Введенского В. В. Дерикера, А. М. Печкина и Г. Е. Благовослова (тогда тоже студента, как и Чернышевский).

«Предметом разговоров, — рассказывает тот же А. Милюков (стр. 72), — были преимущественно литературные новости, но часто затрагивались и вопросы современной политики. В 1847—1848 гг. события в Европе сделались даже главной, почти исключительной темой бесед, как и в других кружках тогдашней молодежи. Иностранная газета, хотя сильно кастрируемая цензурой, читалась с усердным любопытством. Реформы Пия IX и народное движение в Италии, а затем февральская революция в Париже и отголоски ее почти по всей Западной Европе отодвинули литературные интересы на второй план и обратили общее внимание на современные политические события. С этим связывались, конечно, и вопросы социальные, и сочинения Прудона, Луи Блана, Пьера Леру нередко вызывали обсуждения и споры. Впрочем, горячих почитателей социализма в этом кружке не было». Как мы увидим по записям в дневнике Чернышевского, последнее утверждение не совсем верно. Конечно, кружок Введенского носил бо-

¹ А. В. Смирнов — «Н. Г. Чернышевский». «Русская Старина», 1890, № 5, стр. 450. Верно ли указание насчет Срезневского, мы не знаем.

лее литературный, чем политический характер, и в этом отношении стоял ниже, например, кружка С. Ф. Дурова, описанного тем же А. Милюковым. Но не забудем, что по мере развития революционных событий в Западной Европе тон русских кружков становился более резким, а вопросы, дискутировавшиеся в них, все более окрашивались политическим и даже социалистическим цветом. В этом отношении чрезвычайно интересно привести описание кружка Дурова, даваемое тем же Милюковым, ибо Чернышевский так или иначе подвергался воздействию атмосферы, шедшей из кружков петрашевцев¹.

«Всё, — говорит он, — что являлось новым по этому предмету (социализму) во французской литературе, постоянно получалось, распространялось и обсуждалось на наших сходках. Толки о Нью-Ланарке Роберта Оуэна и Икарии Кабэ, а в особенности о фаланстере Фурье и теории прогрессивного налога Прудона занимали иногда значительную часть вечера. Все мы изучали этих социалистов (при этом Достоевский отрицал применимость этих учений к русской жизни и указывал на общину, артель и круговую поруку, как на русские исторические основы, более прочные, чем мечтания утопистов. — Ю. С.)... Не меньше занимали нас беседы о тогдашних законодательных и административных новостях, и понятно, что при этом высказывались резкие суждения... И это в то время было естественно в молодежи, с одной стороны, возмущаемой зрелищем произвола нашей администрации, стеснениями науки и литературы, а с другой — возбужденной грандиозными событиями, какие совершались в Европе, порождая надежды на лучшую, более свободную и деятельную жизнь».

Приблизительно то же рассказывает о круге интересов, занимавших петрашевцев, участник движения Д. Д. Ахшарумов, особенно сильно напирая при этом на глубокий интерес к учению Фурье.

«События 48-го года, происходившие в Италии, Франции и Германии, — говорит он², — сильно интересовали меня. Социальное уче-

¹ Влиянию кружка Петрашевского подвергался не только Чернышевский, но и ряд других литераторов, с которыми он потом встречался. Из мемуаров П. П. Семенова-Тяньшанского (т. I, Петр., 1917, стр. 194—206) видно, что у Петрашевского он познакомился «с кружком петербургской интеллигентной молодежи того времени, в среде которой... более других знал из пострадавших в истории Петрашевского — Спешнева, двух Дебу, Дурова, Пальма, Кашкина, и избегших их участи — Д. В. Григоровича, А. М. Жемчужникова, двух Майковых, Е. И. Ламанского, Беклемишева, двух Мордвинных, Владимира Милютина, Панаева и др.» (см. «Петрашевцы в воспоминаниях современников», Лен., 1926, стр. 45).

² Д. Д. Ахшарумов — «Из моих воспоминаний (1849—1851 гг.)». Спб., 1905, стр. 14—15.

ние Фурье, сочинение его «Le Nouveau monde industriel», также различные брошюры последователей его, Considérant, Toussenel'я (Консидерана, Туссенеля) и других, и популярнейшие журналы того времени, «Almanach phalanstérien» и более ученый «Phalange», увлекали меня нередко до того, что я забывал все прочее. Большие сочинения Фурье «Théorie des quatre mouvements» и «Théorie de l'unité universelle» были по временам просматриваемы мною, но по дороговизне я не мог их приобрести... Иногда кем-либо из специалистов делалось сообщение вроде лекции: Ястржемский читал о политической экономии, Данилевский — о системе Фурье. В одном из собраний читалось Достоевским письмо Белинского к Гоголю по случаю выхода его «Писем к друзьям». Белинского избавила только болезнь и преждевременная смерть от общей с нами участи»¹.

Дневник Чернышевского сохранил для нас ряд указаний на характер бесед, которые велись на вечерах у Введенского, и на то впечатление, какое эти беседы производили на Чернышевского. Так, 28 декабря 1849 года шел разговор о петрашевцах и о постигшей их жестокой каре, которая возбудила в Чернышевском сильное негодование и ненависть к правительству, сочинившему несуществовавший заговор и разбившему жизнь лучших людей за одни разговоры в своем кругу. В дневнике мы читаем по поводу этой беседы у Введенского: «Чумиков решительно отвергал все планы, которые приписываются им. Не Ханыков, а Пальм закричал: «да здравствует царь!»². Это меня порадовало. О них говорили так, что думают, что они не получат прощения, а dokonчат свой срок. О возможности восстания, которое освободило бы их, и не думают. После говорили и о социализме и т. д. Чумиков — решительный приверженец новых учений, и меня радует, что есть такие люди, и более, чем можно предполагать. Иринарх Иванович говорил в духе, например, Siècle или чего-нибудь в этом роде или, пожалуй, в духе Ламеннэ».

Чернышевский, который в это время был уже решительным сторонником коммунизма, выражает радость по поводу того, что при-

¹ Это письмо Белинского к Гоголю было в то время широко распространено среди людей, в той или иной степени прикосновенных к движению петрашевцев. Несомненно, что Чернышевский читал его, и что оно должно было произвести на него сильнейшее впечатление.

² При исполнении обряда смертной казни над петрашевцами на Семёновском плацу 22 декабря 1849 года, когда им объявлено было «смягчение участи», т. е. замена смертной казни другими видами наказания. Характерно, что Чернышевскому была неприятна мысль, что возглас в честь «милосердного» монарха издал Ханыков, сыгравший в его жизни такую роль; и он обрадовался, когда узнал, что эту слабость проявил кто-то другой.

верженцев новых учений появилось в России уже немало, и явно недоволен возражениями Введенского, высказывавшегося в духе буржуазного либерализма («это — деспотизм») или, в лучшем случае, «христианского демократизма» в духе аббата Ламеннэ. Но все же Чернышевский ставил Введенского выше других обычных посетителей его литературных вечеров.

Так, под 2 февраля 1850 года мы находим в дневнике следующую запись: «В среду (февраля 1850 года) был у Иринарха Ивановича, не бывши пять недель... [А.] Милюков (автор цитированных воспоминаний. — Ю. С.) говорит в социалистическом духе, как говорю я, но мне кажется, что это у него не убеждение, как у Иринарха Ивановича или у меня, что у него не ворочается сердце, когда он говорит об этом, а так только говорит он. И все эти господа мне кажутся несколько пошловаты, кроме Иринарха Ивановича, — он кажется лучше других, да еще после военный Дм. Ив., а Краузольд и Вл. Ник. [Рюмин] забавны».

В первое время Чернышевский на этих вечерах молчал, слушал и только присматривался. Но по мере того, как знания его расширялись, а настроение становилось более радикальным, он начал принимать активное участие в беседах, обнаруживая при этом как обширность своей эрудиции (за эти два года он сильно вырос), так и крайний характер своих убеждений. 15 февраля 1850 года он отмечает в своем дневнике: «У Введенского говорил довольно много и играл довольно значительную роль в разговоре, так что более даже Владимира Николаевича (Рюмина), менее только доктора одного». И Введенский начал заинтересовываться пылким юношею. Он убеждал Чернышевского не возвращаться по окончании университета в провинцию, которая его погубит, а остаться в Петербурге, где обещал доставить ему место преподавателя в одном из военно-учебных заведений.

Е. Ляцкий (цит. ст. «Чернышевский и Введенский», стр. 162) приводит следующий характерный отрывок из неопубликованных воспоминаний некоего Н. Д. Н.

Ранней весной 1851 Н. Д. Н., б. ученик Введенского, зашел к нему с товарищем. Там они познакомились с Чернышевским. Когда последний ушел, Введенский дал о нем такой отзыв: «Это не только милейший, симпатичнейший, трудолюбивейший молодой человек, но и являющийся подчас, для меня по крайней мере, неразрешимой загадкой... в том (отношении), что он, несмотря на свои какие-нибудь 23—24 года, успел уже овладеть такою массою разносторонних познаний вообще, а по философии, истории, литературе и филологии в особенности, какую за редкость встретить в другом патентованном ученом... Так что, бе-

седуя с ним... право, не знаешь, чему дивиться, начитанности ли, массе ли сведений, в которых он умел солиднейшим образом разобраться, или широте, проницательности и живости его ума... Замечательно организованная голова! Смело можно предсказать, что этот даровитый человек должен в будущем занять видное место в нашей литературе, разве...» (последние слова содержат, повидимому, намек на возможность скорого ареста Чернышевского).

Весьма замечательно, что когда И. Введенскому, бывшему тогда известным литератором, а в некоторых отношениях даже ученым, понадобилось подвергнуться испытанию на степень магистра, то он просил только что окончившего курс юного кандидата Чернышевского помочь ему подготовиться по некоторым предметам. И Чернышевский скромно отмечает в дневнике: «Когда он решился держать (экзамены), к чему я старался склонить его, мы с ним вместе готовились»¹.

3. За письменным столом

Общение с товарищами и посещение литературных вечеров Введенского оказали свое влияние на выработку убеждений Чернышевского, но не меньшую, если не большую роль сыграла здесь его самостоятельная умственная работа, его любовь к книгам и усидчивое изучение главных произведений человеческой мысли. Всякий из нас по опыту знает, что основные знания человек приобретает в возрасте 18—23 лет, когда умственные силы свежи, а чисто научные интересы особенно интенсивны. Этот закон оправдался и на Чернышевском. Главную умственную работу он проделал именно в студенческие годы, основной запас знаний он приобрел именно в это время. Уже в возрасте 23 лет он поражал Введенского глубиной и разносторонностью своей эрудиции, а по его собственным словам к 25 годам он был уже человеком с вполне сложившимся мировоззрением.

Надо полагать, что одним из наиболее ранних влияний, сыгравших свою роль в процессе формирования взглядов Чернышевского, было влияние В. Белинского. О Белинском Чернышевский знал еще в бытность свою в Саратове, где он имел возможность читать его статьи в журналах. В Петербурге же он сделался ревностным читателем Белинского, за статьями которого следил вместе с М. Михайловым. Е. Ляцкий сообщает, что в одном из первых писем к отцу, т. е., вероятно, летом 1846 года, Чернышевский неуважительно отзывается о Белинском².

¹ См. письмо Н. Г. из Виллюйска от 25/IV 1877 г. в книге «Чернышевский в Сибири», т. II, стр. 156.

² Е. Ляцкий — «Н. Г. Чернышевский и учителя его мысли». «Совр. Мир», 1910, № 10, стр. 156.

Не знаем, как объяснить такой факт; возможно, что Чернышевский просто хотел успокоить отца, который боялся пагубного влияния столичного свободомыслия на своего Николеньку и в частности влияния знаменитого критика, который в консервативных кругах и тогда считался уже весьма «неблагонадежным». Во всяком случае подобное явление больше не повторялось.

Белинский не только укрепил любовь Чернышевского к литературе, но и внушил ему первые основы правильного отношения к литературным произведениям. В частности Белинский открыл Чернышевскому глаза на значение «натуральной школы» и выяснил ему взаимные отношения между литературой и жизнью. Кроме того вечно ищущий правды, беспокойный, мятущийся Белинский, к рассматриваемому времени окончательно ставший на путь революционного отрицания, не мог не поселить в восприимчивой душе молодого Чернышевского ненависть к мрачным сторонам русской истории, к зверству и некультурности русских правящих классов, а с другой стороны — симпатии к жертвам русской истории, особенно к угнетенному народу.

Под влиянием Белинского Чернышевский приходит к мысли, что литература важна и для науки, «т. е. улучшения человеческой жизни через знания», — мысль, которую мы затем увидим подробно развитой в магистерской диссертации Чернышевского. А в одном из писем к Пыпиным от 1847 года Чернышевский особенно рекомендует им ту книжку «Современника», в которой была помещена статья Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года». В этой статье Белинский, решительно восставая против мракобесия апологетов русской старины, противопоставляет им западников, вскрывших отрицательные стороны этой старины и стремившихся найти средства для борьбы с ними. И Чернышевский отмечает: «Там есть мысли, весьма, весьма замечательные, многие весьма справедливы: о характере нашей истории, о современном понимании человеческой сущности». Да, Белинский умел пробуждать критический дух, особенно в таких людях, как Н. Чернышевский. И, как правильно указывает Плеханов, к концу университетского курса (и даже ранее, прибавим мы) Чернышевский «был убежденным последователем Белинского, к которому он всегда относился впоследствии с восторженным уважением»¹.

Это благоговейное отношение Чернышевского к Белинскому прекрасно выражено в следующих его словах, написанных в 1855 году: «Литературные стремления, одушевлявшие критику 1840—1847 годов или, как мы согласились называть, критику гоголевского периода, ка-

¹ Плеханов — «Н. Г. Чернышевский». Спб., 1910, стр. 36.

жуются нам... вполне справедливыми; мы все привязаны к ней горячею любовью преданных и благодарных учеников. И если у каждого из нас есть предметы, столь близкие и дорогие сердцу, что, говоря о них, он старается наложить на себя холодность и спокойствие, старается избежать выражений, в которых бы слышалась его слишком сильная любовь, наперед уверенный, что при соблюдении всей возможной для него холодности речь его будет очень горяча, если, говорим мы, у каждого из нас есть такие дорогие сердцу предметы, то критика гоголевского периода занимает между ними одно из первых мест наравне с самим Гоголем... Потому-то будем говорить о критике гоголевского периода как можно холоднее; в настоящем случае нам не нужны и противны громкие фразы; есть такая степень уважения и сочувствия, когда всякие похвалы отвергаются как нечто невыражающее всей полноты чувства»¹.

Чернышевский признавал Белинского человеком гениальным и весьма образованным. «Белинский, будучи значительнейшим из всех наших критиков, был и одним из замечательнейших наших ученых... Что же касается его специальной науки — истории русской литературы, он был и до сих пор остается первым знатоком ее». Особенно привлекает Чернышевского та любовь Белинского к благу родины, которая, по его словам, была единственною страстью, руководившею великим критиком. «Эта идея, — говорит он, — пафос всей его деятельности. В этом пафосе — и тайна ее собственного могущества», а вместе с тем и тайна ее влияния на самого Чернышевского, прибавим мы.

Но, кроме усиления любви к родине и ненависти к отрицательным сторонам русской жизни, Белинский мог дать Чернышевскому только основные взгляды на характер и значение русской литературы, да еще кое-какое знакомство с начатками философии Гегеля и Фейербаха. Остальное, т. е. главные свои знания, Чернышевский мог приобрести лишь самостоятельной умственной работой и внимательным изучением иностранной литературы².

Мы уже видели, что, приехав в Петербург, Чернышевский сразу бросился в библиотеки и книжные магазины, выражая негодование на их бедность. После того он всюду рыскал, выискивая интересующие его книги. 4 сентября 1848 года он отмечает у себя в дневнике: «Про-

¹ Н. Г. Чернышевский — «Очерки гоголевского периода». «Соч.», т. II, стр. 119—120.

² На это отчасти намекает то, что он говорит об умственном развитии Добролюбова в заметке «В изъяснение признательности» («Соч.», т. IX, стр. 100—101).

сматривал каталог французский (университетской библиотеки.—Ю. С.), чтобы просмотреть сочинения Proudhon, L. Blanc, P. Leroux, Ledru Rollin, Guizot»¹. Это, кстати, дает примерное представление о том, чем он интересовался в эти бурные революционные месяцы. Чернышевский старается доставать книги повсюду: в частных библиотеках, в библиотеке университетской, у знакомых; часть книг он покупает, часть прочитывает в публичной библиотеке. Его идейный голод кажется неутолимым.

По дневнику Чернышевского мы можем отчасти судить о том круге знаний, над которым он преимущественно работал. Это были: история, политическая экономия и философия. По истории он упоминает сочинения Гизо «Историю цивилизации в Европе» и «Историю цивилизации во Франции», О. Тьерри, Мишле, Шлоссера, Баранта, Беккера (о революционном движении при Людовике XIV, о Пор-Рояле и пр.) и др. (особенно сильное впечатление произвел на него Гизо своим материалистическим подходом к объяснению исторических событий)²; много исторических сведений почерпал Чернышевский из популярного в те времена энциклопедического словаря Эрша и Грубера. По политической экономии он изучал Адама Смита, Рикардо, Мальтуса (на которого обратил внимание уже в начале 1849 г. по статьям В. А. Милютина «Мальтус и его противники»); читал и такие книги, как Горлова «Теория финансов» («слишком ограниченного ума и не-

¹ Прудона, Луи Блана, Пьера Леру, Ледрю Роллена, Гизо.

² Несомненно влиянием Гизо, Тьерри и других историков 30—40-х годов навеяны интересные мысли, бегло намеченные Чернышевским в дневнике 28 января 1849 года. В смутных и для него самого неопределенных терминах молодой студент пытается набросать основные положения научной, материалистической философии истории. Вот как он формулирует идеи, которые пришли ему в голову: «Напр., что история разлагается на повествование о действиях, происшествиях и состояниях, положениях народа и известных классов, что до этого времени, кажется, не было достаточно ясно сознаваемо, хотя отчасти уже есть в исторических трудах, но недостаточно постоянно и хорошо проведено в практике (в теории не делают хорошо и ясно этого различения относительно состояний, положений) жизни, а между тем, эти части равно обе существенны, и если уже которая из них важнее, то, конечно, состояния: так дело истории всегда связывать между собой эти две части и показывать, как из состояния рождаются стремления и действия, как действия и события вели народ или часть его от одного состояния и положения в другое» (курсив мой). Это различение «действий» от «состояний» и «положений», как народа, так и отдельных классов, в высшей степени характерно для молодого Чернышевского и в зародышевой форме как бы предвосхищает его будущие исторические воззрения.

брежно составленная книга») и Адольфа Бланки «История политической экономии в Европе» в двух томах, тогда еще не переведенная на русский язык и вызвавшая с его стороны резкий отзыв¹. По философии он изучал сочинения Гегеля, Канта, Фейербаха, вероятно Огюста Конта, целый ряд произведений гегелианцев, как Мишле (он же Михелет), надо полагать — также французских материалистов Гельвеция, Гольбаха, Ламеттри, Дидро. Но больше всего внимания Чернышевский, повидимому, уделял писателям социалистическим: Фурье, Сен-Симону, Э. Кабэ, Пьеру Леру, В. Консидерану, Прудону, Луи Блану и т. д. Последнего Чернышевский особенно внимательно изучал и позже использовал для своих знаменитых статей о борьбе классов во Франции². Это направление интересов Чернышевского объяснялось не только его чисто теоретическими запросами, но и ходом событий 1848 года, привлекавших к социализму внимание всего мира.

Несмотря на все строгости николаевских жандармов, в Петербурге все-таки можно было доставать почти всю запретную литературу. Среди петрашевцев, с которыми, — правда, не прямо, — связан был Чернышевский, эта литература обращалась довольно свободно³. «Система экономических противоречий» Прудона до февраля 1848 года продавалась открыто⁴. Пыпин в «Моих заметках» («Вестник Европы», 1905, март, стр. 8) рассказывает по этому поводу следующее: «Один книгопродавец, Лури, вел торговлю этой контрабандой даже очень неосторожно, и, уличенный в ней, был сослан из Петербурга⁵. Но эта ссылка не остановила контрабанды. Я очень хорошо помню особого рода букинистов-ходебщиков, — тип, с тех пор исчезнувший... Эти букинисты с огромным холщевым мешком за плечами ходили по квартирам известных им любителей подобной литературы (через которых находили и других любителей), и придя в дом... выкладывали свой товар: это бывали сплошь запрещенные книги, всего больше французские, а также немецкие. Книги они продавали на довольно льготных усло-

¹ Дневник от 4 марта 1849 года.

² Под 4 августа 1848 года мы читаем в дневнике Чернышевского: «Великий писатель Луи Блан и великий человек. Хочу непременно купить его, как только могу».

³ Указания на нее в изобилии давал составленный Петрашевским «Карманный словарь иностранных слов», два выпуска которого вышли в 1845—1846 гг., и который наверно был известен Чернышевскому.

⁴ Герцен — «Петрашевский», Соч., том VI, стр. 511. — Можно было и позже доставать даже прудоновскую газету «Le Représentant du Peuple». Ее читал и Чернышевский.

⁵ Как широко велась эта торговля, видно из того, что после разгрома петрашевцев полиция забрала у Лури свыше 2.500 запрещенных книг.

виях, например, с рассрочкой; когда книга была прочитана... букинист покупал ее обратно, конечно, по пониженной цене... Сделка совершалась на взаимном доверии, и доверие было большое... Кажется, независимо от этих негоциантов, Н. Г. мог тогда приобрести главные сочинения Фейербаха, как помню, в свежих, неразрезанных экземплярах»¹.

Чернышевский с жадностью набросился на эту литературу, благодаря которой его смутные гуманные стремления облекались плотью и кровью, приобретая реальные очертания. В этих книгах молодой пытливый ум искал ответа на мучившие его проклятые вопросы, выдвигаемые перед ним революционными событиями эпохи. Годы, на которые пришелся период самообразования Чернышевского, придавали отвлеченным на первый взгляд учениям и системам самый практический, злободневный характер, выводя их из кабинета на улицу и ежедневно проверяя их в огне бурных революционных событий. В товарищеских беседах, в разговорах с более зрелыми людьми вроде Ханыкова, на литературных вечерах Введенского перед молодым студентом вставали роковые вопросы, которые он стремился выяснить себе за письменным столом, просиживая за ним до глубокой ночи и с пылающей головой не отрываясь от книги.

Но мы не поняли бы процесса выработки Чернышевским своего мировоззрения и своих политических взглядов, если бы приписали его исключительно влиянию чтения книг и упустили из виду, что одновременно с этим чтением Чернышевский внимательно следил за развертывавшейся перед ним панорамой исторических событий 1848—1849 годов. Эти события служили наглядной иллюстрацией к тем положениям, которые вдумчивый студент вычитывал из книг, и вместе с тем об'ясняли делаемые им из книг теоретические выводы, облекали

¹ Довольно богатую библиотеку запретных и иных произведений составил Петрашевский. По записям розданных для чтения книг видно, что в этой библиотеке имелись сочинения Вольтера, Гельвеция, Гольбаха, Дидро, О. Конта, Лейбница, Руссо, Фейербаха, Макса Штирнера, Штрауса, А. Смита, Сисмонди, Видаля, Вилегарделя, Э. Кабэ, Кондорсе, Леру, Морелли, Прудона, Луи Блана, Мишле, Токвиля, Эдгара Кинэ; была даже Маркса «Нищета философии» (на французском) и Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» (на немецком); набор фурьеристской литературы, в том числе журналы: «La Démocratie Pacifique» и «La Phalange» (которую Ханыков давал Чернышевскому); далее романы Жорж Занд и пр. Весьма вероятно, что Ханыков снабжал Чернышевского книгами именно из этой библиотеки. Неизвестно только, попали ли в руки Чернышевского книги Маркса и Энгельса. Никакого следа чтения их в дневнике его не заметно. Так как в то время оба основоположника научного социализма не пользовались еще широкой популярностью, то весьма возможно, что Чернышевский их не читал.

их плотью, а зачастую заставляли его вносить в них радикальные поправки. С другой стороны, теоретические положения, вынесенные им из чтения, помогали ему осмысливать разворачивавшиеся на его глазах события, улавливать их сущность, разгадывать их истинный характер и проверять их на прошлой истории человечества.

Университетские лекции и занятия не давали ответа на проклятые вопросы, которые реальная жизнь выдвигала перед молодым студентом. И он начинает охладевать к этим занятиям, к этим мертвым лекциям мертвых людей, к старым русским летописям, к повестям о давно-прошедших делах, слишком далеких от живой действительности. «Другие люди, — записывает он в дневнике, — т. е. главным образом французы, теперь действующие, или недавно действовавшие, история, особенно новейшая, и политическая экономия занимают мои мысли, и русские все как-то исчезают». Особенно интересовался в тот момент Чернышевский сочинениями Гизо, которые показывали ему, как подготовлялись события, так сильно поразившие воображение Чернышевского¹.

Уже довольно скоро Чернышевский выступает перед нами в качестве убежденного республиканца и демократа с социалистическим оттенком. 18 сентября 1848 года мы находим характерную в этом отношении запись в его дневнике. Заявив, что особенно интересует его Франция (которая в тот момент действительно стояла во главе прогресса), и что «Россию он уважает весьма мало и даже почти не думает о ней» (т. е., повидимому, не возлагает на нее никаких надежд в смысле близкого участия ее в общем освободительном движении), Чернышевский переходит к характеристике своих политических взглядов. «Я, — пишет он, — начинаю думать, что республика есть настоящее, единственное достойное человека взрослого правление, потому что, конечно, это — последняя форма государства. Это мнение взято у французов, но к этому присоединяется мое прежнее, старинное, коренное мнение, что нет ничего пагубнее для низшего класса и вообще для низших классов, как господство одного класса над другим, ненависть по принципу... к аристократии всякого рода, к сущности этого рода правления, а не форме и господству его. Теперь мое коренное убеждение, которое подтверждено еще более, может быть, словами Луи Блана и социалистов: вы хотите равенства, но будет ли равенство

¹ Гизо оказывал одно время столь сильное действие на Чернышевского, что под его влиянием он готов был отказаться и от принципа народного суверенитета, и от всеобщего избирательного права. Но голос событий оказался сильнее, и скоро Чернышевский укрепился в крайних демократических мнениях.

между человеком слабым и сильным, между тем, у кого есть состояние, и у кого нет, — между тем, у кого развит ум и не развит? Нет, и если вы допустили борьбу между ними, — конечно, слабый, неимущий, невежда станут рабами. Итак, я думаю, что единственная и возможно лучшая форма правления есть диктатура или, лучше, наследственная неограниченная монархия, но которая понимала бы свое назначение, что она должна стоять выше всех классов и собственно создана для покровительства угнетаемых, а угнетаемые — это низший класс, земледельцы и работники, и поэтому монархия должна искренно стоять за них, поставить себя главою их и защитницею их интересов. И это должна делать от души, по убеждению, и должна, конечно, знать, что ее роль — временная, что назначение ее двойное: во-первых, для того, чтобы в настоящем правительстве быть предводительницею низшего класса; ...во-вторых, обязанность [ее] состоит в том, чтобы всеми силами готовить и содействовать будущему равенству, не формальному, а действительному равенству этого сословия с другими высшими классами, равенству и по развитию, и по средствам, и житью, и по всему, так чтобы поднять это сословие до высших сословий. Вот обязанности и настоящее назначение неограниченного правительства, и поэтому я теперь приверженец этого образа правления в той форме, как я его понимаю, но, к сожалению, редко и немногие понимают это значение... Так действовал, например, Петр Великий, по-моему мнению»...

И, снова подчеркнув временный характер этой социальной монархии, Чернышевский заключает: «Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно (курсив мой); но мне кажется, что противники этих господ несколько в сущности их не понимают и воображают и клеветают на них, как я убедился».

Этот неожиданный переход от республиканской *profession de foi* к идее неограниченной социальной монархии не должен особенно удивлять нас, если мы примем во внимание возраст автора этих строк и вспомним, что подобным наивным мечтаниям предавались люди постарше и поученнее его (в частности здесь несомненно чувствуется влияние Гизо). Но Чернышевский недолго оставался на этой позиции и скоро от диктатуры благожелательного абсолютного монарха перешел к идее революционной диктатуры социалистической партии.

Впрочем, из Гизо он умудрялся делать выводы не только в пользу «социальной монархии», но и в смысле признания анархии последним

этапом общественного развития, как видно из записи, сделанной им через несколько дней. Так, 24 сентября 1848 года он заносит в дневник эти новые для него мысли.

«Должен я сказать, — пишет он, — что третьего дня вечером прочитал у Гизо, когда он говорит о рассказах германцев и опровергает взгляд немцев на их древнее устройство, как на образец государственного устройства, прочитал мысли, которые ясным довольно образом начинались у меня тогда, когда прочитал в апреле, кажется в «Débats», о Франции, что вот два месяца, как народ сам собою управляет без всякого правительства, но теперь, после Гизо, это приняло решительную ясность и вполне перешло в убеждение. И вот история народа: сначала все свободны, но нет общества; это замечают и ищут средства выйти из этого состояния; зло само в себе носит противоядие против себя, и являются два противоядия естественным образом: 1) неравенство между лицами развивается, является аристократия, 2) является власть. Так является общество. По одному тому уже, что люди живут в обществе, они развиваются под множеством влияний и столкновений и, развившись, замечают, что власть и неравенство слишком много отнимают свободы и равенства, что общество могло бы существовать, не стоя так дорого частным *volontés* (волям), и начинается стремление противоположное тому, которое было раньше: раньше развивалась власть и неравенство, теперь стремление *diminuer* (уменьшить) их. Конечно, это — цель общества: оно стремится к тому, чтобы, наконец, каждый мог делать все, что хочет, если только с этим может существовать общество (только, говорит он, позабывают, что хотя первое и последнее состояние общества сходны, не сходны несколько лица, составляющие единственные *êtres réels* (реальные существа): там они делают, что хотят, и нет общества, здесь общество есть, и они до того развились, *volontée* их *reglée* (воля их урегулирована), что хоть они могут делать все, не делают ничего, что могло бы разрушить общество, т. е. я здесь несколько изменяю в конце мысль Гизо и говорю о последнем состоянии или, может быть, утонченном состоянии общества, между тем как он говорит только о стремлении). Я так и думал, что чем больше он будет развиваться, тем меньше нужно будет стеснять его, тем меньше нужно будет власти общественной для того, чтобы порядок не был нарушен, и благо целого не было повреждено частными волями».

А 11 июля 1849 года мы находим в его дневнике интересную формулировку его взглядов, показывающую, с каким трудом он пробивался к новому мировоззрению сквозь дебри устарелых представлений, которые медленно, но неуклонно отступали перед новыми взглядами,

вынесенными из книг и из наблюдений над действительной жизнью. Приводим эту запись в выдержках, опуская места, относящиеся до его личных отношений к Лободовскому и родным. Итак: «1. Религия. Ничего не знаю; по привычке, т. е., по срастившимся с жизнью понятиям, верую в бога и в важных случаях молюсь ему, но по убеждению ли это, бог знает. Одним словом, я даже не могу сказать, убежден ли я в существовании личного бога или, скорее, принимаю его, как пантеисты или Гегель или, лучше, Фейербах. В бессмертие личности снова трудно сказать, верю ли; и скорее, нет, а скорее, как Гегель, верю в слияние моего я с абсолютною сущностью, из которого оно вышло, сознание тождества я моего и ее останется более или менее ясно, смотря по достоинству моего я.

«2. Политика: а) Теория — красных республиканцев и социалистов; более приверженец попрежнему (более по преданию¹ и привычке, но нет, кажется, и по сочувствию) Луи Блана; если бы мне теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян, распустил более половины войска, если не сейчас, то весьма скоро, ограничил бы как можно более власть административную и вообще правительственную, особенно мелких лиц (т. е. провинциальных и уездных), как можно более просвещения, учения, школ. Едва ли бы не постарался дать политические права женщинам.

«б) Практика — друг венгров, желаю поражения там русских² и для этого готов был бы самым собою пожертвовать.

«3. Наука. Занимаюсь Нестором, более ничего не делаю; машину свою хочу попробовать в искаженном хотя, т. е. в упрощенном самом виде³.

«4. Литература. Теперь ничего нет в голове; поклоняюсь Лермонтову, Гоголю, Жоржу Занду более всего...

«Мысли: машина; переворот... Через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны, нечто вроде Луи Блана, и женат, и люблю жену как душу свою. Надежды вообще: уничтожение пролетариата и вообще всякой материальной нужды: все будут жить во всяком случае, как теперь живут люди, получающие в год 15—20 000 р. дохода, и это будет осуществлено через мои машины⁴.

«Аминь, Аминь!»

¹ Неразборчиво.

² В это время русские войска подавляли революцию в Венгрии.

³ О машине см. дальше.

⁴ Курсив в этой цитате мой.

Так учился, мыслил и мечтал благородный юноша, настолько погруженный в свои занятия, что казался окружающим его людям вроде Терсинских, не замечавших и не понимавших происходившей в его голове колоссальной работы и ломки, каким-то человеком не от мира сего, исключительно поглощенным своими книгами и ничего кроме них на свете не видевшим.

В мае 1848 года Чернышевский, с одной стороны, под впечатлением первых известий о революции в Западной Европе, а с другой — под влиянием своей любви к Лободовской был настроен чрезвычайно восторженно. Любовь к людям, сочувствие их страданиям ярким огнем горели в его груди. Ему хотелось, чтобы все беды человечества прекратились, чтобы люди зажили мирно и счастливо, чтобы вражда между ними кончилась. «Сердце было полно», как гласит заметка в дневнике от 15 мая 1848 года, и хотелось распространить это чувство блаженства на всех. К этому времени начинается увлечение Чернышевского социалистическими идеями. И вот он приходит к той мысли, что для того, чтобы человечество могло дать полное развитие своим духовным силам, необходимо освободить его от материальных забот. Но в тот момент Чернышевский стоял еще целиком на утопической точке зрения, и ему казалось, что человечество может быть избавлено от страданий и нужды гением отдельного лица, каким-либо великим изобретением, способным доставить удовлетворение материальным потребностям людей и таким образом освободить их от забот и усилий для свободного развития своей духовной жизни.

В мае 1848 года Чернышевский «почел себя изобретателем машины для производства вечного движения»¹. Мысль о подобной машине занимала его и раньше: «тогда я считал себя одним из великих орудий бога для сотворения блага человечеству». Под влиянием блестящих утопий Фурье мысль о машине воскресла с новой силой. 6 марта 1849 года Чернышевский говорит о своей машине, что она «должна перевернуть свет и поставить меня самого величайшим из благодетелей человека в материальном отношении, о котором теперь более всего нужно человеку заботиться (курсив мой). После, когда физические нужды не будут беспокоивать его, начнется для него жизнь как бы в раю (другое дело — болезнь и смерть: те еще, верно, останутся, хотя слабее, чем прежде). Когда снимется проклятие «в поте лица своего снеси хлеб твой», тогда человечество разрешит первую задачу — устранение препятствий к занятию настоящею своею

¹ В шуточной форме Чернышевский рассказывает об этом в сказке «Кормило кормчему» («Соч.», т. X, ч. I, стр. 222 сл.).

задачею — нравственностью и умственностью, тогда перейдет оно к следующим задачам. Я построю мост, и человеку останется только идти в поле нравственности и познания».

Чернышевский таил свое открытие про себя. Долгие часы проводил он за письменным столом, чертя и вычисляя, внося исправления в свой проект и стараясь доказать его практическую применимость. Придя, как ему казалось, к убедительным результатам, он передал описание своего прибора известному тогда физику, академику Ленцу, прося его дать отзыв об этом изобретении. Надо полагать, что Ленц указал Чернышевскому на фантастичность его идеи¹.

Но Чернышевский не хотел так легко отказаться от своей пленительной мысли. Ведь он ставил ей задачу не более не менее, как уничтожение «пролетариата» и освобождение всего человечества. 23 сентября 1848 года он заносит в свой дневник: «Да, о машине я не могу сказать, чтобы я убедился, что это невозможно; мне, напротив, кажется противное, но только недостает средств начать исследования на деле, то я и сижу и молчу, и поэтому мои мысли затеснены вглубь души; на меня ежедневные чувствования и действия не производят никакого впечатления; может быть, они действуют зато вообще на все направление мое в целости, но и это я не могу сказать по фактам, а только предполагать а priori. Но если бы я получил 20 000 р. сер., я тотчас принялся бы за пробы — мне кажется во всяком случае так — и решительно увлекся бы».

В мае 1849 года Чернышевский снова возвращается к своей мысли о машине. По этому поводу 28 мая между Чернышевским и Лободовским состоялась интересная беседа. Лободовский допытывался у Чернышевского, как тот на себя смотрит. Скрытный Чернышевский, уже тогда мечтавший о своем историческом призвании, сначала отнекивался, но наконец сказал, что «считает себя призванным к необыкновенными переворотам», и рассказал о машине вечного движения. Лободовский возразил, что, во-первых, такая машина, пожалуй, невозможна, а во-вторых, что мир больше нуждается в освобождении от нравственного ига и предрассудков, чем от материального труда и нужд. Однако Чернышевский с этим не согласился и указал на историческую бесплодность христианства: «Да много ли успехов принесло учение этого существа, которое проповедывало нравственность и любовь? Вот [прошло] 18 веков, а эти учения и не думали еще входить в жизнь». И тут у него «ясно явилась мысль, что Иисус Христос, может быть,

¹ См. Е. Ляцкий — «Чернышевский и Ш. Фурье». «Совр. Мир», 1909, № 11, стр. 178.

не так делал, как должно было... [Он], который мог освободить человека от физических нужд, должен был раньше это сделать, а не проповедывать нравственность и любовь, не давши средства освободиться от того, что делает невозможным освобождение от порока, невежества, преступления и эгоизма»¹... В общем же Чернышевский сожалел о своей откровенности с Лободовским.

Дальнейшая судьба этой идеи Чернышевского нам неизвестна, но через четыре почти года мы снова встречаем в дневнике упоминание об этой машине. В это время Чернышевский, проживая в Саратове, собирался уже жениться и уехать в Петербург для широкой общественной и литературной работы. Его материалистическое мировоззрение и политические взгляды к рассматриваемому моменту уже оформились, и к этим мечтаниям о машине вечного движения приходится отнести как к последнему запоздалому отголоску старого наивного утопического миропонимания.

Итак, под 9 января 1853 года мы находим в дневнике следующую запись: «Не пошел в гимназию, чтобы обдумать и начертить устройство клапана, который заказывать должен я был ехать вместе с Николаем Ивановичем [Костомаровым]... Но, соображая, убедился окончательно, что машина не пойдет при таком устройстве... Это меня так озадачило, что я решился бросить все это (пока; может быть, после снова примусь, когда будут средства)... и решился уничтожить все следы своих глупостей, поэтому изорвал письмо в Академию Наук, ту рукопись, которую некогда отправлял Ленцу, и которая все хранилась у меня, наконец, все чертежи и расчеты, относящиеся к моим последним похождениям у Николая Ивановича»².

По сообщению Е. Ляцкого (цит. ст., стр. 186), отец указал Чернышевскому на допущенные им ошибки в вычислениях, и больше к мысли о машине Чернышевский не возвращался. Скоро он стал иначе смотреть на методы разрешения социального вопроса.

4. ПЕРЕХОД К МАТЕРИАЛИЗМУ

При всех своих недостатках семинарское образование имело то достоинство, что оно, хотя и в неполной и тенденциозно извращенной форме, знакомило семинаристов с начатками философии. Преследуя чисто служебные, апологетические цели, а именно укрепление будущих

¹ Мысль совершенно правильная, впоследствии легшая в основу литературной деятельности Чернышевского; но подход к ее применению был у него в рассматриваемый период чисто утопический.

² «Сочинения», т. X, ч. II, стр. 5.

священников в православной вере и вооружение их для борьбы с «ересями» и особенно с безбожием, семинария давала своим питомцам кое-какие отрывочные сведения о различных философских системах, и притом не только идеалистических, но и материалистических, ибо последние были особенно опасны для незыблемости правоверия. Вдумчивые юноши относились критически к тому изложению философии, которое им преподносилось духовными педагогами, и делали из него выводы, иногда весьма неожиданные для учителей, стремившихся к спасению их душ и затемнению их мозгов. В семинариях ученикам давались «задачи» (или «задачки») опровергать лжеучения безбожников, зловерными материалистами и вольнодумцами именуемых, и таким образом будущие столпы церкви уже на школьной скамье могли узнавать о существовании таких злоумышленников и еретиков, как Вольтер, Дидро, Гегель и Штраус. А в силу известного закона, по которому запретный плод особенно сладок, а Сатана всегда возбуждал особенный интерес, в душах юных «риторов», «философов» и «богословов» пробуждалось естественное любопытство и желание поближе ознакомиться с лжеучениями поносимых вольнодумцев и безбожников.

Не подлежит поэтому сомнению, что с основными сведениями по философии, хотя в отрывочном и искаженном виде, Чернышевский познакомился еще на школьной скамье. Знал ли он уже в Саратове о таких, например, произведениях, как «Жизнь Иисуса» Штрауса, вышедшая в 1835 году, неизвестно (хотя ввиду поднятого ею шума отголоски его дошли, вероятно, и до Саратовской семинарии), но что он знал уже тогда о Гегеле, об этом он сам рассказал нам в предисловии к предполагавшемуся в 1888 году третьему изданию его «Эстетических отношений искусства и действительности»¹.

Чернышевский, по его словам, «получил возможность пользоваться хорошими библиотеками и употреблять несколько денег на покупку книг в 1846 году (т. е. со времени переезда в Петербург. — Ю. С.). До того времени он читал только такие книги, какие можно было достать в провинциальных городах, где нет порядочных библиотек. Он был знаком с русскими изложениями системы Гегеля, очень неполными». Повидимому, в последних словах имеются в виду «Отечественные Записки» со статьями Белинского и Герцена, в которых, вдобавок, излагались идеи не только Гегеля, но уже и Фейербаха. «Когда явилась у него возможность, — продолжает Чернышевский свой рассказ

¹ «Сочинения», т. X, ч. II, стр. 190 и сл.

о самом себе¹, — ознакомиться с Гегелем в подлиннике, он стал читать эти трактаты. В подлиннике Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели ожидал он по русским изложениям. Причина состояла в том, что русские последователи Гегеля излагали его систему в духе левой стороны гегелевской школы. В подлиннике Гегель оказывался более похож на философов XVII века и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким являлся он в русских изложениях его системы. Чтение было утомительно по своей явной бесполезности для сформирования научного образа мыслей. В это время случайным образом попало желавшему сформировать себе такой образ мыслей юноше одно из главных сочинений Фейербаха. Он стал последователем этого мыслителя; и до того времени, когда житейские надобности отвлекли его от ученых занятий, он усердно перечитывал и перечитывал сочинения Фейербаха» (цит. соч., стр. 191—192).

Когда именно Чернышевский начал знакомиться с Гегелем в оригинале, в точности трудно установить, ибо дневник его, как мы говорили, начат был им лишь в двадцатых числах мая 1848 года. Судя по указанию Чернышевского (в цитированном выше предисловии) на 1846 год, надо полагать, что он приступил к чтению сочинений Гегеля с самого начала пребывания своего в университете. И читал он Гегеля долго, чуть ли не до самого конца университетского курса. Как видно из записей в дневнике, в Чернышевском по отношению к Гегелю боролись два чувства: с одной стороны, он готов был признать себя решительным сторонником его системы, с другой — временами он столь же решительно против него возмущался. Объяснялось это двойственностью впечатления от гегелевской системы, которая, привлекая Чернышевского своей идеей развития, отталкивала его своими схоластическими чертами. А в первое время к этому присоединялось еще и опасение лишиться под влиянием Гегеля старой детской веры, вынесенной из отчего дома и долго державшейся цепкими когтями в его сердце. Но в конце концов Чернышевский сумел оценить великое историческое значение гегелевской философии и в особенности ее диалектического метода, сторонником которого он остался навсегда².

13 октября 1849 года Чернышевский заносит в дневник: «Мне кажется, что почти решительно принадлежу Гегелю, которого, конечно, почти не знаю, конечно, из мыслей о развитии и значении лица

¹ Автор предисловия говорит о себе в третьем лице, ибо в те времена (1888 год) имя Чернышевского было еще запретным, и книгу предполагалось издать без имени автора.

² Ср. Е. Ляцкий — «Н. Г. Чернышевский и учителя его мысли (Гегель, Белинский, Фейербах)». «Совр. Мир», 1910, №№ 10—11.

только как проявления, но это так, — и вся история так* говорит и так и объясняется... Но вместе [с тем] меня обнимает и некоторый благоговейный трепет, когда я подумаю, какое великое для [меня] решение присоединиться к нему, т. е. великое для моего я, а я предчувствую, что увлекусь Гегелем. Твоя воля, боже, да будет — и будет она».

В высшей степени характерно для Чернышевского с его поисками единого мировоззрения, что в системе Гегеля особенно прельстил его монистический ее характер. Он приходит в восторг от той мысли, «что все из идеи, что идея развивается сама из себя, производит все и из индивидуального возвращается сама к себе: развитие идеи по Гегелю» (заметка в дневнике 9/XI 48). Сопоставляя Гегеля и Фурье, которого он изучал в это самое время, Чернышевский 10 декабря 1848 года снова подчеркивает характерные черты этой философии, т. е. принцип единства вселенной и идею развития. «Читал Фурье, — отмечает он... — *Avant-propos* об отношении тьмы к свету... планеты к комете. Пришла в голову... теория развития небесных тел и вообще развития. Когда я буду доказывать, что все развивается, происходит через развитие (т. е. когда Гегель будет защищать свою систему), я буду ссылаться на все эти примеры. Но собственно это не доказательство настоящим образом, а указание, что эта мысль уже сознана веком в известных частных случаях и приложена по мере возможности, потому что все должно быть едино, по одной мере и весу должны мы смотреть на все: там признаете это, следовательно, должны признавать и здесь, — таково стремление идей века, и потому каждая идея будет для вас (а может быть, и навсегда) истина».

Тот же петрашевец Ханыков, который снабжал Чернышевского сочинениями Фурье, давал ему для чтения и некоторые произведения Гегеля. 25 января 1849 года Чернышевский взял у него гегелевскую «Философию права», «что, — прибавляет он, — меня несколько взволновало, но только голову, а не сердце — от радости и размышления, что-то вычитаю я там у него». Но учение Гегеля о праве не произвело на Чернышевского того впечатления, какое прежде произвела гегелевская теория развития. «Гениальности не вижу, — записывает он 27 января 1849 года, — потому что строгих выводов не вижу еще, а мысли большею частью не резкие, а умеренные, не дышат нововведениями. Поэтому я не могу видеть в них ничего особенного, пока не увижу, что они непоколебимо выведены и связаны между собою и со всем целым. Что человек умный, это видно. Боюсь, что придется мне краснеть за это после, но все равно — пишу... Дело в том, что не решительно все понимаю... не решительно еще приготовлен к этому чтению».

28 января 1849 года Чернышевский записывает: «Особенного ничего не вижу, т. е. что в подробностях везде, мне кажется, он — раб настоящего положения вещей, настоящего устройства общества, так что даже не решается отвергать смертные казни и проч. Тон и выводы его робки или в самом деле вообще начало как-то плохо об'ясняется нам, что и как должно быть вместо того, что теперь есть. Ведь Фихте пришел же к обоготворению настоящего порядка вещей... Главное то, что его характер, т. е. самого Гегеля, это — философия удаления от бурных преобразований, от мечтательных дум об утопиях, *die zarte Schonung des Bestehenden*» (заботливая охрана существующего)¹.

Как мы видим, Чернышевского неприятно поразило в Гегеле его приспособление к действительности, его преклонение перед нею и примирение с мерзостями настоящего, которое в сущности противоречило диалектической основе его философии². Последнюю, разрушительную, революционную сторону гегелевской диалектики Чернышевский заметил хорошо. Ляцкий (цит. соч., стр. 154) приводит характерную в этом отношении выдержку из студенческих тетрадок Чернышевского 1848 года, где сказано: «Гегель велик идеей развития... Вечная борьба и вечное движение вперед, выирывающая в сущности, а в форме приводя

¹ Курсив в цитате мой.

² На эту именно сторону вопроса Чернышевский впоследствии указывал в «Очерках гоголевского периода» («Соч.», т. II, стр. 184). Упомянув о статье М. А. Бакунина «Предисловие к гимназическим речам Гегеля» (разумеется, не называя ее автора, сидевшего в то время в Шлиссельбургской крепости), а также о статьях Белинского в 1838—1839 гг., в частности о «Бородинской годовщине», проникнутых преклонением перед «действительностью», Чернышевский подчеркивает, что «статьи «Московского наблюдателя», написанные Белинским и его товарищами по убеждениям (читай: Бакуниным.—Ю. С.) под исключительным влиянием сочинений Гегеля, представляются на первый взгляд совершенно противоречащими статьям, которые тот же самый Белинский писал через несколько лет». Чернышевский об'ясняет это следующим образом: «Это разноречие зависит от двойственности самой системы Гегеля, от разноречия между ее принципами и ее выводами, духом и содержанием. Принципы Гегеля были чрезвычайно мощны и широки (читай: революционны.—Ю. С.), выводы — узки и ничтожны; несмотря на всю колоссальность его гения, у великого мыслителя достало силы только на то, чтобы высказать общие идеи, но не достало уже силы неуклонно держаться этих оснований и логически развить из них все необходимые следствия». Это, продолжает он, было сделано его последователями как в Германии (т. е. левыми гегельянцами, особенно Фейербахом), так и в России («отчасти—мы с гордостью можем сказать это — собственными силами»).

конец¹ к началу». Здесь по существу вкратце выражена та же мысль, которую мы через десять лет встретим в развитой форме в знаменитой статье «Критика философских предупреждений против общинного землевладения», кончающейся восторженной апологией диалектического метода².

Но настоящий переворот в воззрениях Чернышевского произвел не Гегель, а Людвиг Фейербах. От Гегеля через Фейербаха к революционному материализму — таков был путь не одного Чернышевского и даже не одной русской интеллигенции сороковых годов, но и немецкой интеллигенции радикального крыла, в том числе основателей научного социализма, Маркса и Энгельса.

С Фейербахом познакомил Чернышевского тот же Ханыков. 25 февраля 1849 года Чернышевский взял у Ханыкова для прочтения знаменитую книгу «Сущность христианства», которая тогда уже насчитывала 8 лет своего существования, но для Чернышевского, знавшего о ней только понаслышке, была настоящим откровением. Еще до того, как Чернышевский приступил к чтению этой книги, он уже знал, что она угрожает нанести решительный удар его традиционным представлениям и верованиям. Но он считал их более солидными, чем они оказались на деле, и не предвидел, что, уже подкопанные наблюдением революционных событий 1848 года и изучением социалистических систем, они не устоят перед разрушительным тараном фейербаховской «антропологии».

«Когда я брал (Фейербаха), — записывает он в дневнике, — и шел домой, — у меня было несколько раздумья, что выйдет из этой книги, когда я ее прочитаю; убежусь ли я решительно в том, что говорит он, или нет. Но была какая-то мысль, что я останусь почти с прежними убеждениями, т. е., что прежние верования решительно не годятся, а сущность только справедлива в нашей религии, т. е. личный бог един, возможность и действительность откровения; но толкование церковью этого откровения решительно негодно. Однако и эти убеждения в личности бога, божественности христовы пришествия, и особенного, а не просто естественного — все это весьма шатко в голове. Когда пришел, прочитал вечером и утром сегодня введение, весьма понравилось своим благородством, прямою, откровенностью, резкостью. Че-

¹ У Лядкого сказано «конечно».

² Уважение к Гегелю Чернышевский сохранил до конца. Так, в письме из Сибири от 8 марта 1875 г. он говорит: «Гегель... ныне вышел из моды и, точно, устарел; но по силе ума и громадности знаний никто из нынешних ученых в подметки не годится ему» («Чернышевский в Сибири», т. I, стр. 138).

ловек недюжинный, с убеждениями. После прочитал еще несколько страниц и теперь убеждение такое, что это так: человек всегда вообразил себе бога человечески, по своим собственным понятиям о себе, как самого лучшего абсолютного человека; но что же это доказывает? Только то, что человек все вообще представляет как себя, а что бог един — решительно так, отдельное лицо... Но я прочитал еще всего 8—10 страниц, и, может быть, мое убеждение изменится».

В первое время Чернышевский, чувствуя опасность фейербаховской критики религии для его представлений, пытается бороться с влиянием философа и даже приступает к изучению его неохотно. Он силится еще противостоять влиянию разлагающей критики Фейербаха, и последние остатки традиционной веры на время вспыхивают в нем как бы с обновленной силой.

Но удары старым верованиям наносились с разных сторон, и долго они выдержать не могли. Тем более, что колебаться они начали еще до знакомства с Фейербахом, — и характерно, что первые раны были им нанесены не философскими рассуждениями, а фактами действительности, событиями революционной борьбы, в частности, июньскими днями 1848 года во Франции, судя по тому, что первую запись такого рода мы встречаем в дневнике под 2 августа 1848 года. Там имеется следующее знаменательное место: «Обзор моих понятий — богословие и христианство. Ничего не могу сказать положительного; кажется, в сущности держусь старого более по силе привычки. Но как-то мало оно клеится с моими другими понятиями и взглядами (курсив мой) и поэтому, должно быть, и вспоминается мало и чрезвычайно мало действует на жизнь и ум. Занимает мысль, что должно всем этим заняться хорошенько. Тревоги нет. Блеснула мысль: «без религии нет существа», говорит Платон... Он под этим, вероятно, подразумевал совокупность нравственных убеждений».

Когда человек пытается свести религию к совокупности моральных убеждений, это значит, что вера в нем уже сильно пошатнулась. Да и как же могло быть иначе, когда вслед за приведенной нами поддержкой идет заявление Чернышевского, что он, кажется, принадлежит к крайнему крылу революционных демократов? И недаром в подчеркнутых нами словах он указывает на противоречие между его старыми верованиями и новыми, т. е. революционно-демократическими и социалистическими взглядами.

25 сентября 1848 года мы находим в дневнике новую запись, показывающую, что Чернышевский, чувствуя крушение старой веры, силится сам себя убедить в том, что в основных вопросах он от нее

не отступился. «Я должен сказать, что я в сущности — решительно христианин, если под этим должно понимать верование в божественное достоинство Иисуса Христа, т. е. как это веруют православные в том, что он был бог и пострадал, и воскрес, и творил чудеса, — вообще во все это я верю. Но с этим соединяется, что понятие христианства должно со временем усовершенствоваться, и поэтому я нисколько не отвергаю неологов и рационалистов и проч., и, напр., P. Leroux и проч. Только мне кажется, что они сражаются только против настоящего понятия христианства, а не против того христианства, которое устарело и которое даже развивают они, как развивают философию все философы — и Паскаль, и все, — что они восстают против несовременного понятия христианства, против того, что церковь и ее отношение к обществу не так устроены, как требуют того отношения современные и современные нужды, и что христианство только может приобрести от их усилий». Признавая, что «главная мысль христианства есть любовь, и что эта идея — вечная», до сих пор не вполне понятая даже в теории, не говоря уже о приложении ее на практике, Чернышевский считает правильным и другой «коренной догмат христианства» о помощи божьей, о сверхъестественном освящении, «что и составляет собственно то, что есть сверхъестественного в христианской религии». «Вообще, — говорит он, — что касается до этого догмата благодати, освящающей человека, я решительно нисколько не отвергаю его и готов даже по теории защищать его, и кто отвергает его, тот говорит почти против меня, но сам по опыту я не убежден в этом так твердо, как в других вещах... но по теории я скорее убежден в этом, чем сомневаюсь, и иногда даже замечаю за собою поступки, которые объясняются только верованием в сверхъестественную помощь божества».

Но крот революции продолжал свою работу, и в июле 1849 года в замечательной странице, где Чернышевский делает обзор всех своих воззрений (мы привели ее выше), он начинает допускать мысль, что старую веру в существование личного бога и в бессмертие души он уже потерял, и склоняется в этом вопросе на сторону Гегеля или, скорее, Фейербаха. «Ничего не знаю», «не знаю, что сказать», — вот к чему начинает приходить Чернышевский, который так недавно еще не только был предан религиозным идеям, но и строго соблюдал церковные обряды.

Но для его поколения, вернее, для его социального происхождения характерно, что решение этого вопроса, который для революционеров последующих периодов или вовсе не существовал, или решался без всякого труда, далось ему только после длительной борьбы.

«В религии я не знаю, что мне сказать, — записывает он 20 января 1850 года. — Я не знаю, верю ли я в бытие божие, в бессмертие души и т. д. Теоретически я скорее склоняюсь не верить, но практически у меня недостает твердости и решительности расстаться с прежними своими мыслями об этом, а если бы у меня была смелость, то в отрицательности я был бы последователь Фейербаха; в положительности, не знаю чей, — кажется, тоже».

И даже еще в мае 1850 года, стоя уже определенно на революционной и социалистической точке зрения, Чернышевский готов усмотреть «слабость характера» в том, что в знакомом обществе он «поддакивал» нападкам на религию, «между тем, как я занят не этими вопросами, а политическими, социальными и собственно нисколько не враг настоящего порядка в религии, хотя, конечно, веры весьма мало».

В течение всего 1850 года Чернышевский продолжал читать сочинения Фейербаха, но старые боги не хотели сдаваться без боя, и еще 15 сентября 1850 года мы читаем в его дневнике следующие характерные строки: «Скептицизм в деле религии развился у меня до того, что я почти решительно от души предан учению Фейербаха, а все-таки, напр., посовестился перед маменькою не зайти 13-го числа в церковь, когда шел на пробную лекцию, потому что было еще рано (нужно в 7 ч.), а уже благовестили в той церкви (в Конногвардейской), мимо которой я шел». И это уже по окончании университета, накануне учительской карьеры, после решительных демократических и социалистических деклараций, с которыми мы познакомимся на следующих страницах!

Но если в дневнике Чернышевский выражается об этом вопросе нерешительно и осторожно, то при столкновении с религиозными суевериями в жизни этот на вид сдержанный, но временами чрезвычайно экспансивный человек и прирожденный пропагандист не всегда, повидимому, удерживался на холодных высотах скептического агностицизма. Так, уже известный нам Ив. Палимпсестов в своих «Воспоминаниях земляка о Чернышевском» (стр. 558) сообщает следующее.

«Перелом (в воззрениях Чернышевского. — Ю. С.) совершился в бытность его в университете, и притом сравнительно в короткое время». Года через два¹ Чернышевский, приехав в Саратов, зашел к Палимпсестовым, как к старым знакомым. «С поспешностью отворяется дверь, и довольно размашисто входит знакомый юноша в студенческом сюртуке. С первого же взгляда на него я не мог не заметить большой перемены: вместо легкой согбенности стан выпрямился; взор

¹ Вероятно, это происходило в 1850 году.

открытый, руки в движении; есть что-то размашистое, признаки какой-то удали».

И далее между ними будто бы произошел такой разговор. Чернышевский, указывая на видневшуюся в углу икону, сказал: «Что это, Иван Устинович, вы все попрежнему живете?». — Попрежнему, — отвечал тот. — «И за Николая Павловича (т. е. царя. — Ю. С.) молитесь?». — Молюсь. — «И свечи нерукотворному ставите?» (речь шла о хранившейся в саратовском соборе иконе Христа). — Ставлю. — «Да перестаньте жить по преданиям старины глубокой; поезжайте в Питер, и вы просветитесь истинно не вечерним светом». — У нас один не вечерний свет, которого и тьма не об'яст, — сказал Палимпсестов. — «Нет, этот свет уже отжил свои века», — возразил Чернышевский.

Если даже допустить, что Палимпсестов, руководясь своими реакционными чувствами, несколько сгустил краски в этом описании, придется все-таки признать, что Чернышевский не только не скрывал свое новое настроение, но по свойственному молодости увлечению выражал его даже в довольно энергичной форме¹.

Несмотря на отмеченные выше временные колебания в области практического применения новой философии, Чернышевский со времени усвоения системы Фейербаха стал решительным сторонником материалистического мировоззрения. Фейербах, утверждавший, между прочим, что отныне философия должна уступить место естествознанию, натолкнул Чернышевского, до тех пор интересовавшегося лишь гуманитарными науками и особенно историей, на изучение естественных наук. Он познакомился тогда с основными трактатами по физике, астрономии, геологии, биологии и пр. Сам он в сибирских письмах упоминает творения Ньютона, Лапласа (которого он, впрочем, знал, кажется, только в изложениях), Ляйелля, Ламарка, как произведения, хотя и не давшие ему новых принципиальных положений по сравнению с Фейербахом, все же укрепившие его в чисто-научном, т. е. материалистическом миропонимании.

Так, в письме от 1 ноября 1873 года из Вилюйска он по поводу присланных ему новых книг пишет: «Видишь, как ценю я книги, делающие эффект в кругу даже передовых ученых Западной Европы: книги хорошие; но нового в них для меня, слыхивавшего о Лапласе и Спинозе и знавшего когда-то Фейербаха чуть не наизусть, нового в них для

¹ Тот же Палимпсестов сообщает, что, когда при встречах на каникулах он расспрашивал Чернышевского о Петербурге, то тот в ответах «часто ввертывал слова: казенщина, казармщина, солдатчина и т. д.».

меня — только технические мелочи, вроде спектрального анализа, которого, разумеется, не знали люди времен, когда формировался мой образ мыслей» («Чернышевский в Сибири», т. I, стр. 73).

А в письме к сыну Михаилу от 7 февраля 1878 года сказано:

«Специальные решения важнейших специальных вопросов этого предисловия (к истории человечества) даны давно и издавна были известны людям, державшимся научной системы общих понятий, почти все, державшиеся этой системы, издавна считали те специальные решения за совершенно достоверные.

«Я говорю о решениях, данных: по отделу астрономической теории Лапласом; по отделу геологической истории Ляйеллем; по вопросу о происхождении человека Ламарком».

Эту «единственно научную (т. е. материалистическую. — Ю. С.) систему общих понятий» Чернышевский, по его словам, усвоил себе «в ранние годы молодости, вот уж лет тридцать теперь тому» (т. е. в 1848—1849 году. — Ю. С.). Ее он «с того времени всегда твердо держался» и, как надеется, будет твердо держаться, пока будет сохранять силу мыслить.

С Ламарком, Ляйеллем и Лапласом он познакомился вскоре после того, как усвоил себе научную систему общих понятий, т. е. после ознакомления с Фейербахом (значит, в 1849 и 1850 годах). Ровно никакой перемены в его понятиях ни Ляйелль, ни Ламарк не произвели: от них он приобрел «лишь новые знания по специальным вопросам»; другими словами, они лишь укрепили его материалистическое мировоззрение, полученное им от Фейербаха («Чернышевский в Сибири», т. III, стр. 21—22 и 33—34) ¹.

5. ПЕРЕХОД К СОЦИАЛИЗМУ

Наряду с изучением немецкой философии в лице ее тогдашнего последнего слова, т. е. фейербаховского материализма, Чернышевский знакомился с критикой и публицистикой 40-х годов, т. е. главным образом с сочинениями Белинского, а также с передовой французской литературой.

¹ Чернышевский указывает, что его материалистическое мировоззрение окончательно сложилось к 1850 году. «Когда, — пишет он, — мне было лет двадцать пять (т. е. примерно с 1853 года. — Ю. С.), мои знания о том, что не относилось прямо к моим занятиям (журналистикой. — Ю. С.), уже перестали расширяться... С двадцати двух лет (т. е. с 1850 года. — Ю. С.) я уже не читал почти ничего по естествознанию... И вообще у меня не было досуга читать» (ibid., стр. 37—38).

Он изучает сочинения французских утопистов и делается горячим сторонником проповедуемой ими реорганизации общества на началах разума и справедливости. Не забудем, что это было время, когда действовал кружок петрашевцев, что в рассматриваемые годы передовые кружки русской молодежи горячо увлекались коммунистическими мечтами и зачитывались творениями Сен-Симона, Фурье, Прудона, Кабэ, Р. Оуэна и Пьера Леру. Чем мрачнее была ночь беспросветной реакции, нависшая в то время над Россией, тем с большим увлечением и энтузиазмом воспринимала пылкая юность проповедь коренного преобразования ненавистных общественных отношений.

В оформлении общественных взглядов Чернышевского огромную роль сыграло его ознакомление с произведениями великого французского утописта Шарля Фурье. Но не следует думать, что социалистом Чернышевский стал только и исключительно под влиянием чтения сочинений Фурье и его школы. Напротив, уже до знакомства с фурьеризмом симпатии Чернышевского определенно склонялись к социализму, сочувствие его было полностью обеспечено трудящимся, — и произошло это не под влиянием изучения книжных теорий, а под впечатлением революционных событий 1848 года, в частности — героических выступлений французского пролетариата. Чтение газет предшествовало чтению Фурье, известия о революционных происшествиях, говорившие об ожесточенной борьбе классов, подействовали на душу молодого студента раньше и, надо полагать, сильнее, чем ознакомление с теми или другими системами разрешения социального вопроса.

Уже 28 июля 1848 года мы находим в дневнике следующую заметку: «Все более утверждаюсь в правилах социалистов» (курсив мой). Симпатии его все более склонялись в сторону социализма. Он еще, повидимому, не разбирается в специфических сторонах отдельных социалистических школ, но общее сочувствие к социалистическим идеям овладевает им все сильнее и сильнее. Как видно из записи от 29 октября, мысль о коммунизме и о торжестве этой системы он готов иногда считать мечтою, но все же она не выходит у него из головы. Во всяком случае до знакомства с сочинениями Фурье, сыгравшими столь видную роль в духовном развитии Чернышевского, он в общем был уже подготовлен к восприятию социалистической доктрины.

23 ноября 1848 года, после лекции проф. Никитенко и литературной беседы о Гёте, к Чернышевскому подошел студент Ханыков и спросил:

— Так вас сильно интересуется разгадка характера Гёте?

— Да, конечно, сильно, — ответил Чернышевский.

— Ну, так это сделано уже в науке...

Чернышевский думал, что Ханыков намекает на Гегеля, но тот возразил:

— Нет, у Фурье, который нашел гамму страстей.

По дороге из университета Ханыков рассказал Чернышевскому о Фурье, его жизни и системе ассоциаций. Беседа продолжалась на дому у Ханыкова, причем перед Чернышевским начали открываться новые горизонты. Тут же Ханыков передал ему несколько номеров фурьеристского журнала «La Phalange» («Фаланга») и «Paris Révolutionnaire» 1838 года. Беседы с Ханыковым, который знакомил Чернышевского не только с фурьеризмом, но и с другими социалистическими системами, оказали сильное действие на впечатлительного юношу, переживавшего в это время духовный перелом во всех областях. «Дельный человек, — записывает о нем в дневнике Чернышевский, — ужасный пропагандист... Кажется, я свяжусь с ним; он нисколько не увлекает меня, но я теперь его уважаю как человека с убеждением и сердцем горячим». И дальше он говорит: «что то будет из этого знакомства с Ханыковым, загложнет ли оно или превратится в мое обращение в фурьериста? Что то бог даст! Кажется, моя трусость и нерешительность и несмелость оставить прежние понятия, которые привились ко мне, заставят меня остаться в таком же положении в этом отношении, как и теперь». Чернышевский ошибался: то, что казалось ему проявлением умственной трусости и нерешительности, было только признаком углубленного критического подхода к делу, стремления не поддаваться первому впечатлению и не принимать вопрос на веру без всестороннего рассмотрения. Знакомство с системой Фурье оставило глубокий след в душе Чернышевского и наложило заметный отпечаток на всю его дальнейшую умственную деятельность.

Начал Чернышевский изучение Фурье с его «Космогонии», составляющей первую часть его «Théorie des quatre mouvements» («Теория четырех движений»). Основную мысль Фурье Чернышевский признал правильною, но примеры и приложения показались ему странными. Проникающее всю систему Фурье понятие «ассоциации» сильнее всего поразило Чернышевского. Столь же сильно поразило его учение Фурье о страстях. Положение Фурье, гласящее, что страсти являются основным фактором прогресса, что при свободном и полном проявлении они могут приносить самые благодетельные результаты как для отдельной личности, так и для всего общества, и что разумное общественное устройство должно базироваться на учреждениях, соответствующих природе человеческих страстей, — это положение фурьеризма (и его

частное применение — учение о привлекательности труда) было полностью усвоено Чернышевским и впоследствии неоднократно развивалось им как в беллетристических произведениях (романе «Что делать?»), так и в экономических («Примечаниях к Миллю» и пр.)¹. Нечего и говорить, что Чернышевский признал и такие стороны учения Фурье, как переустройство общества на началах солидарности и гармонии. И в частности мысль Фурье о том, что «великая проблема социальной механики заключается в том, чтобы поднять весь народ до положения собственника», — также была воспринята Чернышевским и легла в основу его экономических воззрений, впоследствии выражаясь почти теми же словами в его основных политико-экономических работах («Капитал и труд», «Примечания к Миллю» и пр.).

Одновременно с Фурье Чернышевский читал и сочинения его самого выдающегося последователя, Виктора Консидерана, именно его знаменитую трехтомную работу «*La Destinée Sociale*» (1834—1844), в которой изложена книга Фурье «*Le Nouveau Monde industriel et sociétaire*». Консидеран, в котором коммунистический элемент был гораздо ярче выражен, чем в самом Фурье, и который определенно делил общество на два враждебные класса — буржуа и пролетариев, произвел на Чернышевского весьма сильное впечатление. Это между прочим видно из того, что в романе «Что делать?» Лопухов, приступая к «развитию» Веры Павловны, приносит ей для чтения: 1) «Лекции о религии» Людвига Фейербаха и 2) Консидерана — «*La Destinée Sociale*»². Зная, какую роль в умственной жизни Чернышевского сыграла названная книга Фейербаха, мы вправе заключить, что столь же высоко он ставил и упомянутое сочинение Консидерана.

Надо сказать, что Чернышевский принимал принципы Фурье не без некоторых сомнений и внутреннего сопротивления. Слишком во многом они противоречили его прежним верованиям и представлениям, сидевшим еще в нем остаткам старого идеалистического мировоззрения, которое не сразу уступило место новым принципам, навеянными сочинениями Л. Фейербаха (с последними он, как мы знаем, начал знакомиться двумя месяцами позже и изучал их одновременно с Фурье и другими социалистическими писателями, как Сен-Симон, Прудон, Луи

¹ Ср. Е. Ляцкий — «Н. Г. Чернышевский и Ш. Фурье». «Совр. Мир», 1909, № 11, стр. 169—171.— Напоминаем, что Ханыков всегда подчеркивал эту сторону учения Фурье; надо полагать, что делал он это и в беседах с Чернышевским.

² «Сочинения», т. IX, стр. 55.— Матушка Веры Павловны понимает слово «*destinée*», как «гостинная» и решает, что эта книга дает наставления к хорошему поведению в обществе.

Блан). Так, собираясь прочесть у проф. Никитенки реферат и начав переводить для этого из «Phalange» статью о страстях, Чернышевский, по поводу рекомендуемой фурьеризмом полной свободы в удовлетворении страстей, в том числе половой, замечает: «Маленькое сомнение у меня: ведь это против общепринятой системы нравственности». И как это читать в аудитории! Столь же смущало его сначала учение Фурье о привлекательности труда (запись в дневнике от 3 декабря 1848 года).

С каким трудом Чернышевский усваивал новые принципы, видно из следующей его записи. 4 декабря он встретился у Ханькова, который играл по отношению к Чернышевскому роль действительного учителя, с Дебу (вероятно, младшим), тоже членом кружка петрашевцев. Пока говорили «о политике в радикальном смысле», Чернышевский был «решительно согласен». Когда же собеседники начали отрицать институт семьи, он стал возражать им, считая невозможным отнимать детей от родителей и отдавать их на воспитание государству. «Разумеется, — поясняет он, — говорю про теперешнее положение вещей, когда государство так глупо». Не соглашался также Чернышевский с их резкими отзывами о религии, хотя по своей «обыкновенной слабости или уступчивости» им не противоречил.

Но, упираясь и стараясь выискать слабые места у Фурье, Чернышевский незаметно поддавался обаятельному влиянию его грандиозной системы упорядочения и гармонизации человеческого труда в мировом масштабе. Правда, чудаческие стороны фурьеризма в изложении основателя этой системы его возмущали и удивляли. Так, по поводу 1-го тома «Теории всемирного единства» Чернышевский 4 декабря замечает: «Как будто бы читаешь какую-то мистическую книгу средних веков или наших раскольников: множество здравых мыслей, но странностей бездна». Его даже удивляет, как человек, подобный Фурье, мог стать «главою школы, которая неоспоримо занимает великое место в истории, что он первый провозгласил новый принцип — удовлетворения инстинктов, хотя, может быть, придал ему странный вид, так что вышло что-то похожее на смешное. Притязания его так ограничены, явно случайны и несамостоятельны, напр., вознаграждение эмигрантов и пр., и весь этот 2-й том (сочинений Фурье) так отзывается рассуждениями сумасшедшего у Гоголя, а между тем он провозгласил первый несколько мыслей, которые называют нелепыми, а я нахожу решительно разумными и убежден, что будущее принадлежит этим мыслям, напр., о вреде торговли в теперешнем виде и пр., и пр. Мне кажется это несообразностью, и мне хочется предпола-

гать, что все эти мысли заняты им у его предшественников. — Должно это узнать»¹.

Под влиянием Фурье, который сам был религиозно настроен, у неосвободившегося еще от религиозных мнений Чернышевского возникают мысли о новой религии, — но религии не смирения, а борьбы. И он заносит 11 декабря 1848 года в дневник свои размышления: «Дочитал нынче утром Фурье, т. е. собственно и не дочитал, а пробежал глазами, потому что вечная палинодия² надоела наконец. То же и то же во всем предисловии, и вижу, что он собственно не опасен для моих христианских убеждений». И дальше: «Что если мы должны ждать новой религии, которая ввергнет меч между отцом и сыном, между мужем и женой, как христианство, и если я приму ее? Но это желание — повторение, а повторения редки, и скорее вместо христианства, если оно должно пасть, не явится ли уже такая религия, которая объявила бы себя не святым откровением, а, по системе Гегеля, вечно развивающеюся идеею?

«А что, если мы в самом деле живем во время Цицерона и Цезаря, когда *saeculorum novus nascitur ordo*, и является новый Мессия и новая религия и новый мир? У меня, робкого, волнуется при этом сердце, и дрожит душа, и хотел бы сохранения прежнего. Слабость, глупость! Что угодно богу, то да будет! если это откровение — последнее откровение, пусть будет так; если должно быть новое откровение, да будет оно! И что за дело до волнения душ слабых, таких, как моя! Но я не верю, чтобы было новое, и жаль, очень жаль мне было бы расстаться с Иисусом Христом, который так благ, так мил душе своею личностью, благой и любящей человечество, и так вливает в душу мне мир, когда подумаешь о нем»³.

¹ Однако грубыми нападками вульгарного Прудона на Фурье Чернышевский был решительно недоволен.

² Отречение. В каком смысле это слово употреблено здесь Чернышевским, не знаем.

³ Что Чернышевский и позже умудрялся сочетать социалистические мысли с пережитками своих старых христианских настроений, видно из следующей записи в дневнике, относящейся к 26 мая 1850 года: «Из университета стал читать L. Blanc 3-ю часть «Истории de dix ans» (т. е. «Истории десяти лет» Луи Блана), которую читал урывками и перед экзаменом, что много мешало приготовлению, и теперь дочитал все. Здесь говорится о сенсимонистах и их процессе и, признаюсь, сделало на меня впечатление весьма большое, и показалось, что чем же *Enfantin* (Анфантен) отличается от Иисуса Христа. Может быть смертью, но не [учением?]. Такой же глубокий и почтительный энтузiazм возбуждает к себе; и в этом спокойствии и хладнокровии, с которым отвечает на отречения от него — тоже много сходного;

Но скоро он расстался с этим «благим» Христом, когда убедился, что в старые мехи нельзя вливать новое вино.

Не подлежит сомнению, что ознакомление с выдающимися произведениями тогдашней социалистической мысли оказало решающее влияние на выработку взглядов Чернышевского. Но как мы уже видели и как увидим еще дальше, Чернышевский отнюдь не без всякой критики принимал взгляды утопистов. В частности к сен-симонизму с его мечтаниями об авторитете, превращавшими его в своего рода разновидность папизма, он относился совершенно отрицательно¹. Столь же критически относился он к увлечениям и фантазиям фурьеризма, к промахам Луи Блана, к неосновательным выпадам Прудона; но критическая сторона их творений была им усвоена твердо, а из положительной части учения утопистов он усвоил принцип возрождения общества путем ассоциации.

Как мы увидим дальше, Чернышевский своеобразно переработал и претворил положения утопического социализма. Пытаясь объединить их с выводами гегельянской философии, с материалистическим мировоззрением и с критикой существующих экономических отношений, Чернышевский самостоятельно стал на путь, приближавший его к выработке системы научного социализма. Но создать такую цельную систему ему не удалось. С одной стороны, этому помешал насильственный перерыв в его литературной деятельности, вызванный его арестом и ссылкой; с другой стороны, неразвитость общественных отношений в тогдашней России лежала на нем тяжелым балластом и не давала ему возможности развить до логического конца свои взгляды...

Впрочем, судя по дневнику Чернышевского, политические взгляды его оформились не столько под влиянием чтения книг, сколько под влиянием фактической революционной борьбы, совершавшейся на его глазах в 1848—1849 годах. За всеми перипетиями революционных событий Чернышевский следил с лихорадочным вниманием, не всегда разбираясь в деталях, приписывая социалистические взгляды самым обыкновенным демократам вроде Ледрю-Роллена во Франции, Геккера и Струве в Германии, но в общем довольно правильно улавливая действительный характер событий и все решительнее отдавая свои симпатии наиболее левым демократам, а затем и революционным социалистам. Сведения об этих событиях Чернышевский мог, к сожалению, почерпать только из буржуазных газет, главным образом из консер-

это смирение, проистекающее от сознания, что [он] неизмеримо выше отрицающихся, тоже. И вообще это чрезвычайно трогательно».

¹ См. его статью «Июльская монархия». «Соч.», т. VI, стр. 128 и сл.

вативного «Journal des Débats», который он доставал у Раева, и из умеренно-либеральной «Indépendance Belge». Это, впрочем, не мешало ему разбираться в действительном значении и характере ожесточенной классовой борьбы, разгоревшейся тогда в Западной Европе.

Революция 1848 года произвела на Чернышевского сильнейшее действие. Нам, к сожалению, неизвестно, как он реагировал на первые события этого бурного периода — на февральские дни во Франции и на мартовские дни в Австрии, Германии и Италии, ибо дневник он начал вести только с конца мая этого года. Поэтому мы находим в его записях больше соображений по поводу уже начинавшейся к этому времени реакции, чем выражения восторгов по поводу первых розовых дней революции. Но и того, что мы имеем в дневнике, достаточно для суждения о влиянии этих событий на формирование взглядов Чернышевского.

Четыре основные силы выступали перед Чернышевским в огне и буре «безумного года»: старые силы абсолютной монархии (их он ненавидел безоговорочно), умеренно либеральные глашатаи крупной буржуазии (их он объединял в общей ненависти с партизанами абсолютизма, хотя временами готов был приветствовать их, пусть даже робкие, выступления против старого режима), радикально-демократические представители мелкой буржуазии (им он сначала сочувствовал, пока его симпатии окончательно не склонились к революционному социализму) и, наконец, социалисты разных толков, умеренные и крайние, мирные и революционные: им он в конце концов и отдал все свои симпатии, определенно ориентируясь на самое левое их крыло, на бланкистов, сторонников захвата власти, тогдашних представителей революционного коммунизма (о коммунистах марксистского направления он, как видно, в те времена не знал). Удивительно, как скоро Чернышевский разобрался в действительном характере всех этих пестрых течений, партий и лиц¹.

Уже 2 августа 1848 года Чернышевский, перед которым убожество русской жизни выступает особенно ярко в сравнении с грандиозными событиями на Западе, записывает в своем дневнике: «История — вера в прогресс. Политика — уважение к Западу и убеждение, что мы никак не идем в сравнение с ними. Они — мужи, мы — дети. Наша история развивалась из других основ, у нас борьбы классов еще не было или только начинается, и их политические понятия неприменимы к нашему царству. Кажется, я принадлежу к крайней пар-

¹ См. Е. Ляцкий — «Н. Г. Чернышевский в 1848—1850 гг.». «Совр. Мир», 1912, №№ 2 и 3.

тии «у л ь т р а»¹ (курсив мой). Луи Блан особенно, после Леру, увлекает меня; противников их я считаю людьми ниже их во сто раз по понятиям, устаревшими если не по летам, то по взглядам, с которыми невозможно почти и спорить»².

Выше мы приводили уже выписку из дневника, датированную 28 июля и гласящую, что Чернышевский «все более и более убеждается в правилах социалистов». Через 2 дня, по поводу направленного против Прудона фельетона в «Journal des Débats» и в частности по поводу приписываемых Прудону слов, что христианство изживает себя, а собственность изживет, Чернышевский замечает: «Может быть, ее (собственности) станет на 200—300 лет, и пока я ее принимаю, хотя это — дурное учреждение. В сущности я верю, что будет время, когда будут жить по Луи Блану: *chacun produit selon ses facultés et reçoit selon ses besoins* (т. е. каждый производит по своим способностям и получает по своим потребностям). Это необходимо должно быть, когда производство увеличится, и собственности не будет в строгом смысле, потому что у всякого всегда будет всё, что ему хочется, и поэтому предварительно захватывать и хранить будет не для чего».

29 августа Чернышевский ведет разговор с Лилиенфельдом: «Я защищал социалистов, Францию и ее вечные волнения, Прудона, — он говорил против». А 2 сентября: «Читал у Эрша (энциклопедический словарь Эрша и Грубера. — Ю. С.) Hébert Hérault des Séchelles³, и мне показалось, что я — террорист и последователь красной республики (курсив мой). Я несколько поопасался за себя».

Сентябрьские записи вообще чрезвычайно интересны. К этому моменту реакция шла во Франции уже на всех парах. В Национальном Собрании обсуждался доклад следственной комиссии, назначенной, под председательством Одиллона Барро, для расследования июньского восстания 1848 года и предшествовавших ему революционных выступлений. Буржуазии хотелось добить Луи Блана, который сам далеко не стоял на высоте задачи, но в свое время был все-таки представителем пролетарских чаяний и являлся для буржуазии живым напоминанием о тех днях, когда она, скрепя сердце, принуждена была, хотя бы на словах, делать уступки рабочему классу. И хотя Луи Блан к июньским дням не имел никакого отношения, Национальное Собрание осудило

¹ Заметьте, что это написано до знакомства и с Фурье, и с Фейербахом.

² Н. Г. Чернышевский — «Литературное наследие». Гиз. М. 1928, т. I, стр. 225.

³ Гебер, Эро де-Сешель.

его. Как реагировал Чернышевский на этот поход против социализма, показывает его дневник.

5 сентября 1848 года Чернышевский делает запись, показывающую, что в то время он еще высоко ценил Прудона¹. «Прудонову речь в ответ донесению Финансового Комитета (Тьеру) начал читать — какой необыкновенный жар! В самом деле (хотя это никакого особенного впечатления не сделало еще на меня) не решительно ли я революционер, что не осуждаю с первого раза его и сужу о нем, что он высоко стоит и будет стоять в истории?»

На следующий день, 6 сентября, Чернышевский поверяет дневнику впечатление, вынесенное им из чтения доклада следственной комиссии. «Вчера вечером, — пишет он, — и этот день утром читал донесение следственной комиссии Национальному Собранию, — и странное дело... Оно несколько не изменило моего прежнего мнения о Луи Блане и о партии, которая теперь стала снова господствовать во Франции (т. е. партия крупной буржуазии. — Ю. С.). Там приведены отрывки из речей Луи Блана в Люксембурге, которые не были напечатаны в «Монитёре». Они (т. е. члены следственной комиссии. — Ю. С.) провозглашают, что это говорить есть великое преступление, и что они в ужасе от этого. А мне кажется это самыми обыкновенными речами, выражением мыслей, которые должен предполагать каждый умный человек во Франции у себя и у другого умного человека, — что народ выше Собрания и, следовательно, имеет право повелевать им, и т. д. Действительно эти люди пристрастны как партия, и мне кажется, что я сужу как история... Они, конечно, не могут удержаться от преследования этих людей, но эти идеи велики, и в них — благо человечества и грядущее его. Луи Блана я уважаю, как и раньше. Что за сила, что за последовательность мысли и слова в этом человеке! И как он одушевлен своим убеждением! И как он убедителен! И как он предан своим идеям и верит в их могущество и право, и связь, и в то, что победят они и победят сами собой, как всегда правда и право должны торжествовать, и что ничто не устоит против них, и что по этому-то самому они не нуждаются в насилии, в интригах»².

¹ Можно ли винить за это двадцатилетнего юношу, принужденного составлять себе мнение по газетам, да еще враждебного лагеря, когда возвышением Прудона занимались зрелые люди вроде Герцена и Бакунина, знавшие хорошо его отрицательные стороны? Впоследствии Чернышевский резко изменил свое мнение о Прудоне.

² В этот момент Чернышевский, несмотря на свою недавнюю готовность признать себя сторонником красного террора, стоял еще на позиции мирного социализма и готов был хвалить Луи Блана за его отказ от на-

8 сентября Чернышевский выражает свой восторг по поводу защитительных речей, произнесенных Ледрю-Ролленом и Луи Бланом против доклада следственной комиссии. «Великие люди!», — восклицает он и с гневом и презрением обрушивается на их противников во главе с Одиллоном Барро. И дальше он переходит к «республиканскому» генералу Кавеньяку, потопившему в крови восстание парижских рабочих и думающему, что «глупостью можно успокоить Францию, а не излечением социальных зол». «Эх, господа, господа, — саркастически замечает он, — вы думаете, дело в том, чтобы было слово «республика» да власть у вас, — не в том, а в том, чтобы избавить низший класс от его рабства, не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтоб он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться — мужчины — трусами или отчаянными, а женщины — продающими свое тело. А то вздор-то! Не люблю я этих господ, которые говорят «свобода, свобода», и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают тексты, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором $\frac{9}{10}$ —

сильственного захвата власти в интересах социальной революции. Впоследствии Чернышевский именно за это резко осуждал Луи Блана и подобных ему сторонников парламентского социализма. В напечатанной в 1858 году статье «Кавеньяк» Чернышевский, говоря о Люксембургской комиссии, которую он оценивает приблизительно так же, как Маркс в «Борьбе классов во Франции», пишет: «Луи Блан видел, что комиссия придумана только для того, чтобы Временному Правительству увернуться от требования работников. Ему следовало отказаться от этого обманчивого поручения. Он отказывался и говорил, что должен выйти из Временного Правительства, которое считает его участие во власти невозможным. Но если бы он не согласился остаться в Правительстве, если бы не принял поручение, работники в тот же час поняли бы, что им нечего ждать от Временного Правительства, они восстали бы против него, произошли бы новые смуты, быть может, новое междуусобие. Это было представлено Луи Блану его товарищами, — и он согласился принять поручение, которое одно могло спасти Правительство от разрыва с работниками. Эту уступку с его стороны можно приписывать слабости его характера, если думать, что он, подобно республиканцам, по убеждению не отвращался междуусобий. Но его образ мыслей был таков, что насилие ни в каком случае не может вести ни к чему хорошему, что все в мире лучше, нежели быть виновником смут, — и потому очень может быть, что он уклонился от разрыва не по недостатку характера, а, напротив, по твердому убеждению в том, что лучше отказаться от успеха, нежели достигать его путем насилия. В самом деле Луи Блану тогда нечего было бояться разрыва: в случае борьбы победа несомненно осталась бы на стороне работников, желавших отдать власть в его руки». И дальше он говорит: «Но составлять проекты законов, которые не имели вероятно-

орда, рабы и пролетарии. Не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь из другого... Если когда я был убежден в справедливости чьего либо дела, так это [дела] Ледрю-Роллена и Луи Блана. Великие люди! Особенно я люблю Луи Блана: это — человек духа, это — великий человек. А это — сильное разочарование видеть, что так преследуют этих людей те, которые — ничто перед ними, и, может быть, несколько подобных вещей, как решение Национального Собрания о Луи Блане и Коссидьере, заставят меня оставить мое убеждение, что не те теперь времена, как в 1793 году, когда казнили всё и всех, и что настали времена новые и лучшие, где уважают убеждения в противнике, где не думают, что законопреступно всё высказать, всякое сильное убеждение, всякую новую, т. е. новую только для господ, которые не хотят видеть ее во всей истории, мысль... Да, великую истину говорят Ледрю-Роллен и Луи Блан: не уничтожения собственности и семейства [хотят социалисты], а того, чтобы эти блага, теперь привилегия нескольких, расширились на всех. О, боже, дай победу истине, да победит она!» (стр. 266—267).

сти пройти через Национальное Собрание, было бесполезно, и комиссия скорее имела характер государственной аудитории, в которой Луи Блан излагал свою систему, нежели Законодательного Комитета. Главную целью речей Луи Блана было внушить собравшимся около него депутатам работников, что насилем они ничего не выиграют, и должны надеяться только на мирные средства для улучшения своей участи; что путь убеждения и законных выборов — единственный верный путь для исполнения их желаний. Пока продолжались Люксембургские конференции, они более, нежели что-нибудь другое, удерживали работников от насильственных действий» («Сочинения», т. IV, стр. 10—11). А в «Примечаниях к Миллю» Чернышевский, снова заговорив о Луи Блане и его роли в 1848 году и напомнив, что волею судеб он оказался тогда представителем требований парижских рабочих во Временном Правительстве, продолжает: «Плохо ли, хорошо ли исполнял он эту обязанность, здесь для нас все равно. Фактически верно только одно: пока он сохранял только тень участия в правительстве, — междуусобной войны не было. А, может быть, — он и был виноват этим, судите, как хотите» («Сочинения», т. VII, стр. 640). Наконец, следующая фраза из тех же «Примечаний к Миллю» (*ibid.*, стр. 629) показывает, что Чернышевский сурово осуждал Луи Блана за его поведение, удержавшее пролетариат от активного выступления против буржуазии. «Люксембургские конференции, которыми или обманули этого тщеславного труса (если он тщеславный трус), или обольстили этого самоотверженного гражданина (если он был самоотверженный гражданин, не хотевший вести партию к победе путем междуусобной войны)». Для нас ясно, что Чернышевский, настроенный в 1860—1861 гг. крайне революционно, готов признать Луи Блана именно «тщеславным трусом».

Неважно, что двадцатилетний студент, лишенный первоисточников, принужденный черпать свои сведения из разрозненных буржуазных газет, допускает ошибки, считает Ледрю-Роллена социалистом и т. п. Замечательно, что он совершенно правильно формулирует основное стремление социализма и отвергает обманный буржуазный республиканизм, «формальную демократию», сохраняющую эксплуатацию одного класса другим, т. е. существование классов. Еще более замечательно, что после некоторых колебаний в сторону мирного социализма Чернышевский, под впечатлением возмутительного зрелища буржуазной несправедливости, готов вернуться к признанию тактики красного террора и насильственных методов установления социальной справедливости. Именно эти идеи в конце концов и возобладали в Чернышевском, когда он окончательно распознал хитрую механику классового общества.

12 сентября он записывает: «Странно, как я стал человек крайней партии. Мне кажутся глуповаты, и странны, и смешны, но, главное, жалки и пагубны для страны все эти мнения и речи господ приверженцев большинства в настоящем Собрании». Прочитав все показания, он убедился, что нет никаких оснований для предания суду Коссидьера и Луи Блана¹. «Но, — прибавляет он, — вместе с этим я убедился, кажется, что, хотя в слабейшей, чем у нас, степени, и там [есть] тоже преследование за мнения, которые сами собой подразумеваются... Кроме того, какое пренебрежение к низшему классу! Теперь буржуазия, как я увидел, решительно снова берет верх, но и то хорошо, что она берет верх как хищница, а не как раньше — по закону: конечно, хищение легче разрушить, чем закон». Акты произвола, совершаемые буржуазной диктатурой, приводят его в негодование, но он надеется, что именно эти насильнические действия приведут к ее гибели. «О, господа, — восклицает он, — вот как уже далеко зашли вы! *Allez, allez toujours!*» (т. е. действуйте в том же духе!). А 18 сентября, по поводу закрытия газеты «Конституционалист», он пишет: «Решительно [я] против Кавеньяка. Как это *suspendre [le] Constitutionnel!*»

¹ Суд над обвиняемыми в участии в восстании 15 мая 1848 года состоялся в марте 1849 года, когда реакция торжествовала уже повсюду. На Буржском процессе особенно выделялся Огюст Бланки, который сумел скамьей подсудимых превратить в кафедру обвинителя. Чернышевский внимательно следил за процессом в Бурже; поведение Бланки его поразило, и он отметил 10 марта 1849 года в дневнике, что Бланки — «оригинальный и редкий человек». Взгляды самого Чернышевского были позже близки к воззрениям Бланки.

И Чернышевский все решительнее приходит к тому выводу, что необходимо установление не только политического, но и экономического равенства. «Теперь, — записывает он 18 сентября, — мое коренное убеждение, которое подтверждено еще более, может быть, словами Луи Блана и социалистов: вы хотите равенства, но будет ли равенство между человеком слабым и сильным, между тем, у кого есть состояние и у кого нет, между тем, у кого развит ум и у кого не развит? Нет, и если вы допустите борьбу между ними, — конечно, слабый, неимущий, невежда станут рабами». И, как заключительный аккорд, звучат его слова: «Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно» (стр. 276—277).

С удовлетворением отмечает Чернышевский намек на возможность полевения во Франции и падения диктатуры Кавеньяка. 21 сентября он записывает: «Во Франции Кавеньяк принужден, говорят, сблизиться с демократами или падет — хорошо; Сенар выйдет, и вместо него будет Марра или даже Флокен — и это хорошо; и выбрали Распайля — и это хорошо». Но с еще бóльшим удовлетворением отмечает он 23 сентября намечающееся пробуждение левых партий и их готовность к об'единению своих усилий против торжествующей реакции, выразившуюся в результатах дополнительных выборов 17 сентября, где левые демократы (монтаньяры) заключили союз с социалистами (так называемая «социал-демократическая» партия). «Во Франции Распайль, выбранный в представители¹, удержан в Венсенской тюрьме. Мне кажется, что Собранию должно было бы после того, как он выбран, велеть его выпустить, и после уже генерал-прокурору требовать *autosisation des poursuites* (разрешения на возбуждение судебного преследования) против него, и тогда Собрание разрешило бы или нет. Из «Journal SPB»² узнал, что Распайля выбрали 66 тыс., Кабэ и другого кого-то 64 тыс., и из этого видно, что социалисты организованы и подают голоса за одних кандидатов, действуя единодушно, как действовали монтаньяры; там сказано, что часть народа, *la plus éclairée, qui demandait ou à qui était promis le droit du travail* (наиболее просвещенная, которая требовала или которой было обещано право на труд), их выбрала. Итак, весь лучший класс, кроме буржуазии, — социалисты. Хорошо! И по выборам ясно, что не они вы-

¹ В «Лит. наследии» (т. I, стр. 280) ошибочно напечатано «предводители».

² T. e. de Saint-Petersbourg.

бирали Луи Наполеона¹, а собственно чернь, которая ничего не знает, кроме пустых имен».

Чернышевский предвидел, что из всех намеченных кандидатов наибольшие шансы стать президентом Республики, который на основании конституции 1848 года должен был выбираться всеобщим голосованием, имеет Луи Бонапарт. «Выбран, конечно, будет, как пишут, Луи Наполеон, — записывает он 10 декабря. — Действительно деревни не выросли еще до подавания голосов в таких обширных делах, и, может быть, не несправедливо говорили, что рано еще [давать] *suffrage universel* (всеобщее избирательное право). Вот как меняются мои мнения! Однако, это только начало, и это новое мнение далеко не пустило корней в мою душу, и много надо событий, чтобы оно превозмогло» (стр. 344).

В последних словах мы видим первое проявление пессимизма насчет судеб революции, который позже, по мере торжества реакции, становился в нем все сильнее и сильнее, и с которым мы еще встретимся в расцвет литературной и политической деятельности Чернышевского. Но пока он был настроен довольно оптимистически и допускал еще возможность победы крайних революционных и социалистических элементов.

10 декабря Луи Бонапарт был избран в президенты подавляющим большинством голосов. Хотя Чернышевский и предвидел такой исход, последний тем не менее произвел на него удручающее впечатление. Однако он не потерял еще надежд на новую революцию, которая должна была доставить власть крайним левым. Так, по поводу волнений в Париже, вызванных в конце января 1849 года намерением правительства распустить «мобильную гвардию» (сослужившую между тем в июньские дни такую службу защитникам «порядка»), закрыть клубы и т. п., волнений, в значительной мере сознательно спровоцированных министрами Луи Бонапарта, уже тогда замышлявшего свой переворот, Чернышевский, полагавший, подобно другим, что эти волнения могут привести к захвату власти объединенными левыми («Республиканской Солидарностью», сиречь «Социально-демократической партией»), временно поддался энтузиазму. «Известия от 26—29 января, — писал он в дневнике 28 января, — привели меня в такой восторг, в каком давно не бывал, и какой можно сравнить с тем, с каким я читал люксембургские рассуждения. И так, думал я, или падение министерства, или новая революция. Последнее мне больше нравилось,

¹ Луи Наполеон был тогда выбран в 5 департаментах, получив около 300.000 голосов.

потому что власть, думал я, перейдет к Ледрю-Роллену. Это было бы чудесно... В Пассаже, прочитавши, что все утихло, охладел снова, но и теперь снова заинтересован много, все равно, как в начале ноября борением прусского Собрания с министерством» (стр. 381).

После принятия конституции Учредительное Собрание должно было разойтись, чтобы уступить место новому Законодательному Собранию. Можно было предвидеть, что новое Собрание будет гораздо реакционнее старого. Чернышевский надеялся, что новое Собрание окажется более левым вследствие того, что восторжествовавшие консервативные партии разобьют свои голоса, и что деревни не будут так единодушно голосовать за реакционеров, как прежде.

«Но главное — продолжает он, — это — единодушие республиканцев и разногласие, разнообразие списков правой стороны. И поэтому я думаю, что почти возможно, что Национальное Собрание, которое будет выбрано для замены настоящего Собрания, будет левее его, т. е., что левая сторона будет еще сильнее, чем прежде. А если нет, так восстание»¹.

Первый из предусмотренных Чернышевским «случаев» не осуществился: Законодательное Собрание оказалось гораздо реакционнее Учредительного. Теперь на сцену должен был выступить второй «случай»: разгон этого Собрания революционным народом с передачей власти левым. И Чернышевский с лихорадочным нетерпением ждет этого исхода.

Долгожданное выступление левых состоялось, наконец, 13 июня 1849 года. Поводом к нему послужила римская экспедиция Луи Бонапарта, по приказу которого генерал Удино с французской армией начал военные действия против Римской республики². Этим была нарушена конституция 1848 года, и левые, решившись воспользоваться этим, выступили 13 июня. Но устроенная ими мирная демонстрация была разогнана вооруженной силой, а на активные действия у демократической мелкой буржуазии, предводимой Ледрю-Ролленом, не хватило ни средств, ни энергии. Попытка восстания закончилась пол-

¹ «Лит. наследие», т. I, стр. 373. — Кстати, мы видим, что в качестве настоящего революционера Чернышевский, подобно Огюсту Бланки, меньше всего готов был преклоняться перед решениями всеобщего голосования и церемониться с ними, если того требовали интересы революции.

² Эти действия наполеоновского правительства задевали Чернышевского вдвойне: и как симптом обнагления реакции во Франции, и как угроза Римской республике, в которой он усматривал начало политического возрождения Италии, о чем свидетельствует запись, сделанная им в дневнике 18 февраля 1849 года: «В Риме и Тоскане республика. Когда мне сказал это Славинский, я с нежным участием сказал: дай бог им успеха!»

ной неудачей и привела лишь к окончательному разнузданию реакции. 13 июня¹ Чернышевский заносит в свой дневник: «Прочитал, чем кончилось восстание. Ледрю-Роллен, Консидеран, Буашо, Ратье и т. д. отданы под суд — этого я не ожидал, я думал: не посмеют до Ледрю-Роллена. Он поскакал в Лион; не знаю, удастся ли это восстание, скорее нет, но это все равно, он уйдет, здесь пойдет реакция быстро, и через год будет у нас антиреакция, и власть шутя не удержится и у Ледрю-Роллена, а перейдет к Луи Блану и Распайлю... Конечно, грустно, но так вообще, а не то, чтобы мучился неуспехом восстания 13 июня: ведь это только откладывается дело, и, может быть, через реакцию еще быстрее будет торжество, чем без реакции, а все-таки интересно несколько знать, подавлен ли Лион. Эх, если бы с альпийскою армиею Ледрю-Роллен пошел на Париж и война против нас, Германия к Франции приступила бы и нас назад — эх, это бы хорошо!² Но это я так говорю, ничего этого не будет теперь, кажется, но и этого снова не знаю, потому что не знаю духа народа во Франции. А жаль Рима — подлецы!» (стр. 431).

Во Франции реакция надолго одержала верх, и в душе Чернышевского надежда начинает уступать место злобе и отчаянию. Его тогдашнее настроение передается записью, правда, относящейся к более позднему времени, но несомненно отражающей и то, что он чувствовал уже за последние несколько месяцев. 14 мая 1850 года Чернышевский вел беседу с Лободовским, с которым к этому времени уже начал расходиться во взглядах, так как если Чернышевский со времени их первого знакомства ушел далеко влево, то Лободовский за этот же срок проделал обратную эволюцию, и роли их теперь переменялись. Повидимому, Лободовский защищал Луи Наполеона, что довело Чернышевского до крайней степени раздражения. «У Вас. Петр., — записывает он 15 мая, — долго и с ненавистью, т. е. лучше [сказать], с желчью говорил о Наполеоне, так что даже в самом деле в душе было чувство враждебное к нему (Лободовскому), которое особенно усилилось и определилось, когда я сказал: «Ну да, поклоняетесь ему (Наполеону), он — идол, все равно, что Молох, кото-

¹ Разумеется, не в тот же день, а через 12 дней, ибо события в Западной Европе датированы по новому стилю, записи же в дневнике Чернышевского — по старому, который действовал в России до Октябрьской революции.

² Итак, Чернышевский мечтал о революционной войне Европы (Франция плюс Германия) против царской России и о разгроме последней, что в то время и Маркс считал условием возрождения и победы революции в мировом масштабе. Разве это не свидетельствует о проницательности и революционном понимании юного Чернышевского?

рому приносили дочерей своих в жертву: так и вы приносите ему людей в жертву»... Ушел серьезно в возбужденном состоянии духа, с желчью» (стр. 511). И эта желчность, продукт разбитых иллюзий, останется в душе Чернышевского навсегда...

С напряженным вниманием следил Чернышевский и за событиями в Германии, хотя там, благодаря сравнительной отсталости страны, общественная борьба стояла на более примитивной ступени, социальный элемент не так ярко выпячивался наружу, а пролетариат и его классовые требования не играли той роли, что во Франции. Можно поэтому сказать, что если французские события питали социализм Чернышевского, то события в Пруссии, Австрии и пр. укрепляли его политический радикализм.

Что симпатии Чернышевского были на стороне крайней левой Франкфуртского парламента и вообще на стороне демократии против абсолютизма и умеренного либерализма, об этом после всего вышесказанного распространяться не приходится. К сожалению, событиям в Центральной Европе отведено в дневнике Чернышевского меньше места, чем событиям во Франции, естественно сильнее поражавшим его воображение, и заметки эти носят более отрывочный и краткий характер. Однако общее представление об отношении Чернышевского к этим событиям заметки дневника все же дают.

К осени 1848 года торжество реакции в Германии начало обозначаться уже довольно явственно. Но в первое время Чернышевский, видимо, и здесь питал надежды на конечную победу революции. По поводу парламентской борьбы берлинского Национального Собрания с прусским королем и обращения депутатов с апелляцией к народу против министерства Чернышевский 8 ноября 1848 года записывает: «В Берлине от 12 и 13 числа известия в «SPB Zeitung» весьма меня взволновали приятным образом: «мы уступаем силе, не будем призывать к войне, — говорят депутаты, — а спросим наших избирателей. Если они скажут, что мы действовали так, мы будем продолжать действовать, если нет — нет. А восстания, вооруженного сопротивления в Берлине мы не хотим, потому что не один Берлин должен интересоваться нами и, если мы справедливы, восстать за нас, а все государство, все 16 миллионов». Весьма хорошо. Весьма хорошо. Я тогда сказал «молодцы!» и дорогою сказал несколько раз: «молодцы!» (стр. 316). И Чернышевский с интересом ждет, как население («города», говорит он) отнесется к призыву не платить податей.

Но скоро Чернышевский убеждается, что буржуазная оппозиция вовсе не собирается переходить от слов к делу. И он с неудовольствием отмечает 27 ноября бездействие и нерешительность Франк-

фуртского Собрания, готового уже осудить самочинные выступления масс как незаконные. «Кажется, — говорит он, — оно должно было бы понять, что, произойдя из воли народа против воли правительств, оно и должно, если не хочет осудить себя на смерть, стоять с народами против правительств, да и совесть должна бы принудить его к этому. Если незаконно делает народ теперь, незаконны и те его акты, которые дали бытие этому Собранию. Что оно? Ни да, ни нет в прусском и особенно австрийском деле. По моему, должно послать комиссаров с полномочиями требовать, чтобы без их согласия ничего не делалось, одним словом, действовать в том роде, как требует левая сторона, а то эта мелочная осторожность, желание не компрометировать себя, ладить со всеми, — э, так жить нельзя! Прусское правительство — подлецы, австрийское — подлецы, но этого названия для них мало. Я не нахожу слов, чтобы высказать то отвращение, которое я питаю к убийцам Блюма» (стр. 333).

С бессильным негодованием Чернышевский взирает на то, как распыляются революционные силы вследствие отсутствия надлежащего руководства, как не находится нигде решительных людей (вроде Мирабо, поясняет он), способных возглавить наблюдающееся «великолепное движение умов». И далее он выражает сочувствие расправе с Латуром и Лихновским, представителями реакции, убитыми народом.

Нетрудно представить себе, как на впечатлительного и болезненно чуткого юношу¹ должен был подействовать такой дикий акт произвола, как расстрел Виндишгрецом вице-председателя Франкфуртского Национального Собрания и главы левой в саксонском парламенте, Роберта Блюма, захваченного в Вене после баррикадных боев и торжества императорской военицы. Это злодейство привело в общем сдержанного Чернышевского в настоящее исступление. «Я, — записывает он 14 ноября 1848 г., — прочитал окончательно о том, что Роберт Блюм, член Франкфуртского Собрания, расстрелян в Вене, и о том, как единогласно во Франкфурте принято требование наказания всех, кто участвовал в этом поступке. Это меня взволновало, и теперь я об этом думаю: как Европа так еще близка к тем временам,

¹ Как сильно Чернышевский реагировал на тогдашние события и как его угнетали успехи реакции, видно из его собственного рассказа, передаваемого в письме С. Г. Стахевича к Ветринскому от 11 ноября 1905 года. Чернышевский на каторге сам рассказывал, как в Петербурге он зашел раз в кондитерскую, прочел в газете известие о насильственном распусчении Национального Собрания в Берлине; очень скоро вышел из кондитерской и пошел по улице; встретивший его знакомый спросил: «Что это с вами? О чем вы плачете?» «А я, знаете, иду и не чувствую, что у меня по лицу слезы текут» (Ветринский — «Н. Г. Чернышевский». 1923, стр. 61).

когда деспотизм осмеливался нарушать формы явно! Расстрелять члена Собрания без его ведома! Это ужасно, это возмутительно, мое сердце негодует, и дай бог тем, которые подали этот ужасный пример беззакония, поплатиться за это таким образом, который показал бы всему миру тщету и безумство злодейства. Да падет на их голову кровь его, и прольется их кровь за его кровь! И да падет дело их, потому что не может быть право дело таких людей! На виселицу Виндишгреца и всех! Господи, помилуй раба твоего, да воцарится он в жизни твоей! Когда шел от Славинского, молился несколько минут за Блюма, а давно не молился я по покойникам. Франкфуртское Собрание поступило хорошо, что высказало единодушие. Я думаю, что из этого выйдет серьезное столкновение, и или решительно падет центральная власть¹ (чего не дай бог!), или решительно поражена будет ольмюцкая² партия, и да будет она поражена... Что будет в Пруссии, неизвестно. Верно, собрание победит, и дай бог»³.

Но силы старого мира берут верх, и по мере роста реакции заметки Чернышевского становятся все более отрывочными, короткими и унылыми. 10 декабря 1848 года он записывает: «Когда узнал, что австрийского императора принудили отказаться (от престола. — Ю. С.) не либералы, а Виндишгрец и проч., т. е. военные депутаты, тотчас переменил тон своих суждений о нем и стал жалеть о нем, между тем как раньше смеялся» (стр. 341). Еще бы, это было новым признаком победы реакции, собиравшейся восстановить старые порядки и отказаться от выполнения обещаний, временно вырванных революцией у абсолютной монархии. Отступление революции наполняло сердце Чернышевского трусью. 25 февраля 1849 года он заносит в дневник: «В берлинском Собрании в первый раз 169 против 148 приняли *Geschäftsordnung* (порядок дня), предложенный правою стороною. Итак, и здесь торжество реакции! Что то будет? Мне это было несколько неприятно. Что делать!» Наконец, Национальное Собрание распущено, а затем разогнано Национальное Собрание и в Австрии. И Чернышевский со злобой отмечает 5 марта: «В Австрии также распущено Национальное Собрание, и дана конституция императором. Итак, вот как ободрил пример Пруссии! Хорошо, хорошо! Будет и на нашей улице праздник, и скорее, чем вы думаете. О, как вы слабы, вы, которые в руках думаете иметь силу!..» Теперь приближалась расправа с венграми при помощи войск русского деспота, которым Чернышевский, подобно Бакунину, как мы знаем, от души

¹ Т. е. общегерманское Национальное Собрание во Франкфурте.

² Т. е. партия австрийского абсолютизма.

³ «Лит. наследие», т. I, стр. 323.

желал поражения. Не только социальные, но и национальные стремления 1848 года терпели поражение. И 7 августа 1849 года Чернышевский заносит в дневник скорбную весть о капитуляции венгерской революционной армии перед полчищами российского императора: «Победа над венграми прискорбна. Сначала поверил, после несколько не поверил, после снова поверил, теперь более верю, чем нет, что Гёргей в самом деле сложил оружие. Должно узнать подробности, как, отчего, что значит». Ничего утешительного подробности принести не могли, и ко многим другим разочарованиям революционного года прибавилось новое.

И уже запоздалым отголоском былых надежд звучит одна из последних записей дневника от 20 января 1850 года, когда ожидать близкого нового под'ема революционной войны не приходилось: «С четверга носились слухи... что прусский король бежал в Англию. Я был рад весьма, но, конечно, не доверял, потому что теперь не такое время и не из-за чего, кроме как разве не стал присягать этой конституции; но я не думаю, чтобы теперь могло быть удачным восстание, а все-таки думаю: авось бог милостив» (стр. 499).

Бог не оказался милостивым. Революционная волна больше не поднималась. Европа вошла в «органический» период развития, но урок 1848—1849 годов не прошел для Чернышевского бесследно. Он способствовал выработке его политических убеждений, закалил его характер, поселил в его душе непримиримую ненависть ко всякому угнетению, политическому и социальному, и заставил его дать Ганнибалову клятву — всеми силами и до конца бороться с общественным строем, построенным на эксплуатации человека человеком.

Нужно, впрочем, заметить, что события 1848—1849 годов оставили в душе Чернышевского и другой след в виде пессимистического и, в лучшем случае, скептического отношения к судьбам и шансам революции вообще и народной в особенности. Философские и в значительной мере историко-философские взгляды Чернышевского сложились под влиянием Фейербаха. Под влиянием того же Фейербаха в значительной мере сложился взгляд Чернышевского на события 1848—1849 годов¹.

¹ Фейербах не принимал никакого участия ни в агитации дореволюционной эпохи, ни в деятельности немецкого Национального Собрания. Он с самого начала считал движение обреченным на неудачу. Пессимистический взгляд Фейербаха на движение 1848 года выражен в его предисловии к «Лекциям о религии» (к сожалению, пропущенном в издании Инст. Маркса и Энгельса, т. III, М. 1926). На это предисловие ссылается Чернышевский в письме из Виллюйска от 24/XI 1873 г. («Чернышевский в Сибири», т. I, стр. 83).

Как это явствует из романа «Пролог» и некоторых других сочинений Чернышевского, Николай Гаврилович в начале 60-х годов смотрел на дела 1848—1849 гг. приблизительно глазами Фейербаха. Этот скептицизм, объяснявшийся общим торжеством реакции в Европе и специально отсталостью общественного развития России, естественно еще усилился после разгрома всех чаяний Чернышевского, связанных с временным оживлением 50—60-х годов, сулившим, как казалось, возможность революционного возрождения нашего отечества.

Таким же духом проникнута и замечательная *profession de foi*, которую Чернышевский излагает в записи от 21 января 1850 года, т. е. в то время, когда взгляды его в основном оформились, а симпатии в главном определились. Мы видим перед собой человека вдумчивого и чуткого, но не представляющего себе ясно условий, при которых произойдет осуществление его идеала, как бы пугающегося неизбежно бурных проявлений классовых страстей и в то же время призывающего их, верующего и сомневающегося в одно и то же время и потому недовольного самим собой, готового обвинить себя во всех смертных грехах и, в частности, в трусости и нерешительности, скорее на себя наговариваемых, чем действительно ему присущих.

«По образу своих мыслей я сам не знаю, — говорит он, — к какой именно партии социалистов-демократов я принадлежу;.. не ожидаю исполнения и сотой доли того, чего надеются большая часть приверженцев этого учения от торжества его, т. е. я сам верю во все это, но моя трусость препятствует мне вообще всегда во всем, что я люблю, ожидать чего бы то ни было, кроме неуспеха, разочарования и т. д... Я действительно думаю, что на самом деле торжество этой партии доставит более блага низшим классам, двинет человечество несравненно более вперед, чем я думаю, принесет гораздо менее бедствий при своем введении, т. е. кровопролитий, войн, бунгов и терроризма, гораздо менее, чем я ожидаю; вообще немного из того, что обещают, ожидаю я, как исполняющегося со временем на деле от торжества этой партии. Но я всею душою предан этому новому учению, хотя не могу сказать, чтобы веровал и относительно догматов его, не только относительно следствий. Я слишком большой трус, именно нерешителен для этого. Но все-таки я привержен к этому учению всею душою, сколько только могу быть привержен по своему подлому, апатичному, робкому, нерешительному характеру. И в развитии следствий я иду гораздо дальше, чем идут большая часть этих господ, т. е. идей о «liberté, égalité» и т. д. (курсив мой)».

«В религии я не знаю, что мне сказать. Я не знаю, верю ли я в бессмертие души и т. д. Теоретически я скорее склонен не верить, но практически у меня недостает твердости и решительности расстаться с прежними своими мыслями об этом, а если бы у меня была смелость, то в отрицательности я был бы последователь Фейербаха, в положительности не знаю чей, кажется — тоже» (стр. 498).

Правда, если основываться исключительно на этой записи, то можно было бы прийти к выводу, что к началу 1850 года социально-политические и философские взгляды Чернышевского были еще очень далеки от окончательной ясности и определенности. Мы уже не говорим о вынесении за одну скобку таких людей, как либерал Эмиль де Жирарден, Прудон и Луи Блан, но даже в области религиозных вопросов Чернышевский кажется человеком, еще не сведшим концов с концами и не освободившимся от старых представлений. Однако это не так. Как показывают многочисленные записи, приведенные нами на предыдущих страницах, к рассматриваемому моменту Чернышевский был уже сложившимся демократом и социалистом, притом социалистом левого крыла, сторонником захвата власти революционной партией и применения самых решительных методов борьбы для осуществления социалистической программы. Замечательно, что непосредственно перед этой выдержкой мы находим в цитируемой записи изумительные строки, приводимые нами в следующем параграфе, где Чернышевский, отказываясь от своих прежних наивных мечтаний о благожелательной массам монархии, высказывается в том смысле, что в России самодержавие без переходных политических ступеней должно уступить место подлинному народному правлению трудящихся масс, т. е., как поясняет Чернышевский, крестьян, батраков и рабочих или, по его выражению, земледельцев, поденщиков и рабочих, другими словами, набрасывает программу революции вроде той, какая была осуществлена нашим пролетариатом в октябрьские дни 1917 года.

Единственный вопрос, в котором Чернышевский медленнее всего стряхал с себя предрассудки старого мира, был вопрос религиозный. Но и его он в самом скором времени решил для себя в смысле полного и безоговорочного приятия материалистической философии. И, как мы увидим из приводимой в конце следующего параграфа записи от 27 мая того же 1850 года, сообщающей о произошедшем в нем окончательном перевороте и об обдумываемых им планах революционной деятельности, там уже вовсе не упоминается о религиозных сомнениях, которые бесследно сгорели в огне пережитой им внутренней борьбы и принятых им героических решений.

6. Мысли о призвании и о революции в России

По мере того как взгляды Чернышевского формировались и все более выяснялись для него самого, перед ним неизбежно должен был встать вопрос об их практическом применении. Мы знаем, что он уже с юных лет мечтал о просвещении родного народа, о содействии развитию русской науки и поднятию культурного уровня страны. Но это были мечтания общего характера. Теперь, в связи с революционизированием его воззрений, мечты его о своей будущей деятельности начинают принимать более конкретный вид, причем наряду с мечтаниями о работе на пользу народа в его душу начинает прокрадываться опасение за результаты такой работы в мертвящей обстановке самодержавного режима. Но эти опасения не в состоянии поколебать его решимости.

В сентябре 1848 года, когда взгляды его в достаточной мере определились как демократические и социалистические, Чернышевский поверяет своему дневнику свои заветные мысли о своем призвании. Эта запись от 23 сентября чрезвычайно характерна между прочим и в том отношении, что показывает, насколько этот 20-летний юноша сознавал свои силы и насколько глубоко он уже и тогда проникнут был альтруистическими чувствами.

«Если, — говорит он, — писать откровенно о том, что я думаю о себе, не знаю, ведь это странно — мне кажется, что мне суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено ввести славянский элемент в умственный, потому и нравственный и практический мир или просто двинуть вперед человечество по дороге несколько новой. Лермонтов и Гоголь, которых произведения мне кажутся совершенно самостоятельными, которых произведения мне кажутся, быть может, самыми высшими, что произвели последние годы в европейской литературе, доказывают для меня, у которого утвердилось мнение, заимствованное из «Отечественных Записок» (я читал его в статьях о Державине)¹, что только жизнь народа, степень его развития определяют значение поэта для человечества, и если народ еще не достиг мирового общечеловеческого значения, не будет в нем и писателей, которые должны быть общечеловеческими, имели бы общечеловеческое достоинство. Так, Лермонтов, Гоголь доказывают, что пришло России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше Франция, Германия, Англия, Италия. Я думаю, что нахожу в

¹ Белинского.

себе некоторые новые начала, которые не вижу¹ ясно и развито и сознательно высказанными в теперешней науке и теперешнем взгляде на мир, и которые теперь, конечно, весьма неясны, или не то, что неясны, а главное — которые еще не получили твердости, общеприменимости... Должен сказать, что такое мнение о себе утвердилось во мне с того времени, как я почел себя изобретателем машины для производства вечного непрерывного движения, и только несколько переменялось в объеме (тогда я считал себя одним из великих орудий бога для сотворения блага человечеству, а теперь нужды нет, я не заспорю, хоть был бы равен Гизо или Гегелю или чему-нибудь подобному) и в предмете... (Дальше идет приведенное выше место о машине вечного движения.) Итак, я должен сказать, что я довольно твердо считаю себя человеком, не совершенно дюжинным, а в душе которого есть семена, которые, если разовьются, то могут несколько двинуть вперед человечество в деле воззрения на жизнь, и если я хочу думать о себе честно, то, конечно, я не придаю себе бог знает какого величия, но просто считаю себя одним из таких людей, как, например, Гримм, Гизо и проч. или Гумбольдты. Но если спросить мое самолюбие, то я могу отвечать себе бог знает, может быть, из меня выйдет что-нибудь вроде Гегеля или Платона или Коперника, одним словом, человек, который придаст решительно новое направление, которое никогда не погибнет, который один открывает столько, что нужны сотни талантов или гениев, чтобы идеи, высказанные этим великим человеком, переложить на все, к чему могут быть они приложены, в котором высказывается цивилизация нескольких предшествующих веков, как огромная посылка, из которой он извлекает умозаключения, который задаст работы целым векам, составит начало нового направления человечества².

Не совсем ясно, о каких именно «новых началах» говорит здесь Чернышевский, которые, по его словам, не получили еще общего признания, и проводить которые он ставил себе задачей. Можно было бы подумать, что он имеет здесь в виду принципы материализма; но дело в том, что в рассматриваемое время Чернышевский не был еще материалистом и даже не знаком был с сочинениями Фейербаха, которые начал изучать только в следующем году. Надо поэтому полагать, что речь идет о принципах социализма,

¹ В «Лит. наследии» (т. I, стр. 282) вместо «не вижу» напечатано «нахожу», но это противоречит смыслу отрывка.

² Из предшествующего изложения мы уже знаем, что Чернышевский считал себя «призванным к необыкновенным переворотам» и мечтал о роли «предводителя крайней левой стороны».

к которым Чернышевский уже и в то время склонялся, хотя знал о нем больше по газетам, чем по серьезным научным трудам. И замечательно, что, несмотря на скромность и сдержанность своей натуры, Чернышевский настолько, видимо, сразу был захвачен демократическими и социалистическими идеями, что начал проповедывать их в товарищеской среде уже в тот момент, когда только что с ними познакомился.

Об этом свидетельствует первая же запись в его дневнике. 17 мая 1848 года Чернышевский у своего университетского товарища Славинского говорит «с большим жаром о политике и новых началах и идеях, проповедуемых в Западной Европе» (стр. 193). Он и после не упускает ни одного случая, чтобы не поделиться своими мыслями с окружающими и не попытаться привлечь их на сторону одушевляющих его стремлений. 17 октября 1848 года он снова пытается спропагандировать Славинского, затем, вернувшись домой, весь еще охваченный апостольским пылом, он садится за стол и начинает писать «катехизис», повидимому, революционный (вроде «верую в прогресс»), но работу не кончает. Такие же революционные разговоры он ведет у Лободовского, Лилиенфельда и других. И даже в семье Терсинских, у которых он жил, Чернышевский с такой яростью говорил о Виндишгреце, которому царь дал орден, выражая желание видеть его повешенным за расстрел Блюма, что напугал своего благонамеренного хозяина-чиновника, советовавшего ему умерить свой пыл и держать язык за зубами.

Расправа австрийской камарильи с Р. Блюмом, как бы символизировавшая судьбу, которая ждет борцов за народ, довела Чернышевского до состояния экстаза. Под влиянием размышлений о смерти Блюма и изречения члена Конвента Шабо: «убейте меня и покажите мой труп реакционерам, чтобы народ восстал против них», Чернышевский 10 декабря 1848 года замечает: «Когда хорошенько вздумал об этом и приложил все это к себе, то увидел, что в сущности я несколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока, если только буду убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только в этом буду убежден» (стр. 343).

Нетрудно представить себе, как при таком душевном состоянии должна была подействовать на Чернышевского расправа Николая I с петрашевцами.

Как мы знаем, Чернышевский непосредственно не примыкал ни к одному кружку петрашевцев. Но косвенно он был связан с ними через Ханыкова, Дебу и Европеуса, отчасти Введенского, тоже, впрочем, не бывшего прямым участником этого движения. Чернышевский даже не знал о работе петрашевцев, хотя подвергался их влиянию. Несомненно, что продлилось существование этого кружка, Чернышевский (как он, впрочем, сам признает это в цитируемой ниже записи) рано или поздно обязательно примкнул бы к нему. К началу 1849 года он был настроен уже определенно революционно и даже предчувствовал свою печальную судьбу. Об этом можно судить по следующим, отчасти шутливым, словам его дневника (от 2 января 1849 г.), который он вел особым способом, напоминающим шифровку: «Вчера (или нет, третьего дня) пришло в голову, что списанная по моей методе сокращенно «Княжна Мери» поможет прочесть другие мои бумаги и этот дневник, если я стану человеком замечательным и умру, не успевши написать сам своей автобиографии, с помощью этих бумаг и дневника¹, а то мысль, что эти материалы могут пропасть, вообще меня сильно... занимала»².

Об аресте петрашевцев Чернышевский узнал тотчас же. «Вечером, — записывает он 25 апреля, — два раза был Ал. Фед. (Раев), оба раза ненадолго; разговаривал о том, как взяла полиция тайная Ханыкова, Петрашевского, Дебу, Плещеева, Достоевских и т. д. Ужасно подлая и глупая, должно быть, история; эти скоты, вроде этих свиней Бутурлина³ и т. д., Орлова⁴, Дубельта⁵ и т. д., должны были бы

¹ Впоследствии дневник этот был расшифрован сыном И. Г., М. Н. Чернышевским, и полностью напечатан в первом томе «Литературного наследия», Гиз, М. 1928.

² О том, что Чернышевский уже тогда предвидел свою гибель, свидетельствуют и другие места его дневника, а также следующая выдержка из письма его к жене от 18 апреля 1868 года из Сибири: «Я слишком беззаботно смотрел на это. Хоть и давно предполагал возможность такой перемены в моей собственной жизни, какая случилась, но не рассчитывал, что подобная перемена так надолго отнимет у меня возможность работать для тебя».

³ Бутурлин, Дмитрий Петрович (1790—1849) — генерал, член Гос. Совета; в 1848 году председатель знаменитого («бутурлинского») комитета для надзора за духом выходящих в России литературных произведений.

⁴ Орлов, Алексей Федорович, с 1856 г. граф (1876—1891) — с 1846 года шеф жандармов и главный начальник Третьего Отделения.

⁵ Дубельт, Леонтий Васильевич (1792—1862) — жандармский генерал, с 1839 года управляющий Третьего Отделения, верный помощник Орлова.

быть повешены¹. Как легко попасть в историю! Я, например, никогда не усумнился бы вмешаться в их общество и со временем, конечно, вмешался бы» (стр. 419).

Впервые Чернышевский почувствовал вблизи себя наличие собственных российских Виндишгрецов и проникся к ним столь же, если не более жгучей ненавистью, чем и к знаменитому австрийскому усмирителю. Отечественным жандармам он желает той же виселицы, о которой прежде мечтал для европейских Держиморд. И горе было бы этим господам, если бы власть когда-либо попала в руки Чернышевского, любвеобильного и кроткого, но тем более глубоко ненавидевшего врагов народного счастья!²

Возможно, что именно под впечатлением озлобления, овладевшего им при мысли о гибели лучших русских людей, Чернышевский сделал первую попытку революционной пропаганды среди народа. Конечно, эти первые шаги юного пропагандиста не были особенно ловки, что, впрочем, он сам признает, но они свидетельствовали о силе обуревавшего его чувства. 20 июня 1849 года мы читаем в его дневнике: «Должно было отнести письмо, и так как Ив. Гр. (Терсинский) не пошел, то должен был идти я. Пошел новою дорогою, направо от дома, сзади; переходя тут ручеек, нагнулся пить и потерял наконец ножон шпаги, воротился искать: мужик поднял. Я сказал, чтобы он пошел со мною до города, где я разменяю свой целковый, который взял у Любиньки. Пошли, стал говорить я, стал вливать в него революционные понятия, расспрашивал, как они живут; весьма глупо вел себя, т. е. не по принципу или по намерению, а по исполнению. Но что ж делать!» (стр. 435). Другое указание на попытки Чернышевского распропагандировать простых людей мы встречаем в февральской записи 1850 года. 15 февраля, отправляясь к Введенскому, Чернышев-

¹ Липранди, раздувшего дело Петрашевского в «заговор» и организовавшего слежку за ними, Чернышевский в записи от 26 апреля называет «подлецом».

² Следившие в 1862 году за Чернышевским агенты, между прочим, сообщают в одном из своих донесений следующий факт или анекдот, все равно характерный: «Чернышевский, бывши еще студентом, всегда большею частью в обществе молчал, но если говорил, то дельно. Однажды у Введенского на вечере жена последнего читала вслух страдания семейства Людовика XVI и прослезилась. «Странная вы женщина, — сказал Чернышевский, — вчера вы плакали об овечках, съеденных волком, сегодня о волке, поевшем этих овец». За это изречение его прозвали Сен-Жюстом, и прозвание это он сохранял долгое время; оно помнится еще близкими к семейству Введенского» («Н. Г. Чернышевский в донесениях агентов III Отделения». «Красный Архив», 1926, т. XIV, стр. 109).

ский убеждал везшего его через Неву перевозчика освободиться от притеснения. А на обратном пути убеждал других извозчиков, что освобождения нельзя добиться добром и просьбами, а только силою (стр. 502).

В те дни разгула полицейской реакции подобного рода разговоры и «внушения» были не совсем безопасны. Но мы легко поймем настроение, толкнувшее его на столь рискованные разговоры, если припомним, что это происходило после жестокого приговора над петрашевцами и обряда гражданской казни над ними (22 декабря 1849 года).

О впечатлении, которое произвел на Чернышевского приговор над петрашевцами, можно отчасти судить по письму его к отцу от 31 января 1850 года, приводимому Е. Ляцким («Чернышевский и Фурье», I. с., стр. 133).

«Я виноват, — писал там Чернышевский, — что еще не отвечал Вам о Филиппове, студенте здешнего университета, замешанном в деле Петрашевского. Лично я его не знал; кто знал, говорит, что он много занимался естественными науками и некоторые (например, географию и минералогию) знал хорошо (он шел по естествен. факультету). Говорят тоже, не знаю только, интересно ли Вам будет знать это, что замешался он в это дело потому, что он — в коротком знакомстве с другими обвиняемыми, что его выпустили бы, как совершенно ни в чем невиновного, если бы у него не был такой горячий характер: он, раздраженный тем, что без вины сидел несколько месяцев в крепости, слишком дерзко отвечал судьям, т. е. не отвечал, а укорял или слишком горячо упрекал их в неосмотрительности и поэтому был сочтен очень опасным человеком. Не знаю, правда ли это, или он в самом деле участвовал в чем-нибудь. Да никто почти не знает и того, было ли действительно что-нибудь, в чем бы можно было участвовать — большая часть думают, что кроме того, что собирались молодые люди, неосторожные на язык и начитанные чтением французских книг, и толковали о политике, едва ли что было. А, впрочем, бог знает. Только что-то мало вероятий, чтобы что-нибудь было подобное декабрьскому замыслу. Вообще здесь об этом деле очень мало говорили, т. е. кроме тех, у кого были тут замешаны знакомые, никто и не думал, потому что считали это все слишком пустым шумом».

По тогдашним полицейским условиям, когда за неосторожное выражение в перлюстрированном письме можно было поплатиться в лучшем случае высылкой (как это случилось, например, с Герценом за несколько лет до того), трудно было яснее сказать, что никакого заговора не было, и что петрашевцы пострадали за простые разговоры в товарищеском кругу, которые жандармы раздули в попытку подго-

товить вооруженное восстание в целях ниспровержения существующего строя.

Возможно, что именно практика российского абсолютизма окончательно излечила Чернышевского от мечтаний о «социальной монархии», благодетельствующей отсталым трудящимся массам, неспособным еще к самостоятельному устройству своих дел. По крайней мере, в начале 1850 года мы находим запись в его дневнике, которая содержит отвержение идеи благожелательного абсолютизма в связи с мыслями о революции в России.

«С год, должно быть, тому назад или несколько поменее (в действительности в сентябре 1848 года. — Ю. С.), — отмечает он 20 января 1850 года, — писал я о демократии и абсолютизме. Тогда я думал так, что лучше всего, если абсолютизм продержит нас в своих об'ятиях до конца развития в нас демократического духа, так что, как скоро начнется народное правление, правление *de jure* и *de facto* перейдет в руки самого низшего и многочисленного класса (земледельцы + поденщики + рабочие), так чтобы через это мы были избавлены от всяких переходных состояний между самодержавием (во всяком случае нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей. Видно, тогда я был еще того мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это — противоположность аристократии, а теперь я решительно убежден в противном: монарх, а тем более абсолютный монарх — только завершение аристократической иерархии, душою и телом принадлежащий к ней; это все равно, что вершина конуса аристократии... Это, во-первых, стоит народу много денег и слез и крови; во-вторых, как замок в своде, сдерживает, образует и развивает аристократию. Итак, теперь я говорю: погибни, чем скорее, тем лучше. Пусть народ неприготовленный вступит в свои права: во время борьбы он скорее приготовится; пока ты не падешь, он не может приготовиться, потому что ты — причина слишком большого препятствия развитию умственному даже и в средних классах; низшим, которые ты предоставил на решительное угнетение, на решительное иссосание средних, нет никакой возможности понять себя людьми, имеющими человеческие права».

Чернышевский приходит к выводу, что уничтожение монархии выгодно уже в том отношении, что отнимает у масс иллюзии (у нас веру в «царя-батюшку»), ставит их лицом к лицу с эксплуататорскими классами, обнажает социальную борьбу и этим ускоряет освобождение угнетенных. «Пусть, — говорит он, — начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетенные сознают, что

они угнетены при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетены; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды ни на правосудие, ни на что, потому что между угнетающими их нет людей, стоящих за них. А теперь они самого главного из этих угнетателей считают своим защитником, считают святым. Тогда не будет святых, а будет: ты — подлец, взяточник, грабитель, жестокий притеснитель, пьявка, развратник, и ты тоже, и он тоже, и нет между вами никого, кто променял бы свой класс на наш класс, кто стал бы за нас против вас и стал бы искренно, с убеждением, без своекорыстной цели, который тотчас же, как достигнет, чего хотел, сломал бы свои орудия и развил бы свои убеждения¹ до того до чего они должны быть развиты, до их крайних последствий».

Переходя к этим крайним последствиям, Чернышевский без колебания высказывается теперь за насильственную революцию народных масс. Его не смущают так называемые революционные эксцессы, не пугает «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Напротив, он призывает их как единственное средство покончить со старым миром угнетения. «Лучше d'en bas (снизу), чем d'en haut (сверху) — анархия, потому что там хотя не может быть таких бесчеловечных отношений, понимаете ли — не действий, а отношений, а это важнее... Вот мой образ мыслей о России: ожидание близкой революции и моя надежда на нее, хотя я и знаю, что долго, может быть, весьма долго из этого ничего не выйдет почти, так что, может быть, надолго только увеличатся угнетения и т. д. Что нужды! Человек, не ослепленный идеализацией, умеющий судить о будущем по прошедшему и благословляющий известные дикости прошедшего, несмотря на все зло, какое сначала принесли они, не может устрашаться этого. Он знает, что иного и ожидать нельзя от людей, что мирное, тихое развитие невозможно... Без конвульсий нет никогда ни одного шага вперед в истории... Глупо думать, что человечество может идти прямо и ровно, когда этого до сих пор никогда не бывало. Оно идет как человек: путь и человека, и человечества [идет зигзагами]»².

¹ В «Лит. наследии» (т. I, стр. 497) напечатано «учреждение». Мы предпочитаем здесь транскрипцию Ляцкого.

² «Лит. наследие», т. I, стр. 496—497. — В дневнике последние два союза отсутствуют, но вместо них нарисованы волнистая и зигзагообразная линии. Далее идет то место, которое мы привели в конце предыдущего параграфа, и в котором Чернышевский говорит о своих убеждениях и нерешительности своего характера, мешающей ему проводить эти убеждения на практике.

И вот мысли Чернышевского все больше сосредоточиваются на революции в России, о которой он прежде мало думал, поглощенный исключительно событиями в Западной Европе и особенно во Франции.

Выше мы приводили уже выписку из его дневника, относящуюся к 11 июля 1848 года и содержащую программу реформ, которые Чернышевский по его словам провел бы, если бы власть попала в его руки: это — освобождение крестьян, роспуск армии, распространение народного образования и т. д. Но дело петрашевцев показало ему, что для осуществления такой или подобной программы необходимо подготовить почву путем соответствующих революционных действий. И вот Чернышевский начинает рисовать себе целый план подготовки народного восстания с помощью революционных прокламаций и даже подложных манифестов. Время составления этого плана относится к маю 1850 года, когда, с одной стороны, в Европе победила реакция, торжество которой, как мы знаем, сильно обострило революционное настроение Чернышевского, а с другой — в России самодержавие окончательно распоясалось под влиянием страха, нагнанного на него европейскими событиями.

Мы уже рассказали о споре Чернышевского с Лободовским 14 мая 1850 года по поводу Луи Наполеона, защита которого Лободовским довела Чернышевского до крайнего ожесточения. И вот как Чернышевский излагает свои мысли во время возвращения от Лободовского после рассердившего его разговора (запись от 15 мая 1850 года).

«В 7 часов ушел... и ушел серьезно в возбужденном состоянии духа, с желчью, т. е. не раздраженно, а так, что пробудились чувства. Уже идя туда, думал о тайном печатном станке. Когда сел в карету¹, определились более мысли и вздумал так, что если доживет теперешнее положение общества до того времени, когда я буду жить в отдельной квартире и будет у меня несколько денег, то едва ли я не буду исполнять своих планов, которые, между прочим, были и такие: если напечатать манифест, в котором провозгласить свободу крестьян, о свободе от рекрутчины (сбавку вполовину налогов, сейчас вздумал) и т. д., и разослать его по всем консисториям и т. д. в пакетах от святейшего синода и велеть тотчас исполнить, не об'являя никому до времени исполнения и не смущаясь противоречием, и об'яснить, что в газетах появится в тех, которые будут напечатаны в день по отправке почты, чтобы дворяне не подняли бунта здесь преждевременно, когда народ еще не успел узнать, и не задавила гвардия². Потом придумал, что должно это послать и губернаторам; потом придумал,

¹ Т. е. в общественный дилижанс.

² Эти слова неразборчивы.

что должно не посылать его в самые ближние губернии к Петербургу, потому что, если так, то могут, получивши оттуда донесения, послать курьеров, которые догонят почту в дальних губерниях до приезда их туда, в назначенное место. И когда думал, что тотчас это поведет за собою ужаснейшее волнение, которое везде может быть подавлено и, может быть, сделает многих несчастными на время, но разовьет так и так расколышет народ, что уже нельзя будет и на несколько лет удерживать его, и даст широкую опору всем восстаниям, — когда подумал об этом, почувствовал какую-то силу в себе решиться на это и не пожалеть об этом тогда, когда стану погибать за это дело. Когда слез с кареты и пошел, пробудилась и та мысль, что ложь во всяком случае приносит всегда вред в окончательном результате, поэтому не лучше ли написать воззвание к восстанию, а не манифест, не употребляя лжи, а просто демагогическим языком описать положение и то, что только сила и только они сами через эту силу могут освободиться от этого? Теперь, когда подумал, да, конечно же, ложь здесь принесет вред, а не пользу и тотчас подумал, что так, что убьет доверие народа к воззваниям его приверженцев впоследствии времени.

«Да, я теперь чувствую себя не просто, как за несколько часов перед тем, питающего различные нахватанные из газет мнения, которые делают его расположенным к социализму и врагом застоя и угнетения, а почувствовал себя личным врагом, почувствовал себя в измененном положении, так, как чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в отношении к неприятельскому генералу, с которым должен вступить завтра в бой, внутренне теперь почувствовал, что я, может быть, способен на поступки самые отчаянные, самые смелые, самые безумные. Посмотрю, что из меня выйдет при моей трусости и таком характере. Этот ток мыслей и эта перемена вся произошла в 8-м часу вечера 15 мая 1850 года».

В этот знаменательный день Чернышевский перешел из юношеского возраста в зрелый. Теперь его настроение окончательно оформилось, и он выступает перед нами в виде сознательного революционера, твердо наметившего свою дорогу и отказавшегося от всех иллюзий и обходных путей. Он об'являет беспощадную борьбу старому миру и ставит себе задачей работать над подготовкой народного восстания, отвергнув по зрелом размышлении применение обмана и лжи по отношению к народным массам и поняв, что такие методы в конечном счете способны принести только вред.

Отныне судьба Чернышевского была решена. Как мы увидим, программу, намеченную им весной 1850 года, он впоследствии и попытался применить на деле.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ НА ПЕРЕПУТЫИ

1. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

В конце мая 1850 года Чернышевский сдал выпускные экзамены. По греческому языку у Грефе он получил четверку, что лишало его права на первое место, дававшее возможность вступления на государственную службу. С одной стороны, это его огорчило, а с другой — он усмотрел в этой неудаче некий плюс. Действительно нет худа без добра. Представим себе только на минуту Чернышевского в качестве чиновника, да еще в николаевскую эпоху, и мы надлежащим образом оценим его счастливый провал по греческому языку.

Кандидатским сочинением Чернышевского была работа о «Бригадире» фон-Визина, которую он представил Никитенке¹. В этой ученической работе, написанной под сильным влиянием идей Белинского и отчасти В. Майкова, замечен уже будущий автор «Очерков гоголевского периода» и основоположник той критической школы, наиболее блестящим представителем которой явился впоследствии Н. А. Добролюбов. Так, говоря о влиянии литературных произведений, Чернышевский указывает, что «оно бывает только тогда, если идеи, лежащие в основании произведения, входят в живое прикосновение с действительною (умственной, нравственной или практической, это все равно, но непременно с действительною) жизнью общества, так что, прочитавши это произведение, общество станет чувствовать себя совсем таким, как прежде, почувствует, что дан толчок его умственной или нравственной жизни» (стр. 2). И далее: «Законы художественности не могут противоречить тому, что есть в действительности, не могут состоять в том, чтобы действительность изображалась не в своем настоящем виде; как она есть, так и должна она отразиться в художественном произведении» (стр. 7). Мы как будто слышим здесь в зачаточном виде те положения, которые скоро встретим в более раз-

¹ Напечатана в собрании сочинении, т. X, ч. II, стр. 1—20.

витой форме в «Эстетических отношениях искусства к действительности», и которые сыграли такую крупную роль в истории русской литературы.

По окончании университета Чернышевский летом 1850 года с'ездил к родным в Саратов¹. Проезжая через Москву, Чернышевский побывал в семье священника Клиентова, с которой был знаком уже с 1846 года. Теперь, находясь в несколько восторженном настроении под влиянием выхода в широкую жизнь и под наплывом новых идей, овладевших его душою, Чернышевский увлекся дочерью Клиентова, Александрой Григорьевной². Перед нею и ее братом, которого он также хотел обратить в свою веру, Чернышевский усердно развивал свои идеи, навеянные влиянием Фурье, Жорж Занд и Фейербаха. Увидав у Клиентовой роман Герцена (Искандера) «Кто виноват?», подаренный ей женою Герцена, с которой она была когда-то знакома, Чернышевский был сильно поражен этим и на вопрос, знает ли он Искандера, воскликнул со своим обычным энтузиазмом: «Как не знать! Я его так уважаю, как не уважаю никого из русских, и нет вещи, которой я не был бы готов сделать для него». И далее Чернышевский горячо начал рассказывать о сочинениях Герцена то, что знал (судя по этому энтузиазму, надо полагать, что ему были известны не только книги и статьи Герцена, появившиеся до того времени в России, в частности печатавшиеся в «Современнике» 1847—1848 гг. «Доктор Крупов», «Письма из Авеинье Marigny», «Сорока-воровка», но и опубликованные за границей, например «La Russie», появившаяся в приложении к прудоновской газете «La Voix du Peuple», «Lettre d'un russe à Mazzini», напечатанная там же, и, может быть, немецкое издание «С того берега», вышедшее в начале 1850 года).

На обратном пути из Саратова (в конце июля) Чернышевский снова встретился с Клиентовыми. Во время прогулки с сестрой и братом по Тверскому бульвару юный пропагандист вел с ними беседы «в духе Жорж Занд, Гейне (которого, значит, успел уже изучить. — Ю. С.) и Фейербаха». Особенно он старался разбить их религиозные предрас-

¹ Е. Ляцкий — «На перепутьи к новой жизни». «Современник» 1912, кн. 5, стр. 141 и сл.

² Между прочим, как показывает запись в дневнике, он готов был жениться на ней, лишь бы избавить ее от тяжелого положения, — мотив, который неоднократно повторяется в любовных увлечениях Чернышевского; под впечатлением ее рассказов он собирался даже написать повесть, в которой, как и в прежних своих беллетристических замыслах, хотел изобразить ненормальное положение женщины в современном обществе. Так постепенно в уме его вырабатывались элементы для будущего романа «Что делать?» и пр.

судки, приводя тот довод, что несуществование бога доказывается незаслуженными страданиями людей, и притом лучших.

Чтобы не возвращаться больше к этому мимолетному, хотя и характерному эпизоду в жизни Чернышевского, скажем, что весной следующего года он снова свиделся с А. Г. Клиентовой в Москве, уже не испытывая к ней прежнего чувства, а с братом ее — во Владимире, причем «просидел с ним с полтора часа и осыпал хулами бога и провидение, отрицал будущую жизнь». Собеседник защищался «обыкновенными богословскими местами» и сообщил Чернышевскому, что тот своими речами возбудил было в его сестре сомнения.

Однако этот боевой атеизм не помешал Чернышевскому на пути в Саратов после окончания университета «при взгляде на Пензу перекреститься и быть в умилении, потому что это — родной папеньке город». Любовь к отцу выражалась у него еще в таких ребяческих действиях. Эта же любовь к отцу, боязнь напугать верующего священника радикализмом своих воззрений заставляла Чернышевского «опасаться разговоров о деликатных предметах (религии, правительстве и т. д.)», но и старик оказался тактичным и первый никогда не заговаривал на такие скользкие темы, видимо, догадываясь, что сын его за время пребывания в Петербурге успел сильно измениться. Более того, когда молодой кандидат сам заговаривал на щекотливые темы и, не стесняясь, высказывал перед знакомыми и даже в присутствии отца самые крайние мнения, последний избегал таких разговоров и предпочитал отмалчиваться. Надо полагать, что его родители, люди старых взглядов, глубоко скорбели в душе, видя, в какую сторону идет их чадо и как далеко оно уже зашло по этому пути. И сам Чернышевский позже жалел о том, что придал своему пребыванию в родительском доме «мрачно тоскливый колорит» и «все делал им выговоры».

В Саратове Чернышевский продолжал работу над своим самообразованием. Читал он между прочим Гельвеция. Это видно по следующей записи: «Дочитал «De l'Esprit» (первая книга Гельвеция, сожженная рукой палача. — Ю. С.), весьма много мыслей, до которых я дошел «своим умом»¹. Человек весьма умный, но, конечно, для нашего времени слишком поверхностный и односторонний и многие из основных мыслей принадлежат к этому числу, т. е. особенно те, которые противоречат социалистическим идеям о естественной привязанности человека к человеку, т. е. одна сторона эгоизма только вы-

¹ Эти слова указывают, что Чернышевский работал над развитием основных положений Фейербаха в более последовательном материалистическом направлении.

ставлена — свое счастье, а не то, что для этого счастья необходимо обыкновенно человеку, чтобы и окружающие его не страдали: это выпущено из виду» (курсив мой). Это место необходимо запомнить для того, чтобы правильно судить о моральной системе Чернышевского, о которой мы будем говорить ниже (кстати сказать, он судил о Гельвеции несправедливо).

Прожив пару месяцев в Саратове, Чернышевский стал собираться в обратный путь. Старики не решались его удерживать, но он видел, что его отъезд в столицу глубоко их опорчает. 25 июля он пустился, наконец, в дорогу, напутствуемый благословениями и слезами родителей. Ехал он вместе с А. Пыпиным, которого вез для определения в петербургский университет. Но вот за городом он распрощился с провожавшей его матерью и, как записывает он, «я понял свою подлость, безчувственность, что оставляю своих в Саратове в одиночестве, что, как негодяй, покидаю маменьку в жертву тоске. И я раскаялся и мне стало так, что хоть бы сейчас воротиться назад. Я думал, думал об этом две первые станции, и в моей голове созрела мысль хлопотать в Казани о назначении меня учителем в саратовскую гимназию, как это я сделал раньше в Петербурге, и это меня успокоило, как будто я получил уж это место».

2. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ — УЧИТЕЛЬ

Впрочем, Чернышевский, который чувствовал, что развернуться и проявить как следует свои силы он в состоянии будет только в столице, а никак не в глухой провинции, сначала пытался устроиться на место преподавателя в Петербурге. Как мы знаем, советы в таком духе давал ему и Введенский, который старался даже оказать ему в этом направлении содействие. С другой стороны, оказывал Чернышевскому такое же содействие и К. Д. Кавелин, который был тогда членом учебного комитета по военно-учебным заведениям. У него Чернышевский и хлопотал о назначении своей пробной лекции в Дворянском полку¹. Лекцию эту Чернышевский прочитал 13 сентября 1850 года. Лекция сошла, повидимому, не совсем удачно. По крайней мере, Чернышевскому было предложено место не преподавателя, а репетитора, что показалось ему неподходящим.

18 сентября Чернышевский получил известие, что в саратовской гимназии открылась вакансия учителя, и подал прошение о предоста-

¹ Е. Ляцкий — «Н. Г. Чернышевский — учитель». «Современник» 1912, № 6.

влении ему этого места. Но в начале ноября неожиданно открылась вакансия в кадетском корпусе, и Чернышевский был зачислен туда преподавателем, на каковом посту оставался четыре месяца.

И вдруг, неожиданно для него, пришел положительный ответ на его ходатайство о предоставлении ему места учителя в Саратове. После некоторого колебания он согласился взять его, что, как увидим, сыграло решающую роль в его личной жизни. Приказом 6 января 1851 года Чернышевский был назначен учителем словесности Саратовской гимназии с годовым окладом жалованья 485 р. 35 к., уехал в Саратов¹, а после Пасхи приступил к отправлению своих новых обязанностей².

В застоявшуюся атмосферу провинциального болота молодой, революционно настроенный Чернышевский внес свежий, живительный дух. Новый дух внес он и в гимназическое преподавание. Он старался стать с учениками на товарищескую ногу, возбуждать в них умственную самостоятельность, направлять их мысли к общественным интересам. Не ограничиваясь узкой школьной программой, молодой педагог затрагивал на уроках такие запретные тогда темы, как крепостное право, религия, история революций и т. д.³. По этому поводу Духовников передает, что директор гимназии Мейер восклицал: «Какую свободу допускает у меня Чернышевский! Он говорил ученикам о вреде крепостного права. Это — вольнодумство и вольтерианство! В Камчатку упекут меня за него!»⁴. Правда, Чернышевский действовал при этом

¹ В дневнике Чернышевского имеется интересная запись, сделанная им в конце марта 1851 года в Симбирске, по дороге в Саратов, и гласящая: «Мы выехали из Петербурга с Дмитрием Ивановичем Минаевым и Николаем Александровичем Гончаровым в повозке Гончарова... Дорогою все рассуждали между собою о коммунизме, волнениях в Западной Европе, революции, религии (я — в духе Штрауса и Фейербаха)».

² См. С. Чернов — «Н. Г. Чернышевский — учитель саратовской гимназии» в цит. выше саратовском сборнике «Н. Г. Чернышевский», 1926, стр. 170—196. Здесь, впрочем, использована не вся литература.

³ О вреде крепостного права для России Чернышевский говорил даже в присутствии директора гимназии, Мейера приходившего в ужас от его «вольностей». А саратовский приятель Чернышевского Е. А. Белов рассказывает, что однажды Чернышевский, отвечая на какой-то заданный учениками вопрос, «увлекся, разговорился, нарисовал план залы заседаний Конвента (курсив мой), обрисовал партии, указал места, где члены каждой партии сидели и т. д.». Зная отношение Чернышевского к красному террору, мы вправе полагать, что, как бы он ни старался быть осторожным и держаться на холодных высотах «объективной науки», он не мог, да еще в николаевскую эпоху, не наговорить при этом самых крамольных вещей.

⁴ Ф. Духовников — «Н. Г. Чернышевский. Его жизнь в Саратове». «Русская Старина», 1911, № 1, стр. 80—82.

с величайшей осторожностью и тактом, однако слухи о его необычайном поведении дошли все-таки до властей предержащих, что, повидимому, сыграло некоторую роль в отъезде его из Саратова.

Существует полубеллетристическое произведение М. Воронова, в котором автор, один из бывших учеников Чернышевского, описывает сильное впечатление, произведенное этим столь оригинальным для тогдашней русской провинции преподавателем, которого он по цензурным условиям назвать не решается¹.

«Словесность, — пишет М. Воронов, — прежде преподаваемую каким-то старичком по книжке Кошанского, читал теперь новый учитель, только что окончивший курс в одном из столичных университетов. Это была свежая, молодая натура, полная сил и энергии, человек, обладавший огромными специальными и энциклопедическими познаниями, что и заставило его довольно скоро выбрать более широкую арену для своей деятельности. Но и в то недолгое время, которое учитель пробыл в нашей гимназии, глубоко была потрясена им старая система воспитания, и память о нем навсегда сохранилась между его учениками... В учениках своих он умел развить охоту к чтению, постоянно прочитывая сам различные книги и кроме того снабжая ими желающих. Уроки всегда рассказывались им с такою ясностью и так понятно, что каждый мог повторить их, не прочитывая по книге. Кроме своего предмета он сообщил нам необходимые понятия почти о всех науках, показав в то же время метод к изучению их и степень важности каждой во всеобщем знании. С какой радостью мы встречали всегда этого человека и с каким нетерпением ожидали его речи, всегда тихой, нежной и ласковой, если он передавал нам какие-нибудь научные сведения. В классе господствовала мертвая тишина; даже самые шаловливые мальчики затихали и напрягали слух, боясь проронить хоть одно слово...

«Молодой учитель пробыл в нашей гимназии довольно недолго, оставив, однако, добрую, прочную память по себе между учениками и преследуемый проклятиями своих товарищей, кредит которых между воспитанниками был подорван навсегда, и грубая материальная сила уже не могла служить опорой в отношениях между оставшимися учителями и учениками».

Как преподаватель, Чернышевский старался в первую очередь дать своим ученикам общее развитие, расширить их кругозор, вызвать в них критическое отношение к предмету и пробудить в них обществен-

¹ М. Воронов — «Болото, Картины петербургской, московской и провинциальной жизни». Спб., 1870, стр. 120—121 и 123.

ные интересы. Этой цели он, повидимому, достиг. По словам одного из его учеников, Дурасова, влиянием Чернышевского объясняется наблюдавшийся одно время усиленный прилив воспитанников саратовской гимназии в университет. При этом передавались слова какого-то профессора казанского университета, который, экзаменуя их по словесности, заявил: «о ваших познаниях свидетельствует уже то, что вы — ученики Чернышевского»¹. А. Пыпин, по словам Чернова (стр. 192), писал домой из Петербурга, что там один профессор отказался экзаменовывать ученика Чернышевского, так как, в качестве такового, он прекрасно-де знает предмет. А некоторые из питомцев Чернышевского самоуверенно заявляли даже, что кто побывал его учеником, тому незачем и идти в университет, где не услышишь и не узнаешь того, о чем подробно говорил их учитель.

Но давая своим ученикам широкое общее развитие и обогащая их ум политическими сведениями, Чернышевский, повидимому, мало обращал внимания на требования тогдашней школьной программы, грамматические правила и т. п. По крайней мере, С. Чернов (стр. 192 и сл.) приводит несколько отзывов профессоров и чиновников, говорящих о «посредственных знаниях» некоторых учеников Чернышевского и выражающих недовольство представленными ими сочинениями. Тенденциозные «ученые» критики принуждены признать высокое, по тогдашнему времени прямо редкое, развитие учеников Чернышевского, но пытаются ослабить это несимпатичное для них явление мелочными указаниями на некоторые технические недочеты, вроде неправильного переноса слов и т. п. Вот почему нам представляется странным скоропалительное заключение С. Чернова, который, видимо, подавлен этими критическими отзывами проф. Булича и такого специалиста, как генерал-майор Молоствов, и уныло замечает (стр. 195): «Как бы то ни было, но Молоствов и Булич, повидимому, сумели поймать на расстоянии существенный (?) недостаток в преподавании Чернышевского». Заключение, достойное чеховского учителя гимназии, а не человека, который берется писать о Н. Г. Чернышевском.

Ясно, что Чернышевский был педагогом в лучшем смысле слова, что он старался воспитывать не чиновников и не ученых сухарей, а граждан, людей с широким политическим кругозором и живыми общественными интересами. Этим самым он оказывал, разумеется, революционизирующее влияние на своих слушателей и шел вразрез со всей тогдашней системой воспитания, которая направлена была к созданию

¹ Ф. Духовников, цит. ст., «Русская Старина» 1910, № 1, стр. 76. Эти же слова передаются Е. Ляцким, С. Черновым и пр.

верноподданных холопов самодержавного царя и тупых бюрократических держиморд.

П. Юдин, автор нескольких статей о саратовской старинке¹, Лакоте, коллега Чернышевского по преподаванию, и Е. Ляцкий², пытаются оспорить показания его учеников о том, что он в процессе преподавания старался проводить свои политические воззрения. Но они явно впадают здесь в недоразумение, которое у некоторых из них поддается личной консервативной точкой зрения. Разумеется, Чернышевский не выступал с учительской кафедры в роли профессионального агитатора, да в те времена он в таком случае не продержался бы и нескольких дней; но что, будучи человеком вполне определенных воззрений, он не мог да и не хотел удерживаться от изложения, при случае, этих взглядов, правда, в весьма тактичной и осторожной форме, вряд ли может подлежать сомнению. Да у нас имеется на этот счет и прямое указание самого Чернышевского, странным образом игнорируемое Ляцким, который частично его цитирует. А именно в дневнике Чернышевский замечает, что он в гимназии говорил такие вещи, которые «пахли каторгой». В те времена получить эту каторгу можно было и за одни разговоры, как показал Чернышевскому пример петрашевцев; и он хорошо об этом знал.

Во всяком случае местные саратовские охранители обратили внимание на деятельность Чернышевского, которую провинциальные сплетники, вероятно, постарались вдобавок раздуть. Судя по рассказу И. Палимпсестова, тогдашний саратовский епископ, «разведав, что Чернышевский в гимназии проводит явно безбожные идеи», пустился на доносы, и это будто бы было одною из причин, принудивших Чернышевского уехать из Саратова. О том, что тогдашний саратовский архиерей следил за Чернышевским и пытался пресечь его деятельность, свидетельствует и Никанор, беседу которого о Чернышевском мы выше цитировали. Вот что он говорит по этому поводу: «Мейер, покровительствуя, оберегал его, юного наставника гимназии, который готов был зарваться и попасть в беду. Но уже и тогда в Саратове Чернышевский наметил себе цель жизни — разрушать, по меньшей мере, религиозный порядок. Говорят, он был необычайно тонок и остроумен и мог прово-

¹ П. Юдин — «Из истории учебной реформы 60-х годов». «Русская Старина», 1905, № 3; стр. 690.

² Цит. ст., стр. 362; см. также С. Чернов, цит. ст., стр. 182 сл. Цитируемый Ветринским («Н. Г. Чернышевский», стр. 72—73) Г. Г. Шапошников, брат саратовского друга Чернышевского, С. Г. Шапошникова, также утверждает, что никакой «пропаганды» среди учеников Чернышевский не вел.

дить разрушительные мысли в неуловимых двусмысленностях. Но при этом он и не стеснялся и, увлекаясь духом эпохи, иногда выступал в поход открыто и прямо к своей цели разрушения. [Н. И.] Костомаров¹ рассказывал, что в одном обществе, где зашла как-то речь о творческой премудрости, Чернышевский заметил: «Да, да, что и говорить! Кажись, и я распорядился бы умнее в устройстве мира. Вот примерно Алтайский хребет я кинул бы на берега Ледовитого океана. Тогда и северная, и средняя Азия были бы обитаемы: северная была бы теплее, не скована в своих льдах, а средняя холоднее — не потонула бы в своих песках».

Разумеется, эти слова приводят богобоязненного архиепископа в негодование, которое еще усиливается при мысли о том, что другие этого возмущения не разделяют. «Саратовское общество, — продолжает Никанор, — по тогдашней моде, сочувствовало Чернышевскому, а светское начальство даже покровительствовало (?). Но восстал против него, конечно, осторожно (надо понимать: путем тайных доносов. — Ю. С.), тогдашний саратовский епископ, пр. Иоанникий, бывший впоследствии архиепископ варшавский, скончавшийся херсонским. Разведав, что Чернышевский в гимназии проводит явно безбожные идеи, преосв. Иоанникий стал называть эти вещи по имени (!), и Чернышевский вынужден был убраться из Саратова в Петербург. Куда же больше? Большому кораблю большое плаванье». И ниже: «В Петербург уехал он потому, что вытеснен был из Саратова влиянием саратовского епископа Иоанникия»².

В результате нажима архиерея на директора гимназии между Мейером и Чернышевским в начале 1853 года произошло объяснение. Дело началось, повидимому, с упомянутого выше рассказа Чернышевского о Конвенте и боровшихся в нем партиях, в связи с чем по городу пошли толки о том, что Чернышевский проповедует в школе революцию. Сам Мейер, видимо, не хотел придавать этому инциденту особенного значения, но по приводимым С. Черновым словам Е. Белова «напор извне был так силен», что Мейер вынужден был принять какие-то меры.

¹ Кому это рассказывал Костомаров, неясно.

² Этому определенному сообщению решительно противоречат следующие слова Духовникова, основанные, повидимому, на неверных и запоздалых слухах: «Преосв. Афанасий (?), правивший саратовской епархией с 1848 по 1856 г., по уверению И. А. Залесского, бывшего ученика Чернышевского, тоже относился к Н. Г. с особенным уважением, и Н. Г. бывал у него по четвергам». Впрочем, принимать человека любезно, а под рукою стараться его закопать — это вполне в поповском духе. Странно только, что Духовников говорит об Афанасии, тогда как епископом был тогда в Саратове Иоанникий.

К этим именно стараниям Иоанникия выжить молодого педагога из Саратова и относятся, вероятно, следующие записи в дневнике Чернышевского. Первая — от 4 марта гласит: «Я уверен, что меня теперь вытеснят, а я скорее поставлю все вверх дном и останусь, ежели уже на то пошло». А вторая — от 14 марта сообщает о разговоре с директором, «который, по его мнению, поступил благородно, отказавшись доносить на меня в Казань. Конечно, благородно с его точки зрения... Я не был в состоянии вести себя так раньше, когда не был уверен в своей силе, как и в том, что я — не трус и не малодушен. Но теперь я был спокоен и с п р о с и л его, а не требовал, чего раньше не мог сделать. Еще я доволен собою в отношении этого: не уступил и не струсил, но был чрезвычайно мягок и даже нежен»¹. Совершенно очевидно, что если бы Чернышевский не убрался из Саратова во-время, то происки подлого доносчика-архиерея могли бы повлечь за собою самые печальные для молодого ученого последствия.

Е. Белов утверждает даже, что если Чернышевскому удалось уехать из Саратова без особых неприятностей, то этим он был обязан, с одной стороны, высокому общественному положению своего отца, а с другой — хорошим отношениям его с местным губернатором М. Кожевниковым. Духовников (цит. ст., стр. 96) подтверждает факт этих хороших отношений, сопровождая, впрочем, свое сообщение глупыми рассуждениями².

В Саратовской гимназии Чернышевский пробыл в качестве преподавателя около двух лет, заслужив любовь молодежи и ненависть мракобесов. Ив. Воронов рассказывает: «День его отъезда из Саратова был скорбным для всех гимназистов, которые теснились, окружая его квартиру, и со слезами напутствовали его отбытие. Да, Чернышевский был истинным светочем, память о котором не изгладится у всех знавших его по педагогическим и литературным трудам и у всех тех, кто был счастлив знать его лично»³. По словам А. Н. Пылина связи с его бывшими учениками не прекратились у Чернышевского и после переезда его в Петербург. Некоторые из его учеников по окончании гимнази-

¹ «Соч.», т. X, ч. II, стр. 37 и 101.

² М. Н. Чернышевский сообщает, что М. Л. Кожевников (а не В. Кожевников, как пишет С. Чернов) нередко приглашал его отца к обеду («Соч.», т. X, ч. II, стр. 86). О посещениях губернатора и об обедах у него говорится несколько раз в дневнике.

³ И. Воронов — «Саратовская гимназия прошлого столетия». 1851—1859 годы». «Русская Старина», 1909, № 8, стр. 343; см. также А. А. Лебедев — «Н. Г. Чернышевский (Наброски по неизданным материалам)». «Русская Старина», 1912, № 3, стр. 479.

ческого курса перебрались в Петербург, где поступили студентами в Педагогический институт. «Эти старые ученики-земляки приходили к нему по воскресеньям, когда были отпускаемы из института, и приводили с собой товарищей, которым успели передать свои большие симпатии к прежнему учителю, у которого образовывалось уже и литературное имя. Собирался небольшой кружок, где беседа в конце концов становилась рассказами Чернышевского по русской истории и литературе... Этот кружок молодых людей, без сомнения (?), и основал большую популярность Чернышевского в кружках молодежи, которая с великим интересом перечитывала его статьи¹. Через одного из членов этого кружка, Турчанинова, Чернышевский впоследствии и познакомился с Н. А. Добролюбовым, который по времени стал его правой рукой. Об этом сообщает тот же Пыпин (ib., стр. 25; отдельное издание, стр. 93).

Влияние Чернышевского распространялось не только на гимназическую молодежь, но и на семинаристов, с которыми он также имел связи. Слухи о добром учителе не заглохли, а слава его еще возросла с развитием его литературной деятельности. Ветринский² приводит следующий рассказ И. Горизонтова, поступившего в саратовскую семинарию в начале 60-х годов: «Арест и осуждение Николая Гавриловича мы, семинаристы, его почитатели (конечно, не все), встретили унынием и слезами. На саратовскую семинарию за Чернышевского и за участие в процессе Каракозова бывших саратовских семинаристов (Лапкина, Воскресенского, Сергиевского) обрушились страшные гонения и невзгоды; говорили даже о ее закрытии»³.

Такая участь угрожала не только саратовской семинарии. После осуждения Чернышевского и после каракозовского дела тень неблагонадежности пала на весь Казанский учебный округ, в который входили и семинария, и гимназия Саратова; из них первая была виновна тем, что воспитала такого зловредного крамольника, как Чернышевский (хотя, как мы уже указывали в первой главе этой части, семинария сама по себе была здесь ни при чем), а вторая — тем, что этот злоумышленный «развратитель молодежи» в ней преподавал.

Когда гр. Д. А. Толстой, до того бывший обер-прокурором св. синода, был, после покушения Каракозова на царя, назначен 14 апреля 1866 года министром народного просвещения, он совершил поездку для обозрения учебных заведений Казанского округа, считавшегося тогда,

¹ А. Пыпин — «Мои заметки». «Вестник Европы», 1905, март, стр. 22.

² «Н. Г. Чернышевский», стр. 76—78.

³ Сам Горизонтов был изгнан из семинарии с волчьим билетом.

как мы сказали, особенно крамольным. 23 августа он прибыл в Саратов и в тот же день держал преподавателям Саратовской гимназии речь (напечатанную в № 196 «Северной почты» от 13 сентября 1866 г.). В этой речи он, намекая на Чернышевского, между прочим сказал: «Должен сожалеть, что в прежнее время в вашем составе находились личности, которые не должны были бы выступать на учительское поприще: они принимали на себя эту важную обязанность не для пользы юношества, а ко вреду для него, для распространения разрушительных идей, последствием коих, как теперь оказывается на опыте, было умственное и нравственное развращение некоторых людей, сделавшихся несчастной жертвою этой пропаганды. При мне подобные преподаватели невозможны. Я обязан перед священной особою государя императора и перед моей собственной совестью не допускать, чтобы училище, содержимое на счет правительства, обращалось в притон противообщественных и противогосударственных теорий»¹.

Все понимали, что новый гаситель народного просвещения, впоследствии прославившийся в летописях русского обскурантизма, говорил о Чернышевском.

Какое воспоминание оставил по себе Чернышевский среди саратовских «людей в футляре», видно из следующего характерного факта, имевшего место через много лет, а именно в 1889 году. Когда при похоронах Чернышевского погребальное шествие намеревалось остановиться у здания гимназии, в которой некогда преподавал Чернышевский, чтобы отслужить там литию, директор гимназии выслал сказать священнику, что он этого не желает, и процессия прошла мимо².

3. САРАТОВСКИЙ КРУЖОК

С кем встречался Чернышевский в Саратове в этот переходный период? На этот вопрос повествователи и мемуаристы дают различ-

¹ По этому поводу П. Ю д и н («Н. Г. Чернышевский в Саратове». «Ист. Вестник», 1905, № 12, стр. 888), вообще очень часто передающий неосновательные обывательские толки, пишет: «Как можно судить по архивным документам (каким? — Ю. С.) Чернышевского (уже сосланного в каторгу) допрашивали по поводу события 4 апреля 1866 года вследствие того, что Каракозов был некоторое время учеником Саратовской гимназии. Из этого незначительного факта вывели заключение, что преступные идеи последнему вложены Н. Г. (?). Такого убеждения держался и назначенный 14 апреля 1866 года министром народного просвещения граф Д. А. Толстой, как это (?) высказал он, при посещении 23 августа того же года Саратова, преподавателям тамошней гимназии».

² В е т р и н с к и й, цит. соч., стр. 78.

ные ответы, из которых в общем можно все же составить себе представление о тогдашнем окружении Чернышевского.

П. Юдин сообщает, что в круг саратовских знакомств Чернышевского входили Н. Костомаров, Е. Белов, начальник отделения местной казенной палаты Вознесенский, учитель гимназии В. Г. Варенцов, врач С. О. Стефани. Ссылных поляков в Саратове в то время якобы не было¹. Но тот же Юдин в другой статье, напечатанной около того же времени, дает более полный список саратовских знакомых Чернышевского². Он называет следующих: Н. И. Костомарова, Д. Л. Мордовцева³, А. Ф. Леопольдова, В. Г. Варенцова, Н. А. Мордвинова (управляющий саратовской удельной конторы), И. А. Гана (председатель саратовской казенной палаты), Е. А. Белова. По словам учителя саратовской гимназии М. А. Лакомте, Белов был близким лицом к Чернышевскому. Совместно с ним он переводил в Саратове «Историю XVIII столетия» Шлоссера⁴.

Через посредство Чернышевского Белов познакомился с Н. И. Костомаровым, на которого Николай Гаврилович «также имел большое влияние»⁵. Они составили «тесный товарищеский кружок с либераль-

¹ П. Юдин — «Н. Г. Чернышевский в Саратове». «Ист. Вестник», 1905, № 12, стр. 882—883. Между тем Ф. Духовников в статье «Н. Г. Чернышевский. Его жизнь в Саратове» («Русская Старина», 1911, № 1, стр. 89) говорит, что знакомство Н. Костомарова состояло из кружка ссылных поляков: Мелянтова, Михаловского, Завадского и Врублевского, очень образованных людей, причем прибавляет, что «Н. Г. Чернышевский недолго любил высокомерных и кичащихся своим образованием поляков, принятых в лучших аристократических домах Саратова, и они отплачивали ему тем же». Если это и верно, то не должно вводить нас в заблуждение. Чернышевский мог недолго любить тех или иных отдельных поляков, особенно проникнутых шляхетским духом и льнувших к русским чиновникам. Но он горячо сочувствовал борьбе польской нации за свою свободу, только шел в своих воззрениях дальше обычных польских революционеров.

² П. Юдин — «Е. А. Белов». «Русская Старина», 1905, № 12, стр. 496.

³ Впоследствии Мордовцев вывел Чернышевского в романе «Профессор Ратмиров». См. мою статью «Н. Г. Чернышевский в изображении наших беллетристов». «На литер. посту», 1927, № 22—23, стр. 97—100.

⁴ Е. Ляцкий («Чернышевский — учитель», *loc. cit.*, стр. 363) называет еще близким к Чернышевскому человеком учителя Е. И. Ломтева.

⁵ Юдин рассказывает, что когда Костомаров собирался писать, он впадал в транс, бегал по комнате, жестикулировал, болтал, чтобы подогреть себя. Мать, видя сына в таком ненормальном состоянии, сейчас же бежала к Чернышевскому, прося его «вразумить Колю». Чернышевский сначала успокаивал старуху, а затем отправлялся уговаривать своего приятеля. И они уже вместе без волнений и «подогреваний» обсуждали тему намеченного сочинения.

ным направлением». Собирались по вторникам у Белова; собирались и у других.

Собрания этого кружка (если тут можно говорить о кружке) нельзя было, по словам Юдина, назвать чисто литературными. Сами участники кружка называли их «говорильнями», потому что тут говорилось обо всем без конца. Обсуждались не только вопросы литературы и науки, но и жгучие вопросы современности. Каждая новая книжка «Отечественных Записок» разбиралась по косточкам. В числе самых интересных и ярых ораторов были Н. Костомаров и Чернышевский. Последний, приходя на журфиксы, ограничивался пожиманием рук только тех, кто находился по дороге к намеченному им месту. Он прежде всего искал глазами свободный стул, на котором поскорее усаживался, и начинал прислушиваться к дебатам. Через некоторое время он уже был в числе главных спорщиков. Иногда, впрочем, он больше молчал и внимательно слушал то, что говорили другие ¹.

И. Воронов говорит по поводу этого кружка: «Сердечные отношения между Костомаровым, Чернышевским и Мордовцевым были неизменны и по переезде их в Петербург; в Саратове же этот триумвират назывался духовно-просветительным, каковым он был в действительности, так как на вечера, устраиваемые поочередно этими деятелями, приглашались учителя гимназии и некоторые ее ученики седьмого класса, известные Чернышевскому за людей развитых и интересующихся научными сведениями» ².

Из всех тогдашних приятелей Чернышевского в Саратове самым выдающимся и, казалось бы, наиболее близким к нему был Н. И. Костомаров. О дружбе, тесно связывавшей в то время этих столь непохожих друг на друга людей, говорят все сторонние источники. Так, Ду-

¹ Юдин (стр. 503—505) сообщает, что Белов бывал у Чернышевского и тогда, когда тот переехал в Петербург. Его близость к Чернышевскому привела даже к установлению за ним негласного надзора, а затем и к привлечению его к допросу в III Отделении, где, по рассказам его дочери, ему пришлось иметь «очень бурные объяснения» с графом Шуваловым по делу Чернышевского. Но в конце концов ему удалось себя «реабилитировать». О «неприятностях», которые Белов имел в Петербурге, сообщает и С. Чернов (цит. ст., стр. 188). Но в политических взглядах они совершенно не сходились.

² И. Воронов — «Н. И. Костомаров и его деятельность во время ссылки в Саратове». «Русская Старина», 1907, № 12, стр. 677. Он же сообщает, что, будучи редактором «Губернских Ведомостей», Костомаров оживил газету привлечением таких сотрудников, как Н. Г. Чернышевский и Д. Л. Мордовцев. Насчет сотрудничества Чернышевского другие источники ничего не говорят, и потому мы думаем, что это — фантазия Воронова.

ховников (цит. ст., стр. 94) указывает на общность идейных интересов обоих приятелей. И Чернышевского, и Костомарова, говорит он, занимали лекции Фейербаха (?) и естествознание. Костомаров делился с Чернышевским книжными новостями. Раз они в гостях проспорили об одном слове целый вечер к изумлению присутствующих обывателей. Отец Чернышевского говаривал: «Мой Николай только и отводит душу с Николаем Ивановичем».

Приблизительно то же сообщает и А. Пыпин¹.

«Они, — пишет он, — видались постоянно; это были люди одинакового научного уровня, что в провинции нелегко было встретить; Н. Г. мог вполне оценить начатые тогда работы Костомарова, которые вскоре потом явились в печати: «Хмельницкий» в «Отечественных Записках» и «Очерки жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях» в «Современнике». Чернышевский очень высоко ставил труды Костомарова и сравнивал их с произведениями знаменитого Тьерри. По характерам они не очень сходились; у Костомарова бывали странности, бывало, например, соединение вкусов (!) мистических и рядом скептического реализма; бывали капризы и немалые угловатости характера (иногда очень резкие), которые Чернышевскому нравиться не могли».

Здесь Пыпин, по свойственной ему манере обходить все острые углы и невразумительными словами отговариваться от щекотливых вопросов, очень мягко квалифицирует отрицательные стороны Н. Костомарова, его религиозное суеверие, доходившее до обычного идолопоклонства темных крестьян, реакционность его взглядов, и притом безмерную самоуверенность и болезненное самолюбие, делавшее его в общезнании совершенно нестерпимым человеком. Конечно, в глухой провинции, среди обывателей, мало интересовавшихся общественными вопросами, и Н. Костомаров был для Чернышевского находкой, но вряд ли между ними могла существовать действительная духовная близость².

¹ «Мои заметки», loc. cit., март, стр. 21—22.

² Сохранились рассказы саратовских старожилов о насмешках Чернышевского над религиозными суевериями Костомарова и о столкновениях между ними на этой почве. В дневнике Чернышевского за 1850 год есть характерное в этом отношении место («Соч.», т. X, ч. II, стр. 55). Рассказав о том, что под влиянием объяснения с невестой он пришел в «решительно радужное расположение духа», Чернышевский прибавляет, что, идя к Костомарову, дал себе слово не ругать никого. «И я сдержал свое слово, — поясняет он, — не хотел даже смеяться над богом и будущей жизнью, от чего не удержался бы раньше». Это доказывает, что подобного рода насмешки составляли неотъемлемую часть его бесед с верующим историком. А что Чернышевский не считал Н. Костомарова революционером, видно из его разговора с невестой от 19 февраля 1853 г., который мы приведем

Последующие события показали, насколько эти два человека были в сущности чужды друг другу, а когда Н. Костомаров в 1861 году во время студенческих волнений обнаружил свои реакционные уши, прежние приятельские отношения были порваны и превратились во взаимную вражду.

Об их знакомстве рассказал сам Н. Костомаров в своей автобиографии¹.

Вот что сообщает Н. Костомаров.

«В начале 1851 года я познакомился с Чернышевским, который сам ко мне приехал. Это был благообразный белокурый юноша с тонкими чертами лица и крайне бурсацкими манерами, от которых он, повидимому, и не хотел отвыкать...

«Я виделся с Чернышевским очень часто и сошелся с ним. Мы играли с ним в шахматы (он играл мастерски), толковали, читали вместе. Чернышевский был тогда учителем словесности; его занимало тогда славянство², и он изучал сербские песни.

«Из близких мне знакомых поляков Мелантович, человек поэтический и увлекающийся, не долюбивал Чернышевского, называл сухим, самолюбивым и не мог простить в нем отсутствие поэзии. В последнем он вряд ли ошибался. Помню я очень вечер в мае 1852 года: сидел я у окна, из которого открывался прекрасный вид — Волга во всем величии, за нею горы, кругом сады, пропасть зелени... Я совершенно увлекся. «Смотрите, Н. Г., какая прелесть: не налюбуюсь. Если освобожусь когда-нибудь, то пожалею это место». Чернышевский засмеялся своим особым тихим смешком и сказал: «Я не способен наслаждаться красотами природы»³.

По поводу этой выходки, долженствующей доказать поэтичность натуры самого Костомарова в сравнении с черствой натурой безбожного отрицателя Чернышевского, Ф. Духовников (цит. ст., стр. 90)

далее. Более того, он вообще был о нем невысокого мнения, как видно из записи в дневнике от 4 марта 1853 года. Там сказано, что он усматривал в Н. Костомарове пошлость и смотрел на него свысока, как, впрочем, и на других, как, например, Белова («Соч.», т. X, ч. II, стр. 31). И такое отношение было совершенно естественно, ибо окружали его жалкие обыватели.

¹ Ввиду того, что текст той части воспоминаний Костомарова, которая была напечатана в «Русской Мысли» 1885 года, №№ 5 и 6, во многом отличается от того текста, который опубликован в отдельном издании «Автобиографии Н. И. Костомарова», изд. «Задруга», М. 1922, мы будем цитировать ту и другую, каждый раз указывая, откуда мы берем данную цитату.

² Надо понимать славянские наречия, которые под влиянием И. Срезневского Чернышевский изучал для занятия профессурой.

³ «Русская Старина», 1885, № 6, стр. 24—25.

правильно указывает, что слова Костомарова насчет отсутствия у Чернышевского поэтического чувства ни на чем не основаны. Чернышевскому с детства был знаком восхитивший Костомарова вид на Волгу; вдобавок он был, как известно, сильно близорук. Но верно то, что в Чернышевском преобладала внутренняя работа духа. Тот же Духовников передает следующий факт. По возвращении Чернышевского из ссылки одна дама спросила у него: «Какая скука, вероятно, нападала на вас, когда вы жили там?» (т. е. в Сибири). — «Нет, — отвечал Чернышевский, — не скучал. Я имею способность жить в мире идей, которые занимают меня, и покуда у меня эти идеи есть, и ими занята голова, я только и знаю их: для меня более ничего уже не существует: ни обстановка, ни люди, ни природа».

Но дело в том, что в абсолютной форме мнение о нечувствительности Чернышевского к красотам природы совершенно неверно (хотя решительно непонятно, почему бы это могло говорить против него, если бы и было справедливо). Следующая выдержка из письма Чернышевского к Некрасову от 24 сентября 1856 года вносит в это установившееся мнение серьезную поправку. «Вы пишете, — говорит Чернышевский, — что не скучали Европою только восемь дней, — и то хорошо. Я, признаюсь, и этого не ожидал. Но южная природа не должна наскучить никогда. Я — не особенный любитель природы, но все-таки нельзя же не любить ее. Нет, она может служить хорошим и долговременным лекарством от скуки, — и, верно, вы влюбитесь в южную природу... Поверите, что я мечтаю о ней. Жить среди роскошной зелени — это высочайшее наслаждение после любви к женщине и после наслаждений, по временам доставляемых умственной деятельностью. Но от этих последних чувств, быть может, возможно утомление, а природа не утомит и не пресытит никогда»¹.

Письма Чернышевского из Сибири, в которых он убеждает жену поехать в южную Италию и расписывает прелести тамошней природы, а также написанные им в Сибири и по возвращении из ссылки беллетристические произведения подтверждают наше мнение о том, что Чернышевский при всей своей близорукости, естественно играющей в этом отношении роль ослабляющего фактора, далеко не был нечувствителен к красотам природы. Что он был по существу глубоко поэтической натурой и чутко воспринимал действительную красоту во всех областях жизни, об этом свидетельствует все содержание его жизни и работ.

В отдельном издании «Автобиографии» Н. Костомарова о знакомстве с Чернышевским говорится следующее: «Я познакомился с Черны-

¹ «Переписка Чернышевского», изд. «Моск. Рабочий», М. 1925, стр. 26.

шевским в 1851 г. в Саратове... Судьба поставила меня с ним в самые близкие дружественные отношения, несмотря на то, что в своих убеждениях я с ним не только не сходилась, но был в постоянных противоречиях и спорах. Близость с ним сложилась в Саратове и продолжалась в Петербурге до тех пор, пока события по поводу студенческих демонстраций не развели нас совершенно. Чернышевский был человек чрезвычайно даровитый, обладавший в высшей степени способностью производить обаяние и привлекать к себе простотою, видимым (!) добродушием, скромностью, разнообразными познаниями и чрезвычайным остроумием. Он, впрочем, лишен был того, что носит название поэзии (!)¹, но зато был энергичен до фанатизма, верен своим убеждениям во всей жизни и в своих поступках и стал ярким апостолом безбожия, материализма и ненависти ко всякой власти. Это был человек крайностей, всегда стремившийся довести свое направление до последних пределов. Учение, которое он везде и повсюду проповедывал, где только мог, было таково: отрицание божества; религиозное чувство в его глазах была слабость суеверия и источник всякого зла и несчастья для человека; бог нашей религии — это отвлеченная идея, олицетворяемая сообразно той степени человеческого развития, при какой творились языческие божества, олицетворяемые физические и нравственные (?) силы природы... Такое олицетворение отвлеченных понятий было неизбежно в период юности человеческой мысли, но стало излишним и вредным, когда человек расширил кругозор своих взглядов... Отсюда истекало у Чернышевского и отрицание святости всяких властей, всего того, что имело поползновение стеснять свободу человеческой жизни. Весь общественный порядок, удерживающийся до сих пор, есть великое зло,

¹ Хорошо знавший Чернышевского М. Антонович, рассказав о том, что Н. Г. частенько заходил к нему выпить чаю и посидеть, продолжает: «Он с удовольствием, мало того, с каким-то особенным наслаждением декламировал любимые им стихотворения классических поэтов, наших и немецких, и французские демократические песенки. При декламировании стихотворений с политическим оттенком, напр., Рылеева, голос его дрожал от волнения, и в глазах наворачивались слезы. Признаюсь, первое такое декламирование и для меня было неожиданным сюрпризом, и я, значит, знал тогда Н. Г. так мало, что не считал возможным с его стороны эстетические увлечения. А между тем, его маленькая книжка о Пушкине, в которой он так симпатично и любовно говорил о стихотворениях этого поэта, должна была показать мне и другим, что в груди Н. Г. была очень чувствительная эстетическая жилка, что бы ни говорила нам его диссертация» («Из воспоминаний о Чернышевском». «Труды В. Э. Общества», 1910, № 1, Приложение. Заседание III отделения В. Э. О. 17 октября 1909 г., посвященное памяти Н. Г. Ч., стр. 19). Ср. приводимые ниже выдержки из писем Чернышевского к Некрасову.

которое разрушится при дальнейшем развитии человеческой мысли. Никакое из правительств, существовавших в различных формах, не может назваться хорошим; все носят в себе зародыши зла, и нам нужен радикальный переворот. Прудонovo положение, что собственность есть зло, Чернышевский развивал до крайних пределов, хотя признавал, что идеал нового общественного строя на коммунистических началах еще не созрел в умах, а достичь его можно только кровавыми разрушительными переворотами. Чернышевский на Руси, можно сказать, был Моисеем-пророком наших социалистов, в последнее время (писано во 2-й половине 70-х годов. — Ю. С.) проявивших свою деятельность в таких чудовищных формах. Между тем Чернышевский в своей частной жизни, в своих приемах казался (!) в высшей степени мягким, добродушным, чистосердечным, любвеобильным. И в самом деле он истинно желал человечеству добра и, если в своих теориях заблуждался, то поступал искренно. Эта-то искренность и привязывала меня к нему».

В своих суждениях о Чернышевском этот странный историк не возвышается над уровнем самой заскорузлой, реакционной обывательщины. «Один саратовский архимандрит, — продолжает он, — Никанор (который впоследствии сам отчасти подвергся влиянию Чернышевского), очень ловко (!) по поводу его вспомнил легенду о том, как бес принимает на себя самый светлый образ ангелов и даже самого Христа, и тогда-то бес наиболее бывает опасен¹. В самом деле припоминаю себе многое из жизни, когда Чернышевский как бы играл из себя настоящего беса. Так, например, обративши к своему учению какого-нибудь юношу, он потом за глаза смеялся над ним и с веселостью указывал на

¹ Эта ссылка на Никанора, который, как мы видели в предыдущем параграфе, в свою очередь ссылается на рассказ Костомарова о безбожных рассуждениях Чернышевского, показывает, что этот странный «прогрессист» не только поддерживал дружеские отношения с изувером-монахом, но и позволял себе болтать с ним об атеизме Чернышевского, т. е. попросту занимался доносами, ибо шпионские обычаи православного духовенства не могли не быть ему хорошо известны. Впрочем, и другие «прогрессисты» не гнушались общением с этим Никанором, как видно из следующего его рассказа: «Туристы-литераторы, путешествовавшие тогда по Волге, навещали меня не один (Семевский, Слепцов, Безобразов, вероятно, и другие, не помню), направляемые ко мне хорошо знакомыми мне директором гимназии Мейером, Мордвиновым, Костомаровым, Мордовцевым. Хотели направить ко мне и Чернышевского в один из его визитов Саратову, но он, благодарение богу, оказалось к счастью моему, отказался посетить меня из ненависти к воспитавшей его семинарии; он до такой степени ненавидел ее, что не мог равнодушно ее видеть» (цит. ст. в «Страннике», стр. 30—31). Да, Чернышевский с такими господами якшаться не хотел.

легкость своей победы¹. А таких жертв у него было несть числа. Саратовская гимназия была им совершенно переделана (?) и так ловко, что директор и инспектор, люди положительно другого направления, не могли даже уследить за ним и за свою простоту подвергались от него же насмешкам. То же было и в Петербурге, где он сделался, так сказать, идолом молодежи. Даже люди солидные, никак не соглашавшиеся с его крайностями, относились к нему с уважением, ценили в нем искренность и спорили, оставляя за ним свободу мысли, потому что преследовать мысль, хотя бы противную нам, считалось делом дурным и бесчестным».

Пропускаем характеристику магистерской диссертации Чернышевского, которую Костомаров заканчивает словами: «Молодежь ухватилась за нее как за великую мудрость, и с его легкой руки начались в литературе оплевания признанных прежними поколениями поэтических талантов». Далее он продолжает: «В 1862 году я виделся с ним в последний раз и разошелся с ним совершенно по поводу студенческой истории»².

Уже из вышесказанного видно, что настоящей духовной близости между Чернышевским и Костомаровым быть не могло.

4. ЖЕНИТЬБА

Жизнь в Саратове тяготила Чернышевского. «Жить здесь, — писал он в дневнике, — значит терять свою карьеру». Карьера провинциального учителя гимназии не могла, конечно, прельщать молодого ученого и революционера, в голове которого бродили великие мысли. Да и вообще на жизнь в Саратове он смотрел как на временный этап, как на уступку родителям. Проживая в Саратове, он готовил свою диссертацию и строил планы литературной деятельности. «Я человек нужный, — отмечает он в дневнике. — Буду писать в «Отечественных Записках» или в «Современнике». Буду писать все, что угодно. Главным образом, если на мой выбор, критические известия о различного рода литературе и теории словесности». Чернышевский сознавал свои силы и понимал, что обладает колоссальной эрудицией. «Сколько я буду работать для своих ученых целей? — спрашивает он в дневнике и отвечает: — часа три в день, не более, потому что и теперь никогда почти не работаю постольку, и все-таки у меня столько познаний, как у немногих»³.

¹ Откуда Н. Костомаров взял все это, неизвестно; это — несомненная клевета.

² *Иб.*, стр. 333. О студенческих волнениях см. том второй нашей работы.

³ «Соч.», т. X, ч. II, стр. 37, 65.

А пока он работал над своим словарем к Ипатьевской летописи и думал о своей будущей магистерской диссертации. Наметил ли он уже в тот момент тему этой диссертации, неизвестно, но в дневнике за март 1853 года встречается фраза, показывающая, что эта тема, пожалуй, уже мелькала в его голове (если только не была задумана еще на студенческой скамье, что тоже возможно). А именно там сказано (стр. 65): «Должно будет изучить для Никитенки Vischer's Aesthetik», а, как мы знаем, «Эстетика» Фишера и дала Чернышевскому повод к составлению «Эстетических отношений искусства к действительности».

Чернышевский рвался из Саратова в Петербург. Но перед отъездом в столицу он задумал сделать решительный шаг в своей жизни, а именно жениться.

Мы уже упоминали о целомудрии Чернышевского, которое естественно делало его человеком, особенно чувствительным к женской прелесть. Нам уже известны его увлечения Лободовской и Клиентовой. В Саратове с его провинциальными обычаями, вечеринками, танцами, ухаживаниями и т. п. дело шло таким же порядком. Чернышевский поочередно увлекался местными барышнями, готовый увидеть в каждой свой идеал: сначала 16-летней Е. Н. Кобылиной, дочерью председателя местной казенной палаты, затем какой-то Патрикеевой (первой, с которой он любезничал), пока наконец не встретился со своей суженой. 26 января 1853 года на вечере у местных обывателей Акимовых он познакомился с Ольгой Сократовной Васильевой. И участь его была решена¹.

Саратовский дневник Чернышевского это — настоящий любовный гимн, увлекательная поэма в прозе, посвященная восхвалению его невесты и воспеванию ее достоинств, физических и душевных. Чернышевский был пленен не только красотой Ольги Сократовны, жгучей брюнетки цыганского типа, но и ее бойкостью, живым темпераментом, инициативностью и простотой в обращении. Он сначала боролся с своим чувством, подробно анализировал его, педантически взвешивая все pro и contra, долго колебался — и наконец решился, а, раз решившись,

¹ В. А. Пыпина — «Любовь в жизни Чернышевского», Петр., 1923; Е. Ляцкий — «Любовь и запросы личного счастья в жизни Н. Г. Чернышевского». «Современник», 1912, №№ 9—12; его же — «Чернышевский на пороге семейной жизни». «Современник», 1913, № 1 и 4; М. Чернышевский — «Жена Н. Г. Чернышевского». «Современник», изд. «Гос. инст. журналистики», М. 1925, январь; Саратовский дневник Н. Г. Чернышевского. «Соч.», т. X, ч. II; Марианна Чернышевская — «Мои воспоминания об Ольге Сократовне Чернышевской» и М. Чернышевская — «Мои воспоминания об Ольге Сократовне Чернышевской» в саратовском сборнике «Н. Г. Чернышевский», Саратов, 1926.

пошел уже твердо и уверенно к своей цели, подчиняя себе и волю родителей, которым слишком «резвая» невеста не нравилась, и которым казалось, что эта избалованная, легкомысленная барышня, вдобавок оклеветанная местными длинноязыкими кумушками в штанах и юбках, не пара их скромному, тихому, целомудренному Николе¹.

Враждебно настроенная против Ольги Сократовны (и по причинам, довольно основательным) В. А. Пыпина высказывает ту мысль, что Васильева заманивала Чернышевского, вульгарно выражаясь, «ловила» его как выгодного жениха, привлекавшего ее еще обещанием предоставить ей после брака полную свободу. Но это было, повидимому, не совсем так. Чернышевский хотел найти себе подругу жизни и как можно скорее, дабы сохранить целомудрие до свадьбы. Встретившись с Ольгой Сократовной, он решил и убедил себя, что лучшей жены, более соответствующей его идеалу женщины, ему не найти. Что невеста не отвечала ему таким же чувством пылкой страсти, что в ней говорил и голос расчета, что она вообще иначе смотрела на жизнь, что Чернышевский ей просто нравился, — это, разумеется, верно.

Дочь саратовского врача, Ольга Сократовна Васильева, бойкая, красивая девушка, явно тяготилась своим семейным положением: мать ее сильно недолюбливала. Чернышевский решил вызволить девушку из тяжелой семейной обстановки, «спасти» ее, но с другой стороны он долго колебался: его останавливала мысль о том, что он, как революционер, человек обреченный, не вправе обзаводиться семьей. Занося в свой дневник перечень мотивов, по которым он, с одной стороны, не может вступать в брак, а с другой — должен жениться, Чернышевский среди первых, препятствующих, причин отмечает такую: «Мой образ мыслей таков, что раньше или позже я непременно попадусь — поэтому я не могу связывать ничьей судьбы с своею. Довольно и того уже, что с моей жизнью связывается жизнь маменьки».

Даже решившись уже сделать Ольге Сократовне предложение, Чернышевский счел своим долгом, «как честный человек», открыть перед девушкой свой образ мыслей, высказать ей свои опасения и свои сомнения насчет того, следует ли ей связывать свою судьбу с его судьбой. 19 февраля 1853 года во время объяснения с Ольгой Сократовной Чернышевский сказал ей: «С моей стороны было бы низостью, подлостью связывать со своею жизнью еще чью-нибудь и потому, что я не уверен

¹ В дневнике Чернышевского неоднократно повторяется та мысль, что если родители не позволят ему жениться на избраннице его сердца, то он покончит с собой. Впрочем, тут же он отрицает за родителями и за кем бы то ни было (напр., за И. Введенским) право решать за него в таком интимном деле.

в том, долго ли я буду пользоваться жизнью и свободой. У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгою, — я такие вещи говорю в классе.

— Да, я слышала это, — отвечала Ольга Сократовна.

— И я не могу отказаться от этого образа мыслей. Может быть, с годами я несколько поохладею, но едва ли.

— Почему же?.. Неужели в самом деле не можете вы перемениться?

— Я не могу отказаться от этого образа мыслей, потому что он лежит в моем характере, ожесточенном и недовольном ничем, что я вижу кругом себя. Теперь я не знаю, охладею ли я когда-нибудь в этом отношении. Во всяком случае до сих пор это направление во мне все более и более только усиливается, делается резче, холоднее, все более и более входит в мою жизнь. Итак, я жду каждую минуту появления жандармов, как благочестивый схимник каждую минуту ждет трубы страшного суда. Кроме того, у нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем».

А когда О. С. отнеслась к его словам с насмешкой, он, еще более разгорячившись, продолжал: «Это непременно будет. Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем растет и число людей из образованного кружка, враждебного против настоящего порядка вещей. Готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно: когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять; но, я думаю, скорее. А если вспыхнет, я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии удержаться. Я приму участие.

— Вместе с Костомаровым? — спросила О. С.

— Едва ли, — отвечал Чернышевский, — он слишком благороден¹, поэтичен: его испугает грязь, резня... Меня не испугают ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня... А чем кончится это? Каторгой или виселицей. Вот видите, что я не могу соединить ничьей участи с своею... Вам скучно уже слушать подобные рассуждения, а они будут продолжаться целые годы, потому что ни о чем кроме этого я не могу говорить. Довольно и того, что с моею судьбой связана судьба маменьки, которая не переживет

¹ Это могло быть сказано только в ироническом смысле. Ср. то, что мы выше говорили об отношении Чернышевского к Н. Костомарову.

подобных событий. А какая участь может грозить жене подобного человека? Я вам расскажу один пример. Вы помните имя Искандера?

Рассказав об аресте, ссылке и эмиграции Герцена, Чернышевский продолжал:

— Я не равняю себя с Искандером по уму, но должен сказать, что в резкости образа мыслей не уступаю ему и что я должен ожидать подобной участи»¹.

И он убеждал ее в невозможности брака с ним, но прибавлял, что он всегда остается в ее распоряжении, и что она всегда может к нему обратиться. Он предложил ей считать его своим женихом, не давая ему права считать ее своею невестою.

13 марта Чернышевский вернулся к разговору на ту же тему. Когда во время игры Ольга Сократовна передала Чернышевскому две записки, из которых на одной написано было: «Я вас люблю», а на другой: «О. С. Чернышевская», он заметил ей: «Вы все шутите. Я начинаю не шутить», а на ее ответ, что она вовсе не шутит, а хочет иметь именно такого мужа, каким он будет по его словам, Чернышевский сказал ей следующие пророческие слова: «Я не могу жениться уже по одному тому, что я не знаю, сколько времени пробуду я на свободе. Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль? У меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать, но наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться». И дальше, резюмируя свои беседы с нею, он говорил невесте: «Вы теперь знаете, я не могу, не вправе связать чьей бы то ни было судьбы с моею»².

¹ «Лит. наследие», т. I, стр. 557—558. — Как революционно был тогда настроен Чернышевский и в каком восторженном состоянии он находился, видно из следующего места в его дневнике: «Вильгельм Телль приводит меня в восторженное состояние, и когда мы после (прослушания увертюры из Вильгельма Телля) поехали к Николаю Ивановичу (Костомарову) и говорили за шахматами о нем, у меня выступили слезы от волнения. И я чувствовал и во время музыки, и после, что в случае (революции. — Ю. С.) и я оставлю свою вялость, нерешительность» («Соч.», т. X, ч. II, стр. 7 дневника).

² «Лит. наследие», т. I, стр. 603—604. — На эти слова ссылались впоследствии следователи, чтобы доказать его участие в революционных делах. Чернышевский же старался отпарировать это обвинение указанием на то, что дневник его представляет материал для будущих беллетристических произведений, и что разговор этот, не имеющий никакого отношения к его личной жизни, заимствован им из жизни немецкого ученого и демократа Иоанна Кинкеля и приспособлен к слышанному им рассказу Н. И. Костома-

Но если мысль об этом роковом исходе удерживала его от женитьбы, то с другой стороны он, повидимому, полагал, что семейная жизнь застрахует его от слишком необдуманного и рискованного участия в революционных предприятиях. В том же дневнике он совершенно определенно говорит об этом: «Мне должно жениться, чтобы стать осторожнее. Потому что, если я буду продолжать так, как начал, я могу попасться в самом деле. У меня должна быть идея, что я не принадлежу себе, что я не вправе рисковать собою, иначе почему знать? Разве я не рискну? Должна быть как защита против демократического, против революционного направления, и этою защитой ничто не может быть кроме мысли о жене. Итак, я должен необходимо жениться»¹.

Но то ли Ольга Сократовна плохо понимала опасность революционной работы в тогдашней России, то ли не придавала значения страхам своего ухаживателя, но на нее опасения его, видимо, не подействовали, и она не взяла обратно своего слова. Это вызвало в Чернышевском бурный взрыв восторга и новый прилив нежной любви к смелой, как ему казалось, девушке. И он заносит в дневник: «Я поступил как честный человек. И она выслушала этот грубый язык, она выслушала его и поняла мои речи в их истинном смысле; не оттолкнула меня за мой грубый ответ: «откажитесь от мысли быть моей женой». Она поняла, что я говорю как честный человек, что говорю это не для того, чтобы мне хотелось заставить ее оттолкнуть меня (что было бы тогда со мною, я не знаю), а потому, что я должен был сказать ей, за кого она выходит... Кто бы пошел на это? Она пошла! Кто бы не оскорбился этим? Она не оскорбилась! О, как это возвысило мое уважение к ней! О, как это возвысило мою уверенность в том, что я буду счастлив с нею, и что она не будет несчастна со мною! Я не знаю равной тебе. Ты согласна — я счастлив! Да будешь ты счастлива! Да будет у меня одно счастье в жизни — счастье тем, что ты счастлива!»

рова о том, как тот был арестован накануне женитьбы. См. сенатское дело о Чернышевском, лист 175, и М. Лемке — «Политические процессы», стр. 456.

Характерно, что такими же словами отвечает Рахметов женщине, предлагающей ему свою руку. «Я был с вами откровеннее, чем с другими; вы видите, что такие люди, как я, не имеют права связывать чью-нибудь судьбу с своею». Дальше он отказывается и от предлагаемой ею любви, поясняя, что все его помыслы должны принадлежать революции (Чернышевский — «Соч.», т. IX, стр. 192). Как видим, Чернышевский приписал Рахметову свои собственные черты, но в преувеличенной степени, в героических размерах.

¹ «Соч.», т. X, ч. II, стр. 39, 96.

В дневнике Чернышевский, беспощадный к самому себе, рисует свой характер как лишенный инициативы, мнительный, робкий, неуверенный в самом себе, поэтому постоянно склонный к унылости и к тоске. Он называет себя «истинным Гамлетом», говорит, что он создан для повиновения и для послушания, насмешливо отмечает свою склонность к рефлексии и свое малодушие, вреднейшую сторону его характера, «без которой он был бы безукоризнен». Эти-то черты, повидимому, и делали для него привлекательной его невесту, отличавшуюся, помимо удивительной физической красоты, твердым и положительным характером. Но с другой стороны этот, по его словам, якобы робкий и мнительный человек не лишен был, по его собственному сознанию, твердой решимости и энергии, когда считал это необходимым. Он говорил про себя: «Я тяжел на под'ем, но когда поднимусь, то уж тут я пойду действительно». И в другом месте: «Так у меня тверда воля, если нужно. Даже биение сердца сдерживается, если захочу». Демократ не по одним умственным убеждениям, а по самому существу своей натуры, как он сам говорил про себя в дневнике, он понимает, что при обстановке русской жизни он является жертвой обреченной, и после долгих размышлений за и против он в конце концов решается на женитьбу, надеясь найти в ней защиту против революционных увлечений: «Я должен чем-нибудь сдерживать себя по дороге к Искандеру»¹.

Однако к самокритике Чернышевского нужно подходить с осторожностью. Он вовсе не был таким бесхарактерным и безвольным человеком, каким любил себя рисовать, и даже сам не думал так дурно о себе. Временами он, может быть, чувствовал, что в сравнении с теми грандиозными революционными перспективами, которые представлялись его воображению и в которых он собирался играть видную роль, у него нехватает решимости, энергии и предприимчивости, ибо при всех своих богатых данных он все же был по преимуществу человеком книжным, кабинетным. Но это не значит, чтобы он не выдавался характером среди окружавшей его жалкой мелюзги, более того, чтобы он не сознавал своего превосходства в сравнении со всеми этими обывателями,

¹ А. А. Лебедев («Н. Г. Чернышевский. Наброски по неизданным материалам». «Русская Старина», 1912, № 4, стр. 69) передает следующий ответ Чернышевского на замечание одного приятеля (Палимпсестова?), указывавшего ему на несходство характеров жениха и невесты: «Противоположности лучше сходятся. Я еду теперь в С.-Петербург: мне нужна жена, чтобы останавливала меня, а то я увлекаюсь разными теориями. С ней же, как женщиной умной, могу посоветоваться, и она может настоять, чтобы я не увлекался». Это соответствует записи в дневнике; но, разумеется, не этим соображением руководствовался Чернышевский в своей женитьбе на О. С. Васильевой.

чиновниками, слугами царя и покорными рабами. И во время цитированного выше объяснения с Ольгой Сократовной Чернышевский дал себе следующую, в общем верную характеристику,—опять-таки с нарочитым уклоном в сторону самоуничижения и уменьшения своих достоинств.

«Если я, — говорил он, — может быть, кажусь весьма слаб, то не думаю, чтобы я в самом деле был решительно дрянью. Правда, я кажусь вял, апатичен, но у меня есть и энергия. И я могу выказать силу; я могу, когда понадобится, решиться, а, решившись, сделать для меня ничего не стоит. И если понадобится, я могу защитить себя или кого бы то ни было... У меня, правда, характер, повидимому, вялый, но я способен и увлекаться весьма и быть энергичным... Если вы ищете привязанности, то смело могу вам сказать, что я буду предан вам в самом деле всею душою. Вы находите во мне ум, то в самом деле я скажу без самохвальства, — этого я никогда никому кроме вас не сказал бы и обыкновенно говорю противное, — что ум во мне в самом деле есть. Я не имею гениального ума, не могу создать чего-нибудь нового, но что сделано другими, то я способен понять. Я понимаю, что из чего следует, что к чему ведет, я понимаю связь и отношение различных вещей и мнений. Обо мне говорят, что я очень высокого мнения о своем уме, — я никому не сознаюсь в этом, но вам я скажу, что это — правда. В Саратове, например, я считаю себя выше всех по уму... Из людей, стоящих на одной ступени образования, я не знаю в Саратове ни одного, которого бы я равнял с собою...» (т. е. в том числе и Н. Костомарова).

И он прибавил: «Если бы у нас цензура была хоть несколько послабее, не хвалясь, скажу, что я имел бы голос в нашей литературе. Теперь это трудно. Но все-таки я надеюсь быть не из числа самых дюжинных писателей»¹.

Отношения его к невесте полны странной двойственности. С одной стороны, он поет ей настоящие дифирамбы, видит в ней будущую мадам Сталь, восторгается ее характером, утверждает, что благодаря ее влиянию он «из тряпки, из дряни сделался человеком». С другой стороны, он при встречах, вместо восторженных любовных излияний, убеждает ее не связывать своей судьбы с его судьбой и говорит ей: «Не решайтесь выходить за меня замуж». Весь горя любовным восторгом, записывая на каждой странице дневника: «Я хочу любить только одну во всю жизнь... Я не знаю равной тебе... Да будешь ты счастлива, милая, милая!.. О моя милая невеста, благословляю тебя!.. Да будешь ты счастлива, давшая мне столько счастья!.. Благословенна да будешь ты», — он в то же время допускает, что она выходит за него не по любви, и

¹ «Лит. наследие», т. I, стр. 569—572.

задает себе вопрос: «что, если в ее жизни явится серьезная страсть?». Станный жених примиряется с мыслью о том, что жена его покинет, но заявляет, что будет рад за нее, если предметом этой страсти будет человек достойный (стр. 64). Более того, он даже допускает возможность измены с ее стороны, и однажды между ними произошел следующий характерный разговор. «Неужели вы думаете, что я изменю вам?» — спрашивает невеста. — «Я этого не думаю, я этого не жду, но я обдумывал и этот случай». — «Что же бы вы тогда сделали?» — на всякий случай осведомляется бойкая барышня. Жених рассказывает ей тогда содержание «Жака» Жорж Занд. — «Что ж бы вы тоже застрелились?» — «Не думаю», — ответил он. Последствия показали, что этот разговор был несколько неосторожен¹...

Со своей стороны представляется странным и отношение невесты к жениху. Однажды Чернышевский застаёт Ольгу Сократовну в очень грустном настроении. Оказывается, она глубоко опечалена словами какой-то знакомой, сказавшей ей: «Он — не дворянин, кто будут твои дети?» И жениху приходится растолковывать ей, что это — пустяки, что это никогда нельзя считать препятствием или вещью, стоящей размышления. С другой стороны, она говорит Чернышевскому, что любит его за то, чего нет в других ее знакомых, т. е. за демократическое направление, поясняет сам Чернышевский. Признаться, после внимательного прочтения дневника это кажется мало вероятным. Она хорошо знала, хотя бы со слов самого Чернышевского, что ее жених — один из тех людей, которые, говоря его собственными словами, «кроют чужую крышу, а свою раскрывают», но она, повидимому, мирилась с этим как с неизбежным злом. Ей хотелось вырваться из тягостной семейной обстановки, и вместе с тем ее привлекал мягкий характер Чернышевского, который в то же время резко выделялся из окружавшей ее массы провинциальных обывателей. Их отношения сильно напоминают отношения Лопухова и Веры Павловны в романе «Что делать?», в который Чернышевский несомненно внес многие автобиографические черты. Между прочим, невеста поставила ему следующее условие: «У нас будут отдельные половины, и вы ко мне не должны являться без позволения» (ср. «Что делать?»).

Но возможно, что эта мысль была подсказана ей самим Чернышевским. Ибо непосредственно за приведенными сейчас словами Ольги

¹ Своему приятелю Палимпсестову Чернышевский раз сказал: «Если моя жена полюбит другого, я скажу ей только: «Когда тебе, друг мой, покажется лучше воротиться ко мне, пожалуйста, возвращайся, не стесняйся нисколько». То же самое в дневнике (стр. 64): «А какую радость даст мне ее возвращение!»

Сократовны идут следующие соображения самого Чернышевского: «Этот я и сам хотел бы так устроить; может быть, думаю об этом серьезнее, чем она... Я ей говорю: я — в вашей власти: делайте, что хотите». Он всецело отдается во власть своей будущей жены. «Я создан для повиновения, для послушания, но это послушание должно быть свободно». «Быть решительно в распоряжении ее я не перестану». И объяснялось это вовсе не личной дряблостью Чернышевского и не страстной любовью его к невесте, а своеобразным пониманием положения женщины в современном обществе. Возмущаясь недостойной зависимостью женщины и ее неравенством в семье, Чернышевский говорил Ольге Сократовне: «Когда палка была долго искривлена на одну сторону, то, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть ее на другую сторону... Всякий порядочный человек обязан по моим понятиям ставить свою жену выше себя: этот временный перевес необходим для будущего равенства».

До благополучного разрешения вопроса о согласии О. С. Васильвой выйти за него Чернышевский находился в состоянии раздражения и недовольства собою и окружающими. Но после состоявшегося между ними объяснения его «ожесточение и жолчь против всего» прошли, уступив место чувству несказанного блаженства. И он записывает в дневнике: «Это — восторг, какой является у меня при мысли о будущем социальном порядке, при мысли о будущем равенстве и отрадной жизни людей — спокойный, сильный, никогда не ослабевающий восторг. Это не блеск молнии; это — равно не волнующее сияние солнца. Это — не знойный июльский день в Саратове; это — вечная сладостная весна Хиоса». В этом состоянии примирения со всем он, как мы знаем, отказался даже от насмешек над крестиками и иконами Н. Костомарова ¹...

Сопротивление родителей было быстро преодолено, и они дали свое согласие на свадьбу. Впрочем, на мать Чернышевского этот брак сильно подействовал, а среди обывательской публики пошел даже шопоток, что именно он был причиной ее болезни и вскоре затем последовавшей смерти. Евгения Егоровна умерла 19 апреля 1853 года. П. Юдин ², любящий передавать обывательские пересуды, сообщает со слов В. А. Никольского, что гроб матери Чернышевского «народу провожало много. Н. Г. почти до самого кладбища нес с прочими родственниками гроб дорогой усопшей. В числе провожавших была и его невеста. Чернышевский не проронил ни одной слезинки над трупом любимой матери. Напротив, когда гроб спустили в могилу и зарыли землей, он, будто ни в чем не бывало, закурил папиросу, взял под руку О. С., и оба пешком

¹ Кстати, невесте Чернышевский уже говорил, что не верит «всем этим вещам».

² Цит. ст. «Ист. Вестник» 1905, № 12, стр. 884.

отправились домой. Многим такой (?) поступок показался странным. К еще большему прискорбию родных он, как нарочно, опоздал на поминальный обед». Но подобные сплетни неспособны, разумеется, бросить тень на Чернышевского, которого деликатный и нежный характер нам уже хорошо известен.

Через десять дней после смерти матери Чернышевский обвенчался с Ольгой Сократовной, и молодые уехали в Петербург.

Чтобы не возвращаться больше к частной жизни Чернышевского, мы скажем здесь еще несколько слов о его семейном житье-бытье.

Мысль о возможном аресте омрачала семейное счастье Чернышевских и после свадьбы. В автобиографическом романе «Пролог», где Чернышевский в лице писателя Волгина выводит самого себя, содержится на этот счет довольно красноречивое указание. Там между мужем и женой происходит следующий разговор (действие относится к 1856 г., т. е. через 3 года после свадьбы):

— Милая моя голубочка, ты сядь подле меня и не огорчись тем, что я скажу. Ты знаешь, у меня характер мнительный, робкий. Поэтому не придавай важности моим словам: ты знаешь, у нас все тихо, и я думаю о будущем только потому, что я — трус. Воображаю то, чего, может быть, и не будет. Ты знаешь, я держу себя осторожно. Если бы я не был трус, то и нечего было бы мне думать ни о тебе, ни о Володе. Ты знаешь, я не думаю ни о своих глазах, ни о своем здоровье: за мое здоровье и за глаза ты напрасно опасаясь, поверь мне. Одно может повредить тебе с Володей: перемена обстоятельств. Дела русского народа плохи. Будь что-нибудь теперь, нам с тобою еще ничего. Обо мне еще никто не позаботился бы. Но моя репутация увеличивается. Два-три года, — и будут считать меня человеком со влиянием. Пока все тихо, то ничего. Но как я говорю, и сама ты знаешь, дела русского народа плохи. Перед нашей свадьбой я говорил тебе и сам думал, что говорю пустяки. Но чем дальше идет время, тем виднее, что надобно было тогда предупредить тебя. Я не жду пока ровно ничего неприятного тебе. Но не могу не видеть, что через несколько времени...

— Так ты вот о чем! — она побледнела. — Молчи, не смей говорить! — Она вскочила и зажала ему рот. — Не смей! Молчи! Я слышала раз, — довольно. Не смей! — Она убежала...

Он пошел за нею. Она прижимала сына к груди и рыдала над ним: «Володя, мы с тобою будем сиротами!»¹.

¹ «Пролог». «Соч.», т. X, ч. I, стр. 59—60.

Жена Волгина плачет от мысли, что она — вдова при живом муже. Ее страшит мысль о его гибели, но она начинает уже понимать великую историческую роль, которую ему суждено сыграть. Своему знакомому Нивельзину (В. Лугинину) она говорит про своего мужа:

— Вы не знаете, Нивельзин, какой это человек, и никто еще не знает; только я одна знаю его. Я давно узнала это, хоть я и не ученая и не видывала тогда ученых людей. Я увидела это с первых же наших разговоров. Хоть они были пустые, хоть, разумеется, он не мог говорить со мною ни о чем ученом: я не поняла бы, как и теперь не понимаю, и не слушала бы, как и теперь не слушаю. Но это было видно мне. Я узнала, какой это человек; тогда все думали, что он пролежит весь свой век на диване с книгой в руках, вялый, сонный. Но я поняла, какая у него голова, какой у него характер, — потому что без его характера даже и при его уме нельзя было бы так понимать все эти ученые вещи. Я, неученая, увидела это из первых разговоров, пустых обо мне, о пустяках, о моем счастье, — я увидела, какая разница между ним и другими. И ошиблась ли я? Вы знаете, как теперь начинают думать о нем. Но его время еще не пришло, они еще не понимают его мыслей; придет его время, тогда заговорят о нем. И пусть будет с ним и со мною, что будет! Я хочу, чтобы о моем муже говорили когда-нибудь, что он раньше всех понимал, что нужно для пользы народа, и не жалел для пользы народа — не то что себя — велика важность ему не жалеть себя, — не жалел и меня, — и будут говорить это, я знаю! — и пусть мы с Володей будем сиротами, если так нужно!

Но есть основание полагать, что Чернышевский и здесь идеализировал свою «милую голубку», приписав ей мысли, которые по существу были ей чужды. Вряд ли она когда-либо понимала значение его общественной работы. Правда, она гордилась тем, что она — «жена Чернышевского», но духовно она стояла далеко от мужа и смотрела на него главным образом как на источник средств для веселого и безмятежного жития. Некогда он мечтал о том, что приобщит ее к своей работе, что введет ее в круг своих интересов, будет проходить с нею энциклопедию жизни, историю цивилизации. Но от всего этого у нее болела голова, а серьезные беседы мужа вызывали у нее зевоту, и она спешила поскорее умчаться подальше от них в обществе студентов (не идейных) или офицеров.

Книга В. А. Пыпиной содержит в этом отношении поразительные материалы. Она показывает даже, что Ольга Сократовна простирала свою ветреность слишком далеко и использовала терпимость мыслителя до конца. Со слов Виктории Ивановны Пыпиной в названной книге

(стр. 105) сообщается, например, следующее. Как-то в Павловске Ольга Сократовна, которой было тогда уже 50 лет, «предалась отдаленным воспоминаниям: как сиживала она здесь, окруженная молодежью, как перегонялась на рысак с великим князем Константином Николаевичем, закутав лицо вуалью, иногда опуская ее, чтобы поразить огненным взглядом, как он был заинтригован, как многие мужчины ее любили. «А вот Иван Федорович (Савицкий, польский эмигрант, Stella) ловко вел свои дела: никому и в голову не приходило, что он — мой любовник.... Канашечка-то (т. е. Чернышевский. — Ю. С.) знал: мы с Иваном Федоровичем в алькове, а он пишет себе у окна...»

Что это не выдуманно, показывает аналогичный рассказ Ольги Сократовны, передаваемый А. Лебедевым («Н. Г. Чернышевский». «Русская Старина», 1912, № 5, стр. 304). Вот этот рассказ. «Придешь, бывало, с гулянья и примешься ему рассказывать, с кем я гуляла, что говорила, как заставляла в себя влюбляться. Бывало и стыдно, а все говоришь; не скрываешь, кем увлекалась... Я любила красивых мужчин, с которыми весело проводила время. Это-то (надо понимать откровенность. — Ю. С.) и ценил Н. Г. «Ты заняла меня своими рассказами, — скажет он, — ты самородок, у тебя природный ум. Вот ты и записала бы, моя несравненная». Он не мог меня с кем-либо сравнить».

И действительно для Чернышевского жена его, несмотря ни на что, всегда оставалась горячо любимой, несравненной, бесконечно дорогой. С глубокой нежностью он думает о ней и за работой, и на каторге, и в далеком Вилуйске. Ради нее одной (кроме человечества) он хочет жить и работать, ей посвящены его помыслы и заботы, она, словом, составляет центр его жизни — кроме, разумеется, общественных интересов. В этом отношении все отрицательные черты Ольги Сократовны, которые ее мужу были, конечно, известны, не меньше, чем другим, ничего не говорят при решении вопроса о том месте, которое эта женщина занимала в душе сурового подвижника идеи, и о той роли, какую она играла в его жизни, посвященной неусыпному труду. А роль эта была несомненно велика и, как ни парадоксально это звучит, чрезвычайно благотворна.

В этом отношении приходится скорее согласиться с ее сыном, который в своем возражении на книгу В. А. Пыпиной говорит про свою мать: «Она не только не заслуживает осуждения (об этом, впрочем, можно спорить. — Ю. С.), но имеет и свое право на уважение потомства. Она не должна быть рассматриваема единолично сама по себе, она — жена Чернышевского, а потому нельзя упускать из вида то, какое значение она имела для самого Чернышевского... Ольга Сократовна была единственной женщиной, которую знал Чернышевский. Она

увлекла его всем тем, что он так ценил: и красотой, и независимой индивидуальностью, и неиссякаемым порывом удали¹... Она ярким светом озарила его жизнь, и он любил ее... Он любил ее всю целиком, со всеми ее достоинствами и недостатками, и ее недостатки — в чужих глазах — по отношению лично к нему не производили на него страдательного действия. От этих недостатков страдал не сам Николай Гаврилович, а окружающие его близкие родные»².

«Есть люди, — продолжает М. Н. Чернышевский, — которые отрицают заслуги Ольги Сократовны, говоря, что она не могла быть вдохно-

¹ В дневнике Чернышевского (стр. 29) мы находим знаменательное заявление: «Если в людях, с которыми я сижу, господствует какое-нибудь истинно определенное расположение духа, т. е. какая-нибудь живость и не тоскливость, я всегда поддаюсь ему и сам от души становлюсь жив и весел. Такова именно она (Ольга Сократовна. — Ю. С.). Она разольет живость, веселье на нашу жизнь, и мы будем жить игриво, «припеваючи», именно припеваючи, с постоянной улыбкой и радостью в моем сердце». Этого места не следует забывать при оценке значения Ольги Сократовны в жизни Чернышевского.

² Так ли это? Как же в таком случае объяснить следующее место из письма Чернышевского к Некрасову от 5 ноября 1856 г.? А там сказано: «Убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца — истинное горе или истинная радость для каждого из нас. Это и я знаю по опыту, знаю лучше других... Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы: не от мировых вопросов люди топят, стреляются, делаются пьяницами. Я испытал это» и т. д. Правда, в письме от 7 февраля 1857 года Чернышевский сообщает Некрасову, что если в последние месяцы он почти не имел «нравственной возможности» писать и раза два даже напивался пьян, то это происходило по той причине, что он боялся за здоровье жены, которой предстояли вторые роды. Это, конечно, возможно, но общий тон первого письма наводит на подозрение, что второе представляет попытку спохватившегося человека забить отбой и замести следы. Для того, чтобы замкнутый, гордый и самолюбивый Чернышевский заговорил с посторонним человеком таким несвойственным ему тоном уныния и даже отчаяния, нужно было, чтобы он пережил встряску более серьезную, чем опасения за благополучные роды жены. Вот почему редактор издания Н. К. Пиксанов в предисловии к этим письмам говорит: «Впервые из этого письма к Некрасову мы узнаем, что Чернышевский, этот энтузиаст, аскет общественного долга, переживал в 50-х годах настроения самоубийцы и пытался забыться от горя в пьянстве. У него хватило еще сдержанности, чтобы не рассказать Некрасову о причинах этой душевной драмы. Есть веские данные думать, что причиной была интимная семейная жизнь, отношения с женой» («Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А. С. Зеленым», М., изд. «Моск. Рабочий», 1925, стр. 28, 42. Видимо, к шалостям ветреной супруги Чернышевский относился не так-то легко, как можно было бы думать по его терпимости к ним.

вительницей Чернышевского... Я думаю, что Ольга Сократовна могла быть и вдохновительницей — не в интересах получения средств, а в смысле возбуждения энергии: Работа ума у Чернышевского была колоссальная, и вместе с тем поддерживалась и работа сердца, и эту работу поддерживала Ольга Сократовна».

И в доказательство М. Н. Чернышевский цитирует письмо своего отца к жене от 7 июля 1888 года: «Если б я не встретился с тобою, мой милый друг... моя жизнь была бы тусклой и бездейственной, какою была до встречи с тобою. Если я делал что-нибудь полезное, то всею пользою, какую русское общество получило от моей деятельности, оно обязано тебе. Без твоей дружбы я не напечатал бы ни одной строки (?): только лежал бы и читал бы, не излагая на бумаге того, что считал честным и полезным. Твои качества поддерживали мою веру в разумность и благородство людей; не подкрепляемый твоей личной разумностью и честностью, я не считал бы людей способными держать себя, как велит разум и честность, потому не имел бы охоты писать для их пользы (как и не писал до знакомства с тобою).

«Это видели люди, имевшие ум понимать мои отношения к тебе, мотивы моей деятельности, источники моей веры в человеческий разум, — Некрасов и Добролюбов. Оба они обожали тебя. Обожал тебя даже Некрасов, — да, и он, охладевший к людям, изверившийся в них, был ободрен к своей поэтической новой деятельности впечатлением, какое производила на него ты. Саша (в поэме, называющейся ее именем), Катерина в «Коробейниках» и княгиня Трубецкая (задуманная им еще при мне) — все это твои портреты. Без знакомства с тобою, он не написал бы ни этих дивных поэм, ни много другого наилучшего в его произведениях¹. Это я знаю от него самого. Я никогда не заводил с ним речи о тебе. Он очень редко начинал говорить о тебе. Но, начав, говорил с энтузиазмом.

«Вот каково было твое влияние на русскую литературу, моя милая подруга: половиной деятельности Некрасова, почти всею деятельностью Добролюбова² и всею моей деятельностью русское общество обязано тебе».

¹ Ольге Сократовне Некрасов посвятил свое стихотворение «Крестьянские дети». Поэма появилась в журнале Достоевского «Время», 1861, № 10, с посвящением «О. С. Ч—ской», но в дальнейших изданиях стихотворений Некрасова это посвящение исчезло — может быть, по цензурным соображениям (Ветринский — «Н. Г. Чернышевский», стр. 200).

² Н. А. Добролюбов был влюблен в Ольгу Сократовну. Это видно и по роману «Пролог», где описана (фактически неверно) первая встреча Добролюбова с Чернышевским. Там Добролюбову, между прочим, приписаны

«Пускай, — продолжает М. Н. Чернышевский, — эти слова будут преувеличением, но нет дыма без огня, и если даже довести их значение до минимума, до сознания крыловской пчелы, утешавшейся тем, что «тут и моего хоть капля меду есть», то и тогда одно это, эта «заслуга», или какое хотите другое слово вместо «заслуга», покроет все ее вольные и невольные прегрешения, виною которых была жестоко разбитая жизнь счастливой мимолетно и несчастной навеки жены Чернышевского»¹.

Легкомысленный образ жизни Ольга Сократовна продолжала вести и после ареста мужа, и во время его ссылки. В последние годы она впала в ханжество, пыталась даже помочь попам уловить в свои сети Чернышевского во время его предсмертной болезни, а после его смерти старалась замолить его «грехи» и т. п. На склоне лет она впала в детство, но до конца дней своих не забывала, что она — «жена Чернышевского».

такие слова: «Глупо влюбляться в таких женщин, — если есть на свете такие женщины. Надобно молиться на них» («Соч.» Чернышевского, т. X, ч. I, стр. 7—8).

¹ М. Н. Чернышевский — «Жена Н. Г. Чернышевского». «Современник», М., 1925, январь, стр. 122—126. — Ср. письмо Чернышевского к А. Пыпину от 25 февраля 1878 года. «Личных чувств, — говорит Чернышевский, — между мужем и женою нельзя судить по общему масштабу их мнений и чувств относительно других. По крайней мере, когда муж безгранично предан жене. Но и я никого не считаю ошибающимся, если кто судит о жене не совсем так, как муж, если этот муж — я. «Ослепление страсти в человеке 50-ти лет?» — Влюблен в Ольгу Сократовну я был несколько часов, при первом нашем разговоре. Это был разговор в гостях... И в продолжение нескольких часов я был влюбленным. Но задолго до конца вечера это исчезло. Это нимало не похоже на мое чувство к Ольге Сократовне. Всего больше в моем чувстве к ней силен элемент уважения.

«Видишь ли: у меня есть свои понятия об условиях человеческой жизни... Потому я сужу о многих людях не совсем так, как, быть может, следовало бы. К числу людей этих из тех, с кем я был близок, принадлежит одна Ольга Сократовна. Это независимо от того, что она — женщина, а не мужчина» («Чернышевский в Сибири», вып. III, стр. 55—56). — Что он не был влюблен в свою невесту, Чернышевский (Волгин) говорит Левицкому (Добролюбову) и в романе «Пролог» (стр. 8). Но это, разумеется, фасон де парле.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОБЩИЙ ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НАДЕЖДЫ НА УЧЕНУЮ КАРЬЕРУ

1. Конец педагогической деятельности

13 мая 1853 года Чернышевский прибыл с женой в Петербург и сейчас же начал хлопотать о получении места. Но ему пришлось прождать свыше 8 месяцев, прежде чем он успел определиться на службу. В ожидании он перебивался всякими случайными заработками, преимущественно литературными, причем не отказывался ни от какой черной работы, вроде чтения корректур и т. п.

Приказом от 24 января 1854 года Чернышевский был назначен во второй кадетский корпус на должность учителя 3-го разряда. Но на сей раз его педагогическая деятельность продолжалась недолго. Чернышевский, со своими взглядами и преподавательскими приемами, со своей самостоятельностью и самоуважением, совершенно не подходил к тогдашнему духу школы, да еще военно-учебных заведений. И столкновение не замедлило разразиться.

По рассказу А. В. Смирнова¹, инспектор корпуса был недоволен методом преподавания Чернышевского, который читал ученикам лекции, но не задавал им уроков. Превосходный преподаватель, он не был достаточно строг к ученикам, которые злоупотребляли его мягкостью и добротой. На этой почве у него произошел конфликт с дежурным офицером, который хотел войти в шумевший класс вслед за Чернышевским, шедшим туда же на лекцию. Чернышевский не позволил офицеру войти в класс в его присутствии. Несмотря на настояния директора и инспектора, Чернышевский решительно отказался извиниться перед офицером, который считал себя оскорбленным, и подал в отставку. Так закончилось недолговременное (не больше года) пребывание Чернышевского в кадетском корпусе в качестве преподавателя².

¹ А. В. Смирнов — «Н. Г. Чернышевский». «Русская Старина», 1890, № 5, стр. 451.

² Казенная служба, в том числе и педагогическая, нисколько его не привлекала. Он смотрел на нее лишь как на временную работу, в ожидании

После этого Чернышевский окончательно прекратил свою педагогическую деятельность и всецело отдался литературной работе. Начал он свою литературную деятельность в 1853 году небольшими статьями в «СПБ Ведомостях» и в «Отечественных Записках», составляя рецензии и критические статьи, а также занимаясь переводами с английского. Так, в «Отечественных Записках» 1854, № 12, и 1855, №№ 1—4, помещен его перевод романа Чарльза Литтона «Семейство Доддов за границей». В 1854 году Чернышевский перешел в «Современник», где вскоре и стал во главе журнала.

Материальное положение молодой четы в первое время было очень скромным. В 1853 году Чернышевский получал 40 рублей в месяц учительского жалованья и около 10 рублей дорабатывал в месяц литературным трудом. Круг знакомств его был в то время не очень велик. Кроме Пыпина и историка П. П. Пекарского среди тогдашних знакомых Чернышевского можно назвать: И. И. Шишкина, позднее журналиста; В. И. Ламанского, позже известного ученого; Н. А. Северцова, натуралиста и позднее путешественника по Азии; затем польского революционера С. Сераковского; И. Введенского, проф. Никитенко, И. Срезневского, А. А. Котляревского (филолога), В. П. Лободовского и т. д. Через Пекарского Чернышевский познакомился с Н. Шелгуновым¹. Пе-

другой, более ему симпатичной. Так, 22 ноября 1854 года он писал отцу: «Учительская служба, как и всякая другая, не в моем характере. Единственные места, которые занимал бы я с удовольствием и о которых был бы готов просить, [это] — профессора в университете или библиотекаря в Публичной библиотеке. На первое трудно рассчитывать; последнее надеюсь получить через год, через два. До того времени буду служить в корпусе, чтобы не пропадало время без службы» (Е. Ляцкий — «Н. Г. Чернышевский и его диссертация об искусстве». «Голос Минувшего», 1916, № 1, стр. 16).

¹ Шелгунов, Николай Васильевич (1824—1891) — публицист; в 1841 г. окончил Лесной корпус, а в 1862 г. оставил службу с чином полковника; с 1855 г. знакомится с передовыми кругами и становится революционером. Был сотрудником «Современника» и «Русского Слова». Зимой 1860—1861 гг. он составил знаменитую прокламацию «К молодому поколению», отпечатанную в Лондоне М. Михайловым, а весной 1861 г. написал другую прокламацию «К солдатам». Выданный Вс. Костомаровым, был арестован и просидел в Петропавловской крепости с 15 апреля 1863 г. по 24 ноября 1864 г.; Шелгунов был оправдан военным судом, но выслан в Вологодскую губ. Только в 1877 г. получил разрешение проживать в столице. С 1867 г. работал в «Деле». В 1883 г. снова арестован за сношения с народолюбцами. С 1885 г. вел в «Русской Мысли» отдел «Очерки русской жизни», где старался в эпоху реакции поддерживать традиции 60-х годов. Его «Воспоминания» изданы в 1923 году Ленгизом под редакцией и с примечаниями А. А. Шилова, которому принадлежит и вступительная статья.

карский и Шелгунов встречались тогда в Публичной библиотеке, где оба они занимались.

«Раз, — пишет Шелгунов, — Пекарский со своим обыкновенным таинственным видом говорит мне вполголоса, что познакомился с Чернышевским. Пекарский говорил о нем еще с большим восторгом, чем он говорил о профессоре Мейере. Мейер это — Грановский Казанского университета и тоже рано умерший. От Пекарского я узнал, что Чернышевский — учитель в каком-то корпусе, что он приехал из Саратова, и затем полушопотом и таинственно он говорил мне о его необыкновенных познаниях, о его необыкновенном уме. Несколько времени спустя Пекарский приглашает меня к себе и объявляет с сияющим лицом, что у него будет Чернышевский. Я, конечно, пошел».

Первая встреча оказалась не совсем удачной. Чернышевский был неразговорчив, больше молчал и не произвел на Шелгунова ожидаемого впечатления. Только впоследствии Шелгунов мог оценить его по достоинству.

«Чернышевский, — говорит Шелгунов, — наружным видом не мог производить особенного впечатления. Небольшого роста, совсем белокурый с легким оттенком рыжеватости, худощавый, тонкий, нервный, но с приятными, умными, добрыми голубыми глазами. Чернышевский смотрел потупившись, говорил как бы с усмешкой, имел привычку прибавлять «с», «да-с», «нет-с». Общий вид его был очень симпатичный, влекущий и располагающий. Хотя Чернышевский был из семинаристов, но в нем, как и в Добролюбове и в Помяловском, чувствовалась душевная мягкость, женственность, тонина и в то же время какая-то нервная сила, которая, несмотря на уступчивость манер, сама собой давала себя знать и подчиняла ему. Чернышевский был очень застенчив и скромн в манерах. Львом он являлся только в своих статьях, и тогда это был действительно лев, учитель, «власть имущий». Чернышевский признавал эту власть, хотя, может быть, и не думал, что история русской мысли назовет шестидесятые годы его именем, как сороковые — именем Белинского»¹.

Но Пекарский увлекался не только самим Чернышевским, но и его женой.

«Пекарский, — пишет Л. Шелгунова, — приходил в эту зиму в восторг от Ольги Сократовны Чернышевской и хотел непременно нас познакомить. Мы встретились на балу, где был и Михайлов, который оказался кумом Чернышевской. Таким образом знакомство и состоялось».

¹ «Воспоминания», стр. 27—28; 63.

В качестве дамы Л. П. Шелгунова обращает внимание на небрежный костюм Чернышевского.

«Николай Гаврилович Чернышевский, — рассказывает она, — был белокурый с рыжеватым оттенком, среднего роста человек. Он был страшно близорук и рассеян. Если бы жена его... не заботилась о его туалете, то он ходил бы бог знает в каком виде; даже и при этом он зачастую являлся таким растерзанным, что мужчинам приходилось заботиться о нем»¹.

В описываемый момент Чернышевский только собирался распустить крылья. Он усиленно работал, накапливал знания и готовился выступить на широкую просветительную арену. Однако уже и тогда он, как мы видим, производил сильное впечатление на встречавшихся с ним людей и поражал их как своим глубоким умом, так и обширными познаниями.

2. МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Вскоре по приезде в Петербург Чернышевский посетил И. И. Срезневского, который начал уговаривать его немедленно же приступить к подготовке на ученую степень, убеждая его сосредоточить свои научные занятия на филологии, в частности на истории славянских наречий. Чернышевского в этот момент влекли уже иные интересы, однако от мысли об ученой карьере он не отказывался и, чувствуя себя достаточно подготовленным, в мае 1853 года просил университет допустить его к испытаниям на степень магистра по истории русского языка и славянских наречий. В ожидании этих экзаменов Чернышевский принялся за окончание своей работы по составлению «Опыта словаря к Ипатьевской летописи». К июню словарь был закончен и в сентябре 1853 года был напечатан в прибавлении к известиям второго отделения Императорской Академии наук, т. VII, вып. 2 (это была лишь часть выполненной Чернышевским работы). Уплаченный ему за этот труд гонорар в размере 60 рублей оказался для него весьма кстати: чтобы не возвращаться больше к этому словарю, к которому уже не лежала его душа, Чернышевский поместил в «Отечественных Записках» 1854 г., январь — февраль, краткую рецензию, в которой, отмечая оригинальность этой работы, вместе с тем указывал и на ее недостатки, внешние и внутренние, и, как он писал отцу, «сколько возможно, побранил свой словарь»².

¹ Л. П. Шелгунова — «Из далекого прошлого». Спб., 1901, стр. 54; 111—112.

² Эта рецензия перепечатана в «Соч.» Чернышевского, т. X, ч. II, стр. 82—83.

Этим словом заканчивается интерес Чернышевского к филологии. Теперь он решил избрать своей специальностью русскую словесность. Но для того, чтобы подвергнуться магистерскому испытанию по этому предмету, требовалось согласие проф. Никитенко, занимавшего кафедру русской литературы, и утверждение им новой темы для диссертации. Чернышевский предложил тему о взаимоотношениях между искусством и действительностью, некогда рекомендованную самим Никитенко для кандидатского сочинения, и профессор одобрил ее¹. Окончательно это выяснилось в сентябре.

Благодаря бюрократической волоките магистерские экзамены Чернышевского затянулись на полтора года. Только 25 ноября 1853 года состоялся первый, основной экзамен по русской словесности у Никитенки; 7 декабря состоялся экзамен по русской истории у Устрялова; 18 января 1854 года — по церковно-славянскому языку и главным славянским наречиям; 1 марта — письменный экзамен на тему о словопроизводстве в русском языке и, наконец, 4 марта письменный же экзамен на тему о русских трагиках: Сумарокове, Княжнине и Озере. Теперь надлежало лишь представить и защитить магистерскую диссертацию.

В конце июля или в начале августа Чернышевский, получив выписанные из Германии книги по эстетике (книга Фишера, надо полагать, была у него еще в Саратове), энергично принялся за работу. Диссертацию он писал прямо набело и так быстро, что к началу сентября у него уже готово было больше половины рукописи. Писал он ее в крайне сжатом виде, так как в противном случае она, по словам его письма к отцу, разрослась бы у него до двух томов, листов по 15 каждый; издавать же ее приходилось на собственные средства, которых у него не было: даже расход в 60—70 рублей на напечатание работы в сжатой форме его смущал. Через неделю не вполне еще законченная диссертация, содержащая «критику некоторых положений гегелевской эстетики», была передана проф. Никитенке для предварительного просмотра в «частном» порядке. При первом беглом просмотре Никитенко не нашел в ней ничего «опасного» или «преступного».

21 сентября 1853 года Чернышевский сообщал отцу: «Диссертацию свою пишу об эстетике. Если она пройдет через университет в настоя-

¹ Е. Ляцкий (цит. ст., стр. 17) ставит новый замысел Чернышевского в связь с обещанными Чернышевским для «Отеч. Записок» статьями по эстетике. Но, как мы уже знаем, еще в марте 1853 года Чернышевский отметил в дневнике, что он собирается подготовить для Никитенки работу по «Эстетике» Фишера. Таким образом, этот замысел относится еще к саратовским временам (если не к более ранним).

щем своем виде, то будет оригинальна между прочим в том отношении, что в ней не будет ни одной цитаты, а всего только одна ссылка. Если же найдут это не довольно ученым, то я прибавлю несколько сот цитат в три дня. По секрету можно сказать, что гг. здешние профессора словесности совершенно не занимались тем предметом, который взял я для своей диссертации, и потому едва ли увидят, какое отношение мои мысли имеют к общественному образу понятий об эстетических вопросах. Им показалось бы даже, что я — приверженец тех философов, которых мнение оспариваю, если бы я не сказал об этом ясно. Поэтому я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого. Вообще у нас очень затмились понятия о философии с тех пор, как умерли или замолкли люди, понимавшие философию и следившие за нею».

Таким образом Чернышевский, собираясь проводить идеи левого гегельянства, в частности идеи Фейербаха, и притом общие идеи материалистической философии, надеялся, что русские профессора по безграмотности и отсталости не заметят этого и не почувят в диссертации вложенного в нее «яда». В первый момент так и случилось: Никитенко ничего не заметил. Однако позже он все-таки, видимо, спохватился и смутно почувствовал в диссертации какой-то новый, враждебный университетской традиции дух. В течение целого года он оттягивал свой окончательный ответ, не решаясь представить диссертацию в факультет с своим одобрением. И только в конце сентября 1854 года он наконец выразил свое согласие на то, чтобы «пустить ее в дело». Теперь за саботаж взялся факультет, затянувший решение еще на полгода с лишним. И только 11 апреля 1855 года состоялось утверждение диссертации советом. 3 мая диссертация была наконец отпечатана. Следовательно, вся эта проволочка заняла у Чернышевского около двух лет.

В этот день Чернышевский писал отцу: «Диссертация, для сокращения времени и издержек, напечатана мною в большом формате и очень убористым шрифтом; кроме того и для тех же целей я значительно сократил ее (хотя цензура университетская не зачеркнула ни одного слова), когда рукопись была уже одобрена к печати. Потому вышло всего только 6 печатных листов вместо 20, которые были бы наполнены ею без сокращений и при обыкновенном разгонистом печатании... В внешнем отношении она имеет ту особенность, что нет в ней ни одной цитаты наперекор общей замашке шарлатанить этою дешевою ученостью¹. К числу особенностей принадлежит и то, что она писана

¹ Одна цитата (ее-то Чернышевский, повидимому, и называет «ссылкой»), и притом довольно большая, там все-таки есть: это цитата из «Эсте-

мною прямо на белое — случай, едва ли бывший с кем-нибудь. Этим всем я хотел себе доставить удовольствие внутренне позабавиться над людьми, которые [не могут] сделать подобного».

Диспут назначен был на 10 мая 1855 года. Этот день оказался знаменательным в истории русской общественной мысли, ибо в этот день состоялось первое громкое публичное выступление нового радикального направления, призванного в ближайшие годы наложить свою печать на развитие революционного движения в стране. Обычно магистерские диссертации не возбуждали широкого общественного внимания, проходили незаметно и не интересовали никого, кроме узкого круга специалистов и патентованных жрецов науки. Диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», эта блестящая работа, в которой молодой писатель давал первое решительное сражение идеализму, и которою он начинал популяризацию среди русской публики фейербаховского материализма, оказалась в полном смысле слова общественным событием, ибо она, с одной стороны, появилась в момент глубокого возбуждения, вызванного поражением абсолютизма во время Крымской войны, а с другой — смело возвещала новые начала, правда, прикрытые формой академического рассуждения о философской проблеме, но в действительности выражавшие политические стремления нарождавшейся радикальной оппозиции.

Председательствовал на диспуте ректор университета П. А. Плетнев, рядом с которым сидел попечитель учебного округа М. Н. Мусин-Пушкин, а вокруг — члены факультета. Публика состояла главным образом из учащейся молодежи, студентов, интеллигенции, среди которой были и офицеры, из которых в то время многие также были затронуты новым духом. Из знакомых диспутанта присутствовали И. И. Введенский, П. В. Анненков, А. Краевский (издатель «Отечественных Записок»), Ф. Е. Корш, В. И. Ламанский, поэт Л. А. Мей, И. И. Панаев (соиздатель «Современника»), П. П. Пекарский, А. Н. Пыпин, А. Ф. Раев, польский революционер офицер Сераковский, А. Н. Струговщиков, И. Г. Терсинский, О. С. Чернышевская, Н. В. Шелгунов, оставивший нам описание этого интересного дня.

Официальными оппонентами были профессора Никитенко и М. И. Сухомлинов; несколько пустячных замечаний сделал и Плетнев. Никитенко, признавая достоинства диссертации, напал на враждебную ему философскую ее основу и пытался противопоставить ей набившие оскомину положения идеалистической эстетики, устанавливающие при-

мат искусства над действительностью. Чернышевский возражал сначала сдержанно, а затем с все растущей резкостью. «В нашем обществе, — говорил он, — господствует рабское поклонение перед старыми, давно пережившими себя мнениями, которые приобретают характер непогрешимых авторитетов. Нас слишком пугает дух свободного исследования и свободной критики, которая по природе своей не знает преград для своего действия. Между тем в России свободная критика наталкивается на целый ряд предметов, которые она должна обходить молчанием, хотя эти предметы представляют собой не что иное, как предрассудки и заблуждения. Только этим обстоятельством и можно объяснить, что в нашем образованном и ученом обществе держатся до сих пор устарелых и давно уже ставших ненаучными эстетических понятий, в то время как на Западе получили широкое распространение идеи иного порядка, прямо противоположные нашим. Наши понятия об идеальном значении искусства отжили, и их надо отбросить вместе со многими аналогичными идеями о других предметах» (курсив мой)¹.

Таких слов заскоружные профессора николаевской эпохи слышать не привыкли. Вместе с учебным начальством они были явно шокированы и тоном, и содержанием ответа². По окончании диспута попечитель округа долго разговаривал с проф. Никитенко, укоризненно покачивая головой и, видимо, упрекая его в том, что он воспитал такое чудовище³. Плетнев подошел к Чернышевскому и, не поздравляя его от имени университета, как это обычно принято на диспутах, сухо сказал ему: «Не этому, помнится, я вас учил на лекциях». Зато радикальная публика, присутствовавшая на диспуте, горячо приветствовала человека, в котором уже начала признавать своего будущего вождя. На нее и диссертация Чернышевского, и защита ее произвели глубочайшее впечатление.

¹ Содержание ответа диспутанта изложено, со слов А. Пыпина, Е. Ляцким в статье о диссертации Чернышевского, loc. cit., стр. 27—28.

² В анонимной статье о Чернышевском, напечатанной в № 190 «Колокола» от 15 октября 1864 г. и написанной, повидимому, очевидцем, говорится: «На диспуте Чернышевский своим тонким, звонким голосом, с легкой иронической улыбкой на губах, живо отражал нападения своих непосильных оппонентов. Никитенко пытался было задать вопрос об абсолютном значении идеала, но с наивным испугом отшатнулся от прямых и резких ответов диспутанта».

³ Реакция и министерство народного просвещения обиделись за «чистое искусство», которому наносила удары диссертация Чернышевского. Характерно, что за «свободное» искусство горячо ратовало секретное официальное издание «Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие и отечественной журналистики за 1863 и 1864 гг.». — См. «Историю России XIX века», изд. Граната, вып. 16, стр. 280.

Вот что рассказывает по поводу этого поучительного диспута Н. В. Шелгунов: «Умственное направление 60-х годов... в первый раз в своем зачаточном виде было провозглашено в 1855 году на публичном диспуте в Петербургском университете. Я говорю о публичной защите Чернышевским его диссертации «Об эстетических отношениях искусства к действительности». Задолго до публичной защиты о ней было уже известно в кружках, более близких к автору. Пекарский, как всегда, не без известной таинственности и некоторого священного трепета сообщивший мне об этом, с волнением ожидал приближения знаменательного дня. Мы отправились вместе. Небольшая аудитория, отведенная для диспута, была битком набита слушателями. Тут были и студенты, но, кажется, было больше посторонних, офицеров и статской молодежи. Тесно было очень, так что слушатели стояли на окнах. Я тоже был в числе этих, а рядом со мной стоял Сераковский (офицер генерального штаба, впоследствии принявший участие в польском восстании и повешенный Муравьевым). Во время диспута Сераковский приходил в самый шумливый восторг и увлекался до невозможности... Чернышевский защищал диссертацию со своей обычной скромностью, но с твердостью непоколебимого убеждения. После диспута Плетнев (председествовавший) обратился к Чернышевскому с таким замечанием: «Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!» И действительно, Плетнев читал не то, а то, что он читал, было бы не в состоянии привести публику в такой восторг, в который ее привела диссертация. В ней было все ново и заманчиво: и новые мысли, и аргументация, и простота, и ясность изложения. Но так на диссертацию смотрела только аудитория. Плетнев ограничился своим замечанием, обычного поздравления не последовало, а диссертация была положена под сукно. Факультет, впрочем, готов был признавать Чернышевского магистром, но об его диссертации счел долгом довести до сведения министра народного просвещения И. И. Давидов¹, и утверждение не состоялось². Если Чернышевский готовился для университетской кафедры, то этот диспут, конечно, закрыл ему к ней путь, но зато он открыл ему возможность отдать теперь все свои силы журналистике».

Изложивши содержание Эстетических отношений, Шелгунов прибавляет: «Эти прекрасные мысли, выраженные с такой страстной любовью к людям, и до сих пор дышат свежестью и будят в душе благородные чувства. Какой же увлекающей силой они явились трид-

¹ Иван Иванович Давидов, профессор, академик, директор Главного педагогического института, «эстетик» и, как водится, доносчик; умер в 1863 году сенатором.

² Это, как мы увидим ниже, неверно.

цать лет назад! Эта была целая проповедь гуманизма, целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство. Вот в чем заключалась влекущая сила этого нового слова, приведшего в восторг всех, кто был на диспуте, но не тронувшего только Плетнева и заседавших с ним профессоров». И дальше Шелгунов замечает: «Явись эта диссертация только шестью — семью годами раньше, когда кончал Белинский и выступал В. Майков, влияние ее, конечно, не перешло бы литературных пределов. Но теперь было другое время, теперь мы узнали Севастополь (курсив мой). Общественное внимание, хотя и смутно, но уже устремилось к оценке действительности. И момент не мог быть выбран более удачно, чтобы сказать обществу, что никакого другого дела у него не может и не должно быть, как только думать о своих делах»¹.

Теперь понятно, почему одних так огорчила и возмутила, а других так обрадовала и ободрила диссертация Чернышевского. Это был манифест целого направления, где под несколько суховатой формой провозглашались основные начала нового мироощущения и жизнепонимания, потому что в отвлеченном, на первый взгляд, ученом эстетическом трактате впервые после удушающей реакции конца 40-х и начала 50-х годов громогласно об'являлась война устарелому миросозерцанию. Так и взглянули на дело современники Чернышевского: консерваторы сразу почуяли опасность, а передовые элементы приветствовали молодого ученого как глашатая своего миро-воззрения.

Говоря о полемике между Полевым и Белинским, Чернышевский пишет: «Несогласие в эстетических убеждениях было только следствием несогласия в философских основаниях всего образа мыслей, — этим отчасти об'ясняется жестокость борьбы — из-за одного разногласия в чисто эстетических понятиях нельзя было бы так ожесточаться, тем более, что в сущности оба противника заботились не столько о чисто эстетических вопросах, сколько вообще о развитии общества, и литература была для них драгоценна преимущественно в том отношении, что они понимали ее как могущественнейшую из сил, действующих на развитие нашей общественной жизни. Эстетические вопросы были для обоих по преимуществу только полем битвы, а предметом борьбы было влияние вообще на умственную жизнь»².

¹ Н. Шелгунов — «Соч.», т. II, стр. 685—687; «Воспоминания», стр. 163—165.

² «Очерки гоголевского периода». «Соч.», т. II, стр. 18.

Эти слова вполне и даже в особенной степени применимы к самому Чернышевскому и к его диссертации. Эстетические вопросы были для него только полем битвы, на котором юный революционер мысли давал первое сражение ненавистному старому миру, ненавистному со всеми его политическими и экономическими учреждениями и со всей его идеологией и моралью. В своей диссертации, «где под несколько схоластической формой бурлит жажда жизни, работы, земного счастья»¹, Чернышевский выступил в качестве выразителя идей и настроений разночинной интеллигенции, в то время (после Крымской войны) смело выходившей на историческую сцену с развернутым знаменем протеста². До тех пор таившийся на задворках русской жизни, ютившийся в ее порах, разночинец после разгрома военных сил самодержавно-крепостнического режима почувствовал, что настал на его улице праздник. С долго затаенным чувством злобы и мести, с накипевшим духом протеста против барской культуры и всех ее проявлений, он ворвался в стан ликующих и сразу перевернул там все вверх дном. Первой схваткой двух миров и двух враждебных культур и была схватка на философской почве, которая по условиям момента приняла форму эстетической распри — ввиду преобладания литературных интересов в тогдашнем русском обществе, лишенном политической жизни и еще не знавшем политических партий и чисто политических конфликтов³.

¹ Андреевич — «Опыт философии русской литературы». Спб., 1905, стр. 249.

² В этом отношении чрезвычайно характерен тот факт, что против диссертации Чернышевского ополчились не только открытые реакционеры, но и такие представители половинчатого барского либерализма, как И. С. Тургенев, впоследствии решительно порвавший с радикалами. Так, 10 июля 1855 года Тургенев писал соиздателю «Современника» и своему приятелю И. И. Панаеву: «Не скрою я, что я и сердит на вас немного. Книгу Чернышевского, эту гнусную мертвечину, это порождение злобной тупости и слепости, не так бы следовало разобрать, как это сделал г-н Пыпин. Подобное направление губительно — и «Современнику» больше, чем кому-нибудь, следовало восстать против него. К счастью, книга так безжизненна и суха, что вреда наделать не может» (И. И. Панаев — «Литературные воспоминания», Спб., 1888, стр. 400—401). В таком же духе он писал П. Анненкову (см. «Письма И. С. Тургенева к П. В. Анненкову». «Новый Мир», 1927, № 9, стр. 162) и Некрасову (В. Евгеньев — «Некрасов и люди 40-х годов». «Голос Минувшего», 1916, № 5—6, стр. 40—41).

³ Реакционный писатель Головин, в общем довольно правильно понявший характер литературной деятельности Чернышевского, не сумел понять исторического значения этой диссертации и причину восторга, с которым она была встречена в радикальных кругах, равно как и ненависти, с какой к ней отнеслись в кругах консервативных. «Трудно себе объяснить, — говорит он, — почему ее выставили как манифест новой литературной школы,

Реакция поняла это хорошо. 26 мая 1855 года историко-филологический факультет сообщил совету университета, что он признал Чернышевского достойным степени магистра русской словесности. Совет с своей стороны принял такое же решение, и 9 июня ректор от имени совета донес об этом попечителю учебного округа, прося его ходатайствовать перед министром об утверждении Чернышевского в степени магистра. Мусин-Пушкин представил это ходатайство совета университета, при своем благоприятном заключении, министру народного просвещения А. С. Норову, известному юбскуранту и автору «Путешествия по святым местам». Но тут произошла какая-то «темная история». Вопреки обычному в таких случаях ходу вещей, представляющему простую формальность, Норов оставил представление попечителя без движения: дело об утверждении Чернышевского пролежало под сукном до осени 1858 года и получило дальнейшее движение только после оставления Норовым своего поста. В публике сейчас же распространился слух о том, что министр не утвердил Чернышевского в звании магистра¹. И только через 3½ года, когда Чернышевский и думать забыл о своих надеждах на ученую карьеру, новый попечитель округа И. Д. Делянов сообщил совету университета, что новый министр народного просвещения (Е. П. Ковалевский) 29 октября 1858 года утвердил Чернышевского в степени магистра. 24 ноября совет постановил выдать Чернышевскому диплом. Но теперь Чернышевский не торопился уже получить эту бумажку и явился за нею только 11 февраля 1859 года.

потребовавшей от искусства прежде всего служения общественным интересам. О таком служении не сказано в ней ни слова (!)... И удивляться следует не тому, что ученик Гегеля, как Чернышевский, всегда любивший диалектику и мало понимавший искусство, приложил столько стараний к достижению мнимой (?) цели, а скорее тому, что работа его оказала такое влияние на современников и (даже) среди профессоров была встречена скорее с удивлением, чем с подобающей улыбкой». См. К. Ф. Головин (Орловский) — «Русский роман и русское общество». Спб., 3-е изд., стр. 180—182.

¹ Ф. Н. Устрялов в своих «Университетских воспоминаниях» («Ист. Вестник», 1884, № 6, стр. 588) передает следующую сцену. Накануне диспута Норов, встретив в поезде из Павловска в Петербург проф. Н. Г. Устрялова, отца рассказчика, обратился к нему с резкими упреками: «Николай Герасимович, что вы наделали? Как могли вы пропустить диссертацию Чернышевского? Вчера, ложась спать (!), я просмотрел ее. Ведь это вещь невозможная. Ведь это — полнейшее отрицание искусства и изящного! (Как известно, царские холопы и гасители духа были большими поклонниками «изящного». — Ю. С.). Помилуйте! Сикстинская мадонна и Форнарина, итальянка-натурщица. К чему же сводится искусство? Это невозможно, невозможно!» При таком умонастроении министра дело свободно могло обойтись и без доноса И. И. Давидова, о котором мы говорили выше.

Он настолько уже не придавал тогда значения этому запоздалому утверждению, что не сообщил о нем своим родным, и даже Пыпин, по словам Е. Ляцкого, до конца дней своих был уверен, что Чернышевский степени магистра никогда не получал. То же убеждение господствовало в широкой публике до последнего времени¹.

Но если диссертация не оправдала тогдашних надежд Чернышевского на ученую карьеру и не доставила ему профессуры, она зато принесла лучшие результаты, популяризовав его имя в передовых кругах русского общества и доставив ему такую широкую аудиторию, какой он не мог иметь с профессорской кафедры. Неудача с диссертацией окончательно отняла у Чернышевского надежды на государственную службу и заставила его исключительно отдаться литературной работе, прославившей его имя.

¹ Его, как мы видели, выразил и Шелгунов. Его же повторяли и другие, как Г. Плеханов и пишущий эти строки (в первом издании моей книги).

ГЛАВА ВТОРАЯ НА ЛИТЕРАТУРНОЙ АРЕНЕ

1. ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Выполнение задачи, поставленной себе Чернышевским, было облегчено характером того периода, в течение которого развернулась его деятельность. Это была эпоха российского ренессанса, — эпоха, которой Чернышевский, с одной стороны, был продуктом, а с другой — творцом. И не даром шестидесятые годы называют иногда эпохой Чернышевского и даже хронологически определяют ее годами его деятельности. Что исторически 60-е годы не совпадают с периодом 1860—1870, это уже может почитаться общепризнанным. Но если одни считают эпохой шестидесятих годов период подготовки и проведения так называемых «великих реформ», крестьянской, судебной и административной (земской), т. е. период 1855—1866, то другие, считая концом эпохи 60-х годов начало политической реакции и переход правительства в открытое наступление против радикальной оппозиции, заключают этот период 1862 годом, годом ареста Чернышевского, и таким образом ограничивают эпоху шестидесятих годов 1855—1862 годами.

Это неодинаковое определение понятия «шестидесятые годы» является отражением двойственности рассматриваемой эпохи. Ибо, если она, с одной стороны, была временем перехода России от режима полицейско-помещичьего к режиму помещичье-буржуазному, характеризующаясь попыткой ввести в жизнь некоторые начала буржуазно-благородного государства с сохранением политической основы помещичьего господства, самодержавной монархии, то, с другой стороны, эта самая эпоха характеризовалась первыми проявлениями более или менее широкого и открытого революционного движения, явившегося отголоском и выражением глубокого брожения и нараставшего недовольства как крестьянских масс, так и нового слоя мелкобуржуазной демократии, так называемых «разночинцев». С точки зрения буржуазного преобразования страны эпоху 60-х годов можно растянуть до 1866 г., года последней крупной из тогдашних реформ (земской). Подходя же

к вопросу со стороны судебных революционного движения, можно считать последней гранью 60-х годов момент изъятия из жизни его идейного главы и вдохновителя, Н. Г. Чернышевского, и ограничивать эту эпоху 1862 годом. Это, впрочем, не так существенно.

Шестидесятые годы были эпохой глубокого перелома в русской истории. Собственно говоря, перелом этот подготовлялся издавна. И как раз эпоха торжества реакции при Николае I, бывшая временем усиленного экономического развития страны, превращения помещика из рабовладельца в сельского хозяина, тысячью нитей связанного с мировым и внутренним рынком, роста промышленности и торговли и в связи с этим накопления крупных духовных сил, ждавших лишь удобного момента для своего выявления, подготовила то общественное оживление, которое с небывалой дотоле силой проявилось в 60-е годы и доставило им название эпохи «бури и натиска». Поражение, понесенное самодержавием во время Крымской войны, послужило сигналом к внешнему проявлению давно уже накопившейся в недрах общества скрытой энергии и обострило оппозиционные настроения, задолго до того уже искавшие выхода наружу.

В последние годы своего царствования «тяжелый тиран в ботфортах», как назвал его Герцен, чувствовал грозное дыхание приближающейся революции, которая ему и идеологам царизма вроде М. Погодина рисовалась в виде какой-то всеуничтожающей пугачевщины. Начиная войну в целях сохранения своего пошатнувшегося престижа, самодержавие пошло навстречу своему банкротству. В высшей степени характерно, что во время Крымской войны, в отличие от «отечественной» 1812 года, в обществе уже стали проявляться пораженческие настроения, и не только у таких людей, как профессиональный революционер Бакунин, но и у таких мирных обывательски настроенных людей, как П. П. Пекарский¹. Наконец, когда всякая надежда на успех исчезла,

¹ См. характерный рассказ Н. Шелгунова о радости Пекарского по поводу поражения на Черной речке. «В воздухе носился патриотический либерализм, и число радующихся поражениям увеличивалось» («Воспоминания», стр. 24 и 26). А. Корнилов свидетельствует о том же: «Искренние и глубокие патриоты признавали тогда, что если изменение правительственной системы может быть достигнуто только ценою внешнего поражения, то следует считать и поражение за благо» («Общественное движение при Александре II». «Минувшие Годы», 1908, № 2, стр. 72; есть и отдельное издание). Историк С. М. Соловьев, человек в общем консервативных воззрений, сообщает в своих «Записках», что во время Крымской войны он и ему подобные, с одной стороны, испытывали страшное унижение патриотического чувства, а с другой — желали николаевской системе поражения. «Мы, — говорит он, — были убеждены, что только бедствие и именно несчастная война

когда поражение стало окончательно очевидным, правящий персонал во главе с царем растерялся, а оппозиция подняла голову. Не желая признать полного банкротства всей своей системы, залитый кровью с ног до головы — деспот предпочел покончить самоубийством из чувства ли не находящей выхода злобы или из страха перед надвигавшейся ответственностью за совершенные им бесчисленные злодеяния.

«Расстроенный коренными противоречиями между формой и содержанием, государственный порядок оказался беспомощным и слабым даже в оборонительной войне. В мучительных перипетиях севастопольского сидения пред Россией, как в миниатюре, развертывалась вся русская жизнь с ее неустройствами и бедствиями. Россия была потрясена, немая страна вздрогнула от гнева и удивления. Дальше так жить нельзя — стало общею мыслью, общим чувством. В небольшом заброшенном городке на берегу Черного моря был подписан смертный приговор сословно-крепостному периоду русской истории. О частных же исправлениях никто не думал. На очереди стояло обновление всего строя жизни, весь строй был бесповоротно осужден»¹.

«Смерть императора Николая, — говорит современник этих событий Шелгунов («Воспоминания», стр. 67—68), — застигла Россию в самый разгар севастопольской обороны, исход которой был уже ясен... Но когда эта громада пала, когда оказалось, что Россия не имеет ни денег, ни людей, чтобы продолжать борьбу, когда две такие неожиданности, как смерть императора Николая и павший Севастополь, точно два громовых удара, повторились один за другим, — Россия точно проснулась от летаргического сна.

«Нравственное состояние, в котором очутилась Россия после этих громовых ударов, редко в истории народов, а на памяти русской истории подобное положение еще не бывало... Старое уже не могло больше повториться; все чувствовали, что порвался какой-то нерв, что дорога к старому закрылась. Это был один из тех начинающих исторических моментов, которые подготовляются не годами, а веками, и они так же неустранимы, как лавины в горах, как ливни под экватором... В том,

могли произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы еще крепче наши узы. окончательно утвердил бы казарменную систему; мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет» («Русская историческая литература в классовом освещении», изд. Ком. академии, т. I, Москва, 1927, стр. 267). Такие явления говорят о полном моральном банкротстве режима.

¹ Н. И о р д а н с к и й — «Конституционное движение 60-х годов». Спб., 1906, стр. 26—27.

что после Севастополя все очнулись, все стали думать, и всеми овладело критическое настроение, — и заключается разгадка мистического секрета 60-х годов. Все — вот секрет того времени и секрет успеха всех реформ»¹.

«Это было удивительное время, — продолжает этот, в данном случае драгоценный свидетель, — время, когда всякий захотел думать, читать и учиться, и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко. Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильный и задачи громадные. Не о сегодняшнем дне шла тут речь, — обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России, становившиеся в зависимость от того или другого разрешения реформ».

Что начинается новая эра, чувствовали все, в том числе и самые заядлые консерваторы. Даже такие засохшие бюрократы, как бывший профессор Чернышевского, А. Никитенко, при известии о смерти Николая I записал у себя в дневнике (том I, стр. 352): «В настоящих обстоятельствах смерть его является особенно важным событием, которое может повести к неожиданным результатам. Для России очевидно наступает новая эпоха... Длинная и, надо таки сознаться, безотрадная страница в истории русского царства дописана до конца».

Если так реагировали на смерть деспота и начало новой эры такие консерваторы и царские холопы, как Никитенко и т. п.², то нетрудно

¹ Ссылаясь на воспоминания С. В. Ковалевской и Д. И. Писарева, Евг. Соловьев-Андреевич («Очерки из истории русской литературы». М., 1923, стр. 272) также отмечает массовый характер этого движения, охватившего широкие круги образованного общества. «Шестидесятые годы, — говорит он, — были движением массовым, движением, охватившим значительную часть общества и проникшим в такие уголки, что просто приходится диву даваться, как это могло произойти».

² Такой определенный консерватор, как А. Самарин, писал в то время такому определенному реакционеру, как кн. Черкасский, следующие знаменательные строки: «Политический удар, нанесенный нам и под которым мы до сих пор еще находимся, вынуждает нас стать откровенно на путь прогресса в нашей внутренней политике... Не в том дело, чтобы исправить некоторые вопиющие несправедливости или раздать некоторые подачки; надо пробудить от сна все производительные силы страны как нравственные и умственные, так и материальные, уничтожив рабство (казенное и помещичье крепостное право), возвратить слово церкви, дав более широкое основание народному просвещению, преобразовав нашу подушную податную систему и тоже рекрутскую. Одним словом, необходим определенный план, надо знать, чего хотим, а не пробавляться изо дня в день разными изворотами» («Материалы для биографии кн. В. А. Черкасского». М., 1901, т. I, стр. 87).

себе представить, какие чувства переживали люди, настроенные оппозиционно и революционно по отношению к царизму. В России нельзя было открыто выразить своего восторга, но о том, что должны были чувствовать такие люди, как Чернышевский, Добролюбов и т. п., можно судить по тому, как отнесся к смерти Николая I эмигрант Герцен, настроенный гораздо более умеренно, чем Чернышевский и его единомышленники. В «Предисловии» к сборнику «Десятилетие вольной русской типографии в Лондоне», вышедшему в 1863 году, Герцен художественно рассказывает о том восторге, с каким он и другие эмигранты встретили известие о том, что «тяжелый тиран в ботфортах, наконец, зачислен по химии».

«Смерть Николая, — говорит Герцен, — удесятирила надежды и силы... Начало царствования Александра II было светлой полосой. Вся Россия легче вздохнула, приподняла голову и, будь воля, прокричала бы от всей души с твикнемскими мальчишками: «Impernikel is dead! Hour-ray!» (Император Николай умер. Ура!)...

«Все видели, что петровское самодержавие совершило свои судьбы, что оно достигло предела, после которого надобно или правительству переродиться, или народу погибнуть. Если были исключения, то это только в корыстных кружках нажившихся негодяев, или на сонных вершинах выжившего из ума барства»¹.

Под дуновением свежего ветерка, доносившимся из пробуждавшейся России, Герцен по получении известия о смерти Николая I решил приступить к изданию журнала «Полярная Звезда», название которому было дано в память одноименного альманаха, издававшегося в 20-х годах К. Рылеевым. И тогда Герцен писал: «Россия сильно потрясена последними событиями. Что бы ни было, она не может возвратиться к застою; мысль будет деятельнее, новые вопросы возникнут... С 18 февраля — 2 марта Россия вступает в новый отдел своего развития. Смерть Николая — больше, нежели смерть человека: смерть начал, неумолимо строго проведенных и дошедших до своего предела... И неужели через сорок лет (после первого появления идей о политическом освобождении России. — Ю. С.) пройдет даром гигантский бой в Тавриде?.. Не может быть. Всё в движении, все потрясено, натянуто, и чтоб страна, так круто разбуженная, снова заснула непробудным сном?! Лучше пусть погибнет Россия! Но этого не будет. Нам здесь вдали слышна другая жизнь. Из России потянуло весенним воздухом»².

¹ А. И. Герцен — «Соч.», т. XVI, стр. 131—133.

² «Полярная Звезда» в «Соч.», т. VIII, стр. 167—169.

Повышенное настроение оппозиционных элементов питалось не только зрелищем внутренних российских нестроений и растерянностью столпов николаевского режима, на время утративших свою самоуверенность, но и положением дел в Европе, где разбитые за несколько лет до того революционные силы снова начали приходить в себя, собираться и в отдельных местах даже готовиться к новым выступлениям. Шелгунов правильно отмечает связь начинавшегося тогда в России революционного движения с политическим оживлением, наступившим на Западе во второй половине 50-х годов, когда начала ослабевать реакция, охватившая Европу после поражения революции 1848—1849 гг. «В 1858 году, — говорит он, — я не только верил в возможность самого полного обновления России на гуманных и справедливых началах, но был убежден и в возможности этого. И верилось мне не только потому, что все молодые верили этому в России, но потому, что и в Европе шла сильная обновительная и освободительная работа... Идея освобождения проникала все европейские народы. Венгрия еще далеко не успокоилась оттого, что ей пришлось сложить оружие перед русской армией. Италия тоже продолжала свою работу и стояла накануне того, чтобы выставить Гарибальди и Кавура. Франция, несмотря на весь блеск Второй Империи, кишела кружками недовольных и готова была скинуть Наполеона при первой возможности. Славянские племена Турции и Австрии, если не волновались, то достаточно громко шипели; поляки и не думали расставаться со своими надеждами на независимость. Такова была вся политическая атмосфера Европы, и в общем стремлении к освобождению принимали участие не одни революционные элементы... В такой атмосфере было много простора для всяких желаний и стремлений: все волновались, все горели, все искали освободительного дела. Как же подобной европейской волне было не охватить и Россию? В качестве молодого народа, начавшего такой радикальной реформой, как освобождение, мы не могли не быть решительнее в своих требованиях и, конечно, были более готовы на всякие, самые крайние перемены... Всеобщность освободительного движения связывала все народы, и национальное дело легко переходило в международное» (ibid., стр. 84—85).

Из всех выдвинутых эпохой 60-х годов вопросов наиболее важным был вопрос об освобождении крепостных крестьян. Право помещиков на крестьянскую личность и крестьянский труд было основой тогдашнего самодержавия, краеугольным камнем, на котором держалась вся система. «Крепостная Россия, — как метко замечает Шелгунов («Воспоминания», стр. 64), — представлялась сверху таким прочным и цельным исторически-бытовым сооружением, что из него, казалось, нельзя было вынуть ни одного камня без того, чтобы не заколыхалось все

здание. И здание действительно было вполне закончено; все в нем было юридически логично, связано и слито в одну массу». Достаточно было поэтому тронуть основной устой этого здания, крепостное право, чтобы всё пришло в движение, всё зашевелилось и заколебалось, все отдельные детали его подверглись более или менее решительному пересмотру. С того момента, как под напором событий правящий класс принужден был отказаться от этого святая святых, от своей основной привилегии, своего дворянского права на «крещеную собственность», вихрь новшеств и перемен неудержимо ворвался в русскую жизнь. Все стороны ее потащены были на суд беспощадного разума, все старые ценности подверглись критической переоценке, все бывшие авторитеты были безжалостно потрясены и низвергнуты. И совершенно естественно, что в этой разрушительной работе главная роль принадлежала не представителям дворянства, как бы либеральны они себе ни казались, а представителям нового общественного слоя, продукту распада старого общества и предвестнику нового, смелым, демократически настроенным «разночинцам», которым нечего было беречь и щадить в обреченном на слом строе, которые на своей шкуре испытали все его отрицательные стороны и потому могли его только презирать или ненавидеть.

Вопреки тому, что принято обыкновенно говорить о единстве тогдашнего общественного движения, далеко не все социальные элементы в России настроены были по одному ключу и стремились к одинаковым целям. Движение могло казаться единым только с либеральной точки зрения, подчинявшей его во всех его проявлениях общей задаче нормализации государственного строя в интересах развития буржуазного общества. И даже в те моменты, когда сами участники его субъективно заблуждались, считая его общим, оно на деле было неоднородным и сотканным из резких противоположностей. «В том общественном течении, — говорит другой современник этого движения Н. Ф. Анненский¹, — которое заполняет собою период, несомненно точно называемый «шестидесятыми» годами, мы можем отличить две главные волны. Первая половина этого периода, который можно начать с памятного для России 1855 года, представляет собой эпоху общего под'ема, постепенно захватывающего все более и более широкие общественные круги. Это была поднимающаяся общественная волна. Банкротство государственного и общественного строя, державшегося на крепостном праве, ярко выступило наружу среди бедствий Крымской войны с ее позорной «изнанкой». Совпавший с этим конец царствования, 30 лет железной ру-

¹ «Сорок лет назад» в сборнике «На славном посту». Спб., 1900, 2-е изд., ч. II, стр. 432 сл.

кою поддерживавшего устои того порядка, который привел страну к кризису, послужил толчком для обновительного движения. О чем прежде, под гнетом сурового режима эпохи, едва смели думать, о том теперь заговорили вслух. Всем, казалось, было ясно, что нельзя идти далее тем путем, по которому шли до сих пор. Необходим был выход из того положения вещей, несостоятельность которого стала очевидна. В поисках этого выхода общественная мысль сильно разбрелась... Но все эти течения, при всем различии в их силе, глубине и значении, шли в одном общем направлении. Все общественное движение представлялось одною широкою, поднимающеюся волною, захватывающею собою и правящие сферы, и средние круги обывателей, несовсем чуждых общественным интересам, и передовые ряды интеллигенции страны. Движение казалось, быть может, более широким, чем оно было на самом деле, благодаря тому, что элементы, ему враждебные, растерявшиеся и смятые первым натиском новых течений, не могли дать им открытого отпора, а глухому и пассивному сопротивлению, оказавшемуся впоследствии таким губительным для преобразовательной работы, не придавали тогда того значения, которое оно, к несчастью, имело».

На самом деле, вопреки обманчивой видимости, а главное — либеральной легенде, единства движения не было с самого начала. В действительности на сцену выступили совершенно различные классы с противоположными интересами, программами и тактиками. На арене боролись три основные силы тогдашней России, причем борьба в общем не выходила за пределы так называемого «образованного» общества. Главная масса населения, — крестьянство, о судьбе которого ожесточенно спорили, — была, конечно, тем «великим подразумеваемым», которое так или иначе давило на весы своею многомиллионною тяжестью, но оставалось за кулисами, изредка пошевеливаясь подобно сказочному великану, похороненному в глубине земли, и своими стихийными содроганиями приводя в колебание всю возвышавшуюся над ним чудовищную надстройку, но будучи не в состоянии определенно выразить свою волю и активными действиями настоять на ее осуществлении.

Итак, борьба шла между тремя социальными силами. Аристократическая помещичье-бюрократическая партия во главе с царем, увидев себя вынужденной в интересах самосохранения провести некоторые реформы, долженствовавшие укрепить монархию в финансовом и военном отношениях, твердо решила сохранить в неприкосновенности институт самодержавия, не допускать глубоких политических перемен, а основное преобразование, отмену крепостного права, провести в таком виде, чтобы реформа, едва обеспечивая крестьянству минимум полуголодного существования, целиком пошла на пользу дворянству и дворян-

скому государству. Оппозиционный лагерь состоял из двух противоположных частей. Одна из них, объединявшая буржуазные элементы, к которым присоединилась часть помещичьего класса, хотела провести такую систему реформ, которая положила бы начало европеизации России и создала бы нормальные условия для капиталистического развития страны. Она добивалась поэтому превращения самодержавной монархии в конституционную, но такую, при которой господство принадлежало бы собственническим группам. Это была умеренно-либеральная партия, партия «прогрессистов», к которой принадлежал цвет тогдашней цензовой интеллигенции вроде К. Д. Кавелина, И. С. Тургенева, отчасти А. И. Герцена, в общем разделявшего ее программу и тактику. По существу эта партия была решительной противницей революции и революционного метода действий и стояла за мирный «безболезненный» путь развития, разделяя панический страх реакционных кругов перед выступлением народных низов, которое и ей рисовалось в виде «русского бунта, бессмысленного и беспощадного», в виде нового и еще более ужасного повторения «пугачевщины», угрожающей «высшим завоеваниям» буржуазной «цивилизации» и «культуры». Но наряду с нею действовала и третья партия, «крайних прогрессистов», партия демократическая, революционная, не верившая в готовность и способность самодержавия к реформам, стоявшая на республиканской, а в лице своего левого крыла — даже на социалистической позиции, надеявшаяся на активное выступление народных масс и по мере сил его подготавливавшая, делавшая первые попытки связаться с рабочими, солдатами и крестьянами для возбуждения истинно-народной революции, которая одним ударом ниспровергла бы самодержавие вместе с господством крупных собственников и не допустила бы вступления России на путь буржуазного развития. Вождем и идейным выразителем этого крайнего левого крыла, вербовавшегося из деклассированных элементов, выходцев из мелкого дворянства, мелкой буржуазии и низшего служилого люда, из демократической молодежи, из среды так называемых «разночинцев» и пытавшегося опереться на недовольные трудящиеся массы, и был Н. Г. Чернышевский. В этой среде разночинной интеллигенции, которой И. С. Тургенев впоследствии дал нашумевшую кличку «нигилистов», Чернышевский и нашел свою, по тому времени довольно широкую, аудиторию¹.

¹ «В шестидесятых годах, — рассказывает все тот же Шелгунов, — точно чудом каким-то созданся внезапно совсем новый, небывалый читатель с общественными чувствами, общественными мыслями и интересами, желавший думать об общественных делах, желавший учиться тому, что он хотел знать» («Воспоминания», стр. 98). «Не юноши только рвались вперед (эти всегда

Что правительство, т. е. реакционная помещичья партия, использовало это расхождение между обоими крыльями оппозиции для упрочения собственного положения и для недопущения серьезных преобразований, это само собою разумеется. Из страха перед народной революцией буржуазный либерализм, как это бывало почти всегда и везде, предпочел урезать свою программу и пойти на компромисс с реакционной партией, обеспечив этим на долгие годы победу самодержавия и выдав правительству на расправу представителей революционного движения. Неверно, что этот разрыв умеренного и радикального течений произошел только во вторую половину 60-х годов, как указывает, например, Н. Анненский в цитируемых ниже строках. Уже с первых выступлений разночинной демократии, например, с диссертации Чернышевского по такому, казалось бы, отвлеченному вопросу, как эстетические отношения искусства к действительности, сказалась вражда буржуазного либерализма к новому направлению, и начал складываться единый блок между казенной реакцией и либералами. Естественно, что с переходом дискуссии к более злободневным вопросам, в частности к политическим и экономическим, вражда приняла гораздо более резкие формы и окончательно расколола прогрессивный лагерь на глубоко расходившиеся течения. Этот разрыв произошел не во второй половине 60-х, а уже во второй половине 50-х годов.

Вот что говорит об этом расколе и об использовавшей его реакции современник этих событий, Н. Анненский.

«Во вторую половину периода «шестидесятых» годов эта однородность общественного движения исчезает; между разными его элементами обнаруживается разлад, порой принимающий острые формы; прогрессивные течения замедляются, а затем изменяют и самое направление; начинается и растет реакция, не только в правящих кругах, но и в значительной части прогрессивно настроенного общества; общий тон общественного настроения понижается. В 1866 году реакционное течение, после катастрофы 6 апреля¹, резко усиливается и становится господствующим; тяжелое, глубокое угнетение сменяет бодрое настроение начала преобразовательной эпохи.

рвутся), — говорит он в другом месте (стр. 168); — мне случалось видеть 70-летних стариков, для которых «Современник» был «учебником жизни» и руководителем для правильного понимания разрешавшихся тогда вопросов». Новый кадр читателей, о котором говорит Шелгунов, начал, впрочем, вырабатываться уже с 40-х годов, в значительной мере под влиянием Белинского; в 60-е годы он сильно вырос.

¹ 6 апреля 1866 года произошло покушение Д. Каракозова на Александра II, вызвавшее небывалый взрыв реакции.

«В сущности 1866 годом заканчиваются так называемые шестидесятые годы, если брать это определение не в хронологическом смысле, а в условном значении периода реформ и общественного обновления, в центре которого стоит великий акт освобождения крестьян. Толчок, данный могучим освободительным движением первой половины этого периода, был настолько силен, что преобразовательные акты продолжались некоторое время и после того, когда на знамени руководящих кругов открыто выставлен был совершенно иной девиз. В том же 1866 году, который является поворотным пунктом между периодом реформ и периодом регрессивного течения, в мае одновременно с муравьевскою диктатурою и опубликованием программного рескрипта на имя кн. Гагарина (тогда председателя Государственного совета, в эпоху создания положения 19 февраля — одного из столпов крепостнической партии) в Петербурге вводились в действие «судебные уставы» 20 ноября 1864 года, с их судом общественной совести, с мировым институтом (значение которого для бытовых условий населения столицы в тот момент трудно теперь оценить в достаточной мере), с их провозглашением начал законности и равенства пред судом, таким резким диссонансом звучащих среди всего того, что происходило кругом. Но все это были плоды творческой работы прошлого, с которыми бессильна была справиться наступившая реакция»¹.

Герцен же правильно считает концом либерального периода 1862 год, год петербургских пожаров и ареста Чернышевского. «В 1855 и в 1857 годах,—говорит он,—перед нами была просыпавшаяся Россия. Камень от ее могилы (т. е. Николай I. — Ю. С.) был отвален и свезен в Петропавловскую крепость. Новое время сказалось во всем: в правительстве, в литературе, в обществе, в народе. Много было неловкого, неискреннего, смутного, но все чувствовали, что мы тронулись, что пошли и идем. Немая страна приучалась к слову, страна канцелярской тайны — к гласности, страна крепостного рабства — роптать на ошейник. Правительство делало, как иерусалимские паломники, слишком много нагрешившие, три шага вперед и два назад, — один все же оставался. Партия дураков, партия стариков была в отчаянии, крепостники прикидывались конституционными либералами... С половины 1862 года ветер потянул в другую сторону. На неполное освобождение крестьян потратились все силы правительства и общества, и заторможенная машина двинулась назад»².

¹ Н. Анненский, цит. ст. в сборнике «На славном посту», стр. 432—433.

² Герцен — «VII лет», «Соч.», т. XVII, стр. 295.

Но в первый период, когда растерявшееся правительство само понимало необходимость некоторых реформ, когда расслоение оппозиционных групп не успело еще проявиться в полной мере, когда казалось, что старый режим не устоит перед напором новых сил, неожиданно надвинувшихся на него, — в обществе действительно господствовало оживление, страна рвалась из пеленок, Россия проснулась и решительно двинулась вперед. Было много надежд и еще больше дерзновения. Загнанная внутрь энергия прорвалась, молчавшие заговорили неслыханно громким и для России непривычным языком, и литература, особенно периодическая, достигла небывалого расцвета. И естественно, что задавала тон тогдашней литературе именно наиболее радикальная группа. Правда, она располагала одним только органом — «Современником» (впоследствии сюда присоединилось и «Русское Слово» с Д. Писаревым, В. Зайцевым, Н. Соколовым, Н. Шелгуновым и др.), но и его одного, с такими сотрудниками, как Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, и более второстепенными, но составлявшими с названными корифеями согласный хор, было достаточно для того, чтобы наложить свою печать на всю эпоху и совершенно отодвинуть на задний план всю остальную, либеральную и консервативную, журналистику в лице постепеновских «Отечественных Записок», беспринципной «Библиотеки для Чтения», первое время лицемерно либерального, но по существу всегда консервативного «Русского Вестника» и т. п. Дух оживления, бодрости, энергичного протеста вносила в публику именно эта радикальная группа во главе со своим лидером Чернышевским. И до тех пор, пока правительство насильственно не положило ей конец арестом Чернышевского, эта группа безусловно главенствовала в тогдашнем оппозиционном движении, окрашивала его своим цветом и пользовалась величайшей популярностью среди народившихся демократических элементов.

Этот новый общественный слой внес в русскую жизнь и в частности в литературу новый тон, новые формы, а главное — новое содержание. Е. Соловьев-Андреевич (цит. соч., стр. 274 и сл.) правильно замечает, что при переходе от литературы 40-х годов к литературе 60-х чувствуешь такую разницу в тоне, идеях, настроениях, что кажется, будто имеешь дело с литературой другого народа. На самом деле это только литература другого класса. Теперь бы мы определили его как демократическую мелкую буржуазию. Но по специфическим условиям нашего общественного развития эта социальная группа, получившая несколько неопределенное название «разночинцев», была теснее связана и своими материальными интересами, и своей психологией с народом в собственном смысле слова, с трудящимися массами и в первую

голову с крестьянством, чем соответствующая социальная группа в Западной Европе. Этот разночинец своим выступлением на арену и придал 60-м годам их особый вид и характер.

«Призванный к жизни разночинец, — говорит Е. Соловьев, — задавал тон всему, и больше: он действительно был руководителем эпохи. Он внес в свою работу свою философию, свое мирозерцание; в свои взгляды — совершенно понятное нетерпеливое желание овладеть жизнью и ее благами — наукой, искусством, обеспеченностью (для себя и для других, конечно), которые еще накануне казались ему чем-то недостижимым. Он внес и раздражение против вчерашних господ, перед которыми он должен был так долго молчать. Его любовь к обездоленному и униженному собрату была равносильна его ненависти к тому, кто обездоливал, развращал и унижал. Часто он просто мстил, тем более, что видел, что враг, хотя и сбитый с позиции, все еще жив и надеется рано или поздно восторжествовать. И он торопился в своих презрительных и, увы, совершенно заслуженных, гневных насмешках излить накипевшую злобу и отомстить за свое вынужденное раньше молчание». Определив основы мирозерцания разночинца как материализм в философии, утилитаризм в этике и утилитаризм в искусстве, Е. Соловьев продолжает: «Однако, все это — временное, случайное, историческими обстоятельствами вызываемое и исчезающее вместе с ними (?). Но вот святое и вечное под этой случайной оболочкой: уважение к достоинству человека как человека, каков бы он по своему происхождению ни был, признание полного равенства и полной равноправности между людьми во всей совокупности общественных отношений. И все это слилось в одном маленьком и даже чуждом для нас слове: эмансипация. Это — ключ к пониманию эпохи. Эмансипировались крестьянин от помещика, женщина от семейной кабалы, гражданин от государства, мысль от преданий и кумиров прошлого. Был порыв, была страсть, было вдохновение. И в этом красота эпохи, несмотря на грубоватую и часто неуклюжую форму»¹.

Это боевое настроение нового общественного слоя, только через посредство которого масса могла быть приобщена к последним резуль-

¹ И здесь, и в других местах Е. Соловьев, наряду с правильными мыслями, нередко говорит вздор, напр., что победа разночинца над идеалистом-барином объясняется тем, что второй сильно чувствовал, а первый сильно хотел. Разночинец тоже «сильно чувствовал», и, пожалуй, сильнее, чем «идеалист», а последний с своей стороны очень «сильно хотел», но чувствовали-то они по-разному и хотели разного. И недаром дальше сам Е. Соловьев подчеркивает, что «масса была истинным предметом заботы разночинца» (стр. 279). В этом все дело.

татам науки и быть вовлеченной в активную борьбу за свои интересы, и выражала группа радикальных писателей, имевшая своим признанным главой Н. Г. Чернышевского. И вот почему шестидесятые годы в том хорошем смысле, какой в нашем представлении связывается с этим термином, это не эпоха Кавелина и Тургенева, даже не эпоха Герцена, а эпоха Чернышевского и Добролюбова, с исчезновением которых с арены и кончается эта знаменательная полоса русской истории¹.

2. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ КАК ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Мы знаем, что еще с юных лет Чернышевский мечтал об ученой карьере. Но уже тогда научная работа об'единялась в его уме с работой просвещения родной страны. Скоро он начал относиться более холодно к мысли о карьере ученого и убедился, что будет гораздо полезнее русскому народу на другом поприще. Этот демократ по убеждению и боец по темпераменту не мог удалиться на холодные вершины академической науки в то время, когда кругом закипала жизнь и чувствовалась необходимость осветить широким слоям русского общества смысл совершавшихся вокруг них и подготавливавшихся событий. При способностях и знаниях Чернышевского он легко мог бы сделать так называемую ученую карьеру и написать 5—10—20 трактатов о санскритском языке, Ипатьевской летописи и т. п. Его способности и эрудицию признавали даже его враги; их только бесили разносторонность его знаний и сила полемического таланта, делавшие его столь опасным противником, но они сами не верили глупым толкам о его мнимом «невежестве». Не только среди журналистов, но и среди специалистов науки он тогда не встречал себе равных, и все его полемические схватки, касались ли они какого-нибудь вопроса текущей жизни или абстрактной теории, неизменно кончались торжеством Чернышевского и посрамлением его противников. Но он сознательно отказался от карьеры ученого и избрал кафедру проповедника и просветителя.

Он поставил себе задачу не столько двигать вперед науку, сколько распространять среди широких слоев читателей те приобретения, которые наука уже успела сделать². Правда, даже при этой популя-

¹ «Смертью Добролюбова и удалением Чернышевского с литературного поприща, — говорит Шелгунов («Воспоминания», стр. 170), — закончился первый период шестидесятых годов. Это был самый яркий расцвет их».

² «Иногда и от некоторых людей, — пишет он в статье «Капитал и труд» (1860 г.), — служение истине требует заботы о новых исследованиях в области науки; иногда нарушил бы человек свои обязанности перед истиною, если бы отдал свои силы на новые исследования — это бывает тогда, когда он может оказать истине больше услуг простым распростране-

торской по преимуществу работе Чернышевский сумел сыграть роль новатора во многих вопросах науки — особенно в России, где последнее слово европейской философии и политической экономии составляло для массы *terra incognita*. Но все-таки главным образом он стремился к тому, чтобы ознакомить русскую публику с данными европейской науки и указать ей практические пути к переустройству общественной жизни.

По мнению Чернышевского обязанность ученых в России совершенно не та, что на Западе, ибо у нас они должны действовать в обществе, сильно отставшем в умственном отношении¹. Там, говорит Чернышевский, прогресс состоит в дальнейшей разработке самой науки, у нас же до сих пор он состоит еще в том, чтобы полнее усваивать результаты, которых уже достигла наука. «Там на первом плане стоят потребности науки, у нас — потребности просвещения»².

нием уже найденных наукою истин в массе, нежели какими-нибудь учеными изысканиями» («Соч.», т. VI, стр. 9). Он способен был и на большее.

¹ Не следует при этом забывать, что Чернышевский писал в эпоху, когда самостоятельной русской науки, в сущности говоря, не существовало. По письмам его из Сибири видно, что он до конца дней своих держался невысокого мнения о русской науке, которая в его время только начинала развиваться и действительно находилась в зачаточном состоянии, пробавляясь повторением европейских задов. Ср. то, что он писал 30 августа 1877 года из Сибири о состоянии русской литературы и науки: «Русская литература до сих пор еще очень бедна. Наши знаменитые поэты, Пушкин и Лермонтов, были только слабыми подражателями Байрона. Этого никто не отрицает. — Мы очень гордимся Гоголем. Но он — фигура очень мелкая сравнительно, например, с Диккенсом или с Фильдингом, или Стерном, или Свифтом, не говоря о таких юмористах, как Рабле или Вольтер (в своих «Сказках» Вольтер — тоже юморист). А поэтический и беллетристический отдел нашей литературы все-таки еще следует назвать очень богатым по сравнению с научным отделом ее.

«У нас есть несколько ученых, очень почтенных. Но они все-таки люди очень, очень маленькие перед учеными Западной Европы, и количество книг, написанных этими учеными, так невелико, что о самостоятельной научной литературе на русском языке странно и говорить: это — не литература, а несколько книг ученого содержания. И почти все эти немногие наши ученые книги относятся только к русской истории или к истории русской литературы. Кроме этой отрасли знания, нет ни одной, по которой труды русских ученых имели бы хоть маленькое научное значение. (Я говорю о трудах русских ученых на русском языке)». (Здесь Чернышевский, вероятно, имеет в виду Герцена.)

Переводных книг у нас также немного. «И очень многие отделы науки остаются неимеющими ни одной порядочной хотя бы и переводной книги» («Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 203—204).

² В свое время, в аналогичный период истории Европы, перед западными просветителями стояла та же задача. «Поспешите сделать философию

Грановский, по словам Чернышевского, понимал это и служил не личной своей ученой славе, а обществу; этим объясняется весь характер его деятельности. С другой стороны, умственная отсталость России объясняется по мнению Чернышевского не столько внешними препятствиями, сколько равнодушием и апатией самого общества ко всем высшим интересам общественной, умственной и нравственной жизни. «Оттого-то существеннейшая польза, какую может принести у нас обществу отдельный подвижник просвещения посредством своей публичной деятельности, состоит не только в том, что он непосредственно сообщает знания — такой даровитый народ, как наш, легко приобретает знания, лишь бы захотел, — но еще более в том, что он пробуждает любознательность, которая у нас еще недостаточно распространена. В этом смысле лозунгом у нас должны быть слова поэта: «Ты вставай, во мраке спящий брат!»¹.

И Чернышевский хвалит Грановского за его роль в деле нашего общественного развития, за то, что он был одним из сильнейших посредников между наукой и русским обществом и содействовал пробуждению в нем сочувствия к высшим человеческим интересам. Грановский, по словам Чернышевского, был возможен только у нас. Человек, по природе и образованию призванный быть великим ученым и всю свою жизнь шедший неуклонно и неумолимо по ученой дороге, не оставил однако по себе сочинений, которыми наука двигалась бы вперед, а между тем все мы признаем, что он, несомненно, был великим ученым и исполнял все, к чему призывал его долг ученого. Почему же Грановский не оставил после себя таких сочинений? «Потому, — отвечает Чернышевский, — что он был истинный сын своей родины, служивший потребностям ее, а не себе». Одним словом, Чернышевский хвалит Грановского за просветительство.

Для Чернышевского истинный патриотизм заключается в содействии народному просвещению. «Для нас, — говорит он, — идеал патриота — Петр Великий; высочайший патриотизм — страстное, беспредельное желание блага родине, одушевлявшее всю жизнь, направляв-

близкой народу, — говорил один из учителей Чернышевского, Д. Дидро. — Если мы хотим, чтобы философы шли вперед, приблизим народ к уровню философов. Если философы скажут, что существуют произведения, недоступные простым умам, они обнаружат тем самым свое невежество относительно того, что в состоянии совершить хороший метод и длительный навык» (И. К. Луппол — «Дени Дидро». М., 1920, стр. 188). Чернышевский также находил, что самые сложные положения науки можно излагать вполне общедоступным языком, и доказывал это своим примером.

¹ «Соч.», т. II, стр. 405 и сл.

шее всю деятельность этого великого человека». В чем же Чернышевский усматривает главную заслугу Петра, роднившую его, дескать, с Ломоносовым, Державиным, Карамзиным, Пушкиным и даже Белинским? В содействии просвещению русского народа. «Русский, у кого есть здравый ум и живое сердце, до сих пор не мог и не может быть ничем иным, как патриотом в смысле Петра Великого — деятелем в великой задаче просвещения русской земли. Все остальные интересы его деятельности — служение чистой науке, если он ученый, чистому искусству, если он художник, даже идее общечеловеческой правды, если он юрист, — подчиняются у русского ученого, художника, юриста великой идее служения на пользу своего отечества»¹.

С этой точки зрения любимым историческим героем Чернышевского был Лессинг, которому посвящена вторая (после «Эстетических отношений») крупная работа нашего автора. Лессинг и симпатичен Чернышевскому как великий просветитель немецкого общества в эпоху перелома, мощно пролагавший путь к грядущему. Для Лессинга Чернышевский готов даже сделать исключение из устанавливаемого им общего социологического закона, говорящего о второстепенной и подчиненной роли литературы. «Пусть политика и промышленность шумно движутся на первом плане в истории, история все-таки свидетельствует, что знания — основная сила, которой подчинены и политика, и промышленность, и все остальное в человеческой жизни». Несколькими строками ниже Чернышевский, впрочем, ограничивает свое положение. Он указывает, что «несмотря на все пристрастие греков к поэзии, ход их жизни обуславливался не литературными влияниями, а религиозными, племенными и военными стремлениями, впоследствии кроме того политическими и экономическими вопросами. Литература была, подобно искусству, лучшим украшением, но только украшением, а не основной пружиной, не главной двигательницей их жизни. Римская жизнь развивалась военной и политической борьбой и определением юридических отношений; литература была для римлян только благородным отдыхом от политической деятельности. В блестящий век Италии, когда она имела Данте, Ариосто и Тассо, также не литература была основным началом жизни, а борьба политических партий и экономические отношения: эти интересы, а не влияние Данте, решали судьбу его родины и при нем, и после него. В Англии, гордящейся величайшим поэтом христианского мира и таким числом первостепенных писателей, какого не найдется, быть может, в литературах всей остальной Европы вместе взятых, — в Англии от литературы никогда не зависела судьба нации,

¹ «Очерки гоголевского периода», «Соч.», т. II, стр. 120—122.

определявшаяся религиозными, политическими и экономическими отношениями, парламентскими прениями и газетною полемикою: собственно так называемая литература всегда имела второстепенное влияние на историческое развитие этой страны. Таково же было положение литературы почти всегда, почти у всех исторических народов»¹.

Но для Лессинга Чернышевский готов сделать исключение из этого общего правила. Правда, говорит он, таких исключений, когда литература является главной двигательницею исторического развития, очень немного, и эпоха Лессинга как раз является одним из таких исключений. От начала деятельности Лессинга до смерти Шиллера, в течение 50 лет, развитие одной из величайших европейских наций, будущность стран от Балтийского до Средиземного моря, от Рейна до Одера, определялась литературным движением. Почти все другие социальные факторы не благоприятствовали развитию немецкого народа. Одна литература вела его вперед, борясь с бесчисленными препятствиями.

Здесь в Чернышевском заговорил просветитель, здесь уверенность в могуществе разума и силе знания взяла в нем перевес над его материалистическими взглядами в социологии. Типичный просветитель Лессинг был особенно дорог Чернышевскому еще и потому, что он напоминал ему во многих отношениях Белинского, а эпоха Лессинга напоминала ему 40-е и 50-е годы русской истории. В том и другом случае это был «период бури и натиска», и вполне извинительно увлечение просветителя другими просветителями.

Итак, задачей писателя-гражданина является просвещение общества, распространение среди него научных знаний и здравых понятий и главным образом пробуждение в нем любознательности и стремления к высшим общественным интересам. Писатель должен быть публицистом, а публицист, как объясняет Чернышевский Чичерину, — «не профессор, а трибун или адвокат»². Просветитель не претендует на холодное беспристрастие слизняка; он прежде всего пропагандист и горячий боец. Он должен быть беспощадно последователен в разоблачении всех пережитков старины, мешающих общественному прогрессу и вредных для интересов народной массы. «Бывают эпохи в литературе, когда нужны обществу люди умеренных мнений, люди примирения, люди уступок, — они бывают очень полезны в конце борьбы, когда нужно дать пощаду признавшимися в своем бессилии побежденным. Но начало борьбы, какова была во время Лессинга, имеет другие условия, — тут нужна была энергия. Когда вводился в жизнь новый принцип, прав ко-

¹ «Соч.», т. III, стр. 586 и сл.

² «Соч.», т. IV, стр. 467.

торого еще не хотели признавать, он должен был со всею силою представлять все свои права, должен был, не колеблясь, обнаруживать все слабые стороны явлений, неудовлетворительность которых делала появление этого нового принципа историческою необходимостью».

Чувствуя в Лессинге родственную душу, Чернышевский особенно хвалит его за его резкость и непримиримую последовательность. Человек энергического ума и смелого характера, говорит Чернышевский про Лессинга, он ненавидел то, что называется половинчатостью; чего он хотел, того хотел не шутя, что говорил, то говорил вполне, до конца, а если он не видел возможности или не находил надобности выражать свою мысль во всей ее силе, он лучше вовсе не выражал ее. «Резкость суждения была первым условием сильного влияния «Литературных писем» (Лессинга) на публику и писателей. Немецкая мысль была тогда одержима такою вялою дремотою, что только самые сильные толчки могли пробудить ее. В этом отношении, как и в других, Лессинг был именно человек, в каком нуждалось то время. Только беспощадная диалектика, не оставлявшая ни одного уступчивого слова для успокоения, могла заставить публику и писателей признаться в том, что литературные дела их действительно в плохом состоянии, и пробудить в них потребность исправления безжалостно раскрытых недостатков». И по мнению Чернышевского важно было не столько приобретение немецким обществом суждений о тех или иных литературных явлениях, сколько то, что вместе с содержанием суждений перешел в немецкую мысль их дух, — дух строгой, не останавливающейся ни перед какими выводами логики, не признающей за заблуждением права на уступки, ищущей только чистой истины независимо от судьбы, грозящей частным предубеждениям и интересам.

В этих словах содержится в сущности программа и характеристика деятельности самого Чернышевского. Эта ненависть к половинчатости, дух строгой и последовательной логики, не боящейся никаких выводов, столь же характерны для Лессинга, как и для Белинского, Добролюбова и самого Чернышевского. Почти все, что он говорит о характере литературной деятельности Лессинга, применимо к нему самому, и в этом смысле его суждения о Лессинге носят в известной степени характер автобиографический. Так, широту и резкость взглядов Лессинга Чернышевский объясняет общим состоянием Германии в половине XVIII века и характером тех вопросов, на которые первоначально устремились умственные силы немецкого народа. «С одной стороны, факты жизни немецкого народа были так незавидны, что не могли порождать особенного пристрастия к себе: у немцев не было ни блестящей национальной истории, ни блестящих периодов литературы, как у французов и англи-

чан, ни причин гордиться устройством своего внутреннего быта, как у англичан, или умственным владычеством над Европою, как у французов. Они не имели поводов быть пристрастными — не к чему было пристраститься; не имели поводов быть робкими в выводах из опасения коснуться отрицанием чего-нибудь драгоценного, — им было нечего беречь и щадить. С другой стороны, первоначальною школою, в которой воспитывалась их мысль, было обсуждение вопросов, более или менее отвлеченных, литературы, науки, — в этих сферах привыкнуть к смелости и беспристрастию выводов легче, нежели в сфере бытовых и общественных вопросов».

С надлежащими изменениями все эти рассуждения применимы к нашим просветителям и к положению России в середине XIX века. Особенно же применимы к Чернышевскому заключительные слова его о Лессинге: «Половины того не сказал Лессинг, что мог сказать, что сказал бы, если бы прожил 10—15 годами более. Приближались исторические события, которые должны были сильно содействовать пробуждению немецкого племени... Он один, в котором больше всех нуждалась Германия, не дожил до той поры, когда его ясный ум и могущественное слово наиболее нужны были для его народа». Лессинг умер естественной смертью, Чернышевский же был убит своими политическими врагами, насильственно изъят из жизни в полном расцвете своего влияния, успевши только наметить свои взгляды, но не успевши создать насквозь продуманной, выдержанной и целостной системы, которую он в силах был создать и к которой неуклонно приближался. Чтобы составить себе понятие о миросозерцании Чернышевского, приходится (быть может, несколько искусственно) соединять отдельные его суждения и мысли, высказанные по различным поводам в разрозненных статьях и заметках и потому иногда противоречащие друг другу или недодуманные до логического конца. И тем не менее внимательное изучение полного собрания сочинений Чернышевского приводит нас к глубокому убеждению, что он неуклонно шел к выработке довольно цельного материалистического мировоззрения, которое старался проводить при обсуждении всех вопросов, как теоретических, так и практических.

Не следует, впрочем, забывать, что характер эпохи, в которую пришлось действовать Чернышевскому, и занятая им в связи с этим позиция просветителя неизбежно должны были придать его воззрениям и способу их выражения специфический оттенок. Он один принужден был выполнить в России ту работу по расчистке застарелых авгиевых конюшен, которую, например, во Франции XVIII века выполнила целая школа философов-просветителей, целая группа энциклопедистов во главе с Дидро. Как просветитель, разрушавший традиционные воззре-

ния и укоренившиеся предрассудки, он неизбежно приводился этим самым к преувеличенной оценке умственного фактора, роли идей, ума и знаний в общественном развитии, словом, к рационализму. Это и недостаток, и огромное достоинство просветителей, помогавшее им наиболее полно и удачно выполнить возложенную на них историей задачу — в первую очередь очистить умы людей от накопившегося в них сора, произвести революцию в головах, без которой невозможна революция в общественной жизни. Будучи представителем новой социальной группы разночинцев, передовой интеллигенции, естественно выдвинутой на первый план политической борьбы отсутствием на арене отсталых народных масс, для которых и за которых выступает в первое время эта интеллигенция, неизбежно возвеличивающая поэтому роль критически мыслящей личности в истории, Чернышевский нередко также платил дань этой социологической аберрации и, в качестве просветителя *par excellence*, готов был по временам придавать идейному фактору такое первенствующее значение, какое шло вразрез с его общим реалистическим мирозерцанием. Шестидесятые годы с их разрушением авторитетов и всеобщей критикой завещанных старой русской историей взглядов и представлений в еще большей мере, чем сороковые годы, бывшие предвестником российского ренессанса, находят — разумеется, *mutatis mutandis* — довольно точную параллель с периодом французского просветительства XVIII века. Вот почему наши просветители (и в первую голову Чернышевский, наиболее выдающийся и разносторонний среди них) соединяли в себе и сильные, и слабые стороны просветительства. Но к чести Чернышевского нужно сказать, что из всех просветителей разных стран и эпох он сумел в максимальной степени преодолеть слабые стороны этого течения и приблизиться к научно-материалистическому мировоззрению, делавшему в его время свои первые завоевания.

3. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И НЕКРАСОВ

Трибуну для изложения своих взглядов перед широкою публикою Чернышевский нашел в журнале «Современник».

Основанный в 1836 году А. С. Пушкиным, «Современник» с 1847 года перешел от Плетнева в руки Н. А. Некрасова и И. И. Панаева. Последние два года своей жизни в нем работал и В. Белинский. Постепенно новой редакции удалось сгруппировать вокруг журнала наиболее выдающихся представителей тогдашней русской литературы, как то: историков Грановского, Забелина, Н. Костомарова, С. Соловьева, этнографа Афанасьева, юристов Кавелина, Редкина, поэтов, романистов и драматургов А. Майкова, Фета, А. Н. Островского, И. С. Тургенева,

Д. И. Григоровича, Л. Н. Толстого (не говоря уже о самом Некрасове), беллетриста и критика Дружинина и т. д.¹ Позже, уже при Чернышевском, к числу сотрудников «Современника» прибавились такие силы, как поэт Михайлов, беллетристы Помяловский, Решетников, Щедрин (Салтыков), В. Слепцов, Н. Успенский, критик Н. Добролюбов, публицисты Г. З. Елисеев, М. Антонович и т. д.

И Чернышевский вправе был начать свои «Заметки о журналах» в феврале 1858 года следующими словами: «Читатель, в добрый час молвить, продолжается оживление русской литературы. Лучшие современные таланты, как бы соревнуя друг другу, дарят публике произведения, которые обещают сделать нынешний год памятным в нашей литературе. Весело — не правда ли? — быть читателем в такое время... и даже, поверите ли, несомненно печально быть журналистом».

Попал Чернышевский в «Современник» следующим путем². По приезде в Петербург, нуждаясь в заработке, он обратился к А. Краевскому³, который стал давать ему мелкую работу для «Отечественных Записок». Так как эта случайная работа давала очень мало, а Чернышевский нуждался в средствах, то он в поисках дополнительного заработка обратился к Панаеву, которого считал редактором «Современника» (в действительности хозяином дела был Некрасов). Тот на пробу дал ему для отзыва какие-то книги. Когда Чернышевский принес приготовленные рецензии, Панаев вступил с ним в разговор, во время которого в комнату вошел Некрасов. Он своим болезненным видом и слабым голосом произвел на Чернышевского тяжелое впечатление. «Я, — говорит Чернышевский, — тогда уже привык считать Некрасова великим поэтом и, как поэта, любить его. О том, что он — человек больной, я не знал». Некрасов пригласил его в свои комнаты, расположенные рядом, и завел с ним дружеский откровенный разговор. Видимо, Чернышевский сразу произвел на Некрасова сильное впечатление.

¹ С января 1857 г. на обложке «Современника» стало печататься следующее объявление: «С 1857 г. помещают исключительно в «Современнике» свои произведения Д. В. Григорович, А. Н. Островский, граф Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев». Это, разумеется, вызвало враждебную зависть других журналов.

² По «Воспоминаниям о Некрасове», записанным со слов Н. Г. Чернышевского сыном его Александром в 1883—1884 годах и цитируемым в статье Е. Ляцкого — «Н. Г. Чернышевский в редакции «Современника» (Некрасов, Тургенев, Добролюбов)». «Совр. Мир», 1911, №№ 9—11.

³ У Е. Ляцкого (цит. ст., «Совр. Мир», № 9, стр. 143) сказано, что Краевскому рекомендовал Чернышевского какой-то знакомый литератор. Но ведь Чернышевский знал Краевского еще с 1847 года, когда он делал, правда, неудачные попытки попасть в «Отечественные Записки».

С своей стороны Чернышевский возымел к Некрасову полное доверие и симпатию.

Совместительство в двух журналах, конкурировавших друг с другом, хотя политически в то время еще не расходившихся так резко, как это произошло впоследствии, оказалось все-таки сопряженным с некоторыми неудобствами. Правда, и в «Отечественных Записках» в 1853—1854 годах, и в «Современнике» в 1854—1855 годах Чернышевскому приходилось выполнять главным образом черную работу рецензента¹ (первая значительная самостоятельная работа его «Очерки гоголевского периода» начала печататься в «Современнике» только с декабрьской книжки 1855 г.); однако и это не избавило его от пересуд, к которым пишущая братия во все времена была особенно склонна. Пошли сплетни на ту тему, что Чернышевский пишет в «Отечественных Записках» против «Современника», и наоборот, и что он выдает Некрасову редакционные тайны Краевского, и обратно. Когда под влиянием этих толков Краевский предложил Чернышевскому выбирать между «Современником» и «Отечественными Записками», он, вопреки советам Некрасова, рекомендовавшего ему по материальным соображениям остаться в «Отечественных Записках», выбрал «Современник». Надо полагать, что Некрасов, давая указанный выше совет своему молодому сотруднику, которого он уже успел оценить и которым уже дорожил, не сомневался в его выборе. Чернышевский же, который питал глубочайшее уважение и любовь к Некрасову — и как к человеку, и как к поэту, и как к редактору, — несомненно тогда уже чуял разницу между затхлым духом прозябавших «Отечественных Записок» и свежей атмосферой расправлявшего крылья «Современника» и не колебался в выборе, несмотря на то, что в материальном отношении «Современник», по словам Некрасова, не мог в первое время дать ему того, на что он мог рассчитывать в журнале литературного барышника Краевского.

Итак, между редакторами-издателями «Современника» и Чернышевским заключено было условие, по которому Чернышевский обязался:

¹ Рецензии, часто на самые пустячные книги, заполняют большую часть первых трех томов полного собрания сочинений Чернышевского. По этому поводу Е. Колбасин в своей статье «Тени старого Современника» («Современник», 1911, № 8, стр. 235—236) замечает: «Невольно приходит на ум мысль, сколько времени и сил потратил этот мыслитель, будучи принужден заниматься такими мелочами, как рецензии на плохие повестушки, в то время как в его голове успели созреть стройные политико-экономические и историко-философские системы, которых впоследствии он не успел развить во всей их полноте, и которые тем не менее вызвали удивление беспощадно строгого Карла Маркса».

1) писать статьи для отделов критики и библиографии и заведывать этими отделами; 2) составлять статьи для отдела наук и смеси; 3) составлять иностранные известия; 4) читать вторые корректуры всего журнала; 5) принимать участие в заготовлении материалов и редакции журнала; 6) писать заметки о журналах. За это ему положено было жалованье по 250 руб. в месяц.

Первым результатом перехода Чернышевского в «Современник» был уход оттуда критика Дружинина, который сейчас же устроился в «Отечественных Записках»¹. По словам Е. Колбасина Дружинин был англоман, но вместе с тем ярый крепостник и защитник мракобесия (цит. ст., стр. 238). Суть в том, что Дружинин был представителем старого барского «либерализма» и его эстетических воззрений и, помимо личных обид и соперничества, органически не мог переварить нового духа, внесенного в литературу разночинцами, из них же первый был Чернышевский. Уход Дружинина был первой зарницей, предвещавшей грядущий разрыв между умеренными крайними «прогрессистами». Дружинин одно время был даже кристаллизационным центром, вокруг которого пытались объединиться идеологи помещичьего либерализма в борьбе с радикальными «бурсаками».

Одной из величайших заслуг Некрасова перед историей является тот факт, что он сразу оценил значение Чернышевского, еще молодого, начинающего литератора, не успевшего ничем серьезным проявить себя, и предоставил ему полный простор для развития его таланта и для выражения своих взглядов (позже он применил ту же тактику к Добролюбову). В этом отношении Некрасов проявил необыкновенную проницательность, делающую честь его уму. Как правильно замечает Е. Колбасин, сближение Некрасова с Чернышевским и Добролюбовым «произошло не из расчета ловкого журналиста, а в силу глубокого убеждения». Некрасов, один из немногих друзей В. Белинского, сохранивших до конца заветы «неистового Виссариона», демократ по всему своему мироощущению, несмотря на все уклоны его личной жизни, почувствовал в обоих молодых литераторах блестящих представителей и выразителей последовательного демократизма и прилепился к ним душой².

«В особенности он, — говорит Колбасин, — полюбил Чернышевского. Помню я зимние петербургские вечера, когда утомленные днев-

¹ «Он вероятно, начнет страшно изобличать мою неблагонамеренность», — писал Чернышевский Некрасову 24 сентября 1856 года. И не ошибся.

² «В вопросах политических и социальных, — говорит В. Евгеньев-Максимов («Некрасов. К столетию рождения», Гиз, Петр. 1924, стр. 55), — они были единомышленниками в полном смысле слова».

ным трудом сотрудники сходились в комфортабельном кабинете Некрасова для отдыха и обмена мыслей. Некрасов всегда старался расшевелить Чернышевского и вызвать его на беседу. Действительно Чернышевский постепенно оживлялся, и вскоре в комнате раздавался только его несколько пискливый голос.

«По своей крайней застенчивости Чернышевский не мог говорить в большом обществе, но в кругу близких лиц, позабыв свою робость, он говорил плавно и даже увлекательно. Некрасов... очень любил его рассказы, и не без причины: в своих речах молодой экономист обнаруживал изумительные сведения и обогащал слушателей знаниями по всевозможным отраслям наук. Прислонясь к камину и играя часовой цепочкой, Николай Гаврилович водил слушателей по самым разнообразным областям знания: то он подвергал критике различные экономические системы, то строил синтез общественного прогресса, то излагал теорию философии естественной истории, то чаще всего он переносился в прошедшие века и рисовал картины минувшей жизни. Он владел самыми обширными сведениями по истории, — это был его любимый предмет, его специальность. Он рисовал сцены из истории французской революции или из эпохи возрождения, изображал характер древних Афин или двора византийских императоров... Помню, как он увлек нас поразительной картиной нравов общества перед падением античной цивилизации» (цит. ст., стр. 240).

Некрасов, который по всему своему характеру не мог не тяготиться окружавшей его атмосферой слюнявого либерализма à la Боткин и Тургенев, признал в новых представителях радикального течения родственный себе элемент и почувствовал в них свежее дыхание наступающей общественной весны. «Имена Чернышевского и Добролюбова, переплелись с именем Некрасова, с которым они вели общее идейное дело — редактирование самого влиятельного и наиболее демократического журнала своего времени. Чернышевский и Добролюбов... дали Некрасову возможность узнать и оценить свойства интеллигента-демократа, вышедшего из среды разночинцев, закаленного в жестокой борьбе за существование, а потому абсолютно свободного от эстетического романтизма на эгоистической подкладке, свойственного большинству интеллигентствующих баричей»¹.

Некрасов настолько оценил Чернышевского, что в очень скором времени фактически стушевался перед ним и отдал в его руки действительное ведение журнала. «Некрасов, — пишет Н. Пиксанов (в предисловии к «Переписке Чернышевского», стр. 14), — мудро подчинился

¹ В. Е в г е н ь е в — «Николай Алексеевич Некрасов». М., 1914, стр. 194.

силе вещей, и «Современником», как и русским радикальным обществом, стал править не он, а Чернышевский, сначала один, потом совместно с Добролюбовым»¹. Когда Некрасов в 1856 году уехал за границу, фактическим редактором журнала остался Чернышевский, несмотря на наличие юридического редактора И. И. Панаева, который в первое время, повидимому, тщетно пытался сопротивляться первенствующему положению Чернышевского в редакционной коллегии. Отвечая И. Тургеневу, который с первых же выступлений Чернышевского почувствовал к нему глубокую антипатию, Некрасов 7 декабря 1856 года писал ему из Рима: «Чернышевский — просто молодец. Помяни мое слово, что это — будущий русский журналист почище меня грешного и т. п.». Правда, под влиянием беспрестанных нападков Тургенева на Чернышевского Некрасов иногда кривил душой, а, может быть, временами чувствовал себя самого подавленным прямолинейной принципиальностью Чернышевского. По крайней мере, 27 июля 1857 года он в письме к тому же Тургеневу давал уже отзыв о Чернышевском, проникнутый двойственным характером: «Чернышевский — малый дельный и полезный, но крайне односторонний, что-то вроде если не ненависти, то презрения питает он к легкой литературе и успел в течение года наложить на журнал печать однообразия и односторонности»². Но вообще он был о Чернышевском самого высокого мнения, считался с его суждениями, дорожил его похвалой и чистосердечно приписывал успех журнала именно статьям Чернышевского³. А когда Тургенев через несколько лет решительно нажал на него, добиваясь удаления радикалов из журнала, Некрасов 15 января 1861 года писал ему: «Поставь себя на мое место, ты увидишь, что с такими людьми, как Чернышевский и Добролюбов (людьми честными и самостоятельными, что бы ты ни думал, и как бы сами они иногда ни промахивались), сам бы ты так же действовал, т. е. давал бы им свободу высказываться на их собственный страх». Наложить свою редакторскую руку на людей, которым он сочувствовал, которых глубоко уважал, взгляды которых большей частью

¹ Имевший возможность наблюдать ход дел в «Современнике» В. А. Панаев говорит, что Некрасов, «смотрел на Чернышевского и Добролюбова как на самые необходимые элементы для журнала, тем более, что для оспаривания Чернышевского в сферах его писаний Некрасов был положительно некомпетентен и подчинялся вполне Чернышевскому» («Воспоминания Валериана Александровича Панаева». «Русская Старина», 1901, № 9, стр. 506).

² А. Пыпин — «Н. А. Некрасов», стр. 150, 231.

³ В 1858 году Некрасов писал Тургеневу: «Журнал наш идет относительно подписки отлично — во весь год подписка продолжалась, и мы теперь имеем до 4700 подписчиков. Думаю, что много в этом «Современник» обязан Чернышевскому» (Пыпин, цит. соч., стр. 196).

разделял, Некрасов категорически отказался, даже рискуя при этом потерять ряд ценных сотрудников (вроде того же Тургенева) и порвать со старыми друзьями по кружку Белинского.

И впоследствии, когда неудержимо назревавший в редакции «Современника» конфликт между консервативными либералами и радикалами наконец разразился, Некрасов решительно принял сторону молодых демократов против своих старых друзей, несмотря на то, что он при этом много терял и как человек, и как редактор журнала. Достаточно сказать, что он лишился при этом такого сотрудника, как И. Тургенев, который был в то время самым талантливым и популярным романистом. Любовь и уважение к Чернышевскому Некрасов сохранил до конца, памяти его посвятил несколько прекрасных стихотворений и, будучи уже на смертном одре, с восторгом выслушал последний привет от томившегося в далекой ссылке Чернышевского.

Чернышевский естественно платил Некрасову тою же монетой. Он не только преклонялся перед ним как перед величайшим и полезнейшим русским поэтом, но и весьма высоко ставил его умственные способности. Достаточно сказать, что Чернышевский всерьез заявлял, что от природы ум Некрасова сильнее его ума. Социальное же содержание поэзии Некрасова прельщало Чернышевского настолько, что он ставил Некрасова как поэта гораздо выше Пушкина, мнение, которое, впрочем, долго еще разделялось и последующими поколениями революционеров¹. Свое мнение о поэзии Некрасова Чернышевский высказал в письме к нему от 24 сентября 1856 года, объясняя, что в частном письме он может поговорить откровеннее, чем в печати.

По поводу слов Некрасова: «Нет в тебе поэзии свободной, мой тяжелый, неуклюжий стих», Чернышевский пишет: «Вам известно, что я с этим несогласен. Свобода поэзии не в том, чтобы писать именно пустяки вроде Чернокнижникова² или Фета, который однакоже хороший поэт), а в том, чтобы не стеснять своего дарования произвольными претензиями и писать о том, к чему лежит душа... Теперь т я ж е л ы й и н е у к л ю ж и й стих. Тяжестью часто кажется энергия... У вас негладких стихов, быть может, больше, чем у Лермонтова, но реши-

¹ Известен инцидент на похоронах Некрасова. Когда Ф. Достоевский в своей надгробной речи заявил, что Некрасов как поэт стоит не ниже Пушкина, голос из толпы воскликнул: «Он выше его, выше!» Оказалось что кричал Г. Плеханов, тогда еще юный земледелец-агитатор.

² Чернокнижников — псевдоним: Дружинина. См. С. А. Венгеров — «Собрание сочинений», т. V: Дружинин, Гончаров, Писемский. Изд. «Прометей», СПб., 1911, стр. 34 и сл.

тельно меньше, нежели у Пушкина... Теперь о степени таланта. По моему мнению вы сделаете гораздо больше, нежели сделали до сих пор. Ваши силы еще только развиваются. Вы, как поэт, — человек еще молодой... Вы на публику имеете влияние не менее сильное, нежели кто-нибудь после Гоголя... Все-таки первое место в нынешней литературе публика присваивает вам, как ни обидно это мне за Тургенева. Вы чувствуете, что публика права в этом случае: у вас действительно больше таланта, нежели у Тургенева или Толстого... Вы одарены талантом первоклассным вроде Пушкина, Лермонтова и Кольцова... Правда, и людям самостоятельным критика может быть полезна, когда в состоянии обнаружить недостатки в их убеждениях (только: в убеждениях, в понятиях о жизни) и заставить их вернее смотреть на жизнь; но в этом отношении вам опять-таки критика совершенно не нужна: я не знаю, какие ошибочные убеждения нужно было бы вам исправлять в себе».

В следующем письме от 5 ноября 1856 года Чернышевский, сообщая Некрасову о всеобщем восторге, вызванном только что появившимся сборником его стихотворений, еще усиливает ту оценку, какую дал его произведениям в своем первом письме. «Такого поэта, как вы, — восклицает он, — у нас еще не было! Пушкин, Лермонтов, Кольцов, как лирики, не могут идти в сравнение с вами. Не думайте, что я увлекаюсь в этом суждении вашею тенденцией, — тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других — притом же я во все не исключительный поклонник тенденции, — это так кажется только потому, что я — человек крайних мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа мыслей (курсив мой). Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни... что поэзия сердца имеет такие [же] права, как и поэзия мысли. Лично для меня первая привлекательнее последней, и потому, например, лично на меня ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденцией.

Когда из мрака заблужденья...

Давно, отвергнутый тобою...

Я посетил твое кладбище...

Ах ты, страсть роковая, бесплодная...

и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция. Я пустился в откровенность, не только затем, чтобы сказать вам, что я смотрю (лично я) на поэзию во все не исключительно с политической точки зрения

(курсив мой) ¹... Я люблю Пушкина, еще больше Кольцова... но... я должен сознаться, что ваши произведения, изданные теперь, имеют более положительного достоинства, нежели произведения Пушкина, Лермонтова и Кольцова» ².

И дальше Чернышевский, по поводу слов Некрасова: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть», пытается пробудить в нем старый дух уверенной бодрости и гражданского протеста. «Лично мне эти стихи очень симпатичны, — говорит Чернышевский, — я знаю, что необходимы в жизни минуты уныния, но не все имеют основание оставаться в унынии или в отчаянии, если хотите более громкого слова, как в законном расположении их духа. И вы не имеете этого права... Или в самом деле ваше сердце устало ненавидеть?.. Я знаю, что в стихах, которые выписаны, вы говорите не о любви к женщине, а о любви к людям, но тут еще меньше права имеете вы унывать за себя... Не вернее ли будет сказать вам о себе: «Я честно ненавижу, я искренно люблю»?.. Вы теперь — лучшая, можно сказать, единственная прекрасная надежда нашей литературы. — Пожалуйста, не забывайте, что общество имеет право требовать от вас: «будь здоров, ты нужен мне!» Помните, что на вас надеется каждый порядочный человек у нас в России» ³. И кончает Чернышевский свою апологию любимого поэта

¹ Как мы выше указывали, Чернышевский писал это письмо под впечатлением семейных неприятностей (это именно то письмо, где говорится о запое, самоубийстве и т. п.), и потому возможно, разумеется, что некоторые мысли выражены здесь более резко, чем это соответствовало обычным воззрениям автора при нормальном состоянии духа. Но по существу это именно его мысли и взгляды.

² Мы видим, что, вопреки утверждениям противника, Чернышевский подходил к поэтическим произведениям не с одним политическим критерием, но и с чисто художественным. Некрасов не остался нечувствительным к горячим похвалам такого ценителя, как Чернышевский. С трудом скрывая радость от его похвал, Некрасов писал И. С. Тургеневу 18 декабря 1856 года (т. е. по получении цитированного письма Чернышевского): «О книге моей пишут чудеса, — голова могла бы закружиться. Когда я писал тебе, я имел известие только от Вульфа и Чернышевского; чего только не было там, — я даже рассердился». И даже сам Тургенев, уже относившийся тогда враждебно и к поэзии Некрасова, и к направлению, приданному «Современнику» Чернышевским, скрепя сердце, писал Е. Колбасину 14 декабря 1856 г.: «А Некрасова стихотворения, собранные в один фокус, жгутся» («Первое собрание писем И. С. Тургенева». 1840—1883. Спб., 1885, стр. 36).

³ Дальше Чернышевский выражает желание подробно поговорить о стихотворениях Некрасова «не с политической, а с поэтической точки зрения» и сожалеет, что негде напечатать такую статью. При этом он сообщает Некрасову, что поместил в «Современнике» (1856 г., № 11) короткую заметку, в которой указал, что журнал не может, конечно, давать оценку про-

следующими словами: «Вас ожидает великая слава, какой не имел еще никто из русских поэтов, ни сам Пушкин... Вы отвечаете за ваше здоровье перед русским обществом. Теперь вы дали нам книгу, какой не бывало еще в русской литературе, но вы обязаны дать нам еще гораздо больше. Будьте же здоровы». Эти слова Чернышевского оказались пророческими: действительно Некрасов дал после того ряд своих наиболее блестящих произведений. Слава его уже велика, но она будет еще большей, он станет истинно народным поэтом, когда широкие массы ознакомятся с его творчеством, в частности с его героической эпопеей «Кому на Руси жить хорошо», в которой великий поэт с такой гениальной прозорливостью разгадал неисчерпаемые силы, скрытые в недрах воспетого им многострадального русского крестьянства...

Имели ли Чернышевский и Добролюбов влияние на Некрасова и на его творчество? В литературе существуют по этому вопросу два противоположные мнения. Одно из них выражено В. Евгеньевым, который отрицает такое влияние, но, впрочем, опирается в данном случае на, казалось бы, столь достоверного свидетеля, как... сам Чернышевский. Другое выражается Д. Н. Овсянико-Куликовским и разделяется пишущими эти строки.

В. Евгеньев в своей книге о Некрасове¹ оспаривает влияние Чернышевского и Добролюбова на поэта, указывая на то, что к середине 50-х годов, когда Чернышевский вступил в круг близких сотрудников «Современника» и стал его руководителем, Некрасов был уже вполне сложившимся человеком. И дальше идет ссылка на «Заметки о Некрасове», напечатанные в десятом томе сочинений Чернышевского и представляющие сокращенное содержание записки, составленной в 1883—1884 годах Чернышевским для А. Пыпина, собиравшегося писать свою книгу о Некрасове (в последней эти воспоминания Чернышевского также приводятся).

Сам Чернышевский в «Заметках о Некрасове» пытается оспорить мнение о своем влиянии на его творчество. Он возражает против утверждения А. Скабичевского в предисловии к посмертному изданию сти-

изведениям одного из своих редакторов, а может лишь дать их перечень; а так как некоторые стихотворения появляются в сборнике впервые, то в журнале из них приводятся «Поэт и гражданин», «Забытая деревня» и «Отрывок из путешествия гр. Гаранского». Результаты этой заметки оказались плачевными. Перепечатанные стихотворения обратили внимание цензуры на общий неблагонадежный характер сборника, и после того в течение четырех лет переиздание его запрещалось. Таким образом Чернышевский нечаянно оказал Некрасову медвежью услугу, но тот, разумеется, и виду не подаст, что он этим огорчен или недоволен.

¹ «Николай Алексеевич Некрасов». М., 1914, стр. 166.

хотворений Некрасова 1879 года, что с 1856 года «умственный и нравственный горизонт поэта значительно раздвинулся под влиянием того сильного движения, какое началось в обществе, и тех новых людей, которые окружили его». По словам Чернышевского, Некрасов и до оживления, вызванного разгромом самодержавия во время Крымской войны, был вполне сложившимся прогрессистом и демократом; теперь, благодаря ослаблению цензурного зажима, он просто получил больше возможности выражать свои мысли. Что же касается в частности вопроса о своем и Добролюбова влиянии на творчество Некрасова, то по этому поводу Чернышевский говорит ¹:

«Мнение, несколько раз встречавшееся мне в печати, будто бы я имел влияние на образ мыслей Некрасова, совершенно ошибочно. Правда, у меня было по некоторым отделам знания больше сведений, нежели у него, и по многим вопросам у меня были мысли, более определенные, нежели у него. Но... для него как для поэта они были ненужны». Однако и тех мыслей, которые могли бы оказать влияние на творчество Некрасова, последний у Чернышевского дескать не заимствовал. В виде иллюстрации Чернышевский приводит два примера — по вопросу о характере российского самодержавия и о крестьянской реформе.

«Я, — говорит Чернышевский, — имел о деятельности Петра Великого мнение, существенно различное от мнения того круга замечательных людей, в котором сформировался образ мыслей Некрасова (Белинский, Герцен, их друзья). Я и теперь полагаю, что Мегмет-Али не был полезен для Египта. Не считаю полезной для Турции деятельность Махмуда II. В те времена я не судил о них мягче, нежели теперь. Некрасов сохранил о Петре то мнение, какое воспринял в кругу Белинского и Герцена. Имей я хоть маленькое влияние на его образ мыслей, он не мог бы писать о Петре то, что он писал; имей я сколько-нибудь большее влияние, он писал бы о Петре тоном прямо противоположным тому, каким писал» ².

¹ Цитируем не по книге А. Пыпина и не по сочинениям Чернышевского, где это место изложено зачем-то в нарочито сокращенном и измененном виде, а по статье Е. Ляцкого «Н. Г. Чернышевский в редакции Современника». «Совр. Мир», 1911, № 10, стр. 165 и сл., где оно приведено полнее и точнее.

² Ясно, что Чернышевский говорит о том периоде, когда он уже окончательно освободился от каких бы то ни было надежд на монархию и пришел к тому выводу, что из самодержавного Назарета не может выйти ничего путного. Но к какому же времени относится его отрицательное мнение о Петре I? Ведь еще в четвертой книжке «Современника» за 1856 год была напечатана глава IV его «Очерков гоголевского периода», в которой Петр

Второе разногласие касалось условий крестьянской реформы.

«Я, — продолжает Чернышевский, — имел о ходе дела по уничтожению крепостного права мнение, существенно различное от мнения большинства людей, искренно желавших освобождения крестьян. Я усердно писал о крестьянском вопросе в те интервалы этого дела, в которые цензура допускала высказывание того мнения, какое имел я. Само собою понятно, что в разговорах я имел возможность высказывать мое мнение полнее, нежели в печати¹... Некрасову должно было быть задолго до печатного об'явления о решении крестьянского дела известно, как я думаю об этом подготавливаемом решении, основные черты которого с яркою очевидностью определились с самого же начала дела... И вот факт. В тот день, когда было обнародовано решение дела, я захожу утром в спальную Некрасова... Он лежит на подушке головой, забыв о чае, который стоит на столике подле него... В правой руке — тот печатный лист, на котором обнародовано решение крестьянского дела. На лице — выражение печали, глаза потуплены в грудь... При моем входе он встrepенулcя, поднялся на постели, стискивая лист, бывший у него в руке, и с волнением проговорил: «Так вот что такое эта «воля»! Вот что такое она!» Он продолжал говорить в таком тоне минуты две. Когда он остановился перевести дух, я сказал: «А вы чего же ожидали? Давно было ясно, что будет именно это». —

восхвалялся как образец истинного патриотизма, достойный подражания (выше мы привели соответствующую выдержку). Понимать ли дело так, что Чернышевский уже в 1856 году смотрел собственно на Петра I отрицательно, а взял его имя по цензурным соображениям, имея в виду не императора, а революционера, о котором тогда нельзя было говорить? Или же в своих «Заметках о Некрасове» он имеет в виду не 1856 год, а более позднее время? Судя по продолжению, это именно так.

Цитируя письмо Чернышевского к А. Пыпину от 7 декабря 1886 года, в котором Н. Г. возражает против уступок, сделанных Н. И. Костомаровым «хвалителям Петра», и указывает, что вводимое Петром просвещение было просто технической муштровкой специалистов, военных и иных, и что страну, бедную и до него, Петр довел до разорения, В. Ильинский замечает, что если в «Очерках гоголевского периода» Чернышевский характеризовал деятельность Петра с положительной стороны, то в астраханский период он отбросил эту традиционную точку зрения (В. И л ь и н с к и й — «К вопросу о философских и социологических воззрениях Чернышевского». «Вестник Комм. Академии», № 20, стр. 211). Как мы знаем, Чернышевский изменил свой взгляд на реформы Петра гораздо раньше.

¹ Эти слова наводят на мысль, что Чернышевский с самого начала не питал никакой веры в реформаторскую искренность царизма, и что его славословия Александру II в первой его статье о крестьянском вопросе вовсе не выражали его тогдашнего настроения. На этот пункт следует обратить внимание.

«Нет, этого я не ожидал», — отвечал он и стал говорить, что, разумеется, ничего особенного он не ждал, но такое решение дела далеко превзошло его предположения. Итак, ни мои статьи, ни мои разговоры не только не имели влияния на его мнение о ходе крестьянского дела, но и не помнились ему... Я не имел ровно никакого влияния на его образ мыслей». Тем более, мол, его не имел Добролюбов, самый молодой из новых друзей Некрасова.

«Любовь к Добролюбову, — говорит Чернышевский, — могла освежать сердце Некрасова — и, я полагаю, освежала. Но это — совсем иное дело, — не расширение «умственного и нравственного горизонта», а чувство отрады. Чувство отрады благотворно. Оно укрепляет душевные силы. За десять лет до знакомства с Добролюбовым подобное благотворное влияние имело на Некрасова знакомство с тою женщиною, которая была предметом многих его лирических пьес» (т. е. Головачовой-Панаевой)¹.

И однако эти соображения Чернышевского не могут быть приняты нами буквально и безоговорочно. Что по присущей ему скромности (по отношению к друзьям и единомышленникам) Чернышевский пытался отрицать всякое влияние свое на Некрасова, это нас удивить не может. Ведь отрицал же он — и в печати, и в беседах — всякое влияние свое даже на Добролюбова, который, впрочем, оставил нам показания совершенно противоположного характера. Было бы просто невероятно, чтобы Чернышевский, властитель дум своего (и не только своего) поколения, признанный идейный глава и руководитель радикального движения своей эпохи, основоположник материализма и коммунизма на русской почве, самый образованный журналист своего времени, в сильнейшей степени влиявший не только на свое непосредственное окружение, но и на всю мыслящую Россию, чтобы он не оказывал влияния на одного только человека, и как раз на того, который, с одной стороны, стоял к нему чрезвычайно близко по совместной работе (редакторской и иной, например, по совместному составлению «Заметок о журналах») и постоянно с ним общался, а с другой — отличался как раз недостатком знаний по основным вопросам, разрабатывавшимся Чернышевским и бывшим поэтом для поэта настоящей Америкой. Мы уже не говорим о колоссальном моральном влиянии, которое такие люди, как Чернышевский и Добролюбов, столь резко выделявшиеся среди круга некрасовских знакомых, неизбежно должны были оказывать на Некрасова, лучше всякого другого сознававшего свои недо-

¹ «Соч.», т. X, ч. II, стр. 234. — Ср. Ветринский (Чешихин) — «Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников». М., 1911, стр. 109 и сл.

статки и пороки, завещанные ему старым миром и его личным прошлым, и искавшего в общении с этими двумя выдающимися людьми духовного очищения и освежения, почерпавшего в их беседе новые стимулы к работе и, конечно, новые мысли, впоследствии творчески им преобразуемые и облекаемые в художественную форму. И потому мы вправе отвести в данном случае показание Чернышевского, продиктованное слишком понятным чувством и отчасти им же ослабляемое, когда он переходит к вопросу о влиянии Добролюбова на Некрасова, которое он отчасти признает, говоря о благотворном освежающем действии общения поэта с «гениальным юношею».

Овсяннико-Куликовский, отмечая политическое единомыслие Некрасова, Чернышевского и Добролюбова, указывает, что одним этим согласием во взглядах дело не ограничивалось: «были еще более тесные, более интимные духовные связи между Некрасовым и людьми того общественно-психологического типа, лучшими представителями которого являлись Чернышевский и Добролюбов». Ссылаясь на признания Некрасова относительно нездоровых черт своего характера, присущей ему хандры, уныния и безверия, забвения общественных интересов, Овсяннико-Куликовский продолжает: «Имея в своем распоряжении эти признания поэта, мы легко поймем, какое значение имели для него натуры вроде Чернышевского и Добролюбова. Их расположение, их привязанность, их сотрудничество нужны были Некрасову не только как издателю журнала, но еще более как человеку и вместе с тем как поэту. В общении с ними он черпал духовное освежение, он преодолевал свою хандру, пессимизм и мизантропию и обретал ту «веру», о которой он говорит в письме к Тургеневу»¹. И дальше он замечает, что в области «того народничества, певцом которого был Некрасов... моральное и умственное влияние Чернышевского и Добролюбова (и вообще людей «добролюбовского» типа) являлось для поэта настоятельной душевной потребностью».

Овсяннико-Куликовский, несмотря на наличие противоположного свидетельства Чернышевского, выше нами приведенного, признает влияние обоих названных вождей революционной демократии на нашего народного поэта. «Сотрудничество и общение с Чернышевским и Добролюбовым (он имеет в виду совместное составление с Чернышевским «Заметок о журналах» и сотрудничество в «Свистке» Добролюбова. — Ю. С.) не могло не оказать известного влияния на образ мыслей Некрасова, не могло так или иначе не отразиться на характере и направ-

¹ В письме к Тургеневу от 3 октября 1856 года сказано: «Когда нет этой веры, тогда и плюешь на все, начиная с самого себя».

лении его поэзии». Вышецитированные заявления Чернышевского Овсянико-Куликовский признает реакцией на преувеличение размеров этого влияния, которое все же, несомненно, имело место¹. Политические и социальные идеи, развиваемые Чернышевским и Добролюбовым, усвоены были Некрасовым. «С конца 50-х годов, — констатирует Овсянико-Куликовский, — поэзия Некрасова проникается этими идеями и дает им своеобразное выражение в лирике и в сатире. Одним из самых ярких произведений в этом роде была знаменитая «Песня Еремушке», которая привела в восторг Добролюбова²... Без сомнения, основы этих идей и идеалов Некрасов вынес из 40-х годов: его учителем был Белинский, память о котором он свято чтит. Но подобно тому как направление, завещанное великим критиком, впервые получило точное и ясное выражение в трудах Чернышевского и Добролюбова, так и мирозерцание и настроение Некрасова — завет того же Белинского — определились и получили более ясное и поэтическое выражение благодаря нравственному и умственному влиянию Чернышевского и Добролюбова» (это влияние Овсянико-Куликовский правильно усматривает между прочим в ироническом изображении либералов-идеалистов 40-х годов)³.

И по нашему мнению Е. Ляцкий совершенно прав, когда говорит, что «в Н. Г. он (Некрасов) не только находил замечательного истолкователя стремлений эпохи, но и друга, который являлся для него и вдохновителем, и стимулом к творческой работе» (цит. ст., стр. 171)⁴. На

¹ Мы, напротив, думаем, что это влияние до сих пор не оценено как следует и нуждается в специальном исследовании, которое открыло бы в произведениях Некрасова, начиная с середины 50-х годов, много следов прямого и косвенного воздействия на поэта воззрений, выражавшихся в статьях обоих революционных публицистов и еще более в их частных беседах с близкими друзьями, к числу каковых принадлежал и Некрасов. С этой точки зрения многие произведения Некрасова являлись в известном смысле поэтическим комментарием к философским и социальным идеям Чернышевского.

² Разумеется, не только «Песня Еремушке» навеяна статьями Чернышевского и Добролюбова; «Размышления у парадного под'езда» несомненно внушены статьями Чернышевского о крестьянском вопросе; «Поэт и гражданин» написаны под влиянием бесед Некрасова с Чернышевским и т. д.

³ Д. Н. Овсянико-Куликовский — «История русской интеллигенции», ч. I. «Собрание сочинений», изд. «Общ. Пользы» и «Прометей», т. VII, СПб. 1910, стр. 282—322. Ср. нашу статью «Н. А. Некрасов и Н. Г. Чернышевский». «На лит. посту», 1928, №№ 1, 2 и 3.

⁴ Нужно отметить, что В. Евгеньев-Максимов в предисловии к «Стихотворениям» Некрасова, изданным под редакцией К. Чуковского в 1920 году в Петербурге Гизом, становится в сущности на ту же точку зрения. Приводя вышецитированные слова Чернышевского, он замечает (стр. XXXVII): «Это утверждение нужно принимать с большою осторожностью. По крайней мере, трудно сомневаться в том, что в плоскости чисто психологической и Черны-

присущие Некрасову личные недостатки, на его образ жизни Чернышевский смотрел снисходительно, с нежным подходом к чужой душе, и прощал их поэту за его революционные произведения, за глубокое сочувствие народным страданиям, за понимание психологии масс, за пробуждение в душе читателей высоких чувств любви к людям и готовности к самопожертвованию во имя народного освобождения.

Горячую любовь к Некрасову Чернышевский сохранил до конца. Уже находясь в далеком Вилуйске и узнав о тяжелой болезни Некрасова, Чернышевский, который сам находился в положении, способном вызвать слезы, писал Пыпину следующие трогательные строки: «В «Отечественных Записках» я читал стихи Некрасова, говорившие, что он, хилый и страдающий тяжкою болезнью, ждет смерти. Я видел, что это не прикрасы для поэтичности мыслей, а фактическая истина... Глубоко скорблю, прочитав, что смерть была уж неотвратима и близка, когда ты писал твое второе письмо. Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И как поэт он, конечно, выше всех русских поэтов»¹.

Чернышевский, и Добролюбов, и другие писатели-разночинцы... должны были известным образом влиять на Некрасова... парализуя, хотя бы временно, те стороны его натуры, которыми он принадлежал к поколению 40-х годов, и, наоборот, укрепляя те стороны, которыми он был обязан пройденной им трудовой жизненной школе, знакомству с разночинцем Белинским и т. д. Если вчитаться в содержание известного стихотворения Некрасова «Поэт и гражданин», несомненно отразившего общий характер бесед, происходивших между ним и Чернышевским, Добролюбовым и людьми их общественно-психологической складки, то нельзя не прийти к заключению, что призыв, исходивших от них и обращенный к поэту, имел в виду не только заставить зазвучать новые струны его лиры, но и пробудить его от овладевших им хандры и спячки. И призыв этот не остался гласом вопиющего в пустыне. Во второй половине 50-х и в 60-е годы поэтическое творчество Некрасова достигает еще невиданной интенсивности. Им создаются в это время лучшие его стихотворения: «Саша», «Школьники», «Забытая деревня», «Поэт и гражданин», «Несчастные», «Тишина», «Размышления у парадного подъезда», «Песня Еремушке», «На Волге», «Рыцарь на час», «Крестьянские дети», «Коробейники», «Зеленый шум», «В полном разгаре страда деревенская», «Орина, мать солдатская», «Мороз красный нос», «Железная дорога» и многие другие.

¹ Письмо от 14 августа 1877 года. См «Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 200.

Письмо это застало Некрасова еще в живых и скрасило последние дни страдальца. 5 ноября 1877 года А. Пыпин писал Чернышевскому: «Некрасов еще жив... Он едва живет. Сегодня я опять был у него. Видеть его теперь можно редко... Но он просил, чтобы я зашел к нему. Говорить надо было, наклонясь к нему: он говорит едва слышным шопотом. Я передал ему твои слова. Он был тронут: «Скажите Н. Г., что я очень благодарю его; я теперь утешен: его слова дороже мне, чем чьи либо слова»... Теперь у него есть утешение: твои слова»¹.

В и без того огромный актив Некрасова надлежит вписать еще ту важную статью, что он, открыв Чернышевскому страницы «Современника», доставил великому мыслителю трибуну для пропаганды его революционно-социалистических идей, положивших резкую грань между прошлым и будущим русской общественной мысли. Этой заслуги Некрасова мы никогда не забудем.

4. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В «СОВРЕМЕННОМ»

Со вступлением Чернышевского в сотрудники «Современника» начинается расцвет этого журнала, быстро превратившегося в выразителя взглядов и стремлений радикальных слоев общества². Деятельность Чернышевского в «Современнике» является в сущности главной стороной его жизни. Работая в журнале, он развил лихорадочную энергию. С какой быстротой работал Чернышевский, видно, например, из того, что статью «Критика философских предубеждений против общинного землевладения» (размером около 3-х печатных листов) он написал в 3 дня!³.

¹ Ibid., стр. 210.

² «„Современник“, предводительствуемый Чернышевским и Добролюбовым, являлся в эпоху 60-х годов тою влиятельною и всерешающею политическою трибуною, откуда безапелляционно давались общественные директивы, откуда наносились безжалостные удары по представителям казенного прогресса, где клеймился регресс, и где намечались социалистические пути развития общественной жизни» (Б. Г л и н с к и й — «Революционный период русской истории». Спб., 1913, т. I, стр. 77).

³ «В сущности вся литературная и общественная деятельность Чернышевского может быть охарактеризована как попытка использовать до дна возможности, открываемые коротким периодом общественного под'ема. Нельзя не изумляться той сверхчеловеческой энергии, которую он развил в немногие годы, уделенные ему судьбой, чтобы дать родной стране все, что было в его силах» (Н. А н н е н с к и й — «Н. Г. Чернышевский и крестьянская реформа», в издании Сытина «Великая реформа». М., 1911, т. IV, стр. 222).

В 1853 году, собираясь переехать из Саратова в Петербург, Чернышевский мечтал распределить свой рабочий день следующим образом: 3 часа в день для ученой работы, часа 3, а может быть и больше, на писание для получения денег; по вечерам чтение для самообразования и беседа с женой для ее умственного развития. Характерно, что уже тогда он мечтал о том, что будет преподавать жене энциклопедию цивилизации. Склад его ума и разносторонность познаний заставляли его постоянно обращаться к мысли о составлении энциклопедии. Уже сидя в крепости, он писал жене, излагая ей план будущей жизни: «До сих пор я работал только для того, чтобы жить. Теперь средства к жизни будут доставаться мне легче, потому что 8-летняя деятельность доставила мне хорошее имя. Итак, у меня будет оставаться время для трудов, о которых я давно мечтал. Теперь планы этих трудов обдуманы окончательно. Я начну многотомную «Историю материальной и умственной жизни человечества», — историю, какой до сих пор не было, потому что работы Гизо, Бокля (и Вико даже) деланы по слишком узкому плану и плохи в исполнении. За этим пойдет «Критический словарь идей и фактов», основанный на этой истории. Тут будут перебраны и разобраны все мысли обо всех важных вещах и при каждом случае будет указываться истинная точка зрения. Это будет тоже многотомная работа. Наконец, на основании этих двух работ я составлю «Энциклопедию знания и жизни» — это будет уже экстракт небольшого объема, 2—3 тома, написанный так, чтобы был понятен не одним ученым, как два предыдущие труда, а всей публике. Потому я ту же книгу переработаю в самом легком популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, сценами, остротами, так чтобы ее читали все, кто не читает ничего кроме романов. Конечно, все эти книги, назначенные не для одних русских, будут выходить не на русском языке, а на французском, как общем языке образованного мира. Чепуха в голове у людей, потому они и бедны и жалки, злы и несчастны; надобно раз'яснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времени Аристотеля не было сделано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель». К сожалению, мечты Чернышевского так и остались мечтами. Ему не только не удалось написать «Энциклопедию знания и жизни», но сплошь и рядом не удавалось даже закончить начатых работ, например статей об июльской монархии. Сначала потребности журнальной работы, а затем арест и ссылка помешали ему хотя бы частично выполнить свои великие замыслы. Впрочем, даже его разрозненные журнальные статьи сыграли для целого поколения роль такой «энциклопедии знания и жизни».

Да и писались они по такому плану, чтобы дать читателю основные сведения по главным отраслям знания — по философии, истории, социологии, политической экономии и т. д. Не имея подле себя человека, хотя бы в отдаленной степени обладающего такими же энциклопедическими знаниями и такой цельностью воззрений (кроме Добролюбова, с которым он впоследствии и разделил работу), Чернышевский принужден был, надрывая свои силы, поднимать новь во всех концах необозримого поля, спешно бросая полными пригоршнями во все стороны семена, которые позже взошли богатыми всходами и дали обильный революционный урожай¹.

Почти в каждой книжке «Современника» было по несколько статей Чернышевского. Обыкновенно он давал большую статью по какому-нибудь общему теоретическому вопросу; обзор русской, а иногда иностранной литературы; политическое обозрение; иногда журнальное обозрение²; несколько рецензий, а иногда, как он говаривал, для отдыха и развлечения предпринимал полемические схватки с противниками. Чернышевский сам понимал, что пишет много; но иначе поступать он не мог. И не только потому, что ему приходилось много добывать денег, чтобы окружить жену комфортом, доставить ей абонемент в итальянскую оперу, экипаж и собственных лошадей³. Наряду с этим объяснением своего многописания он дает в «Прологе» другое, более серьезное. «Если я не напишу об этом, — говорит он, — то будет

¹ «Жизнь Чернышевского, — говорит А. Лебедев (цит. ст., «Русск. Старина», 1912, № 5, стр. 303), — в Петербурге была лихорадочная: руки тряслись, мозги усиленно работали. Он никогда не мог спать после обеда, да и ночью иногда спал по два, по три часа. Бывало, и ночью проснется, вскочит и начнет писать. Дома он все сидел в кабинете. Минут на пять зайдет на половину, занимаемую Ольгой Сократовной, поцелует руку».

² Как мы знаем, «Заметки о журналах» составлялись Чернышевским совместно с Некрасовым, причем первый придавал им политический и публицистический дух. По словам А. Пыпина («Некрасов», стр. 232), можно с уверенностью сказать, что «Заметки о журналах» 1856—1857 гг. «на три четверти были написаны Чернышевским, если не на девять десятых».

³ При этом лично он проявлял величайшую скромность в образе жизни и неприхотливость, приводившую окружающих в изумление. Имевшая возможность наблюдать его Головачова-Панаева в своих воспоминаниях говорит по этому поводу: «Я всегда изумлялась скромности Ч[ернышевского] как семьянина и отсутствию в нем всяких требований для себя комфорта. После продолжительной работы он был всегда весел, точно все время наслаждался легким и приятным занятием. Его кабинет был маленький, и он целый день проводил в нем за работой. Я заставляла его иногда за двумя работами. Он спешил выпуском перевода «Истории» Шлоссера и диктовал перевод молодому человеку; пока тот записывал, Ч[ернышевский] в промежуток сам писал статью для «Современника» или же читал какую-нибудь книгу. Кроме

написана чепуха, а «об этом» выходит обо всем, — ну, даже и не успеваю». Чернышевскому нечем было заменить себя. Он сам был не очень высокого мнения о своем литературном таланте. «Я пишу плохо, длинно, часто безжизненно... Мое единственное достоинство, — но важное, важнее всякого мастерства писать — состоит в том, что я правильнее других понимаю вещи»¹. Поэтому, когда он встретил человека, в котором с правильным взглядом на вещи соединялся блестящий литературный талант, он охотно уступил ему место литературного критика. Но других Добролюбовых он не встречал и принужден был на своих плечах выносить бремя проповеди «здравых» политических и экономических идей².

Статьи его, написанные в промежуток времени от 1855 до 1863 года, заполнили впоследствии почти все 11 огромных томов полного собрания его сочинений, причем сюда не вошли еще некоторые его работы компилятивного и переводного характера³. Чернышевский выказал себя литературным критиком, публицистом, историком и экономистом, поражая всех своих современников широтой и разнообразностью эрудиции, оригинальностью мышления и смелостью излагаемых воззрений. В самое короткое время Чернышевский успел сделаться признанным вождем демократических и социалистических элементов. Влияние его росло с каждым годом. Но вместе с тем росла и ненависть врагов.

древних языков Ч. знал еще несколько европейских, и притом знал превосходно.

«Однажды Добролюбов, по поводу моего замечания о необыкновенной умеренности Ч. в обыденной жизни, сказал мне: «Ч. свободен от всяких прихотей к жизни — не так, как мы все, их рабы; но, главное, он и не замечает, как выработал в себе эту свободу» (в устах сурового аскета Добролюбова эта похвала приобретает особенное значение. — Ю. С.). См. Головачова-Панаева — «Русские писатели и артисты». Спб., 1890, стр. 309.

¹ «Пролог». «Соч.», т. X, ч. I, стр. 58, 89, 93.

² «Замечательно, какую громадную умственную работу совершили эти два человека (Чернышевский и Добролюбов), каждый в своей области, и как, пополняя один другого, они составляли одно законченное целое. Все они знали, все понимали, все могли разрешить. Едва ли в какую-либо будущую эпоху умственного пробуждения России будет возможно что-нибудь подобное этому медовому месяцу нашего общественного мышления, этому громадному напору накопившейся силы и той энергии, с какой эта сила стремилась разрушить косность и расчистить ниву для ростков новой жизни» (Шелгунов — «Воспоминания», стр. 170).

³ Собрание сочинений Н. Г. Чернышевского издано его сыном М. Н. Чернышевским в С.-Петербурге в 1906 году.

Либерально-декадентский критик А. Волынский, пытавшийся в конце XIX века возродить былой спор между умеренным и радикальным крылом российской общественности 60-х годов, причем он лично стал на сторону первого и повторял все упреки и обвинения, в свое время выдвигавшиеся староверами против демократических новаторов, сумел все-таки, несмотря на свою органическую ненависть к идеям шестидесятников, набросать довольно удачное изображение литературной деятельности Чернышевского, из которого, разумеется, нужно выбросить все выходки и благоглупости, подсказанные автору озлоблением незадачливого теоретика философского идеализма и формально-эстетической критики, столь пострадавших в свое время от тяжелой руки Чернышевского. Итак, вот что говорит А. Волынский.

«Соединяя в себе разнородное образование и начитанность с выдающимся талантом, фанатическую убежденность ученого протестанта с даром пылкого оратора (?) на политические темы, Чернышевский очень скоро стал во главе движения, которому суждено было иметь решительное влияние на всю дальнейшую историю русского журнализма вплоть до наших дней. В том лагере, к которому принадлежал Чернышевский, не было человека, равного ему по смелости мысли, по энергии сектантской страсти, придававшей могучую силу его лучшим и наиболее важным статьям. Он был ярче и виднее многих современных ему журналистов. Своим необычайным упорством в известных литературных симпатиях и антипатиях, своею дерзостною решимостью затевать самые опасные сражения, преследовать соперника всеми возможными средствами, то раззадоривая его злою шуткою, то побивая его ловкими доказательствами и неожиданными, сенсационными сопоставлениями, он производил впечатление самого выдающегося человека эпохи. Фанатик по натуре, он с необузданною жестокостью нападал на сильнейших и талантливейших своих противников. (Статьи его шумели на всех путях и перекрестках русской жизни, зажигая вокруг него все, что было молодо, все, что умело пылко откликаться на всякое энергичное слово. В печати никто не умел победить Чернышевского. Его либеральные оппоненты казались по сравнению с ним лишь слабыми и нерешительными выразителями давно назревших умственных потребностей. В обществе его репутация с каждой новой его статьею быстро росла и вырастала до степени авторитетной значительности и даже славы. Несмотря на грубый стиль, на распущенность и беспорядочность ненужных, не относящихся к делу авторских признаний и излияний, статьи его и теперь еще производят эффектное впечатление. Научные доказательства, приводимые с диктаторскою уверенностью, вдруг сменяются у него задорным объяснением с публикою, иногда на чистоту, иногда

в очень темных и странных выражениях, скрывающих в себе какие-то непредвиденные намеки и тревожные указания. Чернышевский — как никто до и после него — умел с особенною, фамильярною развязностью вовлекать читателя в журнальный спор, открыто потешаясь над его (?) наивностью, над его пристрастием к систематическим рассуждениям, над его безволием в делах, требующих решительности и инициативы. Вырвавшись из стеснительных рамок приличия и последовательности, публицистическое красноречие Чернышевского льется бурным потоком. Ученые силлогизмы перемешиваются с посторонними соображениями, требующими к себе внимания впереди всяких теоретических и схоластических споров по праву вопросов высшего, экстренного порядка. Полемические удары сыплются в разных направлениях. Дух, жаждущий свободы, но еще не владеющий своими силами, беспорядочно мечется от предмета к предмету, облакаясь странными, неожиданными формами... «Современник» становится единственным авторитетным органом русского прогресса»¹.

Все литературные работы Чернышевского, крупные и мелкие, преследовали одну цель: дискредитировать ходячие консервативные и либеральные взгляды, доказать ненаучность, лицемерие буржуазной науки и популяризовать среди русского общества материалистическую философию, демократические и социалистические стремления.

При выполнении этой задачи Чернышевскому пришлось натолкнуться на колючую изгородь цензурных запретов, и можно только удивляться тому искусству, с каким великий мыслитель обходил цензурные препоны. Однако, как он ни хитрил и ни изворачивался, он никак не мог вырваться из тех узких рамок, которые ставил тогда писателю цензурный произвол. Достаточно сказать, что по основному вопросу тогдашней русской жизни, крестьянскому, одно время совсем запрещалось писать, а в остальное разрешалось говорить в очень ограниченных пределах. О ряде же других важнейших вопросов, например, о политических преобразованиях, не только писать, но и думать строго возбранялось. И Чернышевский буквально задыхался в этой обстановке, как свидетельствуют нижеприводимые строки, на первый взгляд якобы шуточные, напечатанные в «Свистке», а в действительности представляющие настоящий вопль души забитого в колодки русского демократического писателя. «Пиши о варягах, — со злобой восклицает Чернышевский, — о г. Погодине, Маколее и г. Лаврове² с Шопенгауэром, о Мо-

¹ А. В о л ы н с к и й — «Русские критики», Спб. 1896, стр. 261—262.

² П. Л. Лавров был тогда мирным военным профессором и идеалистом в философии, чем возбуждал естественные насмешки Чернышевского.

линари и письмах Кери к президенту Соединенных Штатов. И сиди за этою белибердою, равно никому не нужною, кроме как разве для нагнания сна, и сиди за нею, да еще — чего доброго — услышишь потом о себе от добрых людей: «какую интересную статью написал г. NN о г. Лаврове, как он мастерски высказал все, что хотел, и как много чрезвычайно важного, полезного, живого высказал»! Да... тяжело писать эту дребедень, унизительно, отвратительно писать ее, а еще тяжелее, унизительнее слушать, что ее хвалят, что тебя многие уважают за нее. Это довольство бесцветною, бесполезною отвлеченностью, эти похвалы ей показывают, что не найдешь ты опоры, чтобы подняться из своего унизительного положения, что еще не нужен писатель никому ни для чего, кроме как для пустяков. Грустно... быть писателем человеку, который не хотел бы прожить на свете бесполезным для общества говоруном о пустяках»¹.

Но и поставленный в узкие границы, Чернышевский делал всё человечески возможное, чтобы и в этих ограниченных пределах высказать хотя бы намеками одушевлявшие его мысли. Главными орудиями борьбы с цензурою в его руках были ирония и аллегория. О цензурных строгостях того времени можно судить хотя бы по тому, что за всю свою литературную деятельность Чернышевский так и не мог прямо назвать по имени своего учителя в области философии — Фейербаха. Точно так же ему нельзя было определенно назвать Герцена, хотя и приходилось с ним полемизировать. Даже имени Белинского он не решался упомянуть в первых главах «Очерков гоголевского периода», называя его сначала «критиком гоголевского периода», и только в пятой главе нелистовый Виссарион появляется под своим настоящим именем. О кружке Герцена Чернышевский принужден был выражаться так: «г. Огарев и его друзья»; имени Бакунина он никогда не упоминает, хотя не раз на него намекает². И даже в статьях о июльской монархии Чернышевский

¹ Этот «визг стесненной груди», как выражается Чернышевский, напечатан в № 7 «Свистка», приложенном к январской книжке «Современника» 1861 г., под заглавием «Ответ на вопрос или освищенный вместе с другими журналами „Современник“». Перепечатано в томе VIII собрания сочинений Чернышевского, стр. 76—78.

² Напр., в «Очерках гоголевского периода», где он называет его товарищем Белинского, автором программной статьи «Московского Наблюдателя», и в примечании почти целиком перепечатывает эту статью, знаменитое «Предисловие к гимназическим речам Гоголя» («Соч.», т. II, стр. 183—186); в рецензии на книжку американского писателя Готорна, напечатанной в июньской книжке «Современника» за 1860 год и перепечатанной в шестом томе «Сочинений», стр. 274 и сл.: здесь он называет Бакунина «человеком, мало писавшим по-русски, но имевшим самое сильное и благотворное

не решился сразу указать свой источник, только в примечании (на третьем печатном листе) он осторожно намекает на «Историю десяти лет», но имени автора, Луи Блана, так и не приводит.

Особенно же часто Чернышевский пользовался фигурой иносказания. Имея в виду русские дела, он предпочитал в особо деликатных случаях говорить о Западе; рекомендуя своим читателям активные способы действий, пропагандируя социалистические идеи, наш просветитель умело укрывался под сень критики французского, австрийского и итальянского либерализма. Там, где нельзя было говорить о российском самодержавии, на сцену ловко вытаскивался австрийский абсолютизм, как бы специально созданный на потребу радикалам из «Современника»¹.

«Дела эти нам совершенно посторонние, — говорит он в начале своей статьи о Кавеньяке, посвященной одному из величайших конфликтов между буржуазией и пролетариатом, — мы не можем иметь никакого особенного сочувствия ни к одной из партий, участвовавших в событиях, которым подверглась Франция в последнее время». И дальше Чернышевский не оставляет своего лукавства; он просит читателя (сиречь цензора; читатель-то знал, где раки зимуют) не забывать точки зрения, с которой автор излагает события. «Мы говорим вовсе не о том, хороши или дурны были убеждения той или другой партии... До них нам нет дела». Простирая свое лукавство до конца, он решается на следующее заявление: «Быть может, образ мыслей умеренных республиканцев был вреден для государства; лично мы даже уверены в этом».

Читатель-друг отлично понимал, что из трех описываемых партий симпатии Чернышевского принадлежат социалистам. Но цензор мог

влияние на развитие наших литературных понятий, затмевавшим величайших ораторов блеском красноречия, — человеком, не бесславными чертами вписавшим свое имя в историю, сделавшимся предметом эпических народных сказаний». Бакунин находился в это время в сибирской ссылке. Наконец в статье «Антропологический принцип», где он, говоря о Прудоне (которого тоже не решается сразу назвать по имени), пишет: «Мы слышали, что главный источник знакомства с этою наукою (немецкою философию) у автора книги *De la Justice* и Белинского был одинаков: разговоры с людьми, занимавшимися немецкою философию; говорят, что даже эти люди были одни и те же» («Соч.», т. VI, стр. 192).

¹ И в это, и в последующее время, — говорит Шелгунов («Воспоминания», стр. 168), — козлом отпущения служила обыкновенно Австрия. Несмотря на «свободу», которою теперь пахнуло и на цензуру, оказывалось все-таки невозможным обходиться без иносказательности, и Австрия, явившаяся на выручку писателей, учила и читателей проницательности и уменью понимать иносказания».

толковать это и аналогичные места в том смысле, что Чернышевский осуждает умеренных республиканцев не за их консерватизм, а за их крамольные действия против монархии. Господа либералы, которым от Чернышевского доставались особенно чувствительные щелчки, притворяясь невинными младенцами, именно и пытались истолковать его резкие нападки на буржуазный либерализм как игру в руку реакции и готовы были изображать нашего автора чуть ли не в виде мракобеса. Презируя эти либеральные выходки, Чернышевский идет им навстречу. Ополчаясь против иллюзий итальянских либералов («Политическое обозрение» за август 1859 г.) и собираясь подвергнуть уничтожающей критике либеральную половинчатость, Чернышевский, предвидя, какой взрыв негодования в нашей либеральной журналистике вызовет его статья, иронически называет себя «постоянным *défenseur d'office* (защитник по назначению) всех дел, единогласно признающихся неимеющими извинения». Он насмешливо сравнивает себя с Гречем, защищавшим Булгарина против Пушкина. «Мы, — заключает Чернышевский, — защищали многое и многих, даже повара, поселяющего раздоры между мужем и женою за обеденным столом, и наконец — что требовало наибольшей дозы мужества — защищали австрийцев *in natura*, целиком, гуртом, без всякой очистки исключений».

Конечно, Чернышевский не защищал повара (баварского министра Пфортена, который во время конфликта с палатой депутатов — мужем — ссылался на волю короля — жены, держащей мужа под башмаком), равно как не защищал австрийцев. Так понимать его могли только «проницательные читатели» из либерального лагеря, да и то они, вероятно, просто притворялись и перетолковывали слова Чернышевского с полемической целью. В действительности же он указывал на двусмысленность позиции либералов, которые, принципиально признавая силы старого режима и раболепно склоняясь перед его венчанными носителями, хныкали и жаловались, когда получали время от времени невежливый пинок солдатского сапога. Он в других выражениях напоминал им золотое правило дедушки Крылова: «а я бы повару иному велел на стенке зарубить, чтоб там слова не тратить по-пустому, где нужно власть употребить». Но эти положения (о них мы говорим ниже в главе «Политика») он страха ради цензурна принужден был обставлять аллегориями, притчами и шутивными замечаниями¹.

¹ «Предварительная цензура... — говорит известный борец с нигилизмом Н. Страхов, — была больше всего благоприятна (!) для учений отрицательных, для которых достаточно намека, насмешливого оборота речи, фигуры умолчания, чтобы читатель прочел между строками несложную и удобопонятную формулу отрицания. Вся масса нигилистических учений со всеми их

С какой презрительной насмешкой говорит он о «смелости» русской литературы, смелости, основанной собственно на надежде, что ее смелых обличений «не услышат как раз те, к кому они относятся»! ¹. С каким затаенным чувством злобы он утверждает, что счастливы бы были австрийские (читай: русские) журналисты, если бы подвергались точно такому же упнетению, как французские! ² С каким убийственным сарказмом вспоминает он о русском шпионе, «добром и честном Коцебу, пострадавшем за правду, которую так безрассудно отвергло суетное немецкое юношество»! ³.

И читатель-друг научился понимать своего писателя, научился читать между строк. Когда Чернышевский острит по поводу странных свойств русского языка, на котором никак нельзя выразить некоторых понятий, читатель прекрасно понимал, что речь идет о самодержавии. Когда Чернышевский подробно доказывал, что «положение человека имеет решительное влияние на характер его убеждений», и заводил окольную беседу о сицилийском проконсуле Верресе, Юлии Цезаре и Цицероне, читатель отлично видел, что писатель доказывает необходимость уничтожения абсолютизма, хотя и острит при этом, будто он занимается «разрешением чисто психологических задач» ⁴. Когда Чернышевский, после подробного исторического обзора французского законодательства о печати, на вопрос: «нужны ли у нас специальные законы о печати?», отвечает: «да, они нужны», — читатель знает, что этими словами Чернышевский констатирует неискоренимую рознь между русским обществом и правительством ⁵. Когда Чернышевский ирони-

видами прошла в нашу литературу под предварительною цензурою» («Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», Спб. 1883, стр. 239).

¹ «Соч.», т. VIII, стр. 35.

² Ibid., т. IV, стр. 566.

³ Ibid., т. III, стр. 624.

⁴ Ibid., т. III, стр. 226—229. Статья написана по поводу «Губернских очерков» Щедрина.

⁵ Ibid., т. IX, стр. 156. «Французские законы по делам книгопечатания». Впрочем, на эту статью Чернышевского, напечатанную в мартовской книжке «Современника» за 1862 год, обратила внимание и политическая полиция в лице Третьего Отделения. И 30 апреля 1862 года министерство внутренних дел обратилось к министерству народного просвещения, в ведении которого находилась тогда цензура, с указанием на упущения последней. Приведя вывод статьи Чернышевского: «да, они нужны», министерство внутренних дел продолжает: «По соображении этого с предыдущим заключением вытекает само собою и ответ на вопрос: почему автор так думает; очень просто, именно, что цензура у нас нужна для того, чтобы не давать высказываться общественному мнению, неблагоприятному будто бы для правительства»

чески говорит: «да какое мне дело до пользы других?», — читатель ясно видит, на чью сторону склоняются симпатии автора, он прекрасно понимает, что писатель скорбит душою об униженных и оскорбленных и призывает всех людей «с честной натурой», людей, «которые не могут чувствовать себя счастливыми, когда знают, что другие несчастны», встать на сторону обездоленных, против эксплуататоров и угнетателей¹. И т. д., и т. п.

Реакционный московский профессор Любимов, составивший под псевдонимом С. Неведенского хвалебное жизнеописание своего идейного вдохновителя М. Н. Каткова, замечает по поводу этих ухищрений Чернышевского и других радикальных писателей: «Сторонники крайних направлений отличались большою развязностью (!), а цензура проявляла не меньшую наивность. Об этом можно судить по некоторым статьям, печатавшимся в «Современнике». Видный сотрудник этого журнала, Чернышевский, в особенности щеголял искусством высказывать, и притом с большою откровенностью, мысли демократического и даже социалистического характера. Он удивительно приноровлялся к тогдашним цензурным условиям...

«Мысли эти были тогда внове, и цензура, еще не приглядевшаяся к ним, пропускала многое. Кое-что, например, высказывалось под флагом крестьянского вопроса... Вообще Чернышевский усвоил себе все тонкости искусства наводить туман на цензуру. Многое пропускалось под видом критики западно-европейской жизни: буржуазных порядков, индивидуалистического принципа и т. п. Например, Чернышевский принимался жестоко корить либералов Западной Европы... Но, ублаживши цензуру, он, под прикрытием этих порицаний, восхвалял демократов. Вообще цензура, видимо, не постигала, что можно высказывать самые крайние суждения в виде критики западно-европейской жизни, а потому часто ловилась на эту удочку»².

Впоследствии, когда Чернышевский находился уже под судом, предатель Вс. Костомаров составил для сенаторов особую записку, долженствовавшую разоблачить всю зловредность легальной литературной деятельности Чернышевского. В этом «Разборе литературной деятельности Чернышевского» (целиком перепечатанном у М. Лемке на стр. 389—438) говорится между прочим и об ухищрениях, направленных к

(см. «Дело следственной комиссии» о Н. Г. Чернышевском, № 28, лист 3, в Центральном архиве). Министр вн. дел оказался умнее «проницательных» либералов и сразу понял смысл выходки Чернышевского. Увы, скоро великому писателю пришлось за все это жестоко пострадать.

¹ Ibid., т. V, стр. 336—337. «Политическое обозрение» за сентябрь 1859 г.

² С. Неведенский — «Катков и его время», Спб., 1888, стр. 116—118.

«надувательству цензуры», и говорится с большим знанием дела. Вот что сообщает предатель, сам бывший одно время сотрудником «Современника».

«Говоря о каком-нибудь предмете полусловами или с маскировкой ради обойдения цензуры, авторы этих статей часто обращаются к читателю с просьбой хорошенько вникать в их слова или в их образы мыслей. Так, например, в статье о распределении («Современник» 1861, № 6), говоря о способе распределения и находя неудобным высказаться о том, «который способ лучше сам по себе», Чернышевский замечает: «читателю, сколько-нибудь вникающему в наш образ мыслей, должно быть это понятно». Иногда это вразумление читателя делается еще проще: автор, восхваляя какое-нибудь учреждение, напрямки говорит, что слова его следует понимать в обратном смысле, и если говорит не то, что надо, так это только потому, что за «инаковый» образ мыслей его могут представить к суду для наказания.

«Возьмем, например, перевод Милля. Первые две главы 2-й книги трактуют о системах экономического устройства, основанных на коммунизме и на уничтожении частной собственности. Чернышевский совершенно справедливо предполагает, что читатель ждет от него изложения этих систем и доказательства их полезности. «Как бы не так, держи карман! — восклицает Чернышевский, — неужели, читатель, вы до сих пор так наивны, что думаете, будто мы (я говорю собственно про себя, про других не знаю), будто мы поступаем, как следует поступать (т. е. станем доказывать полезность коммунизма)? Например, будто мы пишем, о чем следует писать? Никогда! Да, с гордостью могу сказать я о себе, что никогда не отступал до сих пор от правила: пиши не о том, о чем следует, да и о том, о чем почти не стоит писать, пиши не так, как следует» («Современник» 1861, № 6, стр. 479). Кончая свою статью, Чернышевский опять-таки предполагает, что читатель заметит в ней один важный пробел: именно, что Милль ни слова не говорит об общинном землепользовании у нас, а русский переводчик не пополнил этого натурального пропуска. «Что же делать? — оправдывается Чернышевский, — будто уж всегда действуешь натурально: иной раз поступаешь так, что сам пожимаешь плечами. Отложим этот предмет до другого случая» (ibid, стр. 547)... Когда этот другой случай представится, Чернышевский обещает уже откровенно высказать свое мнение об общем принципе нормы хозяйства, требуемого теорией коммунизма, — «в противность (говорит он) принятому нами правилу не говорить о том, о чем должно: ведь человек — не ангел и погрешает иногда против правил самых хороших и самых любимых» (ibid, стр. 518)... Что же заставляет Чернышевского умалчивать о той теории, ко-

торую он считает расчетливо-хорошею? «Я уважаю закон», — отвечает Чернышевский. Стало быть, теория, от изложения которой поневоле отказывается Чернышевский, противна основаниям нашего законодательства...

«Чернышевский сейчас же объясняет нам источник своего уважения к закону: «Я уважаю закон, — говорит он, — да и то лишь, когда за законом стоит судебная власть с своими наказаниями, и не могу я от них уйти» (ibid., 519)...

«Эта метода полуслов и намеков, совершенно понятных для вникающего читателя, чрезвычайно удобна. Административного преследования она, конечно, навлечь на себя не может; если ж голос негодования на слишком резкие выходки «мальчишек» (как сами себя называют писатели-нигилисты) раздается из среды самой литературы, «мальчишки» сейчас же оправдываются тем, что всякая строка их писаний напечатана с дозволения и одобрения администрации. Например, упрекают «Современник» в слишком крайнем демократизме. «Современник» отвечает своим обвинителям: «О каком демократизме вы говорите? Вспомните, что ведь мы не в диком государстве живем, где все можно говорить; что у нас цензура тоже есть, цензура попечительная, налагающая на уста добровольное молчание... А то «демократизм»! Где такое чудо видели?»

«Неправда ли, какая «грубость в виде лести»¹ в этой тираде о диком государстве, где все можно говорить?.. А между тем фраза совершенно цензурна»².

Враждебные Чернышевскому журналисты могли притворяться, что не понимают, зачем понадобились ему все околичности и увертки; они могли об'являть его иносказание шутовством и уклонением от прямых ответов. Читатель-друг знал, какой смысл имеют в устах любимого писателя оговорки вроде: «разумеется, мы говорим только о Западной Европе»³. Иногда, впрочем, Чернышевский не выдерживал роли и прямо заявлял, что европейские дела для нас вовсе не чужие, и что мы должны извлекать из них определенные практические уроки. Так, полемизируя с Чичериным, он, перечислив ряд европейских событий, оказавших прямое влияние на Россию, заключает: «Нам кажется, перечисленных фактов довольно, чтобы отказаться нам от возможности равнодушно смотреть на западно-европейские события. «Перевес либерализма или демократии, успехи революции или удача диктатуры в Западной

¹ Слова Щедрина.

² М. Лемке, цит. соч., стр. 393—395.

³ «Июльская монархия», т. VI, стр. 81.

Европе — все это вопросы, не имеющие для нас жизненного значения», — этих слов уже достаточно, чтобы показать совершенное отсутствие способности понимать положение России»¹.

С другой стороны, он не раз вполне определенно указывал, что его манера изложения обусловлена цензурными репрессиями. «Меня упрекают за любовь к употреблению парабол, — пишет он в статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения». — Я не спорю, прямая речь действительно лучше всех приточных сказаний; но против собственной натуры и, что еще важнее, против натуры обстоятельств и т.и. н.е. л.з.я», — и потому... он снова прибегает к иносказанию, чтобы внушить читателям мысль о необходимости политического переворота для правильного разрешения крестьянского вопроса. А в статье против Чичерина Чернышевский, приведя его слова о том, что западно-европейские дела не имеют для нас жизненного значения, говорит, что сначала он понял их в таком же смысле, в каком сам иногда употреблял их: «Мы готовы были бы думать, что это уверение — просто избитая мысль, употребляющаяся многими из нас по условному правилу, имеющему свою внешнюю выгоду», т. е. служащему для усыпления бдительности цензорского недреманого ока.

Как бы то ни было, с помощью таких и подобных уловок Чернышевскому долго удавалось, хотя и с трудом, провозить контрабандный товар под флагом цензурного одобрения. Но, как мы увидим, цензорское одобрение в конце концов не покрыло его, и впоследствии ему пришлось жестоко поплатиться за статьи, разрешенные придирчивою правительственною цензурою.

Эволюция литературной деятельности Чернышевского отчасти напоминает аналогичную эволюцию у Маркса. Начавши с литературно-критических работ, Чернышевский постепенно через ряд публицистических статей пришел к занятиям политической экономией, на которых в последние годы своей деятельности сосредоточил свое главное внимание. Если Маркса привел к мысли о необходимости ознакомиться с экономическими проблемами вопрос о мелких крестьянах-виноделах в долине Мозеля, то Чернышевского заставил заняться вплотную политической экономией крестьянский вопрос, составлявший в конце 50-х годов главный нервный узел русской жизни.

Дебютировал Чернышевский критическими и историко-литературными статьями. Если не считать его диссертации и целого ряда мелких критических статей, то главными работами первого периода его дея-

¹ «Г. Чичерин как публицист». «Соч.», т. IV, стр. 175—176.

тельности следует признать «Очерки гоголевского периода» и статьи: «О Лессинге», а также статьи о Пушкине, Гоголе, Толстом, Щедрина, Писемском, Никитине и пр. В своих критических статьях Чернышевский является преемником и продолжателем дела Белинского, заслуги которого перед русским самосознанием он подробно выясняет в «Очерках гоголевского периода». Мы пока не останавливаемся подробно на критических работах Чернышевского, так как в нашей книге этому предмету посвящена особая глава. Укажем здесь только на то, что истинным отцом публицистической и «учительной» критики 60-х годов был Чернышевский, ученик Белинского и учитель Добролюбова.

О литературе Чернышевский держался самого высокого мнения. «Как ни высоко ценим мы значение литературы, но все еще не ценим его достаточно: она неизмеримо важнее почти всего, что ставится выше ее. Байрон в истории человечества лицо едва ли не более важное, нежели Наполеон, а влияние Байрона на развитие человечества еще далеко не так важно, как влияние многих других писателей, и давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России»¹.

Гоголя Чернышевский так высоко ставил не только потому, что он был отцом русской прозаической литературы, подобно тому как Пушкин был отцом русской поэзии; но еще и потому, что Гоголь в своих сочинениях дал обличение старой крепостной России. И критик мог только сожалеть о том, что тогдашняя действительность не давала Гоголю идеальных лиц или представляла их «в положениях, недоступных литературе», т. е. о том, что в то время или вовсе не было революционных деятелей, или их нельзя было выводить в литературе по цензурным соображениям.

Требую, чтобы литература стояла близко к жизни, чтобы она служила интересам практической борьбы и делу просвещения, Чернышевский хвалит Пушкина за то, что тот, заговоривши о предметах, близко интересующих русскую публику, приучил наше общество к книге; таково же было влияние Пушкина на литераторов, которые после него начали писать о предметах, интересующих русское общество. Но при всем своем уважении к Пушкину Чернышевский указывает на то, что Пушкин не был поэтом какого-нибудь определенного воззрения на жизнь, что Пушкин был по преимуществу поэтом-художником, а не поэтом-мыслителем. Каждый русский может любить и почитать Пушкина потому, что поклонение Пушкину не обязывает ни к чему. Гоголь

¹ «Очерки гоголевского периода». «Соч.», т. II, стр. 7.

напротив принадлежит к числу тех писателей, любовь к которым требует одинакового с ними настроения души, потому что их деятельность есть «служение определенному направлению нравственных стремлений». Если у таких писателей, говорит Чернышевский, есть враги, то есть и многочисленные друзья; и никогда незлобивый поэт не может иметь таких страстных почитателей, как тот, кто, подобно Гоголю, питая грудь ненавистью ко всему низкому, пошлому и пагубному, враждебным словом отрицания против всего гнусного проповедует любовь к добру и к правде. «Кто гладит по шерсти всех и все, тот кроме себя не любит никого и ничего; кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что добро невозможно без оскорбления зла. Кого никто не ненавидит, тому никто ничем не обязан».

Восхваляя литературную деятельность Гоголя за то, что она разоблачала отрицательные стороны господствующего строя и этим толкала русское общество к самосознанию, Чернышевский подходит с такой же меркой к русской критике. Он требует, чтобы при оценке литературных явлений принимались в соображение потребности времени и интересы общества; он хочет, чтобы литература и критика были учительской кафедрой, с которой раздавался бы голос обличения и проповедь гуманных идей. Он утверждает, что русская критика не должна быть похожа на щепетильную, тонкую, уклончивую и пустую критику французских фельетонов; он хочет, чтобы она расчищала авгиевы конюшни и воздавала каждому должное, чтобы она была прямой и резкой. Вот почему он сурово осуждал Сенковского (барона Брамбеуса) за то, что тот презрел высокое призвание русского литератора и растратил свой талант на пустяки, и так высоко ставил Белинского, как неустанного проповедника демократического мировоззрения, как истинного учителя жизни.

Упомянутые критические работы сделали Чернышевского главным представителем прогрессивной критики 60-х годов. Но его уже влекли к себе другие интересы, и как только представилась возможность передать критический жезл в другие достойные руки, Чернышевский поспешил воспользоваться этой возможностью для того, чтобы устремить свои силы в другую область. В 1856 году в «Современнике» появилась первая статья Добролюбова. Уже в следующем году для Чернышевского выяснился весь талант молодого критика, и он не только охотно уступил ему свое место на критической кафедре самого популярного и распространенного журнала, но и всячески охранял талант молодого друга и способствовал его развитию. Теперь уже не подлежит сомнению, что интимным учителем и руководителем Добролюбова был Чернышевский. Первоначально Добролюбов хотел сделаться беллетри-

стом, но Чернышевский указал начинающему писателю на его истинное призвание и вместе с тем, путем личного влияния, содействовал укреплению в душе юноши демократического мировоззрения. Известная фраза Тургенева о том, что Чернышевский «просто ядовитая змея, а Добролюбов — змея очковая», может быть, и верно определяет разницу их характеров, подчеркивая большую активность и решительность блестящего критика, но она ничуть не противоречит тому, что идейным отцом и руководителем Добролюбова был Чернышевский. В романе «Пролог» описана та заботливость, с которой Чернышевский охранял талант начинающего писателя, и эта нежная братская заботливость глубоко нас трогает. Во всяком случае не подлежит сомнению, что молодому сотруднику пути уже были проложены Чернышевским¹.

После передачи критического отдела в ведение Добролюбова, Чернышевский почти уже не писал чисто критических статей; только в 1858 году он дал начавшему выходить в Москве прогрессивному журналу «Атеней» статью Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести Тургенева «Ася»; да и то это меньше всего критическая, а скорее чисто

¹ П. Бибилов, не решаясь отрицать влияния Чернышевского на Добролюбова, все же отказывается назвать последнего учеником первого. «Люди, — говорит он, — которые и согласны в настоящее время приписать значение Добролюбову, называют его не более как даровитым, талантливым учеником Чернышевского... Заметим только, что если это и справедливо (мы не можем судить о частном, интимном влиянии Чернышевского на Добролюбова), то факты, подлежащие нашему рассмотрению, ничего не говорят в пользу такого предположения. Прежде всего деятельность Чернышевского ограничена кругом более тесным, специальным. Защитник русской общины и охранитель жизни нашей против всех неправд экономической теории, он очень редко (?) выходил на иное поприще. Появление философских статей Добролюбова предшествовало (?) таким же статьям Чернышевского», — то есть «Очеркам гоголевского периода», например?! (П. А. Бибилов — «О литературной деятельности Н. А. Добролюбова», изд. Н. Серно-Соловьевича, Спб., 1862, стр. 24—25). Приходится признать, что более прав Н. Скальковский, когда пишет: «Добролюбов, которого считают после Белинского крупнейшим русским критиком, только комментировал и популяризировал эти (эстетические) идеи Чернышевского, являясь вполне его учеником; многие другие писатели, как Писарев, Антонович, Ю. Жуковский, Зайцев, Стасов, Михайловский, до литературных букашек, как Скабичевский, включительно, питались крохами эстетических теорий Чернышевского, доводя их отчасти до карикатурности» («Наши государственные и общественные деятели», 1891, стр. 312). Сам Добролюбов считал себя учеником и последователем Чернышевского.

публицистическая статья¹. Теперь Чернышевский сосредоточил все свои силы на публицистике, внешней и внутренней политике, философии и политической экономии.

Близились отмена крепостного права, и крестьянский вопрос был поставлен на очередь дня. Интересы высших классов защищались правительством, дворянскими организациями и большинством литературы; только интересы крестьянских масс не находили искренних и бескорыстных защитников. И вот Чернышевский, очертя голову, ринулся в бой как с открытыми и лицемерными защитниками интересов крепостников, так и с представителями нарождающихся буржуазных тенденций. В «Современнике» за 1857—1859 гг. появился ряд блестящих статей и исследований Чернышевского, в которых со смелостью, необычной для того времени, отстаивались интересы трудящихся масс и разоблачались лицемерие и злая воля господствующих классов. Одновременно с защитой права крестьян на землю и на низкий выкуп², одновременно с отстаиванием самостоятельности крестьянского мира Чернышевский вел энергичную борьбу против буржуазно-либеральных тенденций в защиту принципа общинного землевладения. Его полемика с «Экономическим Указателем» проф. Вернадского кончилась блестящей победой Чернышевского, который больше всех способствовал тому, что общинное землевладение, до тех пор составлявшее главным образом предмет суеверного поклонения со стороны славянофилов, надолго сделалось неразрывной частью символа веры революционных, народнически-настроенных элементов русского общества.

Защита крестьянских интересов и отстаивание общинного землевладения естественно привели Чернышевского к постановке более общего вопроса о взаимных отношениях капитала и труда. Критика буржуазных и крепостнических тенденций ставила его в необходимость изложить хотя бы в общих чертах основы общежития, соответствующего его идеалу. Так как с отменой крепостного права русское общество из феодально-крепостнического превращалось в буржуазное, то Чернышевский поставил себе задачей дискредитировать в глазах передовых элементов самые основы буржуазного строя и вместе с тем показать, что против этого строя, осужденного лучшими умами на Западе, давно уже ведется борьба, направленная к полному его уничто-

¹ Отдать эту статью в «Атеней» пришлось потому, что в «Современнике», ближайшим сотрудником которого состоял Тургенев, неудобно было говорить о его произведении.

² В сущности Чернышевский отвергал всякий выкуп, но вполне открыто не мог об этом говорить (см. во втором томе этой работы главу о крестьянской реформе).

жению и к замене его новым общественным устройством, основанным на началах человеческой солидарности. С этой целью Чернышевский написал ряд блестящих статей, из которых укажем статьи «Экономическая деятельность и законодательство», «Капитал и труд», «Июльская монархия», «Кавеньяк» и пр. В этих же статьях и в целом ряде других Чернышевский старался разоблачить буржуазный либерализм и показать, что он неспособен даже довести до конца свою собственную борьбу с абсолютизмом и пережитками феодального строя, и что он по существу является представителем интересов крупных собственников, будучи принципиально враждебен интересам трудящихся масс.

Дебаты, возгоревшиеся вокруг крестьянского вопроса, убедили Чернышевского в том, что широкие слои русской читающей публики плохо знакомы с основными началами политической экономии. Чтобы восполнить этот пробел, Чернышевский решил перевести на русский язык «Основания политической экономии» Д. С. Милля, снабдив перевод своими примечаниями. На Милле Чернышевский остановился потому, что признавал его книгу лучшим и наиболее беспристрастным из существовавших в то время буржуазных экономических трактатов. Чернышевскому приходилось противопоставить положения классической экономии, излагаемые Миллем, учениям вульгарных, по преимуществу французских, экономистов, которые в то время господствовали в русской литературе. Но, стремясь обнаружить непоследовательность буржуазной экономии и вместе с тем изложить свои собственные взгляды, Чернышевский должен был дать столь обширные комментарии и дополнения к переводимой книге, что ему так и не удалось довести до конца перевод Милля в первоначально задуманном виде. Целиком переведена была только первая книга трактата, размер которой, благодаря примечаниям Чернышевского, удвоился. Приходилось остальные четыре книги давать в извлечениях. Перевод с примечаниями Чернышевского печатался в «Современнике» в продолжение двух лет (1860—1861). Милль с примечаниями Чернышевского в течение долгого времени составлял настольную книгу русских революционеров¹.

Чтобы подвести фундамент под мировоззрение складывающейся юной русской демократии, Чернышевский воспользовался появлением брошюры стоявшего на полуидеалистической позиции П. Л. Лаврова — «Очерки вопросов практической философии» и написал блестящую статью «Антропологический принцип в философии», в которой излагал основные положения материализма и подвергал безжалостной критике

¹ Примечания Чернышевского к Миллю были переведены на французский и сербский языки.

идеалистическое мировоззрение. Свои философские взгляды Чернышевский излагал еще в своих первых статьях, например, в «Очерках гоголевского периода». Но только в статье «Антропологический принцип», напечатанной в 4 и 5 книжках «Современника» за 1860 г., он дал цельное и систематическое изложение своего мировоззрения. Эта статья вызвала в прессе ожесточенную полемику, на которую Чернышевский ответил знаменитой статьей «Полемические красоты», вызвавшей взрыв негодования среди закоснелых реакционеров и лицемерных либералов своей якобы необычайной бесцеремонностью и развязностью. В этой статье Чернышевский, по цензурным условиям лишенный возможности назвать имя Фейербаха, намеком указывает, кто был его учителем в области философии.

Когда «Современнику» разрешено было завести политический отдел (1859), этот отдел был поручен Чернышевскому. Вплоть до первого закрытия «Современника» в мае 1862 года Чернышевский ежемесячно писал политические обзоры, из которых многие сохранили свое значение до настоящего времени. Можно сказать без преувеличения, что не было ни одного крупного политического вопроса, интересовавшего русское общество, на который Чернышевский не спешил бы откликнуться своим разумным и авторитетным словом. Он писал о демократии и централизации, об отношениях между русинами и поляками в Галиции, между поляками и украинцами, об университетском вопросе (по поводу студенческих беспорядков 1861 г.), о либерализме и демократизме, о попытках преобразования русского государственного строя, полемизировал с реакционерами и либералами, славянофилами и Герценом и т. д., и т. п. Мощный ум его все время горел ярким светом, освещая пути грядущим поколениям. Он критиковал и наставлял, бранил и сетовал, не щадя своих сил, гордо и сознательно идя навстречу своей неизбежной гибели. Прометей русской революции, как удачно называет его Русанов¹, не жалел себя, отстаивая счастье родного народа и расчищая дорогу для грядущих борцов.

Однако, несмотря на ту колоссальную роль, какую сыграли писания Чернышевского в истории русской мысли и революционного движения, сам он был недоволен их отрывочным характером, их случайностью и эпизодичностью. Принужденный непрерывно откликаться на злободневные темы, выдвигаемые перед ним жизнью, Чернышевский в глубине души лелеял заветную мечту о крупной работе, в которой ему хотелось изложить свое мировоззрение в целостном, полном и систематизированном виде. Он то мечтал о составлении энциклопедического

¹ Н. Русанов — «Социалисты Запада и России». Спб., 1908, стр. 268.

словаря, разумеется не на манер обычных энциклопедических лексиконов справочного характера, а примерно такого, каким в свое время была знаменитая «Энциклопедия» Дидро, Даламбера и их сотрудников, но которому Чернышевский, несомненно, придавал бы определенно социалистический и материалистический характер. С другой стороны, он, повидимому, собирался написать крупный философский труд, в котором хотел изложить свои материалистические взгляды, и в частности свою систему рационалистической морали, каковой он придавал важное значение¹. К несчастью, арест и ссылка помешали ему выполнить свое намерение, и планы свои он так и унес в могилу.

«Чернышевский, этот отец русского нигилизма, — говорит о нем нововременский публицист и делец Н. Скальковский, — брался за все темы, писал обо всем, но главным образом был публицист, и, как публицист, он поистине стал на целое десятилетие, а может быть, и более «властителем дум» нашей молодежи и так называемой «интеллигенции»...

«Во всех своих статьях он проводил демократические и социалистические идеи, весьма искусно принаравливаясь к тогдашним цензурным условиям. В том же тоне редактировал он и весь журнал. Обладая обширной начитанностью, остроумием и владея искусно пером, он легко и развязно, хотя по временам не без семинарской пошлости, трактовал все жгучие современные вопросы. Под видом изучения и восхваления принципа общинного владения у крестьян, он знакомил с социалистическими проектами продуктивных ассоциаций; разбирая историю доктринерского либерализма Западной Европы, он защищал демократический порядок вещей; переводя Д. С. Милля, он под видом примечаний к нему, «дабы очистить науку от искажений», сочиненных, по его словам, «из трусости», изложил Луи Блана и других запрещенных в то время социалистических писателей. Полемизируя с бездарным профессором Юркевичем, Чернышевский, искусно обходя

¹ Намек на это содержится в его показаниях, данных сенату 7 июня 1863 года (Сенатское дело о Н. Г. Чернышевском, хранящееся в Центральном архиве, листы 16—27). Там, во-первых, говорится о намерении Чернышевского (до ареста) составить два энциклопедические словаря (впрочем, о своей мысли составить «энциклопедию знания и жизни» он подробно говорит в письме к жене из крепости), а во-вторых, имеется следующая фраза: «Всем моим хорошим знакомым известно, что в моих глазах не имеет никакой важности ничто из того, что я пишу. Быть может, когда-нибудь я напишу что-нибудь, чем буду дорожить, но это будет не политический памфлет, а большое философское сочинение. А все, что я написал до сих пор, я считаю ничтожным для себя». См. также у М. Лемке — «Политические процессы», стр. 359.

цензуру; изложил модные тогда идеи материализма Бюхнера и Молешотта ¹...

«Успех этих писаний был чрезвычайный. Хотя и без пособия цензуры скоро началась реакция, и органы Каткова первые стали обличать смутность и опасность идей, проповедуемых Чернышевским с братией, но «Современник» царил между всеми органами русской печати; он вызвал и подражателей» ².

Уже из'ятый из рядов живущих, Чернышевский решил собрать воедино свои мысли о прошлом, настоящем и будущем человечества и представить их публике в форме, доступной самым широким кругам читателей. Этим он отчасти выполнял последнюю часть плана, развитого в письме к жене, выдержки из которого мы привели в первой главе. Таким образом возник знаменитый политический роман «Что делать?», написанный в крепости и напечатанный в 3, 4 и 5 книжках «Современника» за 1863 год. Этот роман представляет своего рода завещание Чернышевского, в котором великий мыслитель излагает свои взгляды на мораль, на задачи молодого поколения и на будущий социальный строй. В соответствующих главах мы коснемся всех этих вопросов; здесь же мы скажем только несколько слов о взглядах Чернышевского на эмансипацию женщины.

Но прежде несколько замечаний о беллетристическом таланте Чернышевского.

Мы уже знаем, что, если не считать пары переводных статей, Чернышевский начал свою литературную работу с беллетристических произведений ³. Ими же он главным образом занимался и после ареста.

¹ Скальковский слышал звон, да не знал, откуда он. На самом деле статья Чернышевского «Антропологический принцип» была написана не по поводу Юркевича (который выступил после нее с своей полемикой), а по поводу Лаврова; излагала она не идеи Бюхнера и Молешотта, а идеи Фейербаха. Скальковский не знает даже статьи Чернышевского «Полемические красоты», где прямо было сказано, что его учитель — не Бюхнер и не Молешотт.

² «Наши государственные и общественные деятели», 2-е изд., Спб., 1891, стр. 310—313. Книга, составленная из газетных фельетонов, была выпущена без имени автора. — Впрочем, и этот заядлый реакционер вынужден сделать следующее характерное для его лагеря признание: «В одном не может быть сомнения, что это был мощный боец известных убеждений, личность во всяком случае крупная» (*ibid.*, стр. 320).

³ Не знавший документов, говорящих об этом и в его время еще не опубликованных, Плеханов впал в ошибку, утверждая, что «наш автор лишь поздно принялся за беллетристику» («Сочинения», т. V, стр. 178). Но верно то, что первые беллетристические опыты Чернышевского никогда не увидели света.

Опубликованная до сих пор часть его беллетристических произведений занимает почти весь первый и часть второго выпуска десятого тома его сочинений, всего около 70 печатных листов обычного формата, не считая романа «Что делать?» и ряда мелких рассказов, из которых половина (числом 13) напечатана в саратовском сборнике «Н. Г. Чернышевский» 1926 года. Поэтому вполне соответствует фактам указание, сделанное им в прошении на имя Александра II от 25 сентября 1863 года. Здесь, пытаясь опровергнуть обвинение, выдвинутое против него на основании занесенных в его дневник бесед с невестой о его революционном направлении, Чернышевский, с одной стороны, лукавит душой, а с другой — говорит истинную правду, когда пишет: «Я издавна готовился быть между прочим и писателем беллетристическим. Но я имею убеждение, что люди моего характера должны заниматься беллетристикою только уже в немолодых годах: рано им не получить успеха. Если бы не денежная необходимость, возникшая от прекращения моей публицистической деятельности моим арестованием, я не начал бы печатать романы и в 35-летнем возрасте. Руссо ждал до старости, Годвин также. Роман — вещь, назначенная для массы публики, дело самое серьезное, самое стариковское из литературных занятий. Легкость формы должна выкупаться солидностью мыслей, которые внушаются массе»¹.

Солидных мыслей в беллетристических произведениях Чернышевского мы находим немало. Что же касается его художественного таланта, то этот вопрос представляется до сих пор спорным. Сам Чернышевский, повидимому, думал, что обладает в известной степени таким талантом, хотя, вероятно, не преувеличивал его размеров, ибо вообще считал себя со стороны формы плохим литератором². Так, в письме от 29 апреля 1870 года из Сибири, сообщая А. Пыпину о том, что у него «много, много наработано по беллетристике», Чернышевский прибавляет: «Талант положительно есть. Вероятно, сильный»³. Плеханов видит в этих словах проявление свойственного Чернышевскому подшучивания над самим собою. Но мы думаем, что это не совсем верно. Правда, если судить по письму его от 18 марта 1875 года из Вилюйска к жене, где он, сообщая ей о написанных им для нее поздравительных стихах, прибавляет: «поэма будет такая, что от нее не отказались бы

¹ Сенатское дело о Н. Г. Чернышевском, хранящееся в Центральном архиве, лист 175. У М. Лемке цит. соч., стр. 455.

² «Я — писатель плохой», потому что «самоучка», — писал он родным («Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 123).

³ Ibid., вып. I, стр. 17.

ни Лермонтов, ни Пушкин»¹, то можно признать, что Чернышевский подшучивал над своим талантом. Но каким? Поэтическим, стихотворным. Здесь он был действительно слаб, и прекрасно это сознавал. Кроме «Гимна деве неба», напечатанного в № 7 «Русской Мысли» за 1885 год, он стихов не писал, во всяком случае не печатал. Над своими стихами, да еще поздравительными, написанными для жены, он мог добродушно подшучивать. Иначе обстоит дело с теми беллетристическими произведениями, которые Чернышевский писал для печати. Если бы он действительно думал, что ни в какой мере не обладает художественным талантом, он не стал бы их писать, да еще для опубликования. Несомненно, он был уверен, что такой талант у него есть, и был совершенно прав.

Чернышевский при этом довольно верно определял, к какому роду относится его беллетристический талант. В приведенном выше прошении на имя царя он ссылается не на художников в собственном смысле, не на Теккерея, Диккенса, Гете, Жорж Занд и т. п., а на таких писателей, как Руссо и Годвин, т. е. мыслителей, философов, публицистов, бравшихся за беллетристику лишь для того, чтобы в художественной форме изложить перед широкой публикой свои философские и политические идеи. Плеханов справедливо указывает, что Чернышевский мог руководствоваться примером «Лессинга, деятельность которого служила ему идеалом литературной деятельности», и что сравнивать его беллетристические произведения, в частности «Что делать?», следует не с «Анной Карениной», например, а с тем или другим философским романом Вольтера (цит. соч., стр. 178—179). С этой точки зрения беллетристика Чернышевского может выдержать сравнение с любым из произведений философов, бравшихся за перо художника. А что касается влияния такого, например, романа Чернышевского, как «Что делать?», то ему, пожалуй, не подберешь аналогичного примера в истории литературы. К нему больше, чем к какому-либо другому художественному произведению, применимо то, что Чернышевский говорил о влиянии таких произведений на общество, которое, прочитав его, станет несовсем таким, каким было прежде².

¹ Ibid., стр. 149.

² Кстати, Скальковский в цитированном сочинении (стр. 317) утверждает, что при составлении «Что делать?» Чернышевский взял для образца один из романов Эжена Сю (он не говорит, какой именно). По-моему, это неверно. Я вынес такое впечатление, что образцом для Чернышевского послужил роман Диккенса «Наш общий друг», который напоминает роман Чернышевского по общему художественному оформлению, диалогу, психологическому анализу и вообще по своим специфическим приемам.

Говоря о драматических опытах Лессинга, Чернышевский приводит слова Лессинга о самом себе; немецкий просветитель заметил про себя, что не имеет врожденного поэтического таланта, что его произведения — не создания независимого от мысли творчества, а только осуществления сознательной мысли. Эти слова применимы и к нашему автору. Его беллетристические произведения также представляют «осуществление сознательной мысли». Но исключает ли проведение определенных идей наличие беллетристического таланта? И в частности можно ли утверждать, что Чернышевский был совершенно лишен этого таланта? С таким мнением никак нельзя согласиться. Правда, романы Чернышевского растянуты, пестрят отступлениями, производят несколько неряшливое впечатление, сильно отдают произведениями *à thèse*, но «Что делать?» и «Пролог» до сих пор читаются с неослабевающим интересом и волнуют душу. Скажут, это объясняется их содержанием, характером выводимых лиц и свойствами излагаемых идей. Но такое объяснение недостаточно. Уже одно то обстоятельство, что романы выдержали самое страшное испытание, — испытание времени, показывает, что они не лишены известных художественных достоинств: значит, психология эпохи отразилась в них верно, а это уже положительный признак. Но кроме того следует сказать, что некоторые типы и положения очерчены Чернышевским с большой художественной силой: стоит, например, вспомнить Марью Алексеевну из «Что делать?», Соколовского и графа Чаплина из «Пролога». Отрицать после этого всякий беллетристический талант у Чернышевского было бы неосновательно¹. Правда, автор мало заботится о художественной красоте и внешней обработке своих произведений, гораздо больше интересуясь пропагандой определенных социальных идей. Поэтому в его беллетристике преобладает не художественный, а публицистический и проповеднический элемент...

Одной из этих публицистических идей является у Чернышевского эмансипация женщины. Последняя составляет неразрывную сторону

¹ «Наши обскуранты и декаденты имели привычку презрительно пожимать плечами по поводу этого знаменитого произведения (роман «Что делать?») ввиду будто бы полного отсутствия в нем художественных достоинств. Но замечательно, что даже с этой стороны их приговор не вполне справедлив: характер Марьи Александровны Розальской, матери Веры Павловны, очерчен довольно удачно. Кроме того, в романе вообще много наблюдательности, юмора и того неподдельного воодушевления, а лучше сказать, энтузиазма, который захватывает читателя и заставляет его с неослабевающим увлечением следить за судьбой главных действующих лиц, несмотря на несомненную слабость художественного дарования автора» (Плеханов, цит. соч., стр. 179).

эмансипации личности вообще. Шестидесятые годы, эпоха борьбы за всестороннее освобождение личности, не могли не выдвинуть в самой резкой форме вопроса о раскрепощении женщины, об ее праве на самоопределение, об ее освобождении от семейного и социального гнета, об уравнивании ее в правах с мужчиною. Право на свободу чувства и свободу труда — вот лейтмотив женского вопроса в рассматриваемый период. Женщина должна быть равноправной подругой, сотрудницей и товарищем мужчины, она должна бороться с ним рука об руку во имя общественных интересов; идеал свободной женщины должен быть таким же, как идеал мужчины: она должна сделаться «мыслящим человеком» и построить свою жизнь на началах свободной любви и общественно-полезного труда. Именно такой идеал женщины рисует в своем романе «Что делать?» Чернышевский, который видимо разделял мысль Фурье, что высота цивилизации данной исторической эпохи определяется положением женщины в эту эпоху. Изображая с одной стороны Веру Павловну, как равноправного члена кружка «обыкновенных людей», Чернышевский с другой стороны оказывает свободной женщине высшую честь, допуская ее на равных правах в группу «особенных людей», революционеров — Рахметовых. Такова его «дама в трауре», стоящая во главе какого-то революционного предприятия — художественное предвидение и намек на будущую роль русской женщины в начинавшемся тогда революционном движении.

Реакционеры, враждебные эмансипации женщины, как и раскрепощению личности вообще, инсинуировали, будто Чернышевский в «Что делать?» проповедывает так называемую «свободную любовь»¹. Разумеется, это клевета или органическая неспособность понять психологию новых свободных людей. Напротив, роман «Что делать?» — это апология нормальной брачной жизни, основанной на чувстве взаимного уважения и любви без принуждения, построенной на свободном товарищеском сотрудничестве. Этого не могли или не хотели понять «проницательные» филистеры, но это прекрасно поняла новая революционная молодежь, усмотревшая, как и следовало, в романе Чернышевского

¹ См., например, гнусную брошюру проф. одесского университета П. П. Цитовича, вышедшую в 1879 году под заглавием «Что делали в романе Что делать?». — Серия клеветнических брошюр этого пасквилянта, направленных против «нигилизма», обратила на него внимание правительства, которое в 1880 году дало ему субсидию на издание антиреволюционной газеты «Берег». Этот прототип «России» и «Русского Знамени» никакого успеха не имел, а издание скоро закончилось плачевным фиаско и, кажется, растратой. — Выдержки из этой брошюры, к сожалению очень неполные, см. в книге Н. Денисюка — «Критическая литература о произведениях Н. Г. Чернышевского». Москва, 1908.

проповедь нравственной чистоты и полезного труда, борьбу с насилием и лицемерием, недопустимыми в области интимного чувства¹. И не напрасно освобожденная русская женщина считает Чернышевского в числе своих духовных отцов и родоначальников...

Герцен, сначала выступавший против Чернышевского² и впоследствии несколько спохватившийся, в следующих словах пытался в 1866 году охарактеризовать значение его в истории русской общественной жизни.

«Первые представители социальных идей в Петербурге были п е т р а ш е в ц ы. Их даже судили как «фурьеристов». За ними является сильная личность Ч е р н ы ш е в с к о г о. Он не принадлежал исключительно ни к одной социальной доктрине, но имел глубокий социальный смысл и глубокую критику современно существующих порядков. Стоя один, выше всех головой, середь петербургского брожения вопросов и сил, середь застарелых пороков и начинающих угрызений совести, середь молодого желания иначе жить, вырваться из обычной грязи и неправды, Чернышевский решился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся, что им делать. Его среда была породская, университетская, — среда развитой скорби, сознательного недовольства и негодования; она состояла исключительно из работников умственного движения, из пролетариата интеллигенции, из «способностей». Чернышевский, Михайлов и их друзья первые в России звали не только труженика, с'едаемого капиталом, но и труженицу, с'едаемую семьей, к иной жизни. Они звали женщину к освобождению работой от вечной опеки, от унижительного несовершеннолетия, от жизни на содержании, и в этом — одна из величайших заслуг их.

«Пропаганда Чернышевского была ответом на настоящие страдания, словом утешения и надежды гибнувшим в суровых тисках жизни. Она им указывала выход. Она дала тон литературе и провела черту между в с а м о м д е л е ю н о й Россией и прикидывавшейся такою Россией, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крепостнической. Идеалы ее были в совокупном труде, в устройстве ма-

¹ В статье о произведениях Авдеева Чернышевский, между прочим, писал: «Нам кажется, что никогда умные люди (выше он говорил о «человеке нашего времени») не любили так благородно, так бескорыстно, как в наше время, никогда не любили так независимо от пошлостей, против которых еще долго будет надобно бороться любви» («Соч.», т. I, стр. 114). Эта мысль, высказанная в начале 1854 г., положена в основу романа «Что делать?», поскольку он, конечно, касается проблемы брака.

² Подробно о конфликте между ними см. во втором томе этой работы.

стерской, а не в тощей палате, в которой бы Собакевичи и Ноздревы разыгрывали «дворян в мещанстве» и помещиков в оппозиции»¹.

Другими словами, Герцен высказывает здесь ту самую мысль, которую мы сформулировали выше, а именно, что на рубеже двух эпох, когда буржуазные начала, политические и экономические, начали прокладывать себе дорогу в русской жизни, Чернышевский первый дал им решительный отпор во имя интересов трудящихся масс и противопоставил этим началам, банкротство которых в передовых странах уже намечалось, принципы революционного коммунизма, с тех пор в том или ином виде не перестававшие держаться и пускать все более глубокие корни, пока они не охватили самих масс и не привели к практическому осуществлению идеала, впервые развитого этим великим пионером и основоположником социализма в России.

Плеханов, в разное время неодинаково оценивавший Чернышевского, в 1909 году писал о великом шестидесятнике следующее: «Что бы ни случилось с нашей литературой, как бы пышно ни развилась она, Чернышевский всегда будет принадлежать к числу тех, которые составляют ее гордость, ее славу, ее украшение. До сих пор влияние этого замечательного человека сказывается на всем том, что есть прекрасного и благородного в сердцах передовых русских людей. И до сих пор передовые русские люди, как бы ни расходились они с Чернышевским в тех или иных вопросах теории или практики, относятся к нему с величайшим благоговением»².

* * *

Случайным эпизодом в литературной деятельности Чернышевского было редактирование им «Военного Сборника», ежемесячного военного журнала, издававшегося по царскому повелению и основанного в 1858 году по мысли Д. А. Милютина, тогда профессора военной академии, а впоследствии, с 1861 года, военного министра. Редактирование журнала было возложено на В. М. Аничкова и Н. Н. Обручева по военной части и на Н. Г. Чернышевского по литературной части. Такой поразительный факт, как приглашение на должность редактора военного журнала, предназначавшегося для офицеров, журналиста, известного уже тогда своим радикализмом, характерен для первого периода 60-х годов³. В частности он объясняется тем, что многие офицеры, в

¹ А. И. Герцен — «Порядок торжествует», «Сочинения», том XIX, стр. 128.

² Плеханов — «Сочинения», т. VI, стр. 338.

³ Поддерживая реакционную легенду, будто радикализм насажден был в России либеральными чиновниками, Никанор в цит. статье (стр. 38—39),

том числе и Н. Обручев, вращались тогда в кругу «Современника», причем последний в тот момент был настроен действительно революционно (подробнее об этом будет сказано во втором томе этой работы). Неудивительно, что при таких условиях Чернышевский играл в журнале главную роль и придал ему характер резко обличительного органа, бичевавшего застарелые пороки русской армии. Успех журнала среди офицерства, значительная часть которого в результате крымского разгрома была в то время настроена довольно оппозиционно, был огромный. Достаточно сказать, что в первом же году тираж его достиг по тому времени колоссальной цифры 6 000, из коих насчитывалось 5 800 военных подписчиков. Но с первых же книжек журнал обратил на себя внимание реакционных кругов, и военный цензор, полковник Штюрмер, написал на него донос под видом доклада о вредном направлении всей литературы вообще и «Военного Сборника» в частности. Ответом на этот донос явилась записка Чернышевского, составленная им по поручению военного министра Сухозанета для доклада царю¹. Но Александр II, разумеется, внял голосу реакционных кругов. Направление, в котором велся журнал в течение первого года, признано было «несоответственным». Чернышевский из журнала ушел, а главным редактором его назначен был военный писатель г.-м. Пеньков, и этим героический период «Военного Сборника» закончился.

путая факты и даты, пишет: «Известно, что молодого Чернышевского приняли под особое покровительство тогдашний (?) министр народного просвещения Головнин и другие повыше (намек на в. кн. Константина Николаевича. — Ю. С.).... Его пригласили в сотрудники, чуть ли не в редакторы новооткрытого военно-морского сборника (названия точно не помню), поставившего себе одною из задач, если только не главной задачей, искоренять темные беспорядки николаевских времен. Дело делалось чисто-официальным порядком под самым высшим покровительством, одобрением и поощрением... А скоро Чернышевский перешел в «Современник» (Чернышевский уже 5 лет писал в «Современнике». — Ю. С.) и стал сам сила, очень замечательная в Петербурге. Тогда его друг и покровитель (?) А. А. Мейер, побывав в Петербурге, говорил мне в Саратове с тревожным предчувствием: «В широкополой шляпе с толстою палкою в руках идущий по Невскому проспекту теперь Чернышевский в Петербурге — сила!»

¹ Это «Объяснение» Чернышевского в двух редакциях напечатано в части II тома X полного собрания его сочинений (стр. 230—292).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

—

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

1. Источники его философских воззрений

а) Французские материалисты XVIII века.

Боец по темпераменту, Чернышевский сравнительно мало интересовался вопросами отвлеченного порядка. Он был прежде всего публицистом и считал своим долгом откликаться на те вопросы, которые в каждый данный момент интересовали широкие слои русского общества. Конец 50-х и начало 60-х годов были прежде всего эпохой реализма, эпохой усиленного политического и социального строительства. В эти годы передовые слои общества мало интересовались вопросами абстрактного мышления, и только этим, вероятно, объясняется то обстоятельство, что Чернышевский, несмотря на философский склад ума, за всю свою литературную деятельность до ареста написал только одну чисто-философскую статью¹, да и то изрядно одобренную публицистическими отступлениями. В этой статье («Антропологический принцип») он даже как будто извиняется перед читателями за выбор темы. Человек написал статью о философии. «О философии! Господи, твоя воля! да кто же в русском обществе думает о философских вопросах? Разве г. Лавров (по поводу его брошюры и написана была статья. — Ю. С.), — да и то сомнительно: быть может, и самому г. Лаврову гораздо интереснее всевозможных философских вопросов наши житейские и общественные дела»².

¹ Вообще же он, особенно в начале своей литературной деятельности, часто касался философских вопросов, как, напр., в «Очерках гоголевского периода», «Лессинге». О диалектическом методе он говорит в статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения». Да и его знаменитую диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности» можно в известном смысле рассматривать как философский трактат.

² «В статье об «Антропологическом принципе» Чернышевский очень ясно дал понять, что центр тяжести его размышлений лежит именно в сфере этики, а не в области спора об основных началах бытия. И действительно,

Но отсюда не следует, чтобы Чернышевский не понимал значения философии для выработки общего мирозерцания.

В статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения» Чернышевский замечает, что «тот или другой взгляд на какой-нибудь повидимому чисто практический и очень специальный вопрос много зависит от общего философского воззрения». В «Очерках гоголевского периода» он выражает сожаление по поводу того, что философские стремления в его время почти забыты были русской литературой и критикой; от этой забывчивости, по его словам, литература и критика не выиграли ровно ничего, а потеряли очень много. Писатель, по мнению Чернышевского, должен обладать общим философским образованием, и этому требованию Чернышевский удовлетворял более, чем кто-либо из современных ему русских писателей. Начатки философского образования он получил еще в семинарии¹. Затем он развил и обогатил свои философские знания во время пребывания в университете, главным образом путем самообразования.

Из предыдущего изложения мы знаем, какую крупную роль сыграл в формировании его мировоззрения Л. Фейербах. Но Фейербах сам применил к критике гегелевского идеализма положения, выдвинутые французскими просветителями XVIII века, стоявшими на точке зрения материализма. На французских материалистов, как предшественников Фейербаха, указали уже Маркс и Энгельс в «Святом семействе» и в «Немецкой идеологии». Сам Фейербах не раз цитирует французских просветителей, напр., Гольбаха и Гельвеция. Плеханов замечает, что критика религии у Фейербаха имеет много сходного с критикой Гольбаха². А Деборин в предисловии к первому тому сочинений Фейербаха прямо говорит, что исходной точкой для Фейербаха являются гольбаховские идеи³. Мы скажем даже больше: критика идеализма и обоснование материализма проведены у французских просветителей реши-

чтобы найти исходную точку рассуждений Чернышевского и его сторонников о материализме, нужно рассматривать эти рассуждения не как выкладки холодной философской мысли, а как попытку заставить людей повысить оценку того, что зовется не на философском, а на простом языке «материальной» стороной жизни» (Н. Котляревский — «Очерки из истории общественного настроения 60-х годов». «Вестник Европы», 1912, № 12, стр. 242.

¹ В пятой главе «Очерки гоголевского периода» он, между прочим, указывает на ту роль, которую сыграли духовные академии в деле популяризации немецкой философии в России. «Сочинения», т. II, стр. 161, примечание.

² Плеханов — «Очерки по истории материализма», М. 1922, стр. 11 (перепечатано в томе VIII сочинений Плеханова).

³ Л. Фейербах — «Сочинения», том I, М. 1923, стр. XXVIII. — Тот же Деборин в своей книге «Философия и марксизм», М. 1926, стр. 157, сопоста-

тельнее и последовательнее, чем у Фейербаха, главная заслуга которого и заключается в том, что после эпохи реакции, когда учения французских материалистов были забыты, он снова напомнил о них и противопоставил их основным мыслям торжествующему идеализму.

Был ли Чернышевский знаком с сочинениями французских материалистов и когда он с ними познакомился? Даже а priori можно дать на первый вопрос положительный ответ. Не мог Чернышевский не заинтересоваться учением мыслителей, сыгравших такую колоссальную роль в истории общечеловеческой мысли и в предреволюционный период во Франции, как французские просветители и авторы «Энциклопедии». Правда, в дневнике его мы встретили только указание на сочинение Гельвеция «De l'esprit», заинтересовавшее его постановкой моральной проблемы (см. выше); правда, в его статьях мы встречаем упоминание Дидро и Гельвеция (Эльвециус), но не находим Гольбаха и Ламеттри; однако это ничего не доказывает. О Гольбахе, напр., он говорит в своих сибирских письмах, где ставит его наряду с величайшими мыслителями. И если ему попалась в руки знаменитая «Энциклопедия» Дидро и Даламбера, то надо полагать, что он, читавший чуть ли не сплошь энциклопедический словарь Эрша и Грубера, по свойственной ему основательности прочитал ее от доски до доски.

Не следует забывать, что если не идеи, то имена и сочинения французских просветителей пользовались в конце XVIII века широкой популярностью в русском образованном обществе. Имена Вольтера, Дидро, Гольбаха и других были широко известны, независимо даже от заигрывания с ними Екатерины II. В частности Гельвецием увлекались И. И. Шувалов, кн. Дашкова, кн. Гагарин и пр. Поклонником Гельвеция были Я. Козельский, Радищев и друг его Ф. В. Ушаков. Даже пушкинский Онегин читал Гельвеция. Наконец, идеи Гельвеция, равно как и других просветителей, Гольбаха, Вольтера и пр., имели влияние на декабристов, в частности на Пестеля.

Книга Гельвеция «О Духе» (или «Об уме») появилась даже в русском переводе в Тамбове в 1788 году. В журнале «Собрание новостей» за март и апрель 1776 года была помещена статья об этой книге. Посмертное сочинение Гельвеция «De l'homme» («О человеке») вышло в 1772 году в Гааге с посвящением Екатерине II и при содействии русского посланника при французском дворе, Д. А. Голицына. Гельвецием

влияет Фейербаха с Ламеттри в том отношении, что оба мыслителя в центре своих размышлений поставили человека, который должен был служить исходным пунктом для построения целостного мирозерцания. «Поэтому термин «антропология», которым Фейербах окрестил свою философию, в одинаковой степени применим и к мировоззрению Ламеттри».

интересовалась не только Екатерина II, вообще заигрывавшая с энциклопедистами, но и Павел, который расспрашивал о сочинениях французских философов Порошина¹.

С наступлением общей реакции в 20-х годах XIX века идеи просветителей оказываются в загоне. На первый план выдвигаются различные системы идеализма, которые с 30-х годов начинают, по примеру Запада, господствовать и в России. Однако в отдельных кружках, напр. славянофильском, герценовском, сочинения философов XVIII века продолжают читаться, а в кружке Петрашевского имеются основные произведения этой школы. Естественно, что ими заинтересовывается и Чернышевский, тем более, что о них говорит внимательно читаемый им Герцен (в «Письмах об изучении природы») и на них ссылается любимый его писатель Фейербах. О знакомстве его с этой литературой говорит и содержание его статьи «Антропологический принцип», где идеи материализма проводятся более последовательно, чем у Фейербаха, а примеры и доказательства часто кажутся взятыми из Гольбаха и Гельвеция или ими подсказанными. Что Чернышевский был хорошо знаком и с английской школой сенсуалистов (Локк и пр.), и с Декартом, и особенно со Спинозой, которого он правильно считал основоположником новейшего материализма, это само собою разумеется. Все они в той или иной мере дали материал для выработки той системы материализма, с которой мы встречаемся в сочинениях французских просветителей, стоявших на материалистической позиции, в частности для Дидро, Гольбаха и Гельвеция, оказавших несомненное влияние на формирование мировоззрения Чернышевского.

Д. Дидро, которому не удалось систематически изложить свои философские взгляды, дал тем не менее фрагменты, в совокупности своей представляющие основы материалистического мировоззрения². Известно вдобавок его влияние на других просветителей, в частности на Гольбаха, в составлении главной работы которого «Система природы» он принимал участие. Если не прямо, то косвенно он оказал влияние и на философию, и на мораль, и на эстетику Чернышевского³.

¹ См. предисловие Э. Радлова к русскому переводу книги Гельвеция «Об уме», Петр., 1917, стр. XIV сл.; предисловие Д. Рязанова к «Очеркам по истории материализма» Плеханова, М., 1922, стр. IV; Алексей Веселовский — «Западное влияние в новой русской литературе», изд. 5-е, М., 1916, стр. 37, 55, 63, 93, 97, 106, 112, 146 и др.; Плеханов — «История русской общественной мысли», книга третья, М., 1925, *passim*.

² См. «Избранные сочинения» Д. Дидро, выпущенные Инст. Маркса и Энгельса, под ред. и с предисловием А. Деборина, Гиз, 1926, тт. 1 и 2.

³ См. И. К. Луппол — «Дени Дидро», изд. «Новая Москва», М., 1924; см. также Р. И. Сементковский — «Русское общество и литература»,

Задолго до совета Фейербаха, Дидро порвал незаконную связь философии с теологией и пытался прочно связать ее с естествознанием. И если прав Энгельс, заметивший, что быть материалистом значит считать природу основным началом, то Дидро был материалистом, ибо в основу своего мирозерцания он клал природу, вещество, материю, но не мертвую материю идеалистов, а материю живую, чувствующую. Признавая чувствительность общим свойством материи, Дидро заключает, что материя имеет «пять или шесть существенных свойств: мертвую или живую силу, длину, ширину, глубину, непроницаемость и чувствительность». Раз дана чувствительность, которая для него равнозначительна жизни, и предоставлена свобода развития, то этим даны условия для высших проявлений жизни: памяти, суждения, разума, воли, страстей, таланта, гения. Чувствительность — это в свернутом виде интеллект и воля. «От чувствительной молекулы вплоть до человека — цепь существ, которые переходят от состояния животной тупости до состояния высшей интеллигентности»¹.

Другой представитель французского материализма, Ламеттри, в своем «Трактате о душе» говорит: «В мозгу нет ничего, кроме мате-

Спб., изд. А. Маркса, который, впрочем, преувеличивает влияние Дидро: «Можно смело сказать, что все учение людей 60-х годов, так сильно отразившееся на русской беллетристике, имеет глубокую аналогию с западными учениями, что французские философы публицистического оттенка проповедывали почти буквально то же, что и наши руководители в эпоху «бури и натиска»: в философской области — яркий материализм, в политической — возвеличение демократического начала, в искусстве — реализм, доступность его широким народным массам, в этике — эгоизм, в общественном строе — полное равенство всех людей и (совершенно уже непоследовательно) в практической жизни — подвиг самопожертвования. Но кто были эти французские философы-публицисты, которые по всей линии предрешили теорию наших шестидесятников? Это были энциклопедисты, эти представители французских разночинцев в литературе, искусстве, науке, политике, и между ними главным образом Денис Дидро, положивший, как мы увидим ниже, основание всей политической, социальной, эстетической и этической теории, нашедшей себе у нас таких восторженных и страстных проповедников, как руководители литературно-общественного движения 60-х годов» (стр. 187).

¹ Луппол, цит. соч., стр. 209—211. — Известно, что в сочинениях Дидро, в частности в «Элементах физиологии», Дидро предвосхищает идеи эволюции, основы ламаркизма и дарвинизма («Избранные сочинения» Дидро, т. I, стр. 82, 122—124, 128, 143—144, 165; т. II, стр. 21 и пр.). То же мы находим у других французских материалистов, напр., у Гольбаха, который, как отмечает Деборин (предисловие к «Системе природы», стр. XXIII), допускал уже изменение видов и говорил, что природа есть бесконечная смена разрушений и созиданий, сочетаний и разложений. Это отмечает и Плеханов в цит. «Очерках».

рии: ничего, кроме протяженного, в его чувствующей части, как это доказано: в состоянии жизни, здоровья, нормальной организации этот орган в источнике нервов имеет активный принцип, распространенный в мозговом веществе; я вижу, как он чувствует и мыслит, может быть поврежден, засыпает, гибнет вместе с телом... Если все может быть объяснено тем, что открывает в мозгу анатомия и физиология, к чему мне создавать фиктивную субстанцию? Если я отождествляю душу с органами тела, то потому, что все меня убеждает в этом»¹.

Гельвеций, оказавший значительное влияние на Чернышевского в вопросах этики, также стоял на материалистической позиции в общефилософских вопросах, логически развивая взгляды, высказанные Локком. По его словам, физическая чувствительность и память или, чтобы быть еще точнее, одна чувствительность производит все наши представления. Суждение же есть не что иное, как ощущение².

Но особенно полно и систематически изложено материалистическое мировоззрение в известном произведении Гольбаха «Система природы», написанном им в сотрудничестве с другими энциклопедистами, в частности с Дидро. Повидимому, именно этой работой, наряду с Фейербахом, Чернышевский руководствовался, когда писал свою знаменитую статью-манифест «Антропологический принцип», как о том можно судить по содержанию последней.

Основным началом Гольбах признает именно природу. Точным экспериментальным изучением ее можно постигнуть истину и убедиться, что самые сложные духовные явления в конечном счете объясняются действием естественных законов материи.

Человек есть чисто физическое существо; духовный человек это — то же самое физическое существо, рассматриваемое только под известным углом зрения. Физический человек это — человек, действующий под влиянием причин, распознаваемых нами с помощью наших чувств; духовный человек это — человек, действующий под влиянием физических причин, познать которые нам мешают наши предрассудки. Следовательно, человек во всех своих изысканиях должен прибегать

¹ «Хрестоматия по французскому материализму XVIII века», вып. I, Петр., 1923, стр. 11—12.

² Г е л ь в е ц и й — «Об уме», стр. 2—3. — Ему же принадлежит следующая замечательная мысль, свидетельствующая о приближении к материалистическому объяснению истории: «Если бы природа создала на конце нашей руки не кисть с гибкими пальцами, а лошадиное копыто, тогда, без сомнения, люди не знали бы ни ремесл, ни знания, не умели бы защищаться от животных и... блуждали бы в лесах пугливыми стадами» (ibid., стр. 1—2).

к опыту и к физике. Разделять мир на два — физический и духовный — нет никаких оснований.

Вселенная, это колоссальное соединение всего существующего, представляет нам повсюду лишь материю и движение; эта совокупность раскрывает перед нами лишь необъятную и непрерывную цепь причин и следствий. «Разнообразнейшие вещества», сочетаясь на тысячу ладов, непрерывно получают и сообщают друг другу различные движения. Различные свойства этих веществ, их различные сочетания, их разнообразные способы действия, являющиеся необходимыми следствиями этого, составляют для нас сущности всяких существ; и от различия этих сущностей зависят различные порядки, категории или системы, занимаемые этими существами, совокупность которых составляет то, что мы называем природой.

Откуда же взялась эта природа? Предупреждая возражения идеалистов всякого ранга, Гольбах уверенно заявляет:

«Если нас спросят, откуда явилась материя, мы ответим, что она существовала всегда. Если спросят, откуда появилось у материи движение, мы ответим, что по тем же основаниям она должна была двигаться от вечности, ибо движение есть необходимый результат ее существования, ее сущности и таких ее первоначальных свойств, как протяженность, вес, непроницаемость, фигура и т. д. Если предположить, как это приходится сделать, существование материи, то приходится признать за ней некоторые качества, из которых должны неизбежно вытекать определенные этими качествами движения или способы действия».

«Какими бы чудесными, непонятными, сложными ни были как видимые, так и скрытые способы действия «человеческой машины», но если мы их внимательно исследуем, то мы увидим, что все ее действия, движения, изменения, ее различные состояния, совершающиеся с ней катастрофы регулируются постоянно теми же самыми законами, какие присущи всем существам, которые природа порождает, развивает, обогащает способностями, растит, сохраняет в течение некоторого времени, а под конец разрушает или разлагает, заставив их изменить свою форму.

«Из недостаточного размышления над природой и ее законами получились последовательно понятия духовности, нематериальности, бессмертия и тому подобные неопределенные слова, придуманные мало-по-малу мастерами умозрительных тонкостей, чтобы характеризовать атрибуты неизвестной субстанции, которую человек, как ему казалось, различает в самом себе и которую он считает скрытым принципом своих видимых движений. Так человек стал двойным». Но те, кто отличает душу от тела, по существу отличают просто имею-

щийся у тела мозг от него самого (эту же мысль впоследствии повторил Фейербах)¹.

Такова была замечательная система французского материализма, выработанная во второй половине XVIII века и заложившая главные основы материалистического мировоззрения. Как уже указывали Маркс и Энгельс, у нее были серьезные недостатки, в частности отсутствие правильного метода исследования. Однако нельзя утверждать, что «коренной недостаток этого материализма — отсутствие всякой идеи эволюции» (Плеханов — «Очерки», стр. 11).

Идея эволюции не была совсем чужда французскому материализму, хотя несомненно эта сторона была в нем лишь намечена, но не разработана. Во всяком случае наука могла двигаться вперед, лишь исходя из заложенных этой философией основ. Слабость же ее заключалась в применении материалистических принципов к обществу и истории. Эту слабость, как увидим, разделили с нею и Фейербах, и в меньшей степени Чернышевский.

б) Людвиг Фейербах.

Как мы уже знаем, Чернышевский отрицательно относился к той форме, которую придал своей системе сам Гегель. По всем своим устремлениям Чернышевский примыкал к школе левых гегельянцев, в частности к Л. Фейербаху.

Немецкая идеалистическая философия пользовалась большой популярностью среди русской интеллигенции 30-х и 40-х годов. Как указывает Чернышевский, заслуга Надеждина между прочим и заключалась в том, что он ввел в наше литературное сознание идеи, выработанные немецкой философией. Но Надеждин был последователем Шеллинга, а между тем система этого мыслителя, как замечает Чернышевский, сама по себе была неудовлетворительна, и главное ее значение состояло только в том, что она была зародышем, из которого развилась система Гегеля. «Понять Гегеля, который дал истинный смысл и настоящую цену неопределенным и отрывочным мыслям Шеллинга, было предоставлено уже следующему поколению, обратившемуся к изучению немецкой философии отчасти по самостоятельному стремлению, отчасти, конечно, благодаря деятельности Надеждина и Павлова». Сначала русские передовые кружки (Станкевич, Герцен, Бакунин, Белинский) принимали учение Гегеля в том виде, как его излагал этот мыслитель.

¹ Г о л ь б а х — «Система природы», Гиз, М., 1926, стр. 9—10, 15, 27, 61, 65, 82. — Книга Гольбаха вышла в 1770 году, т. е. после книги Гельвеция «Об уме».

Но скоро они познакомились с сочинениями учеников Гегеля, которые, с строгой последовательностью развивая существенные идеи учителя, отвергли всё, что в его системе противоречило этим основным принципам.

На Западе эволюция левого гегельянства привела к Фейербаху, который заложил основу материалистической философии. «Тем, — говорит Чернышевский, — завершилось развитие немецкой философии, которая теперь в первый раз достигла положительных решений, сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической трансцендентальности и, признав тождество своих результатов с учением естественных наук, слилась с общей теорией естествоведения и антропологиею»¹.

Этими словами Чернышевский совершенно определенно примыкает к «антропологическому принципу» и «реальному гуманизму» Фейербаха. Тот же мыслитель оказал сильнейшее влияние на Маркса и Энгельса в тот период, когда они только вырабатывали свое миросозерцание. В своей известной брошюре «От классического идеализма к диалектическому материализму» Энгельс прямо говорит, что учение Фейербаха «во многих отношениях представляет связующее звено между гегелевской философией и нашим (марксистским) мировоззрением»².

Герцен называл философию Гегеля алгеброй революции; так же смотрел на нее и Генрих Гейне. Энгельс совершенно согласен с этой оценкой. Даже в основе знаменитого положения Гегеля «все действительное — разумно и все разумное — действительно» лежит в сущности глубоко революционная мысль. Это положение о разумности всего действительного по всем правилам диалектического метода переходит в другое положение: все существующее достойно уничтожения.

«В этом, — замечает Энгельс, — и заключается истинное значение и революционный характер философии Гегеля». Чернышевский хорошо понимал эту сторону гегелевской философии. Система Гегеля раз навсегда положила конец притязаниям на абсолютное значение каких бы то ни было созданий человеческой деятельности или мышления. Для Гегеля истина не является собранием готовых догматических положений, которые можно однажды открыть, а затем только заучивать наизусть. Напротив, истина заключается для него в самом процессе познания, причем наука не может дойти до абсолютной истины, дальше которой движение мысли не должно совершаться. Диалектическая философия Гегеля не признает ничего абсолютного, законченного, неприкосновен-

¹ «Очерки гоголевского периода». «Соч.», т. II, стр. 162.

² Энгельс — «От классического идеализма». Одесса, 1905, стр. VI.

ного; она указывает на всеобщую изменяемость; во вселенной, равно как и в истории человечества, она усматривает только непрерывный процесс созидания и разрушения, бесконечный переход от низших форм к высшим, — словом, процесс безостановочного развития путем разрушения существующего.

То обстоятельство, что сам Гегель, в противоречии с духом своего собственного учения, создал законченную философскую «систему», которую провозгласил абсолютной истиной, ничего не доказывает. Последователи великого мыслителя, признавая его метод, отвергли его положительные выводы. Если сам учитель мог (как думает Гейне, неискренно) излагать консервативные взгляды в королевско-прусском духе, то его ученики выступили с радикальной проповедью, направленной как против небесных, так и против земных авторитетов. Практические потребности борьбы с религией и с политической реакцией постепенно привели наиболее последовательных левых гегельянцев к материализму, заставив их восстановить прерванную было нить традиции, шедшую от французского материализма XVIII века¹.

В это время (1841 г.) появилась знаменитая книга Фейербаха «Сущность христианства», нанеся первая серьезный удар гегелевскому идеализму и снова возведшая на трон материализм. Книга произвела необычайное действие на публику. «Надо, — говорит Энгельс, — испытать на себе освободительное влияние этой книги, чтобы иметь о нем представление. Всех охватило воодушевление. Мы все стали вдруг последователями Фейербаха»². В то время как другие левые гегельянцы не в силах были критически превзойти гегелевскую философию, в то время как они, например Штраус и Бауэр, извлекали из нее по одной стороне и пользовались ею для борьбы против других сторон, Фейер-

¹ Известный идеалист-компилятор Куно-Фишер, одно время пользовавшийся популярностью у неразбиравшейся русской интеллигентной публики, пишет по поводу критических попыток левых гегельянцев — в данном случае представителей «чистой критики», Бруне Бауэра и К^о: «Концом этой песни («чистой критики». — Ю. С.) были нигилизм и анархизм, воплотившиеся в русском Бакунине и его сторонниках. Гегель называл свой метод диалектического или логического развития также методом абсолютной отрицательности... Теперь абсолютная отрицательность была понята не в утвердительном смысле, а как уничтожающее отрицание, которое было принято за конечную цель всякого развития, а философия Гегеля — за путь к нигилизму и анархизму» (Куно-Фишер — «История новой философии», том VIII, полутом II, Спб., изд. Д. Е. Жуковского, 1903, стр. 437).

² Ср. предисловие Квенцеля к первому изданию русского перевода, вышедшему в 1908 году в Петербурге. Второе издание выпущено Институтом Маркса и Энгельса (Л. Фейербах — «Сочинения», том II, М., 1926).

бах, по словам Энгельса, «сломал систему Гегеля и отбросил ее в сторону».

Основным вопросом философии является вопрос об отношении между мышлением и бытием. Идеализм признает примат духа над природой, материализм утверждает примат природы или материи. В этом отношении Фейербах шел навстречу материализму, отвергая идеализм Гегеля с его абсолютной идеей¹. По его словам «истинное отношение мышления к бытию есть следующее: бытие — с у б ' е к т, мышление — п р е д и к а т. Мышление обуславливается бытием, а не бытие мышлением. Бытие обуславливается самим собою... имеет свою основу в самом себе»².

Противоречие между бытием и мышлением, выразившееся особенно рельефно в учении Канта, разрешается в гегелевской философии просто посредством устранения одного из его составных элементов, т. е. бытия, природы, материи. У Гегеля мышление и есть бытие³. Это тоже монизм, но монизм, поставленный на голову. Идеализм не устанавливает единства бытия и мышления; он его разрывает. Фейербах еще до Маркса старается поставить гегелевскую диалектику «на ноги», провозглашая единство бытия и мышления, но не отождествляя их. Не материя есть продукт духа, а наоборот дух есть высший продукт материи. И хотя сам Фейербах не считал себя материалистом, говоря, что с материализмом он идет только до известного пункта, тем не менее исторически и объективно его учение было первым проявлением новейшего материализма⁴.

¹ Попытка Ланге доказать, что Фейербах не был материалистом («История материализма», Спб., 1899, т. II, стр. 394 и сл.), не выдерживает критики. См. Плеханов — «Основные вопросы марксизма», Спб., 1908, стр. 7 и сл.; его же — «За двадцать лет», изд. 3-е, Спб., 1909, стр. 271 и сл.

² Фейербах — «Избранные сочинения», том I, М., 1923, стр. 66.

³ «В учении Гегеля господствует убеждение, что понятия не только соответствуют сущности вещей, как копия оригиналу, но и составляют самую сущность вещей, что они есть сущность вещей. Это единство называется тождеством мышления и бытия» (Куно-Фишер, цит. соч., стр. 445).

⁴ «Посредствующим звеном между Гегелем и Марксом был Людвиг Фейербах, — пишет тот же Куно-Фишер. — В письме к Гегелю 28 ноября 1828 г. [Фейербах] утверждал, что считает его философию избавлением мира в настоящем и будущем от всякого дуализма, а потому и от всякой теологии, ортодоксальной и рационалистической; его учение есть дело всего человечества, а не одной лишь школы... За сочинением «Сущность христианства» во втором издании последовало «Grundsätze der Philosophie der Zukunft» («Основные положения философии будущего», 1843)... Фейербах поспешно приближается к атеизму и материализму... Он пришел к материа-

В основу своей системы Фейербах кладет человека. «Будущая философия, — говорит он в «Grundsätze der Philosophie der Zukunft», — делает человека (со включением природы как базиса человека) единственным, всеобщим и высшим предметом философии, — стало быть, антропологию со включением физиологии универсальной наукою»¹. Но фейербаховский человек это — не то бесплотное существо, которым оперирует идеалистическая философия; это — существо действительное и телесное. «Если, — замечает он, — прежняя философия имела своим исходным пунктом положение: я есть абстрактное, только мыслящее существо: тело не принадлежит к моей сущности, то будущая философия начинает, напротив, с положения: я есть действительное, чувственное существо: тело принадлежит к моей сущности, именно тело в своей целокупности и есть мое я, моя сущность»². Мыслит не отвелеченное существо, а именно это действительное физическое существо. Ни один из элементов противоречия, над которым бился старый идеализм, здесь не устраняется насильственно; оба они сохраняются в своем действительном единстве. Таким образом на место кантовского дуализма и идеалистического монизма Гегеля Фейербах ставит материалистический монизм.

«Гуманизм» (или «реальный гуманизм») Фейербаха, как верно замечает Плеханов³, оказывается спинозизмом, освобожденным от его теологической привески. Впрочем, не совсем освобожденным, как показывает Энгельс⁴. Окончательное освобождение спинозизма от теологической скорлупы произведено было Марксом и Энгельсом, которые таким образом и создали новейший материализм. И чрезвычайно характерно, что и Чернышевский, излагая взгляды Фейербаха в резкой и законченной материалистической форме, также указывает, как на

лизму, на котором вовсе не остановился прочно, а колебался, утратив единство с самим собою и не имея сил развиваться дальше» (loc. cit., стр. 439, 443, 444—445).

¹ Фейербах, цит. соч., т. I, стр. 136—137. — Ср. стр. 59: «тайною теологии является антропология». Отсюда и «антропологический» принцип Чернышевского. «Антропология» у Фейербаха служит антитезой теологии, то есть признанию какой-то изначальной сущности помимо материальной.

² Ibid., стр. 123; Ср. слова Дидро о «реальном, действующем, занятом и побуждаемом мотивами человеке» («Избранные сочинения», том II, страница 229).

³ «От классического идеализма», стр. 30 и сл.

⁴ «Основные вопросы марксизма», стр. 12; ср. его же — «Очерки по истории материализма»: «Материалистическая философия Фейербаха была, как и философия Дидро, лишь родом-спинозизма» (стр. 159).

предшественников «антропологического принципа», на Аристотеля и Спинозу¹.

Куно-Фишер правильно замечает, что «новая философия есть философия чувственного мира» (стр. 444). Фейербах говорит: «Органы чувств являются органами философии. Дух следует после чувства, а не чувство после духа; дух — это конец, а не начало вещей». И дальше: философия это — познание того, что есть. Познавать и мыслить вещи и существа так, как они суть, — вот высший закон, высшая задача философии. Бытие, с которого начинает философия, не может быть отделено от сознания, а сознание от бытия. Пространство и время суть формы существования всякого существа. Только существование в пространстве и времени есть истинное существование.

Существенными орудиями, органами философии являются: голова, — источник активности, свободы, метафизической бесконечности, идеализма, — и сердце, — источник страданий, конечного, потребностей, сенсуализма, или, выражаясь теоретически, мышление и созерцание, ибо мышление есть потребность головы, созерцание же и чувство — потребность сердца.

Философия должна снова² связаться с естествознанием, естествознание — с философией. Эта связь, основанная на взаимной потребности, на внутренней необходимости, будет продолжительнее, счастливее и плодотворнее, чем тот мезальянс, который до сих пор существовал между философией и теологией.

Материя есть важнейший объект для разума. Если бы не было материи, разум не имел бы ни побуждения, ни материала для мышления, не имел бы содержания. Материю нельзя отрицать, не отрицая разума, нельзя признавать, не признавая и последнего.

Действительное в своей действительности или в качестве такового является действительным лишь в качестве объекта чувства, в качестве чувственного. Истинность, действительность, чувственность тождественны. Только чувственное существо есть истинное, действительное существо. Не посредством мышления для самого себя, а лишь посредством чувств:

¹ «Антропологический принцип». «Соч.», т. VI, стр. 238. — Нечего и прибавлять, что Чернышевский не менее Маркса был свободен от теологических слабостей Фейербаха. Как высоко Чернышевский ставил Спинозу, видно из цитируемого ниже сибирского его письма.

² Повидимому, Фейербах имел здесь в виду именно французских материалистов, которые задолго до него высказали все эти мысли и зачастую теми же словами (ср., напр., Дидро и Гольбаха).

объект дается нам в своем истинном значении. Будущая философия мыслит в тесном согласии и мире с чувствами. «Она совершенно сознательно и радостно признает истинность чувственности; она — открытая чувственная философия»¹.

Объектом чувств является не только внешнее, но и внутреннее, не только плоть, но и дух, не только вещь, но и я.

Повторяя мысль Гольбаха, Фейербах говорит, что различие между сущностью и видимостью, основанием и следствием, субстанцией и акциденцией, необходимым и случайным, умозрительным и эмпирическим не дает основания для образования двух миров или царств — одного сверх-чувственного, к которому относятся сущности, и другого чувственного, к которому относятся видимости; эти различия отпадают в пределах самой чувственности.

Только в самое последнее время², как некогда в Греции после господства мира восточных грез, человечество снова вернулось к чувственному, т. е. не извращенному объективному восприятию чувственного, а стало быть, и действительного; но этим человечество вернулось только к самому себе.

Пространство и время не являются только формами явлений; они суть основные условия, разумные формы, законы как бытия, так и мышления. Где нет пространства, там нет места и системе. Где нет пространственных различий, там нет и логических. Действительное мышление это — мышление в пространстве.

Вещи не могут мыслиться иначе, чем они бывают в действительности. Законы действительности являются также и законами мышления. Средством соединить в одном и том же существе противоположные или противоречащие определения соответствующим действительности образом является только время.

Действительное в своей действительности и цельности — объект философии будущего — является также и объектом действительного и цельного существа. Если старая философия говорила: только разумное истинно и действительно, то будущая философия напротив заявляет: истинно и действительно только человеческое, ибо только человеческое — разумно; человек — мера разума³.

¹ Фейербах, том I, стр. 44; 66, 75, 91, 120, 123.

² Снова, повидимому, намек на французскую материалистическую философию XVIII века.

³ Ibid., стр. 126—131. Большая часть этих мыслей изложена в «Основах философии будущего» 1843 г., которыми руководствовался Чернышевский при писании своей статьи. Как мы видим, они в значительной мере повторяют положения Гольбаха и др. Мы не приводим цитат из более поздних

Таковы были основные взгляды мыслителя, оказавшего такое огромное влияние на основателей научного социализма, а также на Чернышевского.

2. МАТЕРИАЛИЗМ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

а) Отрицание субъективизма и агностицизма.

Мы уже знаем, какое сильное влияние оказал Фейербах на юного Чернышевского. Если не со времени своего знакомства с ним, т. е. с 1849 года, то со времени окончательного принятия его учения, т. е. примерно с 1850—1851 года, Чернышевский считал себя его последователем и остался ему верен до конца жизни ¹. Составить себе представление о том, с каким благоговением Чернышевский относился к своему учителю, можно отчасти по письму его к сыновьям из Вилюйска от 11 апреля 1877 года. Вот что там пишет Чернышевский.

«Если вы хотите иметь понятие о том, что такое, по моему мнению, человеческая природа, узнавайте это из единственного мыслителя нашего столетия, у которого были совершенно верные, по моему, понятия о вещах. Это — Людвиг Фейербах. Вот уж 15 лет я не перечитывал его... Но в молодости я знал целые страницы из него наизусть. И, сколько могу судить по моим потускневшим понятиям о нем, остаюсь верным последователем его.

«Он устарел? — Он устареет, когда явится другой мыслитель такой силы. Когда он явился, то устарел Спиноза. Но прошло более полутора лет, прежде чем явился достойный преемник Спинозе.

«Не говоря о нынешней знаменитой мелюзге вроде Дарвина, Милля, Герберта Спенсера и т. д., тем менее говоря о глупцах, подобных Огюсту Конту, ни Локк, ни Гьюм (Юм), ни Кант, ни Гольбах ², ни Фихте, ни Гегель не имели такой силы мысли, как Спиноза. И до появления Фейербаха надобно было учиться понимать вещи у Спинозы, устарелого ли или нет, например, в начале нынешнего века, но все

произведений Фейербаха, которыми Чернышевский не мог в то время пользоваться.

¹ «Не было, — пишет Н. Котляревский (цит. ст., стр. 235), — ни одного даже мирового авторитета, ни одного философа, историка, поэта, которого Чернышевский не задел бы слегка или сильно каким-либо критическим замечанием, и только одни Фейербах не слышал с его стороны никогда таких возражений... Это увлечение началось с того момента, как Фейербах помог Чернышевскому в одну из самых критических минут» борьбы традиционной веры с неверием.

² «Имя Гольбаха, — замечает Г. Плеханов («Соч.», т. VI, стр. 379), — стоит у Чернышевского рядом с именами Локка, Юма, Фихте и Гегеля. Это... очень характерно для него как для материалиста».

равно — единственного надежного учителя. Таково теперь положение Фейербаха: хорош ли он или плох, это как угодно; но он безо всякого сравнения лучше всех.

«Специальным образом он успел разработать лишь одну часть своего миросозерцания, ту часть философии, которая относится к религии. Обо всем остальном у него попадаются лишь делаемые мимоходом краткие заметки»¹.

С момента усвоения идей Фейербаха Чернышевский и датирует свой переход на материалистическую позицию. «Я, — говорит он в письме к родным от 27 апреля 1876 г., — с первой молодости был твердым приверженцем того строго научного направления, первыми представителями которого были Левкипп, Демокрит и т. д. до Лукреция Кара, и которое теперь начинает быть модным между учеными»², т. е. материализма, с основами которого он познакомился первоначально у Фейербаха, развив и обогатив их затем изучением французских материалистов и естественных наук.

Те философские колебания, которые отчасти присущи были Фейербаху, Чернышевский преодолел, приняв материализм полностью, без колебаний и оговорок. Фейербах, например, говорил: «Истина не есть ни материализм, ни идеализм, ни физиология, ни психология; истина — только антропология, истина — только точка зрения чувственности, созерцания, потому что только эта точка зрения дает мне целостность и индивидуальность»³. Такого странного противопоставления материализма точке зрения чувственности Чернышевский не знал. Во всяком случае, когда он называл себя последователем Фейербаха, он считал его последовательным сторонником материалистической философии. Иначе при свойственной ему теоретической прямоте он открыто выступил бы против своего учителя⁴.

И недаром такой строгий критик, как Г. В. Плеханов, в результате внимательного рассмотрения философских воззрений Чернышевского приходит к тому выводу, что «в философском отношении он был очень близок к Энгельсу и Марксу» («Соч.», т. VI, стр. 305)...

¹ «Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 126. — Последнее указание Чернышевского совершенно правильно; оно подтверждает мою мысль, что, составляя свою статью «Антропологический принцип», он руководствовался не только Фейербахом.

² Ibid., вып. II, стр. 26.

³ Фейербах — «Против дуализма тела и души, плоти и духа». «Соч.», т. I, стр. 157.

⁴ И Плеханов совершенно прав, когда замечает: «Как бы там ни было, а Н. Г. Чернышевский понимал Фейербаха в материалистическом смысле» («Соч.», т. V, стр. 194).

Прежде всего встает естественный вопрос о задачах и пределах философии как науки. Известно замечание Энгельса о том, что с развитием науки философия в прежнем понимании этого слова становится излишней. «Материализм, — говорит он, — по существу диалектичен и не нуждается ни в какой, над другими науками стоящей, философии. Когда к каждой отдельной науке пред'является требование выяснить свое место в общей связи вещей и познания их, то всякая особая наука об общей связи вещей и познания становится излишней. От всей прежней философии остается тогда лишь учение о мышлении и его законах, формальная логика и диалектика. Все остальное растворяется в положительной науке о природе и истории»¹.

Эта мысль, как оказывается, была высказана уже в относящейся к 1845 году рукописи Маркса и Энгельса о Фейербахе, опубликованной в первой книге «Архива К. Маркса и Ф. Энгельса». По этому поводу Д. Рязанов в предисловии к этому манускрипту говорит: «Тот вывод, который нам знаком из Анти-Дюринга, формулирован уже в рукописи о Фейербахе. Философия, как особая наука об общей связи вещей и знаний, как *summa summarum* всего человеческого знания, становится излишней. От всей прежней философии остается только наука о законах мышления — формальная логика и диалектика»². Этот же взгляд, как напоминает Плеханов, был, впрочем тоже в 1845 году, высказан и Фейербахом, заявившим, что его «философия состоит в том, что не нужно никакой философии», и полагавшим, что философия должна уступить место естествознанию³, для чего натуралисты должны предварительно усвоить основные выводы философии. Повидимому, Чернышевский смотрел на дело точно так же.

В предисловии к предполагавшемуся в 1888 году третьему изданию «Эстетических отношений» Чернышевский прямо ссылается на выше-приведенное заявление Фейербаха. «В 1845 году, — пишет он, — в предисловии к собранию своих сочинений он (Фейербах) уже говорил, что философия отжила свой век, что ее место должно быть занято естествознанием... Это заявление, что он считает устаревшими и такие свои труды, как «Сущность религии», основывалось на надежде, что скоро явятся натуралисты, способные заменить философов в деле раз'яснения тех широких вопросов, исследование которых было до той поры специальным занятием мыслителей, называвшихся философами».

¹ Э н г е л ь с — «Анти-Дюринг», Гиз, М., 1923, стр. 19.

² «Архив Маркса и Энгельса», кн. 1, 1924, стр. 199.

³ Плеханов, т. V, стр. 206. «Начало философии, — говорит Фейербах (том I, стр. 44), — является началом знания в о о б щ е, а не началом ее самой как о с о б о г о знания, отличного от знания реальных наук».

Но осуществилась ли эта надежда? — спрашивает Чернышевский. Нет, отвечает он. «Этого не сделано до сих пор (писано в 1888 году. — Ю. С.). Те натуралисты, которые воображают себя строителями всеобъемлющих теорий, на самом деле остаются учениками и обыкновенно слабыми учениками старинных мыслителей, создавших метафизические системы, и обыкновенно мыслителей, системы которых уже были разрушены отчасти Шеллингом и окончательно Гегелем¹. Достаточно напомнить, что большинство натуралистов повторяют метафизическую теорию Канта о субъективности нашего знания, толкуют со слов Канта, что формы нашего чувственного восприятия не имеют сходства с формами действительного существования предметов, что поэтому предметы, действительно существующие, и действительные качества их, действительные отношения их между собою непознаваемы для нас, и если бы были познаваемы, то не могли бы быть предметом нашего мышления, — влагающего весь материал знаний в формы совершенно различные от форм действительного существования, что и самые законы мышления имеют лишь субъективное значение, что в действительности нет ничего такого, что представляется нам связью причины с действием, потому что нет ни предыдущего, ни последующего, нет ни целого, ни частей, и т. д., и т. д. Когда натуралисты перестанут говорить этот и тому подобный метафизический вздор, они сделаются способны вырабатывать и, вероятно, выработают на основании естествознания систему понятий более точных и полных, чем те, которые изложены Фейербахом. А пока, лучшим изложением научных понятий о так называемых основных вопросах человеческой любознательности остается то, которое сделано Фейербахом»².

По поводу этой критики кантианства Ленин, высоко ценивший Чернышевского и как философа, и как политика, в своей книге «Материализм и эмпирио-критицизм» говорит: «Чернышевский стоит позади Энгельса, поскольку он в своей терминологии смешивает противо-

¹ Чернышевский имеет в виду Дюбуа-Реймона и прочих натуралистов, выступивших с заявлением об относительности человеческого знания и т. п.

² Чернышевский — «Сочинения», том X, часть II, стр. 191 и 195—196. — А. Токарский («Н. Г. Чернышевский по личным воспоминаниям». «Р. Мысль», 1909, № 2, стр. 54) рассказывает, что Н. Г. в разговорах с ним любил подшучивать над философией и философами, и не по отношению к какой-либо школе или направлению, а вообще к понятию философии. «Можно дойти до такой нелепости — философия математики, философия педагогики! И самой-то педагогики не существует, а уже философию ее создали. Нет никакой философии и не может быть. Есть выводы, заключения правильные и неправильные, подлежащие проверке, а философии никакой нет». И Н. Г. с упорством всякую нелепость продолжал именовать «философией»

положение материализма идеализму с противоположением метафизического мышления диалектическому, но Чернышевский стоит вполне на уровне Энгельса, поскольку он упрекает Канта не за реализм, а за агностицизм и суб'ективизм, не за допущение «вещи в себе», а за неумение вывести наше знание из этого об'ективного источника. Критика Канта Чернышевским диаметрально противоположна критике Канта Авенариусом-Махом и имманентами, ибо для Чернышевского, как и для всякого материалиста, формы нашего чувственного восприятия имеют сходство с формами действительного, т. е. об'ективно-реального существования предметов. Для Чернышевского, как и для всякого материалиста, предметы, т. е. говоря вычурным языком Канта, «вещи в себе», действительно существуют и вполне познаваемы для нас, познаваемы и в своем существовании, и в своих качествах, и в своих действительных отношениях. Для Чернышевского, как и для всякого материалиста, законы мышления имеют не только суб'ективное значение, т. е. законы мышления отражают формы действительного существования предметов, совершенно сходятся, а не различаются, с этими формами. Для Чернышевского, как и для всякого материалиста, в действительности есть то, что представляется нам связью причины с действием, есть об'ективная причинность или необходимость природы. Чернышевский называет метафизическим вздором всякие отступления от материализма и в сторону идеализма, и в сторону агностицизма. Основными вопросами человеческой любознательности Чернышевский называет то, что на современном языке называется основными вопросами теории познания или гносеологии. Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 1888 года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее, не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса»¹.

Как ясно уже из предыдущей цитаты, Чернышевский относился с решительным осуждением к учениям, которые в той или иной мере провозглашали суб'ективизм человеческого мышления и непознаваемость внешнего мира². На этом основании он не мог относиться

¹ Н. Ленин — «Собрание сочинений», М., 1923, том X, стр. 305.

² Чернышевский, говорит Н. Русланов в статье «Чернышевский в Сибири» («Русск. Богатство», 1910, № 5, стр. 172—173), был ярким противником агностицизма, ставившего произвольно пределы человеческому сознанию и утверждавшего, что вещи сами по себе никогда не могут быть познаны человеком. «Этим объясняется и крайне резкое отношение Чернышевского к

к Канту иначе, как к метафизику. С такой же суровостью он отнесся к творцу так наз. «положительной философии» Огюсту Конту, высказывавшемуся в своем «Курсе положительной философии» если не за непознаваемость, то за неполную познаваемость вещей¹.

Вот как он выражается на этот счет в письме к сыновьям из Виллюиска от 27 апреля 1876 года.

«Есть другая школа, в которой гадкого нет почти ничего (если не считать глупостей ее основателя, отвергнутых его учениками), но которая очень смешна для меня. Это — огюстконтизм. Бедняга Огюст Конт, не имея понятия ни о Гегеле, ни даже о Канте, ни даже, кажется, о Локке, но научившись многому у Сен-Симона (гениального, но очень невежественного мыслителя) и выучивши наизусть всяческие предисловия к руководствам по физике, вздумал сделаться гением и создать философскую систему... Этот трудолюбивый Огюст Конт, вообразивший себя гением, размазал на шесть томов две-три странички, которые с давнего времени переписываемы были каждым составителем руководства к изучению физики, — переписываемы из Локка, в виде предисловия к трактату. К этому прибавил Огюст Конт кое-какие мелочи из Сен-Симона и от собственных сил — формулу о трех состояниях мысли (теологич., метафизич., положительном) — формулу совершенно вздорную (правда тут лишь в том, что прежде, чем удастся построить гипотезу, сообразную с истиной, очень часто люди придумывают гипотезы неудачные. Ошибка очень часто предшествует истине — только

позитивизму, не желающему доходить до конечных причин в своем познании мира под тем предлогом, что это — метафизика. Наоборот, по Чернышевскому метафизикою и будет та робкая работа мысли, которая останавливается на полдороге познания, уверяя себя, что дальше человеку идти нельзя». То же отмечает и Плеханов, когда говорит (том VI, стр. 302): «Взгляд на человека как на часть природы естественно дополняется у Чернышевского совершенно отрицательным отношением к тем философским системам, которые так или иначе утверждали непознаваемость внешнего мира».

¹ Замечательно, что Конт произвел неблагоприятное впечатление на Чернышевского еще в юные годы, в частности своим делением истории человеческой мысли на три фазы — теологическую, метафизическую и положительную. Это видно из его записи в дневнике, сделанной 12 декабря 1848 года: «Читал вечером Aug. Comte «Положительная философия», I том. Математическая часть не для меня, почти ничего не понял, и 1 часть 1 лекции сначала довольно было понравилась, а теперь, прочитавши 21 лекцию, в сильном подозрении, не вздор ли все это, и эти 3 периода, и все: может быть, это просто ограниченная голова вздумала подвести под свою математическую систему социальные и исторические философские науки. Не знаю, только этого тома больше читать не буду, а попрошу другие томы».

и всего. А теологич. периода науки никогда не бывало; метафизика в том смысле, как понимает ее Огюст Конт, тоже вещь никогда не существовавшая). Итак, вышло шесть томов, очень толстых и скучных. Следовательно, великое научное творение — ура! И пошло: «ура!» А в сущности это какой-то запоздалый выродок «Критики чистого разума» Канта. Творение Канта объясняется тогдашними обстоятельствами положения науки в Германии. Это была неизбежная сделка научной мысли с ненаучными условиями жизни. Как быть! Канту нельзя ставить в вину, что он придумал нелепость (то есть, даже и не придумал, а вычитал из Юма, которого, — вот смех-то! — воображает он опровергать, перефразируя): надобно же было хоть как-нибудь преподавать хоть что-нибудь не совершенно гадкое. И он решил: «Что ложь, и что истина, этого мы не знаем и не можем знать. Мы знаем только наши отношения к чему-то неизвестному. О неизвестном не буду говорить: оно неизвестно». — Но во Франции, в половине нынешнего века, это нелепая уступка — нелепость совершенно излишняя. А Огюст Конт преусердно твердит: «неизвестно», «неизвестно». Но для мыслителей, которым не хочется искать или высказывать истину, это решение очень удобное. В этом разгадка успеха системы Огюста Конта»¹.

¹ «Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 27—28. — Н. Русанов в статье «Чернышевский в Сибири» («Русское Богатство», 1910, № 5, стр. 163) напоминает, что в свое время Чернышевский отзывался о Конте, равно как и о некоторых других, напр., о Мальтусе и Прудоне, не так резко, как в сибирских письмах. Так, в статье «Июльская монархия», напечатанной в «Современнике» в 1860 году, он написал о Конте: «Основатель положительной философии, единственной философской системы, верной научному духу, один из гениальнейших людей нашего времени» («Соч.», т. VI, стр. 135). Правда, Русанов пропускает тут слова «у французов», что несколько меняет смысл похвалы Чернышевского, ибо во Франции господствовал в то время философский эклектизм, особенно ярко выразившийся в лице Кузена и вызывавший презрение Чернышевского, а в сравнении с Кузеном и Конт мог представляться образцом научности. Но более резкий тон оценок в сибирских письмах по сравнению с прежними отзывами в ряде случаев несомненно замечается. Русанов объясняет это личной судьбой Чернышевского. Несомненно, торжество реакции, в частности и в философской области, заставило Чернышевского изменить свое отношение к колеблющимся элементам, в смысле его обострения, и между прочим ко всем проявлениям идеалистической метафизики. И Русанов прав, когда говорит там же (стр. 167): «В Сибири... развитие материалистического мировоззрения Чернышевского продолжалось далее. Его материализм даже приобретал более острые углы, становился резче и с большею энергиею противопоставлял себя всем другим направлениям».

Это отрицательное отношение к попыткам возрождения агностицизма и субъективизма сказывается и в статье Чернышевского «Характер человеческого знания», написанной по возвращении из ссылки и напечатанной в №№ 63—64 газеты «Русские Ведомости» за 1885 год¹. Она направлена против умствований ряда натуралистов, в том числе Вирхова и Дюбуа-Реймона, утверждавших, что мы знаем лишь наши представления о предметах, самих же предметов не знаем и не можем знать. Чернышевский называет эту новую форму идеализма «иллюзионизмом» (может быть, потому, что ввиду обычного двойственного значения слова «идеализм» считал его неточным и неподходящим). На это старый фейербахианец отвечает: «Говорить, что мы имеем лишь знание наших представлений о предметах, а прямого знания самих предметов у нас нет, значит отрицать нашу реальную жизнь, отрицать существование нашего организма». Показав нелепость схоластических приемов, употребляемых «иллюзионистами» для доказательства своих утверждений, Чернышевский заключает: «Разум подвергает проверке все. Но у каждого образованного человека есть множество знаний, которые уже проверены его разумом и оказались по проверке не могущими подлежать для него ни малейшему сомнению, пока он останется человеком здравого рассудка»².

По этому поводу С. Вольфсон замечает: «Раз я отрицаю объективную действительность окружающего мира, раз я мыслю этот мир в неразрывной связи с моими восприятиями, раз для меня без субъекта нет объекта, то, если я только последовательно мыслю, я должен дойти до солипсизма³ или, как говорил Н. Г. Чернышевский, до «иллюзионизма». Великий русский мыслитель понимал, что стоит усомниться в существовании внешнего мира самого по себе, для того чтобы логически дойти до отрицания реальности нашего собственного организма, до утверждения, что «то, что представляется нам как внешний мир, — галлюцинация нашей мысли, ничего подобного не существует вне нашей мысли и не может существовать»⁴.

¹ Перепечатана в «Соч.», т. X, ч. II, стр. 1—15.

² Отрицательное отношение к позитивистам и агностикам Чернышевский сохранил до конца. Как сообщает В. Ильинский (цит. ст., стр. 205), в одном из писем к А. Пыпину от 1884 года Чернышевский называет все рассуждения Спенсера (в «Основных началах») о непознаваемом пошлыми.

³ Крайняя идеалистическая система, признающая только существование собственного Я индивидуума.

⁴ С. Я. В о л ь ф с о н — «Диалектический материализм», Минск, 1924, изд. 4-е, стр. 95 и 100.

б) Материалистический монизм.

По всему складу своего последовательного и цельного ума Чернышевский органически не мог бы примириться ни с какой философской системой, в основе которой лежал дуализм. Он признавал только монизм. Но монизм может быть идеалистическим или материалистическим. И, конечно, Чернышевский, как по своим личным стремлениям, так и по условиям исторической обстановки, должен был сделаться сторонником материалистического монизма.

Но отсюда не следует, чтобы он не понимал исторического значения идеалистического монизма.

Чернышевский называл систему гегелевской философии «строгой и возвышенной». Он смотрел на нее как на последнюю систему идеализма, наиболее совершенную в своем роде, но тем не менее недостаточную, двойственную и исполненную противоречий между ее принципами и выводами, духом и содержанием. Вот почему он мог говорить про себя: «Мы столь же мало последователи Гегеля, как и Декарта или Аристотеля. Гегель ныне уже принадлежит истории, настоящее время имеет другую философию и хорошо видит недостатки гегелевской философии»¹. По мнению Чернышевского, гегелевская философия побеждена и превзойдена материализмом, но она во всяком случае стоит выше всех других идеалистических систем и ближе всего подошла к материалистической философии, которой она приуготовила пути.

Как убежденный монист, он презрительно относился к «кашице, называвшейся эклектической философией» (Кузен), которая, по его словам, не имела большого научного достоинства, но была хороша тем, что легко переваривалась людьми, еще не готовыми к восприятию строгих и резких систем немецкой философии. Кстати, любопытно отметить, что эклектиком Чернышевский считал и Лаврова: этот слабый пункт в миросозерцании Лаврова он отметил с первого же литературного выступления Петра Лавровича². Последовательность в мысли, как и в действии, он признавал делом своей чести и достоинства.

Усвоив после некоторой внутренней борьбы материалистические взгляды, Чернышевский остался верен им до конца. Каковы были его основные воззрения на природу, прекрасно видно из двух его сибирских писем от 21 июля и 15 сентября 1876 года, в которых он в поучение сыновьям излагает свои «общие понятия о природе». Так как взгляды

¹ «Сочинения», т. II, стр. 185. Ср. стр. 186—189, 214. — «Ошибки Гегеля, — замечает Чернышевский, — не имели важных последствий, между тем как здоровая часть его учения действовала очень плодотворно».

² «Антропологический принцип в философии». «Соч.», т. VI, стр. 179 и сл.

Чернышевского в этом отношении остались неизменными, то мы позволим себе начать эту главу именно с передачи содержания указанных писем, тем более что в них эти взгляды изложены с выразительной краткостью и полной ясностью, напоминая лучшие страницы Дидро и Гольбаха, трактующие об аналогичных предметах.

Итак, вот что говорит Чернышевский.

То, что существует, называется материею. Взаимодействие частей материи называется проявлением качеств этих разных частей материи. А самый факт существования этих качеств мы выражаем словами: «материя имеет силу действовать» или, точнее, «оказывать влияние». Когда мы определяем способ действия качеств, мы говорим, что мы находим «законы природы». Естествознание изучает материю и способы действия существующих в ней качеств. О материи оно старается узнать факты; в изучении способов ее действия оно старается находить формулы законов природы¹.

«То, что существует, — материя. Материя имеет качества. Проявления качеств — это силы. То, что мы называем законами природы, это способы действия сил»².

«Разные качества вещества это — все одно и то же неизменное вещество, рассматриваемое с разных точек зрения... Одно из качеств вещества — иметь, говоря по-просту, какой-нибудь вес или, выражаясь научным термином, иметь какую-нибудь массу. Другое качество вещества — иметь какую-нибудь величину по каждому из трех измерений... Сила это — опять-таки само же вещество, рассматриваемое со стороны своего действия, с одной определенной точки зрения... Законы природы это — само же вещество, рассматриваемое со стороны способов взаимодействия его частиц или масс его частиц...

«Это не изложение, даже не очерк, — это лишь характеристика одной стороны системы общих научных понятий». В эту характеристику Чернышевский по собственному решению ввел две черты: «во-первых, признание так называемой ньютоновой «гипотезы» о силе всеобщего взаимного притяжения, то есть на житейском языке веса, на научном — массы, за фактически и логически неопровержимую исти-

¹ «Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 45.

² Ibid., стр. 55—56. — И Чернышевский спешит пояснить: «Это мой образ мыслей. Но мой он лишь в том смысле, что я усвоил его себе. Лично мне ровно ничего не принадлежит в его разработке. В мое молодое время, когда формировались мои понятия, натуралисты за немногими исключениями были враждебны этому образу мыслей, и я приобрел его не от них, а наперекор им. Теперь почти все они стараются держаться его. Но вообще они еще очень плохо усвоили его себе».

ну». Лаплас, по мнению Чернышевского, до такого вывода не дошел; Спиноза еще не знал трудов Ньютона; Фейербах, единственный после Спинозы компетентный в таких вопросах мыслитель, не занимался этими вопросами. Пришлось решать самостоятельно. «Во-вторых, то же самое по вопросу о делимости вещества». Чернышевский всегда непоколебимо держался того взгляда Ньютона, что «атомы — факт», считая его «строго доказанной истиной».

И, за исключением этих двух пунктов, по которым Чернышевский сделал свои выводы самостоятельно, «никакого ученого мнения, противоречащего чем бы то ни было чему бы то ни было в этих остальных характеризованных мною моих понятиях, я не могу признать научным»¹.

Научным он признавал только материализм. И с гордостью он писал родным 1 марта 1878 года из Сибири: «Я — ученый. Я — один из тех ученых, которых называют «мыслителями». Я — один из тех мыслителей, которые неуклонно держатся научной точки зрения. Они — в самом строгом смысле слова «люди науки». Таков я с моей ранней молодости. И моя обязанность рассматривать все, о чем думаю, с научной точки зрения (курсив мой) давно, очень давно вошла в привычку мне так, что я уж не могу думать ни о чем иначе, как с научной точки зрения» (ibid., вып. III, стр. 73).

Раз усвоив материалистическую философию, Чернышевский уже не знал сомнений. Материализм может ошибаться в частностях, может временно быть бессилем объяснить ту или другую деталь, — общий принцип этим нисколько не колеблется. «Мои ошибки могли быть лишь в мелочах, — пишет он 7 июля 1877 года. — До сущности мыслей они не относятся. Предметы моих ученых занятий были очень далеки от естествознания как особенного отдела науки. Но по связи всех отделов науки между собою мне для моих ученых занятий необходимо было иметь отчетливое знание об основных законах и важнейших фактах всех отделов науки» (ibid., вып. II, стр. 182).

Все дальнейшие открытия естествознания могут принести новые дополнения и подтверждения материалистической системы, но они не могут изменить ее по существу. Чернышевский высказывает уверенность, что элементы будут в конце концов разложены (он называет азот), что отдельные элементы представляют различные степени сгущения одного первоначального вещества². Но новые достижения науки не способны поколебать основного научного воззрения на природу. «Это

¹ «Чернышевский в Сибири», вып. III, стр. 27—31.

² То же, III, стр. 40.

знание (солнечного света)—очень важное. Но для моего образа мыслей индифферентно то, что прежде мы не имели, а теперь приобрели это знание. Это похоже на то, что никакие успехи геометрии не изменяют основного понятия о трех измерениях пространства»¹.

Остается «невесомый» эфир; но «его невесомость — нелепость» (ibid., вып. III, стр. 49—50).

Да, Чернышевский был не из тех материалистов, которые сегодня готовы отступить перед великими открытиями эмпирио монизма, а завтра испугаться эйнштейновской теории относительности! Он твердо знал, что знал и чего хотел...

Через несколько лет после ознакомления с произведениями Фейербаха, когда Чернышевскому нужно было написать магистерскую диссертацию, он и решил изложить хоть часть идей своего учителя и применить их к разрешению основных вопросов эстетики. Таким образом появились «Эстетические отношения искусства к действительности». Затем Чернышевский неоднократно излагал взгляды Фейербаха, когда говорил о философских вопросах, но делал это мимоходом. И только в статье «Антропологический принцип в философии» он попытался дать более или менее связное и систематическое изложение своего материалистического мировоззрения.

Написана была эта знаменитая статья по поводу вышедшей в 1860 году брошюры П. Л. Лаврова «Очерки вопросов практической философии». Лавров был всегда эклектиком в философии, даже впоследствии, когда считал себя марксистом; в рассматриваемое же время он во всяком случае стоял ближе к идеализму, чем к материализму. И недаром во время полемики, вспыхнувшей в связи с появлением статьи «Антропологический принцип», враги Чернышевского считали Лаврова своим и противопоставляли его зловредному проповеднику материализма. Впрочем, брошюра Лаврова была для Чернышевского лишь внешним поводом для того, чтобы представить русской публике, имевшей тогда самое слабое понятие о системах философии, более или менее цельное изложение основных положений материализма².

¹ То же, вып. III, стр. 39 (письмо от 9 февраля 1878 года). «Я читаю и радуюсь великому открытию (спектрального анализа). Кое-какие из веществ, найденных на каком-нибудь небесном теле, — те самые, какие правдоподобно было прежде предполагать существующими на нем; то, что нашлись там некоторые другие, показывает, что Левкипп и Демокрит были люди умнее очень многих из нас, в том числе и меня».

² По мнению Плеханова, в основу статьи легли, главным образом, следующие сочинения Фейербаха: «Основы философии будущего» и пояснения к ним, озаглавленные «Против дуализма тела и души, духа и тела» («Соч.», том VI, стр. 257). К этому нужно прибавить «Лекции о религии», на которые

Чернышевский начинает свою статью с двух существенных указаний. Во-первых, он напоминает, что отдельные философские учения тесно связаны с политическими и общественными взглядами их авторов. Этим он дает понять, что и для него материализм связан с определенными социальными стремлениями, в данном случае с социалистическими, о чем по цензурным условиям он не мог, разумеется, более ясно сказать. Об этом мы должны будем помнить, когда будем говорить о взгляде Маркса на связь между материализмом и коммунизмом. Во-вторых, Чернышевский отводит тех двух мыслителей, на которых ссылался Лавров для оправдания своей эклектической точки зрения, именно Милля и Прудона. Милля он отказывается признать представителем современной философии по той причине, что тот никогда не занимался «собственно тою частью науки, которую принято у нас называть философиею, — теориею решения самых общих вопросов науки, обыкновенно называемых метафизическими, напр., вопросов об отношении духа к материи, о свободе человеческой воли, о бессмертии души и т. д.», и что «он преднамеренно отклоняется от высказывания всякого мнения о подобных предметах, как будто считая их недоступными точному исследованию». Прудон же, хотя и познакомился с немецкой философией, но «узнал немецкую философию под формою системы Гегеля и остановился на этой форме как на окончательном выводе, между тем как в Германии наука развивалась дальше»; другими словами, Прудона он упрекает в незнакомстве с Фейербахом, а здесь, по словам Чернышевского, не спасает и присущий Прудону пролетарский инстинкт. Более того, из брошюры Лаврова Чернышевский сделал тот вывод, что и Лавров незнаком с системою Фейербаха. И вот он приступает к ее изложению, пополняя его другими источниками и соображениями, в которых читателю нетрудно будет, наряду с собственными мыслями Чернышевского, составлять результат его самостоятельного размышления, узнать уже известные нам мысли французских материалистов XVIII века.

Прежние теории нравственных наук, говорит Чернышевский, лишены были всякого научного значения благодаря пренебрежению к антропологическому принципу. Что же это за антропологический принцип? «Антропология, — отвечает Чернышевский, — это такая наука, которая, о какой бы части жизненного человеческого процесса ни говорила,

ссылается сам Чернышевский в одном из сибирских писем (см. в главе о морали разумного эгоизма), а также «Систему природы» Гольбаха и «Об уме» Гельвеция, влияние которого особенно заметно в части статьи, посвященной вопросам морали (что в «Очерках по истории материализма» отмечает и Плеханов).

всегда помнит, что весь этот процесс и каждая часть его происходят в человеческом организме, что этот организм служит материалом, производящим рассматриваемые ею феномены, что качества феноменов обуславливаются свойствами материала, а законы, по которым возникают феномены, есть только особенные частные случаи действия законов природы» (курсив наш).

Здесь совершенно определено выставлен основной принцип фейербаховского «гуманизма», принимающего как отправной пункт новой философии действительного, чувственного человека. Слова Чернышевского о свойствах материала, производящего рассматриваемые философией феномены, — т. е. человеческого организма, напоминают слова Фейербаха о человеческой голове, в которой перерабатываются ощущения, получаемые из внешнего мира. «В споре между материализмом и спиритуализмом, — говорит Фейербах, — речь идет о человеческой голове. Раз мы узнали, что представляет собой та материя, из которой состоит мозг, мы скоро придем к ясному взгляду и насчет всякой другой материи, насчет материи вообще».

В этих словах содержится сущность «антропологического принципа».

Дабы вернее побороть старые идеалистические предрассудки, Чернышевский на протяжении своей статьи неоднократно возвращается к доказательству мысли о единстве природы. Только как опытный педагог, вдобавок принужденный считаться с свирепой цензурой, он осторожно подходит к щекотливой по тогдашнему времени теме. Сначала он говорит о единстве человеческого организма, подготавливая читателя к мысли, что физические и психические явления имеют один общий источник. Затем он постепенно вовлекает в сферу своей аргументации различные царства природы, доказывая, что минералы, растения и животные состоят из одних и тех же элементов, только в различных комбинациях. Происходящие в неорганических и органических телах явления различаются лишь степенью своей интенсивности, лишь количественно, причем количественные различия переходят в качественные. Вывод: человек есть лишь высший продукт органической жизни, но все явления человеческого организма, как физические, так и психические, подлежат общим законам природы подобно всем другим телам.

К установлению этого единства природы шло все развитие науки. «Союз точных наук под управлением математики, — говорит Чернышевский, — то есть меры, счета и веса, с каждым годом расширяется на новые области знания, увеличивается новыми пришельцами. После

химии к нему постепенно присоединились все науки о растительных и животных организмах: физиология, сравнительная анатомия, разные отрасли ботаники и зоологии; теперь входят в него нравственные науки». Вступивши в круг точных наук, вместе с ними ставши на материалистическую, т. е. материалистическую точку зрения, «нравственные науки» начинают приобретать характер настоящей науки, научную достоверность. Первым следствием этого вступления было точное отграничение того, что мы знаем, от того, чего пока не знаем, — главным же образом распространение закона причинности на область духовных явлений¹.

Исходя из принципа единства природы, Чернышевский вслед за французскими материалистами и за Фейербахом полагает в основу нравственной философии данные естественных наук. «Основанием для той части философии, которая рассматривает вопросы о человеке, точно так же служат естественные науки, как и для другой части, рассматривающей вопросы о внешней природе». Частным выводом из положения об единстве природы является принцип единства человеческого организма, «единство натуры человека». И Чернышевский самым решительным образом отвергает всякую мысль о дуализме человека. «Философия, — говорит он, — видит в нем (человеке) то, что видят медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел кроме реальной своей натуры другую натуру, то эта другая натура непременно обнаружилась бы в чем-нибудь, и так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет».

Но при единстве натуры, прибавляет Чернышевский, мы замечаем в человеке два различных ряда явлений: явления так называемого материального порядка (человек ест, ходит) и явления так называемого нравственного порядка (человек думает, чувствует, желает). В каком же

¹ Это признание закона причинности в области нравственных явлений явилось прямым выводом из принципа единства природы и ее законов. Чернышевский подробно анализирует и, как последовательный материалист, отвергает свободу воли. «То явление, — говорит он, — которое мы называем волею, само является звеном в ряду явлений и фактов, соединенных причинною связью». — Плеханов («Соч.», т. VI, стр. 306) замечает, что взгляд Чернышевского на вопрос о свободе воли сложился (кроме Фейербаха) также под сильным влиянием Р. Оуэна, который заимствовал свой взгляд на образование человеческого характера у французских материалистов XVIII века, преимущественно у Гельвеция. Но ведь Чернышевский сам читал Гельвеция и, надо полагать, других материалистов.

отношении между собою находятся эти два порядка явлений? — спрашивает он. Не противоречит ли их различие единству натуры человека? Нет, отвечает Чернышевский. Эти различные явления представляют различные проявления одной и той же сущности человеческого организма. Приведя пример трех состояний воды (газообразного, жидкого и твердого), он заключает: «в этих трех состояниях одно и то же качество обнаруживается тремя порядками совершенно различных явлений, так что одно качество принимает форму трех различных качеств, разветвляется на три качества просто по различию количества, в каком обнаруживается: количественное различие переходит в качественное различие»¹.

Чернышевский упорно клонит к доказательству той мысли, что жизнь человека, подобно жизни растения или насекомого, есть сложный химический процесс, во время которого обнаруживаются особые качества, незаметные в телах при состоянии неподвижного химического соединения. Другими словами, он стремится доказать, что психические явления представляют результат физиологических процессов, которые в свою очередь являются лишь особой разновидностью сложных химических процессов. Но к этой цели он подходит осторожно и окольными путями.

Он говорит: ближайшим предметом статьи «Антропологический принцип» служит человек как отдельная личность. Отложим же на время в сторону психологические и нравственно-философские вопросы о человеке и займемся физиологическими, медицинскими и пр.; не будем пока касаться человека как существа нравственного, а скажем прежде всего, что мы знаем о нем, как о существе физическом, имеющем желудок, голову, кости, жилы, мускулы и нервы. «Другими сторонами его жизни мы займемся после, если позволит нам время».

Ясно, что ответ на эти «психологические и нравственно-философские» вопросы Чернышевский надеется найти в результате анализа человека как «действительного, чувственного» существа, говоря языком Фейербаха.

¹ «Антропологический принцип» («Соч.», т. VI, стр. 196). Характерно, что во время возгоревшейся по поводу этой статьи полемики противники Чернышевского упрекали его за то, что он «допустил возможность превращения количественных разностей в качественные» (см. «Полемические красоты». «Соч.», т. VIII, стр. 273). Такие же возражения приводились через 30 лет народниками против Бельтова (Плеханова), которого они по этому поводу обвиняли в искажении Гегеля (см. Бельтов — «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», изд. 2-е, стр. 256—257). История повторяется!

Физиология и медицина находят, говорит наш автор, что человеческий организм есть очень многосложная химическая комбинация, находящаяся в очень многосложном химическом процессе, называемом жизнью. Ввиду сложности этого процесса и важности его для нас та отрасль химии, которая занимается его исследованием, выделилась в особую дисциплину — физиологию, которая в свою очередь разветвилась на ряд научных дисциплин с особыми именами. Но это обстоятельство не должно вводить нас в заблуждение и подрывать мысль о единстве человеческой природы. «Это — явление точно того же порядка, как разделение одного города на кварталы, кварталов на улицы; это делается только для практического удобства, и не должно забывать, что все улицы и кварталы города составляют одно целое».

Отдельные отрасли этой науки о человеке разработаны пока сравнительно мало; некоторые части процесса жизни еще не раз'яснены так подробно, как другие. Но из этого, прибавляет Чернышевский, вовсе не следует, чтобы мы уже не знали положительным образом очень много и о тех частях жизненного процесса, исследование которых находится пока в очень несовершенном виде. Так, например, поясняет он, мы знаем, в чем состоит питание; из этого мы уже знаем приблизительно, в чем состоит ощущение. «Питание и ощущение так тесно связаны между собою, что характером одного определяется характер другого».

Мышление, говорит Чернышевский, состоит в том, чтобы из разных комбинаций ощущений и представлений, изготовляемых воображением при помощи памяти, выбрать такие, которые соответствуют потребности мыслящего организма в данную минуту, в выборе средств для действия, в выборе представлений, посредством которых можно было бы дойти до известного результата. «В этом состоит не только мышление о житейских предметах, но и так называемое отвлеченное мышление». И далее Чернышевский приводит в качестве иллюстрации пример Ньютона. Процесс мышления, сосредоточение нервного процесса на удовлетворяющих желанию человека в данную минуту комбинациях ощущений и представлений непременно должны происходить, как скоро существуют комбинации ощущений и представлений, иначе сказать, как скоро существует нервный процесс, который сам и состоит именно в ряде разных комбинаций ощущения и представления.

Само собою разумеется, — спешит прибавить Чернышевский, чтобы успокоить взволнованных филистеров, — что когда мы устанавливаем общую теоретическую формулу, посредством которой одинаково выражается как процесс, происходивший в нервной системе Ньютона при

открытии им закона тяготения, так и процесс, происходящий в нервной системе курицы, отыскивающей зерна в куче сора, то не следует при этом забывать, что формула эта выражает только одинаковую сущность процесса, но не одинаковость его размера и степени. И далее Чернышевский подробно рассматривает и опровергает утверждение, будто психические процессы в царстве животных качественно отличаются от психической жизни человека¹.

Подводя итог своим рассуждениям, Чернышевский дает следующее определение антропологического, т. е. материалистического принципа: «принцип этот состоит в том, что на человека надобно смотреть как на одно существо, имеющее только одну натуру, чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные половины, принадлежащие разным натурам, чтобы рассматривать каждую сторону деятельности человека как деятельность или всего его организма, от головы до ног включительно, или, если она оказывается специальным отправлением какого-нибудь особенного органа в человеческом организме, то рассматривать этот орган в его натуральной связи со всем организмом».

Ну, а как же быть с превращением движения в ощущение, с переходом физических явлений в психические? Ведь до сих пор идеалисты пытаются опровергнуть материалистов именно в этом пункте. Как же смотрел на этот вопрос Чернышевский?

Немецкие материалисты первой половины XIX века, Бюхнер, Молешотт, К. Фохт, признавали мысль материальным продуктом мозга аналогично отделениям других органов человеческого тела, желез и пр., т. е. отождествляли мысль с теми материальными изменениями, которые соответствуют ей в человеческом мозгу. На это идеалисты, и в том числе Ф. А. Ланге, возражали, что любое материальное изменение во все не тождественно с мыслью или с ощущением и что пропасть между материальным и духовным остается попрежнему незаполненной. Приблизительно так же возражал Юркевич Чернышевскому. Но уже французские материалисты XVIII века не отождествляли духовного с материальным, а утверждали только, что первое есть результат второго.

¹ Плеханов (цит. соч., стр. 200—201) замечает, что в своей статье Чернышевский высказал много таких соображений, которые можно встретить в значительно позже вышедшей книге Дарвина «Происхождение человека». И Плеханов спрашивает себя, не был ли Чернышевский уже в то время знаком с зоологическими теориями Ламарка и Жоффруа Сент-Илера. Мы полагаем, что был, и это по двум соображениям: 1) Чернышевский называл себя «старым трансформистом» (так он подписался в 1888 г. под статьей о Дарвине); 2) с середины 50-х годов Чернышевский, по его словам, уже не занимался естественными науками. Следовательно, с ламаркизмом он познакомился до написания статьи «Антропологический принцип».

Как заметил Плеханов, для них сознание есть внутреннее состояние движущейся материи. На избитый вопрос, который идеалисты всегда задавали материалистам, как можно вывести сознание из материи и ее движения, Гольбах отвечал: а можем ли мы представить себе, что материя способна двигаться? Спрашивает, может ли материя мыслить, все равно, что спрашивать, может ли она показывать время. И движение, и мысль встречаются только в материальных телах¹. А Чернышевский на вопрос о том, каким образом ощущение переходит в сознание, отвечает еще проще.

В письме к сыновьям от 21 июля 1876 года он пишет на этот счет: «Мимоходом скажу, что натуралисты напрасно воображают, будто световые колебания эфира превращаются в цветовые впечатления. Цветовые впечатления это — те же колебания, продолжающие идти по зрительному нерву, доходящие до головного мозга и продолжающие совершаться в нем. Превращения тут никакого нет. Потому нет и неразрешимости в вопросе: как происходит это превращение? Ответ прост: оно не происходит никак, потому что его нет: оно — фантастическая гипотеза, противоречащая факту, и потому фальшивая, долженствующая быть брошенной»². Таков его несколько запоздалый ответ Юркевичу, решающий спор.

3. ПОЛЕМИКА С ПРОТИВНИКАМИ МАТЕРИАЛИЗМА

Такова была эта знаменитая статья, которая впервые в русской литературе определенно излагала основные начала фейербахова материализма, доведенного у Чернышевского до крайних логических выводов. Эта статья была философским манифестом «новых людей», разночинской интеллигенции — и так на нее и взглянули враги революционной демократии.

Связь между материализмом, в частности его учением о нравственности, и коммунизмом Маркс установил еще в 1845 году. В «Святом

¹ «Хрестоматия по французскому материализму», вып. I, стр. 16—17.

² «Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 48. — В связи с этим письмом Чернышевского Русанов в цитированной статье «Чернышевский в Сибири» («Русск. Богатство», 1910, № 5, стр. 170) приводит из афоризмов Фейербаха цитату, в которой уже содержится мысль о материальности ощущения: «Спор или противоречие между материализмом и идеализмом не есть спор между материей и духом, телом и душой, но между ощущением и мышлением; ибо ощущение совершенно материально, как утверждали уже древние. Дело идет таким образом лишь о решении отношения между мышлением и ощущением» (Karl Grün — «Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass», 1874, т. II, стр. 308).

семействе» он говорит: «Подобно тому как Фейербах в теории, французский и английский социализм и коммунизм являются на практике материализмом, сливающимся с гуманизмом...

«Существует два направления французского материализма; одно берет свое начало у Декарта, другое у Локка. Последний вид материализма составляет по преимуществу французский образовательный элемент и ведет прямо к социализму...

«Как картезианский материализм приводит к естествознанию в тесном смысле слова, так и другое направление французского материализма приводит непосредственно к социализму и коммунизму.

«Не требуется большого ума, чтобы усмотреть связь между учением материализма о прирожденной склонности к добру, о равенстве умственных способностей людей, о всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии внешних обстоятельств на человека, о высоком значении индустрии, о нравственном праве на наслаждение и т. д. — и коммунизмом и социализмом. Если человек черпает все свои знания, ощущения и проч. из внешнего мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек познавал в нем истинно-человеческое, чтобы он привыкал в нем воспринимать в себе человеческие свойства. Если правильно понятый интерес составляет принцип всякой морали, то надо, стало быть, стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного человека совпадал с общечеловеческими интересами. Если человек несвободен в материалистическом смысле, т. е. если он свободен не вследствие отрицательной силы избегать того или другого, а вследствие положительной силы проявлять свою истинную индивидуальность, то должно не наказывать преступления отдельных лиц, а уничтожить антисоциальные источники преступления и предоставить каждому необходимый простор для его существенных жизненных проявлений. Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства достойными человека. Если человек по природе своей общественное существо, то он, стало быть, только в обществе может развить свою истинную природу, и о силе его природы надо судить не по отдельным личностям, а по целому обществу.

«Эти и им подобные положения вы можете найти почти дословно даже у самых старых французских материалистов...

«Фурье непосредственно исходит из учения французских материалистов. Бабувисты были грубыми, нецивилизованными материалистами, но и разработанный коммунизм ведет свое происхождение непосредственно от французского материализма. Материализм в той именно форме, какую ему придал Гельвеций, возвращается на свою

родину, Англию. Мораль Гельвеция служила основой системы морали Бентама, построенной на правильно понятом личном интересе, а Оуэн, исходящий из теории Бентама, кладет начало английскому коммунизму»¹.

Эту связь Чернышевский прекрасно сознавал, когда писал свою статью, как мы на это выше указывали (это видно из предпосланного им своей статье рассуждения о связи между философскими системами и политическими партиями). Мы цитировали его письмо из Виллюйе от 21 июля 1876 года. Там после слов о качествах материи и о законах природы мы находим следующие знаменательные строки: «О каждом термине тут ведутся споры. Но реальное значение этих споров — нечто совершенно иное, чем серьезное сомнение относительно фактов, обозначаемых сочетаниями слов, в которые входят эти термины. Это или пустая схоластика, щегольство грамматическими и лексикографическими знаниями и талантами и силлогическими фокусами; а если не так, то: в оспаривающих эти термины и эти сочетания терминов (эти или равнозначительные им) управляет словами какое-нибудь не научное, а житейское желание, обыкновенно своекорыстное; а у защищающих эти термины и их сочетания — охота вести спор об этих терминах не больше, как наивность, не догадывающаяся, что спор — или пустословие, или должен быть перенесен от этих терминов и их сочетаний на анализ реальных мотивов, по которым нападают на эти термины и на эти их комбинации противники их»².

Дело яснее ясного. Чернышевский определенно указывает, что в настоящее время спорить против материализма могут только люди, защищающие интересы господствующих классов, и что возражать им не стоит: их можно только разоблачать, вскрывая руководящие ими классовые мотивы. Именно так он и держал себя в полемике, поднятой по поводу его статьи «Антропологический принцип».

По поводу цитированных слов Чернышевского Плеханов³ говорит: «Это замечание о реальных мотивах, вызывающих нападки на материалистические термины и на «их комбинации» (т. е. на обозначаемые ими понятия), не только справедливо, но и глубоко продумано и хорошо изложено. Идеологи господствующего класса в самом деле восстают теперь против материализма, повинувшись вполне «реальным мотивам»: идеализм представляется им единственным надежным духовным оружием в борьбе с «разрушительными» стремлениями современного

¹ Маркс и Энгельс — «Из литературного наследия». Спб., 1908, том II, стр. 266—273

² «Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 45—46.

³ Плеханов — «Сочинения», том VI, стр. 380.

пролетариата. [Этим указанием] Чернышевский становился на точку зрения материалистического объяснения истории». Он, как мы указывали, становился на нее и в самой статье «Антропологический принцип».

Эклектик Русанова, повидимому, не понимающий, как можно с такой враждой относиться к теоретическим противникам, с какой к ним относился выкованный из одного куска Чернышевский, пытается, как мы видели выше, объяснить его резкие выпады обрушившейся на него тяжелой участью. Но он правильно связывает резкость Чернышевского с присущим последнему чувством социального антагонизма с своими оппонентами. С этой оговоркой можно признать верными следующие слова Русанова в цитированной выше статье его о жизни Чернышевского в Сибири: «Понятно теперь, почему Чернышевский с такою резкостью, и почти как личных врагов, рассматривает тех ученых и те направления, которые проникнуты сомнением в основных положениях научной, т. е., в глазах Чернышевского (а в ваших? — Ю. С.), материалистической теории, и с какой насмешкой он относится к самым выдающимся мыслителям, которые подвергают критике это мировоззрение» («Русск. Богатство», 1910, № 5, стр. 172).

Чернышевский излагал систему материализма в связи (разумеется, усиленно замаскированной от цензуры) с революционно-коммунистическими взглядами. Но его противники тоже очень хорошо видели эту связь. Вот почему на Чернышевского сразу напали представители всех направлений, духовные и светские, либералы, консерваторы и просто обыватели, жаждавшие мирного жития, которому явно угрожали безбожные и разрушительные лжеучения материализма. Как реакционная журналистика («Русский Вестник» Каткова), так и либеральная («Отеч. Записки» Краевского и Дудышкина, поспешившие поддержать кампанию Каткова против «нигилистов») предприняли настоящий поход против проповедника «грубого материализма» и обрушились на него с градом обвинений и возражений.

Кампанию открыл профессор киевской духовной академии Юркевич, поместивший в кн. 4 «Трудов» этой Академии за 1860 год большую статью «Из науки о человеческом духе» (в оригинале статья имела 195 страниц, тогда как статья самого Чернышевского занимает в его сочинениях всего 70 страниц). Статья никому неизвестного семинарского мудреца, повторявшая обычные возражения идеалистов против материализма и вдобавок напечатанная в никем не читаемом специальном духовном издании, прошла бы совершенно незамеченной, если бы за нее не ухватился Катков, давно уже выжидавший случая выступить в роли спасителя отечества от

революционной гидры и усмотревший в статье Юркевича вожде ленный случай¹.

История эта в высшей степени знаменательна. С нее, собственно говоря, начинается тот поход, который в конце концов привел к гибели Чернышевского (если не считать началом этого похода статью Герцена «Very dangerous!!!», которая придала смелости многочисленным врагам Чернышевского, и о которой мы будем подробно говорить во втором томе этой работы; сейчас скажем только, что на статью Герцена систематически ссылались враги Чернышевского в полемике с ним, завязавшейся по поводу статьи об «Антропологическом принципе»).

Кампанию против «Современника» Катков открыл в № 1 «Русского Вестника» за 1861 год. Об этой статье (все их Катков печатал без своей подписи) мы поговорим во втором томе, когда приступим к рассказу об общем конфликте между либеральным и радикальным крылом тогдашней русской общественности. Сейчас же мы прямо перейдем к пресловутой статье «Старые боги и новые боги», помещенной в № 2 «Русского Вестника» за тот же год и резко атаковавшей Чернышевского за проповедь материализма.

«Кто выдает себя за мыслителя, — начинает будущий вождь российской реакции, — тот не должен принимать на веру, без собственной мысли, ничего ни от г. Аскоченского, ни от г. Бюхнера, ни от Ивана Яковлевича, ни от Фейербаха². Это все равно, от кого бы вы ни принимали, решительно все равно (!). Дело только в том, как вы принимаете: со смыслом ли, то есть с участием ли собственной мысли, с ясным сознанием или без этого. Каким бы идолам вы ни поклонялись, идолы — всё идолы... Бессмысленное повторение чужих мыслей, мракобесие во имя знания, раболепство во имя свободы, фантастическое поклонение идолам, которые созданы нашим собственным невежеством, во имя просвещения, осквернение мысли в ее источниках, — вот что противно, вот что возмутительно».

«Новые культы, — продолжает притворяющийся наивным Катков, — обладают привилегиями; они окружены святыней неприкосновенности. Они сознают свое исключительное положение и пользуются его выгодами (!)» (стр. 893—894).

¹ Своей статьей против Чернышевского «скромный» профессор киевской духовной академии Юркевич сделал карьеру: Катков и Леонтьев вскоре устроили ему перевод на кафедру философии в Москву.

² Тонкий намек кому ведать надлежит. Чернышевский по цензурным условиям никогда не называл Фейербаха. Катков раскрывает источник его «философских статей».

Впрочем, Катков не долго удерживается в области отвлеченных разглагольствований. Он показывает, что враг, против которого он с такой грубостью и злобой ополчился, есть материалистическая философия, развиваемая Чернышевским на страницах *Современника*. «Материализм, — говорит он, — который так бойко разыгрался в Германии, есть немецкая болезнь или ее критический симптом, за которым, бог даст, последует выздоровление. Это болезненное развитие совершило свой цикл и становится уже делом прошедшим (!). Признаки новой жизни и обновленной мысли начинают там появляться повсюду. Народы зрелые, жившие умственно, имеющие характер и обладающие мыслью, оставались простыми зрителями этого интересного болезненного кризиса, который каждым из них был более или менее испытан в собственной жизни. Зато общества порожные, лишенные собственных интересов, не имеющие своей мысли, не жившие умственно, бесхарактерные и слабые, способны только замечать к себе чужой сор и щеголять в чужих обносках...

«Новые культы, новые жрецы, новые поклонники, новые колосцы¹, новые суеверия не так благодущны и кротки. Они обругают всякого, кто пройдет мимо, и обольют нечистотами всякого, кто решится сказать свое слово, кто изъявит сомнение или потребует испытания; они зажмут себе уши, чтобы не слышать убеждений; они цинически скажут вам, что не знают и знать не хотят того, что они осуждают. С неслыханною в образованных обществах наглостью они будут называть всех и каждого узколобыми, жалкими бедняками, — всех, кроме своих Иванов Яковлевичей и поклонников их...

«Сопротивляться новым богам вовсе не такое приятное дело, как нападать на старых и отживших. Жрецы новых богов как раз обольют неверующих «мерзостями»... а это, конечно, не может быть приятно. В обществах, не живших умственной жизнью, лишенных сознания и мысли, дело не легкое бороться с фанатизмом бессилия, выдающего себя за передовую, всё порешившую мысль. Да и по многим другим причинам это дело нелегкое, даже не безопасное, дело, требующее не просто только храбрости своих убеждений, как выразился недавно один журнал» (стр. 897—898).

Дальше Катков рекомендует читателям статью Юркевича. «Г. Юркевич разоблачает наглое шарлатанство, выдаваемое за высшую современную философию... Нет худа без добра. Спасибо шарлатанству, по

¹ Бессмысленное словцо московского юродивого Ивана Яковлевича Корейши, с которым Катков сравнивает Чернышевского.

крайней мере, за то, что оно послужило поводом к появлению этого превосходного философского труда. Статья г. Юркевича — не простое отрицание или обличение, но исполнена положительного интереса, и редко случалось нам читать по-русски о философских предметах что-нибудь в такой степени зрелое». И далее Катков обещает в следующем номере своего журнала дать обширные выдержки из этого «трактата».

Действительно в апрельской книжке «Русского Вестника» была перепечатана часть статьи Юркевича (стр. 79—105), а в майской — другая часть (стр. 26—59). Перепечатка кончалась следующим заявлением редакции: «В заключение выскажем желание, чтобы г. Юркевич почаще являлся в литературе и чтобы преподавательская его деятельность приняла еще бо́льшие размеры, на что, впрочем, мы имеем уже некоторые основания надеяться». Это был намек на предстоявший перевод Юркевича профессором в Москву.

Сначала Чернышевский отвечал на яростный лай реакционных и либеральных шавок презрительным молчанием, а затем в «Полемических красотах» дал им такую отповедь, которая, натурально, пришлась этим господам не по вкусу.

Прежде всего он в первой статье («Современник», 1861, № 6) поместил треть статьи Юркевича, на перепечатку которой он имел по закону право, для того чтобы показать беспристрастным читателям, какими жалкими и устарелыми аргументами оперируют его противники. По существу он Юркевичу не отвечал; по его словам, он даже не читал статью Юркевича, заранее зная, что все его рассуждения известны ему из семинарских тетрадок и семинарских «задачек», которые он сам писал в детстве. При этом он любезно предложил Юркевичу, если он еще человек молодой, а значит — способный к совершенствованию, пользоваться его, Чернышевского, книгами, чтобы выработать себе более современный и правильный взгляд на вещи.

Этот презрительный ответ привел, разумеется, спущенную со своры стаю в еще бо́льшую ярость.

Прежде всего отозвался зачинщик кампании, Катков. В июньской книжке «Русского Вестника» он поместил статейку «По поводу «Полемических красот» в Современнике». Здесь он уже переходит к общей атаке на политические и социальные взгляды Чернышевского, не прекращая своей кампании ни на минуту. Но об этом доносительном походе мы будем говорить во втором томе, ограничиваясь здесь тою частью полемики, которая относилась к статье «Антропологический принцип».

В мартовской книжке «Русского Вестника» в статье «Наш язык и что такое свистуны?» Катков предлагает всем серьезным людям об'еди-

ниться против растлевающей свистопляски, свившей себе гнездо на страницах радикального «Современника». Якобы отвлеченный философский вопрос сразу приобретает таким образом характер политической схватки охранительного и революционного направлений в русской литературе и жизни.

Катков подал пример. За «Русским Вестником» против «Современника» выступили и другие журналы, реакционные, либеральные и беспартийные безразлично. Первыми откликнулись «Отеч. Записки», в июльской книжке которых за 1861 г. также дана была пространная перепечатка статьи Юркевича, причем С. Дудышкин в своей заметке тут же об'являет ее философским произведением первого ранга, а полемический прием Чернышевского, перепечатавшего треть статьи Юркевича и этим ограничившего свой ответ этому злополучному составителю «задачек», предается анафеме и квалифицируется как непростительная дерзость. «Отечественные Записки» пытались дискредитировать все направление «Современника» в целом, выпустив для этого, кроме Дудышкина, целую свору ученых и неученых своих сотрудников, как проф. Буслаева, либерального политического обозревателя Н. Альбертини, бывшего жандармского офицера, а тогда развязного либерального болтуна Громеку и т. д. В июльской книжке «Современника» Чернышевский во второй коллекции «Полемических красот» посадил праздноголаголющих фразеров и педантов на свое место. Но они не успокоились и, чувствуя за своей спиной симпатию всех умеренных и консервативных элементов русского общества, продолжали свою кампанию против ненавистных радикалов и разрушителей. Но об этом мы говорим подробно во втором томе.

В полемику вмешались и другие журналы, как, например, «Библиотека для Чтения» в статье «Повальное недоразумение» (№ 8 за 1861 г.), «Светоч» в статье «Прогресс скандала» (1861 г., № 8), «Время» в статьях известного борца с нигилизмом Н. Косицы (Страхова) (№ 9 за 1861 г. по поводу спора с Юркевичем, №№ 6 и 11 по вопросу о причинах падения Рима) и даже газеты («Русская Речь», «Наше Время») ¹. Более того, даже духовные журналы, обыкновенно

¹ П. Л. Лавров также приобщился (хотя и в приличной форме) к этому крестовому походу на материализм «Современника». В своей статье «Моим критикам» («Русское Слово» 1861 г., июнь, стр. 51) Лавров высказывает уверенность в прочности позиций философского идеализма и выражает сомнение в том, чтобы Чернышевскому удалось опровергнуть Юркевича. Еще бы! ведь именно из-за Лаврова и загорелся весь сыр-бор. Интересно, что и «Отечественные Записки» (1861 г., август, отдел «Русская литература», стр. 159) ставят Лаврова на одну доску с Юркевичем как противника материалисти-

игнорирующие движение мысли, выражающееся в «светских» журналах, на этот раз нарушили свое молчание, свидетельствуя этим, насколько якобы отвлеченная философская пропаганда Чернышевского задевала глубокие интересы господствующих классов тогдашней России. Так, в сентябрьской книжке «Православного Обозрения» за 1861 год напечатана была большая статья «По поводу полемики из-за статьи Юркевича», бравшая на себя защиту философского идеализма и его рыцаря, столь жестоко обиженного Чернышевским. Словом, все социальные слои тогдашней России, кроме разночинной интеллигенции, выступили против философского материализма и его смелого провозвестника.

На часть нападок Чернышевский отвечал во второй статье, помещенной в июльской книжке «Современника» за 1861 год («Сочинения», том VIII). Здесь он дает несколько более подробный ответ на сделанные ему возражения, хотя, как мы уже знаем, он считал такие споры совершенно бесплодными.

«Отечественные Записки» сгруппировали возражения, сделанные Юркевичем против Чернышевского. Они сводились к тому, что: 1) Чернышевский не знает философии; 2) что он смешал применение естественно-научного метода к изучению психических явлений с самим объяснением душевных явлений; 3) что он не понял важности самонаблюдения, как особенного источника психологических познаний; 4) что он «перемешал (?) метафизическое учение о единстве материи»; 5) что он допустил возможность превращения количественных различий в качественные; 6) наконец, «вы допустили, что всякое воззрение есть уже факт науки, и таким образом утратили разницу жизни человеческой от животной. Вы уничтожили нравственную личность человека и допускаете только эгоистические побуждения животного»¹.

На это Чернышевский отвечает, что все те же самые смертные грехи, которые Юркевич открывает в нем, семинарские тетрадки от-

ческой философии. Наконец, и автор статьи в «Православном Обозрении» (стр. 69—71) относит Лаврова к идеалистическому, т. е. реакционному лагерю. Противопоставляя Чернышевскому других русских философов, стоявших на враждебной материализму идеалистической позиции, писатель из духовного журнала называет, наряду с Страховым, П. Лаврова. И дальше, перечисляя сторонников обоих враждебных направлений в философии, автор ставит «на одной стороне г.г. Чернышевского и Антоновича, а на другой — г.г. Юркевича, Гогоцкого, Новицкого, Карпова, Каткова, Лаврова» и других. выше отнесенных им к идеалистической школе (Кудрявцева, Дудышкина и т. п.). Почтенный П. Л. Лавров сам виноват, что попал в эту компанию.

¹ Аналогичный аргумент почти через сорок лет приводил г. Иванов в своей «Истории русской критики».

крывают в Аристотеле, Бэконе, Гассанди, Локке и т. д., — словом во всех философах, которые не имели чести принадлежать к цеху идеалистов. Люди рутины упрекают в невежестве всякого новатора только за то, что он — новатор. Что же касается теории, излагаемой в статье «Антропологический принцип», то все историки философии, замечает Чернышевский, «единодушно скажут вам, что эта теория — действительно последняя, вышедшая из гегелевской точно так же, как гегелевская вышла из шеллинговой». И далее Чернышевский прозрачно намекает, что в своей статье «Антропологический принцип» он излагал философию Фейербаха.

После второй статьи Чернышевского появилось еще несколько статей в журналах по поводу споров о материализме, в том числе статья в № 8 «Библиотеки для Чтения» за 1861 год, для этого журнала довольно сдержанная и, собственно говоря, из всех написанных на эту тему статей самая приличная¹. Статья без подписи и озаглавлена: «По поводу журнальной полемики. Повальное недоразумение».

«В главных положениях своих, — пишет автор статьи, — г. Чернышевский, — так как эти положения принадлежат не ему, а науке, — остается неопровергнутым... Статье г. Юркевича приписано слишком много значения. Есть мнение, будто с нее должна начаться реакция против заметно укореняющегося у нас образа мыслей, противоположного тому, который выражается в ней. Реакции, конечно, никакой не последует».

Автор статьи отвергает упрек Юркевича по адресу Чернышевского в том, что тот признает за некоторыми частями естествознания метафизическое достоинство. «В настоящее время, — говорит он, — наука эта (физическая) заключает в себе всю судьбу метафизики: отчего же ей самой в некоторых частях своих не иметь метафизического достоинства?» И далее: «На этот философский вопрос (об отношении между бытием и мышлением. — Ю. С.) физическая наука не дала еще ответа, но ожидать его следует только от нее. Верная своей методе наблюдения, она проникает в бесконечные дедалы органического мира только шаг за шагом; но шаги ее делаются все вернее и вернее, горизонт ее с каждым днем расширяется, и нет никакой причины думать, чтобы она не дошла наконец до возможности предпринять с пользою анализ самых сложных феноменов, в которых замешиваются воля и личность. Весьма вероятно, что она современем будет в со-

¹ Это, впрочем, не помешало той же «Библиотеке для Чтения» через несколько месяцев выступить против Чернышевского в явно доносительском духе, о чем см. во втором томе этой работы.

стоянии предпринять это наперекор всем метафизикам и в том числе и г. Юркевичу.

«Но г. Чернышевский в своей превосходной статье «Антропологический принцип в философии» предпринял объяснение этих феноменов слишком преждевременно, не имея на это никакого научного полномочия, и притом дал еще обычный простор своим соображениям». Здесь имеются в виду попытки Чернышевского дать материалистическое объяснение вопросам этики («мораль разумного эгоизма»).

По мнению автора, нет никаких оснований утверждать, чтобы наука когда-либо стала объяснять эти психологические явления так, как объясняет их Чернышевский. Он приводит в пример Бокля, попытка которого дать материалистическое объяснение истории не удалась. В частности, по словам автора, возражения Юркевича против теории разумного эгоизма довольно основательны и вовсе не заслуживают насмешки. Действительно здесь заключалась самая слабая сторона статьи Чернышевского.

«А вот нападки на г. Чернышевского по части истории удались гораздо менее». И далее он указывает, что статья Чернышевского «О причинах падения Рима» ни в одной более развитой литературе не произвела бы такой суматохи, как у нас. «Ввиду таких безрасчетных изумлений, таких придирок к г. Чернышевскому нам становятся... а впрочем нет, все-таки не становятся понятны его «Красоты полемики» (sic!). Допущенных Чернышевским презрительных выходов по адресу противников ему, по мнению автора, никогда не простят, «потому что наглость (это слово должно быть произнесено) никому не должна прощаться» (стр. 37, 38, 40, 45—50).

К удивлению, в довольно приличном духе была написана и статья в «Православном Обозрении», органе либерального духовенства, если только можно сочетать эти понятия¹. Статья, озаглавленная «По поводу полемики из-за статьи г. Юркевича» и напечатанная без подписи в сентябрьской книжке журнала за 1861 год, написана в осторожно-уклончивом и мягком тоне. Получается такое впечатление, что происхождение Чернышевского из духовного звания действовало на сотрудников духовного журнала. В то время как враги Чернышевского презрительно обзывали его «семинаристом» и говорили о нашествии «семинаристов» в русскую литературу, автор статьи в «Православном Обозрении» как будто невольно гордился тем, что бывший питомец

¹ Между прочим, по поводу наглой выходки Каткова, заявившего, что статья Юркевича разоблачила невежество и шарлатанство Чернышевского, автор статьи считает нужным отметить, что «сам г. Юркевич не называл прямо философов «Современника» невеждами и шарлатанами» (стр. 57).

Саратовской семинарии занял первое место в русской журналистике. Вот, например, как он отзывается о «Современнике», хотя и воздерживается от определения своего отношения к тенденциям этого журнала: «Нельзя не признать за этим журналом его свободного, горячего и всегда себе верного направления. Нельзя не отдавать справедливости и тому особенному умению, с каким сотрудники «Современника» делают свое дело». И далее автор намекает, что у порядочных противников «Современника» в полемике с ним связаны руки: «Г. Чернышевский сам знает, отчего с ним невыгодно полемизировать кому бы то ни было даже из светских журналистов». Это место можно понимать только как указание на то, что открытое нападение на учения «Современника», на его материализм и революционный социализм, при тогдашних условиях равнялось весьма опасному для критикуемых полицейскому доносу. Катков не остановился перед этим соображением, а скоро за ним последовали по этому пути доносов и другие журналисты буржуазного и помещичьего лагеря. Но вначале этого стыдились¹.

Конечно, «выходка» Чернышевского против Юркевича не нравится и рецензенту из «Прав. Обозрения». «Больше чести, — говорит он, — было бы г. Чернышевскому, и для тех, кто уважает его талант и сочувствует его литературной деятельности, было бы приятнее, если бы г. Чернышевский... как-нибудь смягчил свою резкую выходку или, по крайней мере, объяснил, почему он считал себя вправе так бесцеремонно отнестись к г. Юркевичу».

Косвенно и автор рассматриваемой статьи разоблачает имена тех писателей, которые, как предполагалось, служили источниками для философской системы Чернышевского, задавая риторический вопрос: «Для кого же он (Чернышевский) пишет свои статьи? Не для немецких философов, — не для Фейербаха, не для Бюхнера, не для Молешотта, не для Фохта: они и без г. Чернышевского хорошо знают ту систему,

¹ Не все, впрочем. Не говоря уже об оголтелом черносотенце Аскоченском с его «Домашней беседой», и другие клерикальные писаки не останавливались перед явными доносами. Так, безымянный автор заметки о полемике между Чернышевским и Юркевичем в ноябрьской книжке «Духа христианина» за 1861—1862 год (стр. 93) не постеснялся следующим образом расшифровать материалистические рассуждения Чернышевского: «не нравится вам вера наша; не хотите вы знать ничего выше материи; так и скажите и, если есть у вас доказательства, доказывайте, доказывайте, но не смейтесь бездоказательно над нами». Впоследствии, когда Чернышевский сидел уже в крепости, предатель В. Костомаров в таком же духе расшифровывал в своей докладной записке о литературной деятельности Чернышевского смысл статьи «Антропологический принцип».

которую он хочет популяризировать». Но дальше (стр. 87) он неожиданно называет «учителем Чернышевского»... Шопенгауэра.

Некоторые, на его взгляд, недостатки статьи Чернышевского автор пытается объяснить теми «трудностями», с которыми приходилось тогда сталкиваться радикальному литератору, т. е. необходимостью ловко обходить цензурные препоны. «Нужно было, — говорит он, — так поставить дело, чтобы невидящие видели, а любящие смотреть во все глаза слепы были или, по крайней мере, были вынуждены смотреть сквозь пальцы¹, — и этой цели г. Чернышевский достиг с замечательным искусством, как не удалось бы, может быть, никому, кроме разве г. Добролюбова» (стр. 61—63, 72, 75, 76).

«Мы знаем, что г. Чернышевский — не рутинер, не слабый, не бездарный человек... И, зная его литературную деятельность, никто не усумнится в том, что он — из самых горячих прогрессистов» (стр. 83—87).

Характерно для тогдашней эпохи, когда прогрессивные веяния проникали даже в заскорузлую среду православного духовенства, что автор не становится исключительно на почву идеализма и не осуждает огульно материализм, который он называет реализмом. «Не нужно забывать, — пишет он, — что идеализм все-таки направление одностороннее. С другой стороны, реализм поднял знамя в пользу той области человеческого ведения, которая была забыта, забита идеалистами». Однако он находит, что «пройдет несколько времени, — для сознания станет ясно, что материализм не имеет права на метафизику, даже на самостоятельное существование в виде философской системы».

Переходя к вопросу об успехах материализма, автор замечает: «Материализм есть самое свободное, самое отрицательное из всех философских направлений... Потому нередко люди с свободными убеждениями льнут к материализму, — свободнейшие из современных общественных и политических теорий идут в союзе с материализмом уже по тому одному, что имеют с ним общих врагов и общих друзей. Отсюда между горячими прогрессистами, между людьми, особенно недо-

¹ Уже известный нам арх. Никанор, представитель реакционного монашеского духовенства, замечает по поводу полемики Юркевича с Чернышевским: «Против его атеистической школы писал целые сочинения о бытии и духа человеческого и божественного даровитый и глубокомысленный профессор киевской д. академии, впоследствии бывший профессором философии в московском университете, Юркевич. Чернышевский ответил (?) на это дерзкою критикою известных доказательств бытия божия. Мы тогда читали и изумлялись сколько легкомыслию и отваге писателя, столько же и толеранции общества и правительства» (цит. ст., стр. 39).

вольными существующим порядком вещей, немало материалистов. Многие социалисты вместе с тем и материалисты».

Автор статьи опровергает ходячее обывательское мнение, «будто все материалисты — холодные и прязные эгоисты, а идеалисты — люди, способные к возвышенным чувствам», и кончает следующими словами: «Мы не разделяем воззрений школы «Современника», но мы не желали бы прекращения философской деятельности г. Чернышевского и Антоновича. Не то важно, какие положения дают их философские статьи, а то, что они будят мысль к самодеятельности» (стр. 92—93, 97—98, 100, 102).

Но не эти половинчатые статьи определяли тон полемики, возгоревшейся вокруг статьи Чернышевского. Первое решительное выступление на сцену материалистической философии встречено было со скрежетом зубовным со стороны всех тех, кому тепло жилось под крылышком самодержавия и полицейского идеализма. И есть все основания предполагать, что именно полемика по поводу статьи «Антропологический принцип», сопровождавшаяся разоблачением всей линии «Современника», дала толчок решению правительства покончить с Чернышевским. Как мы покажем во втором томе, именно с осени 1860 года политическая полиция берет великого проповедника материализма и коммунизма на примету и учреждает над ним тайный надзор.

Открытое провозглашение материализма было огромным шагом вперед в истории нашей общественной мысли. Подобно тому, как в Германии, по прочтении книги о «Сущности христианства», все радикалы сразу сделались последователями Фейербаха, у нас все живые и свежие элементы интеллигенции благодаря Чернышевскому сделались материалистами. И это материалистическое мировоззрение настолько вошло в плоть и кровь русской передовой демократии, что никакие возвратные приступы общественной и идейной реакции не могли уже вытравить его из ее души. Немудрено, что в то время все враги русского прогресса или партизаны постепенства с пеной у рта набросились на потрясателя основ.

Страсти, возбужденные статьей Чернышевского, не улеглись до сих пор. Кто не помнит комичного похода г-на Волинского на деятелей шестидесятых годов и в частности на их материалистические взгляды? Правда, булавочные уколы этого карлика могли вызывать только непочтительный смех среди зрителей его рекламной кампании. Но они показывали, что в известных слоях буржуазной интеллигенции материализм продолжает иметь смертельных врагов. И в высшей степени характерно, что народники-суб'ективисты, эсеры, считающие себя

преемниками Чернышевского (!), особенно решительно отвергали и отвергают основу его мировоззрения, а именно его материалистические взгляды.

Что откровенные идеологи буржуазии выступают против материализма, это понятно, и это, как мы видели, было уже объяснено Чернышевским, указавшим, что в основе их возражений лежит корыстное классовое чувство. Так, авторы знаменитого сборника «Вехи» 1909 года, — в котором кадетская интеллигенция, представительница умеренного буржуазного либерализма, снова провозгласила разрыв между либерализмом и социализмом, в первый раз провозглашенный ее предшественниками, либералами 60-х годов, — сочли нужным через полвека вспомнить об этом споре и объявить, что «Юркевич был во всяком случае настоящим философом по сравнению с Чернышевским («Вехи», стр. 4). А за несколько лет до того либеральный гелертер Ив. Иванов, автор обширной, но крайне легковесной и поверхностной «Истории русской критики», заявил, что Чернышевский пошел назад от «Писем об изучении природы» Герцена, в которых «представлена пространная критика материализма сравнительно с идеализмом и показано, сколько веры и произвола в мнимо-достоверных положениях материалистов». Г-н Иванов уверен, что разносторонний ученый XIX века не вправе «утверждать монизм, все равно — материальный или идеальный» (автор очевидно хочет сказать: материалистический или идеалистический). Простодушный критик даже убежден, что в споре Чернышевского с Юркевичем верх одержали семинарские тетрадки последнего, и что Чернышевский уклонился от спора по существу просто потому, что ему нечего было возразить профессору киевской духовной академии ¹.

Оставим почтенного критика при его убеждении. Для нас не подлежит сомнению, что по существу Чернышевский, стоявший на правильной точке зрения, был неуязвим для своих противников, даже если бы они были посolidнее, чем г. Юркевич, и даже если бы Чернышевский наделал целый ряд детальных фактических ошибок. Но что еще важнее — он был прав не только в научном, но и в историческом отношении. Материалистическая философия в то время была могучим тараном, с помощью которого разрушались застарелые заблуждения и ниспровергались укоренившиеся предрассудки. С особенной ясностью мы увидим это ниже, когда будем говорить о морали Чернышевского. Да и такие, с позволения сказать, критики, как г. Иванов, смутно догадываются об исторической правоте и необходимости тогдашнего материализма.

¹ «История русской критики», Спб., 1900, т. II, стр. 511—525.

«Цель наших философов, — говорит он перед тем, как перейти к уничтожающей критике «Антропологического принципа», — вовсе не (?) естественно-научные истины, все равно как и для философов XVIII века природа и ее законы отнюдь не представлялись источником самодовлеющего спокойного созерцания. Природа для всякого нравственного мыслителя поучительна лишь в интересах его воззрений на человека и общество. Она — только фундамент для здания, именуемого новым порядком человеческой жизни. Она — первая посылка в силлогизме, где вторая — человек как одно из явлений природы и заключение — программа новой морали и политики».

Совершенно верно. В эпохи общественного перелома новая философия является одним из орудий борьбы за новый социально-политический уклад. Как смотрели на материализм Маркс и Энгельс¹, так же смотрел на него Чернышевский, так же смотрело на дело и правительство, которое впоследствии выдвинуло, в качестве одного из пунктов обвинения против Чернышевского, его материалистическую проповедь.

«Естествознание в такие эпохи, — говорит дальше г. Иванов, — не что иное, как арсенал для культурной борьбы, наука — щит и меч новых людей в бою с защитниками «фантастического мирозерцания». И далее г. Иванов ссылается на Даламбера, который говорит, что само по себе изучение природы холодно и спокойно, а чувства естествоиспытателя однообразны, сдержаны и неподвижны. Новым же людям нужны «живые удовольствия», и их метод философствовать — нечто вроде длительного состояния энтузиазма. Открытия вызывают в них подъем идей и настроения, причем брожение ума направляется у них на все с крайним увлечением.

Очень хорошо понимает это и другой, более умный, либерал Н. Котляревский, автор интересной статьи «Очерки из истории общественного настроения шестидесятых годов»². Правда, и он считает материализм пройденной ступенью и уверенно заявляет, что «спорить с Чернышевским в настоящее время по существу было бы наивно» (стр. 231). Но он прекрасно сознает, насколько философский материализм Чернышевского был органически связан с его революционными и коммунистическими стремлениями. А его страстное отношение

¹ Известно место из статьи Маркса «К критике гегелевской философии права», где говорится: «Подобно тому, как философия находит в пролетариате свое материальное оружие, так и пролетариат находит в философии свое духовное оружие» и т. д. (Маркс и Энгельс — «Литературное наследство», т. I, М., 1907, стр. 353). Приблизительно то же говорит и Чернышевский.

² «Вестник Европы», 1912, № 12.

к своим философским воззрениям Котляревский, по свойственному нашей литературе злоупотреблению словами, готов даже приравнять к своего рода религии.

«Верующим был он несомненно, — пишет Котляревский (стр. 255—256), — когда предлагал людям сразу начать думать о всем миропорядке иначе, чем они думали раньше. Он был верующий и вместе с тем революционер, так как не было еще примера в России, чтобы человек так сразу порывал со всей прошлой идеологией жизни, как порвал он. Его учение было первым истинно революционным актом нашей теоретической мысли, за которым должен был следовать такой же акт мысли практической, требовавшей и новой программы действия.

«Выступая как единственный защитник новой «научной» мысли в области религии, философии, этики и эстетики, Чернышевский в вопросах социальных, исторических, экономических и политических пошел вслед за теми немногими людьми старшего поколения, для которых социализм в разных своих формах был конечной догмой научного обществоведения; но он был убежден, что лишь на новом теоретическом фундаменте эта догма может быть утверждена незыблемо и бесповоротно. «Религия человечества», права материи и здоровый эгоизм должны были объяснить и оправдать всю динамику исторического процесса».

Вот этой-то связи между материалистической философией и революционным социализмом не понимают эсеры, называющие себя «социалистами-революционерами» и, в качестве отряда буржуазии, пребывающие в плену у буржуазной идеологии как в области политических, так и философских воззрений. Возьмите, напр., г-на Иванова-Разумника, который имеет даже смелость притязать на идейное родство с Чернышевским. Этот «мещанин нашего времени», как назвал его Плеханов, ничтоже сумняшеся утверждает вслед за буржуазным профессором Ивановым, что философская система, положенная Чернышевским в основу своего мировоззрения, была шагом «не вперед, а назад от Герцена»¹. М. Антонов, написавший целую книгу о Чернышевском, снисходительно похлопывает отсталого «учителя» по плечу, с неодобрением указывая на то, что «по вопросу о границах познания Чернышевский стоит на точке зрения наивного реализма, согласно которому мы познаем мир, как он есть», т. е. высказываясь за агностицизм или «иллюзионизм»². Он авторитетно утверждает, что относя-

¹ Иванов-Разумник — «История русской общественной мысли», Спб., 1907, т. II, стр. 30.

² М. Антонов — «Н. Г. Чернышевский», М., 1910, стр. 15. — Конечно, люди вроде Антонова не познают «мира, как он есть», но это уже их беда, а не достоинство.

щиеся сюда рассуждения Чернышевского «построены на недоразумении» (стр. 17). Совершенно не понимая Чернышевского, незадачливый эсер то пытается выдать Чернышевского за позитивиста, то обвиняет его в «метафизическом (!) материализме, правда, несовсем определенном (?)» (стр. 35), признает аргументацию Чернышевского неубедительной и повторяет против него возражения... Юркевича, приписывая ему «отождествление психики с физиологическими явлениями, а через них и с физико-химическими процессами, основанное на постепенности перехода (?) между ними» (стр. 38—39). А на страницах 40—41 этот эсер, позавидовавший лаврам А. Волынского и... М. Н. Каткова, определенно солидаризируется с Юркевичем, признавая представленную последним критику материалистических воззрений Чернышевского «обстоятельной» и «хорошо осветившей (!) вопрос», а его замечания насчет превращения нервных движений в ощущения «в общем вполне правильными»¹. И в заключение следует вывод: «Словом, материализм Чернышевского, несостоятельный по существу, может быть понят как исторически необходимая резкая реакция против старого мировоззрения» (стр. 42). Виновен, но заслуживает снисхождения!².

Даже такой понюхавший марксизма народник, как Н. Русанов, и тот разделяет здесь общую плачевную участь эсеров, принужденных во всем повторять буржуазные зады. С одной стороны, он пишет: «Чернышевский, на которого оказал такое огромное влияние Фейербах, не был материалистом во вкусе Бюхнера и Молешотта. Правда, в его мировоззрении не замечается неопределенности, которая не раз смущает нас в Фейербахе». Но... но как эсер, привыкший сидеть между двух стульев не только в практических, но и в теоретических вопросах, он спешит прибавить: «С другой стороны, излагая для широкой русской публики свое общее мировоззрение, построенное на единстве человеческого организма, на отрицании дуализма тела и духа, Чернышевский порою, может быть, упрощал и огрублял несколько свои общие взгля-

¹ Для посрамления отсталого Чернышевского следует ссылка на заявления... Дюбуа Реймона и Паульсена, а также на П. Л. Лаврова, который дескать причисляя Юркевича к «самым сильным нашим современным диалектикам». Бедный Лавров, как жестоко он наказан за свои прегрешения!

² Склонный к народничеству Ч. Ветринский, впрочем, не разбирающийся в теоретических вопросах, подпевает эсеровско-буржуазному хору: «На веру, а в качестве выводов науки — впрочем, это было и не с ним одним, а с целым поколением — могли быть приняты взгляды, также в сущности метафизического свойства, вместо идеалистической с резкой материалистической окраской» («Н. Г. Чернышевский», стр. 29). И такие люди берутся писать о Чернышевском!

ды»¹. Упрощал и огрублял! Много же вы поняли в «общих взглядах» человека, которого готовы признать своим учителем!

Впрочем, это старая эсеровская традиция — пренебрежительно относиться к материализму, философии пролетариата, и ходить на задних лапках перед философскими системами буржуазии, идеализмом или эклектизмом. В этом отношении характерно заявление старого народника и шестидесятника Н. Анненского, сделанное им на торжественном заседании В. Эк. Общества 17 октября 1909 года, посвященном памяти Чернышевского: «Не говоря уже об эстетических и некоторых литературных воззрениях Чернышевского,.. и его философский материализм... для нас — давно переиженный Standpunkt» («Труды В. Э. О.», 1910, № 1, Приложение, стр. 26).

Таков общий тон народничества и эсерства по отношению к философии Чернышевского, т. е. к основе его воззрений, наследниками которых эти направления по недоразумению себя считают. И Ленин был совершенно прав, когда в статье «Народники о Н. К. Михайловском» («Соч.», т. XII, ч. II, стр. 371) писал: «В философии Михайловский сделал шаг назад от Чернышевского, величайшего представителя утопического социализма в России. Чернышевский был материалистом и смеялся до конца дней своих (т. е. до 80-х годов XIX века) над уступками идеализму и мистике, которые делали модные «позитивисты» (кантианцы, махисты и т. д.). А Михайловский плелся именно за такими позитивистами. И до сих пор среди учеников Михайловского, даже самых левых народников (вроде г. Чернова), царят эти реакционные философские взгляды».

Так обстоит дело с «отказом от наследства» в этом пункте. Дальше мы увидим, что народники отвергли наследие Чернышевского и в других областях.

4. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Нераздельной частью гегелевской философии был ее диалектический метод, вечно движущееся начало, придававшее ей существенно революционный характер. Мы уже видели выше, что радикальные ученики Гегеля, отринув положительные выводы учителя, остались верны его методу, который и давал им возможность бороться с непоследовательностью самого Гегеля. Таково же было и положение Чернышевского. Отвергая положительные заключения Гегеля, он признавал его диалектический метод, который особенно пленял его своей разрушительной, революционной стороной. Ибо вместе с Жюлем Элизаром, т. е.

¹ «Ученики Маркса о Чернышевском», цит. ст., стр. 53.

Бакуниным, Чернышевский должен был полагать, что «страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть». Стоя на рубеже старой и новой России, готовясь очищать столбовую дорожку русской истории от накопившегося на ней мусора традиций, Чернышевский не мог не ценить великого значения диалектического метода.

По его мнению, едва ли не главная тайна гегелевской философии заключается в открытии таких истин, как то, что жизнь есть ряд перемен, что все в мире изменяется и что одна крайность влечет за собою другую¹. Мысль Гегеля о том, что высшая степень развития по форме совпадает с совершенной неразвитостью, существенно отличаясь от нее содержанием, Чернышевский признает совершенно справедливою в приложении к истории и иллюстрирует ее примером человеческой солидарности в родовом строе и на высшей ступени цивилизации. Это положение, вскрывающее общие формы, по которым движется процесс развития, Чернышевский признает величайшей заслугой Гегеля и отчасти Шеллинга. Им он оперирует для защиты общинного землевладения в своей знаменитой статье «Критика философских предубеждений», доказывая, что оно применимо во всех сферах бытия и жизни, как материальной, так и духовной². Но принцип диалектического развития Чернышевский далеко не понимает абстрактно. Применение его не освобождает исследователя от анализа фактов, напротив делает этот анализ безусловно необходимым. Сущность диалектического метода, по словам Чернышевского, и состоит в том, что мыслитель не должен успокаиваться на каком-нибудь положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд: таким образом мыслитель принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина является ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений. «Этим способом,—говорит Чернышевский,—вместо прежних односторонних понятий о предмете мало-по-малу являлось полное и всестороннее исследование, и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Объяснить действительность стало существенною обязанностью философского мышления»³. Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени, и потому «отвлеченной истины нет; истина конкретна», т. е. определенное сужде-

¹ «Соч.», т. II, стр. 122—123.

² «Соч.», т. IV, стр. 309 и сл.

³ «Соч.», т. II, стр. 187.

ние можно произнести только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит¹.

Именно так понимал Чернышевский диалектический метод. Показавши применимость положения о сходстве высшей формы с низшей и в области социальной, он отсюда не делает еще вывода о неизбежности социализма. «Действительно ли достигнута в настоящее время нашей цивилизацией та высокая ступень, принадлежностью которой должно быть общинное землевладение, — говорит он, — это вопрос, разрешаемый уже не помощью логических наведений и выводов из общих мировых законов, а анализом фактов»². И кончается эта знаменитая статья настоящим гимном диалектическому методу. «Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания, — кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто приучился применять его ко всякому явлению, — о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие! Повторяя за поэтом: *«Ich hab' mein' Sach' auf Nichts gestellt, und*

¹ В известном примечании к этому месту Чернышевский поясняет свою мысль. Например, «благо или зло дождь?» — это вопрос отвлеченный; определенно отвечать на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред. Вопрос надобно ставить в более определенной форме: «после того, как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь, — полезен ли был он для хлеба?» — только тут ответ ясен и имеет смысл: «этот дождь был полезен». Но проливной дождь, который шел целую неделю, когда настала пора уборки хлеба, был несомненно вреден. «Точно так же, — прибавляет Чернышевский, — решаются в гегелевой философии все вопросы». Пагубна или благотворна война? Вообще нельзя отвечать на такой вопрос решительным образом; надо знать, о какой войне идет речь, ибо все зависит от обстоятельств времени и места. Для диких народов вред войны менее чувствителен, польза ощутительнее; для цивилизованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 года была спасительна для русского народа; Марафонская битва была благотельнейшим событием в истории человечества. Таков, заключает Чернышевский, смысл аксиомы «отвлеченной истины нет; истина конкретна» — конкретно понятие о предмете тогда, когда он представляется со всеми качествами и особенностями и в той обстановке, среди которой существует, а не в отвлечении от этой обстановки и живых своих особенностей (как представляет его отвлеченное мышление, суждения которого поэтому не имеют смысла для действительной жизни).

При этом невольно вспоминаются утверждения народников, которые во время полемики с марксистами уверяли, будто последние прячутся под сень гегелевской диалектики, чтобы уклониться от конкретного анализа действительности. Чернышевский лучше понимал значение диалектического метода, чем эпигоны народничества. Ср. Б е л ь т о в, *loc. cit.*, стр. 69—71.

² «Критика философских предубеждений», *loc. cit.*, стр. 322.

mir gehört die ganze Welt», он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: «пусть будет, что будет, а будет в конце концов все-таки на нашей улице праздник!».

Плеханов находит, что Чернышевский не совсем правильно понял сущность диалектического метода. «Внимательное отношение к действительности, — говорит он, — составляет, конечно, необходимое условие правильного мышления. Но диалектический метод характеризуется прежде всего и главным образом тем, что он в самом явлении, а не в тех или других симпатиях и антипатиях исследователя ищет сил, обуславливающих собою развитие этого явления... Его сила заключается в сознании того, что ход идей определяется ходом вещей, и что поэтому субъективная логика мыслителя должна следовать за объективной логикой исследуемого явления... Сознание необходимости обозревать предмет со всех сторон еще далеко не равносильно сознанию того, что ход такого обзора должен всецело определяться логикой развития самого предмета»¹.

Плеханов говорит это к тому, что, по его убеждению, Чернышевский, бывший в философии решительным материалистом, оставался идеалистом в своих исторических и общественных взглядах. «Сознавая важное значение диалектического метода, он все-таки далек был от понимания его главного преимущества и потому не сумел подвергнуть его той переработке, какую он получил у Маркса и Энгельса. Чернышевский был материалистом; но в его философских взглядах замечается лишь зародыш, — правда, вполне жизнеспособный зародыш, — материалистической диалектики. Это не удивит нас, если мы припомним, что таким же недостатком страдало и миросозерцание его учителя Фейербаха» (стр. 231).

Плеханов признает, что в статье «Критика философских предрассудков» Чернышевский выступает в качестве блестящего диалекти-

¹ Плеханов, т. V, стр. 229—230. — Но Чернышевский в приведенной выше цитате определенно говорит, что в самом исследуемом предмете нужно искать противоположных качеств и сил. Правда, дальше он говорит о «противоположных мнениях», и это способно ввести в заблуждение. Приведем еще пару мыслей Чернышевского, показывающих, что он умел применять диалектический метод. «Зло и добро так тесно смешаны в мире, что нет доброго дела, в котором не было бы сторон дурных, нет дурного дела, в котором не было бы сторон хороших» (в пример он приводит итальянское национальное движение; «Соч.», т. V, стр. 405). Или: «с переменю обстоятельств один и тот же закон из либерального становится реакционным, или наоборот» (ibid., стр. 514). Подобных примеров можно было бы привести немало, хотя у Чернышевского можно найти и примеры абстрактных рассуждений.

ка. Но и здесь, по словам Плеханова, диалектика его не материалистична, так как он считает возможным рассматривать вопрос об общинном землевладении с точки зрения какого-то развития вообще, независимо от условий места и времени. Как мы увидим дальше, Чернышевскому действительно не удалось довести до конца развитие основных принципов своего материалистического мировоззрения, но это объяснялось историческими причинами, над которыми его талант был не властен ¹.

5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Когда Чернышевский приступил к серьезному ознакомлению с немецкой философией, она, как мы видели, достигла уже материалистической ступени.

В то же время он получил возможность ознакомиться с учениями французских утопистов и, объединив немецкую философию с их социальными исследованиями, построил свое мировоззрение, в котором философские взгляды служили основой для определенных практических выводов (до известной степени аналогичным путем шло и развитие Карла Маркса) ².

Об этом рассказывает нам сам Чернышевский: «Немецкая философия занималась по преимуществу только самыми общими и отвлеченными научными вопросами. Принципы общей системы воззрений на мир были наконец найдены ею и приложены к раз'яснению нравственных и отчасти исторических вопросов; зато другие части науки, не менее важные, оставляемы были в Германии без особого внимания, — преимущественно должно сказать это о практических вопросах, порождаемых материальною стороною человеческой жизни. Французских мыслителей занимали всегда эти предметы более, нежели немецких, но очень долго не постигались ими во всей глубине и разрешались или поверхностным, или фантастическим образом. Наконец, когда результаты немецкой философии проникли во Францию, а наблюдения, собранные французами, в Германию, пришло время искать положитель-

¹ Что Антонов, совершенно не понявший сущности диалектического метода, осуждает Чернышевского за признание его, это само собою разумеется (цит. соч., стр. 20—23).

² По мнению Меринга, философия Фейербаха в деле формирования взглядов Маркса сыграла даже бóльшую роль, чем сочинения французских утопистов. «Гуманистический принцип Фейербаха, как таковой, — говорит он, — был для Маркса откровением. По сравнению с ним французский социализм был лишь зародышем» («Литературное наследство» Маркса и Энгельса, Москва, 1907, т. I, стр. 303).

ных и точных решений. Тогда односторонность науки исчезла; ее содержание было уяснено относительно всех ее существенных задач. Материальные и нравственные условия человеческой жизни и экономические законы, управляющие человеческим бытом, были исследованы с целью определить степень их соответственности с требованиями человеческой природы и найти выход из житейских противоречий, встречаемых на каждом шагу, и получены довольно точные решения в важнейших вопросах жизни. Этот новый элемент также вошел в наше умственное развитие»¹.

Чернышевский, связывавший философское мировоззрение с определенными практическими стремлениями, понимал, что новейший материализм является философией рабочего класса. С этой точки зрения чрезвычайно интересно то, что он говорит о философских взглядах Прудона. Изложивши некоторые сведения о его жизни, Чернышевский замечает, что биография этого человека — история сословия, к которому он принадлежит. Прудон для него интересен, как представитель умственного положения, до которого возвышается на Западе человек из простого народа («простолюдин»). Переходя к его теориям, говорит он, мы также найдем, что история его развития отразилась в них всеми своими сторонами и в том числе своими недостатками. Он — самоучка; учился он по книгам, какие попадались ему в руки: в результате в его мировоззрении новые взгляды причудливо перемешаны со взглядами устаревшими. Прудон знаком и с гегелевской философией; но, не зная сам немецкого языка, он мог ознакомиться с нею из бесед с людьми, занимавшимися этой философией (здесь Чернышевский намекает на Бакунина, который в этом отношении был также одним из учителей Белинского; о влиянии Маркса на Прудона Чернышевский, повидимому, не знал). Но система Гегеля, проникнутая духом, господствовавшим над общественным мнением во времена Реставрации и получившим свое начало во время Первой Империи, сама по себе уже не соответствовала тогдашнему состоянию науки. Вдобавок, прибавляет Чернышевский, Гегель по своей натуре или, быть может, по расчету облакал свои принципы в одежду очень консервативную, когда говорил о политических и богословских предметах. Смелый французский рабочий, усвоив его метод, остался недоволен его выводами, и стал приискивать для принципов Гегеля развитие более сообразное с их собственным духом и с своими личными стремлениями. Но, не обладая достаточными данными для такой реформы, Прудон не сумел выработать надлежащей философской системы. В этом, по мнению Черны-

¹ «Очерки гоголевского периода». «Соч.», т. II, стр. 162—163.

шевского, сказались неблагоприятные условия, в которые поставлен рабочий класс при буржуазном строе.

«Благодаря своей здоровой натуре, своей суровой житейской опытности, западно-европейский простолюдин в сущности понимает вещи несравненно лучше, вернее и глубже, чем люди более счастливых классов. Но до него не дошли еще те научные понятия, которые наиболее соответствуют его положению, наклонностям, потребностям и сообразны с нынешним положением знаний». До европейского пролетария, говорит Чернышевский, еще не дошла общая идея нынешней науки, выводы которой согласны с его потребностями. Он еще держится устарелых принципов, но видит полную несостоятельность выводов, сделанных из них его учителями, людьми старых систем, и беспрестанно переходит от желчного отрицания их к подчиненности им. Но Чернышевский не сомневается, что в конце концов материалистическое мировоззрение распространится в массах, интересам которых оно соответствует. «Нет никакого сомнения, что и простолюдины Западной Европы ознакомятся с философскими воззрениями, соответствующими их потребностям. Тогда найдутся у них представители не совсем такие, как Прудон: найдутся писатели, мысль которых не будет, как мысль Прудона, спутываться с преданиями или задерживаться устарелыми формами науки в анализе общественного положения и полезных для общества реформ. Когда придет такая пора, когда представители элементов, стремящихся теперь к пересозданию западно-европейской жизни, будут являться уже непоколебимыми в своих философских воззрениях, это будет признаком скорого торжества новых начал и в общественной жизни Западной Европы»¹.

В этих строках, написанных в 1860 году, великий русский мыслитель предсказывает возникновение и распространение марксизма, этой пролетарской философии *par excellence*. Трагизм его положения заключался в том, что в тот момент, когда он говорил о нарождении пролетарской философии как о деле более или менее далекого будущего, она уже существовала. Правда, она еще не пользовалась распространением среди широких масс социалистов, но она была уже и тогда популярна среди многих бывших левых гегельянцев, о которых Чернышевский имел только отрывочные сведения, да и то главным образом до 1848 года. Николаевская реакция настолько основательно отрезала Россию от умственной жизни европейских наций, что даже такие люди, как Чер-

¹ «Антропологический принцип». «Соч.», т. VI, стр. 191—193, 205—206. — Это место поразительно напоминает приведенные выше слова Маркса о взаимоотношениях философии и пролетариата.

нышевский, жадно следившие за ходом европейской мысли, не догадывались о существовании целой ее полосы, которой в ближайшем будущем предстояло получить столь колоссальное влияние.

Несчастье Чернышевского заключалось в том, что из левых гегельянцев он знаком был с кружком Бруно Бауэра, но, повидимому, совершенно не знал о группе Маркса, которая не остановилась на взглядах Фейербаха, а довела до конца критику идеализма, в частности в социологической области, чего Фейербах не сделал. Так что с тем плодотворным идейным движением, из которого вышла система научного социализма, Чернышевский ни в момент выработки своего мирозерцания, ни в последующее время знаком не был. Это видно между прочим из того, что Бруно Бауэра он считает виднейшим из левых гегельянцев кроме Штрауса, а также из того, что подобно Фейербаху он ожидал раз'яснения спорных вопросов философии того времени не от социологов, но от натуралистов, и вместе с Фейербахом полагал, что центр исследования о широких вопросах науки должен быть перенесен из области специальных исследований о теоретических убеждениях народных масс в область естествознания¹.

Повидимому, с литературной деятельностью Маркса и Энгельса он до ссылки в Сибирь вовсе не был знаком. Он не знал даже «Немецко-французских ежегодников» 1844 года, которые были известны Белинскому, не знал «Святого семейства», раскритиковавшего Бруно Бауэра и К^о. Вероятно, ему остались неизвестны и «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса и «Нищета философии» Маркса и даже «Коммунистический Манифест». С «Критикой политической экономии» Маркса он познакомился только на каторге².

Поставленные в более счастливое положение, чем он, Маркс и Энгельс уже в 1845 году подвергли критическому пересмотру философию Фейербаха в «Немецкой идеологии», правда, опубликованной только недавно в «Архиве Маркса и Энгельса» (книга первая, 1924). Отвлеченность и неисторичность фейербаховской «антропологии» были вскрыты в этом произведении мастерской рукой. Работа эта в свое время не увидела света, но изложенными в ней мыслями руководствовались основоположники научного социализма в своих дальнейших работах, остававшихся неизвестными для Чернышевского, когда он строил

¹ «Соч.», т. X, ч. II, стр. 195.

² Нужно, впрочем, помнить, что в те времена взгляды Маркса не пользовались широким распространением и разделялись только небольшой группой. Поэтому прав Плеханов, когда замечает: «Последнее слово философской мысли осталось, к сожалению, неизвестным нашему автору. Но в то время оно было и на Западе известно лишь немногим».

свою систему. Через несколько лет после того, как Чернышевский написал вышеприведенные замечательные строки, основалось Международное Общество Рабочих; через 7 лет вышел первый том «Капитала», а за год до того появилась «Критика политической экономии», в предисловии к которой в незабвенных выражениях сформулированы основные положения пролетарской философии и материалистической социологии.

Над ним тяготели несчастные условия русской жизни, ее отсталость, ее оторванность от великого движения мировой мысли. При таком положении дел удивляться приходится не тому, что Чернышевский не дал того, что дали Маркс и Энгельс, а тому, как далеко он сумел пойти по пути выработки материалистической системы. Вот почему даже Плеханов, строго относящийся к промахам Чернышевского и иногда подходящий к нему с предвзятыми взглядами, делает на его счет следующее глубоко верное замечание: «Если не сравнивать взглядов Чернышевского со взглядами Маркса и Энгельса, если сопоставлять с ними лишь взгляды, например, П. Л. Лаврова и других более или менее прогрессивных его современников, то нужно будет признать, что он далеко опередил их, и что, когда он сошел со сцены, в нашей литературе начался в философском, да, к сожалению и не только в философском, отношении период упадка»¹.

На вопрос, был ли Чернышевский до своего ареста знаком с сочинениями Маркса, знал ли он даже о его существовании, — при имеющихся теперь в печати документах невозможно ответить с положительностью. П. Николаев² рассказывает, что Чернышевский ни разу не упоминал о «Коммунистическом Манифесте», но «о Марксе (и Энгельсе) он часто упоминал как о замечательно талантливом сотруднике газеты и отзывался о нем всегда с большой похвалой, как о последовательном и крайнем ученике Фейербаха. Вероятно, Чернышевскому была известна и полемическая, направленная против Прудона «Misère de la philosophie», хотя разговоров об этой книге Маркса мне не запомнилось. Но вот получилась (на каторге) книга Маркса: «Zur Kritik». Я увидал книгу уже после прочтения ее Н. Г. и к своему удивлению нашел на книге его собственную надпись: революция на розовой водиче».

К показаниям Николаева ввиду общего характера его довольно-таки путаной книжки приходится относиться с крайней осторожностью.

¹ Плеханов, т. V, стр. 248.

² Николаев — «Личные воспоминания о пребывании Чернышевского на каторге», М., 1906, стр. 22.

Нигде в сочинениях Чернышевского нельзя встретить ни малейшего намека на Маркса; даже там, где Чернышевский вплотную подходил к этому предмету, он все-таки не дает никаких оснований предположить, что он знал о существовании кружка Маркса. Так, даже в предисловии к предполагавшемуся в 1888 году третьему изданию «Эстетических отношений» он упоминает о Штраусе и Бруно Бауэре, как наиболее выдающихся левых гегельянцах, но ни словом не заикается о Марксе, а здесь-то как раз и уместно было бы о нем упомянуть, если бы Чернышевский знал его как критика Фейербаха (в это время он уже знал о его «Капитале», первый том которого был послан ему в Вилуюск в русском переводе немедленно по выходе).

Точно так же он не упоминает о нем и в других местах, хотя говорит и о Прудоне, и о Луи Блане, и о Сен-Симоне, и Фурье, и Геккере, и Г. Струве и пр. Из слов Николаева нельзя понять, о какой газете говорил ему Чернышевский: о «Рейнской Газете» 1842—43 гг. или о знаменитой «Новой Рейнской Газете» 1848—49 гг? Если бы Чернышевский знал о «Нищете философии» или о «Коммунистическом Манифесте», это знакомство хоть в чем-нибудь да проявилось бы. Поэтому мы полагаем, что Николаев ошибается, что он что-нибудь напутал. Точно так же мы оставляем под некоторым сомнением отзыв Чернышевского о «Критике политической экономии»; мы думаем, что по всему складу своего ума Чернышевский должен был иначе отнестись к этой книге. Во всяком случае объяснение Николаева, что «Чернышевскому, как защитнику интересов всего пролетариата и пролетаризуемого крестьянства, именно эволюция-то и закономерное развитие капитализма, неизбежно приводящее к *Zusammenbruch*'у, и представлялись розовой водицей революции» (*ibid.*), — это объяснение представляется нам крайне сомнительным. Чернышевский был гораздо умнее, чем его изображает Николаев, и слишком хорошо был знаком с диалектикой Гегеля, чтобы понять Маркса так узко, как понимает его Николаев. Во всяком случае и после рассказа Николаева вопрос о знакомстве Чернышевского (до ссылки) с Марксом остается открытым впредь до опубликования других более достоверных сведений.

По этому поводу Н. Русанов¹ говорит: «Что Чернышевский не знал Маркса и Энгельса, не знал, по крайней мере, до ссылки, в ту пору, когда он был вождем передовой интеллигенции, в этом не может быть, кажется, сомнения². Он, конечно, мог слышать эти имена, но

¹ «Ученики Маркса о Чернышевском» («Русск. Богатство», 1909, № 11, стр. 60—62).

² Следовательно, Русанов целиком отводит показания Николаева, ибо невозможно предполагать, чтобы он не знал его книжки.

вряд ли носители их возбуждали в нем интерес. Например, в № № 9, 10 и 11 «Современника» за 1861 год помещена большая статья Н. В. Шелгунова «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции». В ней попадаются следующие... строки: «В числе писателей, на которых нападает Гильдебрандт, есть и Энгельс, один из лучших и благороднейших немцев. Имя это у нас совсем неизвестно, хотя европейская экономическая литература обязана ему лучшим сочинением об экономическом быте английского рабочего»... Рядом с Шелгуновым в тех же книжках «Современника» Чернышевский помещает свои «Очерки из политической экономии» по Миллю и как раз по тем вопросам, которые иллюстрирует составленный на основании Энгельса этюд Шелгунова... Но Чернышевский, который должен был, несомненно, внимательно прочитывать и редактировать статьи своего журнала, проходит мимо упоминания об Энгельсе у Шелгунова и не обнаруживает желания остановиться на работе лучшего и благороднейшего немца».

«На воззрения Чернышевского Маркс и Энгельс, о которых, впрочем, Николай Гаврилович не упоминает странным образом и позже, в своей переписке из Сибири, не могли таким образом иметь влияния. Хотя, объединяя немногочисленные до сих пор биографические данные о развитии Николая Гавриловича, а главное изучая его произведения, нельзя не прийти к тому довольно интересному выводу, что первоначальные элементы, влиявшие на выработку мировоззрения как нашего Чернышевского, так и родоначальников европейского научного социализма, были, казалось бы, одни и те же: великие социалисты-утописты; последующие социалисты и политические историки Франции; представители классической политической экономии, почти исключительно англичане; Гегель и крайняя левая гегельянства. Очевидно, в особенностях умственного типа Чернышевского, а, может быть, еще более того в условиях непосредственно окружавшей его русской действительности заключались причины, давшие в мировоззрении нашего великого мыслителя перевес рационалистическому началу».

Возможно, впрочем, что Николаев все-таки прав и что Чернышевский до ссылки слышал краем уха о Марксе, но знал его лишь как сотрудника «Рейнской Газеты» (вероятно «Новой») и считал его одним из литературных представителей левого демократического крыла в Германии; о деятельности же его в качестве коммуниста и основателя материалистической школы в истории не имел тогда понятия. Не забудем, что в свое время «Манифест Коммунистической Партии» и в Европе прошел незамеченным, и даже В. Либкнехт познакомился с ним только в эмиграции после 1849 года. Таким образом возможно,

что о Марксе как философе, экономисте и коммунисте Чернышевский узнал лишь в Сибири.

В 1872 году Чернышевскому послан был в Вилуйск первый том «Капитала» (это видно по списку книг, помещенному на стр. 182 первого выпуска книги «Чернышевский в Сибири»). Как же он отнесся к этому выдающемуся произведению? Об этом, мы, к сожалению, не знаем, ибо в письмах из Сибири Чернышевский о книге Маркса ни разу не упоминает. В записи, сделанной известным писателем-народником А. И. Эртелем 6 февраля 1884 года ¹, имеется на сей счет следующая заметка: «Чернышевский Н. В числе прочих книг послано было ему в Сибирь Маркса «Капитал» и исследование какого-то немца о русских крестьянах ². О последней книги он написал Пыпину, что напрасно он присылает ему «подобные книги», они его нисколько не интересуют. О Марксе повторил то же, когда уже был в Астрахани, и сказал следующее: «Я, — говорит, — пересмотрел его да и не читал, а отрывал листик за листиком, делал из них кораблики и пускал по Вилою; на что он (Пыпин) мне присылает такие книги?»

Неясно, кому были сказаны эти слова. Но совершенно очевидно, что принимать их всерьез совершенно невозможно. Если такие слова и были произнесены, то это была одна из обычных шуток Чернышевского, хорошо известных знавшим его людям. Так и понимает эти слова Е. Ляцкий в предисловии к третьему выпуску книги «Чернышевский в Сибири» (стр. XLIII), кстати, полагающий, что они были сказаны самому А. Эртелю. Ляцкий напротив думает, что «Капитал» должен был произвести на Чернышевского потрясающее впечатление. «Перед книгой Маркса, — пишет он, — Чернышевский должен был во всяком случае пережить мучительную трагедию человека, оставленного на пустынном берегу перед плывущим мимо гигантским кораблем, который шел открывать новые миры для вечно алчущей человеческой мысли. Книга Маркса была слишком сильна, анализ ее слишком заманчив, но измученная душа Чернышевского уже боялась потрясения: в Пантеоне уже не было место для новых богов». И дальше Е. Ляцкий приводит другой отзыв Чернышевского о Марксе, записанный со слов бывшего с Чернышевским на каторге Стахевича карийцем Н. А. Виташевским и сообщенный им в письме к М. Н. Чернышевскому. По сообщению автора этих воспоминаний Чернышевский между прочим говорил, что «Маркс напрасно употреблял трилогический философский метод Гегеля:

¹ «Страницы дневника А. И. Эртеля». «Голос Минувшего», 1913, № 2, стр. 235—236.

² Книга Кейслера; смысл отзыва Чернышевского об этой книге мы выясняем ниже.

все, что он сказал, можно изложить гораздо проще¹. Но историческая часть работ Маркса — прекрасна»².

У нас имеется еще одно свидетельство относительно взгляда Чернышевского на учение Маркса. Мы говорим о воспоминаниях А. Токарского, встречавшегося с Чернышевским в Саратове незадолго до его кончины. По словам Токарского, Чернышевский как-то в разговоре заметил: «Неужели не найдется такой человек, который уловил бы закон человеческой жизни, как Ньютон уловил закон мироздания?» И, помолчав немного, он прибавил: «Конечно, найдется». Когда же через несколько дней Токарский напомнил ему про этот разговор и спросил, не приближает ли нас к разрешению вопроса теория экономического материализма, Чернышевский будто бы ответил: «Нет, это, может быть, материал, но не путь к разрешению вопроса»³. Во всяком случае на сообщение А. Эртеля это не похоже.

¹ Чернышевский всегда стоял за простоту изложения и говорил, что нет того сложного предмета, который нельзя было бы изложить просто. Следует напомнить, что для французского издания первого тома «Капитала» Маркс упростил свое изложение (первой части).

² «Повидимому, речь шла об исторической части I тома «Капитала». По рассказу Стахевича в библиотеке Чернышевского на каторге имелись на немецком языке как «К критике полит. экономии», так и первый том «Капитала». Обе они не понравились Стахевичу. На отрицательный отзыв Стахевича о первой книге Чернышевский «ответил какими-то безразличными словами» (возможно, не хотел вступать в разговор), относительно же второй Стахевич передает лишь следующие его слова: «Досадно одно: наша публика, прочитавши у Маркса восхваление фабричных инспекторов, проникнется желанием и у себя таких же инспекторов; того не подумают, что на нашей российской почве это чужеземное растение выродится и примет совершенно другой вид, чем там у них». Эти пророческие слова вызваны были восторгом Стахевича по поводу описания деятельности английских фабричных инспекторов у Маркса. Чернышевский, полагавший, что самодержавие может только извратить всякий институт, счел небесполезным охладить восторг своего пылкого слушателя

Дальше Стахевич сообщает, что на первом томе «Капитала» кем-то была сделана карандашная надпись: «пустословие в социальном духе». Но он спешит прибавить: «Этих слов Николай Гаврилович не говорил мне». И он высказывает предположение, что эту надпись сделал кто-нибудь из обитателей «полиции» (камера в тюрьме) или же М. Михайлов, находившийся в Кадае одновременно с Чернышевским. Это возможно. Но Чернышевский такой надписи сделать, конечно, не мог. См. сборник «Н. Г. Чернышевский», изд. о-ва Политкаторжан, М., 1928, стр. 95—96.

³ Ал. Токарский — «Н. Г. Чернышевский (по личным воспоминаниям)». «Русск. Мысль», 1909, № 2, стр. 54—55. — Сообщения Токарского, подобно указаниям других мемуаристов, часто возбуждают сомнения.

Н. Русанов в статье «Чернышевский в Сибири»¹ также задает себе «вопрос, имеющий на первый взгляд как будто частный, а на самом деле пораздо более общий характер», а именно: «как об'яснить, что Чернышевский получил еще в 1872 году «Капитал» Маркса и ни словом, ни полусловом не заикнулся об этой книге в своей переписке, да и позже никогда не упоминал о ней?» И дает на него следующий ответ: «Опять-таки можно на эту проблему ответить лишь предположением. С одной стороны, Чернышевский очевидно не мог писать ничего о «Капитале», как о работе, относившейся к тому самому ряду жгучих социальных вопросов, за которые на имя и на сочинения Чернышевского было наложено прозное табу. С другой стороны, он, следуя своей склонности к интеллектуализму, мог и в этом сочинении видеть лишь доказательство и пример того, как нелепо складывается человеческая жизнь, если она не основана на проведении в практику здравых понятий. Маркс просто мог сильно не понравиться Чернышевскому именно той самой стороной своей книги, что раскрывает промадное значение в человеческой истории инстинктивно складывающихся отношений производства, в рамках которых человек развивал свои производительные силы. И вот это-то учение о преобладании слепого, но великого инстинктивного процесса в выработке людских отношений, притом отливавшихся в форму жестокой социальной борьбы, и могло до такой степени оттолкнуть Чернышевского от книги Маркса, что он не счел нужным и говорить о ней. Можно прибавить еще одну гипотезу. Во всем, что касается не столько социологии, сколько политической экономии, Маркс мог показаться Чернышевскому, всегда сильно любившему классическую английскую школу политико-экономов, лишь рикардианцем, но рикардианцем, излагавшим не новые для Чернышевского основные положения Рикардо в такой тяжелой непопулярной форме, которая всегда вызывала иронию и насмешки у Николая Гавриловича... Мне, по крайней мере, приходилось встречать таких учеников Чернышевского, которые относились к «Капиталу» Маркса как к книге, воспроизводящей будто бы умышленно-тяжеловесно давно известные истины, добытые великими английскими экономистами конца XVIII и начала XIX века».

Как мы видим, все это не выходит из области гаданий и предположений, подчас слишком произвольных и суб'ективных. Действительного отношения Чернышевского к тем сочинениям Маркса, которые попали в его руки, мы, повидимому, так и не узнаем, как не узнаем точно и того, с какими именно произведениями Маркса, кроме

¹ «Русское Богатство», 1910, № 7, стр. 80—81.

«Zur Kritik» и «Капитала» (первого тома, посланного ему в Вилуюск и, вероятно, второго, вышедшего в 1885 году, когда Чернышевский находился уже в Астрахани) он был знаком. Но анализ писаний самого Чернышевского, относящихся к расцвету его литературной деятельности, поможет нам уяснить себе, насколько ему удалось развить материалистическую точку зрения и применить ее к истолкованию исторических явлений.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЭТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

1. Основоположники материалистической этики

В тесной связи с материалистической философией Чернышевского находятся его взгляды на нравственность. Желая выбить идеализм из этой важной позиции, Чернышевский построил систему морали, основанной, по его словам, на точных данных науки и соответствующей действительной «природе человека». Мы говорим о теории «разумного эгоизма», столь популярной среди шестидесятников-«реалистов» и вызывавшей столько недоумений. Эту теорию Чернышевский построил, исходя из данных естествознания, из философии Фейербаха, из утилитаризма Бентама и Дж. Ст. Милля и из материалистической этики просветителей XVIII века, для того чтобы противопоставить ее этике идеалистов сороковых годов.

Этика Чернышевского непосредственно примыкает к этике Фейербаха. Как замечает Энгельс ¹, этика Фейербаха по форме реалистична, по существу же своему совершенно абстрактна. Исходным пунктом является для него человек, но он ничего не говорит о том мире, в котором живет этот человек, и потому моральный человек Фейербаха остается у него абстракцией, лишенной исторического содержания. Правда, у Фейербаха попадаются отдельные замечания относительно классового и исторического характера морали, но на общий характер его этических построений эти замечания не оказывают никакого влияния. Его этическая система прежде всего лишена социологического обоснования.

Человеку присуще стремление к счастью, говорит Фейербах, и это стремление должно быть положено в основу морали. Чтобы удовле-

¹ Энгельс — «От классического идеализма» и пр., стр. 35 и сл. — Энгельс зло вышучивает этику Фейербаха, утверждая, что по его морали биржа — высший храм нравственности, если только спекуляция ведется с правильным расчетом. Это, конечно, полемический прием, но он удачно вскрывает абстрактность и неисторичность фейербаховской морали.

творить свое стремление к счастью, человек должен правильно оценивать последствия своих поступков, а с другой стороны — уважать одинаковые стремления других людей. Разумное самоограничение и любовь к ближним — таковы основные правила фейербаховской морали.

В письме от 11 апреля 1877 года из Вилуйска Чернышевский, заговорив о «способности человеческой природы к бескорыстной любви» и указав, что большинство руководится «своекорыстными интересами», ссылается по вопросу о «мотивах человеческой деятельности» на одно из примечаний к «Лекциям о религии» Фейербаха¹. Н. Русанов полагает, что речь идет о примечании 2². Вот что там сказано по интересующему нас предмету.

В действительности, говорит Фейербах, люди вообще действуют по совершенно иным мотивам, чем они это представляют себе в своем религиозном воображении. Мораль и право базируются на любви к жизни, на интересе, на эгоизме. Различие между правдой и неправдой, добром и злом, служащее источником морали и права, вовсе не устраняется с исчезновением религии.

Итак, в основе морали лежит эгоизм. Какой же эгоизм имеет в виду Фейербах? На это он сам отвечает: «Не тот ограниченный эгоизм, к которому одному обыкновенно прилагают это имя, но который является лишь одною, хотя и самую вульгарною его разновидный, но тот эгоизм, который включает в себя столько же видов и родов, сколько вообще существует видов и родов человеческого существа, ибо имеется не только одиночный или индивидуальный эгоизм, но также и эгоизм социальный, семейный, корпоративный, общинный, патристический³. Конечно, эгоизм есть причина всех зол, но также и причина всех благ, ибо кто иной, как не эгоизм, вызвал к жизни земледелие, торговлю, искусства и науки? Конечно, он — причина всех пороков, но также и причина всех добродетелей, ибо кто создал добродетель честности? Эгоизм — запрещением воровства. Кто создал добродетель целомудрия? Эгоизм — запрещением прелюбодеяния, эгоизм, который не желает делиться предметом своей любви с другими. Кто создал добродетель правдивости? Эгоизм — запрещением лжи, эгоизм, не желающий быть оболганным и обманутым. Таким образом эгоизм есть первый законодатель и первая причина добродетелей, хотя бы только из вражды к пороку, только из эгоизма, только по-

¹ «Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 125—127.

² Н. Р у с а н о в — «Чернышевский в Сибири». «Русское Богатство», 1910, № 5, стр. 182.

³ В этой фразе курсив мой.

тому, что для него является злым то, что для меня является пороком, как и наоборот, что для меня есть отрицание моего эгоизма, то для другого есть утверждение, что для меня есть добродетель, то для него есть благодеяние».

На возражение, что мораль должна основываться на религии, на божественном, как на чем-то прочном и извечном, иначе она потеряет всякий авторитет и всякую устойчивость, Фейербах отвечает, что существо человека вовсе не есть нечто относительное и ненадежное, а напротив, при всем бесконечном разнообразии его основных влечений, есть нечто себе равное, надежное, даже чувственно достоверное. Все дело в натуре данного человека. «Если ты — не подлая, а благородная натура, если ты и в самом деле человек, а не зверь, то ты и без страха перед богом и людьми найдешь в себе достаточно мотивов, которые удержат «тебя от постыдного дела. Я назову прежде всего чувство чести!»¹.

Сюда же относится и дополнение к примечанию 27 (цит. соч., стр. 383—384), где Фейербах говорит о взвешивании человеком своих поступков и о выборе между разными решениями. «Человек в самом себе делает различия, — он ведь сам явственно состоит из отличающихся друг от друга и даже противоположных органов и сил, — но то, что он в самом себе отличает, в такой же мере принадлежит к его индивидуальности, в такой же мере является составной частью ее, как и то, от чего он это отличает. Если я борюсь с какой-либо склонностью, то разве та сила, при помощи которой я борюсь, не является в такой же мере силою моей индивидуальности, как и моя склонность, только силой особого рода?»². Голова, местопребывание интеллекта, есть нечто совершенно иное, чем живот, местопребывание материальных страстей и потребностей. Но распространяется ли мое существо лишь до пупка, а не до головы? Есть ли только содержание моего чрева — содержание моей индивидуальности? Разве Я в половине уже больше не Я? Не обнаруживается ли мое Я более всего там? Разве мышление не есть индивидуальная деятельность, «индивидуальное состояние»? Почему же в таком случае оно заставляет меня так напрягаться? Не является ли голова мыслителя, т. е. человека, который делает индивидуальную деятельность мышления своей главной и характерной для него задачей, отличной от немыслящей головы? Или вы, быть может, полагаете, что Фихте философствовал в противоречии со своей индивидуальной на-

¹ Фейербах — «Сочинения», том III, М., 1926, стр. 333—337.

² В сноске здесь сказано: «Может ли в самом деле индивидуум превзойти самого себя? Не есть ли это превзойдение лишь моя, только теперь созревшая, развившаяся индивидуальная сила или способность?».

клонностью, что Гёте и Рафаэль творили в противоречии с их индивидуальными наклонностями?»¹.

Фейербах в вопросе о морали имел своих предшественников. В этой области, как и в других, его задолго предупредили французские материалисты XVIII века, которые вслед за английскими сенсуалистами² пытались создать материалистическую систему морали, основанную на принципе расчетливого эгоизма³.

По поводу этических учений французских материалистов Маркс в «Святом семействе» замечает: «У Гельвеция, тоже исходившего из Локка, материализм получает настоящий французский характер. Он непосредственно применяется к общественной жизни (Helvetius — «De l'homme»). Впечатления, получаемые внешними чувствами, себялюбие, наслаждение и правильно понятый личный интерес составляют основу морали. Природное равенство человеческих духовных способностей, единство успехов разума с успехами индустрии, природная доброта человека, всемогущество воспитания — вот главные моменты его системы... В «Système de la nature» Гольбаха часть, посвященная физике, также представляет собой соединение французского и английского материализма, теория же нравственности по существу опирается на мораль Гельвеция»⁴.

Действительно из всех просветителей Гельвеций больше всего занимался вопросами этики. Но и главный из них, Д. Дидро, также касался этих вопросов и тоже пытался заложить материалистические основы морали. С него мы и начнем.

¹ Полнее Фейербах изложил свои этические взгляды в работе «О спиритуализме и материализме, в особенности в их отношении к свободе воли» («Сочинения», том I), но мы здесь не цитируем ее, ибо она относится к 1863—1866 гг., т. е. не могла быть известна Чернышевскому до ареста. Ниже мы приведем из нее пару мест, чтобы показать, насколько ответы Фейербаха и Чернышевского на ряд вопросов точно совпадали.

² На то, что материалисты продолжали дело, начатое Локком, указывал уже Вольтер.

³ В упомянутой в предыдущем примечании работе Фейербах (стр. 192) ссылается на «Систему природы» Гольбаха для доказательства «правильной» мысли, что человек необходимо стремится к благосостоянию, а в другой раз (стр. 201) и ссылается на нее, и полемизирует с нею: «В согласии, но также и в противоположении с французской «Системой природы», потому что, как различна воля в зависимости от возраста и пола, так различна она и в зависимости от национальности, и, следовательно, французская и немецкая воля не безразлично одна и та же». Ссылок, впрочем, у Фейербаха вообще мало; но это ничуть не меняет дела: основные свои взгляды он заимствовал у французских просветителей.

⁴ «Литературное наследие», т. II, стр. 271—272.

Одной из первых работ Дидро был сделанный им в 1745 году вольный перевод «Опыта о заслугах и добродетели» Шефстбери. Английский философ утверждал, что всемерное достижение своего счастья при помощи содействия счастью других и есть добродетель; противоположный образ действий есть порок, который приводит к собственному несчастью.

Дидро переносит сенсуализм и в область морали. Органы чувств являются источниками не только нашего познания, но и душевных переживаний. «Нет движения, которое бы не сопровождалось, которому бы не предшествовало или за которым бы не следовало страдание и удовольствие, и которое бы не имело в качестве постоянного начала потребность». Всё действующее на наши чувства должно или нравиться, или не нравиться нам: первое мы назовем благом, и будем к нему стремиться; второе назовем злом, и будем его избегать.

Дидро последовательно отрицает свободу воли. Воля человека столь же обусловлена, как и разумение. Актов беспричинной воли не существует. Воля рождается из желания, обусловленного нашей физиологической организацией. А так как человек стремится к счастью, то из этого желания и возникает воля к тому или иному действию.

Стремление к счастью есть принцип человеческого существования, и все поступки людей в основе своей сводятся к нему.

Страсти, влекущие нас к удовольствиям, сами по себе не являются порочными. Напротив, только сильные страсти способны подвинуть людей на великие дела (ср. сказанное выше Фейербахом об эгоизме как причине не только всех пороков, но и всех добродетелей). Страсти без разума — это паруса без кормчего, но разум без страстей — это король без подданных: один без другого немыслим, и наоборот.

«Что нам говорит голос природы? — спрашивает Дидро. — Чтобы мы были счастливы. Нужно ли и можно ли ему сопротивляться? Нет. Наиболее добродетельный и наиболее испорченный человек одинаково подчиняются ему. Правильно, что природа говорит с нами на разных языках. Но пусть все люди сделаются просвещенными, и она заговорит со всеми на языке добродетели».

Добродетель есть справедливость. Общее благо должно быть высшим правилом нашего поведения. Добиваясь счастья для себя, мы должны добиваться его и для других. Целое с его благом выше отдельного лица ¹.

Человеческие действия обуславливаются природой человека. «Если же предположить, что люди созданы таким образом, что они

¹ И. Луппол, цит. соч., стр. 126, 249—268.

не могут жить, не оказывая друг другу поддержки, то ясно, что их действия целесообразны или нецелесообразны смотря по тому, приближаются ли они или удаляются от этой прямой задачи, и что это отношение их к сохранению рода человеческого придает им характер добра и справедливости, зла и несправедливости, который, следовательно, обуславливается не каким-либо произвольным соглашением, а самую природою человека, ее организацией».

Альтруизм — это тот же эгоизм. «Самоуважение, одобрение собственной совести не составляют ли достаточного вознаграждения за мимолетные выгоды, которые человек приносит в жертву удовольствию пользоваться уважением других?»¹ (вспомним «чувство чести» Фейербаха).

Как мы сейчас увидим, Дидро, хотя и писавший против Гельвеция², в сущности стоит с ним на одинаковой почве. Оба они начинают с индивидуализма, чтобы прийти к общественным основам морали и признать задачей личности служение интересам целого. Оба же они рассматривают мораль как результат политического строя. «Нравы повсюду суть следствия законодательства и формы правления, — говорит Дидро в «*Mélanges*», писанных для Екатерины II; — они не бывают ни африканскими, ни азиатскими, ни европейскими: они бывают добрыми или дурными». Интересно, что, исходя из этих положений, Дидро с моральной точки зрения протестует против деления общества на классы, из которых один эксплуатирует другой. Выше мы уже цитировали слова Маркса о том, что из этического учения французского материализма сделаны были коммунистические выводы. И это понятно.

Приблизительно такова же была мораль и Ламеттри.

Гельвеций, оказавший наибольшее влияние на всех материалистов, писавших после него о морали, исходит из того основного положения, что интерес управляет всеми нашими суждениями³. Но при этом он ставит мораль в зависимость от социальной среды.

¹ Р. Сементковский, цит. соч., стр. 588—589.

² «Трудно создавать хорошую метафизику и мораль, не будучи анатомом, натуралистом, физиологом и медиком», — писал Дидро по адресу Гельвеция. Подобные положения характерны для натуралистического материализма, как называет Деборин систему Гольбаха. Гельвеций (и, вероятно, Чернышевский) не стал бы против этой мысли Дидро спорить.

³ «Об уме», стр. 29. — Плеханов в «Очерках по истории материализма» (стр. 51) указывает, что «Гельвеций не только был материалистом, но среди своих современников он с наибольшей «последовательностью» придерживался основной идеи материализма».

Добродетель человека зависит в большой мере от обстоятельств, его окружающих.

Нет преступления, которое не возводилось бы в ряд достойных поступков обществами, которым это преступление было полезно, нет и полезного поступка в общественном смысле, который не был бы осужден каким-либо частным обществом, которому этот поступок был невыгоден.

Своими пороками и добродетелями всякий обязан исключительно различным видоизменениям, которым подвергается личный интерес. Все люди движимы одной и той же силой, все равно стремятся к счастью. Разнообразие страстей и влечений, из которых одни согласуются, другие противоречат общественному благу, определяет наши добродетели и наши пороки.

Брут пожертвовал своим сыном для спасения Рима только потому, что родительская любовь была в нем менее могущественна, чем любовь к родине. «В том критическом положении, в котором тогда находился Рим, этот акт явился основанием его огромного могущества, которого он впоследствии достиг благодаря любви к общественному благу и свободе».

Человек праведен, когда все его действия направлены к общему благу. Если хочешь поступать честно, принимай в расчет и верь только общественному интересу, а не окружающим людям. Личный интерес часто вводит в заблуждение. Поэтому для того, чтобы быть честным, надо, чтобы к благородству души присоединился просвещенный ум¹.

Моралисты должны были бы знать, что подобно тому как скульптор из ствола дерева может сделать бога или скамью, так и законодатель может по желанию образовать героев, гениев и добродетельных людей. Все искусство законодателя заключается в том, чтобы заставить людей быть справедливыми друг к другу, опираясь на их любовь к себе самим. А чтобы составить такого рода законы, надо знать сердце человеческое и прежде всего знать, что люди чувствительны только к самим себе и равнодушны к другим, и не рождены ни добрыми, ни злыми, а готовыми стать теми или другими в зависимости от того, соединяет или разделяет их общий интерес; что чувство предпочтения, которое каждый испытывает к самому себе и с которым связано сохранение рода, неизгладимо выправировано в нем самой природой, что физическая чувствительность вызывает в нас любовь к удовольствию и отвращение к страданию, что чувства удовольствия

¹ Ibid., стр. 33, 34, 48, 51 сл.

и страдания посеяли и взрастили во всех сердцах семя себялюбия, которое, развиваясь, породило страсти, из каковых проистекли все наши пороки и добродетели¹ (ср. Фейербаха).

А высокие чувства и героические подвиги? Они имеют тот же источник, что и все остальные... Стремление к величию вытекает из страха перед страданиями и из любви к чувственным удовольствиям, к которым необходимо сводятся все остальные. То наслаждение, которое доставляют власть и уважение, не есть настоящее удовольствие; оно так называется только потому, что надежда на удовольствие и на обладание средством доставить себе его есть уже удовольствие, которое, однако, обязано своим существованием существованию физических удовольствий.

Мы любим уважение не само по себе, а за те выгоды, которые оно нам доставляет. Тщетно будут указывать на пример Курция² как на противоречащий этому заключению: случай, почти единственный, не может служить опровержением принципов, опирающихся на множество примеров, особенно когда этот случай может быть приписан иным причинам и естественно ими объяснен. Чтобы появился Курций, достаточно, чтобы человек, утомленный жизнью, испытал такое же тяжелое физическое состояние, какое побуждает многих англичан к самоубийству, или чтобы в век, столь суеверный, каков был век Курция, родился человек более фанатичный и легковерный, чем все остальные, который бы верил, что своим подвигом он заслужит место среди богов. В том и другом случае можно обречь себя смерти или для того, чтобы прекратить страдания, или для того, чтобы открыть себе доступ к небесному блаженству. Люди желают быть достойными уважения только для того, чтобы быть уважаемыми, а быть уважаемыми они желают только для того, чтобы пользоваться удовольствиями, связанными с этим уважением; следовательно, жажда уважения есть только замаскированная жажда наслаждений³.

Почему жители Крита и Беотии и вообще народы, особенно отдававшие любовной страсти, были самыми мужественными? По-

¹ Ibid., стр. 143, 153. — По этому поводу Плеханов в «Очерках» (стр. 53) замечает, что Гельвеций «был единственным философом XVIII столетия, осмелившимся затронуть вопрос о происхождении нравственных чувств. Он был единственным, осмелившимся выводить их из «чувственного ощущения» людей». Это, впрочем, не совсем верно. На той же позиции стояли по существу и Дидро, и Ламеттри, и Гольбах и др.

² Курций — легендарный римский герой, бросившийся в пропасть для предотвращения угрожавшей государству опасности.

³ Ibid., стр. 228—229. — По поводу этих рассуждений противники Гельвеция обвиняли его в «оклеветании» героев (ср. выше пример Брута).

тому, что в этих странах женщины были благосклонны к самым храбрым.

Одним словом, чувственные страдания и удовольствия заставляют людей думать и действовать и являются единственными рычагами, двигающими нравственный мир (стр. 238—241).

Следовательно, добродетельный человек не тот, который жертвует своими удовольствиями, своими привычками и самыми сильными страстями ради общего интереса, — ибо такой человек невозможен, — а тот, чья сильная страсть до такой степени согласуется с общественным интересом, что он почти всегда принужден быть добродетельным (стр. 247) ¹.

В результате своего исследования Гельвеций приходит к тому заключению, что люди полностью становятся тем, чем делает их окружающая обстановка (стр. 406), а «все различие в духе и в характере нации должно приписывать различию государственного устройства и, значит, причинам моральным» (стр. 301—302) ².

Гольбах в своей «Системе природы» повторяет основные положения Дидро и особенно Гельвеция. Исходя из того, что человек несчастен лишь потому, что не знает природы, Гольбах рекомендует ему строить свою нравственность на своей природе, на своих потребностях, на реальных выгодах, даваемых ему жизнью в обществе; пусть он осмелится любить самого себя; пусть он работает над своим собственным счастьем, трудясь над счастьем других.

¹ Ср. несколько парадоксальное заявление Чернышевского в письме от 24 ноября 1873 года: «Я держался философии, не допускающей так называемых самоотверженных подвигов на пользу — чью бы то ни было, кроме немногих людей, которых человек любит лично, и для которых подвиги его не нужны, а нужно только, чтобы он — если он мужчина — зарабатывал кусок хлеба для них. Над всяким энтузиазмом я смеялся всегда, когда не видел особенной надобности заменять смех серьезными выговорами. Энтузиасты это — глупцы, глупцы, невыносимо глупенькие мальчики взрослых размеров тела. Большею частью добряки, и за это следует быть снисходительным к ним, но дети, крошечные дети, проводящие век в дурачествах, неприличных взрослым людям» («Чернышевский в Сибири», выпуск 1, стр. 84).

² Обращаем внимание читателей на эти слова. Запомнить их необходимо для того, чтобы, встречая дальше у Чернышевского заявления о том, что все дело в причинах «моральных», мы не впадали в ошибку Г. Плеханова, который, как мы увидим, истолковывает их в смысле свидетельства идеалистических уклонов Чернышевского, тогда как у того речь идет о подлежащих разрушению дурных политических учреждениях.

Благодаря незнанию самого себя и непониманию необходимых отношений, существующих между ним и другими людьми, человек не понял своих обязанностей по отношению к своим ближним; он не понял, что они необходимы для его собственного счастья. Точно так же он не понял своих обязанностей по отношению к самому себе, он не усмотрел излишеств, которых он должен избегать, чтобы стать длительно счастливым, страстей, которым он должен сопротивляться или которым он должен отдаться ради своего собственного счастья. Одним словом, он не познал своих истинных выгод... Таким образом незнание человеческой природы помешало человеку уяснить себе задачи нравственности; впрочем, развратные правительства, которым он был подчинен, помешали бы ему осуществить на деле предписания морали, даже если бы он их знал¹.

Добродетель — это все то, что поистине и постоянно полезно живущим в обществе людям; порок — это все то, что вредно им. Величайшие добродетели — это те, которые доставляют им величайшие и длительнейшие выгоды; величайшие пороки — это те, которые больше всего препятствуют их стремлению к счастью и которые нарушают больше всего необходимый обществу порядок. Добродетельный человек — это тот человек, действия которого всегда устремлены к благополучию его ближних; порочный человек — тот, поведение которого ведет к несчастью тех, с кем он живет, из чего обыкновенно вытекает и его собственное несчастье. Все то, что доставляет нам самим подлинное и длительное счастье, — разумно; все, что нарушает наше собственное благополучие или благополучие людей, необходимых для нашего счастья, — бессмысленно или неразумно. Человек, который вредит другим, — злой человек; человек, который вредит самому себе, — неблагоприятный человек, не имеющий понятия ни о разуме, ни о собственных интересах, ни об истине (стр. 106).

Чтобы человек был добродетельным, необходимо, чтоб он находил интерес в этом и видел выгоды в добродетельном поведении. Для этого необходимо, чтобы воспитание внушало ему рациональные идеи, чтоб общественное мнение и пример заставили его видеть в добродетели достойнейшую уважения вещь (стр. 117).

Польза должна быть единственным мерилom для людских суждений. Быть полезным — это значит содействовать счастью своих ближних; быть вредным — это значит содействовать их несчастью.

«Говоря, что интерес есть единственный мотив человеческих действий, мы желаем этим сказать, что

¹ «Система природы», стр. 1—13.

каждый человек по-своему трудится для своего счастья, которое он находит в каком-нибудь видимом или невидимом, реальном или воображаемом предмете, — цели своего поведения» (стр. 233—236).

Человек, привыкший поступать добросовестным образом, руководствуется всегда интересом заслужить любовь, уважение и помощь своих ближних, а также испытывает потребность любить и уважать самого себя; пропитанный этими, ставшими для него привычными, идеями, он воздерживается даже от скрытых преступлений, которые унизили бы его в его собственных глазах; он похож на человека, который, усвоив с детства привычку к чистоплотности, испытывал бы, запачкавшись, неприятное чувство, даже если бы никто не был свидетелем этого. Хороший человек — это человек, видящий свой интерес или свое счастье в поведении, которое другие люди должны ради собственного их интереса любить и одобрять.

Эти принципы являются — при должном развитии их — истинной основой морали.

Быть добродетельным, следовательно, это значит видеть свой интерес в том, что совпадает с интересом других людей; это значит наслаждаться благодеяниями и удовольствиями, которые доставляешь им (стр. 233—239).

Разум и мораль сумеют оказывать влияние на людей лишь в том случае, если они покажут каждому из них, что его подлинный интерес связан с полезным для него самого поведением; а это поведение может быть полезным, лишь снискав ему благожелательное отношение других людей, необходимых для его собственного счастья; поэтому воспитание должно с ранних лет занимать воображение граждан мыслями об интересе или пользе человечества и о вытекающих отсюда уважении, любви, выгодах; привычка должна приучить их к средствам получить эти выгоды; общественное мнение должно сделать эти средства дорогими для них, а пример окружающих должен побуждать их искать этих средств.

Человек со всеми своими взглядами и поступками есть продукт воспитания и окружающих условий. Мнимое учение о свободе воли не основывается решительно ни на чем; опыт опровергает его на каждом шагу: опыт показывает человеку, что во всех своих действиях он подчинен необходимости; и эта истина не только не опасна для людей или пагубна для морали, но наоборот должна стать ее настоящей основой, ибо она показывает необходимость отношений, существующих между чувствующими существами, объединившимися в общество, чтобы совместно трудиться над взаимным счастьем. Из необходимости этих отношений вытекает необходи-

мость обязанностей у людей и необходимость чувства любви к поведению, называемому добродетельным, и отвращения к поведению, называемому порочным и преступным.

Человек бывает так часто злым лишь потому, что он считает себя почти всегда заинтересованным в этом; пусть позаботятся о просвещении и о счастье людей, и они станут лучше (стр. 267 и 271).

2. Мораль разумного эгоизма

Таковы были материалистические учения о нравственности, которые были известны Чернышевскому, которые он в общем разделял и считал своим долгом пропагандировать среди читателей. В той же статье «Антропологический принцип», он набросал основные черты морали новых людей, этики «разночинцев», отвергающих традиционные представления и строящих свое отношение к миру на основе здравого смысла и, как им казалось, свидетельств исторического опыта. Протестуя против угнетавшего их политического и общественного строя, они протестовали и против навязываемых этим строем этических норм, против аскетизма, которого он требовал от подчиненных, против осуждения самых естественных порывов, стремлений и страстей, против умерщвления личности и насильственного загоняния ее в узкие рамки религиозных и полицейских предписаний, рядившихся при нужде в тогу идеалистических учений. Материалистическая этика раскрепощала личность, реабилитировала человеческие страсти, возлагала на общество ответственность за все несчастья, испытываемые людьми. Уже одним этим она должна была привлекать симпатии революционного поколения и его идеологов, в частности Чернышевского, тем более что она представлялась ему естественным выводом из положений материалистической натурфилософии¹.

В своем двойном качестве экономиста и человека железной логики, не боящейся самых крайних выводов, Чернышевский идет в этом вопросе до конца. Опыт показывает, говорит он, что все люди — эгоисты, и что в своей практической деятельности они руководятся эгоистическими соображениями. На первый взгляд это положение как бы опровергается многочисленными примерами бескорыстия, самопожертвования и т. п. Но только на первый взгляд: при внимательном ана-

¹ «Обоснование этики стремления к наслаждению и счастью индивидуума или на эгоизме и материалистическое мировоззрение взаимно обуславливали друг друга. Наиболее ясна эта связь у Эпикура» (К. Каутский — «Этика и материалистическое понимание истории», Спб., 1906, изд. «Новый Мир», стр. 14).

лизе этих фактов оказывается, что и в их основе всегда лежит разумный эгоистический расчет.

Любящая жена плачет об умершем муже: «на кого ты меня покинул? что я буду без тебя делать?» и т. д. Подчеркните эти слова: «я, меня, мне», говорит наш автор: в них — смысл жалобы и основа печали. Возьмем чувство более высокое: любовь матери к ребенку, — и здесь мы увидим ту же основу. Но и в основе так наз. самопожертвования лежит или личный расчет, или страстный порыв эгоизма. Этому не противоречат даже факты самоубийств или самопожертвования.

Вопрос о таких решительных или героических поступках всегда занимал сторонников морали разумного эгоизма, ибо они чувствовали, что здесь заключается слабое место их системы. Мы видели относящиеся к этому вопросу рассуждения Гельвеция (кстати, некоторые примеры последнего, например, с Курцием, приводит и Чернышевский). Фейербах тоже остановился на этом пункте — правда, в работе, написанной после ареста Чернышевского и потому последнему неизвестной, а именно в рассуждении «О спиритуализме» и пр. Вот что он говорит здесь («Соч.», т. I, стр. 174 и сл.).

Защитники свободной воли всегда ссылались на самоубийства, чтобы доказать правильность своего тезиса. Но, возражает им Фейербах, стремление к самосохранению занимает в человеке не больше места, чем его Я или то благо, которое он относит к своему Я и которое он не может ни обособить, ни устранить от себя, не устраняя вместе и себя самого. Что такое Я или жизнь (ибо кто сможет разделить жизнь и бытие Я) для любящего — без любимой, для честолюбца — без чести, для богача — без богатства, для воина — без битвы или без оружия? Что такое вообще жизнь — без того, что с точки зрения человека и его потребности необходимо относится к жизни?.. Поэтому, если человек кончает свою жизнь, боясь потерять или потеряв то, что он относит к сущности жизни, то он поступает не в разрез, а в согласии со своим стремлением к самосохранению.

Самоубийство относится к разряду противоречивейших явлений в человеческом существе, явлений или поступков, которые стоят или, точнее, кажутся, что стоят в кричащем противоречии с его себялюбием и все ж таки из себялюбия только и возникают... Добровольной смертью человек доказывает лишь то, что даже и высший акт его свободы не выходит за пределы естественной необходимости, что он всего лишь сам причиняет себе то, что он неминуемо претерпел бы от природы. Он доказывает, следовательно, то, что его воля — не оригинальный творец, а только копировщик природы.

Приблизительно то же можно сказать и об актах героизма. Героические поступки, противоречащие стремлению к счастью, вообще не имеют места, если для них нет какого-нибудь трагического основания. Они происходят — но это обыкновенно тоже упускают из вида или не обращают на это достаточного внимания — только в таких обстоятельствах и положениях и только в такие моменты, которые сами противоречат стремлению к счастью, когда эти поступки не могут быть не совершенными, когда все теряется, если не ставится на карту (*ibid.*, стр. 263).

Почти так же рассуждает и Чернышевский, следуя в этом отношении главным образом примеру Гельвеция, к которому в данном вопросе он стоит особенно близко.

Сходство между обоими писателями отметил уже Плеханов в своих «Очерках по истории материализма» (стр. 59), где он пишет: «Из всех французских философов XVIII столетия Гельвеций больше всех походит на него. Чернышевский отличался таким же бесстрашием логики, таким же презрением к сентиментальности, таким же методом, таким же направлением вкуса, подобным же рационалистическим способом доказательства, теми же самыми выводами и примерами, вплоть до самых частных вопросов, для доказательства того или иного своего утверждения. Чем объясняется подобное совпадение? Имеем ли мы плагиат со стороны русского писателя? Никто до сих пор не решался бросить Чернышевскому подобное обвинение».

Так или иначе, но Чернышевский в этом вопросе рассуждает подобно Гельвецию. В основе героических поступков, актов самопожертвования и т. п. лежит мотив личного счастья, особая форма эгоизма (вспомним подчеркнутые нами выше слова Гельвеция о «различных видоизменениях, которым подвергается личный интерес»). Жители Сагунта перерезались, чтобы не отдаться живыми в руки Ганнибала: это объясняется очень просто: они не хотели попасть в рабство к врагам и предпочли минуту смертельной муки нескончаемым годам мучений. Лукреция закололась, когда ее осквернил Тарквиний: она поступила очень расчетливо, ибо ее ждало унижительное отношение со стороны мужа, который невольно должен был охладеть к ней после этого инцидента. «Лукреция справедливо нашла, что лишиться жизни составляет гораздо меньшую неприятность, чем жить в положении унижительном по сравнению с тем, к какому она привыкла» (стр. 230—231).

Во избежание кривотолков Чернышевский спешит оговориться: «Мы говорили все это вовсе не к уменьшению великой похвалы, какой

достойны жители Сагунта и Лукреция: доказывать, что геройский поступок был вместе умным поступком, что благородное дело не было безрассудным делом, вовсе еще не значит, по нашему мнению, отнимать цену у героизма и благородства».

Это замечание с очевидной ясностью показывает, что реалисты, строя новую мораль, подобно материалистам XVIII века, отнюдь не имели в виду отрицать так называемые альтруистические поступки или восставать против них. Они стремились лишь ввести их в общую систему своих воззрений, дать им реалистическое толкование и объяснение. Верно ли это объяснение, это другой вопрос. Но каким лицемерием или тупостью нужно обладать, чтобы усмотреть в этике шестидесятников проповедь эгоизма или стремление возвеличить животных насчет человека! А ведь именно такие возражения делались Чернышевскому, как они в свое время делались Гельвецию и другим...

Чернышевский продолжает свою аргументацию. Человек, проводящий целые недели у постели своего друга, приносит свое время и свою свободу в жертву своему чувству дружбы: это «свое» чувство в нем так сильно, что удовлетворяя его, он получает большую приятность, чем получил бы от всяких других удовольствий и даже от свободы; а нарушая его, оставляя без удовлетворения, чувствовал бы больше неприятности, чем сколько получает от временного стеснения своей свободы. То же можно сказать об ученых, отрекающихся от личной жизни во имя интересов науки, или о политических деятелях, «называемых обыкновенно фанатиками», поясняет Чернышевский, т. е. о революционерах.

«По своему предмету эти случаи очень резко отличаются от тех фактов расчета, в которых человек жертвует очень большой суммой денег для удовлетворения какой-нибудь низкой страсти, но по теоретической формуле все они подходят под один закон: сильнейшая страсть берет верх над влечениями менее сильными и приносит их в жертву себе». Для Чернышевского важно дать рационалистическое, как ему кажется, материалистическое и вместе с тем общее, монистическое истолкование человеческим поступкам. Конечно, при этом он, подобно Фейербаху, становится на абстрактную почву и отнимает у своей формулы всякий исторический и социальный характер; но меньше всего он думает при этом восхвалять эгоизм в обычном смысле этого слова. «Конечно, — говорит он, — этою одинаковостью причины, из которой происходят дурные и хорошие дела, вовсе не уменьшается разница между ними: мы знаем, что алмаз и уголь — все один и тот же чистый углерод, но

тем не менее алмаз есть алмаз, а уголь все-таки уголь, вещь очень малоценная»¹.

Но «что есть истина?» Что такое добро и зло? Эти понятия Чернышевский пытается также определить с точки зрения утилитаризма. Цель всех человеческих стремлений состоит в получении наслаждений. Полезными вещами называются «прочные принципы наслаждений», а добро — это превосходная степень пользы. Чернышевский знает, что добром в различные эпохи и у различных классов считались совершенно различные вещи, но тем не менее он отказывается признать, что «понятие добра не имеет в себе ничего постоянного». Отдельный человек, говорит он, называет добрыми поступками те дела других людей, которые полезны для него; в мнении общества добром признается то, что полезно для всего общества или для большинства его членов; наконец, люди вообще, без различия наций и сословий, называют добром то, что полезно для человека вообще (это почти слово в слово то, что говорили Гельвеций и Гольбах).

Итак, устанавливается градация полезности, а стало быть — нравственности поступков: полезность для индивидуума, общества и человечества (не следует думать, что Чернышевский забывает об отдельных классах внутри общества: он говорит о «сословиях» и «большинстве членов общества»). Но что, если между этими отдельными элементами возникают конфликты? С каким критерием должны мы тогда подходить к оценке человеческих поступков? Чернышевский отвечает и на этот вопрос.

Очень часто, говорит он, интересы разных наций и классов («сословий» — об этом термине ниже) противоположны друг другу или противоречат интересам человечества в целом; столь же часты случаи, когда выгоды какого-нибудь отдельного класса противоречат национальному интересу. Во всех таких случаях возникает спор, но решить его, определить, на чьей стороне бывает в таких случаях «теоретическая справедливость», вовсе не трудно. «Общечеловеческий интерес, — говорит Чернышевский, — стоит выше выгод отдельной нации, общий интерес целой нации стоит выше выгод отдельного сословия, интерес многочисленного сословия выше выгод малочисленного»².

¹ «Антропологический принцип», *loc. cit.*, стр. 231.

² Эта классификация представляет шаг вперед, сделанный Чернышевским по сравнению с его предшественниками, и объясняется его классовой точкой зрения коммуниста.

Итак, искомый критерий для различения нравственности человеческих поступков найден, и одно недоумение, вызываемое теорией разумного эгоизма, разъяснено. Остается другой, более частный вопрос, ответ на который естественно вытекает из полученного уже решения общего вопроса. Какие же человеческие поступки можно назвать действительно «расчетливыми», соответствующими теории «разумного» эгоизма? Чернышевский все в той же статье¹ отвечает на это совершенно определенно: «Расчетливы только добрые поступки; рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько, насколько добр. Когда человек не добр, он просто нерасчетливый мот, тратящий тысячу рублей на покупку грошевой вещи, тратящий на получение малого наслаждения нравственные и материальные силы, которых бы достало ему на приобретение несравненно большего наслаждения». Это то самое положение, которое мы встречали уже у французских материалистов.

Неправда ли, как это похоже на восхваление грубого эгоизма, на принижение человека перед животным! В действительности мораль Чернышевского предъявляет к человеку самые высокие требования. Она хочет, чтобы человек органически способен был только на добрые дела, чтобы его индивидуальные стремления совпадали с общей пользой, чтобы его эгоизм был вместе с тем альтруизмом. Человек должен стоять так высоко, чтобы его личный расчет толкал его на акты благородного самопожертвования, чтобы он чувствовал удовлетворение только от служения интересам человечества, общества и «многочисленного» класса, т. е. трудящихся. Только такое служение общественным интересам он готов признать «расчетливым»; узко же эгоистическим поползновениям он отказывает даже в эпитете расчетливый, лишая их права гражданства в своем царстве «разумного эгоизма» (вспомним слова Фейербаха о «самой вульгарной» разновидности эгоизма).

Прочтите, в самом деле, что говорит Чернышевский о положительных людях в «Очерках гоголевского периода». Некоторые эгоистические люди считают себя людьми положительными, но это — жестокое заблуждение. «Любовь и доброжелательство (способность радоваться счастьем окружающих нас людей и огорчаться их страданиями) так же врождены человеку, как и эгоизм». Кто действует исключительно по расчетам эгоизма, тот действует наперекор человеческой природе, подавляет в себе врожденные и неискоренимые потребности. «Искать счастья в эгоизме ненатурально, и участь

¹ «Антропологический принцип», loc. cit., стр. 236.

эгоиста нимало не завидна: он урод, а быть уродом неудобно и неприятно»¹.

Для Чернышевского равно неприятны и ненормальны пустые фантазеры, не считающиеся с действительностью, и фантазеры трезвенности, утописты холодного эгоизма. Он ставит их на одну доску. «Положителен только тот, кто хочет быть вполне человеком: заботясь о собственном благосостоянии, любит и других людей (потому что одинокого счастья нет); отказываясь от мечтаний, несообразных с законами природы, не отказывается от полезной деятельности; находя многое в действительности прекрасным, не отрицает также, что многое в ней дурно, и стремится при помощи благоприятных человеку сил и обстоятельств бороться против того, что неблагоприятно человеческому счастью».

Положительным человеком в истинном смысле слова, вслед за Дидро, Гольбахом, Гельвецием и Фейербахом, заключает Чернышевский, может быть только человек любящий и благородный.

Основная мысль, лежащая в основе морали «разумного эгоизма», заключается в том, что поступки человека должны строго согласоваться с внутренними побуждениями его. Плохо, когда внутренние побуждения толкают человека к узкому эгоизму, но это, по крайней мере, естественно. Чернышевский может признавать холодного эгоиста уродом, но обвинить его в деланности, ненатуральности он не может. И не для таких «уродов» построена этика Чернышевского; она создана для «новых людей» — и вот от них Чернышевский требует, чтобы их поступки соответствовали их внутренним стремлениям, т. е. чтобы не только их поступки, но и самая их натура насквозь проникнуты были благородством. Единственное, чего не допускает мораль Чернышевского — это неестественность и рабское служение «принципам». Человек должен творить добро так же просто и естественно, как он пьет, ест и дышит. Делание добра, служение общественным интересам должно быть для него легким и приятным делом. Насиловать же свою натуру неестественно².

¹ «Очерки гоголевского периода». Соч., т. II, стр. 207—208. — То же говорили Гельвеций и Гольбах.

² «В сущности, — говорит Плеханов («Соч.», т. V, стр. 223), — Чернышевский именно это и хочет сказать, заставляя своих героев уверять нас в том, что они никого никогда не любили кроме себя. Этому уверению как будто противоречит то, что воображаемая невеста Лопухова... называет себя «любовью к людям». Но в действительности тут нет никакого про-

Именно такова была мораль Чернышевского и его единомышленника Добролюбова¹.

Суровая и возвышенная мораль разумного эгоизма — это мораль не внешнего только долга, но внутреннего, инстинктивного тяготения к добру. Эту же мораль исповедуют герои романа «Что делать?», в значительной степени посвященного проповеди новой этики и описанию ее применения в жизни.

В литературе неоднократно отмечалось, что действующие лица романа, столько толкующие об эгоизме, как единственном двигателе человеческих поступков, в действительности руководятся исключительно велениями долга. После всего вышесказанного для нас в этом не может быть ничего удивительного. «Эгоизм» Чернышевского и его последователей ничего общего, кроме звуков, не имеет с эгоизмом в обывательском смысле этого слова. Их «эгоизм» прежде всего «разумен», и выражается он в том, что они легко и свободно, без малейшего принуждения, следуют велениям «категорического императива» общей пользы. Что правда, — они терпеть не могут торжественных слов, вроде благородство, совесть, честь, но действуют они исключительно по совести, благородству и чести.

Просмотрите, в самом деле, разговор Лопухова с Верой Павловной в знаменитой главе «Гамлетовское испытание»², где первый посвящает свою невесту в тайны теории разумного эгоизма. Он доказывает, что «в корне» всех человеческих действий лежит эгоизм, и когда молодая девушка, еще не успевшая выйти из стадии, на которой стоит г. Иванов, возмущается холодностью, беспощадностью и прозаичностью излагаемого перед нею учения, пропагандист отвечает:

— Эта теория холодна, но учит человека добывать тепло. Спичка холодна, стена коробочки, о которую трется она, — холодна, дрова — холодны, но в них огонь, который готовит теплую пищу человеку и греет его самого. Эта теория безжалостна, но, следуя ей, люди не будут жалким предметом праздного сострадания. Ланцет не должен

тиворечия. Чернышевский просто хочет сказать, что любовь к людям совершенно пропитала собою все нравственное существо его героев, вследствие чего поступки, подсказываемые этой любовью, составляют настоящую потребность их «я». Стремление к бескорыстным действиям до такой степени свойственно Лопухову и Кирсанову, что, уступая этому стремлению, они не переживают никакой внутренней борьбы, а просто следуют своему хорошему инстинкту, вследствие чего и воображают себя людьми, думающими только о самих себе».

¹ Ср. Сакулин — «Русская литература шестидесятых годов». «История России XIX века», изд. Граната, т. IV, стр. 253—254.

² «Соч.», т. IX. «Что делать?», стр. 57 и сл.

гнуться, — иначе надобно будет жалеть о пациенте, которому не будет легче от нашего сожаления. Эта теория прозаична, но она раскрывает истинные мотивы жизни, а поэзия — в правде жизни...

Лопухов отказывается от ученой карьеры, о которой горячо мечтал, для того чтобы поскорее вырвать любимую девушку из тяжелой семейной обстановки. Но он ни за что не хочет слышать о слове *ж е р т в а*. «Как для меня лучше, так и сделал, — рассуждает он, — не такой человек, чтобы приносить жертвы. Да их и не бывает, никто не приносит; это фальшивое понятие: жертва — сапоги всмятку. Как приятнее, так и поступаешь» (стр. 85). «Теория, которой держался Кирсанов, — поясняет автор в другом месте (стр. 151), — считает такие пышные слова, как благородство, двусмысленными, темными», — и это говорится в то время, как оба друга переживают тяжелый душевный кризис и готовы отказаться от личного счастья, лишь бы с честью выйти из затруднительного положения и обеспечить счастье любимой женщины! Это неприятие слов при осуществлении скрывающихся за этими словами дел весьма характерно для поколения, на первый план выдвигавшего цельность характера и гармонию личности, у которой внешние поступки не должны расходиться с внутренними побуждениями.

Но и сам Чернышевский, и его герои чувствуют, что принятая терминология несколько стесняет их. Попытки выйти из неудобного положения, в какое ставит их эта терминология, производят несколько комичное впечатление как в устах героев романа, так и в статьях самого автора. Отказываясь от любимой женщины для своего друга, Лопухов анализирует свое поведение с точки зрения теории разумного эгоизма. И здесь ему (и автору) приходится не то, что ограничить, а дать определенное толкование своей теории. Толкование, по существу аналогичное с тем, какое дает Чернышевский в цитированных выше статьях, сводится к тому, что слово «интерес» не следует понимать в слишком узком смысле обыденного расчета. Оказывается, что новые люди имеют в виду «умственный интерес» и «интерес совести». Ура! положение спасено: двусмысленные и темные слова «благородство», «совесть», наминавшие об эпохе идеализма и потому неприятные для суровых новаторов, можно отвергнуть или, вернее, сохранить, прибавивши к ним слово «интерес». Совесть — фи! это недостойно мыслящего реалиста, но *и н т е р е с* совести — это совсем другое дело! ¹.

¹ «Сведя все к расчету, Чернышевский принуждает различать корыстный расчет, «чуждый любви к добру», от бескорыстного, пропитанного этой лю-

Милые, благородные люди! Милый, благородный Чернышевский! Только жалкие филистеры или преднамеренные слепцы могут не понимать, сколько пыла благородного сердца и честных порывов вложено в эти холодные на вид слова «расчет», «выгода», «интерес». И Лопухов имеет полное право заключить после своей важной словесной реформы: «Нужно и пожить, и подумать, чтобы уметь понять ее (теорию разумного эгоизма)».

Когда герои Чернышевского говорят о том, что «не нужно заглушать потребностей», то это не санинизм, нет. Мораль разумного эгоизма именно и требует, чтобы люди путем самовоспитания вырабатывали в себе такие потребности, которых не приходилось бы стыдиться и удовлетворение которых не было бы связано с вредом для других людей. Вспомните самого последовательного и грозного из проповедников новой морали, Рахметова. Припомните, как он стыдит Веру Павловну за то, что она, огорченная исчезновением мужа, собирается оставить основанную ею мастерскую и по личным мотивам подвергнуть риску общественное дело. Вспомните, наконец, как он устроил свою личную жизнь, отказавшись от всяких личных радостей и решивши служить исключительно делу народного освобождения. Скажут, это было ему приятно, отказ от личного счастья в интересах общества — это дело его собственного выбора, «расчета выгоды». В том-то и дело! К этому и сводится мораль Чернышевского: будьте такими, чтобы ваша личная выгода совпадала с общественными интересами; тогда вам не придется ни насиловать себя, ни говорить о самопожертвовании. *Делайте, но не поворите!*¹.

бовью. Иначе сказать, он возвращается к старому различению эгоизма от альтруизма. С ним случилось то же, что гораздо раньше произошло с Гольбахом и другими просветителями XVIII века, тоже сводившими все к расчету и тоже оказавшимися в логической необходимости противопоставить корыстному расчету бескорыстный» (П л е х а н о в — «Соч.», т. V, стр. 222).

¹ Это принужден признать и реакционер Головин-Орловский. «Из самого хода романа, — пишет он, — явствует, что Чернышевский вовсе не задается проповедью голого бессердечия... В самом деле, когда Чернышевский говорит, что разумный человек не должен жертвовать собою, он хочет этим выразить не понятие о нравственной обязанности, а лишь уверенность в том, что личное счастье, рационально устроенное, вполне совпадает с общей пользою... Он утверждает неоднократно, что для разумного человека никакого конфликта между личным счастьем и счастьем других быть не может, потому что для такого человека высочайшее наслаждение — видеть вокруг себя всеобщее благополучие и содействовать его распространению... Личная воля развитого человека не может идти вразрез с общественной пользою» («Русский роман», стр. 197—198).

Иногда, впрочем, Чернышевский не выдерживает серьезного тона и сам начинает добродушно подтрунивать над своей терминологией, сбившей с толку стольких пижонов и филистеров. Эту насмешку над теорией разумного эгоизма он влагает в уста Веры Павловны, которая в письме к «отставному медицинскому студенту» (т. е. к своему первому мужу Дмитрию Сергеевичу Лопухову, временно скрывающемуся) дает ему характеристику: «Он (т. е. сам Лопухов) постоянно отыскивает самые затаенные причины своих действий, и ему приносит удовольствие подводить их под его теорию эгоизма. Впрочем, это — общая привычка всей нашей компании. Мой Александр (Кирсанов) также охотник разбирать себя в этом духе. Если бы вы послушали, как он объясняет свой образ действий относительно меня и Дмитрия Сергеича в течение трех лет! По его словам, он все делал из эгоистического расчета, для собственного удовольствия. И я уже давно приобрела эту привычку... Да если послушать нас, мы все трое — такие эгоисты, каких до сих пор свет не производил. А может быть, это и правда? Может быть, прежде не было таких эгоистов? Да, кажется».

Совершенно справедливо: таких эгоистов, как Чернышевский, Добролюбов и герои «Что делать?», прежде не было¹.

Теория разумного эгоизма не должна вводить нас в заблуждение. Это на первый взгляд индивидуалистическое учение в действительности насквозь проникнуто общественным характером. Важна не форма,

¹ По этому поводу Плеханов («Соч.», том V, стр. 219—220) пишет: «Замечательно, что Чернышевский, утверждавший, что человек всегда руководствуется соображениями выгоды, в последнем счете думал совершенно то же, что говорим мы, но плохо формулировал свою мысль». Плеханов указывает, что Лопухов и Кирсанов остаются «эгонстами»... во всех своих разговорах и заявлениях, но не в делах. А по поводу слов Лопухова, что в своем решении отказаться от научной карьеры для спасения Веры Павловны он ставил свое «я» на первом плане, Плеханов замечает: «Из того, что сознание своего «я» никогда не покидает человека в его соображениях о своих действиях, вовсе еще не следует, что все его действия эгоистичны. Если данное «я» видит свое счастье в счастье других, если оно имеет «пристрастие» к этому счастью, то такое «я» называется альтруистичным, а не эгоистичным».

Это же по существу признает и Головин, который пишет: «Освобождая человека от нравственной узды, наложенной на него религией, Чернышевский все-таки, и вслед за ним все шестидесятники, имел в виду не торжество чувственных стремлений, а лишь иной нравственный склад, — по их мнению, более высокий». В пример он приводит аскета Рахметова и продолжает: «Таким образом идеал Чернышевского построен на том же самопожертвовании, которое он отрицает» («Русский роман», стр. 200—201). Он же с кислой гримасой принужден признать, что «большинство шестидесятников, при всей грубости их кисти, были глубокими идеалистами» (там же, стр. 163).

а содержание «разумного эгоизма» — и, как мы видели выше, Чернышевский и его последователи решали все относящиеся сюда спорные вопросы в социальном духе, в смысле служения общественным и общечеловеческим интересам. В основе морали разумного эгоизма лежит идея долга, но долга свободного, идея выбора, соответствующего внутреннему, органическому благородству. «Быть защитником притесняемых или защитником притеснений, — выбор тут не труден для честного человека»¹. Теория разумного эгоизма — это и есть мораль честных людей, мораль революционного поколения 60-х годов.

Несколько парадоксальная форма, в которую на первых порах облекалась эта мораль, объясняется условиями того времени. Не забудем, что тогда шла всесторонняя борьба за освобождение личности, которая испытывала гнет не только материальной, но и духовной традиции. Необходимо было прежде всего освободить личность от давления идейных пережитков старины, которые сковывали революционного разночинца подобно кандалам каторжника. Старая идеалистическая одежда была слишком тесна для нахлынувшей на сцену новой молодежи, жаждавшей в первую голову права на свободное самоопределение. Новая мораль помогла ей освободиться от психологии нытиков и лишних людей, от морали поколения 40-х годов². Новое поколение, которое вместе с Базаровым гордо говорило: «природа — не храм, а мастерская и человек в ней — работник», хотело трезвыми глазами взглянуть на свое отношение к жизни и отделаться от старых кумиров, парализовавших его волю. На идеях смирения, самоограничения покоился старый режим, и молодое поколение восстало против идеи самопожертвования, в коей оно усматривало отчуждение части своей личности и отречение от своих прав на полную свободу и целостное развитие. Даже свое служение общественным интересам оно хотело рас-

¹ «Сочинения», т. IV, стр. 475.

² Уже цитированный нами реакционный публицист Головин-Орловский тоже признает, что мораль разумного эгоизма была моралью «нового общественного класса, прежде ничтожного по численности, а теперь разом, как волна прибоя, затопившего все наше общество». И он указывает, в чем было коренное различие между этой новой общественной группой и либералами 40-х годов. «Между Тургеневым, Гончаровым, Толстым, даже между Гоголем и Белинским, с одной стороны, и Чернышевским и Добролюбовым, Помяловским и Решетниковым, с другой, — такой непримиримый психологический контраст, который можно объяснить себе только сменой одной культуры другой. Различие между ними, строго говоря, — не идейное; в умственном развитии перерыва здесь нет, а есть нечто гораздо более глубокое — различие бытовое, полная смена идеалов культурных, нравственных и эстетических» («Русский роман и русское общество», стр. 161).

смаатривать не как результат морального давления посторонней силы, вроде идеи «долга», но как свободный выбор свободной и автономной личности.

Именно эту мысль высказывал Писарев, когда писал: «Эгоист — человек свободный в самом широком смысле этого слова... Отсутствие нравственного принуждения — вот единственный существенный признак эгоизма... Эгоизм — система умственных убеждений, ведущая к полной эмансипации личности и усиливающая в человеке самоуважение... Эгоизм, если понимать его, как следует, есть только полная свобода личности, уничтожение обязательных трудов и добродетелей, а не искоренение добрых влечений и благородных порывов».

Так же смотрели на дело Чернышевский и Добролюбов¹. Только в таком смысле они понимали эгоизм. И если у Писарева при этом иногда звучит индивидуалистическая нотка, то Чернышевский совершенно был свободен от этого. Не забудем, что его теория разумного эгоизма была тесно связана с пропагандой социализма, как единственного спасения для трудящегося человечества². И как бы мы теперь ни смотрели на внешние недостатки этой теории, как бы мы ни относились к ее абстрактному характеру, к слабой исторической и социальной обосновке этики Чернышевского, мы должны помнить, что она связана была с общей социалистической системой и отвечала характеру целой исторической полосы русской общественной жизни.

Эту сторону вопроса, как мы видели, понял реакционер Головин. Еще лучше понял ее либерал Н. Котляревский, несмотря на то, что по всему своему мироощущению он стоит чрезвычайно далеко от Чернышевского. В статье «Очерки из истории общественного настроения 60-х годов» («Вестник Европы» 1912, № 12) он показывает, что за внешней формой эвдемонистической теории скрывалось глубокое чувство социального долга и настоящего альтруизма.

«Проповедь «разумного эгоизма», как окрестил Чернышевский свое учение, — пишет он, — была простым (?) повторением осново-

¹ Добролюбов горячо убеждает своих читателей «сохранить личную самостоятельность против всякого авторитета, свою внутреннюю нравственность против всяких внешних внушений». — «Всякий, кто поступает против своего внутреннего убеждения, — энергически говорит он, — поступает бесчестно и подло, всякий, потерявший силу свободного, самостоятельного действия, есть жалкая дрянь и тряпка и только напрасно позорит свое существование».

² Это понимает и реакционер Головин-Орловский. «У него (Чернышевского), как у всей тогдашней передовой школы, учение о здоровой реальной морали, основанной на эгоизме, идет бок-о-бок с учением иного рода — с пропагандою социального преобразования» («Русский роман», стр. 196).

положений утилитаризма... Но крайним эвдемонистом Чернышевский не был: «эгоизм», который он проповедывал, был смягчен признанием альтруистического чувства в людях, а как это чувство с принципом пользы ладило, об этом наш моралист не распространялся».

И дальше Котляревский замечает: «Если заранее предположить, что выгода отдельного человека совпадает с выгодой того сословия, частью которого он является, а выгода этого сословия поглощается выгодой целого народа, которая в свою очередь растворяется в выгоде всего человечества, то против такого утилитаризма вряд ли что возразить можно, кроме указания на то, что такого порядка никогда еще на земле не было, но что он весьма желателен. И Чернышевский в построении своей морали исходил из предвкушения желаемого, а не из научного анализа существующего».

Котляревский понимает, что Чернышевский сочинял свою мораль для революционеров. «И опять, — говорит он, — красивое видение возникло перед нашим моралистом. Он видел перед собой желанного ему человека, вступающего в жизнь с принципами новой морали, т. е. собственно морали старой, морали любви, сострадания, равенства, свободы и братства, но построенной теперь на началах более простых, более прочных и научных. Это был гордый человек с твердо выраженной решимостью отстаивать свои личные права на счастье и наслаждение; человек, во всем соблюдающий свою выгоду, признающий лишь те обязательства, которые он сам добровольно на себя принял; человек, возмущенный этикой, допускавшей невероятные социальные несправедливости, и уверенный, что все эти несправедливости исчезнут, как только разумный эгоизм человека будет восстановлен в своих правах. Близоруким людям такой моралист мог на первых порах показаться подозрительным с его неизменной ссылкой на свою личную выгоду. Но, во-первых, он был развитой человек и понимал, что личная выгода человека всегда совпадает с выгодой человечества, и что разумный личный эгоизм есть единственный способ привести в равновесие все сталкивающиеся с ним эгоизмы; во-вторых, этот моралист, если бы даже он и слишком настаивал на своей личной выгоде, был прав, так как являлся выразителем огромного числа лиц, обездоленных прежней этикой».

«Надеясь этого «разумного» эгоиста своим умом и, главное, своим сердцем, Чернышевский был уверен, что он принесет с собой в мир гораздо больше любви и справедливости, чем все альтруисты старого типа. И Чернышевский любовался этой импозантной фигурой здорового человека с резкими очертаниями ума и характера, врага всякого смирения и всякой святости и сурово требующего от людей, чтобы во

имя справедливости они не забывали самих себя — людей убежденных, добрых и сильных. Красивый был это облик,.. да и вообще как много красоты в человеке, в котором свободно и естественно развиваются все вложенные в него самой природой здоровые инстинкты, склонности и потребности».

Приведенные нами выше отзывы писателей самых различных направлений о моральной системе Чернышевского показывают, что недоразумения, связанные с несовсем подходящей терминологией, которую употреблял наш автор, теперь могут почитаться в общем рассеянными. Что это было возвышенное этическое учение, революционное по существу, совершенно ясно. Но столь же очевидно, что с социологической точки зрения оно было неверно и страдало отвлеченностью.

3. ОШИБКА ЭТИКИ РАЗУМНОГО ЭГОИЗМА

«Учение Чернышевского о нравственности, — говорит Плеханов (том V, стр. 216), — совсем не отнимало цены у героизма и благородства; наоборот, оно хотело поднять эту цену указанием на то, что путь, избираемый героем, есть именно тот путь, который предписывается правильным расчетом. Но это не устраняет из соображений Чернышевского свойственной им логической ошибки».

Основным недостатком морали разумного эгоизма являются перевес в ней рационалистического начала и отсутствие исторической точки зрения. Этот грех Чернышевский разделяет с французскими материалистами XVIII века и с Фейербахом.

Являются ли поступки отдельных лиц, а тем более социальных групп результатом расчета, взвешивания противоположных шансов и т. п. или же, наоборот, результатом инстинктивной реакции чувственных раздражений на внешнее воздействие? Играет ли здесь главную роль рассудок или чувство? И в связи с этим преобладает ли в области нравственности элемент более или менее свободного выбора или же внутреннее побуждение, принимающее характер обязательности или неизбежности?

Ведь то, что мы называем нравственностью, имеет зародыш еще в животном мире. Сам Чернышевский отмечал это в своей статье, где приводил примеры из области биологии. Первый толчок к образованию зачатков морали дают интересы сохранения вида, порождающие любовь родителей к детенышам, а среди животных, ведущих стадный образ жизни, готовность защищать стадо с риском для собственного существования. Человек, являющийся общественным животным по преимуществу, унаследовал первичные социальные инстинкты из периода

животного состояния и развил их дальше в общественном состоянии. Как замечает Каутский ¹, причины, обуславливавшие уже в животном мире развитие общественных инстинктов, не теряют своей силы и в человеческом обществе, но еще усиливаются действием новых причин — общностью труда, совместной работой. В первобытном коммунистическом обществе заложены были первые прочные основы человеческой морали, сохраняющиеся до сих пор. Кроме совместного труда на развитие нравственного инстинкта действовали и столкновения между племенами и народами — война, которая самыми различными путями содействовала усилению общественных инстинктов человека, развивая в нем чувство долга, самопожертвования и пр. Наконец в этом же направлении действовала и борьба классов, давшая новый толчок развитию социальных инстинктов, особенно среди угнетенных классов ². Появляется классовая мораль. Постепенно, с развитием обмена и сношений между отдельными нациями, развивается и понятие об общечеловеческой морали.

Нравственный инстинкт вкореняется в человеке под влиянием привычки, примера, но с другой стороны и под влиянием общественного принуждения. Нравственность приобретает обязательный характер. Как замечает Каутский (стр. 116 и сл.), «в животном мире встречаются уже сильные нравственные ощущения, но нет определенных моральных предписаний, обращенных к индивидууму». Последнее становится возможным только с возникновением языка. «Требования, предъявляемые обществом к отдельным его членам, повторяются так часто, с такою правильностью, что становятся привычкой, предрасположенность к которой в конце концов передается по

¹ Каутский — «Этика и материалистическое понимание истории», стр. 92 и сл.

² На роль племенной жизни в развитии человеческой нравственности указывал в полемике с Чернышевским и Юркевич. Среди многих нелепых и проникнутых идеалистическими воззрениями возражений его против теории разумного эгоизма попадаются отдельные места, достойные внимания, но в своей изолированности теряющиеся в идеалистическом хламе из старых семинарских тетрадок. «История человечества, — говорит Юркевич, — начинается непосредственно жизнью лиц в общем, в племени, в роде. Долго человек не хочет и не умеет выделять себя и свои интересы из этого общего, его нравственность есть нравы племени, его знание — авторитет старших; он радуется и скорбит не за себя, а за свое племя, за его счастье и несчастье; совершенства и слабости этого целого он относит к себе, как будто определенный дух этого общего есть его непосредственный дух. Общее благо так близко его простому сердцу, так непосредственно и внутренне интересует его, что он долго не может выделить из этой идеи представление о своей частной пользе»...

наследству... В конце концов они становятся привычными и без дальних размышлений признаются нравственными заповедями».

С другой стороны, «в классовом обществе сохранение в силе известных правил нравственности есть уже дело интереса, и часто весьма могущественного интереса». Начинают применяться и принудительные средства, заставляющие всех соблюдать те нравственные правила, в которых заинтересованы господствующие классы.

Но наряду с этим действует и голос классовой принадлежности, который по мере обострения классовой борьбы перевешивает все угрозы правительственного аппарата господствующих классов. Появляется так называемое общественное мнение. Обыкновенно это есть мнение господствующего класса, но иногда и мнение того класса, к которому принадлежит или причисляет себя действующее лицо. «И теперь еще, — говорит Каутский, — даже в классовом обществе мы видим, что общественное мнение того класса, к которому человек принадлежит по рождению, или того класса или партии, к которой он примыкает, выйдя из рядов своего собственного класса, могущественнее всех принудительных сил государства. Тюрьму, нищету, даже смерть предпочитают позору».

Но так как общественное мнение одного класса бессильно по отношению к членам другого, ему враждебного, то приходится апеллировать к средствам принуждения — материального или духовного. Орудия такого воздействия многочисленны и разнообразны. Кроме прямого насилия посредством законодательных запретов и следующих за ними юридических санкций (кар, наказаний), а также посредством различных форм экономического давления, здесь применяются — и оказывают, пожалуй, более серьезное действие — средства духовного принуждения и внушения, среди которых главную роль играют религия и школа. Все эти средства вместе формируют мышление и мироощущение массы людей, внедряют в их сознание целый ряд норм, которые затем действуют в них с силою непреодолимого фактора и обуславливают их поступки.

Поэтому правила нравственности вовсе не являются чем-то произвольным, продуктом личного творчества. Напротив, нравственные нормы становятся для отдельного лица чем-то привычным, стихийным, чуть ли не врожденным, хотя часто и кажутся ему порождением его собственной духовной природы. Они являются чем-то обязательным, выполняемым вовсе не по свободной инициативе и выбору, а по велению какой-то непреодолимой силы¹. То обстоятельство, что отдель-

¹ «Отличительная черта всякого нравственного закона, — замечает Головин (цит. соч., стр. 192), — именно заключается в его обязательности, в

ным лицам, особенно склонным к размышлению и самоанализу, иногда кажется, что они действуют под влиянием хладнокровного расчета, ничего не доказывает. Это просто иллюзия, самообман. Такой же иллюзией представляется и то, что человек всегда действует под влиянием интереса, «расчета выгоды».

Так рассуждали Гельвеций, Гольбах и другие французские материалисты. Так вслед за ними или, под влиянием той же исходной точки зрения, рассуждал и Чернышевский. «Во взглядах Чернышевского на разумный эгоизм, — замечает Г. Плеханов, — заметно свойственное всем просветительным периодам стремление искать в рассудке опоры для нравственности и в более или менее основательной расчетливости отдельного лица — объяснения его характера и поступков»¹.

В «Разоблаченном христианстве» Гольбах говорит, что для человека достаточно разума, чтобы понять свой долг по отношению к ближним. Добродетель заключается в правильно понятом интересе. Философия должна доказать, что знаменитейшие герои человечества действовали бы так, как это и имело место в действительности, при допущении, что каждый из них руководствовался только стремлением к собственному счастью.

По этому поводу Плеханов замечает: «Греческие (он имеет в виду Сократа. — Ю. С.), французские, немецкие, русские просветители (Чернышевский и его ученики) впадали в одну и ту же ошибку. Они пытались доказывать то, что доказать нельзя, но что являлось лишь плодом поучения, черпаемого из социальной жизни»².

Что в основе морали лежат материальные интересы, это бесспорно. Но, во-первых, материальный интерес не всегда значит личный интерес, а во-вторых, связь здесь не столь примитивна и непосредственна, как это представлялось просветителям. Разумеется, мораль, подобно другим идеологическим надстройкам, следует за экономическим развитием общества и приспосаблиется к изменениям, вызванным социальной эволюцией. «Но исторический процесс этого приспособления совершается за спиной у человека, независимо от воли и разума особей. Продиктованное интересом поведение представляется предписанием «богов», «врожденной совести», «разума», «природы». В бесчисленных случаях это просто личный интерес; однако не всегда. Когда идет речь о «добродетельных» поступках, то предписание исходит от интересов целого, т. е. от социального интереса. Диалектика истори-

том, что он содержит в себе известное предписание, могущее вступить в конфликт с природными наклонностями человека».

¹ «Соч.», т. V, стр. 41.

² «Очерки по истории материализма», стр. 18 сл.

ческого движения превращает эгоистичные интересы общества или класса в самопожертвование и героизм особи. Тайна этого превращения заключается в действии социальной среды. Французские материалисты XVIII века знали это и умели ценить такое влияние. Они беспрестанно повторяли, что воспитание делает все, что человек не рождается, а делается таким-то. И все же они очень часто рассматривали и изображали этот процесс морального становления как ряд рассуждений, повторяющихся в голове каждого индивидуума и изменяющихся непосредственно под влиянием обстоятельств, связанных с личным интересом действующего лица».

Обыкновенно моральный характер тех или иных поступков определяется общественным мнением господствующего класса, его интересом, его эгоизмом, который он отождествляет с интересом целого, интересом общества. Этот эгоизм целого, т. е. стремление общества = господствующего класса (или упнетенного класса, определяющего действия лица) к самосохранению, к осуществлению своих интересов, не исключает индивидуального альтруизма, т. е. отказа отдельной личности от своих собственных интересов в интересах того целого (общества или класса), которым она служит, с которыми она органически связана. Объяснить альтруистические и героические поступки отдельных лиц можно только интересами того целого, с которым они связаны, его общественным мнением, его по большей части неписаными велениями. Здесь-то и сказывается роль воспитания и других форм психического воздействия целого на личность, для которой поступки, требуемые интересами целого, коллектива, становятся инстинктивными, непреодолимой потребностью ее духа. Для хладнокровных расчетов выгоды здесь не остается места. Как правильно замечает Каутский (цит. соч., стр. 15), «быстрое, решительное нравственное различие добра и зла не имеет ничего общего с взвешиванием различных видов удовольствия или пользы. Наконец чувство нравственного долга является и там, где выполнение его указаний отнюдь не сопряжено с удовольствием или пользой, как бы широко ни толковались эти понятия».

Напомнив о том, что для Чернышевского, как и для Гельвеция (и не только Гельвеция) даже наиболее самоотверженные поступки представляют лишь особый вид разумного эгоизма, и приведя рассуждения Чернышевского по поводу самоубийства Лукреции, Плеханов («Соч.», т. V, стр. 41) основательно сомневается в том, чтобы перед смертью Лукреция могла предаваться столь основательным расчетам, для которых прежде всего требуется хладнокровие.

«Не вернее ли предположить, что в ее поступке рассудок играл гораздо меньшую роль, чем чувство, сложившееся под влиянием тогдашних общественных привычек и отношений? Человеческие чувства и привычки так приспособляются обыкновенно к существующим общественным отношениям, что совершаемые под их влиянием поступки могут показаться подчас плодом самых основательных расчетов, между тем как в действительности вовсе не были вызваны расчетливостью... Поступки отдельного лица представляют собою результат общественных привычек, общественные же привычки складываются не под влиянием расчетов рассудка, а в силу исторического развития общества»¹.

Недостатки этической системы Чернышевского связаны были с его общими историко-философскими взглядами, которые ему, к сожалению, не удалось развить до конца. Отдельные элементы для построения правильного учения о нравственности у него несомненно были. Для него не была тайной социальная обусловленность морали, наличие классовой морали и различных видов нравственности. Более того, инстинктивно он чувствовал недостаточность своей системы и, как мы знаем, пытался спасти ее словесными оговорками и толкованиями. Но на надлежащий путь ему стать не удалось. Тем не менее свою историческую роль мораль разумного эгоизма сыграла. Теории подобно книгам имеют свою судьбу. Для того боевого времени требовалась именно такая система, и ее Чернышевский дал. В этом его заслуга, хотя испытания времени эта система в целом не выдержала.

¹ Каутский в цитированном сочинении (стр. 103) связывает возникновение мысли об эгоизме, как основе человеческих действий, с развитием товарного производства. Конкуренция, говорит он, оказала пагубное влияние на развитие социальных инстинктов. «И при развитом товарном хозяйстве человек легко приходит к мысли, что эгоизм является единственным естественным инстинктом человека, социальные же инстинкты — это не более как утонченный эгоизм или поповская выдумка для господства над людьми или, наконец, сверхестественная тайна».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЭСТЕТИКА И КРИТИКА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

1. Корни реалистической эстетики

В предисловии к третьему изданию «Эстетических отношений» Чернышевский сам указал источник своих эстетических воззрений в лице Фейербаха. Книгу свою он называет попыткой применить идеи Фейербаха к разрешению основных вопросов эстетики, заявляя, что он хотел быть только истолкователем идей своего учителя.

Но в данном случае Чернышевский просто проявил свою необычайную скромность. Плеханов (т. V, стр. 190) характеризует диссертацию Чернышевского как «интересную и единственную в своем роде» попытку построить эстетику на основе материалистической философии Фейербаха. Но у самого Фейербаха содержится весьма мало материала по вопросам эстетики. В этом отношении мы не находим у него ничего кроме отдельных и разрозненных замечаний. Плеханов (т. VI, стр. 317) пишет: «Примените учение Фейербаха, изложенное в § 43 его «Grundsätze», к эстетике, и вы получите эстетическую теорию Чернышевского». Но как раз в этом параграфе об эстетике не сказано ничего. Там говорится лишь о том, что первоначально люди видят вещи не такими, какими они суть в действительности, а такими, какими они являются, что необходимо снова вернуться к чувственному, т. е. не извращенному объективному восприятию чувственного, а стало быть, и действительного и т. п. Больше сказано об искусстве в § 39 «Основ философии будущего», но и там относящиеся сюда мысли выражены в самой зачаточной форме.

Вот что говорится в этом параграфе, который скорее мог внушить Чернышевскому основную мысль его диссертации, чем указанный Плехановым § 43.

Старая абсолютная философия загнала чувства в область явлений, конечного; и тем не менее в полном противоречии с этим она определила божественное и абсолютное в качестве предмета искусства. Но предмет искусства, в устной и письменной речи посредственно, в изо-

бразительном искусстве непосредственно, является объектом зрения, слуха, чувства. Объектом чувств, стало быть, является не только конечная, являющаяся, но также и божественная, истинная сущность; чувство, следовательно, является органом восприятия абсолютного. Искусство «изображает истину чувственно». Будучи правильно понято и выражено, это положение значит только то, что искусство изображает истинность чувственного.

Сюда же можно отнести, пожалуй, и § 55, где сказано, что искусство, религия, философия или наука суть только явления или обнаружения истинной человеческой сущности. Человек, т. е. совершенный истинный человек, это только тот, который обладает эстетическим или художественным, религиозным или нравственным, философским или научным чувством; человек только тот, кто ничего существенно человеческого из себя не исключает.

Наконец, с интересующей нас точки зрения важны §§ 57 и 58, в которых намечена дорогая Чернышевскому идея единства мышления и жизни, проникающая всю его диссертацию. Будущая философия, говорит Фейербах, превращая существенный и высший объект сердца — человека — в существенный и высший объект ума, кладет таким образом разумное основание единству головы и сердца, мышления и жизни. Истина заключается не в мышлении, не в знании для самого себя. Истина — только в целостности человеческой жизни и человеческой сущности¹. Последнее положение Чернышевский мог истолковать и в смысле отрицания «чистого искусства» или «искусства для искусства».

Как видим, все это слишком отрывочно, обще и отвлеченно. В этой области Чернышевскому, поскольку он основывался на Фейербахе, пришлось проделать еще больше самостоятельной работы, чем даже в области философии, где ему также пришлось значительно дополнять и развивать идеи своего учителя.

Мы уже знаем, что в деле формирования взглядов Чернышевского большую роль сыграли французские просветители. Правда, сам он о них почти не упоминает, выдвигая на первый план влияние Фейербаха; однако это не должно вводить нас в заблуждение. С Фейербахом Чернышевский очевидно познакомился раньше, и именно это знакомство произвело перелом в его мировоззрении. Изучение произведений французских материалистов могло пополнить знания Чернышевского, внести в них больше ясности и определенности, но оно не могло уже сравняться с влиянием Фейербаха, пришедшего первым и давшего первоначальный толчок. Тем не менее в ряде вопросов именно влияние

¹ Фейербах — «Сочинения», т. I, стр. 125, 128, 137—138.

французских материалистов должно было дать Чернышевскому больше, чем сочинения Фейербаха. И в частности так обстояло дело в области эстетики.

Если бы даже Чернышевский не был знаком с эстетическими взглядами французских просветителей и в частности Дидро до середины 50-х годов, то он непременно должен был бы обратить на них внимание в процессе собственной работы. Мы знаем, что одним из первых крупных трудов Чернышевского была его работа о Лессинге. Но ведь учителем последнего был именно Дидро, о влиянии которого Лессинг сам говорит. По поводу влияния Дидро на современных ему и последующих литераторов Сементковский пишет:

«Мы восторгаемся гением Лессинга, указавшего новые пути драме, живописи, скульптуре. Но разве сам Лессинг не заявляет, что если бы не пример и уроки Дидро, то его идеи приняли бы совершенно другое направление, и он не написал бы своей знаменитой «Драматургии»? В числе знаменитых драматических писателей мы называем Шиллера и Гёте, а между тем они вдохновлялись также примером и уроками Дидро. Кто первый на материке понял величие Шекспира? Вольтер назвал его в конце концов «чудовищем», а Дидро назвал его «колоссом столь великим, что между его ногами все остальные драматурги пройдут, не нагибая головы». Без преувеличения можно сказать, что современный роман имеет своим родоначальником Дидро, и что он первый научил в новейшее время народную массу любить произведения искусства, а художников — писать для этой массы, что он установил между нею и ими живую, неразрывную связь, вопреки прежним усилиям разобщить их условностью форм и недоступностью идей» (цит. соч., стр. 596).

Его действительно можно назвать отцом идейной критики и первым теоретиком реалистического искусства. Своими критическими статьями по искусству Дидро преследовал цель популяризации искусства, привлечения внимания широких кругов публики к вопросам, которыми до тех пор интересовались только записные знатоки. При этом в отличие от деланности прежнего искусства, воспитанного в дворянских теплицах, Дидро, этот идеолог революционной демократии, проводил ту мысль, что искусство должно стоять по возможности ближе к природе и быть естественным, все же ненатуральное должно быть из него изгнано. Именно его реалистическими воззрениями на искусство вдохновлялись впоследствии самые крупные художники и писатели.

В высшей степени интересно, что Дидро требовал от искусства не только верности природе, соответствия действительности, но и поуче-

ния, оценки жизни и истолкования действительности. Это как раз те мысли, с которыми мы встретимся у Чернышевского. Однако и Дидро, подобно нашим шестидесятникам, вовсе не собирался жертвовать формой для содержания, хотя и придавал последнему важное значение.

Одним словом, можно признать, что родоначальником тех эстетических воззрений, которые впоследствии с таким блеском, полнотой и оригинальностью развивал Чернышевский, был Дидро, — новатор в этой области, как и во многих других. Совершенно очевидно, что у него, как и у Чернышевского, эти реалистические взгляды на эстетику естественно вытекали из общего материалистического мирозерцания, являясь лишь применением их в области художественных вопросов. Требовать от искусства верности действительной жизни и морального поучения, хотя и в художественной форме, и значит прилагать принципы материализма к эстетике. Такое отношение к вопросам искусства как раз и характерно для революционных эпох, и не удивительно, что их выдвинули такие люди, как Дидро, с одной стороны, и Чернышевский — с другой, которые при всем различии своих стремлений и воззрений оба были революционерами и преобразователями, просветителями и пропагандистами, и которые обращались к новым социальным слоям, недовольным существующим порядком и готовым приветствовать нападение на него во всех областях, в том числе и идеологической.

Имело ли здесь место прямое влияние Дидро на Чернышевского, или последний пришел к своим выводам совершенно независимо от французского мыслителя, это в конце концов несущественно. Познакомился ли он с идеями Дидро (если здесь имело место прямое влияние) непосредственно или через посредство Лессинга, также неважно. Факт тот, что в эстетических воззрениях обоих мыслителей замечается значительное сходство, которое уже давно обратило на себя внимание исследователей. Выше мы уже приводили мнение Сементковского по этому вопросу. Недавно другой писатель, И. Луппол, выпустивший книгу о Дидро, пришел к тому же заключению.

Охарактеризовав эстетические взгляды Дидро, Луппол продолжает: «Ход мыслей Чернышевского, самая форма трактовки вопроса, конкретный материал, привлекаемый им, — все это, конечно, иное, чем у Дидро. Дидро писал критические заметки на картины парижских выставок, Чернышевский — университетскую диссертацию; французский материалист базируется главным образом на живописи, русский материалист — на поэзии; материалист XVIII века подвергает критике непосредственно произведения искусства, материалист XIX века подвергает критике труды ученого гегельянца Фишера. Но единство исход-

ных пунктов при последовательном их развитии приводит и того, и другого к одним и тем же выводам, поскольку это возможно в разные эпохи»¹.

Дидро не удалось дать общего понятия прекрасного. Не дал его и Гельвеций, друпой из философов, оказавших, повидимому, влияние на формирование эстетических взглядов Чернышевского. Но зато Гельвеций сумел указать на историческую и социальную обусловленность понятия о прекрасном — по крайней мере, в общей форме.

Различные представления о красоте создаются под влиянием привычки. Но так как привычки народа с течением времени меняются, то изменяются также его суждения о красоте предметов природы и искусства. «Почему романы, особенно уважаемые триста лет тому назад, теперь кажутся скучными и смешными? Потому что достоинство большинства этих произведений зависит главным образом от точности, с которой в них изображены пороки, добродетели, страсти, нравы и смешные стороны нации. Нравы же нации часто в данном веке уже не те. Это изменение должно вызывать изменение в жанре романов данного народа и в его вкусах. Сказанное о романе может быть распространено почти на все сочинения» («Об уме», стр. 116).

Существует скрытая зависимость между вкусами нации и ее интересами.

Почему трагическое изображение самых знаменитых актов мщения, как, например, месть Атридов, не возбуждает в нас такого восторга, какой она некогда возбуждала в греках? Это различие во впечатлительности зависит от того, что у нас — иная религия, иное государственное устройство, чем у греков (*ibid.*, стр. 119).

«Только в века свободы, когда появляются великие люди и великие страсти, народы действительно восхищаются благородными и сильными чувствами. Почему при жизни Корнеля жанр этого знаменитого поэта больше нравился, чем теперь? Потому что тогда только что закончилась смутная эпоха Лиги и Фронды, и умы, еще разогретые огнем мятежа, были более отважны, более честолюбивы, более ценили смелость; следовательно, характеры героев Корнеля и их поступки более соответствовали духу того времени, чем настоящего, когда встречается мало героев, граждан и людей, одушевленных стремлением к славе, когда вслед за грозами наступил счастливый покой, и вулканы мятежа потухли всюду. Всякое изменение, совершившееся в управлении народа или в его нравах, необходимо должно вести за собой переворот в его вкусах. В различные века одни и те же предметы производят различ-

¹ И. Луполл — «Дени Дидро», стр. 305—307.

ное впечатление на людей в зависимости от одушевляющих их страстей».

Гельвеций подходит даже к установлению начал классовой эстетики, приводя в пример людей, неспособных увлекаться изображением героизма, с одной стороны, подавленного ремесленника, а с другой — богача и вельможу, привыкшего к низкопоклонству. «Только тогда, — говорит он, — можно быть тронутым изображением какой-либо страсти, когда сам был игрой ее» (*ibid.*, стр. 120).

В результате своего анализа Гельвеций приходит к выводу, что появлением и исчезновением известных родов идей и сочинений мы обязаны общественному интересу, изменяющемуся с течением времени (стр. 122).

И Плеханов, рассмотрев рассуждения Гельвеция об искусстве, правильно замечает: «То, что Гельвеций говорит о наших суждениях о красоте, содержит до известной степени зародыш эстетической теории Чернышевского. Но только зародыш. Анализ русского писателя идет в этой области гораздо дальше и ведет к гораздо более важным результатам» («Очерки по истории материализма», стр. 69).

К рассмотрению эстетической теории Чернышевского мы и переходим.

2. ЭСТЕТИКА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В февральской книжке «Современника» за 1864 год было заявлено: «возрождение нашей литературы началось, как известно, с 1855 года». В этом году появилась знаменитая диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности», а автор ее сделался главным критиком журнала.

В этой диссертации, как мы уже знаем, Чернышевский сделал попытку применить основные положения материалистической философии к теории искусства. Но еще за год до появления этой диссертации Чернышевский изложил свои эстетические взгляды в рецензии на русский перевод сочинения Аристотеля «О поэзии»¹. Статья эта появилась в девятой книжке «Отечественных Записок» за 1854 год.

Определяя эстетику как «систему общих принципов искусства вообще и поэзии в особенности», Чернышевский возражает против отрицательного отношения к эстетике, которое в то время уже начинало сказываться в радикальных кругах. Он объясняет эту вражду идеалистическим и абстрактным характером традиционных эстети-

¹ «О поэзии. Сочинение Аристотеля». Перевел, изложил и объяснил Б. Ордынский. М. 1854.

ческих теорий; он готов был бы понять эту вражду против эстетики, если бы последняя сама была враждебна истории литературы. Но, говорит он, у нас всегда провозглашалась необходимость истории литературы, у нас эстетика всегда признавала, что должна основываться на точном изучении фактов; и люди, особенно занимавшиеся эстетической критикой, очень много, больше, нежели кто-нибудь из позднейших наших писателей, сделали и для истории литературы (здесь Чернышевский имеет в виду Белинского). Чернышевский высказывает и другое предположение, способное объяснить нерасположение к эстетике: противники ее видят в ней бесплодную и отвлеченную теорию и протестуют против нее из сильной приверженности к знаниям «живым», имеющим серьезное значение для так называемых жизненных вопросов. Но лично ему кажется, что весь спор против эстетики основан на недоразумении и на ошибочном представлении о значении теории. История искусства служит основанием теории искусства¹, но и последняя, будучи раз выработана, способствует более совершенной и полной обработке истории его; эта более удачная обработка истории помогает дальнейшему усовершенствованию теории, и это взаимодействие будет продолжаться до бесконечности к обоюдной выгоде обеих отраслей науки.

«Эстетика наука мертвая! — восклицает Чернышевский. — Мы не говорим, чтобы не было наук живее ее; но хорошо было бы, если бы

¹ По поводу этих слов Плеханов («Соч.», т. V, стр. 54—56) замечает, что эта правильная точка зрения Чернышевского объясняется влиянием его предшественников: «После «Эстетики» Гегеля и критических работ Белинского (напомним хоть его статью о Пушкине) совершенно невозможно было игнорировать историческую точку зрения в теории искусства. Прибавьте к этому, что в эстетической теории восставать против исторической точки зрения могли только сторонники так называемого искусства для искусства... Борясь против таких людей, Чернышевский естественно должен был склоняться к исторической точке зрения на искусство, так как она давала возможность связать задачи искусства с важнейшими общественными стремлениями данного времени... Впрочем, нельзя сказать, что нашему автору удалось последовательно развить свой взгляд на значение истории искусства, как необходимой основы для теории искусства». Но, во-первых, зародыш исторической точки зрения на искусство мы встречаем еще у известного Чернышевскому Гельвеция, а, во-вторых, Чернышевский не успел развить до конца своей точки зрения отчасти потому, что скоро перестал заниматься эстетическими вопросами, уступив литературную критику Добролюбову. Интерес к этим вопросам у Чернышевского скоро пропал. Уже 13 февраля 1857 года он пишет Некрасову: «Все эти Лессинги и Краббы и т. п. были хороши два года тому назад». Он все более интересуется политическими и социальными вопросами.

мы думали об этих науках. Нет, мы превозносим другие науки, представляющие гораздо менее живого интереса. Эстетика—наука бесплодная! В ответ на это спросим, помним ли мы еще о Лессинге, Гёте и Шиллере, или же они потеряли право на наше воспоминание с тех пор, как мы познакомились с Теккереем?»

Чернышевский понимал бы вражду к теоретическим системам, если бы эти системы провозглашались вечным вместилищем абсолютной истины. Но теперь, говорит он, все признают, что «всякая система порождается и разрушается или, лучше сказать, изменяется вместе с понятиями времени, ее производшего». Систематизация науки не препятствует ее развитию; наоборот, отсутствие системы мешает распространению науки в массах. Поэтому Чернышевский находит, что эстетика как общая теория искусства необходима и полезна.

Подробно разбирая взгляды Платона, который обвинял искусство в бедности, слабости, бесполезности и ничтожестве, он признает их односторонность, но вместе с тем находит, что «во многом они справедливы и благородны при всей своей односторонности». В Платоне нашего критика привлекало то, что для него, в отличие от Аристотеля, идеалом человеческой жизни была не мечтательная, не умозрительная, а деятельная, практическая жизнь. Платон, говорит Чернышевский, смотрел на науку и искусство не с ученой или артистической, а с общественной и нравственной точки зрения. В этом отношении наш реалист чувствует свое духовное родство с древне-греческим мыслителем; он готов даже усмотреть в его воззрениях как бы некоторое предвосхищение «антропологического принципа»: ко всему нужно подходить с точки зрения человека, его реальной жизни и интересов. «Не человек живет для того, — формулирует Чернышевский взгляд Платона, — чтобы быть артистом или ученым (как думали многие великие философы, между прочим Аристотель), а наука и искусство должны служить для блага человека». Полемика Платона против искусства, правда, чрезвычайно сурова, но, замечает Чернышевский, она порождена высоким и благородным взглядом на человеческую жизнь. Более того: «легко было бы показать, — прибавляет он, — что многие из строгих обличений платоновых продолжают быть справедливыми и в отношении к современному искусству».

И далее¹ Чернышевский бегло излагает те взгляды, которые в более подробном и обоснованном виде он изложил в своей магистерской диссертации. Сущность ее Чернышевский сам формулировал в следующих словах, которыми кончается диссертация: «апология действитель-

¹ «Сочинения», т. I, стр. 33—43.

ности сравнительно с фантазией, стремление доказать, что произведения искусства решительно не могут выдержать сравнение с живою действительностью, — вот сущность этого рассуждения». Но говорить об искусстве так, как говорит автор, не значит ли это унижать искусство? — спрашивает Чернышевский и отвечает: «Да, если показывать, что искусство ниже действительной жизни по художественному совершенству своих произведений, значит унижать искусство; но восставать против панегириков не значит еще быть хулителем. Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унижительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить ко благу человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, воспроизвести по мере сил эту действительность и ко благу человека объяснить ее.

«Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторою заменою для нее и быть для человека учебником жизни.

«Действительность выше мечты, и существенное значение выше фантастических притязаний»¹.

Таким образом Чернышевский в своей диссертации поставил себе задачей реабилитацию действительности и борьбу с идеализмом; а для этого он решил подойти к объяснению явлений искусства с точки зрения материалистической философии. Правда, он в самой диссертации не упоминал о той общей философской системе, из которой он выводил свои эстетические взгляды как частное из общего: только через шесть лет в статье «Антропологический принцип» он изложил основные начала материализма, на которых он построил свою эстетическую теорию, но и в этой статье он, как мы знаем, не решился прямо назвать имени Фейербаха. Поэтому весьма возможно, что он умолчал о своих обще-философских предпосылках из опасения раздражить ученый синклит и министерство народного просвещения (впрочем, как мы знаем, это молчание ему не помогло). Во всяком случае он прекрасно понимал этот недостаток своей диссертации и тогда же сам указал на него. В пятой книжке «Современника» за 1855 год за подписью Н. П.—в появилась обширная рецензия на «Эстетические отношения», принадлежащая перу самого Чернышевского; в этой статье автор дополнял и освещал некоторые положения своей диссертации, указывая на то, что

¹ «Эстетические отношения». «Сочинения», т. X, ч. II, стр. 161—162.

«г. Чернышевский слишком бегло проходит пункты, в которых эстетика соприкасается с общей системой понятий о природе и жизни». Теперь-то мы знаем, что эстетическая теория Чернышевского была построена на общих принципах фейербаховской философии, но от современников эта сторона диссертации могла ускользнуть. Впрочем, насчет общего ее смысла они не ошиблись, отгадавши его чутьем.

Выше мы видели, как Чернышевский вслед за Фейербахом развенчал абсолютную идею и восстановил действительность в правах, отнятых у нее идеализмом. Бытие обуславливает мышление. «Мысль порождается действительностью», говорит Чернышевский, и потому мысль не противоположна действительности, а составляет ее неотъемлемую часть¹. Противоположна действительности праздная мечта, фантазия, отвлекающаяся от действительности; и всякое превознесение вымысла и абстракции над действительностью ошибочно и вредно.

«Предмет нашего исследования — искусство как объективное произведение, а не субъективная деятельность поэта», — говорит Чернышевский². Стоя на почве реализма («реальное направление мысли»), автор вообще придает очень мало значения фантастическим полетам даже и в области искусства, не только в деле науки. «Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя и к приятным для фантазии гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике»³.

Чернышевский начинает с анализа идеи прекрасного. Отвергая идеалистическое толкование этого понятия, как «единство идеи и образа» или как «полное проявление идеи в отдельном предмете», Чернышевский пытается найти определение прекрасного с точки зрения человека. Ощущение, производимое в человеке прекрасным, говорит он, — это светлая радость, похожая на ту, какою наполняет нас присутствие милого для нас существа. «Самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на свете — ж и з н ь; ближайшим образом

¹ «Сочинения», т. X, ч. II, стр. 174.

² Ibid., стр. 161.

³ Эти слова «если еще стоит говорить об эстетике» следует понимать не в том смысле, что Чернышевский отрицал право эстетики на существование (из приведенных нами выше его слов видно, что это не так), а в том смысле, что Чернышевский сомневался, интересуется ли еще русское общество отвлеченными вопросами и не следует ли уже говорить с ним о более конкретных предметах. Ср. Б е л ь т о в — «За двадцать лет», изд. 3-е, стр. 269, или П л е х а н о в — «Сочинения», т. VI, стр. 255.

такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую он любит; потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чем не жить; все живое уже по самой природе своей ужасается гибели, небытия и любит жизнь. И кажется, что определение: «прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам жизнь», — кажется, что это определение удовлетворительно объясняет все случаи, возбуждающие в нас чувство прекрасного».

Но восставая против старых определений прекрасного, которые также должны были корениться в какой-нибудь «действительности», Чернышевский не забывает, что это понятие имеет исторический и социальный характер. Он показывает, что различные классы неодинаково понимают характер прекрасного¹.

«Хорошая жизнь», «жизнь», как она должна быть, у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе и спать вдоволь; но вместе с тем у крестьянина с понятием «жизнь» всегда соединяется понятие о работе: жить без работы нельзя да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не доходящей однако до изнурения сил, у молодого крестьянина или деревенской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много и будучи поэтому крепка сложением, крестьянская девушка при сытой пище будет довольно плотна — это также необходимое условие красоты по деревенским понятиям: светская «полувоздушная» красавица кажется крестьянину решительно невзрачной и даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать худобу результатом болезненности или «горькой доли». Но работа не дает разжиреть: если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком. У деревенской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает — и действительно

¹ По этому поводу Плеханов («Соч.», т. V, стр. 351) замечает: «Признавая в качестве последователя материалистической философии причинную зависимость сознания от бытия, Чернышевский и доказывает в своей диссертации, что представление о «хорошей жизни», представление о жизни, как она должна быть, лежащее в основе понятия о прекрасном, изменяется у людей сообразно с их классовым положением в обществе. Этим оно не только не разрушает эстетики как науки, а, напротив, ставит ее на прочное материалистическое основание и, по крайней мере, намечает в общих чертах, где надо искать решения этой задачи, которую еще Белинский поставил перед людьми, интересовавшимися теорией эстетики».

в народных песнях не упоминается об этих принадлежностях красоты. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, обычного следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе.

Совершенно другое дело, говорит Чернышевский, — светская красавица. Уже несколько поколений предки ее жили без физического труда. При бездейственном образе жизни крови приливает в конечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше. Необходимым следствием всего этого являются маленькие ручки и ножки: они — признак такой жизни, которая одна только и кажется жизнью для высших классов общества, жизни без физического труда. Если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она происходит не из старинного рода. Поэтому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, «интересная» болезнь и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу; нервная система и без того уже раздражена от всеобщего ослабления организма; неизбежное следствие всего этого — продолжительные головные боли и различные нервные расстройства. Но ничего не поделаешь: раз болезнь является результатом того образа жизни, который кажется для данной социальной группы идеальным, то она представляется интересной и чуть ли не завидной. Правда, здоровье никогда не может потерять цены в глазах человека, так как и в довольстве, и в роскоши без здоровья приходится плохо; поэтому румянец на щеках и цветущая свежесть не перестают быть привлекательными и для светских людей. Но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в их глазах достоинство красоты, коль скоро они представляются результатом роскошно-бездейственного образа жизни. Кроме того бледность, томность и болезненность для светских людей имеют еще и другое значение: если трудящийся человек ищет отдыха, спокойствия, то люди высших классов, незнающие материальной нужды и физической усталости, но зато часто скучающие от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей», которые придают разнообразие и увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очароваться томностью, бледностью красавицы, если они служат признаком, что она «много жила»!

Но если увлечение бледною, болезненною красотою — признак искусственной испорченности вкуса, то всякий действительно интелли-

гентный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатлевается в выражении лица, всего яснее в глазах; поэтому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми. И часто бывает, что в интеллигентных кругах человек кажется прекрасным только потому, что у него красивые и выразительные глаза¹.

Итак, Чернышевский констатирует, что понятие прекрасного тесно связано с понятием об идеальной жизни. Но если жизнь и ее проявления — красота, то очень естественно, что болезнь и ее следствия — безобразие. Поэтому дурное сложение, физическое уродство, злое или неприятное выражение лица кажутся нам некрасивыми, поскольку они свидетельствуют о том, что развитие человека совершалось при неблагоприятных обстоятельствах.

«Антропологический принцип» торжествует у нашего эстетика во всех областях жизни. Так, например, в царстве животных, говорит Чернышевский, красотой кажется человеку то, в чем выражается по человекообразным понятиям жизнь свежая, полная здоровья и сил. В млекопитающих, организация которых более близка к человеческой, прекрасными кажутся человеку округленность форм, полнота и свежесть, а также грациозность движений, напоминающие хорошо сложенного человека. Формы крокодила, ящерицы, черепахи напоминают млекопитающих, но в уродливом, искаженном, нелепом виде; потому ящерица и крокодил кажутся нам отвратительными. В лягушке к неприятности формы присоединяется еще то, что она покрыта холодной слизью, какою бывает покрыт труп; от этого лягушка кажется еще отвратительнее.

¹ По поводу материалистического взгляда Чернышевского на искусство Плеханов («Соч.», т. V, стр. 60) замечает: «Чернышевский показал, что эстетические понятия людей стоят в тесной причинной связи с их экономическим бытом. Это — открытие гениальное в полном смысле слова (курсив мой). Ему оставалось только проследить действие открытого им принципа через всю историю человечества с ее сменой различных господствующих классов, — и он сделал бы величайший переворот в эстетике, тесно связавши теорию искусства с новейшим материалистическим пониманием истории. Но мы знаем, что ему самому в значительной степени чуждо было такое понимание истории. Поэтому он и не мог закончить столь блестяще начатого дела; поэтому же и в его «Эстетических отношениях искусства к действительности» мы встречаем гораздо меньше истинно-материалистических замечаний об истории искусства, чем, напр., в «Эстетике» «абсолютного идеалиста» Гегеля». — Как увидим ниже, Плеханов преувеличивает элементы идеализма в исторических воззрениях Чернышевского.

Точно так же в растениях нам нравится свежесть цвета и богатство форм, обнаруживающие свежую и сильную жизнь. Увядавшее растение производит неприятное впечатление.

Кроме того шум и движение животных напоминают нам шум человеческой жизни. До некоторой степени о ней же напоминают шелест растений, качание их ветвей, колеблющиеся их листочки. И не даром пейзаж прекрасен тогда, когда оживлен. Солнце и дневной свет очаровательно прекрасны, между прочим, потому, что в них источник всей жизни в природе и в частности человеческой жизни.

«Полнота жизни и красота в действительности тождественны», — заключает Чернышевский свой анализ. А отсюда вытекает прямое следствие, что истинная, высочайшая красота есть именно красота, встречаемая человеком в мире действительности, а не красота, создаваемая искусством.

Подвергнув критике основное понятие идеалистической эстетики — прекрасное — с «антропологической» точки зрения, Чернышевский подвергает такой же критике и вытекающие из него воззрения, а именно понятия возвышенного и комического. В результате подробного анализа он приходит к следующему выводу: возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами; возвышенный предмет — предмет, много превосходящий своими размерами предметы, с которыми сравнивается нами; возвышенно явление, которое гораздо сильнее других явлений, с которыми сравнивается нами. Он даже находит, что вместо термина «возвышенное», который слишком отдает идеалистической идеей «абсолюта» или «бесконечного», было бы гораздо проще и лучше употреблять термин «великое».

Эта замена терминов чрезвычайно характерна для Чернышевского, который во всем своем исследовании оперирует «антропологическим принципом» Фейербаха и систематически борется с воззрениями идеалистической школы. Из определений идеалистической эстетики, как указывает Чернышевский, вытекает, что прекрасное и великое вносятся в действительность человеческим взглядом на вещи, создаются человеком, но не имеют никакой связи с понятиями человека, с его взглядом на вещи. Чернышевский исходит из прямо противоположного взгляда, он смотрит на вещи с точки зрения феербаховского реального, чувственного человека. «Если по определениям прекрасного и возвышенного, нами принимаемым, — говорит он, — прекрасному и возвышенному придается независимость от фантазии, то с другой стороны этими определениями выставляется на первый план отношение к человеку вообще и к его понятиям тех предметов и явлений, которые находит человек прекрасными и возвышенными: прекрасное — то,

в чем мы видим жизнь так, как мы понимаем и желаем ее, как она радует нас; великое — то, что гораздо выше предметов, с которыми сравниваем его мы» (курсив автора).

С этим же критерием Чернышевский подходит к анализу идеи трагического. В идеалистической эстетике понятие трагического связывалось с понятием судьбы или рока. Против этой связи Чернышевский протестует, усматривая в ней новое проявление абсолютной идеи. Пусть, говорит он, в жизни всегда нужна борьба, но не всегда борьба бывает несчастна. А счастливая борьба, как бы она ни была тяжела, не страдание, а наслаждение; она не трагична, а только драматична. Трагическое в борьбе с природой — случайность. Но и в человеческом обществе участь так называемых великих людей не всегда бывает трагична.

Исполненный сил и надежд представитель начинающей свою историческую карьеру революционной демократии решительно отказывается признать идеалистический взгляд, видящий в трагическом закон вселенной. И здесь он пытается стать на «антропологическую» точку зрения. «Трагическое, — говорит он, — есть страдание или гибель человека — этого совершенно достаточно, чтобы исполнить нас ужасом и состраданием, хотя бы в этом страдании, в этой гибели и не проявлялась никакая «бесконечно могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость — причины страдания и гибели человека, — все равно, страдание и гибель ужасны». Трагическое есть ужасное в человеческой жизни. Правда, что большая часть произведений искусства дает право прибавить: «ужасное, постигающее человека более или менее неизбежно». Но в самой действительности, по мнению Чернышевского, эта неизбежность наблюдается не всегда¹.

¹ Нам кажется, что возражения Бельтова против этого места основаны на недоразумении. Чернышевский вовсе не отрицает «психологической необходимости», о которой справедливо говорит Бельтов (loc. cit., стр. 287), а имеет в виду идею «рока». Сравни то, что он говорит по этому поводу в статье об Аристотеле, в которой изложены в сжатом виде взгляды его диссертации: «Фальшивое понятие о необходимой связи между завязкою и развязкою было источником ложного понятия о сущности трагического в нынешней эстетике... И Аристотель совершенно справедлив, не вводя «судьбы» в понятие трагического: эта внешняя, посторонняя сила только ослабляет внутреннюю связь событий, придавая им направление, не вытекающее из сущности действия — вот эстетический вред «судьбы» в трагедии. Поэзия должна изображать человеческую жизнь, — пусть же она не искажает ее картин посторонними примесями» («Соч.», т. I, стр. 42). — «Внутренняя связь событий» и «сущность действия» это и будет психологическая необходимость; идея же «рока», как посторонней чужаке,

С господствующим в идеалистической эстетике определением комического «комическое есть перевес образа над идеей» Чернышевский готов согласиться, но и с этого определения он спешит снять его идеалистическую оболочку, давая ему следующее толкование: «комическое есть внутренняя пустота и ничтожность, прикрываемая внешностью, имеющею притязание на содержание и реальное значение». При этом он указывает, что идеалистическая эстетика слишком ограничивала понятие комического, противопоставляя его только понятию возвышенного. «Комическое мелочное и комическое глупое или тупоумное, конечно, противоположно возвышенному; но комическое уродливое, комическое безобразное противоположно прекрасному, а не возвышенному».

Поставивши себе задачей реабилитацию действительности и борьбу с идеалистической эстетикой, Чернышевский подробно доказывает, что искусство не только не стоит выше действительности, но и не может стоять наравне с нею по внутреннему достоинству содержания или исполнения. Он показывает, что все упреки, которые идеалистическая эстетика выставляет против прекрасного в действительности, в еще большей мере применимы к прекрасному, создаваемому искусством. Если бы искусство, говорит он, вытекало из недовольства нашего духа недостатками прекрасного в живой действительности и из стремления создать нечто лучшее, то вся эстетическая деятельность человека оказалась бы напрасна и бесплодна, и человек скоро бы отказался от нее, видя, что искусство не удовлетворяет его намерениям. Искусство вообще не имеет никаких прав на предпочтение природе и жизни, а произведения искусства страдают всеми недостатками, какие могут быть найдены в прекрасном живой действительности.

Свой анализ Чернышевский начинает с архитектуры. Он отказывается признать ее искусством: архитектура по его мнению — одна из практических деятельностей человека, которые все не чужды стремления к красивости формы, и отличается в этом отношении от мебельного мастерства не существенным характером, а только размерами своих произведений.

Затем он переходит к скульптуре и живописи. Общий недостаток произведений скульптуры и живописи, ставящий их ниже произведений природы и жизни, — их мертвенность и неподвижность. Подобно Гёте, находившему, что живой молс всегда лучше нарисованного, Чернышевский утверждает, что обыкновенно статуи (правда, он говорит об имеющихся в Петербурге статуях) по красоте очертаний лица гораздо

вне его и над ним стоящей силы, способна только нарушить эту «психологическую необходимость».

ниже бесчисленного множества живых людей. И по его мнению это неудивительно: в искусстве исполнение всегда неизменно ниже того идеала, который существует в воображении художника, а самый этот идеал никак не может быть по красоте выше тех живых людей, которых имел случай наблюдать художник. «Силы творческой фантазии очень ограничены: она может только комбинировать впечатления, полученные из опыта; воображение лишь разнообразит и экстенсивно увеличивает предмет, но интенсивнее того, что мы наблюдали или испытывали, мы ничего не можем вообразить».

Наилучшее, говорит Чернышевский, передается живописью наименее удовлетворительно, а наихудшее наиболее удовлетворительно. Краски ее в сравнении с цветом тела и лица — грубое, жалкое подражание. Один только из оттенков живопись передает довольно хорошо — потерявший жизненность, сухой цвет стариковского или загрубелого лица. То же самое надо сказать и о выражении лица: она недурно передает судорожные искажения физиономии при разрушительно-сильных аффектах, но передача нежных чувств удастся ей гораздо меньше. Сказанное относится не только к жанровой, но и к пейзажной живописи. «Мнение, будто бы рисованный пейзаж может быть величественнее, грациознее или в каком бы то ни было отношении лучше действительной природы, отчасти обязано своим происхождением предрассудку, над которым самодовольно подсмеиваются в наше время даже те, которые в сущности еще не отделались от него, — предрассудку, что природа низка, груба, грязна, что надобно очищать и украшать ее для того, чтобы она облагородилась. Это — принцип подстриженных садов». И Чернышевский решительно не видит, в чем произведения скульптуры или живописи стоят выше природы и действительной жизни¹.

Переходя к музыке, Чернышевский прежде всего выражает сомнение, можно ли признать вокальную музыку искусством в строгом

¹ Бельтов в своей интересной статье об эстетической теории Чернышевского («За двадцать лет», изд. 3-е, стр. 260—301) указывает на отсутствие у нашего автора диалектического взгляда на вещи и на недостаток историчности в его рассуждениях. Нам кажется, точнее было бы сказать, что в пылу полемики наш просветитель (особенно в начале своей литературной деятельности) незаметно сходил с историко-диалектической точки зрения, на которой он в общем стоял. Из ненависти к «искусственной» культуре прежнего времени он мог, например, на момент забыть, что принцип «подстриженных садов» в свое время соответствовал пониманию прекрасного у определенных социальных групп, напр., у французской аристократии эпохи Людовика XV. Обыкновенно же он хорошо это помнил, как мы видели это выше, когда излагали его взгляды на классовый характер понятия прекрасного.

смысле слова. Во всяком случае потребность пения, по его мнению, совершенно отлична от заботы о прекрасном. Как неудержимое проявление чувства, пение первоначально и по существу — подобно разговору — произведение практической жизни, а не искусства, но, как всякое мастерство, пение требует привычки, занятия, практики, чтобы достичь высокой степени совершенства. В этом смысле естественное пение становится «искусством», но последнее в этом отношении не отличается от любого ремесла. Во всяком случае Чернышевский решительно отказывается поставить искусственное пение выше естественного.

Первоначальное и существенное значение инструментальной музыки — служить аккомпанементом для пения. Впоследствии она, правда, эмансипируется от пения и становится самостоятельным искусством, но в общем она все-таки остается подражанием пению, его аккомпанементом или суррогатом. А так как само пение, как произведение искусства, есть только подражание и суррогат пения как произведения природы, то Чернышевский считает себя вправе сказать, что «в музыке искусство есть только слабое воспроизведение явлений жизни, независимых от стремления нашего к искусству».

Затем Чернышевский переходит «к высочайшему и полнейшему из искусств — поэзии, вопросы о которой заключают в себе всю теорию искусства». По содержанию поэзия выше и богаче всех других искусств. Но по впечатлению, производимому ею на массу, она стоит не только ниже действительности, но и ниже всех других искусств, так как в отличие от последних поэзия действует не прямо на чувства, а на фантазию, а у среднего человека образы фантазии слабее и бледнее в сравнении с впечатлительностью чувств.

Великие поэты дают нам общие типы. Но отсюда по мнению Чернышевского следует, что «самое определенное, наилучшим образом обрисованное лицо остается в поэтическом произведении только общим, неопределенно очерченным абрисом, которому живая определенная индивидуальность придается только воображением (собственно говоря, воспоминаниями) читателя». Но и самую типичность поэтических произведений следует понимать условно. У поэта, когда он создает свой характер, обыкновенно носится перед умственным взором образ какого-нибудь действительного лица, причем поэт воспроизводит его в своем типе иногда сознательно, иногда бессознательно. От событий действительной жизни поэтическое произведение отличается только большей полнотой подробностей. Вообще по сюжету, по типичности и полноте обрисовки лиц, поэтические произведения далеко уступают действительности; но есть две стороны, которыми они могут

стоять выше действительности — украшение события прибавкой эффектных аксессуаров и согласование характера описываемых лиц с теми событиями, в которых они участвуют.

В итоге своего анализа Чернышевский приходит к тому выводу, что произведение искусства может иметь преимущество перед действительностью разве только в двух-трех ничтожных отношениях и по необходимости остается далеко ниже ее в существенных своих качествах. Впечатление, производимое созданием искусства, гораздо слабее впечатления, производимого живою действительностью¹.

Каковы же задачи искусства? Первая его цель, отвечает Чернышевский, это — воспроизведение действительности. «Гравюра снимается с картины не потому, чтобы картина была нехороша, а именно потому, что картина очень хороша; так, действительность воспроизводится искусством не для сглаживания недостатков ее, не потому, что сама по себе действительность не довольно хороша, а потому именно, что она хороша. Гравюра не лучше картины, с которой снята, она гораздо хуже этой картины в художественном отношении; так и произведение искусства никогда не достигает красоты или величия действительности; но картина одна, ею могут любоваться только люди, пришедшие в галерею, которую она украшает; гравюра расходуется в сотнях экземпляров по всему свету, каждый может любоваться ею, когда ему угодно, не выходя из своей комнаты, не вставая с своего дивана, не скидая своего халата; так и предмет прекрасной действительности доступен не всякому и не всегда, воспроизведенный (слабо, грубо, бледно, это правда, но все-таки воспроизведенный) искусством, он доступен всякому и всегда. Портрет снимается с человека, который нам дорог и мил, не для того, чтобы сгладить недостатки его лица (что нам за дело до этих недостатков? они для нас незаметны или милы), но для того, чтобы доставить нам возможность любоваться на это лицо даже и тогда, когда на самом деле оно не перед нашими глазами; такова же цель и значение произведений искусства: они не поправляют действительности, не украшают ее, а воспроизводят, служат ей суррогатом».

Прежде чем перейти к другим задачам искусства, Чернышевский доказывает, что идеалистическая эстетика, ограничивавшая содержание искусства областью прекрасного, слишком суживала его сферу². Из

¹ Интересно, что с этим чисто материалистическим положением соглашается идеалист Вл. Соловьев («Первый шаг к положительной эстетике», «Соч.», т. VI, стр. 431), но возражает против него материалистка Роланд-Гольст («Этюды о социалистической эстетике», М. 1907, стр. 17, 18, 29).

² Эту мысль Чернышевского отмечает и Плеханов (т. V, стр. 313): «Одной из главных отличительных черт эстетической теории Чернышев-

всех искусств, говорит он, наиболее противится подведению своего содержания под тесные рубрики прекрасного и его моментов (возвышенного и комического) поэзия. Ее область — вся область жизни и природы. Сфера искусства не ограничивается одним прекрасным и его моментами, а обнимает собою все, что в действительности, т. е. в природе и в жизни, интересует человека, не как ученого, а просто как человека.

04. «Общеинтересное в жизни — вот содержание искусства». Под действительную жизнь, спешит он пояснить, конечно, понимаются не только отношения человека к предметам и существам объективного мира, но и внутренняя жизнь его. «Иногда человек живет мечтами — тогда мечты имеют для него (до некоторой степени и на некоторое время) значение чего-то объективного; еще чаще человек живет в мире своего чувства; эти состояния, если достигают интересности, также воспроизводятся искусством». Это пояснение сделано Чернышевским с целью показать, что его определением обнимается и «фантастическое содержание искусства».

Но кроме воспроизведения действительности искусство, по словам Чернышевского, имеет еще и другую цель — объяснение жизни. В этом смысле искусство ничем не отличается от рассказа о предмете; разница только в том, что искусство вернее достигает своей цели, чем простой рассказ, а тем более, чем ученый трактат: «под формою жизни мы гораздо легче знакомимся с предметом, гораздо скорее начинаем интересоваться им, нежели тогда, когда находим сухое указание на предмет. Романы Купера более, нежели этнографические рассказы и рассуждения о важности изучения быта дикарей, познакомили общество с их жизнью».

Здесь Чернышевский подходит к поэзии с критерием полезности, столь характерным для тогдашней эпохи усиленного социального строительства и для общественной категории, вождем которой он вскоре должен был стать. Совершенно естественно, что с этой точки зрения он должен был сделать еще шаг вперед и поставить искусству третью цель: оценку действительности. Он рассуждает так: существенное значение искусства — воспроизведение того, чем интересуется человек в действительности. Но, интересуясь явлениями жизни, человек не может сознательно или бессознательно не произносить о ней своего приговора. «Поэт или художник, не будучи в состоянии перестать быть человеком вообще, не может, если бы и хотел,

ского является та мысль, что «прекрасное» не исчерпывает собою содержания искусства». Ср. рассуждение Чернышевского на эту тему в «Очерках гоголевского периода» («Соч.», т. II, стр. 213—214).

отказаться от произнесения своего приговора над изображаемым явлением; приговор этот выражается в его произведении — вот новое значение произведений искусства, по которому искусство становится в число нравственных деятельностей человека». Человек, одаренный художественным талантом и живым умом, в своих произведениях будет стремиться сознательно или бессознательно произнести свой приговор о явлениях, интересующих его и его современников; в его картинах или романах, поэмах, драмах будут поставлены или разрешены вопросы, которые жизнь ставит перед мыслящим человеком; его произведения будут, если так можно выразиться, сочинением на темы, предлагаемые жизнью. Тогда художник становится мыслителем, и произведение искусства, оставаясь в области искусства, приобретает значение научное».

Унижается ли этим искусство? Напротив, отвечает рецензент, дополняющий и истолковывающий автора, т. е. самого себя. «Источником и целью искусства поставляются потребности человека», но «именно этим и возвышается реальное значение искусства, потому что таким объяснением дается ему неоспоримое и почетное место в ряду деятельностей, служащих на благо человеку, а быть во благо человеку — значит иметь полное право на высокое уважение со стороны человека». Этим высоким, прекрасным, благородным значением своим для человека искусство должно гордиться.

И рецензент, парируя возможные возражения, констатирует, что «сочинение г. Чернышевского все проникнуто уважением к искусству за его великое значение для жизни». Антропологический принцип требует, чтобы человека не разрывали по частям, не искажали его прекрасного организма хирургическими ампутациями. «Современная наука... признает равно нелепыми и пагубными устарелые стремления ограничивать человеческую жизнь одною головою или одним желудком. Оба эти органа равно необходимо принадлежат человеку, и равно существенна для человека жизнь того и другого органа. Потому-то благородные стремления ко всему высокому и прекрасному признает наука в человеке столь же существенными, как потребность есть и пить». «Современное миросозерцание, — говорит рецензент, — считает науку и искусство такими же насущными потребностями человека, как пищу и дыхание»¹.

¹ См. рецензию Н. П—а на «Эстет. отношения». «Соч.», т. X, ч. II, стр. 186—187. — Читатель узнает здесь приведенные выше рассуждения Фейербаха о голове, сердце и животе.

Таким образом Чернышевский вовсе не намерен ниспровергать эстетику, унижать или отрицать искусство¹. Он только смотрит на искусство, как и на жизнь, серьезно², как общественный деятель, как представитель поколения, провозгласившего устами Базарова: «природа — не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Вернее было бы сказать, что формула Чернышевского гласила бы иначе: «только сделавшись мастерской, в которой все люди будут работниками, природа превратится действительно в храм; до сих пор она была тюрьмой для большинства».

Против барского искусства с его экзотичностью и абстрактностью разночинец выдвинул свою эстетику действительности и труда. «Поэзия есть жизнь, действие, страсть», — провозглашает Чернышевский лозунг нового реалистического искусства. В то время как идеалистическая эстетика об'являла искусство выше действительности, Чернышевский открыто провозгласил примат действительности и жизни над искусством. Последнему отводится высокая роль, но роль все-таки служебная: это было совершенно в духе того времени и той социальной группы, которая прежде всего хотела служить делу всестороннего возрождения страны³.

¹ «Чернышевский, — замечает Плеханов (т. V, стр. 310), — вовсе не разрушает эстетики. Напротив, он опирается на нее для того, чтобы выяснить художникам великое значение искусства, заключающееся в распространении тех понятий, которые вырабатываются наукою. Другими словами, наш автор не разрушает эстетики, а только подвергает коренному пересмотру ее теорию».

² В своей диссертации Чернышевский высказывается, например, против того преувеличенного значения, какое поэты в своих произведениях придают любви. «Привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь заставляет поэтов забывать, что жизнь имеет другие стороны, гораздо более интересующие человека вообще; вся поэзия и вся изображаемая в ней жизнь принимает какой-то сентиментальный розовый колорит; вместо серьезного изображения человеческой жизни, очень многие произведения искусства представляют какой-то слишком юный (чтоб удержаться от более точных эпитетов) взгляд на жизнь, и поэт является обыкновенно молодым юношею, которого рассказы интересны только для людей того же нравственного или физиологического возраста. Это, наконец, роняет искусство в глазах людей, уже вышедших из счастливой поры ранней юности; искусство кажется им забавою, приторною для развитых людей и не совсем безопасною для молодежи. Мы вовсе не думаем запрещать поэту описывать любовь; но эстетика должна требовать, чтобы поэт описывал любовь только тогда, когда хочет именно ее описывать: к чему выставлять на первом плане любовь, когда дело идет, собственно говоря, вовсе не о ней, а о других сторонах жизни?» Это не мешало бы помнить и нашим современным писателям.

³ Н. Котляревский (цит. ст., стр. 247—251) по поводу диссертации Чернышевского говорит: «Переубеждая людей и вербуя сторонников новой

3. КРИТИКА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

К этой постановке вопроса непосредственно примыкает вопрос о так называемом «чистом искусстве». Чернышевский касается его уже в упомянутой статье об аристотелевской поэтике, т. е. в первой своей большой статье¹.

Платон восстает против искусства, говорит наш автор, за то, что оно бесполезно для человека. Чернышевский отказывается опровергать этот упрек «устарелой мыслью, что «искусство должно существовать для искусства», что «делать искусство служителем человеческих нужд значит унижать его» и т. п.». Такие явления, замечает он, имели смысл тогда, когда приходилось защищать самостоятельность литературы и

веры, нужно было начать свою речь с обсуждения вопроса наиболее ходкого, наиболее интересного для большинства, вопроса центрального в старом миропонимании. А именно таким было учение о прекрасном в природе и искусстве. Все старшее поколение было воспитано на эстетических теориях, и, ввиду ограничения других жизненных интересов, мысль об искусстве сливалась в его представлении с понятием о самой жизни. Произвести переворот в эстетических взглядах, создать такое учение, которое доказало бы, что прекрасное в жизни есть сама жизнь и живой в ней человек, что самое совершенное искусство есть лишь бледный отблеск действительности; сказать, что ту любовь, которую мы отдаем искусству, надо перенести на самую жизнь и на человека; что этому человеку надо поклониться как наисовершеннейшему созданию красоты, — вот к чему стремился Чернышевский, уже ученик Фейербаха, уже сторонник материализма и проповедник здорового эгоизма, когда он вдруг заговорил о предмете, от текущей жизни, повидимому, столь далеком. Но он знал, что он делал, так как эта новая эстетика должна была служить лишь введением к тому, что надлежало сказать дальше... Новая эстетика была создана в восхваление того нового божества, которому Фейербах пролагал дорогу в горних областях человеческого духа. Тезис: природа и действительность выше и совершеннее искусства — что означал он, как не признание человека самым художественным созданием природы, настоящей нетленной красотой мира, единственным предметом, достойным эстетического поклонения?»

А уже известный нам «идеалистический» критик Волынский выражается на этот счет следующим образом. «Промахи реалистической эстетики слишком очевидны, слишком элементарны. Теоретические рассуждения разбираемого трактата не только устарели, но, можно сказать, никогда не были ни юными, ни жизнеспособными. Это ряд ошибок мысли, которые не были бы особенно прискорбны, если б, к сожалению, не оказали такого сильного воздействия на неразвитое сознание русского общества» («Русские критики», стр. 750). Так, в эпоху буржуазного перерождения русской интеллигенции, мог писать про Чернышевского либеральный сперматозоид в «народническом» «Северном Вестнике» (июль 1892 года).

¹ «Сочинения», т. I, стр. 33 и след.

доказывать, что поэт не должен писать торжественных од или искажать действительность в угоду различным произвольным и приторным сентенциям. «К сожалению, — иронически прибавляет он, — для этого она появилась уже слишком поздно, когда борьба была кончена; а теперь и подавно она ни к чему не нужна: искусство успело уже отстоять свою самостоятельность и должно думать о том, как ею пользоваться».

«Искусство для искусства», — говорит наш реалист, — мысль такая же странная в наше время, как «богатство для богатства», «наука для науки» и т. п. Все человеческие дела должны служить на пользу человеку, если хотят быть не пустым и праздным занятием: богатство существует для того, чтоб им пользовался человек, наука для того, чтобы быть руководительницею человека; искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на бесплодное удовольствие». Говорят, что эстетическое наслаждение само по себе полезно, облагораживая человека, смягчая его сердце и пр. Но такое же благородное действие оказывают и другие занятия, от которых зависит приятное состояние и хорошее расположение духа (например, здоровье, хороший обед, теплая квартира).. «Если бы явился между нами Платон, — прибавляет Чернышевский, как бы желая прикрыться тенью великого грека, — он, вероятно, сказал бы, что сиденье на завалине (у поселян) или вокруг самовара (у горожан) больше развило в нашем народе хорошего расположения духа и доброго расположения к людям, нежели все произведения живописи, начиная с лубочных картин до «Последнего дня Помпеи».

В своей полемике против идеи «чистого искусства», которая в то время составляла один из устоев идеалистической эстетики, Чернышевский продолжает дело Белинского за последние годы его жизни. Если теория «чистого искусства» в 20-х годах XIX века у таких людей, как Пушкин, означала протест против казенного взгляда на искусство и его служилое положение, то с 40-х годов, с началом крестьянского вопроса и наплывом в литературу мужика, теория «чистого искусства» сделалась в руках консерваторов орудием борьбы против освободительных стремлений того времени¹. Белинский с жаром напал на эту теорию именно ввиду ее социально-реакционного характера. Но при этом и он, и его продолжатель Чернышевский вовсе не исходили исключительно из субъективных положений; они не то, чтобы требовали от искусства известной тенденции, а доказывали, что фактически дело обстоит именно так, и что произведения искусства, хотят ли этого их авторы или нет, имеют определенный социальный характер. Сознатель-

¹ Ср. Бельтов — «За двадцать лет», изд. 3-е, стр. 246.

ное культивирование эпикуреизма в искусстве, нарочитое стремление вытравить из него всякий социальный элемент тоже есть одно из проявлений определенных общественных настроений и тенденций¹.

В «Очерках гоголевского периода» Чернышевский приводит длинные выписки из известной статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Здесь Белинский подробно и основательно доказывает ту мысль, что «чистого, отрешенного, безусловного или, как говорят философы, а б с о л ю т н о г о искусства никогда и нигде не бывало». Искусство есть воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир; может ли оно, спрашивает неистовый Виссарион, быть какою-то одинокою, изолированою от всех чуждых ему явлений деятельностью? Может ли поэт не отразиться в своем произведении как человек, как характер, как натура, — словом, как личность? Разумеется, нет. А личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, свободное от всяких внешних влияний. Поэт — прежде всего человек, член своего общества, сын своего времени. Историческое развитие общества отражается и на литературе.

«В наше время искусство и литература больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов», — говорит Белинский. Повредило ли это искусству? Нет. Как раз лучшие страницы Евгения Сю — это те, на которых даются верные картины современного общества, и в которых видно влияние современных интересов. Романы Диккенса «глубоко проникнуты задушевыми симпатиями нашего времени», но и это нисколько не мешает им быть превосходными художественными произведениями. Новейшее искусство всегда было далеко от идеала «чистого искусства», а в последнее время еще более отдалилось от него; «но это-то, — говорит Белинский, — и составляет его силу». Благодаря происшедшей с ним перемене оно не перестало быть искусством, а только получило новый характер. «Отнимать у

¹ Полемизируя с отзывом критика «Отеч. Записок» о Писемском, Чернышевский опровергает его мнение, будто Белинский требовал от произведений искусства непременно тенденции и проповедывал, что искусство должно иметь дидактическую цель. Ссылаясь на статью Белинского в XIV т. «О. З.», Чернышевский доказывает, что Белинский «всеми силами гнал из искусства дидактику» и положительно говорил, что «сочинение, написанное с дидактической целью, никак не может называться произведением поэзии». Белинский говорил, что «поэзия не имеет никакой цели вне себя, но сама себе есть цель», но это не мешало ему спорить против теории чистого искусства, которая именно и ставит литературе определенную цель — быть преднамеренно глухой к голосу жизни, и которая является не чем иным, как тенденциозностью особого сорта. — См. рецензию Чернышевского на «Очерки из крестьянского быта» А. Ф. Писемского. «Соч.», т. III, стр. 130—131.

искусства право служить общественным интересам значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит лишать его самой живой силы, т. е. мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев».

«Высочайший и священнейший интерес общества есть его собственное благосостояние, равно простертое на каждого из его членов. Путь к этому благосостоянию — сознание, а сознанию искусство может способствовать не менее науки».

К этим взглядам непосредственно примыкал и Чернышевский, продолжавший в области критики дело Белинского. Какая мысль лежит в основе теории чистого искусства? — спрашивает он на последних страницах «Очерков гоголевского периода» и отвечает: стремление к социальной реакции. «Они (сторонники этой теории) заботятся вовсе не о чистом искусстве, независимом от жизни, а напротив хотят подчинить литературу исключительно служению одной тенденции, имеющей чисто житейское значение». Литература не может не быть служительницей того или другого направления идей, говорит Чернышевский: это — назначение, лежащее в ее натуре, назначение, от которого она не в силах отказаться, если бы и хотела отказаться. А разглагольствования о чистом искусстве «всегда служили только прикрытием для борьбы против ненавившихся этим людям направлений литературы, с целью сделать ее служительницей другого направления, которое более приходилось им по вкусу»¹.

Эти-то взгляды Чернышевский и положил в основу своих критических и историко-литературных статей².

Не следует думать, чтобы Чернышевский абсолютно игнорировал чисто литературную, эстетическую, художественную критику. Так могут предполагать только те, кто воображает, будто точка зрения нашего критика на литературные произведения сводилась к неременному требованию тенденциозности от искусства³. На самом деле, как

¹ Плеханов, подтверждая этот взгляд Чернышевского, замечает: «Люди, осмеивающие гражданские мотивы поэзии, чаще всего — не говорим всегда: есть исключения, вызываемые простым недомыслием, — облачают в «сверхчеловеческий» костюм самые вульгарные эксплуататорские стремления» («Соч.», т. V, стр. 348).

² Мы не повторяем здесь его оценки Пушкина и Гоголя, так как мы говорили об этом в § 4 главы второй части второй.

³ Плеханов также признает, что эстетическая теория Чернышевского отнюдь не исключает оценки художественных произведений. «Справедливо то, — прибавляет он, — что критики, ее державшиеся, склонны были забывать вопрос о художественных достоинствах разбираемых ими произведений. Справедливо и то, что, напр., у Писарева эстетическая теория Черны-

мы видели, этого не было. При всем своем серьезном и «просветительском» отношении к искусству Чернышевский вовсе не был педантом полезности и решительно стоял за свободу поэтического творчества. Защищая Л. Толстого от упрека в том, что он не внес картин общественной жизни в «Детство и Отрочество», Чернышевский пишет: «Ведь автор хочет перенести нас в жизнь ребенка, — а разве ребенок понимает общественные вопросы, разве он имеет понятие о жизни общества? Весь этот элемент столь же чужд детской жизни, как лагерная жизнь, и условия художественности были бы точно так же нарушены, если бы в «Детстве» была изложена общественная жизнь, как и тогда, если б изложена была в этой повести военная или историческая жизнь. Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности — единство произведения, и что потому, изображая «Детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями. И люди, пред'являющие столь узкие требования, говорят о свободе творчества!»¹.

Или посмотрите, что Чернышевский пишет о произведениях Щербины, — поэта, который по характеру своего экзотического творчества должен был бы вызвать вполне отрицательное отношение со стороны нашего критика, если бы он действительно смотрел на литературу исключительно с утилитарной точки зрения, как силятся уверить публику его противники. Это тот самый Щербина, о котором писали: «соловей, как Щербина, поет». Чернышевский признает в нем истинный и сильный талант, восхищается многими его стихотворениями, но выражает сожаление по поводу того, что поэт насилует свой талант ради теоретических предубеждений. Признавая значение даже его «греческих» стихотворений, критик указывает лишь на то, что «греческая» манера оказалась искусственной, односторонней и натянутой, когда поэт перешел вдруг

шевского получила карикатурный вид. Но это объясняется общественными условиями того времени, в которых Чернышевский, разумеется, совершенно не повинен. Сама по себе его эстетическая теория не исключала интереса к эстетическим достоинствам художественных произведений» («Соч.», т. V, стр. 312).

¹ «Сочинения», т. II, стр. 645—646 (1856 г.).

к современным темам. Старая форма не соответствовала новому содержанию и потому идея оставалась в новых стихотворениях Щербины отвлеченной мыслью, холодной, неопределенною и чуждою поэтического пафоса.

«Но вольному воля, — говорит Чернышевский, — а поэт по преимуществу должен быть волен. Уста его должны говорить о том, чем переполнено его сердце». — «Автономия, — прибавляет он дальше, — верховный закон искусства»¹. Щербину тянет к темам из современной жизни; пусть же он безбоязненно погрузится в нее, избирая лишь такую форму, которая более отвечала бы этому содержанию. А античные стихотворения пусть он пишет только тогда, когда его душа обращается к античному миру. «Кто имеет право требовать от поэта, чтоб он насиловал свой талант?» Пусть только он не насилует своего таланта и всею фантазиею предается тому, чем переполняет жизнь душу его: «от избытка сердца должны говорить уста поэта».

Вспомним наконец цитированное выше письмо Чернышевского к Некрасову, в котором он, обращаясь к этому признанному певцу гражданской скорби, прямо говорит, что его стихотворения с тенденцией не производят на него такого сильного впечатления, как стихотворения без тенденции, и определенно заявляет, что «смотрит на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения»².

Итак, Чернышевский отнюдь не пренебрегал чисто литературной критикой, как некоторые склонны были бы вообразить. Особенно силен был элемент эстетической критики в первых его статьях. Таковы статьи о стихотворениях гр. Растопчиной³, о Никитине, у которого

¹ Ibid., стр. 100. Статья «Стихотворения Н. Щербины» (1857 г.).

² Это не мешает Головину (цит. соч., стр. 165—166) утверждать, что по понятиям критики 60-х годов «значение науки и искусства — исключительно прикладное, и цена художественных созданий, точно так же как и научных исследований, измеряется лишь приносимой ими пользой... Подкладка этого учения — чисто политическая. Критика 60-х годов в лице Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Зайцева отвергла чистое искусство не во имя каких-либо новых эстетических воззрений, а исключительно потому, что она стремилась воспользоваться изящной литературой, а заодно с нею и живописью, для скорейшего достижения своих, вовсе не художественных целей... Для тогдашней партии движения надо было идти к такому перевороту в обществе, который дал бы власть в руки тех, кто стоял тогда на низших ступенях лестницы. К этому должна была стремиться литература». В последних словах, впрочем, немало верного.

³ «Сочинения», т. II, стр. 296 и сл. (1856 г.).

Чернышевский отрицает всякий поэтический талант¹; такова первая его статья о Л. Толстом, в которой критик даже совершенно не касается вопроса о содержании его произведений². И даже впоследствии, когда в критических статьях его стал преобладать публицистический элемент, Чернышевский в сущности не отказался от художественной критики. Так, в третьей статье об Островском, Чернышевский, разбирая его «Доходное место», указывает на чисто художественные недостатки комедии, хотя в общем анализирует ее с точки зрения «идеи»³.

Но само собою разумеется (и читатель, ознакомившийся с общими взглядами Чернышевского на литературу, мог заранее это предположить), что в критических статьях нашего автора с самого начала должен был сильно пробиваться публицистический элемент наряду с элементом чисто-художественной критики. Недаром Чернышевский был прямым преемником и продолжателем дела Белинского. Наш автор считал оба эти элемента критики равно законными и нераздельными. «Вообще, — говорит он в статье о Жуковском⁴, — мы довольно мало знаем об отношениях замечательных людей нашей изящной литературы к общественным вопросам, имеем очень мало сведений о том, как смотрели они на современные им стремления». А зачем нужны были ему эти сведения? А затем, что, как он говорит в другом месте, для критики интереснейшим является «вопрос о том, какое воззрение на жизнь выразилось в произведениях писателя»⁵.

Содержание, идея произведения для Чернышевского, как и для всей его эпохи, была важнее формы. В статье об Авдееве, носящей еще в значительной степени эстетический характер, он замечает, что «наш век готов примириться скорее с недостатками формы, нежели с недостатком содержания, с отсутствием мысли»⁶. Авдеев — милый, приятный рассказчик, но лишенный серьезного внутреннего содержания: а «элегантная отсталость» и «выполированная *causerie*» нашему критику не по сердцу. В другом месте он охотно присоединяется к мнению Пушкина (по поводу произведений Ронсара и Малербэ) о «ничтожности наружной отделки сравнительно с мыслью»⁷.

¹ «Соч.», т. II, стр. 348 и сл. (1856 г.).

² «Соч.», т. II, стр. 638 и сл. (1856 г.).

³ «Соч.», т. III, стр. 157 (1857 г.).

⁴ «Соч.», т. III, стр. 166 (1857 г.).

⁵ «Соч.», т. III, стр. 62. По поводу статьи Дудышкина в «Отеч. Записках» о Тургеневе.

⁶ «Соч.», т. I, стр. 105 (1854 г.).

⁷ Ibid., стр. 271 (1855).

Это не значит, чтобы Чернышевский безразлично относился к форме литературных произведений; напротив, он внимательно рассматривал эту форму и беспощадно преследовал недостатки художественности. Он только отказывался признать за формой самодовлеющее или первостепенное значение; он не хотел ради блестящей формы закрывать глаза на отсутствие внутреннего содержания. Красота внешняя для него представляла, пожалуй, второстепенный вопрос; содержание для него интереснее¹.

Так, например, он отнесся к «Губернским очеркам» Щедрина, в которых усмотрел сначала лишь род мемуаров. Эти «отрывки из мемуаров» подкупили его не блестящей отделкой рассказа, хотя и рассказ он признал недурным, а именно богатством своего содержания². Или посмотрите на его высокое мнение о Шиллере³, в котором Чернышевский усматривал гармоническое объединение блестящей формы с идейным содержанием. Шиллер не умрет никогда, говорит Чернышевский; его не должно смешивать ни с кем. «Люди, гордящиеся своею мнимою положительностью, между тем как имеют только сухость сердца, своим знанием жизни, между тем как приобрели только знание интриг, поворят иногда о Шиллере свысока, как об идеалисте, мечтателе, иногда решаются даже намекать, что у него больше сантиментальности, чем таланта». Чернышевский энергически протестует против такого мнения. «Искусство, — говорит он по поводу произведений Шиллера, — незаметно внушает человеку понятия, достоинство которых не хочет он оценить, когда они являются ему без поэтической одежды. Своими идеалами приводит поэзия лучшую действительность: внушая благородные порывы юноше, готовит она его к благородной практической деятельности. Такова действительная поэзия Шиллера. Это вовсе не сантиментализм, не игра мечтательной фантазии, нет, пафос этой поэзии — пламенное сочувствие всему, чем благороден и силен человек»⁴.

¹ «Вопрос о пафосе поэта, об идеях, дающих жизнь его произведениям, — вопрос первостепенной важности», — говорит он в статье о Л. Толстом. «Соч.», т. III, стр. 10 (1857).

² «Соч.», т. II, стр. 604 и сл. (1856 г.).

³ «Соч.», т. III, стр. 1 и след. (1857 г.).

⁴ По поводу этих слов Плеханов (т. V, стр. 335) замечает: «Тут с особой выпуклостью выражается новое, свойственное просветителям понятие действительности. Лучшая действительность создается идеалом. Этот взгляд составляет прямую противоположность тому, согласно которому идеалы влияют на действительность только в том случае, когда они выражают собою об'ективные тенденции ее развития». Но ведь это просто недоразумение. Последнего положения не стал бы отрицать и Чернышевский; более

И при всем своем преклонении перед Гоголем за то, что он был родоначальником нашей натуральной школы, Чернышевский готов поставить Шиллера чуть ли не выше отца русской обличительной литературы. «Гоголь — кровный, родной нам, — говорит он, — его содержание ближе к нам, прелесть его рассказа непосредственнее чувствуется нами, — все это так, мы любим его живее и сильнее. Но содержание чужих гениальных писателей — что делать, надобно сознаться — шире; художественная форма их произведений — и в этом надобно сознаться — совершеннее; они стоят дальше от нас, но фигуры их колоссальнее; мы не с такою кровною любовью подчиняемся их мысли, но если на стороне Гоголя наше субъективное сочувствие, то на стороне их превосходство объективного величия и совершенства, — и на чьей стороне перевес влияния, трудно решить»¹.

того, он прямо это и говорит: «серьезное значение имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в тех делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею» («Соч.», т. II, стр. 206). Но в приведенных выше словах его о поэзии Шиллера речь идет просто-напросто о влиянии пропаганды художественным словом. Отрицать же это влияние совершенно невозможно. Стоит вспомнить только роль, сыгранную в России, напр., поэзией Некрасова. Да и сам Чернышевский, когда захотел на прощание обратиться к широкой публике, избрал форму художественного произведения (роман «Что делать?»), в котором изложил свои мысли, до того развивавшиеся им в ученых статьях.

¹ Интересен сравнительный отзыв его о драматических произведениях различных народов в письме из Сибири от 25 апреля 1877 года. Там сказано: «Лучше «Ревизора» нет ничего в русском репертуаре. И, пожалуй, мало в нем вещей лучше комедии Грибоедова... Он беден. И даже «Ревизор», лучшее сокровище в нем, хоть и гениальная вещь, — вещь очень мелкая по содержанию. Французский репертуар не в моем вкусе. Драмы Виктора Гюго — нелепая дичь, как и его романы и лирические его произведения. Нестерпим он мне. И я даже полагаю, что у него нет таланта, а есть только дикая заносчивость воображения... Суинборн в десять раз талантливее его.... Кроме Виктора Гюго, и сами французы не находят у себя, кем из драматургов похвалиться. Итак, об их репертуаре говорить не стоит». Лессинг, Шиллер, Гёте — это уже не то, что русский репертуар; их Чернышевский ставил выше всего («Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 156—157).

В письме от 10 августа 1883 года мы находим отзыв о поэзии различных народов. «Виктор Гюго не стоит и чтения, не только труда переводить: это взбалмошный ритор, не поэт. Сколько читывал других французов, они пишут во вкусе пиитики, которой у нас держались Сумароков и его современники: пошлость ходульных оборотов речи и мысли, и вместо поэтического содержания, то есть вместо конкретного, фактического содержания — абстрактные рассуждения, форма для которых — не стих, а проза, и заголовок

По поводу статей Белинского о Пушкине Чернышевский¹ замечает: «для истинного критика рассматриваемое сочинение очень часто бывает только поводом к развитию собственного взгляда на предмет, которого оно касается вскользь или односторонне». Этот прием многим не нравится. Про Чернышевского говорили, что он ввел в литературу обычай писать критические статьи «по поводу». Прежде всего винить в этом столь тяжком преступлении следовало бы, собственно говоря, не Чернышевского, а его учителя и предшественника — Белинского; а во-вторых, этому якобы дурному обычаю наша литература обязана лучшими произведениями критики — статьями Белинского и Добролюбова! И вряд ли кто скажет, чтобы писание статей «по поводу» само по себе мешало когда-либо корифеям нашей критики давать верный анализ художественной стороны рассматриваемых произведений. В преувеличениях à la Писарев самый метод публицистической критики ничуть не повинен. Но это между прочим...

Таких статей «по поводу» у Чернышевского вовсе не так уже много: статья о «Губернских очерках» Щедрина (1857 г.) и статья об «Асе» Тургенева (1858 г.). В первой он пользуется содержанием рассматриваемой книги с целью убедить читателя, что в основе всех бед и нестроений русской жизни лежит существующий политический режим²; вторая посвящена убийственной критике русского либерализма, отличительные черты которого, по словам Чернышевского, воплотились в фигуре героя тургеневской повести. Эти статьи, правда, относятся не столько к литературной критике, сколько к политике и публицистике³.

В большинстве остальных критических статей нашего автора эстетический элемент сочетается с публицистическим, причем последний с течением времени начинает звучать все громче.

для которых не «стихотворение», а «отрывок из диссертации». Исключений мало, кроме Беранже. Барбье — ритор, не поэт. У немцев и англичан хороших поэтических произведений много. Американская поэзия, сколько могу судить по немногому читанному, еще очень неважна. Лонгфелло — очень сладенький поэт, вроде нашего Жуковского. Но из поэтов Англии и Германии после Гёте и Байрона есть довольно много хороших, сколько могу судить при недостаточности моего знакомства с ними» («Чернышевский в Сибири», вып. III, стр. 227—228).

¹ «Соч.», т. I, стр. 316 (1855 г.).

² Обличительное направление, вошедшее в моду «с тяжелой руки г. Щедрина», Чернышевский называет «прекрасным, истинно дельным» и выражает ему «полное сочувствие». «Соч.», т. III, стр. 157—158.

³ Об этих статьях, равно как и о рецензии на рассказы Н. Успенского, мы говорим ниже в главах, посвященных изложению взглядов Чернышевского на политическое положение в России (см. том второй).

В этом отношении чрезвычайно интересны и характерны для критической манеры Чернышевского его статьи об Островском. Первая представляет рецензию на комедию «Бедность не порок»¹. Первая комедия Островского «Свои люди — сочтемся», говорит Чернышевский, была встречена всеобщим одобрением; «Бедная невеста» была хороша, но уже не возбудила прежнего восторга — и это понятно: мало того, что идея комедии не имела достоинства новизны; «она принадлежала слишком тесному кругу частной жизни». Недовольный сомнительным успехом этой комедии, Островский написал новую «Не в свои сани не садись». Идея этого произведения глубоко возмущает нашего просветителя. «В этой комедии, — пишет он, — ясно и резко было сказано: полубразованность хуже невежества, но не прибавлено, что лучше и той, и другого: истинная образованность». В этой же комедии приторная славянофильская манера выразилась и формально — в именах действующих лиц: представитель «мнимо русских по преимуществу понятий» называется Русаковым, представитель верности старинным обычаям — Бородкиным, представитель модной пустоты и ветрогонства — Вихоревым.

Все эти недостатки новой манеры Островского Чернышевский констатирует и в комедии «Бедность не порок», которая привела в такой телячий восторг московских «славян» (вспомним знаменитое стихотворение, посвященное Любиму Торцову и напечатанное в 5-й книжке «Москвитянина» за 1854 г.). Сначала Чернышевский подвергает комедию уничтожающей критике с чисто-художественной точки зрения. Он показывает всю ее «фальшивость и слабость»; это, по его словам, — не комедия, не художественное целое, а что-то сшитое из разных лоскутков на живую нитку. Но поговоривши (на протяжении почти всей статьи) об «исполнении», критик в нескольких словах дает суровую оценку «намерениям» автора. Главный недостаток творчества Островского, поскольку он выразился в комедиях «Не в свои сани не садись» и «Бедность не порок», Чернышевский усматривает в «ложной идеализации устарелых форм».

«В двух своих последних произведениях, — пишет он, — г. Островский впал в приторное прикрашивание того, что не может и не должно быть прикрашиваемо. Произведения вышли слабые и фальшивые. Но по нашему мнению, он, повредив этим своей литературной репутации, не погубил еще своего прекрасного дарования: оно еще может явиться попросту свежим и сильным, если г. Островский оставит ту тинистую тропу, которая привела его к «Бедность не порок». Пусть он не

¹ «Соч.», т. I, стр. 123 и сл. (1854 г.).

слушает восторженных и безотчетных похвал, пусть не увлекается стихотворными дифирамбами, в которых провозглашают его героем «Искусства и Правды», но пусть лучше строго подумает о том, что такое правда в созданиях искусства. В правде сила таланта; ошибочное направление губит самый сильный талант. Л о ж н ы е п о о с н о в н о й м ы с л и п р о и з в е д е н и я . с л а б ы д а ж е и в ч и с т о - х у д о ж е с т в е н н о м о т н о ш е н и и ».

Мысль, выраженная в последних строках, чрезвычайно важна для правильного понимания критических взглядов Чернышевского. Раз в литературе необходимо отражается борьба общественных тенденций, то истинный поэт, который не может не сочувствовать прогрессивному стремлению своего века, не должен насиловать своего таланта в угоду реакционным стремлениям господствующих классов. Иначе пострадает и художественная сторона его произведений. Полемизируя против барской эстетики с точки зрения революционно-настроенного разночинца Sturm- und Drang-period'a Чернышевский в конце Очерков гоголевского периода замечает, что все произведения, написанные в его время в реакционном духе, совершенно ничтожны и в художественном отношении: они холодны, натянуты, бесцветны и риторичны.

Но во второй заметке об Островском Чернышевский меняет гнев на милость¹. Перемена вызвана комедией «Доходное место», напечатанной в 1-й книжке славянофильской «Русской Беседы» за 1857 год. Во-первых, эта комедия показала новую сторону таланта Островского, который здесь коснулся уже не купеческого быта, а интеллигентно-бюрократического круга; во-вторых, — и это главное, что вернуло Островскому симпатии нашего критика, — новая комедия своим «сильным и благородным направлением» напоминала первую пьесу Островского, доставившую ему такую популярность. Подробно изложивши пьесу и сделавши некоторые указания на ее художественные недостатки, Чернышевский кончает свой отзыв следующими словами: «По нашему изложению, слишком еще неполному, читатели уже могут видеть, сколько правды и благородства в новом произведении г. Островского, сколько в пьесе драматических положений и сильных мест. Прибавим, что многие сцены ведены превосходно и обнаруживают, какими богатыми силами и средствами владеет автор».

Новая пьеса удовлетворила и художественным, и публицистическим требованиям Чернышевского, — и критик примирился с писателем, которого прежде осудил за фальшивые ноты.

¹ «Соч.», т. III, стр. 154 и сл. (1857 г.).

Мы не будем останавливаться на отзывах Чернышевского о Печерском-Мельникове¹, которого он как рассказчика ставил выше Щедрина, об Огареве², к поэзии которого он относился с глубокой симпатией (в значительной степени за то, что в ней «нашел себе выражение важный момент в развитии нашего общества»), о Плещееве³, муза которого была ему также глубоко симпатична, о «Переселенцах» Григоровича⁴. Все эти отзывы ничего не прибавят к физиономии Чернышевского как критика. Скажем лишь несколько слов об его отношении к творчеству Л. Толстого.

Пытаясь точнее охарактеризовать специфическую черту толстовского таланта, Чернышевский указывает на то, что Толстого всего более занимает «сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином»⁵. Внимание Толстого, по словам критика, преимущественно обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиями о настоящем. Силу Толстого составляет удивительное «изображение внутреннего монолога».

Большинство писателей изображает результаты психического процесса, действия, проявления внутренней жизни; Толстой мастерски описывает самый этот таинственный процесс, едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайной быстротой и разнообразием. Есть живописцы, которые знамениты искусством уловлять мерцающее отражение луча света на быстро катящихся волнах, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них говорят, что они умеют уловлять жизнь природы. Нечто подобное делает Толстой относительно таинственнейших движений человеческой души. И даже в тех его произведениях, где ему по условиям рассказа не приходится применять этой отличительной черты своего таланта, она все

¹ «Соч.», т. III, стр. 158 (1857 г.).

² «Соч.», т. II, стр. 532 и сл. (1856 г.).

³ «Соч.», т. VIII, стр. 120 и сл. (1861 г.).

⁴ «Соч.», т. II, стр. 569 и сл. (1856 г.).

⁵ Статья о «Детстве и отрочестве» и «Военных рассказах», «Соч.», т. II, стр. 638 и сл. (1856 г.).

же чувствуется: «Так певец, обладающий в своем диапазоне необыкновенно высокими нотами, может не брать их, если то не требуется его партией, — и все-таки, какую бы ноту он ни брал, хоть бы такую, которая равно доступна всем голосам, каждая его нота будет иметь совершенно особенную звучность, зависящую собственно от способности его брать высокую ноту, и в каждой ноте его будет обнаруживаться для знатока весь размер его диапазона».

В основе этой черты толстовского таланта лежит, по меткому замечанию Чернышевского, самоуглубление писателя, стремление к неутомимому наблюдению над собственными душевными переживаниями. Одно наблюдение над другими людьми не могло бы дать того знания сокровенных тайников человеческой души, какое замечается у Толстого. Это глубокое знание человеческого сердца будет неизменно придавать очень высокое достоинство всему, что бы ни написал он и в каком бы духе ни написал. И далее у Чернышевского следует пророчество насчет грядущего творчества Толстого. «Вероятно, он напишет много такого, что будет поражать каждого читателя другими, более эффектными качествами, глубиной идеи, интересом концепций, сильными очертаниями характеров, яркими картинками быта, — и в тех произведениях его, которые уже известны публике, этими достоинствами постоянно возвышался интерес, — но для истинного знатока всегда будет видно, — как очевидно и теперь, — что знание человеческого сердца — основная сила его таланта»¹.

Другой стороной толстовского таланта Чернышевский признает чистоту нравственного чувства. Непосредственная, как бы сохранившаяся во всей непорочности от чистой поры юношества, свежесть нравственного чувства придает произведениям Толстого особенную трогательную и грациозную очаровательность. Только при этой непосредственной свежести сердца можно было написать «Детство и Отрочество», без нее нельзя было бы не только написать, но и задумать такое произведение.

«Эти две черты, — говорит критик, — глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства, придающие теперь особенную физиономию произведениям графа Толстого, останутся существенными чертами его таланта, какие бы новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем его развитии».

А если принять во внимание его художественность, чувство меры, способность проникать в психологию самых различных классов и групп

¹ Не забудем, что эта рецензия была написана только на основании «Детства и отрочества» и «Военных рассказов», и что в то время Толстой не дал еще ни «Войны и мира», ни «Анны Карениной».

общества¹, то перед нами вырисовывается фигура «настоящего художника, т. е. поэта с замечательным талантом». И Чернышевский заключает свою статью о Толстом следующими вещими словами: «Этот талант принадлежит человеку молодому, с свежими жизненными силами, имеющему перед собою еще долгий путь — многое новое встретится ему на этом пути, много новых чувств будет еще волновать его грудь, многими новыми вопросами займется его мысль, — какая прекрасная надежда для нашей литературы, какие богатые новые материалы жизнь даст его поэзии! Мы предсказываем, что все, данное доньше графом Толстым нашей литературе, только залогом того, что совершит он впоследствии, но как богаты и прекрасны эти залогов»².

¹ «В крестьянской избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата», — пишет Чернышевский по поводу рассказа Толстого «Утро помещика». «Соч.», т. III, стр. 11 (1857 г.).

² В то время Толстой не успел еще полностью обнаружить свою шуйцу. Но когда через несколько лет он начал издавать педагогический журнал «Ясная поляна» (1862 г.), в котором уже сказались чудачества будущего основателя секты, Чернышевский при всем своем уважении к великому беллетристу обрушился на эти чудачества плохого мыслителя. В статье, напечатанной в третьей книжке «Современника» за 1862 г., Чернышевский вскрывает всю непоследовательность, неосновательность и даже реакционные выходы (напр., относительно воскресных школ) оригинальничающего графа. Здесь же он попутно уже отмечает его странную манеру выводить в народных рассказах чертей в самом, что называется, натуральном виде: об этом впоследствии хорошо писал Н. Михайловский. Указавши, что странные реакционные выходы Толстого вытекают, вероятно, из незнания с предметами, о которых он берется рассуждать, Чернышевский дает ему следующий дружеский совет: «Прежде чем станете поучать Россию своей педагогической мудрости, сами поучитесь, подумайте, постарайтесь приобрести более определенный и связный взгляд на дело народного образования. Ваши чувства благородны, ваши стремления прекрасны... Но установление общих принципов науки требует кроме прекрасных чувств еще иной вещи: нужно стать в уровень с наукой... Решитесь или перестать писать теоретические статьи, или учиться, чтобы стать способным писать их» («Соч.», т. IX, стр. 124). — Этот совет остался, конечно, втуне.

Впрочем, чудить Толстой начал еще и раньше. Еще до знакомства с ним Чернышевский слышал о его чудачествах, как видно из письма его к Некрасову от 5 декабря 1856 г., где сказано: «я не имел еще случая сойтись с ним, но Боткин говорит, что он исправляется от своих недостатков и делается человеком порядочным». А в письме от 13 февраля 1857 года Чернышевский пишет: «Л. Н. Толстой теперь, вероятно, уже в Париже, — не собьет ли с него путешествие ту умственную шелуху, вред которой он, кажется, начал понимать?» («Переписка Чернышевского с Некрасовым и Добролюбовым», стр. 39 и 49). Надежды Чернышевского на исправление Толстого не оправдались. О том, с какой враждой Толстой относился тогда к Чернышевскому, мы скажем во втором томе этой работы.

Таковы критические статьи нашего автора, дающие понятие о его критической манере. Эта манера, как читатель мог убедиться, весьма мало напоминает то пугало, которое рисуют г-да à la Волинский и Иванов. Но самую крупную и важную из работ Чернышевского, посвященных литературным вопросам (если не считать, конечно, «Эстетических отношений»), были его «Очерки гоголевского периода», относящиеся, впрочем, не столько к области критики, сколько к истории литературы.

Но, как указывает сам Чернышевский, эти статьи имели целью не только историческое изложение различных направлений русской критики; он хотел также «указать на основания, от которых не должна уклоняться современная критика, если не хочет впасть в бессилие, мелочность, пустоту»¹. Эти основания Чернышевский почерпает во взглядах на задачи искусства, высказанных Белинским в последние годы своей жизни. Белинский является поэтому главным героем «Очерков гоголевского периода». Его идейному развитию и посвящены статьи писателя, начавшего с того места, на котором смерть остановила перо неистового Виссариона.

Чернышевский показывает, как Белинский, сначала находившийся в плену у старой идеалистической философии, постепенно высвобождался из-под ее влияния, пока не выступил решительно в качестве представителя новой социальной группы — разночинцев (или, как говорит Чернышевский, «молодого поколения»). В этом отношении Белинский, по своему историческому значению для русского общества и литературы, по мнению Чернышевского, не уступает Гоголю, а известно, как высоко Чернышевский ставил Гоголя, который «пробудил в нас сознание о нас самих» и положил основание новой русской литературе, в частности натуральной школе. Такое крупное явление, как Белинский, не могло возникнуть внезапно; оно было подготовлено всем предшествовавшим историческим развитием. В частности предтечей Белинского был Надеждин, заслуги которого наш автор подробно выясняет.

Чернышевский анализирует оживленное умственное брожение, охватившее в 30-х и 40-х годах Западную Европу и Россию, торжество гегелевской философии, выступление левых гегельянцев и французских социалистов-утопистов, блестящее развитие литературы, в частности социального романа (Жорж Занд, Диккенс), появление в России новой исторической школы, расцвет русской литературы (Гоголь, Кольцов,

¹ «Очерки гоголевского периода». «Соч.», т. II, стр. 274 (1855/56 г.). Анализом истории русской литературы Чернышевский хотел подкрепить теоретические положения своей работы об «Эстетических отношениях искусства к действительности».

Лермонтов, Герцен, Тургенев, Григорович). Начиналась новая историческая полоса, представителем которой и был Белинский; характер его деятельности «совершенно зависел от исторического нашего положения».

В отличие от отвлеченной критики Надеждина, критика Белинского, говорит Чернышевский, имела реалистический характер, как это явствует из отношения того и другого писателя к романтизму: в то время как Надеждин обвинял романтизм главным образом в «нарушении эстетических условий», Белинский восстал «против романтических фантазий не с одной литературной, но и с житейской точки зрения». С другой стороны, Белинскому присуще было чувство историзма. Он стремился, не увлекаясь ни старым отрицанием, ни еще более старыми панегириками, показать историческое значение различных периодов нашей литературы, дать историю русской литературы, чего еще не было сделано ни одним из прежних критиков. Словом, критика Белинского «не разрушала, а напротив — воссоздала всё, что в прошедшем заслуживало уважения». До него, говорит Чернышевский, существовала критика, но истории литературы у нас еще не было. «Ему обязаны мы тем, что имеем о ней верные и точные понятия».

Белинский показал, что в истории русской литературы наблюдается строгая и последовательная эволюция, и что между отдельными ее периодами существует тесная внутренняя связь. Этот самый метод Чернышевский применяет и к анализу литературной деятельности Белинского. «Критика Белинского, — говорит он, — развивалась совершенно последовательно и постепенно: статья об «Очерках Бородинского сражения» противоположна статье о «Выбранных местах» (переписки с друзьями Гоголя), потому что они составляют две крайние точки пути, пройденного критикой Белинского; но если мы будем перечитывать его статьи в хронологическом порядке, мы нигде не заметим крутого перелома или перерыва: каждая последующая статья очень тесно примыкает к предыдущей, и прогресс совершается при всей своей огромности постепенно и совершенно логически»¹.

Белинский, как известно, был ярым сторонником философии Гегеля. Его, по словам Чернышевского, привлекало к этой философии ее «стремление к положительности и действительности». В своих выводах он доходил до крайностей, до восхваления «разумной действительности» даже в форме николаевского режима. На этой почве у него

¹ Взгляды Чернышевского на литературную эволюцию Белинского впоследствии были развиты и дополнены Бельтовым в его блестящих статьях о Белинском. См. «За двадцать лет», изд. 3-е, стр. 164—260.

произошел разрыв с кружком Герцена и Огарева, члены которого не могли опровергнуть Белинского, твердо стоявшего на почве гегельянства, как он его тогда понимал. Но, как верно указывает Чернышевский, самый метод Гегеля, его диалектика давала возможность его последователям отвергнуть положительные выводы учителя, сохраняя дух его учения. Только диалектическим методом Гегеля можно было победить и «превзойти» его самого¹. Эта эволюция и началась в Белинском после переезда его в Петербург.

«Тут вскоре он сделался совершенно самобытен», — говорит Чернышевский. До тех пор Белинский в спорах с противниками твердил, что действительность значительнее всех мечтаний, но он «с м о т р е л на действительность глазами идеалиста, не столько изучал ее, сколько переносил в нее свой идеал». В Петербурге Белинский убедился, что действительность содержит в себе противоречивые элементы, что русская действительность не имеет ничего общего с идеалом, и вот «пришлось отказаться от уверенности, что гегелевы построения — верные изображения действительной жизни, пришлось критически посмотреть и на действительность, и на гегелеву систему». Результатом этого пересмотра было в теоретической области очищение принципов Гегеля от их односторонности, отвержение фальшивого содержания, внесенного в них, и новые выводы в революционном духе; в области практической — отказ от прежнего квиетизма, неуместного при русской действительности, и «сохранение высокого убеждения, что разум и правда должны и будут владычествовать в жизни, хотя мы далеки еще от этого времени».

Словом, результат критической ревизии гегельянства привел Белинского, как и левых гегельянцев вроде Маркса и Энгельса, к тому, что положение «все действительное — разумно» по всем правилам диалектического мышления превратилось у него в прямо противоположное положение: «все действительное должно быть и будет разрушено». А по словам Чернышевского, для такой живой натуры, как Белинский, переход от абстрактного идеализма, приводившего на практике к квиетизму и апатии, к «живому» (т. е. революционному) пониманию действительности был естественен и легок.

Только освободившись от гипноза идеалистически понятой действительности, только поборов Гегеля с помощью его же метода, Белинский сделался «положительным» человеком, борцом против старой действительности во имя новой. Сделать это ему удалось не сразу, но постепенно идеалистический элемент совершенно исчезает из его

¹ «Очерки гоголевского периода», loc. cit., стр. 196—197.

воззрений, и Белинский становится выразителем взглядов и стремлений «нового поколения», демократической разночинной интеллигенции. В связи с этим меняются его взгляды на искусство, и наряду с чисто-эстетическим элементом в его критике все властнее начинают звучать публицистические мотивы¹.

Белинский залагает основы новой реалистической критики, которую после него продолжают развивать Чернышевский и Добролюбов.

Пусть в этой критике было много элементов рассудочности: это было неизбежно (ведь, как правильно заметил Плеханов, в просветительные периоды не только критики, но и художники отличаются рассудочностью); пусть она смотрела на художественные произведения как на учебники жизни и «в течение многих лет усердно исполняла роль педагога, объясняющего читателю смысл таких учебников» (Плеханов, т. VI, стр. 321), тем не менее или, лучше сказать, тем удачнее она выполнила свою историческую роль борца за новое понимание искусства и вместе с тем за новое отношение к жизни.

¹ «Очерки гоголевского периода», loc. cit., стр. 214 и сл.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

1. Недостатки старого материализма

Ахиллесовой пятой старого материализма, включая и фейербаховский, была его неспособность применить материалистический метод к истории и к обществу. Несмотря на то, что в сочинениях этих писателей встречались отдельные материалистические мысли, подчас граничащие с гениальностью, в общем и целом они в философии истории стояли на идеалистической точке зрения и подходили к оценке общественных явлений с приемами рационализма. Выше мы уже приводили изречение Гельвеция о форме человеческой руки как основном факторе исторического прогресса. Он же сделал попытку объяснить развитие человеческих обществ, исходя из физических потребностей людей. Правда, как замечает Плеханов, его попытка «была обречена на неудачу, так как собственно говоря, следует принимать во внимание не потребности человека, но средства и пути их удовлетворения»¹; но самая постановка вопроса была для того времени вещью незаурядною. Аналогичные попытки, особенно в области обоснования морали, мы можем встретить и у других просветителей. Но это не мешало им в общем не выходить из рамок идеалистической историософии.

Материалисты-просветители были прежде всего рационалистами. Исходным пунктом служила для них человеческая природа. Люди не знают собственной природы и потому впадают в заблуждения, страдают и не могут правильно устроить свою жизнь. Просветить их светом разума, выяснить им сущность человеческой природы значит обеспечить безболезненный ход прогресса. Но ведь человеческая природа не

¹ Кстати сказать, на это задолго до Плеханова указывал Чернышевский (правда, безотносительно к взглядам Гельвеция), напр.: «В истории слишком часто задача бывает не в том, какой путь самый лучший, а в том, какой путь возможен при данных обстоятельствах» («Примечания к Миллю». «Соч.», т. VII, стр. 337).

является чем-то постоянным, да если бы она и была постоянною, то история не двигалась бы вперед; между тем она изменяется. Если же человеческая природа изменяется с течением времени, а это, как мы знаем, те же просветители иногда очень хорошо видели, то надо объяснить причины этих изменений, явно лежащие вне этой самой человеческой природы. Разрешить это противоречие старый материализм не сумел¹.

Не разрешил его и Фейербах, да, по правде сказать, и не задумывался над ним. Фейербаху тоже принадлежит ряд отдельных изречений, проникнутых духом социологического материализма. Именно он сказал: «человек есть то, что он ест»; он заметил, что «во дворцах чувствуют иначе, чем в хижинах», он заявил, что «только голяки бывают революционерами» и т. п. Но все это были случайные замечания, не мешавшие Фейербаху оставаться на идеалистической позиции в философии истории и оперировать абстрактной человеческой природой, каким-то отвлеченным «человеком», еще более отвлеченной «человеческой сущностью» и ею объяснять мораль, историю и т. д. По существу Фейербах рассуждал точно так же, как и его учителя — просветители-материалисты XVIII века, когда говорил, что человеческая жизнь искажается ложными представлениями людей, воспринятыми без критики догмами и продуктами фантазии, и что для спасения человечества от бедствий его нужно освободить от этих извращенных идей, заменив их правильными мыслями, соответствующими «сущности человека». В этом отношении его произведения и в том числе «Сущность христианства», в свое время производившая такое сильное впечатление на современников, представляются настоящей схоластикой.

Эти рассуждения Фейербаха Маркс объявил «невинными детскими фантазиями» в замечательной работе, написанной им и Энгельсом в 1845 году, в той «Немецкой идеологии», которая была опубликована Институтом Маркса и Энгельса только в 1924 году, и из которой до тех пор известны были только знаменитые «Тезисы о Фейербахе». В этой работе, где впервые сформулированы были основные положения материалистического понимания истории, точка зрения Фейербаха была подвергнута решительной критике, вскрывшей ее абстрактность и неисторичность.

Маркс указывает, что Фейербах рассматривает «человека вообще» вместо «реального, исторического человека». Он не замечает того, что окружающий его чувственный мир не есть вовсе какая-то непосред-

¹ См. Бельтов (Плеханов) — «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», глава I.

ственно от века данная, всегда самой себе равная вещь, а продукт промышленности и общественного состояния, продукт в том смысле, что он является в каждую историческую эпоху результатом деятельности целого ряда поколений, из которых каждое стоит на плечах предшествовавшего поколения, развивая его промышленность и его способ сношений и видоизменяя, в зависимости от изменившихся потребностей, его социальный строй.

Поскольку Фейербах является материалистом, говорит Маркс, он не имеет дела с историей, поскольку же он занимается историей, он — вовсе не материалист. Материализм и история идут у него совершенно различными путями¹.

Вскрывая абстрактность исторических воззрений своих предшественников, Маркс замечает: «Индивидов, не подчиненных уже больше разделению труда, философы идеализировали под названием «Человек», а весь изображенный нами процесс рассматривали как процесс развития «Человека», причем на место реальных индивидов каждой исторической эпохи ставился этот «Человек», рассматривавшийся как движущая сила истории². Таким образом весь исторический процесс рассматривается как процесс самоотчуждения «Человека». Происходит это по существу от того, что на место человека прошлой эпохи подставляют всегда среднего индивида позднейшей эпохи, а прежним индивидам подсовывается позднейшее сознание. Благодаря этой иллюзии, абстрагирующей от реальных условий, и возможно было превратить всю историю в процесс развития сознания»³.

В первом из своих тезисов о Фейербахе Маркс замечает: «Главный недостаток всего предшествовавшего материализма — до феербаховского включительно — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность рассматриваются только в форме о б ' е к т а или в форме созерцания, а не как чувственно-человеческая деятельность, не в форме практики, не субъективно. Поэтому действенная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как последний естественно не знает действительной, чувственной деятельности как таковой. Фейербах выдвигает чувственные объекты, действительно отличные от объектов, существующих лишь в наших мыслях, но он не постигает самую человеческую деятельность как п р е д м е т —

¹ «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», кн. I, стр. 217—219.

² «Эти теоретики совершенно серьезно думают, будто разные фантазии вроде «богочеловек», «человек» управляли отдельными эпохами истории» (стр. 229).

³ Ibid., стр. 250—251.

ную деятельность. Поэтому в «Сущности христианства» он рассматривает, как истинно человеческую, только теоретическую деятельность... Он не понимает поэтому и значения «революционной», практически критической деятельности»¹.

Смысл этого тезиса, по замечанию Плеханова, заключается в следующем: Фейербах указывает на то, что наше я познает объект, лишь подвергаясь его воздействию; Маркс же возражает: наше я познает объект, воздействуя на него с своей стороны². Как современник и активный участник революционной эпохи, Маркс понимал материализм в действенном смысле. «Философы лишь различным образом об'ясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» (тезис 11). Вот почему его так интересует «практика», и этой практике он придает даже решающее значение в деле проверки заключений человеческого ума. «Вопрос о том, свойственна ли человеческому мышлению предметная истина, вовсе не есть вопрос теории, а практический вопрос. На практике должен человек доказать истинность, т. е. действительность и силу, посюсторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолированного от практики, есть чисто схоластический вопрос» (тезис 2).

Дальше Маркс указывает на неполноту старого материалистического учения о том, что люди являются продуктом внешних условий и воспитания, изменяясь с изменением этих условий; это учение, говорит он, забывает, что «обстоятельства изменяются людьми, что воспитатель сам должен быть воспитан» (тезис 3). Человеческая же сущность, о которой говорит Фейербах, не есть нечто абстрактное; «в своей действительности она есть совокупность общественных отношений» (тезис 6).

Таким образом материализм применялся и к об'яснению истории, к человеческой практике, причем эта практика понималась в действенном смысле, в смысле воздействия человека на внешние условия, влияющие на него, но вместе с тем изменяющиеся под его влиянием. Аналогичный процесс мысли происходил и в голове Чернышевского; основным положениям Фейербаха он пытался дать такое же толкование и применение, как Маркс. При этом выработка материалистической философии обоими мыслителями происходила почти в одно и то же время; но тогда как учение Маркса постепенно распространилось в массах и оказало

¹ См. приложение к брошюре Энгельса о Фейербахе («От классического идеализма»). Текст нами исправлен по «Архиву Маркса и Энгельса», стр. 200.

² «Основные вопросы марксизма», стр. 14.

сильнейшее влияние на развитие науки, мысли Чернышевского, не встречавшего вокруг себя сочувственного эхо и соответствующей исторической и социальной обстановки, не успевшего развить свою систему до конца и придать ей чеканную формулировку, которая поражает нас в авторе «Капитала», оставались погребенными в старых журнальных книжках и не оказали надлежащего влияния на его современников.

Тезисы Маркса о Фейербахе относятся к 1845 году; материалистическая философия истории выражена отчасти уже в «Немецкой идеологии» 1845 года и в «Ницете философии» 1847 года и вполне в «Коммунистическом Манифесте» 1848 г.; наконец она ясно и определенно сформулирована в предисловии к «Критике политической экономии» 1859 года. Чернышевский, который был моложе Маркса на 10 лет, выступил на литературное поприще только в 1853 г., т. е. тоже десятью годами позднее Маркса. Первая крупная его работа появилась только в 1855 г. («Эстетические отношения»). И вот в рецензии на свою книгу Чернышевский уже высказывает мысли, довольно близкие к тезисам Маркса о Фейербахе; а затем в ряде статей и заметок по всевозможным злободневным вопросам (1856, 1857 и сл.) он развивает взгляды, все более приближающие его к определенной формулировке материалистической философии истории.

2. ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕАЛИЗМА В ИСТОРИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Г. В. Плеханов потратил немало усилий на доказательство той мысли, что «вообще говоря, будучи последовательным материалистом в своем понимании природы, Чернышевский оставался идеалистом в своем взгляде на историю»¹. Доказательству этой мысли посвящены его большая работа о Чернышевском и несколько статей, перепечатанные в томах V и VI полного собрания его сочинений. И нужно признать, что он собрал немало цитат, свидетельствующих о наличии в историко-философских взглядах Чернышевского значительных элементов идеализма и рационализма².

Правда, иногда Плеханов готов признать, что Чернышевский умел с успехом применять материалистический метод к исследованию общественных явлений и исторических вопросов. Но такие удачные случаи материалистического истолкования истории Плеханов склонен считать

¹ Плеханов — «Соч.», т. VI, стр. 380.

² Этого я, впрочем, не отрицал и в первом издании настоящей работы (Спб. 1909, стр. 130 и сл.), против которой Плеханов написал специальную статью «Еще о Чернышевском», напечатанную в «Современном Мире» 1910, № 4, и перепечатанную в шестом томе его сочинений.

исключением из общего правила. Идеалистический элемент по его мнению решительно перевешивал в работах Чернышевского эти подчас пробивавшиеся у него материалистические взгляды. Вот что, напр., говорит по этому поводу Плеханов (т. V, стр. 261): «Чернышевский умел делать блестящее приложение материалистическим взглядам своего учителя¹. Но материалистические мысли его учителя страдали отвлеченностью там, где они касались общественных отношений людей. И эта слабая сторона мыслей Фейербаха привела к тому, что исторические взгляды его русского ученика оказались недостаточно стройными и последовательными. Главный недостаток этих исторических взглядов состоит в том, что материализм чуть не на каждом шагу уступает в них место идеализму и наоборот, при чем окончательная победа все-таки достается идеализму».

Впрочем, по временам Плеханов готов был в известной мере смягчать свой приговор, причем объяснял указанный недостаток историософских взглядов Чернышевского влиянием окружавших его обстоятельств.

«Рассуждая отвлеченно, — говорит он (стр. 38), — позволительно, пожалуй, думать, что он, как человек, одаренный замечательным, из ряда выходящим и очень деятельным умом, мог заметить пробелы и пополнить недостатки во взглядах своего учителя (Фейербаха. — Ю. С.), т. е., другими словами, сделать то, что сделали Маркс и Энгельс. Но, чтобы сделать эпоху в истории науки, недостаточно еще обладать гениальными способностями, нужны еще благоприятные внешние обстоятельства, которые дали бы надлежащее направление этим способностям». Но Чернышевскому пришлось заниматься распространением среди широкой русской публики идей, уже выработанных в более передовых странах, а избранный Чернышевским род деятельности имел свою внутреннюю логику. «Распространитель идей, выработанных другими людьми в других странах, может при больших способностях делать некоторые частные, второстепенные открытия, но переворота в науке он не совершит, потому что вовсе не тем и занят. В таком именно положении и был наш автор. В его сочинениях рассыпано немало верных замечаний, проливающих новый свет на различные вопросы науки. Подобные замечания часто вполне совпадают с важнейшими открытиями, делавшимися тогда в западной науке. Но эти проблески гениальной мысли не разработаны последовательно, не приведены в систе-

¹ Плеханов приписывает исторический материализм Чернышевского исключительно влиянию Фейербаха. Между тем мы знаем, что в этом отношении на него сильнейшее влияние оказал в свое время Гизо (отчасти другие историки времен Реставрации, напр., А. Тьерри, далее Луи Блан и пр.).

му; поэтому рядом с ними мы встречаем у него и такие взгляды, которые уже тогда могли считаться устарелыми, а теперь и совсем оставлены наукой. В конце концов оказывается, что недостатки и пробелы философии того мыслителя, который имел на него наибольшее влияние, не были пополнены и исправлены им. В материалистических взглядах Чернышевского осталась неразвитой та самая сторона, которая мало была развита и у его учителя. Говоря вообще, Николай Гаврилович был еще чужд современного материалистического понимания истории, а там, где он силою своего ума приближается к нему, он часто придает ему довольно наивную форму».

И действительно Плеханов тщательно собрал из сочинений Чернышевского — как его крупных статей, так и из рецензий и даже из сибирских писем — множество цитат, свидетельствующих о том, что временами Чернышевский смотрел на историю с идеалистической и рационалистической точки зрения, что он науку считал главным фактором исторического прогресса, что он приписывал распространению знаний решающее значение, что он готов был иногда объяснять исторические события расчетом пользы¹, что исторические взгляды его не сведены в систему и часто противоречат друг другу. И Плеханов решается даже утверждать, что «в истории всемирной литературы (!) немного было писателей, у которых исторический идеализм имел бы такую яркую окраску, какую он приобрел у Чернышевского» (т. V, стр. 301).

Особенно яркое доказательство исторического идеализма Чернышевского Плеханов усматривает в статье «О причинах падения Рима», автор которой сводит-де весь прогресс к умственному развитию и изображает социальные отношения как простое последствие распространения известных мнений. В этой статье «Чернышевский забыл даже знаменитое изречение: *latifundia perdidere Italiam* (латифундии погубили Италию)². Все дело сводится к количеству и распространению знаний, и ему даже в голову не приходит здесь спросить себя, не зависит ли история знаний от истории социальных отношений цивилизованных стран» (Плеханов, т. V, стр. 45). Однако страницей выше, по поводу

¹ Плеханов — «Соч.», т. V, стр. 41; ср. стр. 301: «Кто видит в исторической деятельности людей лишь влияние сознательного расчета, тот еще остается чистым идеалистом и тот еще очень далек от понимания всей силы и всего значения «экономики»... Главнейшие и наиболее влиятельные факторы экономического развития до сих пор стоят вне всякого контроля сознательного расчета».

² Вообще это выражение встречается у Чернышевского очень часто — правда, не в этой статье. И о роли концентрации земли в судьбах Италии он прекрасно знал (ниже читатель в этом убедится).

цитаты из отзыва Чернышевского о книге Рошера, тот же Плеханов говорил: «Здесь сознание того влияния, которое имеет борьба классов на развитие науки, высказывается с поразительной ясностью». И вот, указывая на то, что статья «О причинах падения Рима» появилась в пятой книжке, а та статья о книге Рошера, в которой высказываются чисто материалистические взгляды, в четвертой книжке «Современника» за 1861 год, Плеханов заключает, что Чернышевский в одно и то же время держался разных взглядов на исторический процесс (и материализма, и идеализма), так как не успел свести своих воззрений к одному принципу. Отчасти это верно, но не следует забывать, что статья «О причинах падения Рима» преследовала по преимуществу полемические цели, и потому Чернышевский естественно перегнул в ней палку в одну сторону. Она была направлена против славянофильских устремлений Герцена, что признает и Плеханов (стр. 269) ¹.

Указание Плеханова на то, что Чернышевский не сумел полностью освободиться от исторического идеализма, верно. Многие приводимые им цитаты из сочинений Чернышевского об этом ясно свидетельствуют. И тем не менее, не преследуя ни апологетических, ни полемических целей, а исключительно в интересах исторической истины, мы считаем себя вправе заявить, что весь подход Плеханова к анализу исторических взглядов Чернышевского мы считаем методологически неправильным. Констатируя в сочинениях Чернышевского смешение идеалистических и материалистических элементов, из которых первые были завещаны ему традицией, а вторые представляли продукт его самостоятельной мысли, Плеханов, если хотел выяснить место Чернышевского в истории социалистической мысли, должен был прежде всего поставить вопрос о том, что нового привнес рассматриваемый им писатель в науку. При таком, необходимом для историка, подходе к делу Плеханова легко убедился бы, что Чернышевский проявил в исследовании и объяснении общественных явлений огромную оригинальность и самобытность, что он упорной работой ума преодолевал сохранившиеся в его голове остатки идеализма, и что в его произведениях материалистические взгляды на историю брали решительный верх над идеалистическими (а не наоборот, как уверяет Плеханов). Наблюдая в мировоззрении Чернышевского смешение взглядов того и другого рода, Плеханов, подошедший к Чернышевскому полемически ², делал ударение на остатках идеализма в его воззрениях, тогда как с точки зрения истори-

¹ В полемическом увлечении Плеханов находит даже, что со стороны метода Герцен был в этом споре ближе к материалистической философии истории, чем Чернышевский. Это весьма спорно.

² Об этом см. предисловие Д. Рязанова к т. V «Сочинений» Плеханова.

ческого исследования правильнее, как это и сделал я в первом же издании настоящей работы, делать ударение на новых, привнесенных им в науку попытках материалистического объяснения истории.

Этот предвзятый подход к Чернышевскому привел Плеханова и к ряду фактических промахов. Нередко он усматривает идеализм в таких заявлениях Чернышевского, в каких его вовсе не имеется. Чтобы не быть голословным, я приведу пару примеров такого, можно было бы сказать, тенденциозного подхода, если бы мы не имели здесь дело с простой ошибкой зрения, обусловленной своего рода предубеждением.

Плеханов берет рецензию Чернышевского на книгу Ор. Новицкого «Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований»¹. В этой рецензии Чернышевский сравнивает историю человечества с военными походами, при которых сначала часть армии уходит вперед, а другая остается, но к концу войны отсталые постепенно нагоняют передних, и вся армия снова собирается под одними знаменами. Это правило Чернышевский пытается применить к умственной жизни человечества. Первоначально различие между отдельными людьми в этом отношении невелико, но с разделением общества на классы, находящиеся в неодинаковом положении, дело меняется. «Через несколько времени различие сословий по материальному положению производит разницу и в их умственной жизни». В пример Чернышевский приводит церковные богатства, давшие возможность образоваться теологам, и богатства горожан, приведшие к развитию литературы.

«Эти успехи основаны на материальных средствах, которыми располагают духовенство и среднее сословие; горожане участвуют и в произведении новой поэзии, уже недоступной всему народу, остающемуся при прежних сказках и песнях: в городских цехах составляются компании мастеров поэзии, мейстерзингеров; но еще больше содействуют этой перемене богатства феодальных баронов, у которых являются придворные поэты — трубадуры... Светская наука также развивается между специалистами с замечательною быстротою, а громадное большинство населения остается до сих пор повсюду в невежестве, очень близком к тому, что было в каком-нибудь IX или X веке. Поэзия образованных сословий развивается столь же быстро, а масса повсюду остается при искаженных клочках прежней общенародной поэзии средних веков».

¹ Чернышевский — «Соч.», т. VI, стр. 265 и сл.

Но подобно тому, как отсталые солдаты подтягиваются к своему авангарду, «тем же должно кончиться и умственное движение: завоеванная истина оказывается так проста, понятна каждому, так сообразна с потребностями массы (курсив мой), что принять ее гораздо легче, чем хлопотать над ее открытием. Переходные ступени очень тяжелы, односторонние проявления истины очень мудрены, но полная истина вовсе не такова: самые слабые имеют довольно сил, чтобы обнять ее, когда она наконец открыта». И Чернышевский заключает: «По достижении очень высоких степеней развития умственная жизнь передовых людей получает характер все более и более доступный простым людям, все больше и больше соответствующий простым потребностям массы, и вторая высшая половина исторической умственной жизни состоит по своему отношению к умственной жизни простолюдинов в постепенном возвращении того единства народной жизни, которое было при самом начале и которое разрушалось в первой половине движения».

В этой рецензии Плеханов усматривает явное доказательство идеализма Чернышевского. Правда, он готов признать, что когда Чернышевский рассматривает отдельные исторические явления, например, развитие наук и литературы в зависимости от материального положения церкви, горожан и баронов, он «рассуждает как материалист». Но в общем вся рецензия свидетельствует об его историческом идеализме. Помилуйте, кто-то делает открытия, затем эти открытия усваиваются отсталой массой, потому что отвечают ее интересам, и т. д. «Так представляется Чернышевскому дальнейший ход общественного развития. Сознание определит собою бытие, и потому нет надобности исследовать, в какой мере и какое именно общественное бытие может содействовать усвоению массой социальной истины» (Плеханов, т. V, стр. 284).

«Нет надобности исследовать!» Во-первых, ничего подобного Чернышевский не говорит: это — вывод Плеханова. А затем мы позволим себе спросить его: где исследовать? В этой рецензии? Но такие требования предъявлять к короткому журнальному отзыву, ставившему себе совершенно другие цели, не имеет смысла. В других же местах, как мы ниже увидим, Чернышевский этого вопроса касался и разрешал его не в таком наивном духе, как это можно было бы думать по словам его критика.

Дальше Плеханов, все по поводу той же рецензии, приписывает Чернышевскому преувеличенную оценку роли интеллигенции. Для эпохи, в которую действовал Чернышевский, это было бы неудивительно, хотя и здесь, как мы ниже узнаем, Плеханов сильно перегибает палку. Но

если бы это и было так, то упрек, который он делает Чернышевскому в приводимых дальше строках, не основан на фактическом положении вещей. «Исторический идеализм Чернышевского, — говорит Плеханов (стр. 287), — заставлял его отводить в своих соображениях в будущем первое место «передовым людям, — интеллигентам, как выражаются у нас теперь, — которые должны распространить в массе открытую, наконец, социальную истину». Конечно, «простолюдин», т. е. человек массы, знает меньше интеллигента. «Но ведь речь идет не о знаниях «простолюдина», а о его поступках. Поступки же людей не всегда определяются их знаниями и всегда определяются не только их знаниями, а также — и самым главным образом — их положением, которое только освещается и осмысливается свойственными им знаниями». Будто Чернышевский этого не знал! Достаточно взглянуть хотя бы на то, что он говорит в своей статье о рассказах Н. Успенского, где он подчеркивает, что дело не в образовании, не в знаниях масс, а в их интересах и положении, и что революции происходят, когда задеты настоящие интересы этих масс¹. Здесь же, в этой рецензии, Чернышевский просто хотел осторожно указать на важное значение революционной пропаганды, но по тогдашним цензурным условиям (о которых Плеханов иногда забывает) принужден был употреблять для этого весьма туманные выражения. О том, кто будет распространять в массах учение, соответствующее их интересам (он имел в виду коммунизм), интеллигенты или передовые пролетарии, Чернышевский здесь не говорит ни слова. Неужели же кто-либо станет отрицать роль, сыгранную в истории рабочего движения социалистической пропагандой? И неужели всякого, кто на нее укажет, можно на этом основании объявить идеалистом? ².

¹ Подробно об этом мы говорим дальше.

² Вообще истолковывать все те места у Чернышевского, где последний намекает на важное значение революционной пропаганды, в смысле доказательства его исторического идеализма (как это обычно делает Плеханов), это — прием далеко не убедительный. По этому поводу мы хотим обратить внимание читателя на следующее. В предисловии к немецкому изданию «Коммунистического Манифеста» 1890 г. Энгельс говорит: «Для Маркса единственной (слышите: единственной!) гарантией окончательной победы выставленных в «Манифесте» положений являлось умственное развитие рабочего класса, как необходимый результат совместной деятельности и обсуждения. События и перипетии борьбы с капиталом, победы, а еще более поражения непременно должны были раскрыть перед борющимися полную недостаточность тех панацей, которых они придерживались, и сделать их головы более доступными для основательного понимания истинных условий освобождения рабочих.

А вот еще пример. В письме из Виллюйска от 15 июня 1877 года Чернышевский, благодаря А. Пыпина за присланную ему книгу Васильчикова «Землевладение и земледелие» (2 тома) и выражая предположение, что, присылая ее, Пыпин хотел выбрать книгу по его вкусу, прибавляет: «Прости за невежливую прибавку: это — очень давний мой вкус, и давно он прошел у меня. Эти предметы перестали занимать меня. Я увидел, что они мелочны. Важность не в этих специальностях, а в общем характере обычаев. У дикарей, как ни устраивай какую-нибудь сторону быта, быт будет все-таки плохой. У народов, желающих жить, как живут люди, а не дикие животные, всякий частный¹ недостаток бытового устройства исправляется без больших хлопот собственно о его исправлении. Итак: все сводится к вопросам не материального, а нравственного порядка»².

Казалось бы, дело ясно. Однако Плеханов, приведя эту цитату (т. VI, стр. 383), спешит прибавить: «Едва ли можно найти более яркое выражение для исторического идеализма, чем эти слова: «все сводится к вопросам не материального, а нравственного порядка». На самом деле нравственное развитие человечества находится в тесной причинной зависимости от его материального, т. е. экономического, развития». Но Плеханов здесь просто введен в заблуждение манерой выражения, избранной Чернышевским отчасти по полицейским, сиречь цензурным соображениям, отчасти по старой манере. Он просто хотел сказать, что частичные реформы его не удовлетворяют, что суть в изменении общего режима, в частности в ниспровержении самодержавия, задерживающего массу на дикарском уровне, что именно это есть задача дня. И только! При чем тут идеализм, неизвестно. Ведь ниже сам Плеханов признает, что мысль о зависимости нравственности людей от их материального положения не раз повторялась Чернышевским в его сочинениях. В этом же письме слова «нравственный порядок» и «общий характер обычаев» (заметьте: общий) употреблены совсем в другом смысле, в том самом, в каком его употреблял, например, Гельвеций (выше мы, приведя соответствующие слова Гельвеция, просили читателя обратить на них внимание именно во избежание такого недоразумения, в какое в данном случае впал Плеханов), и в каком его часто употреблял сам Чернышевский в своих литературных работах (до ареста).

И Маркс был прав» («Коммунистический Манифест», Гиз, 1923, стр. 63; курсив мой. — Ю. С.). При желании можно и это место объявить свидетельством исторического идеализма Энгельса. А ведь мысль Чернышевского по существу была именно такова, как и мысль Энгельса.

¹ В подлиннике напечатано «честный», но это — явная опечатка.

² «Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 181—182.

Мы могли бы привести еще много примеров такого одностороннего, почти придирчивого отношения Плеханова к Чернышевскому. Некоторые неверные на наш взгляд оценки Плеханова мы встретим еще в дальнейшем изложении. Но один пример укажем еще здесь.

Приведя из относящейся к 1857 году статьи Чернышевского, посвященной «Письмам об Испании» В. Боткина, цитату об отсутствии в этой стране деления на непримиримые классы и о невежестве, как «коренной язве Испании», Плеханов (т. V, стр. 261—262) заключает, что под этими словами охотно подписался бы каждый «просветитель» XVIII века и каждый социалист-утопист¹. И дальше он продолжает: «Социалисты-утописты, а отчасти также и просветители XVIII века не закрывали глаз на факт борьбы классов в цивилизованном обществе. Не закрывает глаз на него и Чернышевский. Но социалисты-утописты, констатируя факт борьбы классов, не считали возможным опираться на него для осуществления своей программы. Им казалось напротив, что борьба классов явится препятствием на пути к осуществлению их программы, и что эта последняя гораздо скорее и легче осуществится при дружном содействии всех общественных классов. Поэтому они призывали все классы к объединению под знаменем предстоящей социальной реформы². Мы видим, что в своем отзыве о взаимоотношении классов в Испании Чернышевский очень приближается к точке зрения социалистов-утопистов».

¹ Это, конечно, свидетельствует о том, что в 1857 году да и позже Чернышевский выказывал непоследовательность в своих материалистических взглядах. Но по общему контексту статьи можно заключить, что, говоря об отсутствии непримиримой вражды между классами, заставляющей общественные интересы отступать перед частными, Чернышевский имел в виду общую борьбу всех классов Испании против губившего страну абсолютизма. В той же статье он дальше говорит: «Испанцы уже чувствуют необходимость в железных дорогах, в развитии торговли, промышленности. Этого чувства уже довольно; оно приведет за собою все остальное; кто начал думать о благосостоянии, тот скоро поймет, что ни одно из условий благосостояния не может существовать без разумного порядка дел, которым бы обеспечивались приобретения каждого отдельного лица, скоро поймет, что возможность благосостояния для отдельного лица обуславливается общим хорошим порядком дел» («Соч.», т. III, стр. 46).

Здесь слогом Чернышевского, понятно непохожим на наш современный стиль, выражена по существу правильная мысль, что потребности промышленного развития приведут неизбежно и к политической реформе, и к идейному прогрессу.

² В примечании к этому месту Плеханов замечает: «Социалисты-утописты видели факт борьбы классов, но не видели того, что *der Widerspruch ist das Fortleitende*» (противоречие ведет вперед), как говорил Гегель. Они не понимали, что классовая борьба есть именно тот фактор, с помощью ко-

Видеть-то мы видим, но только не то, что вычитал у Чернышевского Плеханов. Начать с того, что в цитируемой выдержке из статьи о «Письмах» Боткина (признаемся, слабоватой и не характерной для нашего автора) Чернышевский говорит об отсутствии непримиримой вражды между разными классами Испании не в связи с осуществлением социалистической программы, о которой думали социалисты-утописты, а в связи с возможностью политического преобразования страны. Это — совершенно другое дело. Совместные действия между буржуазией и пролетариатом в борьбе против абсолютизма допускали при известных условиях и марксисты. В частности сам Плеханов до конца жизни оставался на этой позиции — даже тогда, когда она не отвечала конкретным условиям. Так что упрекать в этом Чернышевского он не вправе, тем более что, как мы увидим дальше, Чернышевский, правда, несколько позже, в большинстве случаев высказывался против совместных действий с либеральной буржуазией даже в деле борьбы с абсолютизмом, за что либералы — вплоть до Герцена — проклинали его на всех соборах. Поэтому ставить знак равенства между ним и утопистами или просветителями нельзя даже в этом пункте, т. е. в вопросе о завоевании политической свободы.

Тем менее это можно делать в вопросе о борьбе за социальный переворот. Все, что Плеханов говорит в этом отношении о социалистах-утопистах (тоже не обо всех, впрочем), можно признать правильным. Но Чернышевского это не касается. Никогда ему не казалось, что борьба классов явится препятствием на пути к осуществлению социализма; напротив, из этой борьбы он исходил и на нее возлагал главные надежды. Никогда он не призывал все классы объединиться для предстоявшего социального преобразования; наоборот, он рассчитывал в этом отношении исключительно на трудящиеся массы, пролетариат и крестьянство. Он прекрасно видел, что классовая борьба ведет вперед, и как раз стоял близко ко взглядам Бланки, для которого сам Плеханов делает исключение. И если дальше Плеханов отмечает, что «социалисты-утописты не видели в пролетариате никакой исторической самостоятельности» и «обращались безразлично ко всем классам современного общества», то уж к Чернышевскому это, как мы дальше покажем, во всяком случае не относится...

После этих предварительных замечаний мы переходим к изложению философии истории Чернышевского.

торого осуществляется весь прогресс во внутренних отношениях общества, разделенного на классы. Только Бланки понимал историческое значение борьбы классов; но социализм Бланки составляет в этом отношении переход к научному социализму».

3. Исторический детерминизм Чернышевского

В рецензии на «Эстетические отношения» Чернышевский спрашивает: где искать критерия для различения мнимых и ложных стремлений от действительных и законных? — и отвечает: «Приговор дает сам человек своею жизнью: практика, этот непреложный пробный камень всякой теории, должна быть руководительницею нашею и здесь»¹. Дело есть истина мысли. «Практика — великая разоблачительница обманов и самообольщений не только в практических делах, но также в делах чувства и мысли. Потому-то в науке ныне принята она существенным критериумом всех спорных пунктов. Что подлежит спору в теории, на чистоту решается практикою действительной жизни».

Итак, Чернышевский, как и Маркс в своем 2-м тезисе о Фейербахе, признает за практикой решающую роль в деле проверки «объективной истинности» нашего мышления². Но не понимает ли он эту практику и «действительность» в духе старого материализма, против которого ратует Маркс? Что Чернышевский обеими руками подписался бы под положением: «философы лишь различным образом об'ясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его», — это само собою разумеется. В иных выражениях он сам неоднократно высказывал эту мысль. Но и в другом отношении он смотрел на материализм как на систему действительную по существу и отнюдь не склонен был рассматривать действительность только в форме объекта или созерцания, прекрасно понимая значение практически-критической деятельности человека. «Действительность, — говорит он в той же рецензии, — обнимает собою не только мертвую при-

¹ «Сочинения», т. X, ч. II, стр. 173—174.

² По поводу этого моего указания Плеханов замечает: «Если мы сопоставим этот тезис (Маркса о Фейербахе. — Ю. С.) с той выпиской из Чернышевского, которую делает Ю. М. Стеклов, то мы и в самом деле поразимся сходством взгляда Маркса со взглядом нашего великого просветителя. Но это несомненное сходство не должно вводить нас в заблуждение. Оно об'ясняется не тем, что Чернышевский будто бы пошел дальше Фейербаха в том же самом направлении, по какому шли Маркс и Энгельс, а только тем, что он, подобно Марксу и Энгельсу, хорошо усвоил себе основные положения материалистической философии Фейербаха» (Плеханов — «Соч.», т. VI, стр. 349). Это напоминает известную украинскую поговорку: «не умер Данило, а болячка его задавила». Пусть это положение о «практике» представляет естественный вывод из положения Фейербаха о тождестве чувственности или действительности с истиной. Важно то, что и Маркс, и Чернышевский одинаково сделали этот вывод, что и следовало доказать.

роду, но и человеческую жизнь, не только настоящее, но и прошедшее, насколько оно выразилось делом, и будущее, насколько оно готовится настоящим... Практическая жизнь обнимает собою не одну материальную, но и умственную и нравственную деятельность человека».

Действительность противоречива, говорил Чернышевский, объясняя эволюцию Белинского (см. главу III), и потому человек может изменять действительность, опираясь на одни ее стороны для борьбы с другими. Действительность непостоянна, она изменяется, как и всё в природе и в истории, изменяется диалектически, путем развития присущих ей противоречий — и человек может оказать влияние на этот процесс изменения. Но для этого он не должен отрываться от действительной почвы, не должен увлекаться беспочвенными фантазиями; иначе он не поможет историческому прогрессу, а задержит его и во всяком случае бесплодно растратит свои силы. Эта мысль довольно точно соответствует словам Энгельса, что средства для устранения социальных неурядиц должны быть открыты в данных общественных отношениях, в существующих материальных условиях производства, а не придуманы тем или другим кабинетным мыслителем. То же положение материалистической философии истории выражено у Маркса в словах, что человечество ставит себе только разрешимые задачи.

Сообразно с этими философскими взглядами Чернышевский решает и вопрос о роли личности в истории. Как просветителя, Чернышевского естественно тянуло к возвеличению личности, к признанию определяющей роли исторических героев, и некоторая слабость в этом отношении иногда у него прорывается. Но присущий ему реализм, основанный на материалистическом понимании мира, удерживал его от естественных увлечений и заставлял решать вопрос о роли личности в истории в смысле очень близком к марксистскому пониманию этого вопроса. Личность есть продукт истории и общества ¹, говорит он и показывает это

¹ В этом смысле он говорил, что «вины почти никогда не бывает на свете, а бывает только беда» («Русский человек на rendez-vous». «Соч.», т. I, стр. 95). — Возражая мне, Плеханов (т. VI, стр. 350—351) указывает, что эта же мысль высказывалась Р. Оуэном и другими утопистами, и что последние, усваивая эту мысль от материалистов, не переставали быть утопистами. Верно; но ведь одною этою мыслью не исчерпывается материализм Чернышевского. Плеханов напоминает третий тезис Маркса о Фейербахе, где сказано, что материалистическое учение о людях как продукте обстоятельств и воспитания забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми, и что воспитатель сам должен быть воспитан, а потому необходимо приводит к разделению общества на две части, из ко-

на примере Белинского. Кто вникнет в обстоятельства, среди которых должна была действовать критика гоголевского периода, тот, замечает Чернышевский, ясно поймет, что характер ее совершенно зависел от нашего исторического положения.

«И если представителем критики в это время был Белинский, то потому, что его личность была именно такова, какой требовала историческая необходимость. Будь он не таков, эта непреклонная историческая необходимость нашла бы себе другого служителя, с другой фамилией, с другими чертами лица, но не с другим характером; историческая потребность вызывает к деятельности людей и дает силу их деятельности, а сама не подчиняется никому, не изменяется никому в угоду. «Время требует слуги своего», по глубокому изречению одного из таких слуг»¹.

В таком же материалистическом смысле Чернышевский решает вопрос об отношении между идеалами и действительностью. Он понимал, что необходимость есть залог свободы. Сам по себе, говорит Чернышевский, человек очень слаб; всю свою силу заимствует он только от знания действительной жизни и умения пользоваться силами неразумной природы и врожденными, независимыми от человека качествами человеческой натуры. «Действуя сообразно с законами природы и души и при помощи их, человек может постепенно видоизменять те явления действительности, которые не сообразны с его стремлениями, и таким образом постепенно достигать очень значительных успехов в деле улучшения своей жизни и исполнения своих желаний»².

Нас не должны смущать слова о врожденных качествах человеческой натуры и непреодолимых законах природы³. Чернышевский имеет здесь в виду такие явления, как постоянство химических элементов, делающее невозможным открытие философского камня, который бы обращал все металлы в золото, или смертность человека, которого никакой жизненный эликсир не спасет от старости, равно как основные человеческие страсти, свойственные ему, как биологическому существу. Употребляя эту несколько гиперболическую форму, Черны-

торых одна стоит над обществом (напр., у Роберта Оуэна). Но, напр., у Бланки и Маркса тут не упоминает. Точно так же нельзя применять этого тезиса к Чернышевскому, который этого не только не забывал, но прямо об этом говорил.

¹ «Очерки гоголевского периода». «Соч.», т. II, стр. 165.

² Ibid., стр. 206.

³ Правда, иногда Чернышевский сбивался на точку зрения просветителей XVIII века и заговаривал о «природе человека», как о чем-то постоянном; но он же в других местах блестяще показывал, что эта «натура» обуславливается историческими условиями и вместе с ними изменяется.

шевский осуждает такие фантастические идеалы, которые не имеют под собою никакой почвы в действительности. Он высказывается против беспочвенных мечтаний праздной фантазии и неосуществимых надежд, но тем сильнее подчеркивает значение тех идеалов, которые коренятся в действительности и имеют за себя об'ективный ход вещей. «Серьезное значение, — говорит он, — имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в тех делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею. Достичь до такого убеждения и действовать сообразно с ним значит сделаться человеком положительным». И дальше Чернышевский ядовито издевается над людьми «положительными», которые впадают в особого рода реакционное фантазерство именно по узости своих понятий о действительности (*ibid.*, стр. 207).

Итак, мы видим, что Чернышевский применял материалистический метод и к истолкованию истории. Правда, в этой области, как и в других, Чернышевскому не всегда удавалось связать концы с концами; он не успел создать насквозь продуманную систему, но основные элементы для таковой у него несомненно были. Критики Чернышевского, например, справедливо указывали, что у него иногда встречаются наивные положения вроде того, что все поступки отдельных лиц и групп об'ясняются сознательным расчетом, отмечали его рационализм, который иногда заставлял Чернышевского смотреть на историю как на сплошной ряд ошибок. Такой рационализм свойственен всем деятелям просветительных эпох, верящим в силу разума и в способность его пересоздать историю и дать ей новое направление¹. Так, например, характеризуя эпоху Реставрации со всеми ее политическими перипетиями и передрыгами, Чернышевский приходит к следующему выводу: «здорового смысла тут, как видим, очень мало; сущность всей этой путаницы, если разобрать дело хладнокровно, чуть ли не выражена заглавием одной из пьес Шекспира: «Комедия ошибок».

Таких отдельных неудачных замечаний можно найти у Чернышевского немало, и вообще при желании нетрудно отыскать у него сколько угодно частичных противоречий. Этот недостаток в значительной мере об'ясняется самым характером его работы: принужденный разбрасы-

¹ «Сколько бедствий избежали бы народы, если бы поняли, что нет свободы там, где слабый остается беспомощным», — замечает, он в статье о Тюрго («Соч.», т. IV, стр. 226). Люди несчастны, потому что глупы. «Чепуха в голове у людей, — потому они и бедны и жалки, злы и несчастны», — пишет он жене из крепости.

ваться и писать обо всех предметах, интересовавших тогда русское общество, он должен был выражать свои мысли в отдельных разрозненных статьях; написать крупное большое сочинение ему так и не удалось. Но про многие ошибки Чернышевского можно сказать то же, что он говорит об ошибках физиократов: «эта ошибка состоит скорее в неудачном выборе терминов, еще не достигших нынешней определенности, нежели в существенном смысле понятий, которые они не умели только выразить с достаточной верностью». И Чернышевский рекомендует не придирается к словам, в неудовлетворительности которых каждое предыдущее поколение легко может быть уличаемо последующим, а вникнуть в основную мысль критикуемых ученых и выразить ее тою терминологией, какую приняли бы они сами, если бы располагали научными пособиями, находящимися в руках нынешних исследователей¹.

Применяя этот метод критики к Чернышевскому, мы убеждаемся, что он во многих отношениях близко подошел к современному, материалистическому пониманию истории.

Чернышевский, конечно, был рационалистом, но этот рационализм не мешал его историзму. Он прекрасно понимал и неоднократно подчеркивал, что институты, противоречащие нашему моральному сознанию и «здравому смыслу», возникли и сложились совершенно естественно в силу определенных исторических причин. В статье «Капитал и труд», возражая Горлову, Чернышевский решительно оспаривает мысль, будто бы крепостное право было искусственной организацией. «Оно возникает так же естественно, как впоследствии возникает отношение наемного работника к капиталисту... Искусственным образом не происходит в общественной жизни ровно ничего, а все создается естественным образом»². Правда, Чернышевский тут же прибавляет, что естественность известного явления вовсе не ручается за его сообразность с здравыми экономическими понятиями; но в данном случае он протестует против апологетов всего существующего, против людей, не желающих критически отнестись к учреждениям вредным для народа и общества, одним словом, против людей, которые, по выражению Маркса, готовы восхвалять кнут только потому, что это — кнут исторический³.

¹ «Соч.», т. IV, стр. 233.

² «Соч.», т. VI, стр. 4.

³ «Г. Чичерин сам по себе может видеть, что такое скрывается под фразой об историческом беспристрастии, которою он обольстился под нею просто скрывается требование, чтобы историк старался оправдывать беззаконие и выставлять хорошие качества феодальных и тому подобных учреждений». Там же Чернышевский предсказывает Чичерину, — что если он

Чернышевский безусловно был об'ективистом. «Наука, — говорит он в полемике с Чичериным, — должна стремиться не к тому, чтобы доказать ту или другую приятную или неприятную для нас мысль, вносимую в науку извне, а просто к открытию истины, какова бы она ни была». Наука не может быть подчиняема внешним требованиям, ее истины не должны быть искажаемы в угоду частным и временным интересам. Но он протестует против того мнимого об'ективизма, который утверждает, что все существующее — разумно, что побежденный всегда виноват, а победитель всегда прав, и который доказывает разумность и благотворность всех исторических несправедливостей и катастроф. Это — пошлость, говорит Чернышевский и прибавляет: побеждают правые, побеждают и виновные; умирают больные, умирают и здоровые, — всячески бывает:

Сколько добрых жизнь поблекла,
Сколько низких рок щадит!
Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит¹.

Известный суб'ективизм в литературных произведениях неизбежен, говорит наш автор. «Живой человек не может не иметь сильных убеждений. От этих убеждений не отделается он, что бы ни стал делать: писать историю или статистику, фельетон или повесть; все написанное им будет написано для оправдания и развития какой-нибудь мысли, кажущейся ему справедливою. Если вы разделяете эту мысль, вам будет казаться, что писатель изображает жизнь беспристрастно; если вы враждуете против его образа мнений, вам будет казаться, что он изображает жизнь пристрастно и несправедливо»². Значит ли это, что Чернышевский узаконяет суб'ективизм в том смысле, какой это слово впоследствии получило в устах сторонников «суб'ективного метода в социологии»? Ничуть не бывало. В вышеприведенных строках он лишь констатирует наличие элемента оценки в литературных произведениях, лишь высказывает иными словами ту мысль, которая заключается в известной шутке, гласящей: если бы теоремы Эвклида задевали чьи-либо интересы, то многие до сих пор оспаривали бы, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов обоих катетов. Он мог находить, что

пойдет дальше по пути, на который вступил, то он «будет философскими построениями доказывать историческую необходимость каждого предписания земской полиции, согласно теории беспристрастия. Потом историческая необходимость может обратиться у него в разумность» («Г. Чичерин как публицист». «Соч.», т. IV, стр. 483, 486).

¹ «О причинах падения Рима». «Соч.», т. VIII, стр. 168.

² «Г. Чичерин как публицист», loc. cit., стр. 478

«ветхостью пахнет мысль, что наука только описывает факты, а не предлагает правил»¹; но он же зло издевался над беспочвенными фантазиями и писал: «мало того, что желаешь добра, нужно также хоть несколько знать сущность того дела, о котором принимаешься судить»². Устанавливая «важнейшие» условия научности, он признает необходимым: «1) основывать свои суждения о том, что справедливо и что несправедливо, на идеях, выработанных современной наукою, а не на каких-либо субъективных симпатиях, не на мертвой букве какой-либо книги и не на предрассудках, которые сами не выдерживают критики; 2) ни под каким видом, ни для каких целей не игнорировать и не искажать фактов»³. А в другом месте он прямо говорит, что «субъективная точка зрения, какова бы она ни была по своему нравственному характеру, вообще ведет к ошибкам»⁴.

Итак, зачислить Чернышевского в ряды «субъективистов» никак не удастся.

Несмотря на сильно развитый в нем элемент рационализма, Чернышевскому не чужды были и дух, и приемы исторического материализма. При всех своих горячих социалистических симпатиях он прекрасно понимал и выяснял своему противнику, буржуазному экономисту Вернадскому, историческую необходимость института частной земельной собственности. «За периодом пастушества, — писал он, — когда частная поземельная собственность была ненужна и невозможна, настал период земледельческого быта и, когда с истощением почвы понадобилось удобрять ниву, частная поземельная собственность явилась учреждением, выгодным для успехов земледелия»⁵. Итак, частная собственность на землю явилась результатом естественной эволюции и исторической необходимости. Но, в отличие от апологетов буржуазного строя, объективизм Чернышевского на этом не останавливается. Он идет дальше и доказывает русским вульгарным экономистам, что та историческая необходимость, которая в свое время вызвала появление частной собственности на землю, ведет к ее уничтожению и к замене ее третьим фазисом земледелия, основанным на принципе ассоциации.

Хотя и будучи весьма склонным к рационализму, Чернышевский, — подобно просветителям XVIII века, готовым то возвеличивать разум, то констатировать его полное бессилие перед лицом предрассудков и продуктов фантазии, — определенно высказывал, что «рассудок чуть ли

¹ «Капитал и труд». «Соч.», т. VI, стр. 3.

² «Заметки о журналах». «Соч.», т. III, стр. 263.

³ «Заметки о журналах». «Соч.», т. II, стр. 430.

⁴ «Соч.», т. V, стр. 97.

⁵ «О поземельной собственности». «Соч.», т. III, стр. 442.

не совершенно бессилен в истории». Он соглашался с тем, что требовать от исторических деятелей и групп, чтобы они руководились разумными соображениями о собственных интересах, это все равно, что «доказывать выподность течения Волги с юго-востока на северо-запад, от Камышина к городу Либаве: вещь оно было бы прекрасная, слов нет, но совершенно несообразная с законами природы. Бурбоны (именно о них идет речь) по своей натуре, по всей своей обстановке не могли действовать иначе, нежели как действовали»¹.

Если вспомнить, что Чернышевский жил в эпоху глухой европейской реакции, наступившей вслед за подавлением революционного движения 1848—1849 гг., что во Франции торжествовал Наполеон III, в Австрии был восстановлен абсолютизм, Пруссия изнывала в тисках феодальной реакции, Италия тщетно стремилась к своему освобождению, Россия собиралась только разделаться с крепостным правом, если вспомнить, что в Европе политическое оживление начало наступать только после австро-итальянской войны 1859 года, а наличность серьезных революционных сил в России Чернышевскому представлялась сомнительной, то мы поймем, что его об'ективизм должен был сплошь и рядом приводить его к безотрадному пессимизму. И тем не менее Чернышевский считал долгом чести не скрывать от себя и своих читателей всей правды, как бы горька она ни была, и никогда не признавал положения: «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

¹ «Борьба партий во Франции». «Соч.», т. IV, стр. 207. — «Философы XVIII столетия, — говорит Плеханов в «Очерках по истории материализма» (стр. 143), — до тошноты повторяли, что общественное мнение управляет миром, и что поэтому ничто не может противостоять разуму, который «в конечном счете всегда прав». И тем не менее те же самые философы часто обнаруживали большие сомнения в силе разума, и их сомнения логически вытекали из другой стороны характерной для «философов» теории. Так как все зависит от «законодателя», то он или дает торжествовать разуму, или гасит его факел. Поэтому следует возложить все надежды на «законодателя»... Итак, виды разума становятся чрезвычайно жалкими. Философу остается только рассчитывать на случай, который рано или поздно передаст власть дружественному разуму государю». В статье «Еще о Чернышевском» (т. VI, стр. 357 сл.) Плеханов пытается поставить знак равенства между этими взглядами просветителей и приведенным нами в тексте мнением Чернышевского. Но сходство здесь формальное и слишком отдаленное. Никаких надежд на «законодателя» (просвещенного принца тож) или на «случай» Чернышевский не возлагал. Напротив, как видно из приведенной нами цитаты (и многих других), он доказывал — особенно в своих политических обзорах, напечатанных в тт. IV, V и VI полного собрания его сочинений, — что даже бессмысленные поступки отдельных лиц и социальных групп вытекали из их положения и имели характер неизбежности. Кстати, здесь ни о каком «расчете выгоды» у Чернышевского нет и речи.

«Есть в истории такие положения, — писал он, — из которых нет хорошего выхода, — не оттого, чтобы нельзя было представить его себе, а оттого, что воля, от которой зависит этот выход, никак не может принять его. Правда, но что же в таких случаях остается делать честному зрителю? ужель обманывать себя обольщениями о возможности, даже о правдоподобности такого принятия? Мы не знаем, что ему делать, но знаем, чего он, по крайней мере, не должен делать: не стараться ослеплять других, остерегаться заражать других идеологической язвой, если сам по несчастью подвергся ей, — оставим надежды ребятам, взрослому человеку неприлично ожидать виноградных гроздов на терновнике»¹.

Но этот пессимизм Чернышевского был не абсолютным. Абсолютный пессимизм, усматривающий в истории только сплошную цепь ошибок и бессмысленный круговорот событий, в сущности является одной из разновидностей суб'ективизма, а от такого суб'ективизма Чернышевский стоял очень далеко. Чернышевский мог в душе возмущаться тем, что историческое развитие почти всегда шло по каким-то узким и извилистым путям, где прямая и естественная дорога была загромождена непреодолимыми препятствиями². Он мог огорчаться тем, что «не всегда в истории прогресс совершался, если можно так выразиться, путем стропой экономии, путем торжества именно наилучших элементов», что часто напротив торжествовал узкий эгоизм эксплуататоров, опирающийся на невежество масс, что, например, в Западной Европе абсолютизм одержал верх над свободными муниципальными учреждениями средневековья³. Но наличности прогресса в истории человечества Чернышевский не отвергал. «Наш вообще печальный взгляд на историю происходит вовсе не от того, чтобы мы отрицали прогресс, напротив, много раз мы доказывали, что прогресс есть следствие причинной связи, неизменно действующей повсюду и всегда, что он имеет за собою такую же необходимость и неизбежность, как те законы, о которых поворот естественные науки, как закон тяготения или химического сродства... история грустна только потому, что прогресс идет очень медленным шагом, подобно геологическому и зоологическому развитию... Впрочем, так было всегда, и наше поколение не имеет основания жаловаться на свою судьбу: более счастливых поколений не бывало»⁴.

¹ Ibid.

² «Лессинг», «Соч.», т. III, стр. 729.

³ «Современное обозрение» (1857). «Соч.», т. III, стр. 402.

⁴ «Июльская монархия». «Соч.», т. VI, стр. 87.

Он не только не отрицает прогресса, но даже не понимает, как можно сомневаться в его неизбежности при каких бы то ни было задержках и неудачах. По мнению Чернышевского, закон прогресса — не больше, не меньше как чисто физическая необходимость, вроде необходимости скалам понемногу выветриваться, рекам стекать с горных возвышенностей в низменности, водным парам подыматься вверх, дождю падать вниз. «Прогресс — просто закон нарастания». Ничто не проходит без следа; после каждого процесса образуются какие-нибудь остатки, при помощи которых или бывает легче повторяться тому же процессу, или открывается возможность для другого процесса, которому нельзя было бы произойти без помощи этого удобрения и который, следовательно, принадлежит уже к высшему порядку, нежели прежний. Элементы и процессы в истории общества гораздо сложнее, чем в истории природы, и потому следить за их законами гораздо труднее; но во всех сферах жизни законы одинаковы¹.

Прогресс совершается медленно и тяжело, говорит Чернышевский, но все-таки девять десятых частей того, в чем состоит прогресс, совершается во время кратких периодов усиленной работы, т. е. — хочет сказать Чернышевский — революционных переворотов. «История движется медленно, но все-таки почти все свое движение производит скачок за скачком, будто молоденький воробушек, еще не оперившийся для полета, еще не получивший крепости в ногах, так что после каждого скачка падает бедняжка и долго колошится, чтобы снова стать на ноги и снова прыгнуть, — чтобы опять-таки упасть. Смешно, если хотите, и жалко, если хотите, смотреть на слабую птичку. Но не забудьте, что все-таки с каждым прыжком она учится прыгать лучше, и не забудьте, что все-таки она растет и крепнет и со временем будет прыгать прекрасно, скачок быстро за скачком, без всякой заметной остановки между ними. А еще со временем птичка и вовсе оперится и будет легко и плавно летать с веселою песнею. Правда и то, что, судя по-нынешнему, не слишком еще скоро придет ей время летать; а все-таки придет, сомневаться тут нечего»².

¹ «Политическое обозрение» (январь 1859). «Соч.», т. V, стр. 490.

² Ibid., стр. 491. — Ср. указание Энгельса о том, как он и Маркс начали смотреть на историю, когда они стали на точку зрения материализма. «Великая основная мысль (заимствованная из философии Гегеля) состояла в следующем: мир надо понимать не как комплекс готовых вещей, но как комплекс процессов, в которых вещи, кажущиеся нам неизменными, равно как и их мысленные отражения в нашей голове, т. е. понятия, проходят непрерывную смену возникновения и уничтожения; эта смена является прогрессивным развитием, несмотря на кажущиеся случайности и периоды регресса» (loc. cit., стр. 45—46).

✓ Чернышевский видит в истории диалектический процесс, путем разрушения строго, ведущий к более высоким формам жизни, — как бы восхождение по спирали.

Эпохи революции сменяются эпохами реакции. За напряжением сил следует усталость, принуждающая к бездействию и отдыху; во время отдыха восстанавливаются силы; бездействие, сначала столь отрадное, мало-по-малу становится скучным и возвращается жажда деятельности, покинутой на время от изнеможения; воскресают прежние стремления, и со свежими силами, умудренное прежним опытом, человечество горячо берется за продолжение дела, к которому на время охладевало. Таков, по словам Чернышевского, общий вид истории: ускоренное движение и вследствие его застои, а во время застоя возрождение неудобств, к устранению которых и стремилась прежняя революция, но с тем вместе и укрепление сил для нового революционного движения; за новым движением новый застой и потом опять движение, и так до бесконечности. «Кто в состоянии держаться на этой точке зрения, тот не обольщается излишними надеждами в светлые эпохи одушевленной исторической работы: он знает, что минуты творчества непродолжительны и влекут за собою временный упадок сил. Но зато не унывает он и в тяжелые периоды реакции, он знает, что из реакции по необходимости возникает движение вперед, что самая реакция приготавливает и потребность, и средства для движения. Он не мечтает о вечном продолжении дня, когда поля облиты радостным теплым светом солнца. Но когда охватит их мрачная, сырая и холодная ночь, он с твердой уверенностью ждет нового рассвета и спокойно всматривается в положение созвездий, считая, сколько именно часов осталось до появления зари». И Чернышевский, анализируя положение дел в тогдашней Западной Европе, предсказывает близкое наступление нового революционного оживления.

Эти строки были написаны в начале 1859 года, который действительно явился годом перелома в истории Западной Европы.

Историческое развитие происходит независимо от воли отдельных лиц, прогресс совершается даже теми людьми, которые вовсе не думают о нем или, если думают, то разве затем, чтобы приискывать средства к его замедлению. Один, говорит Чернышевский, хлопочет об удовлетворении своего корыстолюбия, другой об удовлетворении своего тщеславия, — и всеми их хлопотами пользуется история, чтобы извлечь какую-нибудь пользу даже из тех действий, которые имели целью вред. Чернышевский приводит в пример Крымскую войну, которая нанесла сильнейший удар старому режиму в России. «Правда, — говорит он, — такой путь прогресса и тяжел, и медлителен, но что же делать, когда

он все-таки самый надежный путь! Благородный мечтатель может жалеть о том, что почти все добро, делающееся на земле, делается не преднамеренно, не по доброй воле людей, а силою обстоятельств; он может мечтать о том, как несравненно больше добра произвели бы человеческие усилия, если бы направлены были прямо к добру, а не к целям пустым или эгоистичным. Но когда находишь в себе спокойствие посмотреть на настоящее как на историческую эпоху, а не как на источник собственных надежд и разочарований, тогда видишь, что и в настоящем действуют те же законы, по которым вечно совершалось движение вперед; и переставая надеяться при своей жизни дождаться исполнения хотя сотой части того, что желал бы видеть исполнившимся, тем крепче уверяешься, что все-таки кое-как и кое-что улучшается, развивается. История, если хотите, разочаровывает человека, но с тем вместе делает его в известном смысле оптимистом. Многого не ждешь ни от чего, зато от всего ждешь хоть немного. Да, будем оптимистами!»¹.

Итак, прогресс является об'ективной исторической необходимостью, не зависящей от доброй или злой воли людей. Такой же об'ективной необходимостью является и исторический процесс вообще. «Ход великих мировых событий, — говорит Чернышевский, — неизбежен и неотвратим как течение великой реки: никакая скала, никакая пропасть не удержит ее, не говоря уже о плотинах, произвольно устраиваемых: плотиною ничья сила не пересыплет Рейна или Волги, и всесильная река одним напором выбросит на берег все свай и весь мусор, которым дерзкая рука безумца хотела преградить ее течение; единственным результатом безрассудной попытки будет только то, что берег, который спокойно напоялся бы рекою и зеленел роскошным лугом, будет на время истерзан и обезображен гневом оскорбленной волны, — а река пойдет-таки своим путем, зальет все пропасти, прорвет хребты гор и достигнет океана, к которому стремится. Совершение великих мировых событий не зависит ни от чьей воли, ни от какой личности. Они совершаются по закону столь же непреложному, как закон тяготения или органического возрастания. Но скорее или медленнее совершается мировое событие, тем или другим способом совершится оно, — это зависит от обстоятельств, которых нельзя пред-

¹ «Современное обозрение» (1857 г.). «Соч.», т. III, стр. 561. — Та же основная мысль исторического детерминизма у Энгельса выражена так: «Действующие в истории индивидуальные желания и стремления приводят к результатам, далеко не всегда желательным, часто даже к совершенно противоположным, а следовательно, значение индивидуальных мотивов для общего результата становится подчиненным, второстепенным» (loc. cit., стр. 52).

видеть и определить наперед. Важнейшее из этих обстоятельств — появление сильных личностей, которые характером своей деятельности дают тот или иной характер неизменному направлению событий, ускоряют или замедляют его ход и сообщают своею преобладающею силою правильность хаотическому волнению сил, приводящих в движение массы»¹.

Плеханов на протяжении всех своих работ о Чернышевском не перестает доказывать, что понятие прогресса носило у нашего автора до-нельзя абстрактный характер, и что у него прогресс этот совершается как-то автоматически, неизвестно под влиянием каких факторов, но главным образом вследствие распространения знаний. Действительно, рассуждения Чернышевского иногда производят такое впечатление. Но не следует забывать, что Чернышевскому по роду его деятельности ни разу не пришлось написать более или менее цельного или связного трактата. Он все время принужден был писать отдельные статьи и разбрасываться при этом во все стороны, ибо у него не было хора (за исключением одного Добролюбова, занятого исключительно литературными вопросами). Даже примечания к Миллю писались как отдельные статьи, причем Чернышевский в то же время принужден был писать по всевозможным другим вопросам. Неудивительно, что ему не удалось изложить свои историко-философские взгляды в более или менее систематической форме, в частности не удалось связно сформулировать свои взгляды на исторический процесс. О прогрессе он обыкновенно заговаривал не столько с научно-исследовательской целью, сколько с целью более или менее откровенно практической, напр., для поднятия духа своих сторонников, выяснения им бессилия реакции и основательности революционных надежд вопреки их кажущейся безнадежности. Вот почему он сплошь и рядом, говоря о прогрессе, ограничивался указанием на его железную необходимость и непреодолимость. Равным образом неудивительно, что по условиям

¹ «Лессинг» («Соч.», т. III, стр. 644—645). Чернышевский говорит все это к тому, чтобы ввести в рамки историческую роль Лессинга, перед которым он тем не менее преклонялся. Плеханов к этому прибавляет, что сильные личности появляются в истории как раз тогда, когда на них есть спрос, и что величина ускорения хода событий деятельностью сильных личностей зависит от свойств социальной среды, в которой им приходится действовать, и заключает: «С этими оговорками взгляд Чернышевского вполне приемлем для сторонников современного материалистического объяснения истории» (Плеханов, том V, стр. 290—291). Что Чернышевский обеими руками подписался бы под этими оговорками, не подлежит сомнению. Вспомним, что почти теми же словами он говорил это о личности Белинского в приведенной нами выше цитате из «Очерков гоголевского периода» («Соч.», т. II, стр. 165).

тогдашнего политического момента ему приходилось с особенным ударением подчеркивать значение революционной пропаганды («распространения знаний» или достигнутых философией «истин» среди массы). Отсюда и получается впечатление, что Чернышевский смотрел на исторический прогресс как на нечто совершающееся чуть ли не автоматически или объясняющееся исключительно распространением знаний. Но всякий раз, когда ему приходилось конкретизировать условия прогресса, он указывал, что в основе его лежит экономическое развитие, рост производительных сил и в частности развитие капиталистического способа производства и обмена¹. Вот почему, считаясь с обстановкой, в которой протекала литературная деятельность Чернышевского, мы не устанем повторять, что для составления себе правильного понятия о его взглядах, необходимо брать его сочинения как нечто целое, рассматривать их в совокупности, а не ограничиваться анализом отдельных его статей, в которых мысли его являлись обыкновенно разрозненными и некоординированными по самым условиям его журнальной работы.

При ином подходе к Чернышевскому, при попытке характеризовать его взгляды на основании отдельно выхваченных мест из его сочинений, легко впасть в ошибку. В частности это видно из следующего примера. Выше мы уже показали, что в общем и целом Чернышевский стоял на точке зрения исторического детерминизма, не отводящего случайности какого-либо места в ходе исторического прогресса. Между тем Плеханов (т. V, стр. 48—49) утверждает, что «в исторических взглядах нашего автора случайности отводится вообще очень широкое место». И в доказательство приводятся слова из рецензии на Рошера, что «в Западной Европе экономический быт основался на завоевании, на конфискации и монополии» (Чернышевский — «Соч.», т. VIII, стр. 140). Но при чем тут «случайность», неизвестно. Дальше Плеханов приводит известные слова Энгельса из «Развития научного социализма» насчет того, что если исключить даже всякую возможность грабежа, насилия и обмана, если допустить, что первоначально всякая собственность основывалась на личном труде ее обладателя и т. д., то тем не менее, с дальнейшим развитием производства и обмена, мы необходимо приходим к капиталистическому способу производства с концентрацией собственности, пролетаризацией большинства и т. д. И Плеханов прибавляет: «Так смотрят на это дело совре-

¹ Кстати, и приведенное выше рассуждение об историческом прогрессе и условиях, его задерживающих, основано на исследовании классовой и партийной борьбы в европейских странах за последние 100—150 лет (т. V, стр. 484—490).

менные материалисты-диалектики. Но Чернышевский смотрел еще совершенно иначе».

Уже будто иначе, да еще совершенно? А между тем в первой же крупной статье, посвященной экономическим вопросам, а именно в статье «О поземельной собственности» («Современник», 1857, №№ 9 и 11), Чернышевский подробно развивал и специальными цифровыми выкладками иллюстрировал ту мысль, что при частной собственности на землю один только принцип наследования без всяких грабежей, насилий и обманов неизбежно приводит к сосредоточению собственности в руках ничтожного меньшинства и к обезземелению большинства.

Это рассуждение Чернышевского настолько замечательно и так решительно опровергает утверждение Плеханова о том, будто Чернышевский, в отличие от Энгельса, якобы придавал случайности серьезное значение в историческом процессе и в частности в развитии экономического неравенства, что мы позволим себе привести из него обширные выдержки.

«Нам остается только показать, — говорит Чернышевский, — каково общее направление естественного движения частной поземельной собственности; стремится ли она, под влиянием принципов, ею движущих нормальным путем, принципов наследства, приданого, дарственных записей и духовных завещаний, к сосредоточению в большие массы, или может остаться распределенною на участки средней величины такие, обладание которыми дает безбедные средства для жизни человеку, их обрабатывающему, но не доставит ему ренты, достаточной для праздной жизни; или, наконец, она стремится к раздроблению по всему населению страны?

«Смотря на действие наследства, приданого и т. д., каждый замечает, что оба крайние стремления — сосредоточение и раздробление — беспрестанно обнаруживают свои действия на частной поземельной собственности, так что в два поколения ни один клочок земли по всей стране не избегнет этого действия, — он или соединится с другими, или раздробится¹. Какое из этих двух стремлений преобладает, или они уравниваются? Мы все знаем, что «имеющему прибавится, а у неимеющего отнимается и то, что он имеет», это постоянно мы видим и на опыте...

¹ «Мы, конечно, говорим о тех странах, в которых частная поземельная собственность управляется разумными обычаями и законами, а не о тех странах, где есть право первородства, субституции, и т. п. учреждения, очевидно вредные в экономическом отношении. Мы берем страны, где наследство делится поровну между детьми, и где дочь получает в приданое часть отцовской земли. Где нет этого обычая, там состояние поземельной собственности гораздо хуже» (Примечание Чернышевского).

«Но есть экономисты, которым угодно утверждать, что сосредоточение и раздробление взаимно уравниваются, что в общей массе распределение поземельной собственности не становится с каждым поколением неравномернее, а остается в прежнем положении или даже постепенно уравнивается...

«Напротив, нужно только точнее исследовать сущность самых принципов, и мы увидим, что существенное их природе стремление состоит в том, чтобы, с одной стороны, раздробляя до крайности поземельную собственность, с другой, гораздо в сильнейшей мере сосредоточивать ее; так что равновесия нет нигде, а есть чрезмерное отклонение некоторой части от равновесия в одну сторону, с еще более чрезмерным отклонением другой, гораздо значительнейшей части в другую сторону, и что эти оба отклонения возрастают прогрессивно с каждым поколением...

«По известному закону, что как скоро большая половина производства совершается способами больших хозяйств, мелкие производители не могут выдерживать соперничества с крупными (курсив мой), земледельцы-собственники мелких и средних участков должны работать в убыток себе или отчуждать свои участки, когда настанет эпоха фермерства...

«Мы представили незначительный по об'ему, но все же не лишенный значения анализ фактов, для определения действия принципа наследственности.

«Не он один управляет движением собственности. Но мы выбрали его, с одной стороны, потому, что об'ем его действий шире, нежели об'ем всех других содействующих ему принципов; с другой стороны, потому, что тенденция других принципов представляет менее нужды в математических доказательствах...

«Общим результатом всего сказанного является несомненность следующего правила: принцип наследственности постоянно и быстро влечет поземельную собственность к сосредоточению все в меньшем и в меньшем числе рук, все более и более громадными массами. Действие этой преобладающей силы ускоряется действием имеющих одинаковое с нею направление принципов приданого, дарения и завещания. В нормальном ходе экономических отношений по тому же направлению действует принцип покупки и продажи, чем еще более ускоряется ход сосредоточения.

«Таков закон самобытного действия экономических принципов, управляющих движением частной поземельной собственности. Быстрота и интенсивность стремления к ее сосредоточению так велики, что смены немногих поколений достаточно было бы для соединения почти

всей поземельной собственности целой страны в руках нескольких сот человек, если б эти законы действовали беспрепятственно»¹.

Само собою разумеется, что в промышленности и торговле, где принцип конкуренции действует гораздо свободнее и сильнее, чем в области землевладения, действие имманентных свойств частной собственности сказывается еще сильнее. И Чернышевский не раз отмечает факт неизбежной пролетаризации мелких производителей и рост капиталистической концентрации производства (об этом мы говорим дальше).

Своему выводу о неизбежности указанных результатов свободной игры присущих частной собственности сил и тенденций Чернышевский придает настолько важное значение, что возвращается к нему в конце своих примечаний к Миллю, где он подводит итог всей своей аргументации в пользу социальной революции. И если увлеченный своими полемическими целями Плеханов просмотрел рассуждение Чернышевского в статье «О поземельной собственности», то совершенно непонятным представляется тот факт, что он не заметил его в заключительной части основной экономической работы Чернышевского, критическому разбору которой Плеханов посвятил сотни страниц. Здесь Чернышевский повторяет и дополняет свои расчеты, долженствующие доказать его основную мысль, что «принцип наследственности действует чрезвычайно сильно по двум противоположным направлениям: одною стороною, охватывающею около $\frac{1}{7}$ части всего количества земли... чрезвычайно сильно дробит эту незначительную долю земли, так что быстро превращает ее в ничтожные клочки, ничего нестоющие и почти ни на что негодные; другою своею стороною, захватывающею от $\frac{4}{5}$ до $\frac{9}{10}$ частей и, вероятно, всех около $\frac{6}{7}$ частей всего количества земли, он чрезвычайно сильно сосредоточивает эту землю в очень незначительное число рук. Таким образом он действует в обе стороны как разрушающая сила, мы сказали бы, как революционная сила»².

И это один только принцип наследственности! Можно ли после этого сказать, что возникновение капиталистического строя Чернышевский объяснял «случайностью», и что в этом пункте он радикально отличался от современных «материалистов-диалектиков»? Кажется, факты говорят нечто совершенно иное³.

Действительный Чернышевский сильно отличается от того, какой изображен в книге Плеханова.

¹ Чернышевский — «Соч.», т. III, стр. 468—469, 493—494.

² «Соч.», том VII, стр. 661.

³ Случайности Чернышевский отводил мало места даже в таких делах, в которых случай (т. е. ускользающие от нашего предвидения факторы)

4. Роль экономического фактора

Итак, исторический детерминизм Чернышевского стоит вне всякого сомнения. Но не только это сближает его с современным научным социализмом. Как мы сейчас увидим, он и в других вопросах довольно близко подошел к материалистическому истолкованию истории. Правда, как мы уже говорили, у Чернышевского встречаются противоречия между отдельными положениями, недоговоренность, недостаточное развитие и углубление мыслей. Но мы и не говорим, что он создал цельную и законченную систему исторического материализма: он только близко подошел к ней. Так, например, в статье «О причинах падения Рима» он говорит, что прогресс — результат знания, а успехи прогресса прямо пропорциональны степени совершенства и степени распространенности знаний¹. Но основываться исключительно на этих и подобных выражениях Чернышевского для общей характеристики его исторических взглядов было бы неправильно, так как в большинстве случаев, когда ему приходилось говорить о движущих силах истории, он указывал их в экономических факторах и в борьбе классов.

играет как будто значительную роль. Когда общий ход итальянских событий, в том числе и военных действий, подтвердил его предсказания, он в июньском политическом обзоре за 1859 год писал: «Если эти соображения оправдались фактами в той части своей, которая наиболее подвержена случайностям, это может быть некоторым ручательством за то, что оправдаются событиями и те стороны их, в которых случай имеет гораздо меньше силы», т. е. взаимные отношения борющихся сил и общественных классов, развивающиеся по своей необходимой внутренней логике («Соч.», т. V, стр. 208).

¹ «Соч.», т. VIII, стр. 158. Здесь сказано, что «прогресс основывается на умственном развитии... Основная сила прогресса — наука; успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний». Но, не говоря уже о том, что статья эта носила определенно публицистический характер и ставила себе специальные цели, лишь отдаленно связанные с задачами научного исследования, высказанная Чернышевским мысль о значении знаний и их распространения могла бы быть признана свидетельством его исторического идеализма лишь в том случае, если бы он приписывал развитию науки самодовлеющее значение, не связывая его с социальным развитием вообще и в частности с развитием материальной жизни. Но в том-то и дело, что этого не было. И когда Чернышевскому пришлось заговорить об историке, действительно стоявшем на такой идеалистической точке зрения, он отнесся к ней отрицательно и, отметив ее относительную справедливость, подчеркнул, что в основе исторического процесса лежит развитие экономики. Так, в примечаниях к переводу «Введения в историю XIX века» Гервинуса, написанных Чернышевским в Петропавловской крепости, он по поводу «коренной мысли Бокля, что история движется развитием знания»,

Уже в одной из ранних своих работ, а именно в рецензии на первый том сочинений Грановского, напечатанной в № 6 «Современника» за 1856 год, Чернышевский, говоря о недостатках старой историографии, писал: «Жизнь рода человеческого, как и жизнь отдельного человека, складывается из взаимного проникновения очень многих элементов: кроме внешних эффектных событий, кроме общественных отношений, кроме науки и искусства, не менее важны нравы, обычаи, семейные отношения, наконец материальный быт: жилище, пища, средства добывания всех тех вещей и условий, которыми поддерживается существование, которыми доставляются житейские радости или скорби. Из этих элементов только немногие до сих пор введены в состав рассказа о жизни человечества». В исторических сочинениях преобладает рассказ о так наз. политических событиях, т. е. о войнах: об умственной жизни говорится лишь постольку, поскольку это касается высших классов; история нравов обращает на себя еще меньше внимания. «О материальных условиях быта, играющих едва ли не первую роль в жизни, составляющих коренную причину всех явлений и в других высших сферах жизни¹, едва упоминается, да и то самым слабым и неудовлетворительным образом... Не говорим уже о том, что в сущности вся история продолжает быть по преимуществу сборником отдельных биографий, а не рассказом о судьбе целого населения, то есть скорее похожа на сборник анекдотов, нежели на науку в истинном смысле слова».

И в примечании к этому месту Чернышевский добавляет: «чтобы указать пример того, как тесен еще горизонт всеобщей истории в лучших сочинениях, приводим план сочинения Гизо, который понял науку шире, нежели кто-нибудь из других великих историков. Заклучая первый год своих чтений об «Истории цивилизации», он делает общий обзор содержания своих лекций и говорит, что предметом их была «политическая и церковная история, история законодательства, философии и литературы». Очевидно, что этою программю, кроме политической истории, занимающей первое место, обнимается только часть

считает нужным дополнить это положение «политико-экономическим принципом, по которому и умственное развитие, как политическое и всякое другое, зависит от обстоятельств экономической жизни», и, только дополнив положение Бокля этим принципом, «мы получим полную истину: развитие двигалось успехами знания, которые преимущественно обуславливались развитием трудовой жизни и средств материального существования» (Сборник «Н. Г. Чернышевский», изд. о-ва Политкаторжан, М. 1928, стр. 29—30).

¹ Курсив мой.

умственной жизни народа, многие сферы которой остались нетронутыми. О материальной стороне жизни программа не упоминает. Вообще Гизо часто повторяет, что излагает историю «внутренней жизни человека и его отношений к другим людям»: об истории отношений человека к природе и не упоминается, а между тем в природе — источники человеческой жизни, и вся жизнь коренным образом определяется отношениями к природе¹.

Но как понимал Чернышевский отношение человека к природе? Думал ли он, что естественные условия, окружающие человека, оказывают решающее влияние на общественные отношения людей, или же полагал вместе с Марксом, что взаимодействие между людьми и природой обуславливается существующими общественными связями и отношениями, как это высказано Марксом в брошюре «Наемный труд и капитал»? Даже Плеханов, основываясь на том, что Чернышевский всегда был противником теории рас², склоняется к последнему мнению. Он полагает, что речь Грановского понравилась Чернышевскому именно своим настойчивым указанием на зависимость общественных отношений народов от естественных условий их существования. «А если это так, — прибавляет он, — то мысль Чернышевского о влиянии природы на человека совершенно сближается с нашим взглядом на тот же предмет». Далее Плеханов приводит выдержку из указанной брошюры Маркса, вывод из которой он формулирует так: «Взаимные отношения людей в процессе производства определяются состоянием их производительных сил, которые в свою очередь находятся в теснейшей зависимости от естественных условий существования данного народа, т. е. от той географической среды, в которой он живет». И Плеханов заключает: «Логическое развитие взглядов Грановского и Чернышевского должно было бы вести к выводу Маркса» (Плеханов — «Соч.», т. V, стр. 252—255).

Критикуя географическое истолкование истории, Чернышевский показывает ограниченность его применения. Географические условия, природа и климат страны имеют по его словам решительное влияние

¹ «Соч.», т. II, стр. 409—410. Курсив мой.

² Плеханов, впрочем, пишет: «впоследствии бывший самым решительным противником теории рас», но он же указывает, что уже в 1855 г., т. е. в самом начале своей литературной деятельности, в рецензии на «Архив» Калачова («Соч.», т. I, стр. 428) Чернышевский уже показал свое отношение к этому вопросу. — Кроме сочинений, написанных до ссылки, Чернышевский касался вопроса о расах в письмах из Сибири и в предисловиях к «Всеобщей истории» Вебера, особенно в статьях «О расах» и «О различиях между народами по национальному характеру» (перепечатано в т. X, ч. II, его сочинений).

над народами только в начале их исторической жизни, но впоследствии, при дальнейшем развитии общества, географическое и климатическое влияние отодвигается на второй план, а судьбы народов начинают в гораздо большей степени зависеть от совершенно иных влияний. «Ни природа, ни порождаемый ею темперамент народа, — говорит Чернышевский, — вовсе недостаточны для объяснения народных занятий и быта, как скоро народ выходит на поприще исторического развития». Для понимания исторических судеб народов необходимо исследовать влияние других отношений, среди которых проходила и проходит их жизнь. «Отношения эти, — замечает Чернышевский, — определяются гражданским устройством народов». Но что это за гражданские отношения? Это видно из того объяснения, которое Чернышевский дает падению Афин и Римской Империи. «Главная причина, — говорит он, — в обоих государствах одна и та же — невольничество. Пока граждане сами возделывали свои поля, сами были матросами на своих кораблях, государство возвышалось; но когда политическое могущество доставило ему данников и невольников, когда граждане, т. е. класс населения, управлявший государством, привыкли жить трудами этих данников и невольников и отвыкли от неутомимой заботы о своем пропитании, которое получали уже задаром, государство стало разрушаться». Праздность и трудолюбие возникают или ослабевают в людях просто вследствие их гражданских отношений; из этого же самого основания возникают и все другие достоинства и недостатки народа¹

¹ Рецензия на книгу Бабста (1857 г.). «Соч.», т. III, стр. 511—515. — «Сабинцы, самниты, латины, этруски, — какие энергичные, какие трудолюбивые люди были все эти народы во время своей независимости и потом по соединении с Римом, пока Рим сохранял себя и их под хорошими учреждениями! Но когда пали эти учреждения и, начиная с последнего времени республики, водворились те бедствия, губительное влияние которых на энергию народного труда мы указывали в примечании 19 (там Чернышевский приписывает губительное влияние продолжительным войнам, но особенно внутреннему гнету и эксплуатации), все племена, населявшие Италию, обленились, стали никуда негодны ни в экономическом, ни в каком другом отношении. Причины лени, какой предаются почти все жители тропических стран, надобно искать, во-первых, в экономическом устройстве этих стран; в Ост-Индии, например, земледелец, сколько бы ни работал, все-таки остается в нищете: земиндары, тулукдары и т. д. берут у него все, что превосходит меру нищенского продовольствия. Во-вторых, причиною апатии служит та особенность исторической судьбы азиатских земледельческих стран, которую мы указывали в примечании 6; это обстоятельство, — слишком близкое соседство с степями центральной Азии, из которых беспрестанно вторгались дикие завоеватели, — было основанием и того, что вот уже несколько тысячелетий Ост-Индия жила в самом

Маркс в первых своих работах говорит о «гражданском обществе», как совокупности известных экономических и социальных отношений. Эти термины употребляются и Чернышевским. Если мы проследим историю каждой из европейских наций, говорит он, то мы увидим, что весь ее современный быт, все ее наклонности объясняются влиянием тех гражданских учреждений, под влиянием которых она жила и живет. «Вследствие известных исторических событий появлялись в гражданском обществе различные учреждения, потом создавались законы, сообразные с этими учреждениями. Нация изменяла свои привычки сообразно духу этих учреждений и законов. События и учреждения в различных странах были различны, потому и нации, начавшие свою жизнь с совершенно одинаковыми привычками и наклонностями, являются в настоящее время совершенно различными». Другими словами, под влиянием известных исторических событий складываются известные экономические отношения («гражданские отношения»); последние приводят к созданию определенных политических учреждений («законы»), которые в свою очередь влияют на экономические отношения народа¹.

Чернышевский иллюстрирует свои положения на примере трех наций: испанской, французской и английской. Относительно Франции он показывает борьбу между феодалами и горожанами, с одной стороны, и королевскою властью, опиравшеюся на регулярную армию,—с другой; эта борьба привела к расцвету королевского абсолютизма, оказавшего сильнейшее влияние на дальнейшую судьбу нации. Относительно англичан он указывает на влияние их свободных учреждений, создавших ту отличающую англичан любовь к закону, то свойственное им сознание своих прав и ту энергию, которых раньше, до утверждения конституции, у них не было. Относительно Испании он указывает на 700-летнюю борьбу с маврами, которая сделала католическую церковь любимым национальным учреждением испанцев. Эта упорная борьба обусловила силу католизма и образование абсолютной монархии, разрушившей свободные представительные учреждения, которыми держалась самостоятельность народа, после чего испанцы превратились в нацию, лишенную всякой умственной и гражданской жизни. Даже вторжение французов, хотя оно и пробудило испанцев к жизни, не могло сразу поставить их на ноги: периоды революционных увлечений быстро сменяются у них периодами жестокой реакции. «Законности у них давно

убийственным для народа экономическом устройстве» («Примечания к Миллю». «Соч.», т. VII, стр. 161, прим.; см. там же, стр. 18—21).

¹ «Соч.», т. III, стр. 514—515. Ср. стр. 522 и сл.—«Политическая форма,—говорит он в статье о Кавеньяке (т. IV, стр. 3),—держится только тем, когда служит средством для удовлетворения общественных потребностей».

не было, потому они не уважают законов; собственность и личность очень долго лишены были всяких гарантий, потому они ленивы, и энергия их умеет проявляться еще только судорожно, лихорадочным образом, и за стремительным порывом, внушаемым настоящими потребностями, следует долгий припадок апатического бездействия. У них есть славное прошедшее, — потому они горды; но их настоящее вовсе не блистательно, — потому они упрямы».

Таким образом каждая черта национального типа объясняется, по словам Чернышевского, гражданскими учреждениями народа. И если мы замечаем в привычках и быте известного народа особенности, благоприятствующие росту его благосостояния, мы должны знать, что этому способствуют не какие-нибудь расовые особенности и не климат страны, а просто гражданские учреждения, и наоборот: «Влияние всех других причин, содействующих или препятствующих национальному благосостоянию, совершенно незначительно по сравнению с влиянием гражданских учреждений»¹.

Это уже хорошо, но это еще не дает ответа на вопрос: чем же объясняется развитие самих «гражданских отношений»? какой фактор лежит в основе этих гражданских учреждений и отношений? Мы знаем, что Маркс, после внимательного социологического анализа, открыл этот основной фактор исторического процесса в развитии производительных сил. Знал ли об этом факторе Чернышевский или же он в своем анализе остановился на примитивной стадии экономического материализма, не идущей дальше общего указания на роль экономических отношений? Мы утверждаем, что он понимал влияние развития производительных сил, как главной движущей пружины исторического процесса, и что только насильственный перерыв в развитии этого могучего ума не дал ему возможности подробно разработать и развернуть эту сторону своего мировоззрения. В нашем предположении нас укрепляет та оценка, которую Чернышевский, в отличие от своих последователей-народников, дал капитализму.

Читатель помнит, что Чернышевский, несмотря на свой в общем печальный взгляд на судьбы и пути прогресса, советовал своим современникам быть оптимистами. Как вы думаете, читатель, какое основание указывал Чернышевский для этого оптимизма? На первый взгляд это может показаться невероятным, но факт тот, что Чернышевский ожидал дальнейшего прогресса современного человечества, а в частности и России от развития капитализма. Для тех, кто привык смотреть на Чернышевского лишь как на отца русского народ-

¹ «Соч.», т. III, стр. 524.

ничества, лишь как на защитника общины, способной обеспечить переход России к социализму, минуя всякие промежуточные стадии¹, это покажется чрезвычайно неожиданным. Но это обстоятельство только характеризует его глубокий историзм и об'ективизм, его поразительную проницательность, опережавшую умственное состояние своей эпохи, громадную мощь этого критического ума, столь безвременно погибшего для русской науки.

Итак, Чернышевский рекомендовал оптимистическое отношение к жизни именно на основании того, что в наше время главная движущая сила истории — промышленное направление². «Начать хотя с того, — говорит он, — что это — стремление дельное, а не праздное; стремление, вовсе не имеющее в виду ничьей гибели — правда, оно губит многих, но только мимоходом, нечаянно, а не по умыслу, как многие из прежних стремлений (здесь Чернышевский из-за сочувствия к развитию производительных сил, обеспечиваемому капитализмом, и из-за вражды к крепостничеству и абсолютизму впадает даже в некоторое преуменьшение губительной роли современной индустрии, отчего он вообще был свободен. — Ю. С.). Если войны, дипломатические соперничества принесли свою пользу, если даже уничтожение Нантского эдикта принесло свою пользу, как открывается при точном исследовании, как же не принесет пользы мирное и трудолюбивое промышленное направление нашего века? Быть может, иным из нас приятнее было бы господство какого-нибудь более возвышенного стремления, — но чего нет, того нет, а из того, что есть, более всего добра приносит промышленное направление. Из него выходит

¹ Ниже мы покажем, как нужно понимать эти надежды Чернышевского на общину.

² Плеханов (т. VI, стр. 369—370) передает мое указание так: «Он показывает, что Чернышевский не боялся промышленного развития (как боялись его впоследствии наши народники)». Правда, отсутствие боязни экономического развития и признание развития индустрии главной движущей силой истории («главная движущая сила жизни», сказано у Чернышевского) — не одно и то же. Но не будем к этому придираться. Важнее то, что по поводу этого моего указания Плеханов замечает: «Это так. Но это — дело даже не другое, а «десятое», как выражался Базаров. Промышленного развития не боялся ни один либеральный экономист». Что же это доказывает? Ровно ничего. Мы говорим о том, что Чернышевский не принадлежал к числу тех социалистов, которые боялись промышленного развития, а именно потому не принадлежал, что, с его точки зрения, такое развитие обуславливает поступательный ход истории и подготавливает почву для социалистической революции. А Плеханов возражает ссылкой на буржуазных экономистов, которые тоже, мол, не боялись развития капитализма. Но ведь это совершенно из другой оперы.

и некоторое содействие просвещению, потому что для промышленности нужна наука и умственная развитость; из него выходит и некоторая забота о законности и правосудии, потому что промышленности нужна безопасность; из него выходит и некоторая забота о просторе для личности, потому что для промышленности нужно беспрепятственное обращение капиталов и людей. Победы Наполеона в Испании и Германии принесли некоторую пользу этим странам, как же не принесут некоторую пользу победы фабрикантов и инженеров, купцов и технологов? Когда развивается промышленность, прогресс обеспечен. С этой точки мы преимущественно и радуемся усилению промышленного движения у нас». И дальше Чернышевский с восторгом отмечает несколько новых фактов из области промышленного развития: основание нового пароходного общества по Волге и ее притокам, сельскохозяйственную выставку в Киеве и т. п.¹

Мысль о важных изменениях, которые вызовет капиталистическое развитие России, была у Чернышевского вовсе не случайной. Он к ней возвращается неоднократно. Так, в «Заметках о журналах», помещенных в № 5 «Современника» за 1857 г., перед самым приступом к реформе крепостного права, он также указывает на значение капиталистического развития страны.

«При новой эпохе усиленного производства, в которую вступает Россия, — пишет он, — многие из прежних экономических отношений, конечно, изменятся сообразно потребностям времени. Развитие экономического движения, заметным образом начинающееся у нас пробуждением духа торговой и промышленной предприимчивости, построением железных дорог, учреждением компаний пароходства и т. д., необходимо изменит наш экономический быт, до сих пор довольствовавшийся простыми формами и средствами старины. Волею или неволею, мы должны будем в материальном быте жить, как живут другие цивилизованные народы. До сих пор семейство наших поселян покупало только соль, колеса, вино, сапоги, кушаки, серьги и пр., и пр., — все остальное производилось домашним хозяйством: и сукно, и ткань для женского платья и для белья, и обувь, и мебель, и самая изба с печью. Скоро будет не то: домашнее сукно сменится на поселянине покупным фабричным (мы не знаем, будет ли он покупать фабричное сукно лучшего сорта, нежели покупает теперь, но в том нет сомнения, что жена

¹ «Современное обозрение» (ноябрь 1857 г.). «Соч.», т. III, стр. 561 — 562. — Ср. «Заметки о журналах» (ноябрь 1856 г.), где Чернышевский «важнейшим из всех улучшений после Крымской войны» признает «принятие мер к построению обширной сети железных дорог». «Соч.», т. II, стр. 653.

его разучится ткать сукно), льняные и посконные ткани домашнего изделия сменяются хлопчатобумажными (которые, очень может быть, будут не выше их добротой, но все-таки вытеснят их своею дешевизною) и т. д., и т. д.¹

«Всё это совершится еще на глазах нашего поколения в селах, как до сих пор совершилось только в больших городах»².

В статье, написанной по поводу «Studien» («Исследований») бар. Гакстгаузена и помещенной в № 7 «Современника» за тот же год, Чернышевский указывает на значение развития производительных сил страны, которое должно будет положить конец патриархальным отношениям, завещанным России стариной. По цензурным условиям он выражается очень осторожно, однако мысль его тем не менее вполне ясна.

«Каждому очевидно, — говорит он, — что, с окончанием нашей последней войны, начинается для России более деятельное, нежели когда-либо, участие в общем европейском экономическом движении. Каждый видит, что наша промышленная деятельность начинает очень быстро усиливаться. Наши собственные капиталы нравственные и материальные выходят из своего летаргического бездействия; иноземные капиталы начинают находить у нас выгодное и безопасное помещение, и отчасти уже перенеслись в нашу страну очень значительной массой, отчасти готовятся в скором времени перенестись к нам в массах еще гораздо более значительных. Последствия такого движения не могут подлежать сомнению. До сих пор большая часть нашего экономического производства совершалась средствами и методами почти патриархальными. Не говорим уже о земледелии, относительно которого напрасно и доказывать эту истину; наибольшая часть нашей внутренней торговли и даже значительнейшая часть производства по обработке сырых продуктов совершалась порядком, более свойственным XVII, нежели XIX веку. Это немного уже лет будет продолжаться. Приложением капиталов к производству не только увеличиваются массы продуктов, но изменяется и самый порядок производства (курсив мой). Различие между хворостом или кизяком и каменным углем, между проселочною и железною дорогою не более значительно, нежели различие между порядком патриархальной экономической деятельности и деятельности, совершающейся силою машин, капиталов и других экономических отношений и двигателей, свойственных новейшему времени. Различие

¹ Это рассуждение сильно напоминает соответствующее место из «Ницеты философии» Маркса.

² «Соч.», т. III, стр. 185—186.

между черемисом и англичанином не более значительно, нежели различие между земледельческими методами, по которым обрабатываются поля того и другого.

«Россия вступает в тот период экономического развития, когда к экономическому производству прилагаются капиталы. Характер деятельности производящих классов и самый быт их необходимо должен подвергнуться от того великим изменениям. Мы уже видим, как огромны будут эти изменения в характере передвижения людей и продуктов. Вместо обозов и патриархальных судов различного рода мы имеем несколько и скоро будем иметь очень много локомотивов и пароходов, так что вскоре почти совершенно исчезнут привычные нашему глазу обозы, мокшаны, тихвинки, барки и так далее. В характере торговли отчасти уже происходит и скоро совершенно исполнится изменение не менее значительное. С устранением тех страшных неудобств и неверностей, которыми до нашего времени стеснялась она, у нас явятся честность и предприимчивость, свойственные нашему народу не менее, нежели другим европейцам. Но всего значительнее будут изменения той экономической деятельности, которая составляет основную силу нашей страны и служит средством существования для значительнейшей части нашего народа, — именно в земледелии»¹.

Сознавая, что основным источником российского варварства является слабое развитие производительных сил, Чернышевский настолько жаждал экономического прогресса, что готов был впадать в этом отношении в крайности, по крайней мере в выражениях. Особенно сильно развилась в нем эта жажда экономического прогресса в сибирской ссылке. По возвращении из ссылки, он, по воспоминаниям знакомых, готов был даже в первоначальном накоплении усматривать залог предстоящих общественных потрясений и утверждать, что все наши злоключения происходят от того, что мы — народ бедный. Впрочем, и до ссылки он возлагал надежды на капиталистическое развитие России, как видно из приведенных выше цитат. Л. Пантелеев в первой части своих воспоминаний (стр. 225—226) передает шутку Чернышевского, который в 1861 году как-то заметил, что величайшим революционером в России является известный финансовый деятель Е. И. Ламанский, выпускающий каждый день «какую-нибудь новую прокламацию, то 4 % непрерывно-доходные, то 5 % банковые билеты, то металлики». В этой шутке, сказанной перед молодыми студентами, выразился действительный взгляд Чернышевского на революционизирующее действие капиталистического развития России. В таком же смысле нужно толковать

¹ «Соч.», т. III, стр. 270.

и следующее место из «Заметок о Некрасове», написанных Чернышевским в 1883 году для Пыпина и вызванных «биографическими сведениями» и «примечаниям» в посмертном издании стихотворений Некрасова 1879 года.

Вот что там говорит Чернышевский по поводу некрасовского романа «Три страны света», написанного в сотрудничестве с Головачовой-Панаевой: «В анализе этого романа, даваемом «Биографическими сведениями», проводится мысль о противоположности успешной житейской (в данном случае коммерческой) деятельности благу народа. Точка зрения фантастическая. Мне она всегда казалась фантастической. Мне всегда было тошно читать рассуждения о «гнусности буржуазии» и обо всем тому подобном; тошно потому, что эти рассуждения, хоть и внушаемые «любовью к народу», вредят народу, возбуждая вражду его друзей против сословия, интересы которого хоть и могут часто сталкиваться с интересами его (как сталкиваются очень часто интересы каждой группы самих простолюдинов с интересами всей остальной массы простолюдинов), но в сущности одинаковы с теми условиями национальной жизни, какие необходимы для блага народа, потому в сущности тождественны с интересами народа»¹.

На это замечательное место (как и на другие, аналогичные) Плеханов не обратил никакого внимания, несмотря на то, что внешне оно весьма похоже на ту политическую линию, какую сам Плеханов занял в политических вопросах с 1905 г. Но его заметил Н. Русанов, который, впрочем, совершенно не понял его действительного смысла. Более чем ясно, о чем говорит здесь Чернышевский. Он указывает на то, что буржуазное развитие России приведет к политической свободе, выгодной и для пролетариата, и что поэтому интересы буржуазии и трудящихся, хотя в других пунктах расходятся, в борьбе против царизма совпадают. Верно это или нет, это другой вопрос, но во всяком случае это показывает, что Чернышевский, во-первых, вовсе не стоял на народнической точке зрения и понимал значение развития производительных сил, а, во-вторых, не только не был политическим индифферентистом, но даже считал настолько важным завоевание свободных «условий национальной жизни», что готов был с этой точки зрения признать положительные стороны капиталистического развития.

Не поняв этого и усмотрев в словах Чернышевского проповедь гармонии труда и капитала (ошибка для народника, впрочем, есте-

¹ Чернышевский — «Сочинения», т. X, ч. II, стр. 234—235. — Курсив мой.

ственная), Русанов восклицает: «Неужели Чернышевский «Современника», пожавший наиболее обильные лавры в области политической экономии изображением противоречивого характера современного хозяйства, проведением строго рикардианской точки зрения на противоположность между тенденциями труда и тенденциями капитала в пику слащавым утверждениям отрицавших это буржуазных экономистов, Бастиа и Молинари, мог в то же время серьезно думать, что интересы буржуазии и благо народа тождественны? Конечно, нет (Чернышевский ничего подобного и не говорит. — Ю. С.). Но подобно тому, как Фейербах задним числом приписывал себе скептические идеи, которых у него не было во время революции, так и Чернышевский задним же числом вкладывал в себя идеи о гармонии интересов (?) между эксплуатируемыми и эксплуатирующими, идеи, которые, конечно, отсутствовали у автора «Примечаний», «Капитала и труда», «Экономической деятельности и законодательства» и т. п.»¹.

В такой защите Чернышевский не нуждается. На самом деле он говорит вовсе не о гармонии интересов между эксплуататорами и эксплуатируемыми, а повторяет свою старую мысль о прогрессивном значении индустриального развития, протекающего сначала в буржуазной оболочке, о подготовке этим индустриальным развитием «тех условий национальной жизни, какие необходимы для блага народа», т. е. свободных политических форм, о возможном союзе буржуазии и трудящихся против самодержавия, являющегося политической формой диктатуры крупных землевладельцев. Это та самая мысль о временном союзе прибыли и труда против ренты, которую Чернышевский всегда выражал как раз в работах, упоминаемых Русановым и написанных в лучший период литературной деятельности Чернышевского. «Страшнее всего всепоглащающий Левиафан», т. е. дворянское самодержавие, и как бы отрицательно ни относился Чернышевский к буржуазии с точки зрения пролетариата, но он, подобно авторам «Коммунистического Манифеста», готов был признать положительное значение капиталистического развития в деле подрыва основ абсолютизма и приготовления более высоких форм общественного устройства.

Установление коммунистического строя он также считал возможным лишь в результате грандиозного развития производительных сил и обеспечивающих это развитие успехов техники. В осторожной форме, вызывавшейся цензурными строгостями той поры, он высказал эту мысль в статье об «Антропологическом принципе».

¹ Русанов — «Чернышевский в Сибири». «Русск. Богатство», 1910, № 6, стр. 62.

Условием социального преобразования является сознание людьми его необходимости: «половина дела зависит только от того, чтобы человек с достаточною силою почувствовал надобность в известном улучшении»¹. Но это только одна половина вопроса: необходимо кроме того, чтобы со стороны внешних обстоятельств не представлялось препятствий к исполнению предъявляемых людьми запросов. Прежде построению идеального общества мешало слабое развитие производительных сил. «Теперь не то: естественные науки уже предлагают ему (человеку) столь сильные средства располагать внешнею природою, что затруднений в этом отношении не представляется». Все общественное зло, все преступления порождаются неудовлетворением человеческих потребностей; полное же удовлетворение их положит конец преступлениям, безнравственности и пр. «Прежде исполнить такое указание теории было, как нас уверяют, невозможно по несовершенству технических искусств; не знаем, справедливо ли говорят это о старине, но бесспорно то, что при нынешнем состоянии механики и химии, при средствах, даваемых этими науками сельскому хозяйству, земля могла бы производить в каждой стране умеренного пояса несравненно больше пищи, чем сколько нужно для изобильного продовольствия числа жителей, в 10 и в 20 раз большего, чем нынешнее население этой страны. Таким образом со стороны внешней природы уже не представляется никакого препятствия к снабжению всего населения каждой цивилизованной страны изобильною пищею; задача остается только в том, чтобы люди сознали возможность и надобность энергически устремиться к этой цели»².

А как тонко он анализировал в частных случаях влияние развития производительных сил, показывает следующая страница, как бы выхваченная из Маркса.

В прибавлении к главе IX книги I Милля о крупном и мелком производстве Чернышевский между прочим говорит: «При грубых процессах производства, какими ограничивалась техника варварских обществ, рабский труд не представлял несообразности с орудиями, к которым прилагался; то и другое было одинаково дурно. Когда техника не-

¹ Это в иных словах выраженная мысль Маркса о том, что для социального переворота необходима предварительная революция в головах. Насколько мы знаем, Маркса никто не обвинял за это в идеалистических уклонах.

² «Сочинения», том VI, стр. 213—214. — Именно в сознании всей важности развития производительных сил для социального прогресса и в частности для построения коммунистического общества Чернышевский посвятил так много места полемике с учением Мальтуса.

сколько развилась, когда явились довольно многосложные и деликатные орудия, грубый труд раба оказался непригодным: машина не терпит подле себя невольничества; она не выдерживает тяжелых рук его беспечности. Не выдерживают невольничества и все те мастерства, в которых введены сколько-нибудь усовершенствованные инструменты. Для них необходим вольный человек.

«Но когда производство совершенствуется до того, что требует ведения в широком размере, для него становится недостаточным одно условие, чтобы работник был свободен. В небольшой мастерской, в маленьком хозяйстве хозяин может наблюдать за исполнением дела; тут нет большой разницы между работой хозяина и наемника, потому что наемник работает на глазах у хозяина, который может уследить за всякой мелочью. Но чем обширнее становится размер хозяйства, тем меньше возможности одному хозяину усмотреть за постоянно возрастающим числом работников, за подробностями дела, принимающего промадную величину. Тут наемный труд даром тратит половину времени, даром пропадает половина силы, даваемой машинами. Вместо наемного труда выгодно дела требуется тут уже другая форма труда (т. е. социалистическая. — Ю. С.)...

«Мы видим, что перемены в качествах труда вызываются переменами в характере производительных процессов... Если изменился характер производительных процессов, то непременно изменится и характер труда, следовательно опасаться за будущую судьбу труда не следует... Но... результаты известного факта требуют известного времени для своего полного обнаружения... и неизбежно продолжает несколько времени существовать прежняя обстановка, соответствовавшая прежним фактам, но для него уже неудобная¹. Поэтому очень натурально, что характер труда в передовых странах Европы до сих пор еще остается прежний, какой был удобен при ведении производства в малом размере; производство в большом размере само стало усиливаться еще очень недавно: назад тому 80 лет его экономическая роль была совершенно ничтожна, даже в самой Англии, не говоря уже о других странах. Всего лет 40 или много 50 прошло с тех пор, как начало оно быстро возвышаться, и только вот в последние годы стало достигать оно решительного перевеса над производством в малом размере... В вопросе о будущем можно определительно видеть только цель, к которой идет дело по необходимости своего развития, но нельзя с математической точностью отгадывать, сколько времени потребуется:

¹ Здесь имеется полная параллель с марксовым положением о ядре, разрывающем сковывающую его оболочку.

на достижение этой цели: историческое движение совершается под влиянием такого множества разнородных влечений, что видно только бывает, по какому направлению идет оно, но скорость его подвержена постоянным колебаниям... Нельзя определить, благоприятны ли или неблагоприятны будут ближайшие годы экономическому прогрессу. Если благоприятны, — в несколько лет произойдет развитие, на которое при неблагоприятных временах понадобится несколько десятков лет, а, пожалуй, и несколько столетий»¹.

Отсюда ясно, что победы социальной революции Чернышевский ждал от развития производительных сил, в частности от победы крупного машинного производства над мелким, причем установление социалистического строя является на его взгляд не продуктом доброй воли «интеллигентов» или какой-то «случайности», — точка зрения, которую пытаются навязать Чернышевскому, — а неизбежным и необходимым результатом экономического прогресса, роста и распространения крупной машинной индустрии.

Итак, в основе истории лежат экономические факторы. Они определяют национальный характер, создают определенные политические учреждения² и пролагают своему влиянию дорогу туда, где ему, казалось бы, меньше всего должно быть места. Человеческая идеология также оказывается, по словам Чернышевского, простой надстройкой над экономическим и социальным бытием человечества; даже отвлеченные философские системы являются детищами своей эпохи, продуктом определенных общественных отношений³. Поэтому, говорит наш

¹ «Соч.», том VII, стр. 212—214.

² По поводу рассуждений Чернышевского о влиянии развития земледелия на возникновение частной земельной собственности («Соч.», т. I, стр. 389 и 428) Плеханов (т. V, стр. 256) замечает: «Он... об'являет экономическое развитие общества причиной, вызывающей развитие правовых его учреждений». Это верно.

³ Н. Русанов, крайне недовольный тем, что предполагаемый основоположник народничества совершенно не разделял народнической философии истории, в своей статье «Ученики Маркса о Чернышевском» («Русск. Богатство» 1909, № 11, стр. 74) пишет: «У г. Стеклова... выводы сплошь и рядом содержат более того, чем находится в посылках, а порою основаны на положительном недоразумении». Затем приводится в пример данная мною на стр. 145—146 1-го издания цитата о значении индустриального развития и следующий за нею абзац, содержащий выводы насчет философии истории Чернышевского. По этому поводу Русанов замечает: «И вдруг непосредственно за этим... «Итак!» «По словам Чернышевского!» Такие сравнительно небольшие, если хотите, банальные посылки, как рассуждения Чернышевского о том, что промышленность — вещь очень полезная, что у нас, слава богу, основываются пароходные общества по Волге, устраиваются сельские выставки в

автор, не следует впадать в ошибку тех историков философии, которые в истории умственного развития усматривают как бы самостоятельное развитие идеи, независимое от определенных общественных отношений, и забывают о социальной основе идеологии. «Часто, когда говорят об истории философии, имеют в виду только связь философских систем между собою, забывая о связи их с духом времени и общества, в котором они развились, — а между тем это забываемое отношение обнаруживало всегда самое решительное влияние на их характер. О философии, в которой общие стремления человечества находят самое прямое выражение, надобно сказать скорее, нежели о какой-нибудь частной науке, что она всегда бывает дочерью эпохи и нации, среди которой возникает»¹.

Чернышевский, рассматривая какую-нибудь идеологическую систему, никогда не забывал указать на ее социально-экономическое основание. Что особенности теории манчестерцев, идеологов свободной торговли, он объяснял тем, что это учение выражает интересы крупного капитала, — это совершенно естественно. Но в сведении идеологий к их социальному первоисточнику он доходит до более глубоких и сложных построений. Теорию Кенэ о распределении земледельческих затрат на три разряда Чернышевский объясняет преобладанием системы половничества в тогдашней Франции; теория Кенэ была лишь теоретической формулировкой фактических отношений, существовавших в современном ему французском земледелии². Таких и анало-

Киеве, — и вдруг такое грандиозное заключение, как теория исторического материализма, да еще облеченная в специфическую марксистскую терминологию!» Но, во-первых, в рассматриваемой цитате из Чернышевского содержатся не только те «банальные» истины, которые единственно вычитал из нее Русанов, а, во-вторых, инкриминируемый абзац моей книги резюмирует мысли не только этой одной цитаты, но и всех предшествующих (и последующих, разумеется) цитат, извлеченных мною из сочинений Чернышевского. Ввиду этого изумление Русанова совершенно напрасно. Превратить заявление Чернышевского о том, что промышленное развитие составляет «главную движущую силу жизни», в «банальную посылку», — это несколько легкомысленно даже для народника. Впрочем, как мы видели, и Плеханов пытался ее игнорировать.

¹ «Лессинг» («Соч.», т. III, стр. 770—771). — Вот что говорит по этому поводу Энгельс: «Философия и религия являются идеологией еще более совершенной формы (чем право), т. е. еще более удаленной от материальной, экономической основы. Здесь связь между представлениями и материальными условиями жизни становится все запутаннее, все более затемняется промежуточными звеньями. Но связь эта все-таки существует» (loc. cit., стр. 61). — Чернышевский выражается, пожалуй, более решительно.

² «Тюрго» («Соч.», т. IV, стр. 222).

гичных объяснений мы найдем в сочинениях Чернышевского сколько угодно.

В интересной во многих отношениях статье о Рошере Чернышевский указывает, что «огромное большинство писателей всегда держатся взгляда той группы, к которой принадлежат». Так, из 100 французских историков 99 будут доказывать, что всегда и во всем были правы французы, английские историки доказывают то же относительно англичан, немецкие относительно немцев. «У писателей аристократического образа мыслей правда на стороне аристократии, у писателей, представляющих собою среднее сословие, правда на стороне третьего сословия и т. д.

«Этим психологическим законом, по которому почти у каждого, — простого ли человека, оратора ли, писателя ли, в разговорах ли, в речах ли, в книгах ли, все равно, — оказывается теоретически хорошим, несомненным, вечным все то, что практически выгодно для группы людей, представителем которой он служит, — этим психологическим законом надобно объяснять и тот факт, что политико-экономам школы Адама Смита казались очень хороши, достойны вечного господства те формы экономического быта, которые господствовали или стремились к господству в конце прошлого и в начале нынешнего века. Писатели этой школы были представители стремлений биржевого или коммерческого сословия в обширном смысле слова: банкиров, оптовых торговцев, фабрикантов и всех вообще промышленных людей. Нынешние формы экономического устройства выгодны для коммерческого сословия, выгоднее для него всяких иных форм; потому школа, бывшая представительницею его, и находила, что формы эти — самые лучшие по теории; натурально, что при господстве такого направления являлись многие писатели, высказывавшие общую мысль еще с большей резкостью, называвшие формы эти вечными, безусловными».

Это не значит, что буржуазные экономисты не знали о существовании других укладов, непохожих на буржуазные. Но, будучи представителями класса капиталистов, они ни о каком другом режиме и думать не хотели да и не могли. Дело изменилось с появлением другой школы экономистов, стоявших на точке зрения трудящихся масс. «Начали думать о вопросах политической экономии люди, бывшие представителями не того сословия, которому как раз пригодны нынешние экономические формы, а представители массы, и явилась в науке другая школа, которую г. Бабст (неизвестно на каком основании)... называет партией утопистов».

Вот когда эта новая, т. е. социалистическая школа, оперируя тем же материалом, которым некогда пользовалась буржуазная класси-

ческая школа экономистов в интересах восхваления капитализма, подвергла капиталистический режим беспощадной критике, и возникла для борьбы с социализмом «историческая» школа (об отношении Чернышевского к ней мы говорим ниже в главе о политической экономии)¹.

— Не только политические и социальные теории, но и самые, казалось бы, отвлеченные философские системы имеют социальное происхождение и социальные корни². Вот как на этот счет выражается наш автор.

¹ По поводу этого рассуждения Чернышевского Плеханов (т. V, стр. 259) замечает: «Нельзя говорить яснее. Не сознание определяет собою бытие, а бытие определяет собою сознание». А несколько выше (стр. 257) он говорит, что Чернышевский ясно видел, что идейное развитие человечества обуславливается столкновением материальных интересов в обществе — «по крайней мере, в некоторых случаях». А в каких случаях Чернышевский этого не видел?

² Замечательно, что даже возникновение и развитие естественно-научных теорий Чернышевский связывает с развитием общественных отношений и настроений, как, напр., в статье «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь», написанной, впрочем, после сибирской ссылки (как мы знаем, однако, взгляды Чернышевского за это время не изменились). Между прочим успех учения Кювье, отрицавшего возможность изменения видов, Чернышевский частью объясняет тем, что «общий характер этой системы понятий соответствовал духу времени, стремившемуся восстановить предания и отвергнувшему все несогласное с ними. Кювье был в естествознании представителем того направления мыслей, которому желал дать господство в умственной жизни Наполеон и которое получило владычество над нею при Реставрации» («Соч.», т. X, ч. II, стр. 21). Мы уже не говорим о теории дарвинизма, связанной с учением Мальтуса, которое было создано для борьбы с растущим рабочим движением, в частности с чартизмом. Это обстоятельство даже предопределило враждебное отношение Чернышевского к дарвинизму, точнее сказать, к учению о борьбе за существование как основном факторе развития (Чернышевский читал: совершенствования) видов, особенно к попыткам его применения в области социологии, на которые одно время так охочи были буржуазные социологи.

По этому поводу Плеханов (т. V, стр. 246) замечает: «Позволительно думать, что явное раздражение Чернышевского против Дарвина, сказавшееся между прочим и в замечании о том, что дарвиновская теория достойна Торквемады, — объясняется больше всего вредным влиянием так называемого дарвинизма на развитие общественных наук. Но нельзя делать Дарвина ответственным за промахи дарвинистов... Дарвин находил, что развитие общественных инстинктов «крайне полезно» для сохранения вида в его борьбе за существование. Примените эту его мысль к общественным отношениям, и вы получите нечто прямо противоположное тому крайнему индивидуализму, который составляет неизбежный логический вывод из учений социологов-дарвинистов».

«Политические теории, да и всякие вообще философские учения создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому принадлежал философ. Мы не будем говорить о мыслителях, занимающихся специально политической стороною жизни. Их принадлежность к политическим партиям слишком заметна для каждого: Гоббс был абсолютист, Локк был виг, Мильтон — республиканец, Монтескье — либерал в английском вкусе, Руссо — революционный демократ, Бентам — просто демократ, революционный или неревolutionный, смотря по надобности; о таких писателях нечего и говорить. Обратимся к тем мыслителям, которые занимались построением теорий более общих, к строителям метафизических систем, к собственно так называемым философам. Кант принадлежал к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами дальше: он не боится и террористических средств. Шеллинг — представитель партии, запуганной революцией, искавший спокойствия в средневековых учреждениях, желавший восстановить феодальное государство, разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами, оратором которых был Фихте. Гегель — умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выгодах (выводах? — Ю. С.), но принимающий для борьбы против крайней реакции революционные принципы, в надежде не допустить до развития революционный дух, служивший ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы говорим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений, как частные люди, — это было еще не очень важно, — но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических партий, к которым принадлежали авторы систем. Говорить, будто бы не было и прежде всегда того же, что теперь, говорить, будто бы теперь философы стали писать свои системы под влиянием политических убеждений, — это чрезвычайная наивность, а еще наивнее выражать такую мысль о тех мыслителях, которые занимались в особенности политическим отделом философской науки»¹.

¹ «Антропологический принцип». «Соч.», т. VI, стр. 180. — По поводу этого абзаца Плеханов (т. V, стр. 43) замечает: «Оставляя в стороне частности взглядов на того или другого мыслителя, можно сказать, что в приведенных словах обнаруживается очень глубокое понимание тех общественных условий, под влиянием которых совершается развитие философской и политической мысли».

После вышесказанного нас, конечно, не удивит, когда мы услышим от Чернышевского, что в основе политического брожения обыкновенно лежит недовольство социальное¹. Нас не поразит его фраза, как бы выхваченная из брошюр Маркса 1848—1849 г., что «соль и вино участвовали в падении Наполеона, Бурбонов и Орлеанской династии»². И мы не удивимся, читая у него рассуждение о причинах падения Рима, которое он вслед за Плинием объясняет изменением земельных отношений: «большепоместность разорила Италию — *latifundia perdidere Italiam*»³.

В отдельных статьях Чернышевского рассеяно много метких замечаний в духе исторического материализма. Так, относительно влияния права первородства и субституций на политическое устройство общества он указывает, что неминуемым следствием этих учреждений бывает образование земельной аристократии, быстро приобретающей больше силы, чем сколько остается у короны. «При субституциях и праве первородства, — говорит Чернышевский, — титул короля может сохраниться, но власть его исчезает, и государство, нося имя монархии, в сущности становится олигархической республикой»⁴. Мы не станем приводить отдельных замечаний в этом духе, рассеянных в статьях Чернышевского. Укажем только на то, что он называет правительство в современных конституционных государствах «комитетом, составленным из господствующей в нижней палате партии»⁵; а так как господствующая партия, по мнению Чернышевского, выражает интересы господствующего класса, то, как мы видим, Чернышевский вплотную подошел к формулировке знаменитого положения «Коммунистического Манифеста», что правительство есть комитет, назначенный господствующим классом для защиты его интересов.

Но Чернышевский применяет это положение не только к конституционным государствам. Про абсолютистскую Австрию он говорит: «Австрия сложилась известным образом; вследствие известных исторических событий господство над австрийской общественной жизнью при-

¹ «Июльская монархия». «Соч.», т. VI, стр. 63.

² «Кавеньяк». «Соч.», т. IV, стр. 33.

³ «Капитал и труд». «Соч.», т. VI, стр. 15. — Мы видим, что для Чернышевского не было секретом пагубное влияние латифундий на судьбы Рима.

⁴ «Борьба партий во Франции». «Соч.», т. IV, стр. 188.

⁵ «Рассказ о Крымской войне по Кинглэку». «Соч.», т. X, ч. II, стр. 63. Мы видим поэтому, сколько правды содержится в утверждении М. Антонова («Н. Г. Чернышевский», стр. 110), будто «вообще Чернышевский смотрит на правительство страны как на самостоятельную, исторически сложившуюся силу».

надлежало известным кругам общества, и сообразно с их интересами была устроена государственная машина; она по необходимости должна была действовать против элементов, не согласных с интересами господствующих сословий или кругов. Франц I и Меттерних были только органами этих коренных властей, составлявших своего рода парламент, хотя и без имени парламента, хотя и с враждою против такого названия»¹.

Чернышевский делает блестящее замечание относительно происхождения абсолютной монархии в результате классовой борьбы между высшими и низшими классами². «Все факты прошедшего говорят, что неограниченная форма монархии возникала из борьбы между аристократиею и демократиею, опираясь на демократию». В Греции тираны были предводителями демократов и добивались власти низвержением аристократического устройства тогдашних обществ. Императоры в Риме также вышли из предводителей демократической партии. То же самое было во всех новых государствах Западной Европы. Особенно ясно, по словам Чернышевского, это наблюдается в истории Франции: вся сила королей была приобретена борьбою против феодалов, в которой короли опирались на массу народа³. Подобное явление, гово-

¹ «Предисловие к нынешним австрийским делам». «Соч.», т. VIII, стр. 89 (1861 г.).

² «Борьба партий во Франции». «Соч.», т. IV, стр. 194 и сл.

³ Плеханов (т. VI, стр. 364) иронически напоминает мне, что такие же блестящие замечания мы можем встретить и у французских историков времен Реставрации, и у многих социалистов-утопистов, как С.-Симон, Луи Блан и т. д. Ну да, они во многом подходили к историческому материализму, и сам Плеханов не раз указывал на них, как на предшественников Маркса в этом отношении. Что же из этого следует?

Вообще по поводу таких возражений я должен сказать следующее. В конце своей статьи, направленной против первого издания моей книги, Плеханов (т. VI, стр. 369—370) спрашивает меня, знаю ли я, как анархист В. Черкезов доказывал, что Маркс и Энгельс были просто-напросто плагиаторами, заимствовавшими все свои главные мысли у различных социалистов-утопистов. Знаю. Но знаю также и то, что как раз этот метод сам Плеханов иногда применял по отношению к Чернышевскому. Конечно, нетрудно показать, что такая-то мысль Чернышевского встречается у Р. Оуэна, Гизо, Фейербаха и т. д.; но что этим доказывается? И опровергается ли этим хоть в малейшей степени значение Чернышевского в истории социализма, выясняется ли этим его действительная литературная физиономия? Нисколько. Ведь после долгой полемики с моей книгой, Плеханов в конце своей статьи сам должен был признать: «Усваивая идеи Фейербаха, мысль Чернышевского шла по тому пути, идя по которому нельзя было не притти, при новых исторических условиях, к точке зрения научного социализма.

рит Чернышевский, продолжается до сих пор в тех государствах Западной Европы, где сохраняется неограниченная монархия. Австрия победила конституционные стремления только тем, что в 1848—1849 годах была поддержана демократическими слоями своих восточных областей против аристократических венгров, составлявших главную силу конституционной партии. Таких фактов, когда австрийский абсолютизм торжествовал над своими внутренними врагами только силою низших сословий, бесчисленное множество в его истории. Чернышевский приводит два случая. Когда галицийские аристократы стали страшны для австрийского правительства, Вена натравила на них в 1846 году русинских крестьян, которые задавили антиправительственное движение. Через два года Кудлич на Венском сейме отвергал всякую мысль о примирении своего сословия с тем классом, который сильнее всего поддерживал конституционные стремления. С другой стороны, замечает Чернышевский, история конституционных правительств показывает, что они держались преимущественно силою аристократии¹. В пример он приводит Англию. Вплоть до последнего времени абсолютизм мог апеллировать к низшим классам, а последние готовы были поддерживать его из вражды к зажиточным и образованным слоям, в которых простой народ привык видеть своих эксплуататоров. Чернышевский рассказывает, как во время Реставрации либеральные газеты с отвращением отвергали мысль о том, чтобы опереться на низшие классы, и как один из роялистских журналистов, смеясь над стремлениями либералов доставить власть буржуазии, писал: «Либералы не хотят ни владычества солдат, ни владычества мужиков; они хотят владычества купцов. Но чем же мужики хуже купцов? Пусть либералы подумают, что против купцов можно поставить мужиков».

Этого достаточно, чтобы обеспечить ему одно из самых почетных мест в истории русской общественной мысли». Но именно это я и доказывал в своей книге о Чернышевском. И если я принужден был при этом нередко полемизировать с своим учителем Плехановым, то лишь потому, что в своей работе о Чернышевском, написанной за 20 лет до того, он подошел к оценке Чернышевского с неправильным критерием и потому не сумел указать его место в истории социалистической мысли. Что это так, видно из тех существенных поправок, которые Плеханов впоследствии принужден был внести в свою оценку Чернышевского (см. об этом предисловие Д. Рязанова к пятому тому сочинений Г. Плеханова).

¹ Здесь Чернышевский явно делает неверное эмпирическое обобщение благодаря неполноте данных, с которыми он оперирует (он имеет в виду, главным образом, Англию и Венгрию). Сильное впечатление производил на Чернышевского политический индифферентизм крестьянских масс, и это также отразилось на односторонности его обобщения.

Действия масс, настроению и движению которых Чернышевский придает в истории решающее значение¹, он объясняет их экономическим положением. Он насмехается над умеренными республиканцами 1848 г. за то, что «они воображали, что умозаключения, а не интересы руководят людьми»². Масса людей, говорит Чернышевский, имеет взгляды сообразные с тем, чего требуют ее действительные или только кажущиеся ей выгоды. В пример он приводит международные отношения и «классификацию людей по экономическому положению», под которой он в данном случае понимает отношения различных производительных групп, например, производителей сырья и производителей мануфактурных товаров: первые, скажем — производители хлеба, находят справедливым, чтобы другие страны допускали ввоз хлеба этой страны беспошлинно, и столь же справедливым, чтобы ввоз хлеба в их страну был запрещен или стеснен; производители мануфактурных товаров с своей стороны находят справедливым, чтобы иностранный хлеб допускался в их страну беспошлинно³.

Человечество, как утверждает Чернышевский, идет к учреждению всеобщей ассоциации, основанной на любви, к организации промышленности, к замене конкуренции товариществом, союзом. «Но совершенно напрасно ожидать, — прибавляет он, — что основанием этого союза может служить любовь: любовь бывает только результатом,

¹ Вот, напр., интересное место, показывающее, какое значение Чернышевский придавал в истории массам: «Мы видели, из чего происходили волнения, смущавшие Францию при июльской монархии (Чернышевский имеет в виду волнения рабочих), — источником всех их и самого июльского переворота был тот же самый факт, который служил причиною всех важных событий французской истории с конца прошлого века. Либералы, совершившие июльский переворот, не могли бы ничего сделать, если бы не помогали им парижские простолюдины. Те же простолюдины давали силу людям, низвергнувшим старинное французское устройство в конце прошлого века. Они же давали силу Наполеону, пока считали его своим защитником от возвращения старого порядка дел. Когда они убедились, что Наполеон действует в свою, а не в их пользу, они покинули его, и только охлаждение массы к Наполеону дало возможность низвергнуть его в 1814 году. Когда она увидела, что при Бурбонах не стало для нее лучше, чем было при Наполеоне, она низвергнула их в надежде приобрести нечто лучшее без них. Источником всей силы, какую имело то или другое французское правительство, бывала надежда массы, что оно благоприятно для нее; недовольство ее своим положением было всегда причиною катастроф» («Июльская монархия», *loc. cit.*, стр. 126).

² «Кавеньяк». «Соч.», т. IV, стр. 32.

³ Рецензия на «Начала народного хозяйства» В. Рошера. «Соч.», т. VIII, стр. 137.

возникающим из согласия интересов»¹. Когда масса сознает все выгоды ассоциации, она в своих интересах преобразует современное общество, основанное на принципе соперничества, в общество, основанное на солидарности. Это, конечно, еще не марксизм, но довольно близко к нему.

5. Борьба классов

Итак, основной фактор исторического развития нам известен. Остается вопрос о его формах и действующих силах. Полемизируя против Чичерина, предостерегавшего русское общество от расположения к борьбе, Чернышевский утверждает, что его противнику чуждо понимание форм, по которым движется общественный прогресс. «До сих пор история не представляла ни одного примера, когда успех получался бы без борьбы». Значит, в истории всегда была борьба². Но кто же боролся? Чернышевский отвечает: общественные классы. Правда, иногда он вместо слова «класс» употребляет выражение «сословие», но это не должно сбивать нас с толку, так как в большинстве случаев совершенно ясно, что Чернышевский говорит именно о классах³.

В статье «Капитал и труд» Чернышевский показывает, что в основе древней истории лежала борьба классов. В Афинах, по его мнению, в этой борьбе преобладал чисто-политический элемент: эвпатриды и демос боролись почти исключительно за или против распространения политических прав на массу демоса⁴. В Риме гораздо силь-

¹ «Июльская монархия». «Соч.», т. VI, стр. 137.

² «Г. Чичерин как публицист». «Соч.», т. IV, стр. 468.

³ Не забудем, что термин «третье сословие» не вышел из употребления: до сих пор, а термин «четвертое сословие» был очень популярен среди европейских социалистов даже и после Чернышевского. Кроме того, на это словопотребление не осталось, вероятно, без влияния и социальное строение царской России, где понятия «сословие» и «класс» в значительной степени покрывали друг друга. Вообще же Чернышевский употребляет эти термины безразлично. То же отмечает и Плеханов (т. V, стр. 258): «Имея в виду общественные классы, Чернышевский всегда (?) употребляет, однако, термин сословие». Уже в дневнике студенческой поры Чернышевский употреблял термин «класс».

⁴ Совершенно ясно, что Чернышевский здесь ошибается, но это ошибка случайная, так как он же обыкновенно доказывает, что в основе политической борьбы лежит столкновение экономических интересов. — Впрочем, и у Энгельса мы встречаем такую фразу: «По крайней мере, в новейшей истории государство, политический строй является подчиненным элементом, а гражданское общество, область экономических отношений имеет решающее значение» (loc. cit., стр. 57). Будто так обстоит дело только «в новейшей истории»? Это, конечно, обмолвка.

нее выступает на первый план борьба за экономические интересы; спор о сохранении общественной земли, об ограждении пользования ею для всех, имеющих на нее право, идет рядом с борьбой за участие в политических правах и наполняет собою всю римскую историю до самого конца республики. «В новом мире экономическая сторона равноправности достигает, наконец, полного своего значения и в последнее время политические формы главную свою важность имеют уже не самостоятельным образом, а только по своему отношению к экономической стороне дела, как средство помочь экономическим реформам или задержать их»¹.

В новой истории, говорит Чернышевский, процесс развития не только обширнее и глубже, но и многосложнее, чем в классической древности. В отличие от античного мы находим в новом обществе не два², а три класса, каждый из которых имеет свою политическую и свою экономическую систему. «Высшее сословие с экономической стороны представляется сословием поземельных собственников» (ясно, что Чернышевский говорит о классе). Далее следует блестящий анализ идеологии этого класса. При его владычестве, говорит Чернышевский, господствует теория приобретения богатств посредством насилия. В отношении к чужим народам эта цель достигается войною, в своей собственной стране посредством права владельца на собственность людей, населяющих его землю, словом, посредством того, что в Западной Европе называлось феодальными учреждениями. Характер этого быта не допускал высокого экономического развития, потому и экономическая наука была мало развита, «но все-таки те времена имели свою экономическую теорию». Она выражалась в том, что человеку свободному (по-настоящему свободным был тогда только феодал) не следует заниматься производством; он должен быть только потребителем. Масса его соотечественников и все остальные народы существуют только для того, чтобы производить для него, а не для себя предметы потребления. На этой почве и возникла меркантильная теория. «Сущность ее, — по словам Чернышевского, — состоит в том, чтобы брать у других, не давая им ничего взамен». В те времена, при слабом развитии кредита, звонкая монета должна была, конечно, иметь всю ту важность, какая ныне принадлежит биржам, банкирам и вексельным оборотам. Отсюда и меркантильное учение о торговом балансе, рекомендовавшее стремиться к усилению ввоза драгоценных металлов в страну и к уменьшению их вывоза.

¹ «Соч.», т. VI, стр. 23 и сл.

² И в древнем Риме было не два, а три класса, но это несущественно.

Вторым классом является так называемое среднее сословие, класс владельцев движимого капитала. Усиление этого сословия привело к низвержению феодальных учреждений. В Англии среднее сословие достигло такого положения в половине XVII века, когда разразилась революция, во время которой были уничтожены важнейшие из феодальных учреждений. Главные феодальные повинности были отменены при Кромвеле, и по возвращении Стюартов им было поставлено условие, чтобы они признали законность этой реформы. Благодаря особенному стечению обстоятельств между английской аристократией и средним сословием установился своего рода компромисс, в результате которого в Англии сохранились многие феодальные учреждения, а также очень сильное влияние высшего сословия на политические дела. Земля осталась в руках аристократии; аристократы в качестве лэндлордов сохранили господство над общественными делами сельского населения и значительное участие в составе палаты общин, которая добилась главной власти в государстве. Благодаря своей уступчивости аристократия надолго сохранила фактическое преобладание в государстве, и только после целого ряда постепенных политических завоеваний среднее сословие действительно добилось господствующего положения. Это произошло во второй половине XVIII века, и к этому же времени относится и «возникновение новой экономической теории, до сих пор пользующейся привилегией на имя политической экономии, как будто она — единственная теория экономических учреждений». Дух ее, по словам Чернышевского, совершенно соответствует положению среднего сословия в обществе и роду его занятий. Среднее сословие составляют хозяева промышленных заведений и торговцы; потому важнейшим из экономических явлений школа Адама Смита признает расширение размеров фабрик, заводов и вообще промышленных заведений, имеющих одного хозяина с массой наемных рабочих, и развитие обмена. Классовое происхождение классической политической экономии обуславливает ее основные черты: заботу не о развитии производства вообще, а о развитии производства специально в капиталистической его форме, а также о неограниченном владычестве конкуренции.

Третьим классом является рабочий класс. «Из трех элементов, участвующих в производстве ценностей, недвижимая собственность и в особенности земля принадлежит высшему классу, не участвующему прямым образом в производстве; оборотный капитал вносится в производство средним классом, так называемыми антрепренерами, мануфактуристами, заводчиками и фермерами; труд почти весь совершается простым народом, который в политическом отношении до сих

пор служил только орудием для среднего и высшего сословий в их взаимной борьбе, не сохраняя постоянного независимого положения в политической истории».

Итак, для Чернышевского было ясно, что современные общественные классы складываются в процессе производства: трем элементам производства — земле, капиталу и труду — соответствуют три основных класса современного общества: землевладельцы, буржуазия и рабочие. В примечаниях к Миллю он определенно указывает, что в общем и целом взаимные отношения этих трех классов обуславливаются трехчленным делением продукта на ренту, прибыль и заработную плату. «Рента стремится подчинить себе прибыль и рабочую плату, — в переводе на действительные факты это значит, что лэндлорд враждебен самостоятельности фермера и работника... Прибыль стремится поглотить рабочую плату; это значит, что капиталисту нужно держать работника в такой же зависимости от себя, в какой лэндлорду нужно держать и капиталиста, и работника. История всех цивилизованных стран — одно непрерывное свидетельство постоянства этой тенденции... Интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. Против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками... Интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и сословие работников, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом»¹.

Но с высшим сословием, замечает в другом месте Чернышевский, средний класс, несмотря на взаимную борьбу, находится в отношениях, более приятных, чем с простым народом². Во-первых, буржуазия, хотя не везде еще одержала полную победу над высшим классом, чувствует, что она сильнее его, и что в конечном счете ее победа над

¹ «Соч.», т. VII, стр. 415. — По поводу этих слов Плеханов (т. V, стр. 260) замечает: «Тут взгляды нашего автора поразительно совпадают со взглядами Маркса и Энгельса». В другом месте (стр. 42) он по тому же поводу заявляет, что «под этими строками охотно подписался бы любой из современных материалистов-диалектиков. Тем более охотно, что приведенный взгляд Чернышевского на причину борьбы «среднего сословия» с «народом» в другом месте его «Очерков» поясняется еще указанием на гибель мелкой промышленности и мелкой поземельной культуры и на неотвратимое торжество крупных капиталистических предприятий, как в промышленности, так и в земледелии». Это верно. Но как же быть с приведенным выше утверждением того же Плеханова, будто в исторических взглядах Чернышевского случайности отводилось очень видное место?

² «Соч.», т. VI, стр. 26—28. «Капитал и труд».

ним обеспечена всем ходом общественного развития. Далее, капиталисты и землевладельцы связаны между собою одинаковым образом жизни и личными связями; во многих же случаях аристократы занялись промышленной деятельностью, а капиталисты обратили часть своих движимых капиталов в недвижимую собственность. Но главная причина этого явления, по словам Чернышевского, заключается в том, что оба эти класса объединяются фактом присвоения прибавочной стоимости и таким образом противопоставляются классу, производящему эту прибавочную стоимость. В области производства, говорит Чернышевский, их интересы противоположны, так как капиталист получает свою прибыль в процессе производства и обмена продуктов, тогда как собственник-феодал получает ренту, ничего не давая в обмен. Но главную роль играет «существенная одинаковость их положения в деле распределения ценностей в нынешнем порядке». С этой точки зрения, т. е. по распределению ценностей, общество, говорит Чернышевский, распадается на 2 разряда: «экономическое положение одного из них основывается на том, что в руках каждого из его членов остается количество ценностей, производимое трудом многих лиц второго разряда; экономическое положение людей второго разряда состоит в том, что часть ценностей, производимых трудом каждого из его членов, переходит в руки лиц первого разряда». Эта общность интересов высшего и среднего «сословий» по отношению к массе служит самым твердым залогом снисходительности промышленников к землевладельцам и основой их коалиции против рабочего класса.

В литературе указывалось, что Чернышевский, говоря о пролетариате, часто употребляет слово «простолюдин», и что употребление этого слова свидетельствует о некоторой туманности его понимания. Мы не думаем, конечно, отрицать, что во многих отношениях взгляды Чернышевского на историческое призвание и роль пролетариата не достигли еще той ясности и определенности, которая свойственна современному научному социализму. Но при всем том нельзя сказать, чтобы в общем и целом Чернышевский не сумел составить себе довольно верного взгляда на значение пролетариата в современном обществе, на его отношение к буржуазии и другим классам, в частности к крестьянству, и на его роль как исторического носителя социализма. Если Чернышевский часто употреблял слово «простолюдин», то это, во-первых, несомненно объяснялось отчасти цензурными соображениями (ведь даже и после революции 1905 года, во время столыпинской «конституции», редакторы либеральных и радикальных газет и журналов просили сотрудников не употреблять слово «пролетариат», а заменять его каким-нибудь другим!); во-вторых, это был своеобразный

руссифицированный перевод слова «пролетарий», Чернышевскому хорошо известного, а, в-третьих, Чернышевский часто употреблял это слово просто для того, чтобы в уме читателя делаемые автором выводы применялись к России. Само собою разумеется, что уровень экономического развития тогдашней России и классовый состав тогдашнего ее населения также не остались здесь без известного влияния.

Правда, у Чернышевского встречается выражение «язва пролетариата», но употребляет он собственно это выражение во время полемики с буржуа-западниками, склонными усматривать в Западной Европе чуть ли не рай и не желающими критически отнестись к отрицательным сторонам западно-европейских отношений¹. Чернышевский говорит о физическом вырождении населения под влиянием капитализма, о неравномерном и несправедливом распределении богатств, об отсталости французского земледелия, о господстве суеверий в массе населения, о слабости науки и отсутствии классового самосознания у рабочих, словом, о той отвратительной и гнетущей обстановке эпохи Второй Империи, когда интеллигентный буржуазный слой населения, «поставленный между страхом вулканических сил народной массы и происками интриганов, пользующихся рутинною и невежеством, предавался своекорыстным стремлениям по невозможности осуществить свой идеал, или бросался в излишества всякого рода, чтобы заглушить свою тоску». Чернышевский мог в интересах более верной защиты общинного землевладения ставить русскому обществу на вид угрожающую народу пролетаризацию. Но ведь и марксисты, возражавшие против столыпинских аграрных мероприятий, прибегали к аналогичному аргументу (не по форме, конечно, а по существу).

Значит ли это, что Чернышевский не имел ясного понятия о пролетариате и его историческом значении? Внимательное изучение его сочинений убеждает нас в обратном. Чернышевский был горячим и убежденным коммунистом; Чернышевский прекрасно понимал, что историю делают массы; Чернышевский знал, что общественные классы приводятся в движение экономическими интересами. Должен же был он искать в действительности какого-нибудь класса, который был

¹ «Заметки о журналах» («Русская Беседа» и славянофильство), апрель 1857 г. «Соч.», т. III, стр. 151. — В то время Чернышевский еще надеялся, что «лучшие представители» славянофильства, на которых правительство смотрело довольно косо, пойдут с демократами рука об руку по некоторым вопросам (в частности по вопросу о политической свободе и обеспечении народного благосостояния). Скоро он в этом разочаровался.

бы заинтересован в осуществлении социалистического строя. В этом отношении он не мог рассчитывать ни на крупных землевладельцев, ни на капиталистов; относительно западно-европейских крестьян — мелких собственников он неоднократно высказывался, что они враждебно настроены к социализму и коммунизму. Итак, даже путем простого исключения оставался один только пролетариат. Но Чернышевский и не нуждался в таких логических операциях. Если бы внимательный анализ фактов не привел его к убеждению, что пролетариат является историческим носителем социализма, то в силу свойственной ему идейной честности он открыто заявил бы, что считает социализм неосуществимой мечтой. Но таких заявлений делать ему не приходилось по той простой причине, что он хорошо понимал историческое призвание пролетариата.

Июньских борцов 1848 г. Чернышевский определенно называет пролетариями¹. Но что такое пролетарий? Быть может, Чернышевский разумел под ним просто бедняка или того же «простолюдина»? А вот послушаем самого Чернышевского. Издеваясь над Вернадским за его фразу, что во Франции «множество пролетариев имеют недвижимую собственность», Чернышевский пишет: «Мы осмеливаемся спросить, каким же образом могла произойти такая странность? Сколько нам случалось читать экономистов, пролетарий всегда означает у них человека, не имеющего собственности; это вовсе не то, что просто бедняк; да, экономисты строго различают это понятие: бедняк просто — человек, у которого средства к жизни скудные, а пролетарий — человек, не имеющий собственности. Бедняк противопоставляется богачу, пролетарий — собственнику. Французский поселянин, имеющий 5 гектаров земли, может жить очень скудно, если земля его дурна или семейство его слишком многочисленно, но все-таки он не пролетарий; напротив, какой-нибудь парижский или лионский мастеровой работник может жить в более теплой и удобной комнате, может есть вкуснее и одеваться лучше, нежели этот поселянин, но все-таки он будет пролетарием,

¹ В другом месте («Июльская монархия». «Соч.», т. VI, стр. 145) он, говоря о бывших сен-симонистах, пишет, что они лучше других либералов и радикалов знали, «какие преобразования материальных отношений нужны для удовлетворения потребностям беднейшего и многочисленного класса, для его успокоения, т. е. для успокоения всего французского общества, снова начинавшего потрясаться волнениями пролетариев, совершивших переворот в конце прошлого века». — О роли пролетариев во время французской революции Чернышевский мог узнать хотя бы у Сен-Симона, у Луи Блана и т. д.

если у него нет ни недвижимой собственности, ни капитала, и судьба его исключительно зависит от заработной платы»¹. Эти слова Чернышевского показывают, насколько выше он стоял таких эпигонов народничества, как например В. Чернов, никогда не бывший в состоянии усвоить разницу между бедняком и пролетарием. Они же показывают, почему он считал «пролетарство... за язву, более тяжелую для народной жизни, нежели простая бедность». Чернышевский имел в виду необеспеченность существования, которая в случае безработицы, болезни или старости обрекала пролетария на голодную смерть. Эта необеспеченность существования особенно ужасна была в то время, в период отсутствия профессиональных организаций (кроме Англии) и отсутствия страхования рабочих.

Но то обстоятельство, что Чернышевский признавал пролетариат социальной язвой (смысл этого признания мы уже объяснили), отнюдь не означает, чтобы он не понимал великого исторического значения этой самой «язвы». В статье о Studien Гакстгаузена, в которой он между прочим признает общину признаком нашей отсталости, а сохранение ее в России считает следствием невыгодных обстоятельств нашего исторического развития, в этой замечательной статье содержится еще другое глубокое указание Чернышевского, свидетельствующее о проницательности этого великого ума. Говоря о том, что экономическое развитие Западной Европы породило страдания пролетариата, он выражает уверенность в конечной победе этого класса, а самое его появление об'являет фактором исторического прогресса. «Мы нимало не сомневаемся в том, — говорит он, — что эти страдания будут исцелены, что эта болезнь не к смерти, а к здоровью»². Пролетарии не успокоятся, пока не добьются удовлетворения своих требований, и вот почему капиталистическим нациям предстоят новые смуты, жесточайшие прежних. «С другой стороны, — говорит Чернышевский, — число пролетариев все увеличивается, и, главное, возрастает их сознание о своих силах и проясняется их по-

¹ «О поземельной собственности». «Соч.», т. III, стр. 418 (1857 г.). — «Изучая западно-европейские общественные отношения, — пишет Плеханов (т. V, стр. 62), — Чернышевский, можно сказать, невольно приходил к тому выводу, который лег впоследствии в основу программы Интернационала и который гласит, что освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих. Тем не менее, взгляд нашего автора на исторические задачи рабочего класса отличается такою неясностью, которая может показаться странною читателю нашего времени. Чернышевский не выделяет пролетариата из общей массы страдающего и угнетенного народа». Все содержание этого параграфа служит опровержением утверждения Плеханова.

² «Соч.», т. III, стр. 303 (1857 г.).

нятие о своих потребностях»¹. Скажите откровенно, читатель, эта фраза не напоминает вам ничего из «Коммунистического Манифеста»?².

Приводя цитату из «Экономического Указателя» Вернадского о брожении среди европейских рабочих, Чернышевский продолжает: «Помнили ли вы, что говорит ваш журнал, и если помнили, понимали ли? «Рабочий класс в Западной Европе волнуется, требуя применения начал товарищества к своему труду, все резче и резче провозглашая потребность работы от правительства и общих мастерских». Ясен или нет смысл движения? Что сказано этим? Сказано то, что в рабочем классе Западной Европы все более и более развивается убеждение в необходимости *droit au travail, ateliers nationaux*, развивается идея Люксембургских конференций. Ясно ли это для вас, г. И. В—ский? Но какова сила этого движения? «Открыт заговор, обнимающий всю восточную половину Западной Европы, простирающийся от Берлина до Бельгии и Швейцарии», — не беспримерно ли по громадности такое явление? Да что тут говорить, вы сами сравниваете его с «лигой против хлебных законов», — т. е. с могущественнейшим и разумнейшим и успешнейшим из всех стремлений Англии в последнее 25-летие. Вы в своем журнале придаете такую силу и глубину этому движению, что характеристика, доставляемая вами, далеко превосходит резкостью те слова, которыми выражались мы об этом движении. Мы говорили об Англии и Франции, вы прибавили сюда Бельгию, Швейцарию и Германию. Мы говорили, что это движение сильно, — вы сравнили его в настоящее время по силе с могущественнейшим из всех событий и стремлений новейшей английской истории и прибавили, что это еще только зародыш, который развивается, а когда он разовьется, так еще не то будет»³.

¹ «О поземельной собственности». «Соч.», т. III, стр. 455 (1857 г.).

² Кстати, для Чернышевского не была тайной указываемая «Коммунистическим Манифестом» реакционная роль лумпен-пролетариата. В своих политических обзорах он упоминает и о «белых блузах» бонапартистов, и об итальянских лаццарони, которые служили «неизменной опорой Бурбонов» и выступали в союзе с полицией («Соч.», т. VI, стр. 585—587).

³ Ibid., стр. 457. — По словам Плеханова (т. V, стр. 87—88), в политических обзорах Чернышевского «с особой силой сказывается его выдающийся ум и его трезвый взгляд на вещи. В них он почти никогда не отступает от того бесспорного положения, что «ход истории определяется реальными соотношениями сил», и, исходя из него, делает точный анализ внутренних пружин современной ему политической жизни цивилизованных стран... Не предвидел и не предсказал он только той выдающейся политической роли, которую в самом близком будущем... пред-

Не следует забывать, что во времена Чернышевского самостоятельное классовое движение пролетариата было еще крайне слабым. За исключением Франции и отчасти Англии его почти совсем не существовало, да и в этих двух странах к тому времени, когда Чернышевский выступил на литературное поприще, это движение временно замерло и почти свелось на-нет. И тем не менее Чернышевский прекрасно понимал, что выделение пролетарской струи из общего политического движения, направленного против старого режима, составляет историческую необходимость, и внимательно отмечал все признаки такого обособления чисто пролетарского движения.

С лихорадочным вниманием следил он за возобновлением классового движения пролетариата, ожидая от него возрождения европейской революции. Но, повидимому, цензурные условия того времени мешали ему подробнее говорить об этом предмете. Так, в сентябрьском политическом обзоре за 1859 г. он писал по поводу знаменитой забастовки английских строительных рабочих, давшей толчок к зарождению нового трэд-юнионизма, а отчасти и к основанию Интернационала: «Больше всего общественное внимание (Англии) занято в последнее время колоссальною распреею между лондонскими строительными подрядчиками и их рабочими, которые требовали сокращения работы с десяти часов в день на девять часов. Теперь этот величественный эпизод борьбы между капиталом и трудом приближается к окончанию, и в одной из следующих книжек, мы представим отдельную статью о нем»¹. Увы! Обещанная статья не появилась, и ясно, что это случилось по вине цензуры, а не потому, чтобы Чернышевский не понимал значения пролетарского движения и в частности строительной забастовки, которую он назвал величественным эпизодом борьбы между капиталом и трудом. В октябрьском обзоре о ней сказано было еще несколько слов², а затем Чернышевскому, видимо, пришлось отказать от этой запретной темы³.

стояло взять на себя рабочему классу во всех передовых странах». Приводимые нами цитаты из сочинений Чернышевского в достаточной мере опровергают и это утверждение Плеханова.

¹ «Соч.», т. V, стр. 397.

² Ibid., стр. 432.

³ «Годы, решительные для развития Чернышевского, — пишет Плеханов (т. V, стр. 68), — относятся к тому времени, когда европейский пролетариат, подавленный после революции 1848 года, не подавал никаких признаков политической жизни. Наблюдая его со стороны и не (?) имев возможности познакомиться с движениями пролетариата в предшествующую эпоху, Чернышевский естественно не имел повода задуматься об его исторической роли».

«Не имел повода задуматься!» Правда, что бумага все терпит.

Чернышевский указывает, что в те времена, когда складывалась буржуазная экономическая теория, у рабочего класса ни в Англии, ни во Франции не замечалось никаких стремлений к самостоятельному историческому действию, и рабочий класс выступал в тесном союзе с средним сословием, которое пользовалось помощью «простолюдинов» для своей борьбы с высшим сословием. Это были времена, говорит Чернышевский, когда Вольтер и Даламбер покровительствовали Жан-Жаку Руссо; когда откупщик Гельвеций был амфитрионом всех прогрессистов. «Французские энциклопедисты воображали, что народу не нужно ничего иного, кроме тех вещей, которые были нужны для буржуазии, и сам народ не замечал еще тогда, что его потребности не во всем сходны с интересами среднего сословия, шедшего тогда во главе его на общую борьбу против феодалов... То были времена, когда требования среднего сословия выводились из демократических принципов и оживлялись мыслями, говорившими о человеке вообще, а не о торговце, фабриканте или банкире»¹.

С той поры, говорит Чернышевский, положение дел изменилось. В 1789 году ученики Монтескье подавали руку ученикам Руссо и аплодировали парижским рабочим и ремесленникам, штурмовавшим Бастилию, а через несколько лет они уже составляли заговоры для восстановления Бурбонов. Во время Реставрации они опять соединились на некоторое время с народом для общей борьбы с поднимавшим голову феодально-абсолютистским режимом, но с 1830 года разрыв между буржуазией и пролетариатом «стал окончательным и безвозвратным». В 1848 г. среднее сословие постоянно действовало заодно с аристократией. В Англии этот разрыв между буржуазией и народом не так заметен для поверхностного наблюдателя, потому что победа среднего сословия над феодалами еще не так полна, и оно принуждено было прибегать к помощи простого народа при проведении парламентской реформы в 1832 г. и при уничтожении хлебных законов в 1846 г. «Но и в Англии мы видим, что работники составляют между собою громадные союзы для самостоятельного действия в политических и особенно экономических вопросах».

Правда, партия чартистов, представляющая, по мнению Чернышевского, интересы рабочего класса, иногда выступает рука-об-руку с буржуазными радикалами, особенно в области политических требований. «Но, несмотря на эти союзы, среднее сословие и работники издавна держат себя уже и в Англии как две разные партии, требо-

¹ «Капитал и труд». «Соч.», т. VI, стр. 28 и сл. (1860 г.) — Это несколько напоминает упреки Маркса по адресу Фейербаха (на счет «человека вообще»).

вания которых различны. Открытая ненависть между простолюдинами и средним сословием во Франции произвела в экономической теории коммунизм. Английские писатели утверждают, что после Оуэна коммунизм не находил значительных представителей в их литературе, и это отсутствие смертельной вражды между теоретиками соответствует отсутствию непримиримой ненависти между английскими работниками и средним сословием. Но если английские экономисты не находят в своей литературе современных мыслителей, подобных Прудону, то в практике промышленные союзы работников (трэд-юнионы) представляют очень много соответствующего теориям, которые у французов называются коммунистическими». Типичным для тогдашней Англии является, по мнению Чернышевского, Джон-Стюарт Милль, пытающийся примирить буржуазную экономию с коммунизмом¹.

Подобно Марксу, Чернышевский с особенным блеском применил свой материалистический метод к анализу событий французской истории первой половины XIX века. Написанные им по этому поводу три статьи: «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», неоконченная «Июльская монархия» и «Кавеньяк» до сих пор сохраняют свое значение по глубокому и мастерскому анализу классовых отношений и конфликтов рассматриваемой эпохи. Сравнивая эти статьи Чернышевского и соответствующие брошюры Маркса «Классовая борьба во Франции» и «18-е Брюмера Луи Бонапарта», получаешь такое впечатление, что Маркс дал нам отделанную и обработанную в деталях статью, а Чернышевский представил незаконченный набросок, гигантскую глыбу, которая своими могучими контурами производит во всяком случае не меньшее впечатление. Во многих местах читателя поражает почти полное совпадение мыслей и даже выражений у обоих мыслителей. И если принять во внимание, что Маркс наблюдал описываемые события почти непосредственно, а часто и сам стоял в центре этих событий, тогда как Чернышевский смотрел на них со стороны, зачастую не располагая достаточными источниками и пособиями, то фигура нашего мыслителя еще рельефнее вырисовывается во весь свой рост.

Подобно Марксу, Чернышевский отказывается «верить именам и официальным прозвищам» политических партий², предпочитая определить их истинный характер посредством анализа их действительных

¹ Кстати, он воспользовался случаем и, говоря о проектах избирательной реформы в Англии, напечатал в январском обзоре 1859 года знаменитую «Народную хартию» («Соч.», т. V, стр. 519).

² «Борьба партий во Франции». «Соч.», т. IV, стр. 161.

поступков и интересов, лежащих в основе их действий. Он показывает, что действия роялистов или легитимистов определялись вовсе не их преданностью королю, а пользами аристократии и интересами крупных землевладельцев; он напоминает, как эмигранты прямо говорили, что для блага Франции надо желать смерти Людовика XVI, который не умеет управлять государством сообразно с интересами аристократии, и как их тайные агенты подстрекали парижских санкюлотов требовать казни короля. Он подробно рассматривает действия роялистов в эпоху Реставрации и доказывает, что «под официальными фразами их о преданности престолу скрывается непреклонная решимость управлять Францией исключительно в интересах эмигрировавшей аристократии и постоянно вынуждать у короля беспрекословное повиновение ей». Когда же король не желал всецело подчиняться крайним реакционным требованиям «истинных французов», роялисты открыто отказывали ему в повиновении, поднимали гвалт против «деспотизма» и требовали «свободы», не останавливаясь перед жесточайшей травлей консервативных министров, если они не хотели быть пешками в их руках.

С таким же ножом холодного анализа Чернышевский подходит и к действиям либеральной партии в эпоху Реставрации. Он показывает, что ее любовь к свободе была просто лицемерной маской, скрывавшей определенные классовые вождедения, т. е. защиту интересов промышленности и торгового капитала. Когда самовластие казалось для них выгодно, они умели быстро забывать все свои разглагольствования о свободе. Но в полном блеске их уважение к свободе выразилось после 1830 года, когда власть перешла в их руки. Самые горячие роялисты 20-х годов, говорит Чернышевский, не заходили так далеко в деле поправки свободы, как Тьер, Гизо и вся их партия в 1832 и 1835 годах и как умеренные республиканцы в 1848 году.

«В чем же, — спрашивает Чернышевский, — заключается действительное стремление партий, из которых одна выдавала себя защитницей монархической власти, другая — свободы? Они заботились об интересах, гораздо более близких им, нежели престол или свобода. Люди, называвшиеся роялистами, просто хотели восстановить привилегии, которыми до революции пользовалось дворянство и высшее духовенство, потому что сами эти люди были из высшего дворянства. Либеральную партию составляли люди среднего сословия: купцы, богатые промышленники, нотариусы, покупщики больших участков конфискованных имений, — словом, тот самый класс, который позднее сделался известен под именем буржуазии; революция, низвергнув аристократические привилегии, оставила власть над обществом в его руках; он хотел сохранить власть.

«В той и другой партии этим задушевным стремлениям были подчинены все другие отношения, между прочим и отношения к королевской власти. Стоило королю показать расположение к среднему сословию, — роялисты начинали проклинать короля, кричать против деспотизма, а либералы рукоплескали самым насильственным распоряжениям королевской власти и рвали в клочки конституцию; разумеется, когда, наоборот, король поддерживал феодальные стремления аристократов, роялисты начинали кричать о неприкосновенности и неограниченности королевской власти, а либералы говорили, что умрут, защищая конституцию».

Борьба между «двумя партиями, на которые разделялись средний и высший классы», должна была по словам Чернышевского закончиться победой либеральной партии, представлявшей экономически более сильный класс. «В руках либералов была вся торговля, вся промышленность Франции, они властвовали на бирже, они располагали кредитом. От Лафита, богатейшего банкира тогдашней Франции, до последнего лавочника или хозяина какой-нибудь маленькой мастерской, все буржуа были проникнуты либерализмом. На стороне роялистов была только большая поземельная собственность; но если каждый роялистский землевладелец в отдельности был богаче либерала-землевладельца, владевшего имением средней величины, то массе либералов, даже и из поземельной собственности, принадлежала часть более значительная, нежели массе роялистов, потому что при раздробленности имений вследствие революционных продаж участки средней величины занимали более значительное пространство территории, нежели огромные поместья, уцелевшие от феодальных времен»¹.

Исход этой борьбы, завязавшейся между силами исторического прошлого и буржуазией, неожиданно был решен внезапным вмешательством новой силы, на которую, по словам Чернышевского, никто не рассчитывал, а именно вмешательством народа. Хотя либералы, как указывает наш автор, меньше всего заботились о народных интересах, но народная масса примкнула к либералам, защищавшим революционные учреждения, дорогие народу. Разразилась июльская революция, во время которой народ побил врагов своих врагов, доставил буржуазии власть, но сам не получил ничего.

Добившись власти с помощью народа, либеральная буржуазия ничего не хотела сделать для него; она не хотела даже довести до конца борьбу с силами старого режима. Парижские рабочие требовали смерт-

¹ Ibid., стр. 201

ной казни для министров Карла X, подписавших июльские ордонансы об отмене политических свобод; правительство Луи-Филиппа принимало все меры к тому, чтобы спасти черносотенных министров от заслуженной кары. На этой почве произошел первый конфликт между рабочими и буржуазией. Во время суда над министрами началось брожение среди рабочих, а после приговора, осудившего министров Карла X на вечное заключение, на площади Пантеона было развернуто «черное знамя, символ пролетариев»¹. Рабочие обнаружили нерешительность и неспособность вести борьбу без предводителей, а «студенты и прежние июльские предводители народа были на стороне правительства».

Парижские простолюдины, говорит Чернышевский, недавно совершившие переворот, казались теперь усмирёнными. Но если они были пока неспособны бороться за собственные цели, то они могли еще приводиться в движение буржуазией в ее собственных интересах. Так, когда легитимисты попытались в феврале 1831 г. устроить реакционную манифестацию, буржуазия решила запугать их яростью народа и организовала с помощью рабочих контр-манифестацию; толпою предводительствовали люди изящно одетые с палевыми перчатками на руках; войска не явились на место беспорядков, не явилась и национальная гвардия: она готова была подавлять демократические движения, но не считала нужным мешать мятежу, направленному против легитимистов.

Но к концу того же года Чернышевский отмечает крупное историческое событие, свидетельствовавшее о глубоком переломе в психике французского пролетариата, а именно первое классовое выступление французских рабочих. Речь идет о знаменитом бунте лионских кустарей. «Лион, — говорит Чернышевский, — подал первый пример тех волнений нового рода, которые, постепенно возрастая, оттеснили на второй план политические вопросы во внутренней жизни Франции и в 1848 г. дали событиям направление, смущающее ныне столь многих». Чернышевский имеет в виду социалистические стремления, которые с этого момента начали играть такую видную роль в истории Франции. Недаром он связывает лозунг инсургентов «жить работая или умереть в бою» с забытым именем Бабэфа².

Революция 1848 г. поставила, по словам Чернышевского, лицом к лицу два основные класса современного общества, — «класс капиталистов, с одной стороны, и класс, живущий наемною работою, с дру-

¹ «Июльская монархия». «Соч.», т. VI, стр. 170.

² Ibid., стр. 98.—То обстоятельство, что Чернышевский использует здесь «Историю десяти лет» Луи Блана, ровно ничего не говорит против самостоятельности его мысли.

гой стороны»¹. Республика была провозглашена во Франции по настоянию буржуазных республиканцев и рабочих; требования республиканцев не имели бы никакой силы, замечает Чернышевский, если бы не были поддержаны рабочими. «Но работники увлекались вовсе не теоретическими рассуждениями о качествах республиканской формы политического устройства, — они хотели существенных изменений в своем материальном быте, и когда республиканцы, достигшие власти их силою, показали вид, что хотят ограничиться изменением политической формы, работники потребовали от них на другой же и на третий же день после победы принятия мер к улучшению материального положения низших классов». Рабочие требовали учреждения производительных ассоциаций со вспоможением от правительства и признания права на труд. Эти требования казались буржуазным республиканцам химерой, но отвергнуть их сразу они не решились, так как держались только тем, что опирались на рабочих. И вот началась политика проволочек и лицемерных обещаний, которая в конце концов должна была привести к самым печальным результатам.

Чернышевский, подобно Марксу, решительно упрекает Луи Блана за то, что он согласился принять председательство в Люксембургской комиссии. «Приняв это поручение, Луи Блан сделал очень важную ошибку. Эта комиссия, не имевшая никакой власти, учреждалась только для проволочки, с целью замять дело; она обманывала работников наружностью без всякого действительного значения... Луи Блану тогда нечего было бояться разрыва: в случае борьбы победа несомненно осталась бы на стороне работников, желавших отдать власть в его руки... Пока продолжались Люксембургские конференции, они более, нежели что-нибудь другое, удерживали работников от насильственных действий... Работникам еще принадлежало фактическое владычество в Париже, еще не имевшем гарнизона после февральских событий»².

С такой же верной точки зрения Чернышевский смотрит на трагический фарс национальных мастерских. Ответственность за них, по его словам, падает отнюдь не на социалистов, а исключительно на «чистых» республиканцев. В этой «нелепой пародии труда», затеянной исключительно для скомпрометирования социалистических идей, социализм был ни при чем. «Напротив они были учреждены его непримиримыми противниками, управлялись людьми, нарочно избранными для

¹ «Кавеньяк». «Соч.», т. IV, стр. 7.

² Ibid., стр. 10—11.

того за личную вражду против него, устроены совершенно наперекор его понятиям и, при всей обременительности своей для государства, при всей гибельности для частной промышленности, долго были приятны Временному правительству, искавшему в них опоры против Луи-Блана».

В национальных мастерских, говорит Чернышевский подобно Марксу, умеренные республиканцы видели сильнейшую свою опору против социалистов. Денно и ночью умеренным буржуазным республиканцам грезилось социалистическое восстание, руководимое Люксембургской комиссией и клубами, но они самоуверенно твердили себе: «у нас есть против восстания громадная армия». Национальные мастерские, замечает Чернышевский, с тем и были устроены, чтобы служить армиею против социалистов; сообразно такому назначению эти мастерские были организованы по военной системе. Но в середине июня умеренные республиканцы чувствовали себя уже столь сильными, что могли обойтись без помощи этих союзников.

Робость, овладевшая средним и высшим классами после февральских событий, говорит Чернышевский, мало-по-малу рассеялась, когда они увидели, что низший класс в массе ожидает улучшения своей участи от закона и не прибегает к насилию, что вожди этого класса, крайние республиканцы и социалисты, не захватывают силою диктатуру в свои руки, а надеются достичь торжества путем порядка и законности. Этому спокойствию предводителей крайних партий было много причин: уважение к национальной воле, выражение которой они видели в установленном тогда *suffrage universel*, надежда, что результат этого всеобщего права участвовать в выборах будет благоприятен людям, которые считали себя защитниками интересов массы; неуверенность в том, что городские пролетарии будут поддержаны поселянами, Париж будет поддержан провинциями, если фабричные работники в Париже вздумают восстать против буржуазии; несогласие между различными школами и главными людьми этих школ»¹.

Чернышевский не берется решить, какое из этих соображений имело больше силы и удержало социалистов от решительных выступлений. Во всяком случае ясно, что он осуждает их и соглашается с их противниками, которые «сочли их людьми, неумеющими извлекать выгоды из обстоятельства, людьми неспособными к практической деятельности; действительно, они без всяких попыток присвоить себе власть дали пройти тем дням или неделям, когда

¹ Ibid., стр. 15.

могли быть страшны своим противникам, — и противники ободрись».

Решительное столкновение между буржуазией и пролетариатом произошло в июне 1848 года после внезапного закрытия национальных мастерских. Чернышевский показывает, что июньское восстание было движением класса. Именно отсутствием посторонних влияний, говорит он, июньское междоусобие отличается от других парижских восстаний; в этом отсутствии обыкновенных элементов мятежей и заключается тайна громадной силы, обнаруженной инсургентами июньских дней, и ужаса, произведенного этой резней. Массы шли на битву без всяких предводителей; ни одного сколько-нибудь известного человека не было между инсургентами. Они сражались не для ниспровержения или установления какой-нибудь политической формы; они хотели только иметь работу и кусок хлеба, доставляемый работой¹. Их поражение, обусловленное их изолированностью, обусловило падение республики.

«Чистые» республиканцы, говорит наш автор, забывали, что политическая форма держится только там, где служит средством для удовлетворения общественных потребностей; они мечтали, что народ, не получая от формы никаких существенных выгод для себя, станет защищать форму ради самой формы; они совершили ряд промахов, установивших против республики, между прочим, и основную массу французского населения, т. е. крестьянство. И Чернышевский указывает на введение добавочного поземельного налога, который восстановил крестьянскую массу против республики, а также на сохранение налогов на соль и вино. По словам Чернышевского такие ошибки с начала XIX века повторялись всеми партиями, господствовавшими во Франции. Они не замечали, что нация с восторгом приветствовала новую форму только потому, что ждала от нее удовлетворения своих интересов; но как только в массе распространялось убеждение, что система не оправдывает возлагавшихся на нее надежд, система, не поддерживаемая народом, падала. Так покинут был народом сначала Наполеон, потом Реставрация, потом июльская династия, а затем и республика Кавеньяка и его друзей. «Форма падает не силою своих врагов, а единственно тогда, когда обнаруживается ее собственная бесплодность для общества»².

Республика была уничтожена Наполеоном III. Но восторжествовавший противник был совершенно бессилён сам по себе. Здесь оценка

¹ Ibid., стр. 21—22.

² Ibid., стр. 3 и 34.

личности претендента и условий его успеха, даваемая Марксом и Чернышевским, совпадает до мелочей¹. Прежде всего ему проложили дорогу сами умеренные республиканцы тем, что раздавили пролетариат, восстановили против себя крестьян и создали в стране настроение социальной паники. В конце концов партия умеренных республиканцев превратилась в незначительную кучку, стоявшую посередине между двумя опротивевшими враждебными лагерями, между консерваторами и революционерами. «С одной стороны соединились в одну массу все те, идеал которых был не в будущем, а в прошедшем. Некогда они распадались на враждебные партии легитимистов и орлеанистов, смертельно ненавидевших друг друга. Но теперь вражда их умолкнула под грозою, одинаково страшной для всего, чем дорожили все они одинаково. В прежнее время был между ними спор о том, классу землевладельцев или классу капиталистов владычествовать во Франции, фамильным преданиям с придворными правами и феодальными стремлениями или промышленной спекуляции с биржевыми правилами и узким либерализмом хитрого эгоизма. Теперь тот и другой интерес подвергался одинаковой опасности, и для своего спасения оба они слились в один интерес». Сами по себе немногочисленные землевладельцы и крупные буржуа усиливались массой идущей за ними мелкой буржуазии. «Так, за капиталистами шли очень многие из людей, зависящих от них по промышленным делам, и голосу их следовало большинство в сословии торгующих людей и рантьееров, хотя эти маленькие люди, если бы ясно сознавали свои выгоды, могли бы заметить, что биржа и банкиры вовсе не представляют их интересов. За большими землевладельцами во многих провинциях шли поселяне; по воспоминаниям феодальных времен и по ультрамонтанским стремлениям заодно с большими землевладельцами было католическое духовенство, пользовавшееся очень значительным влиянием на поселян».

Таким образом, лагерь, желавший восстановления старого порядка, располагал очень значительными силами.

С другой стороны стояли партизаны социальных реформ. Естественно было бы ожидать, говорит Чернышевский, что вся масса простолюдинов станет на их стороне. Но понимание текущих событий было распространено только среди рабочего населения

¹ Ср. Маркса — «Классовая борьба во Франции» и «18 брюмера Луи Бонапарта» и Чернышевского — «Кавеньяк» и примечания к Кинглэку.

больших городов. Масса же сельского населения коснела в полнейшем невежестве и послушно следовала за своими обычными авторитетами — землевладельцами и духовенством¹.

Из трех боровшихся партий, говорит Чернышевский, каждая могла получить решительный перевес в обществе не иначе, как в союзе с одной из двух других. Впоследствии умеренные республиканцы действовали вместе с радикалами против реакционеров, а еще позднее заодно с монархистами против Луи Наполеона. Но в свое время они из вражды к социализму не поддержали реформаторов и дали возможность усилиться реакционерам. Кроме того они совершили еще два промаха, обусловленные их классовыми предрассудками: они не отсрочили избрание президента республики и не подчинили исполнительную власть законодательной.

Чернышевский сравнивает французских умеренных республиканцев с либеральными доктринерами Франкфуртского парламента. «Подобно правительству умеренных республиканцев во Франции, Франкфуртский парламент вышел из революционного движения; подобно умеренным республиканцам Франции, он утвердил свое значение кровопролитным подавлением революционного движения, из которого возник сам; подобно умеренным республиканцам он был уже в большой опасности от усиливавшейся реакции (от которой скоро и погиб, подобно им); и подобно им совершенно не понимал и не замечал этой действительной опасности, воображая, что опасность грозит ему совсем не с той стороны»².

Умеренные республиканцы выставили кандидатом в президенты республики героя июньских дней, генерала Кавеньяка. Реакционеры не имели кандидата, которого они могли бы противопоставить Кавеньяку. Здесь-то и выдвинулся Луи Бонапарт и партия бонапартистов. Последняя не считалась серьезной политической партией и пользовалась полным простором для действий благодаря всеобщему невниманию к ней.

Реакционеры, говорит Чернышевский, распадались на несколько партий, ни одна из которых не хотела уступить другой перевеса; притом все главные деятели этой партии были скомпрометированы в глазах народа. Приходилось выбирать нейтральное имя, на котором могли бы соединиться ультрамонтаны, легитимисты и орлеанисты, — духовенство, аристократы и капиталисты; необходимо было отыскать

¹ «Кавеньяк», *loc. cit.*, стр. 28—29.

² Ср. статьи Маркса—Энгельса о германских событиях 1848—1849 гг., а также записи в дневнике Чернышевского студенческой поры, приведенные нами в первой части этого тома.

такого кандидата, против которого нация еще не имела бы предрассудков и кандидатура которого означала бы только протест против партии, управлявшей Францией с февраля, и не означала ничего другого, потому что в этом одном пункте были согласны реакционеры. «Этот кандидат реакционеров, которого надобно было найти вне реакционных партий, должен был не представляться для них опасным по своей силе, должен был получить власть из их рук, держаться только их поддержкою и без них не значить ничего. Именно таким человеком представлялся им Луи Наполеон. Ничтожность его собственной партии была причиною, что на нем остановился выбор реакционеров»¹.

Таким образом, говорит Чернышевский, все реакционеры единодушно стали за Луи Наполеона. Но за него же голосовала и масса приверженцев левых партий из ненависти к умеренным республиканцам и их кандидату. Это обеспечило ему победу. А затем он уничтожил и самую республику. Чернышевский считает это совершенно естественным. Конституция 1848 г., говорит он, не могла жить потому, что не имела корней в нации, не удовлетворяла почти никого и была странной амфибией между республиканским и монархическим устройством. Герой, уничтоживший республику, на взгляд Чернышевского, сам по себе человек ничтожный, «но это ничтожество, этот фантом есть представитель известного положения французской нации, представитель того периода ее жизни, когда она в изнеможении отказалась на время от заботы о внутреннем своем развитии и отдалась под власть бесцветного тупого насилия». Успех, говорит Чернышевский, был «просто насильно взвален на плечи президента силою хода обстоятельств», и доказывает это детальным анализом фактов².

6. Итоги

Мы изложили историко-философские взгляды Чернышевского — иногда, быть может, с излишними подробностями, но эта детализация казалась нам необходимой ввиду того, что относительно этого предмета в нашей литературе писалось очень мало — почти ничего — и если писалось, то не всегда верно. Народнически-настроенная часть нашей публики меньше всего интересовалась анализом воззрений Чернышевского с точки зрения его близости к научному социализму; а по-

¹ «Кавеньяк», loc. cit., стр. 47 и сл.

² Примечание к Кинглэку. «Соч.», т. X. ч. II, стр. 59, 60, 69 и сл.

скольку она касалась этого вопроса, она готова была усматривать в материалистическом уклоне великого писателя не плюс, а минус.

Так, например, хранитель народнических традиций Н. Ф. Анненский в статье «Сорок лет назад» ставит шестидесятникам в упрек приписывание ими решающего влияния экономическому фактору и склонен даже объяснять этим увлечением их политический индифферентизм (вдобавок, несуществовавший). «Наш ранний демократизм, — пишет он, — был несколько односторонен... В нем слишком преобладал экономический элемент пред всеми остальными. И в этом несомненно сказывалось воздействие условий и обстановки того исторического момента, когда складывались воззрения представителей этого демократизма. Слишком властно захватывали тогда внимание именно экономические интересы народа, и перед ними бледнели все прочие. Позднейший ход жизни показал нам очень ясно и очень больно, что в ранней формулировке демократической программы было нечто недосказанное. Мы не можем уже относиться к «формальной» стороне общественных отношений с таким же равнодушием (?), как люди шестидесятых годов»¹.

Эсер М. Антонов, написавший целую книгу о Чернышевском, в которой он пытается опровергнуть все то, что было положительного в работах великого писателя, также выражает недовольство социологическим материализмом Чернышевского. По поводу устанавливаемой Чернышевским связи между философскими теориями и борьбой классов Антонов отмечает, что «зависимость философии от экономики и классового положения мыслителя представляет обычный марксистский тезис», а потому Антонов утверждает, что «это положение не только не доказано Чернышевским, но и вообще не может быть доказано, так как философские построения или находятся далеко в стороне от каких бы то ни было социальных теорий, или же представляют общее основание для всевозможных научных построений». Точно так же он отвергает устанавливаемую Чернышевским связь между эстетическими воззрениями и классовым положением, находя ее «очень слабой и неопределенной». Вообще же он крайне недоволен материалистическим подходом Чернышевского к явлениям так наз. духовного мира, обвиняет его в забвении «общечеловеческих» и «индивидуальных» элементов у мыслителей, художников и пр., уверяя, что когда Чернышевский упускает из виду эти глубокомысленные «соображения» (а это случается с ним «нередко»), «тогда его рассуждения напоминают грубую (!) марксистскую формулу, по которой психология человека опреде-

¹ Сборник «На славном посту», изд. 2-е, ч. II, стр. 450.

ляется его принадлежностью к определенному классу, так что, напр., Кант является выразителем немецкого бюргерства и т. п. (Маркс и Энгельс в «Der heilige Max»)»¹.

Даже такой писатель, как Н. Русанов, из всех народников наименее враждебно настроенный по отношению к марксизму, предпочитает преуменьшить научные заслуги Чернышевского, чем признать хотя бы частичную близость его воззрений к историческому материализму. Русанова пугает то, что я «желал бы вырвать Чернышевского из рядов «народников, усвоивших букву, но не дух великого учителя», и перевести его хотя бы задним числом в ряды марксистов»². А раз так, то для сохранения Чернышевского в рядах народников, от которых его миросозерцание в действительности стояло очень далеко, лучше признать верной точку зрения Плеханова, считавшего Чернышевского идеалистом в истории, чем точку зрения, выясняющую приближение его к историческому материализму, хотя бы от этого научная физиономия его пострадала.

И вот Русанов пишет: «Как-никак, но г. Плеханов... в общем прав, не считая Чернышевского ни прямым учеником Маркса, ни самостоятельно развившимся сторонником исторического материализма, а прежде всего «рационалистом», хотя с более или менее значительным привхождением элементов материалистического понимания истории» (ibid., стр. 60). И дальше: «Г. Плеханов сопоставлением цитат из Чернышевского успешно доказал, во-первых, известную двойственность, противоречивость взглядов Николая Гавриловича на ход истории, во-вторых, преобладание в этих взглядах рационализма («идеализма») над «материализмом». Можно, пожалуй, прибавить, что г. Плеханов уменьшил несколько долю «материалистического» истолкования явлений у Чернышевского (как г. Стеклов преувеличил эту долю)»³.

Другими словами, «с одной стороны нельзя не признать, а с другой — нужно сознаться». Такими приемами научные вопросы не разрешаются...

Во всяком случае ясно, что народники заняли в этом вопросе определенную позицию: часть их отвергает исторические воззрения Чернышевского как материалистическое прехопадение, другая готова признать сближение его взглядов с воззрениями марксизма чуть ли не

¹ М. Антонов — «Н. Г. Чернышевский», стр. 112—115.

² Писано по поводу первого издания моей книги (Н. Тусанов — «Ученики Маркса о Чернышевском». «Русск. Богатство», 1909, № 11, стр. 75. Из той же статьи взяты и следующие цитаты).

³ Ibid., стр. 63.

оскорблением памяти великого мыслителя. В сущности это одно и то же¹.

Среди большинства марксистов, напротив, господствует взгляд на Чернышевского, как на писателя очень симпатичного, в свое время полезного, но весьма далекого от современного материалистического мировоззрения. На их отношение к Чернышевскому сильно действует тот каприз истории, в силу которого этот об'ективист и материалист сочтен был родоначальником народничества. Вообще же большинство публики знает о Чернышевском лишь то, что он написал утопический роман «Что делать?» и якобы мечтал о переходе России от общины сразу к социализму посредством заговора небольшой кучки революционеров-интеллигентов.

Действительная научная физиономия Чернышевского имеет весьма мало общего с этим фантастическим образом. Скорбная и трагическая фигура могучего мыслителя, слишком далеко опередившего свое поколение, осталась одинокой и непонятой даже для тех, кто впоследствии продолжал в России его дело. Плеханов даже утверждал, будто во взглядах на исторический процесс он стоял гораздо ближе к Боклю, чем к современному материализму. Выдержки из сочинений Чернышевского, приведенные нами в этой главе (да отчасти и в других), показывают ошибочность этого мнения.

Чернышевский смотрел на историю человечества глазами строгого об'ективиста. Он видел в ней диалектический процесс развития путем противоречий, путем скачков, которые сами являются результатом постепенных количественных изменений. В итоге этого безостановочного диалектического процесса происходит переход от низших форм к высшим. Действующими лицами в истории являются общественные

¹ «Для Николая Гавриловича, — пишет П. Николаев, — основа истории была чисто экономическая. Из моих слов не следует, однако, делать вывода, что Н. Г. был сторонником или, лучше сказать, русским инициатором экономического материализма. У него было этого материализма ровно столько, сколько его было у Сен-Симона или у Луи Блана. Признавая экономический фактор самым важным в истории человечества, Н. Г. признавал вместе с ним и творческую деятельность интеллекта, и роль личности, как создающей исторический прогресс. Личности и интеллекту он отводил даже первенствующее место. Чернышевского и Лаврова можно считать истинными создателями так называемой русской суб'ективной социологической школы» («Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге», М. 1906, стр. 49). Впрочем, Николаев совершенно не разбирается в историко-философских вопросах.

классы, борьба которых обуславливается экономическими причинами. В основе исторического процесса лежит экономический фактор, определяющий политические и юридические отношения, а также идеологию общества.

Можно ли отрицать, что эта точка зрения близка к историческому материализму Маркса и Энгельса? ¹ От системы основателей современного научного социализма мировоззрение Чернышевского отличается лишь отсутствием систематизации и определенности некоторых терминов. Чернышевский вплотную подошел даже к пониманию решающего значения развития производительных сил как основного фактора исторического процесса ². Он понимал, что смена исторических периодов есть смена определенных стадий в развитии производительных сил — и выше мы показали это с достаточной убедительностью ссылками на его сочинения.

¹ По поводу этого моего вопроса, стоявшего в первом издании на стр. 175 моей книги, Н. Русанов в цитированной статье «Ученики Маркса о Чернышевском», стр. 73, пишет: «Нет, нельзя, но только эта «точка зрения» есть точка зрения — самого г. Стеклова, а не Чернышевского!» «Конечно, г. Стеклов собрал очень много цитат, в которых то с той, то с другой стороны мысли знаменитого русского социалиста отчасти, а то и совсем напоминают воззрения Маркса». Но «несмотря на обилие подобранного г. Стекловым для своей задачи материала, несмотря на действительное сходство некоторых рассуждений Чернышевского с идеями исторического материализма, вы не можете отделаться от впечатления, что как г. Плеханов сгущает тоны на идеализме Чернышевского, так г. Стеклов сгущает тоны на материализме русского мыслителя». Словом, все та же тактика сидения между двух стульев.

² В первом издании моей книги сказано было: «Единственный серьезный пробел в историко-философских воззрениях Чернышевского заключается в том, что он не указал определенно на решающее значение развития производительных сил, как основного фактора исторического процесса». По этому поводу Плеханов (т. VI, стр. 369), опустив следующую затем фразу: «Но он подходил вплотную к этому вопросу, понимал» и т. д. до конца абзаца, торжествующе восклицает: «Легко сказать: «единственный пробел»! Но дело в том, что этим единственным пробелом весь спорный вопрос (т. е. был ли Чернышевский материалистом или идеалистом в истории. — Ю. С.) решается бесповоротно» (?). И дальше следует попытка Плеханова опровергнуть меня указанием на то, что «промышленного развития не боялся ни один либеральный экономист», о которой я говорил выше. Ввиду недоразумения, возбужденного упомянутой фразой в первом издании моей книги, я изменил это место, на что имел тем большее право, что, снова пересмотрев сочинения Чернышевского, убедился в том, что он понимал значение развития производительных сил, в доказательство чего я привел ряд новых цитат из его статей (см. § 4 этой главы: «Роль экономического фактора»).

А если принять во внимание, при какой исторической обстановке развивался Чернышевский, если вспомнить, что он жил в обществе, еще не вышедшем из стадии натурального хозяйства, то мы должны будем с тем большим уважением преклониться перед великим мыслителем, который, говоря его словами, «опередил свою эпоху и достиг высот, только путь к которым он мог указать отставшему своему поколению»¹.

¹ В статье «Н. Г. Чернышевский», напечатанной в № 11 «Совр. Мира» за 1909 год, Плеханов говорит: «Маркс и Энгельс, вероятно, тоже не пошли бы дальше усвоенной философии Фейербаха, если бы им пришлось жить в тогдашних русских условиях. Приняв во внимание эти условия, удивляешься не тому, что Чернышевский отстал от Маркса и Энгельса, а тому, что он так мало отстал от них».

Но это было написано уже после выхода первого издания моей книги, что видно из следующих затем слов: «В последнее время в нашей литературе обнаруживается стремление представить Чернышевского чем-то вроде предтечи научного социализма. Но он был таким предтечей лишь в тех пределах, в каких был им его учитель Фейербах: не больше и не меньше». Не больше? Мы что-то не слыхали о политических и экономических работах Фейербаха (см. Плеханов — «Соч.», т. VI, стр. 331).

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОЛИТИКА.—БОРЬБА ПАРТИЙ И ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

1. Политические партии ¹

Общая точка зрения на ход исторического процесса помогала Чернышевскому разбираться и в вопросах текущей политики. В своих многочисленных политических статьях он проводил мысли, почерпнутые им из анализа классовых отношений современного общества. Под перипетиями политической борьбы скрываются конфликты классовых интересов. Трем основным классам современного общества соответствуют три главные политические партии: реакционеры представляют интересы крупного землевладения и примыкающих к ним групп — духовенства, бюрократии, армии; либералы представляют интересы крупного торгового и промышленного капитала; «реформаторы» (слово, которое Чернышевский часто употреблял вместо «революционеры» по цензурным условиям), социалисты, коммунисты представляют интересы трудящихся ².

Об отношении Чернышевского к первой партии долго распространяться не приходится. Для него, как для коммуниста и крайнего демократа, не могло быть более ненавистного врага, чем партия со-

¹ См. мою статью «Н. Г. Чернышевский. К вопросу о его политических взглядах» в № 2 «Научного Слова» за 1928 год.

² «По выгодам все европейское общество разделено на две половины: одна живет чужим трудом, другая своим собственным; первая благоденствует, вторая терпит нужду». Это разделение общества, основанное на материальных интересах, отражается и в политической деятельности в виде деления на три партии — консерваторов, неизбежно обращающихся в реакционеров, революционеров и умеренных либералов (модерантистов), путающихся между теми и другими, но более склонных к союзу с реакционерами против революционеров под тем предлогом, что революционеры запугивают консерваторов и этим препятствуют делу реформ, как будто «только вражда революционеров, а не инстинкт собственных выгод восстанавливает реакционеров против реформ» («Соч.», т. V, стр. 336).

циальной и политической реакции, партия всестороннего угнетения, материального и духовного, внутреннего и внешнего, тем более что у него под рукой был такой типичный образчик господства этой партии, как российский царизм. Эту партию Чернышевский ненавидел страстно и глубоко: он не допускал с нею никаких сделок, никаких соглашений, никаких компромиссов и по отношению к ней знал одну лишь тактику — полного истребления. Его возмущает, когда наивные люди жалуются на жестокости деспотов, на резню беззащитных, избиение старцев, жен и детей. Это естественно, отвечает им Чернышевский, так и должно быть: «ничего иного и не следует ожидать от неаполитанских (читай: самодержавных. — Ю. С.) начальств, поступать иначе они не могут». Перед неаполитанским генералом Руссо в Палермо были не воины, а безоружные мирные граждане, которых он перебил. «Но ведь они, — говорит Чернышевский, — хуже всяких неприятельских солдат для него: с неприятелем можно и примириться, и подружиться», со своими собственными непокорными подданными «невозможно примирение. Их отношениям нет другого исхода кроме истребления той или другой стороны»¹. Должны погибнуть или права народа, или права самодержца (*ibid.*, стр. 525). Середины тут нет, и всякий, кто сеет иллюзии насчет возможности сделки с абсолютизмом, способности его к каким-либо уступкам или к изменению своей природы, совершает тяжкое преступление, губит себя самого и наивных доверчивых людей.

В такой ошибке, худшей, чем преступление, Чернышевский обвиняет и Сперанского². По целям, говорит Чернышевский, он был революционером, но хотел действовать через абсолютного монарха и с помощью царской власти. Он забыл, что во Франции введению Наполеонова Кодекса, установлению равенства граждан перед законом и т. д. предшествовала великая французская революция. Он же надеялся в своих преобразованиях опираться на самодержавие, которое как раз и стояло поперек пути всех реформаторских начинаний. Достаточно сказать, что весь старый правящий персонал абсолютизма остался на месте, а при таком условии ни одна мало-мальски серьезная реформа пройти, разумеется, не могла. Радикальное устранение прежнего правительственного и административного персонала Чернышевский признавал первым шагом революции (*ibid.*, стр. 319).

Подобно Лассалю Чернышевский во всякую минуту готов был воскликнуть и, насколько цензурные условия предоставляли ему к тому

¹ «Соч.», т. VI, стр. 531—532. — Курсив мой.

² «Соч.», т. VIII, стр. 301 и сл.

возможность, в иных выражениях восклицал: «за горло врага и колено ему на грудь!» Абсолютизм, как будто сдающийся, готовый идти на уступки, столь же ему ненавистен, как и абсолютизм, уверенный в себе и спокойно зверствующий. Всякие обещания, какие припертое к стене самодержавие может надавать, не заслуживают никакой веры и при первом удобном случае будут взяты обратно. «Англичанину извинительно, — пишет он, — но неаполитанцу (читай: россиянину. — Ю. С.) непростительно не знать, что безусловна теория неотъемлемых прав того рода власти, какой существует в Неаполе (т. е. самодержавия. — Ю. С.). Обещания и действия, противные этим неотъемлемым правам, могут быть вынуждаемы обстоятельствами у человеческой слабости, но такие уступки по самому принципу теории недействительны и, если так можно выразиться, противозаконны и по смыслу теории должны быть уничтожаемы». Вот почему Чернышевский, вразрез со всей буржуазной либеральной прессой, не только русской, но и международной, отказался присоединиться к выражению симпатии и соболезнования жертвам неаполитанского короля, бывшему министру Поэрио и его товарищам, которые, сами не участвуя в революционных выступлениях, но будучи либерально настроенными, согласились в 1848 году взять на себя управление делами, чтобы спасти королю Фердинанду II жизнь и престол, и которые, как только прошла опасность, были брошены гнусным тираном в казематы, где просидели десять лет. «Сами виноваты!» — говорит им Чернышевский, не будучи в состоянии выразить прямо, но давая понять читателю, что нужно было, воспользовавшись революционным брожением, не спасать короля, а уничтожить этого гада вместе со всей его челядью и престолом¹.

Так как Чернышевский принужден был высказывать свои крайние революционные мысли под бдительным оком царской цензуры, то статья его о Поэрио вызвала недоумение среди части публики, истолковавшей его слова в смысле одобрения расправы неаполитанского тирана с горе-либералами. Во избежание недоразумений ему пришлось в следующей хронике вернуться к этому вопросу. Сообщив, что по поводу своей статьи он получил от некоторых очень уважаемых им людей упреки за жесткое суждение об ошибках Поэрио², Чернышевский заявляет, что он даже рад этому порицанию, ибо оно дает ему

¹ «Соч.», т. V, стр. 112—117.

² Именно в связи с этой статьей жандармский полковник Громека, писавший в то время разоблачительные статьи о полиции, а позже сделавшийся седлецким губернатором, просил передать Чернышевскому, что он собирается послать ему свой прежний жандармский мундир. Громека Чернышевскому — недурно?!

возможность исправить «недостатки изложения», породившие вышеуказанное недоразумение (явный намек на цензурные препоны). Как же он раз'ясняет ошибку, в которую якобы впали его оппоненты? Очень просто: он заявляет, что нападал на Поэрио и его товарищей не за их либерализм, не за их революционность, а за их недостаточную революционность, не за их противозаконную деятельность, а за их нежелание прибегнуть к действительно революционным методам, не за их выступления против абсолютизма, а за их лойяльность и непонимание того, что самодержцев и их пособников надо уничтожать, а не якшаться с ними. «Кто не понимает, что ему надобно делать в данном положении, или не хочет делать того, что необходимо, тот лучше пусть не становится в это положение, пусть оставит место действовать другим, пусть отойдет в сторону и ждет, пока другие, быть может, менее чистые¹, если не менее благородные, удовлетворят потребностям времени; и когда будет сделано их руками то, к чему не способен был он, когда положение очистится и успокоится, пусть только тогда принимает он власть и вносит в ее действия свою кротость и свою доверчивость к людям. Если вы не хотите грязнить своих сапог, сидите дома, пока грязные дворники чистят улицы, душная пыль которой превращена в грязь грозою. Это время чистки неудобно для прогулок чистоплотным людям: они только будут мешать людям, у которых чистоплотность не доходит до пренебрежения к исполнению дел, нужных для приведения в порядок тротуаров. Аполлон не принимался за очистку авгиасовых конюшен: это дело мог исполнить только Геркулес, во всю свою жизнь только однажды вздумавший пощеголять в чистой рубашке, да и то перед самой кончиной, по совершении всех своих двенадцати подвигов»².

С абсолютизмом никаких компромиссов, никаких сделок, война не на живот, а на смерть, до полного истребления! — вот лозунги, которые Чернышевский, под носом у царской цензуры, ежемесячно давал в своих политических обзорах неопытной и политически неискушенной российской публике, склонной поддаваться всяческим иллюзиям. Вот почему он с такой злобой издевается над «лже-конституционализмом» и с такой резкостью бичует наивных либералов, готовых восторгаться по поводу лицемерных словесных обещаний временно расставшегося деспотизма.

¹ Совершенно очевидно, что слово «чистый» употреблено здесь в ироническом смысле.

² «Соч.», т. V, стр. 159. — Здесь Чернышевский переходит к защите красного террора, о чем ниже.

«Кто может не верить официальному обещанию? — говорит он по поводу австрийских либералов. — Покажите нам такого скептика, — нет, вы его не отыщете, по крайней мере между либералами, отличительными чертами которых и в Австрии, как повсюду, служат два качества: верить и восхищаться. Содержание манифеста, внушившего им восторг, в сущности таково: «нас поколотили, у нас отняли часть нашей земли; думать о новой войне теперь пока нам нет возможности, потому что нет у нас и десяти гульденов звонкой монеты, а на бумажные деньги войну вести трудно. Итак, мы проникаемся миролюбивыми чувствами и постараемся развитием внутренних сил вознаградить потерю во внешнем могуществе». Прекрасно. Но из этого ясно, что только военные неудачи заставили австрийское правительство подумать о внутренних улучшениях, а из этого ясно, что, когда позабудется стыд поражений, когда остынет народное неудовольствие, возбужденное ими, пройдет и забота об улучшениях. А, к сожалению, Австрию побили слишком еще мало... Места поражений армии были так отдалены, что скоро явится — и отчасти явилась уже — возможность приняться за прежнее самохвальство. Возвращение самодовольства предвещает скорое падение реформационных намерений правительства, и мы скоро увидим, что почти все обещания свои оно оставит невыполненными, решительно возвратится к реакционной политике, которой следовало до войны. Да и в чем состоят обещанные реформы? Касаются ли они основной причины зла? Обещано ли прекратить бесправие граждан перед правительством? Нет, нынешний правительственный принцип не только не намерен, а даже и не обещал отказаться от своего произвола, ограничить себя законами, которые давали бы пражданам участие в правительстве. Дело ограничилось официальным признанием надобности изменить низшую администрацию и прекратить стеснения, которым подвергались в пользу католичества другие исповедания».

Вводить такие реформы, поясняет Чернышевский, для самодержавных правительств нетрудно, но только грош им цена. И он ехидно продолжает: «Будем же уверены, что Австрия вступила на новый путь, что реакция и обскурантизм заменяются в ее правительстве просвещенным и свободным направлением. Если нам кто-нибудь скажет, что все учреждения и принципы, от которых зависел нынешний порядок дел в Австрии, остаются невредимы, мы будем отвечать ему, что он — тупоумный скептик, не понимающий величия совершаемых австрийским правительством преобразований. Он, может быть, скажет, что венское правительство по-прежнему сохраняет безотчетную власть над всею государственною жизнью, может по произволу сажать

в Шпильберг¹ кого только вздумает, назначать правителей по придворным и бюрократическим интригам, издавать какие ему вздумается распоряжения, от нелепости и обскурантизма которых ничем не ограждены австрийцы; он скажет, что венское правительство по-прежнему опирается только на вооруженной силе и жертвует всем для поддержания своего военного деспотизма, что оно преследует всякую свободную мысль, управляет посредством ржавых бюрократических пружин; он скажет, что народ по-прежнему обременен налогами, что финансы по-прежнему истощаются расходами на армию и на роскошь двора. Мы будем отвечать такому скептику, что все это — пустяки, что все недостатки и бедствия австрийской жизни уничтожаются учреждением протестантских ревизоров в протестантских школах: чего же вам еще, в самом деле?»².

Из всех рассуждений Чернышевского следует ясный вывод: никаких соглашений с абсолютизмом! За горло его и колено ему на грудь!³.

Говоря о неаполитанском абсолютизме, принужденном в 1860 году, вследствие наступления Гарибальди, пойти на уступки мнимо-конституционного характера, Чернышевский снова развивает свою вечную мысль: не верьте уступкам самодержавия, они делаются только для виду и на время, впредь до минования чрезвычайных обстоятельств; посмотрите, как проводятся такие «реформы»: действительная власть остается в руках сторонников старого строя, прежний правящий персонал не устраняется, в армии сохраняются старые реакционные командиры, гвардия не распускается, пушки цитадели по-прежнему наведены на столицу, «конституционные» министры не имеют никакой власти и т. д.⁴.

¹ Крепость, в которую в Австрии заключали государственных преступников.

² «Соч.», т. V, стр. 398—400.—Ясно, что здесь говорится о России, о реформах, вынужденных поражением в Крыму, об их несерьезности, о сохранении принципа самодержавия в неприкосновенности и пр., и насмешка относится к русским либералам вроде Кавелина и т. п. В «Прологе» они характеризуются такими же чертами.

³ Если что и огорчало Чернышевского, так лишь то, что не все это понимают. Сам же он всегда ставит вопрос радикально — не о частичных реформах в бюрократическом аппарате, не об устранении «маленьких недостатков механизма», а об уничтожении династий, об искоренении царствующих домов, ибо он знал, что змея хороша только тогда, когда она раздавлена. («Соч.», т. V, стр. 477; курсив мой).

⁴ Несомненно он имел здесь в виду российское самодержавие, веру в предполагаемые реформы которого он и старался подорвать в умах своей

И дальше снова следует тот же вывод, к которому и клонится все рассуждение: «План приверженцев единства (национального. — Ю. С.) действовать парламентским путем теперь разрушен; дело будет и по форме решено о р у ж и е м, от которого всегда зависело по своей сущности»¹.

Либералы, недовольные тем, что Чернышевский неустанно разоблачал их готовность идти на сделки с абсолютизмом и беспощадно критиковал тех половинчатых противников, которые не понимали, какой тактики надлежит держаться в борьбе с таким врагом, как царизм, обвиняли Чернышевского в том, что он своей критикой поддерживает дело австрийского (читай: русского. — Ю. С.) правительства. На эти упреки, подсказанные не столько глупостью, сколько лицемерием, Чернышевский отвечал следующей недвусмысленной декларацией.

«Мы ни за что на свете не хотим оскорблять это образцовое правительство. Недаром про нас говорят очень многие, что мы держим сторону австрийцев. Мы охотно сознаемся, что чувствуем к ним слабость. Да и как не симпатизировать нам при наших убеждениях с восхитительной австрийской системой?» Австрийское правительство прекрасно разоблачает сущность абсолютизма. «Попробуйте сказать что-нибудь о французской, об английской, о какой угодно другой внутренней или внешней политике, — сотни и тысячи благороднейших людей набросятся на вас за недостаток веры в честность, благородство, в добрые намерения, в прекрасные цели, в восхитительные результаты; вы будете названы грязным скептиком, клеветником, желчным фанатиком и т. д. С одними австрийцами дело не таково. Тут скажите только: «австрийская политика своекорыстна, реактивна, гнусна» — все с вами соглашаются. Неужели же не достойны австрийцы признательности за то, что ими одними не обольщен никто?» Но у него имеется и другая причина симпатии к австрийцам: «ведь без них исчезло бы единственное зеркало, в котором черты наши отражаются благородными и прекрасными». По ловкому сочетанию фраз выходит как будто, что Чернышевский говорит здесь о себе; на самом деле он имеет в виду русское правительство, на которое он всегда намекает, говоря об австрийском: именно его черты отражаются в австрийском зеркале².

аудитории. Замечательно, что Чернышевский в этих строках как бы предсказал события 1905 года: именно по такому пути пошло конституционное преобразование 17 октября. Финал этой реформы, конечно, должен был оказаться именно таким, какой предвидел наш автор.

¹ «Соч.», т. VI, стр. 632—633.

² «Соч.», т. V, стр. 225—226.

Итак, по отношению к реакционной партии, защитнице абсолютизма внутри, захватов, завоеваний и угнетения слабых национальностей вовне, Чернышевский не знает иной тактики кроме непрестанной войны не на жизнь, а на смерть, кроме полного ее истребления.

Но с неменьшей резкостью Чернышевский обрушивается в своих статьях на либералов. Всюду он доказывает, что либералы меньше всего помышляют о пользах народной массы, что они отстаивают своекорыстные интересы буржуазии, и что все их толки о свободе представляют сплошное лицемерие, служащее лишь для прикрытия классовых побуждений¹.

Либерализм господ Гизо, Тьера, Токвиля и пр. имел для Чернышевского «очень мало прелести»². Он не упускал случая напоминать либералам, что когда они были у власти, они применяли по отношению к демократам и социалистам те же меры репрессии, на которые они жаловались, когда реакция применяла их против либеральной буржуазии. Он заявлял, что именно французские либералы, которые, в свое время будучи у власти, душили свободное слово, виновны в том, что Франция при Наполеоне III не обладает свободой печати³. Он определенно утверждал, что доктринерский либерализм был истинным виновником диктатуры Луи Наполеона и крестным отцом всех Эспинасов⁴. И весьма характерно, что его возмущает не столько ограниченность либеральной программы, не столько убеждения и образ мыслей либералов, сколько их образ действий, либеральные иллюзии. Он с негодованием говорит о либералах-лойялистах, которые в государствах европейского континента воображали себя английскими министрами и вместо решительной борьбы с силами старого режима заключали с ними союз против народа. Своей бесхарактерностью и боязнью народных масс либералы всюду играют в руку реакционерам⁵.

Чернышевский совершенно определенно говорит, что «без них, без этих людей, так прочно и добросовестно утвердивших за собою

¹ Из политических обзрений Чернышевского, — пишет Плеханов (т. V, стр. 86), — видно, «как горячо сочувствовал он всяким освободительным движениям, где бы они ни начинались: во Франции или в Италии, в Америке или в Венгрии. Он думал только, что роль либералов в таких движениях бывает обыкновенно очень некрасива... Вот за... эксплуататорские наклонности и ненавидел их Чернышевский. И эта-то ненависть к эксплуататорам и сквозит на каждой странице его политических обзрений»...

² «Борьба партий во Франции». «Соч.», т. IV, стр. 155.

³ «Соч.», т. IV, стр. 576.

⁴ Эспинас — французский генерал, сподвижник Наполеона III и один из самых свирепых усмирителей эпохи Второй Империи.

⁵ «Политика», 1859 г. «Соч.», т. V, стр. 159, 328 сл., 398.

репутацию либералов и демократов, реакционеры были бы бессильны»¹. Он полагает, что по существу вопроса все прогрессивные партии, несмотря на различия в своих программах, должны были бы понять «одинаковость главного своего стремления» (т. е. уничтожения абсолютизма) и объединиться для борьбы с реакционерами. Исполняется или не исполняется это важное условие национального блага, зависит обыкновенно от умеренных прогрессистов. Революционеры так преданы делу прогресса, что «всегда готовы, принося в жертву и самолюбие, и мелкие расчеты, поддерживать умеренных». Если умеренные либералы одарены политическим тактом, они понимают это и принимают союз, предлагаемый им крайними партиями: тогда дело прогресса идет вперед настолько успешно, насколько оно может идти при данном состоянии общественного развития, но сплошь и рядом они сами превращаются в завязанных консерваторов².

Партийные соглашения необходимы по самому существу политической борьбы. Главных партий три, говорит Чернышевский, но борьба требует только двух лагерей: собственно борьбу между собою ведут только две более сильные партии, а третья должна примыкать к одной из них на то время, пока они вместе одолеют третью, чтобы уж потом свести счеты между собою. Из шести возможных тут сочетаний в истории встречалось каждое, но «только один союз между модерантистами (умеренными либералами) и революционерами может быть назван существенно удовлетворительным для обеих соединяющихся партий. Напротив того, если модерантисты или революционеры будут помогать реакционерам, они в результате непременно найдут разочарование или, по выражению императора французов, «разрушение иллюзий», которыми вовлеклись в противоестественный союз». Но именно либералы и обнаруживают тенденцию к таким противоестественным союзам. Тем не менее в интересах прогресса революционеры, по мнению Чернышевского, все-таки должны поддерживать либералов против реакционеров³. И он с прискорбием указывает на то, что изменническая политика итальянских конституционалистов, объединившихся с бонапартизмом, сделала решительно невозможным для республиканской партии сближение с ними в решительную минуту⁴. С негодованием отмечает он, что, даже поставленные историей в революционное положение, либералы отвращаются от революционных мер, вызываемых обстоятель-

¹ «Непочтительность к авторитетам» (по поводу «Демократии в Америке» Ал. Токвиля, 1860 г.). «Соч.», т. VIII, стр. 198.

² «Полемические красоты». «Соч.», т. VIII, стр. 246 (1860 г.).

³ Это мысль и «Коммунистического Манифеста».

⁴ «Политика». «Соч.», т. V, стр. 338 и сл.; стр. 392 (1859 г.)

ствами, не апеллируют к массам, боятся вооружения народа и яростно преследуют революционные элементы, единственно последовательные.

Учитывая опыт 1848 года, когда германская буржуазия проявила такую нерешительность и сервилизм¹, Чернышевский не ждал серьезных результатов и от борьбы за конституцию, начатую с конца 50-х годов немецкими либералами. С едкой насмешкой говорит он о «добродушной баварской верности», выразившейся во время борьбы баварского ландтага с реакционным министром Пфортеном, добившимся роспуска палаты и порицания ее оппозиционного поведения в королевском послании. Он издевается над тем, что в адресе палаты, поданном королю, осуждалась своекорыстная политика министра, «пренебрегающего интересами династии» для удовлетворения своего властолюбия, и вместе с тем от имени нации выражалось уверение в преданности королю и надежда на него, и что по выслушании монаршего выговора ландтаг закрыл свое заседание громкими криками: «да здравствует король!» И Чернышевский возмущается парламентской комедией, по которой монарх, главный источник притеснения, объявляется безответственным, а за его грехи отвечают министры, эти лакеи короны и господствующего класса². А позже Чернышевский выражает свое твердое убеждение в том, что до тех пор, пока немецкие либералы будут ожидать свободы от прусского правительства, «пока движение в пользу немецкого единства будет сохранять свой нынешний характер, оно останется не более, как патриотически либеральным пустословием»³.

Но при всем своем критическом отношении к умеренным либералам Чернышевский не перестает подчеркивать, что они все-таки предпочтительнее консерваторов. Так, когда Кавур, политику которого Чернышевский не переставал критиковать, оказался вынужденным уйти в отставку и уступить место более консервативным министрам, Чернышевский сожалел об его уходе, ибо его преемники были еще хуже его. А когда Кавур вернулся к власти, Чернышевский выражал удовлет-

¹ Иронически говоря о «приобретениях борьбы» 1848 г., которыми хвастали германские либералы, Чернышевский замечает: «приобретений, надобно заметить, довольно мизерных, и борьбы, надобно заметить, не слишком-то важной» («Соч.», т. V, стр. 155).

² «Соч.», т. V, стр. 158—160 (1859 г.).

³ Ibid., стр. 400.—«Замечательно, — говорит Плеханов (т. VI, стр. 57), — что именно в то время, когда Чернышевский осмеивал прусских либералов в своих политических обзорах, Лассаль громил их в своих речах. И еще более замечательно, что в этих речах германский агитатор иногда теми же словами, как и Чернышевский, говорил о соотношении общественных сил как об основе политического строя каждой данной страны».

ворение по поводу его возвращения¹. И он неоднократно указывал на то, что при всем расхождении с умеренными либералами радикальные демократы готовы поддержать их в борьбе с консерваторами и в проведении реформ, хотя бы частичных².

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА

Это кстати разбивает в прах легенду о политическом индифферентизме Чернышевского. Создалась эта легенда в 70-х годах, когда некоторые из учеников Чернышевского (вроде Плеханова), ставши на бакунистскую позицию, вообразили, что безразличное отношение к вопросам политической свободы и политической борьбы представляет прямой вывод из произведений великого просветителя и вождя революционных шестидесятников. В силу естественной психологической аберрации, этим анархистам, получившим первую революционную закваску на сочинениях Чернышевского, стало казаться, что именно у него они вычитали политический индифферентизм, а когда впоследствии им пришлось от этого индифферентизма отказаться, они вообразили, что поправляют Чернышевского, тогда как на самом деле они только к нему вернулись, да и то не полностью. Ибо, как мы увидим, Чернышевский в этом вопросе, как и во многих других, определенно стоял на позиции революционного коммунизма.

Выше мы уже видели, что такой упрек Чернышевскому делает народник Н. Ф. Анненский. Такие же сказки о политическом индифферентизме Чернышевского рассказывает другой эсер М. Антонов: «Придавая главное значение материальным потребностям людей и считая отдельные кооперации (кооперативы? — Ю. С.) главным средством для их нормального удовлетворения, он, подобно Оуэну, Фурье и другим утопистам, пренебрежительно относится к вопросам политического устройства и к самой политической свободе»³. С своей стороны, социал-демократ Пажитнов в наше время пишет по адресу Чернышевского: «Подобно Герцену, и он отодвигал политику на задний план, сосредоточивая внимание читателей главным образом на социально-экономических вопросах»⁴.

¹ «Соч.», т. V, стр. 18 и 416, т. VI, стр. 425.

² Ср. то, что он говорит об английских чартистах («Соч.», т. V, стр. 34—35).

³ Цит. соч., стр. 226—227. Правда, «с другой стороны» Антонов находит, что впоследствии Чернышевский (тоже не навсегда) перестал быть политическим индифферентистом. Все это — результат непонимания Чернышевского.

⁴ П а ж и т н о в — «Развитие социалистических идей в России», т. I, изд. «Былое», Петр. 1924, стр. 106.

С этим мнением, к которому по временам присоединяется Плеханов, никак нельзя согласиться.

Правда у Чернышевского, у которого благодаря характеру его работы иногда попадаются формальные противоречия по некоторым вопросам, можно найти и на этот счет заявления, на первый взгляд как бы говорящие о его политическом индифферентизме. Вспомним, например, его пресловутую параллель между либералами и демократами в статье «Борьба партий во Франции», которую так часто цитировали в нашей литературе.

«У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям потому, что эти сословия по своей необразованности и материальной скудости равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно к праву свободной речи и конституционному устройству¹. Для демократа наша Сибирь, в которой просто народье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному — аристократии; либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы обыкновенно питают к демократам смертельную неприязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и гибелен для свободы»².

У Чернышевского можно найти несколько других аналогичных, на первый взгляд двусмысленных заявлений, например, его утверждение,

¹ Это место (вдобавок, возможно, сильно искаженное царской цензурой) наводит на мысль, что слова Чернышевского о том, что для демократов безразлично, каким путем добиться нового общественного устройства и сохранить его, имеют в виду установление революционной диктатуры не считающейся с дорогими для буржуазных либералов политическими свободами.

² «Соч.», т. IV, стр. 156—157 (1858 г.). — Плеханов (т. VI, стр. 43 сл.) толкует эти слова как доказательство политического индифферентизма, свойственного социалистам-утопистам; но, как мы показываем дальше, это неверно.

что «все конституционные приятности имеют очень мало цены для человека, не имеющего ни физических средств, ни умственного развития для этих десертов политического рода»¹. В другом месте мы можем встретить у него утверждение, будто сочинения Бентама тем драгоценнее, что, занимаясь исключительно гражданскими учреждениями, он оставляет совершенно в стороне вопросы о формах политического устройства и дает только такие советы, исполнить которые одинаково легко в каждом государстве, какова бы ни была его правительственная форма².

Но свидетельствует ли все это в пользу той мысли, что Чернышевский не понимал значения политической борьбы и стоял в этом отношении на точке зрения утопистов, отличавшихся в большинстве случаев полным политическим безразличием? Ни в каком случае. Даже, если отвлечься от присущей Чернышевскому парадоксальной формы изложения и полемического увлечения, характеризующего статью о «Борьбе партий во Франции», то и без того мы не можем в вышеприведенной цитате усмотреть пренебрежительного отношения к политической свободе³. Чернышевский хочет здесь подчеркнуть индифферентизм либеральной буржуазии в вопросах народного благосостояния и противопоставить ей демократов, у которых эти вопросы стоят на первом плане. С другой стороны не забудем, что вышеприведенные строки написаны в 1858 г., когда в европейском социалистическом движении вопрос о борьбе за политическую свободу далеко еще не был вполне выяснен и поставлен так определенно, как в 70-е и 80-е годы. Не забудем, что даже в программе Интернационала политическая борьба подчинена экономической как средство (что половиной интернационалистов толковалось в смысле политического безразличия) и что только после продолжительной полемики конгрессы Международного Товарищества Рабочих определенно признали необходимость борьбы за политические вольности и за государственную власть.

Но главное даже не в этом, а в следующем. Демократ, по словам Чернышевского, из всех политических учреждений непримиримо враж-

¹ Ibid., стр. 204.

² «Соч.», т. III, стр. 527 (1857 г.).

³ Некоторую роль могли играть здесь и цензурные соображения. Чернышевскому, восхвалявшему в этой статье стремления «демократов», приходилось быть сугубо осторожным: он мог намекать на политическое безразличие демократов просто для усыпления цензорской бдительности. — Иногда Плеханов также вспоминает, «как часто вынуждаемы были русские писатели пользоваться эзоповским языком» (т. VI, стр. 43), но при анализе сочинений Чернышевского, в частности по вопросу о его политических взглядах, обыкновенно об этом позабывает (как и в данном случае).

дебен только одному — аристократии. И если бы оказалось, что, по мнению Чернышевского, принципы аристократии и абсолютизма находятся в безусловном противоречии, только тогда можно было бы утверждать, что в вышеприведенных словах Чернышевский выражает индифферентное отношение к борьбе с абсолютизмом. Но в том-то и дело, что Чернышевский этого не думал¹. В следующем же году, полемизируя с Чичериным, Чернышевский доказывает, что принципы демократии и абсолютизма прямо противоположны, и что если демократический принцип безусловно враждебен аристократии, то этого отнюдь нельзя сказать об абсолютизме. Конечно, говорит он, пока шла борьба между монархией и аристократией, между ними была и вражда, но как только абсолютизм утвердился, он не только не обнаружил никакого расположения к уничтожению сословных привилегий, как говорил Чичерин, но напротив организовал все господство по сословно-аристократическому принципу, взваливши все тяготы на простой народ. «Какая же тут противоположность принципа между абсолютизмом и аристократией? — спрашивает Чернышевский. — Напротив, французский король есть представитель и глава аристократического принципа»². А отсюда совершенно логически вытекает, что именно непримиримая вражда демократов к аристократическому принципу делает их столь же враждебными и к абсолютизму³.

То же самое он говорит также в 1859 году об Австрии⁴.

Словом, бюрократия и аристократия взаимно проникают друг друга, а монархия, в особенности самодержавная, является представительницею и защитницею аристократического принципа. Отсюда следует, что непримиримая вражда к аристократии есть одновременно и вражда к монархии, тем более к монархии абсолютной, в которой бюрократические и аристократические элементы преобладают. Недаром в пример приводится Австрия, т. е. псевдоним царской России.

Или возьмем ту же статью о Бентаме, в которой содержится приведенная нами цитата, способная внушить читателю предположение, будто Чернышевский повинен был в политическом индифферентизме.

¹ Как мы знаем, он этого уже не думал в 1850 году.

² «Г. Чичерин как публицист». «Соч.», т. IV, стр. 473—474 (1858 г.).

³ Вот почему бьет мимо цели вопрос, поставленный Плехановым (т. V, стр. 63) после слов Чернышевского о том, что демократ относится непримиримо враждебно к аристократии: «аристократии (но не абсолютизму?)». Это и значит абсолютизму, как венцу аристократии, что Чернышевский знал еще в студенческую пору.

⁴ «Соч.», т. V, стр. 312.

Стоит хотя бы бегло просмотреть эту статью, и нетрудно убедиться, что содержание ее имеет прямо противоположный характер. Вся аргументация Чернышевского клонится к тому, чтобы доказать необходимость политической свободы. Вслед за Бентамом Чернышевский доказывает, что для экономического преуспевания наций необходимы безопасность личности и труда («первейшее из всех условий»), свобода мысли, печати и слова, полная гласность и свободное выражение общественного мнения, свобода союзов, свобода петиций, народное представительство, располагающее бюджетным правом. Осуществимы ли эти требования «в каждом государстве, какова бы ни была его правительственная форма», и не ясно ли напротив, что Чернышевский вслед за Бентамом определенно говорит здесь о конституции? ¹.

Будучи глубоким и убежденным демократом, Чернышевский далеко не безразлично относился к вопросу о политической свободе. Поскольку цензурные условия позволяли это, он всегда говорил о необходимости борьбы с абсолютизмом. И когда в России началось конституционное движение, то Чернышевский приветствовал его, несмотря даже на то, что его демократический инстинкт должен был отвращать его от дворянства, ставшего тогда во главе движения к политическим реформам.

Ведь самая критика, которой Чернышевский подвергал либералов, говорила о том, что он не просто стремится к завоеванию политических вольностей, но что он требует полной, действительной политической свободы, доступной и для широких масс, а не только для привилегированных слоев образованного общества. Но зачем нам доказывать признание Чернышевским необходимости борьбы за политическую свободу косвенными путями, когда мы находим у него определенные, недвусмысленные, прямые заявления в этом смысле? Плеханов (т. V, стр. 63) уверяет, что только позже, в частности в «Письмах без адреса», относящихся к 1862 году, Чернышевский ясно высказался за политическую свободу. Но это неверно. Уже в 1859 году мы встречаем у него следующее ясное заявление: «Мы не сомневаемся, что сардинский (т. е. конституционный. — Ю. С.) правительственный принцип, при всех своих несовершенствах, при всех современных отклонениях от заботы

¹ Статья написана по поводу речи либерального экономиста Бабста «О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала» (1858 г.). В этой статье наличность цензурных соображений несомненна. Так, чтобы сразу обезоружить свирепых аргусов, Чернышевский, переходя к цитатам из Бентама («О гражданском и уголовном законодательстве»), спешит указать, что цитирует его «в переводе, сделанном по высочайшему повелению императора Александра I» (loc. cit., стр. 524).

об облегчении материальной участи народа, все-таки в миллион раз лучше австрийского, который по натуре своей соединен с угнетением народа и в материальном отношении, как основан на угнетении его в нравственном и умственном отношениях, между тем как сардинский принцип существенно принужден обращаться к улучшению народного быта, хотя бы по временам и уклонялся от этой обязанности по случайным обстоятельствам»¹.

Можно ли определеннее высказаться? Даже умеренная конституция кажется ему в миллион раз лучше самодержавия, и как раз с точки зрения народного благосостояния. Чернышевский здесь даже несколько перегибает палку в сравнении с своей обычной оценкой классовых отношений в современном обществе. Он настолько дорожит политической свободой, что готов приписать ей неотъемлемое внутреннее свойство способствовать улучшению народного быта.

Он готов даже расценивать вообще реформы с точки зрения расширения ими сферы свободы. Так, по поводу австрийского лже-конституционализма он, снова явно намекая на Россию, писал: «Австрийское правительство должно было держаться исключительно военным деспотизмом. И вдруг нам стали говорить, что неудовольствие в побежденных областях ослабело или уничтожилось. Можно ли было этому верить? Когда военный деспотизм имел дар вливать довольство в недовольные умы, заменять ненависть любовью? Нам стали говорить, что произведены мудрые реформы. Но всякая реформа, заслуживающая своего названия, основывается на расширении свободы или ведет к ней (курсив мой). Возможно ли, чтобы военный деспотизм допустил расширение свободы, когда он существует именно только для ее подавления и посредством ее подавления? Из этого можно было бы с достоверностью заключать, что все так называемые австрийские реформы по необходимости были пародиями на реформы или прикрывали именем реформ введение реакционных мер»².

Опять-таки, насколько он высоко ценил политическую свободу и ненавидел абсолютизм, видно из того, что в знаменитых «Письмах без адреса», в действительности, как известно, обращенных к Александру II и не пропущенных цензурой (февраль 1862 г.), Чернышевский, кажется, единственный раз в своей жизни выступает на защиту дворянства, стараясь снять с него упрек в корыстно-классовой подкладке

¹ «Политика», август 1859 г. — «Соч.», т. V, стр. 362.

² «Соч.», т. V, стр. 462—463.

его конституционных домогательств¹. Он признает, что в вопросе о выкупе земли дворянство стоит на эгоистической, классовой почве. «Но совершенно иной характер имеют желания дворянства относительно предметов, выходящих за пределы этого частного вопроса. В мыслях о реформе общего законодательства, об основании администрации и суда на новых началах, о свободе слова, дворянство только является представителем всех других сословий». И представителем их, по мнению Чернышевского, оно выступило даже не потому, что в нем сильнее были конституционные стремления, чем в других сословиях, а единственно потому, что оно располагало сословной организацией, дававшей ему возможность выражать свои пожелания. Если бы другие сословия имели законные органы для выражения своих желаний, то, как утверждает Чернышевский, они высказались бы по этому вопросу еще с большею решимостью, потому что все остальные сословия кроме дворянства еще сильнее его чувствуют обременительность самодержавия. «Если вы, М. Г., спросите купечество или духовенство, или крестьян, или даже массу чиновников (за исключением немногих чиновников, которым нынешний порядок выгоден), вы услышите от каждого из этих сословий те же самые мысли о законодательстве, администрации и суде». И Чернышевский с восторгом констатирует быстрое распространение в русском обществе конституционных стремлений и утверждает, что общество уже недалеко от решительного и единодушного заявления их².

¹ Характерно, что умеренный народничающий либерал Кавелин высказался против конституционных стремлений части дворян и даже издал за границей по этому поводу брошюру, обвинявшую их чуть ли не в крепостнических симпатиях. И этот господин был один из тех, кто упрекал Чернышевского в несочувствии политической свободе и дискредитировании либерализма! Вот каких либералов Чернышевский действительно презирал и шельмовал.

² «Соч.», т. X, ч. II, стр. 303. — Интересно, что «легальный марксист» М. Туган-Барановский в речи, произнесенной на заседании III Отделения Вольного Экономического Общества 17 октября 1909 г., посвященном памяти Чернышевского («Труды В. Э. О.», 1910, № 1, приложение, стр. 8—9); высказал правильное мнение о политических взглядах нашего автора. Вот что он по этому поводу заявил: «Указывают, что Ч. сказал, что с точки зрения социализма Сибирь выше свободной Англии. Но эта фраза не характерна для Ч. Наоборот, Ч., чем дальше, тем больше проникался убеждением, что политическое преобразование должно стоять на первом плане, что вне политической борьбы невозможно и осуществление социалистического строя. И это верно не только относительно последних лет деятельности Ч... Вспомните его знаменитые «Письма без адреса»... где он даже находит возможным поддерживать дворянство в его конституционных стремлениях. Уже в:

Но Чернышевский был не просто конституционалистом, он был убежденным республиканцем и, насколько ему позволяли цензурные условия, определенно высказывался именно в пользу республики. Чернышевский относился враждебно не только к абсолютизму, но и к самому принципу монархии. Прочтите, например, его статью о прениях в Баварском ландтаге 1859 года, и вы увидите, как настойчиво Чернышевский проводит республиканские идеи, прикрываясь по всегдашней своей привычке отповоркой, что речь идет мол о европейских делах, не имеющих, дескать, никакого отношения к России. Все изложение ведется к доказательству той мысли, что во всем виноваты не министры, простые слуги и лакеи династии, механические исполнители королевской воли, а король, самый принцип монархии.

Но Чернышевский с грустью констатировал, что настоящих, принципиальных, последовательных носителей республиканской идеи имеется очень мало, а что в большинстве случаев все это — республиканцы на час, только потому, что монархия не идет им навстречу.

«У нас привыкли думать, что республиканцы существуют не в одной Франции, а также, например, и в Германии, в Австрии, в Италии. Да, действительно есть в этих странах люди, горячо говорящие в пользу республиканской формы; но с ними такое практичное и сообразительное правительство, как правительство Наполеона III, поладило бы легко, потому что существенную идею всех этих республиканцев составляют стремления, весьма и весьма совместные с монархической формой, и за идею республики берутся они только из-за того, что находят невозможным ожидать осуществление этих стремлений от своих государей...

«Мадзини вообще причисляется к самым непреклонным республиканцам, какие только существуют в Европе; он — оракул многочисленных республиканцев Италии. Что же сделал он теперь, когда явилась надежда, что король сардинский станет предводителем итальянской нации в осуществлении ее независимости и единства? Он объявил, что всеми силами своими будет поддерживать сардинского короля, и разослал к итальянским республиканцам циркуляр, предписывающий им делать то же самое. Это показывает, что для него и для них республиканская форма также служит только средством к учреждению национальной независимости и единства при нерасположении

самых ранних статьях, в 50-е и 60-е годы, Ч. был глубоко проникнут стремлением к политическому освобождению, сознанием необходимости политической свободы». И дальше идет цитата из статьи «Суеверие и правила логики», где говорится об «азиатском устройстве общества» и т. д. («Соч.», т. IV, стр. 559).

монархических правительств Италии серьезно стремиться к этому, и как только одно из этих правительств выказало такое стремление, они обнаружили полную готовность отбросить мысль о республике и быть самыми жаркими приверженцами монархического правительства».

То же Чернышевский говорит о Маццини еще в нескольких местах, например, на стр. 340 тома V и на стр. 691—692 тома VI. Отсюда Плеханов делает тот вывод, что Чернышевский одобрял такие компромиссы, и что на его взгляд подобные сделки республиканцев с монархией допустимы; более того, он усматривает в этих указаниях Чернышевского намек русскому правительству, что если мол оно будет защищать интересы крестьянства, то русские демократы готовы пойти ему на уступки¹. Последнее предположение по отношению к Чернышевскому не основано ровно ни на чем. Его сочинения с непререкаемой очевидностью свидетельствуют о том, что он относился с непримиримой враждой и с абсолютным недоверием к самодержавию — не только к такому матерому, как российское, но и к такому ничтожному и слабому, как мелкие итальянские монархии, что он ставил в вину не только революционерам, но даже буржуазным либералам их готовность идти на уступки абсолютизму, ждать от него каких-либо преобразований и по таким соображениям ослаблять или прекращать против него борьбу, что он проповедывал войну против него до конца, до истребления, до полного уничтожения. Вот почему догадка Плеха-

¹ Плеханов — «Соч.», т. VI, стр. 45 сл. — Этот вывод Плеханов подтверждает выдержкой из статьи Чернышевского «Борьба партий во Франции», где Чернышевский, говоря о гибели династии Бурбонов вследствие упорной защиты ею дворянских интересов, прибавляет: «грустно то, что династия ради удовольствия этих бездушных эгоистов готовила себе ненужную гибель» (Чернышевский — «Соч.», т. IV, стр. 219). Эти слова Чернышевского, которых, разумеется, нельзя брать всерьез, Плеханов толкует как замаскированное обращение к русскому правительству с советом не отождествлять интересов монархии с интересами дворянства и как выражение готовности крайней партии поддержать правительство, если оно станет на путь реформ. И он напоминает, что подобные же заявления делались в то время Бакуниным и Герценом (насчет Бакунина тут ошибка: в это время, в 1858 г., он находился в Сибири, а аналогичное заявление в условной форме было им сделано в конце 1862 года, в брошюре «Народное дело»). Но это объясняется проще: слова Чернышевского были просто одним из его приемов для усыпления бдительности цензуры, чтобы под ее носом проводить статьи, доказывающие непримиримость монархии с развитием современного общества. А очень может быть, что это просто злобная насмешка над павшей династией. От самодержавия Чернышевский ждал реформ как от козла молока, а потому идти на уступки ему никакой охоты не имел.

нова решительно противоречит действительным взглядам Чернышевского на этот предмет.

Как же все-таки объяснить его слова о Маццини? Но неужели их нужно еще объяснять? Неужели они нуждаются в толкованиях? Ведь они яснее дня и содержат жгучий упрек тем республиканцам, которые по каким бы то ни было соображениям готовы идти на сделки с монархией — заметьте даже не самодержавной, а хотя бы конституционной, которую Чернышевский, говоря его же словами, ставил «в миллион раз» выше первой. Это видно из того, что, характеризуя оппортунизм Маццини, Чернышевский указывал на его обращения не только к пьемонтскому королю, но и к папе римскому — неужели же Плеханов заподозрит Чернышевского в готовности в 1859 году пойти на соглашение и с петербургским митрополитом? А далее это явствует из того, что страницей ниже цитаты, на которой основывается Плеханов, Чернышевский предлагает впредь именовать Маццини и его сторонников не республиканцами, а просто радикалами, ибо слово «республиканец» плохо выражает «сущность их мыслей» (т. VI, стр. 692).

Ту же мысль применительно к русским условиям Чернышевский высказывает в романе «Пролог», где он имел возможность раскрыть свои действительные взгляды, которые не мог полностью высказать в подцензурном журнале. Рассказывая о том, как либеральничающий бюрократ Савелов (Н. Милютин) хочет ссадить своего начальника, добродушного министра Петра Степановича, и как оба они трепещут перед представителем камарилы, всесильным графом Чаплиным (Муравьев-Виленский), Чернышевский объясняет индифферентное отношение г-жи Волгиной к этой игре портфелями тем, что она привыкла слышать от мужа (т. е. самого Чернышевского): «Э, голубочка! Все равно — тот ли, другой ли. Никто из них не может ничего сделать, как желал бы: больше ничего как писари, которые пишут, что велят им писать». Теперь она, прибавляет автор, слишком хорошо видела, что хотя муж ее говорит слишком резко и безусловно, но что в сущности он прав, и что какой-нибудь министр — ничто перед членом камарилы, которому стоит только мигнуть, чтобы господа министры полетели вверх тормашками¹.

С этой точки зрения Чернышевский полагал, что отмена крепостного права, необходимость которой вызвана была Крымской войной, сама по себе не является еще особенно великой реформой, ибо крепостное право было только частным проявлением общего принципа, т. е. самодержавия, а самый этот принцип остался без изменения.

¹ «Пролог». «Соч.», т. X, ч. I, стр. 148—149.

А между тем в основе всех бедствий русского народа лежит, по мнению Чернышевского, этот принцип, и пока он не устранен, нечего говорить о серьезных переменах.

Словом, в политическом индифферентизме Чернышевский меньше всего был повинен. Но необходимость выражаться околичностями вследствие цензурных гонений, с одной стороны, и жестокая критика буржуазного либерализма, с другой, могли возбуждать некоторые недоразумения в неразбирающихся и политически неопытных современниках его. Жертвой такого недоразумения был и молодой тогда Стахевич, попавший на каторгу и одно время проживавший с Чернышевским в Александровском остроге. Приводим относящиеся сюда интересные выдержки из воспоминаний Стахевича.

«Для меня, — рассказывает Стахевич, — и для нескольких других сотоварищей по тюрьме было на первое время совершенно неожиданностью, что теоретические мнения Николая Гавриловича были решительно в пользу политической свободы.

«Мы, тогдашние молодые люди, которых политические мнения сложились в значительной степени под влиянием «Современника», т. е. под влиянием Н. Г., Добролюбова и их сотрудников, — мы исповедывали символ веры приблизительно такой: в жизненном строе народа наибольшую важность представляет материальное благосостояние масс населения; к этому благосостоянию следует стремиться неуклонно; все прочее приложится: зажиточный народ приобретет просвещение, проявит чувство личного достоинства, завоюет политические права, переделает политические учреждения; политические формы сами по себе — ничто; конституция и республика могут совмещаться не только с благосостоянием масс, но также и с их нищетой; абсолютизм может совмещаться не только с нищетой масс, но также и с их благосостоянием (!) ¹.

«И вот при одном из первых же наших собеседований с Николаем Гавриловичем в «полиции» (помещение в Александровском заводе) он заявил себя горячим сторонником политической свободы. В конце нашего бурного спора он выразился так:

— «Вы, господа, говорите, что политическая свобода не может накормить голодного человека. Совершенная правда. Но разве, например, воздух может накормить человека? Конечно, нет. И однакоже без еды человек проживает несколько дней, без воздуха же не проживет и десяти минут. Как воздух необходим для жизни отдельного

¹ В таком истолковании статей Чернышевского повинен не он, а дух времени.

человека, так политическая свобода необходима для правильной жизни человеческого общества ¹.

«...Повидимому, каждая сторона молчаливо осталась при своем: он — сторонник политической свободы; мы (точнее сказать, некоторые из нас) с предвзятою решимостью встретить политическую свободу хмурыми и подозрительными взглядами» ².

Таково же по существу и то «политическое завещание», которое в ноябре 1871 года Чернышевский преподал своим молодым товарищам по каторге, когда им предстоял выход из тюрьмы. Здесь он решительно высказался за политическую свободу, хотя, как коммунист, тут же прибавил, что формы — вещь ненадежная, и что формальная свобода нисколько не гарантирует трудящиеся массы от экономического порабощения. Но при политической свободе возможна борьба партий, а иногда и победа более прогрессивной партии. Страшнее же всего — всепоглощающий Левиафан, т. е. самодержавие ³. Ему-то Чернышевский и объявил непримиримую войну с юных лет ⁴.

Теперь нам становится понятен резкий отзыв Чернышевского о книге Васильчикова «Землевладение и земледелие», присланной ему в Виллюйск. Выше мы выяснили уже, в каком смысле нужно понимать слова Чернышевского о вопросах «нравственного», а не материального порядка, решение которых он считал важным в первую голову. Это значило, что без низвержения самодержавия разговоры об улучшении быта крестьян — пустая болтовня, способная только приводить в раздражение. В таком же смысле надлежит понимать написанное в следующем году (24 апреля 1878 года) письмо Чернышевского по поводу

¹ Стахевич выразил недоумение по поводу того, что в разных статьях Чернышевского вопрос этот освещался якобы неодинаково. Но то, что было неясно для Стахевича и его молодых товарищей, ясно для нас. Разумеется, в полемике с абсолютистами и умеренными либералами, готовыми идти с самодержавием на соглашение, ударение делалось Чернышевским на пагубности абсолютизма для народного благосостояния и на необходимости энергично бороться за политическую свободу. Напротив, в полемике с апологетами буржуазного строя, с фетишистами формальной демократии, приходилось делать ударение на том, что политические вольности отнюдь не гарантируют благосостояния трудящихся масс. Здесь — не противоречие автора, а две стороны одной и той же медали.

² «Н. Г. Чернышевский», изд. о-ва Политкаторжан, М., 1928, стр. 77—79.

³ В. Шаганов — «Н. Г. Чернышевский на каторге и в ссылке». Спб., 1907, стр. 27—28.

⁴ Вспомним, что уже в 1850 году Чернышевский признавал абсолютизм и монархию вообще главным препятствием к под'ему народа и желал им скорейшей гибели в интересах очистки почвы для открытой классовой борьбы.

присылки ему немецкой книги Кейслера о русском общинном землевладении¹.

«Надоело мне все подобное, — пишет Чернышевский. — Тошнит меня от «крестьян» и от «крестьянского землевладения»... А автор книги — осёл... Читана она мною не была бы, если бы и была умна. От предмета ее тошнит меня, тошнит». И дальше по поводу книги Янсона «Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах»: «Книга, вероятно, хорошая. Но прочтено мною не будет ни одной строки из нее. От предмета ее тошнит меня». И наконец, в заключение: «Не тратьте денег на присылку мне книг о «землевладении» или о «крестьянах» — серьезно говорю: тошнит меня от них»².

Если бы Плеханов обратил внимание на это письмо, то он не был бы введен в заблуждение письмом от 15 июня 1877 года, где по поводу книги Васильчикова говорилось о примате условий «нравственного» порядка над вопросами порядка материального. Ведь никто не предположит, что Чернышевский в Сибири начал относиться безучастно к положению крестьянства. Смысл его слов совершенно ясен: его раздражали («тошнит») разговоры об улучшении положения масс, не связанные с вопросом об изменении политического режима, с низвержением царизма, при котором никакие серьезные преобразования в интересах масс он не считал возможными.

3. Политический индифферентизм массы

Но если сам Чернышевский не относился безразлично к вопросам политической борьбы, то он констатировал такой индифферентизм у массы. И в этом заключался источник глубокого пессимизма, по временам овладевавшего великим народным печальником, который с чувством глубокой скорби взирал на равнодушие подавленных масс к вопросам, задевающим их жизненные интересы.

«Масса населения, — говорит он, — ни о чем не знает, ни о чем не думает кроме своих материальных выгод, и редки случаи, в которых она хотя замечает отношения своих материальных интересов к политической перемене... На этом равнодушии массы основана возможность даже самых замыслов о большей части совершаемых в политической жизни перемен...

¹ Речь идет о магистерской диссертации Keussler «Zur Geschichte und Kritik des häuerlichen Gemeindebesitzes in Russland», Рига — Москва — Одесса, 1876, ч. I.

² «Чернышевский в Сибири», вып. III, стр. 100—101.

«Масса — просто материя для производства дипломатических и политических опытов. Кто взял над нею власть, тот и говорит ей, что она должна делать, — то она и делает. Такого взгляда постоянно держатся практические государственные люди... Нельзя не признаться, что этот взгляд очень близок к истине». И Чернышевский указывает на то, что в 1848 году революционно настроен был только авангард парижского пролетариата, остальная же масса нации, не только крестьян, но и рабочих, проявляла политический индифферентизм¹.

Итак, Чернышевский констатирует, что трудящиеся массы обыкновенно не связывают своего тяжелого материального положения с политическими формами и не связывают своих экономических стремлений с политическими действиями. Даже пролетариат в массе отнесся довольно безразлично к вопросу о политической свободе (не забудем, что Чернышевский говорит о первой половине XIX века)².

О крестьянстве, прибавляет Чернышевский, нечего и говорить: о том, что оно нимало не дорожило конституцией во время Реставрации, излишне, по его мнению, и упоминать³. Реформаторы, заботящиеся о народном благе, понимают весь вред абсолютизма и необходимость политических вольностей, необходимость «гарантий»⁴. Но крестьянство, страдающее от поземельных отношений, зависящее не прямо от правительства, а от богатых землевладельцев, останавливает свою вражду на этом ближайшем посреднике своей бедности и не доходит «до отдаленнейшей и коренной виновницы бедствий — до правительственной системы, принуждающей землевладельца обирать поселянина для уплаты налогов и вместе с тем защищающей землевладельца в его господстве над поселянином»⁵.

¹ «Соч.», т. VI, стр. 491.

² А Плеханов (т. VI, стр. 48) уверяет нас, что «ошибку Чернышевского можно характеризовать кратко словами: ему не ясна была связь экономических интересов пролетариата с его политическими задачами». Неверно. Ему то эта связь была вполне ясна, но его удручало то, что она пока еще не ясна массе, даже большинству рабочего класса.

³ «Борьба партий». «Соч.», т. IV, стр. 202 (1858 г.).

⁴ «Политика». «Соч.», т. V, стр. 336 (1859 г.) — Таким образом Чернышевский приписывает политические тенденции всем западно-европейским социалистам, из которых многие в то время на самом деле таких тенденций не имели. Возможно, что он имел в виду бланкистов. Но во всяком случае для него это установление тесной связи между социалистическими и политическими стремлениями характерно.

⁵ Ibid., стр. 362—363. — Что Чернышевский по своему обыкновению, говоря об Италии, думал в сущности о России, видно из словечка «и» в продолжении этой фразы: «Таким образом и в Ломбардии поселяне умеют только не любить землевладельцев, не понимая, что должны были бы за все

Народная масса, говорит Чернышевский, имея в виду преимущественно крестьянство, равнодушна к понятиям реакции, модерантизма и политического революционерства; ее недовольство возбуждается только чисто материальной нуждой и страданиями. Эта темная, почти немая, почти мертвая в обыкновенные времена масса не играет роли в большей части политических событий Западной Европы. Глухие, немые стремления этой массы так непохожи на исторические стремления существующих политических партий, что умеренные никогда, а революционеры в очень редких случаях отваживаются прямо опираться на удовлетворение ее требований, и масса, не находя в их программах соответствия с своими мыслями, остается обыкновенно равнодушна к реформаторам (в большинстве случаев, замечает Чернышевский в другом месте, она просто о них не знает) ¹.

Значит ли это, что по мнению Чернышевского освободительные стремления осуждены на постоянные неудачи, а политический индифферентизм масс не может быть ничем побежден? Ни в коем случае. Все его рассуждения клонятся к доказательству той мысли, что народную массу нельзя всколыхнуть чисто политическими вопросами, и что революционеры должны внести в свою программу пункты, направленные к удовлетворению насущных экономических потребностей трудящихся классов. Относительно либералов Чернышевский прямо говорит, что они никогда ничего не делали и ничего не хотели делать для народа. Но демократов он упрекает в том, что они ограничивались чисто политическими вопросами и этим укрепляли индифферентизм масс к борьбе за демократическое преобразование общества ². Так, говоря об итальянских делах, Чернышевский утверждает, что либералы сами по себе бессильны против реакционеров потому, что либерализм понятен только образованным людям, стало быть, имеет своими приверженцами только горсть людей по сравнению с массой населения. Стремления этой массы в сущности тождественны с стремлениями последовательных демократов. «Масса хочет коренных изменений в своем материальном быте». Умеренные либералы обыкновенно забывают об этой потребности, а если и помнят о ней, то относятся враждебно к социальным изменениям; революционеры также очень часто упускают из виду материальную сторону вопроса, слишком занимаясь идеальной или по-

винить австрийское правительство, которое не имело с ними непосредственного дела, а угнетало их только через посредство землевладельцев». Особенно удручал его, разумеется, политический индифферентизм русского крестьянства.

¹ «Политика», *loc. cit.*, стр. 364 (1859 г.).

² «Борьба партий», *loc. cit.*, стр. 203—205.

литической его стороною, и потому масса остается холодна к ним и продолжает по своей апатии давать реакционерам средства к подавлению освободительного движения. «А без возбуждения энтузиазма к движению в массе движение не может кончиться ничем иным, кроме гибели либералов от торжествующей и мстительной реакции»¹.

Здесь мы должны рассеять еще одно недоразумение, в которое впал Плеханов благодаря своему стремлению находить доказательства утопизма Чернышевского даже там, где их нет и следа. В статье «Июльская монархия» Чернышевский указывает на то, что все политические партии вплоть до республиканцев враждебно относились к социализму, единственному учению, стремящемуся дать удовлетворение материальным интересам масс. А между тем «источником всей силы, какую имело то или другое французское правительство, бывала надежда массы, что оно благоприятно для нее; недовольство своим положением было всегда причиною катастроф (т. е. революций. — Ю. С.)... Какова бы ни была форма политического устройства, предпочитаемая известною партией, все равно, эта форма могла получить прочность только от разрешения вопросов, составляющих предмет исследования для тех мыслителей, которые заботились приискать средства к удовлетворению потребностей массы (т. е. социалистов. — Ю. С.). Но все политические партии — абсолютисты, конституционалисты, республиканцы — одинаково восставали против этих попыток, которыми пролагался единственный путь к успокоению общества. Республиканцы сделали такую ошибку в 1848 году; при июльской монархии делали ее консерваторы и умеренные либералы»².

Смысл этих слов совершенно понятен. Констатируя, что все буржуазные партии, в том числе и буржуазные республиканцы (политику которых он беспощадно раскритиковал за два года до того в статье о Кавеньяке), враждебны интересам пролетариата, что ни одна из этих партий не хочет защищать материальных интересов рабочего класса, ибо, как неоднократно выясняет Чернышевский, все они представляют различные группы собственников и эксплуататоров, Чернышевский намекает на необходимость образования особой рабочей партии, партии социалистической, лучше сказать коммунистической. Эта партия сумеет добиваться реформ в пользу трудящихся, а в момент революции возглавить движение и, опираясь на массы, захватить власть и установить революционную диктатуру.

¹ «Борьба партий», loc. cit., стр. 203—205.

² «Соч.», т. VI, стр. 126.

Что же вычитывает из слов Чернышевского Плеханов? А вот послушайте. «Недоумение (?) нашего автора разрешилось бы очень скоро, если бы (!) он принял во внимание, что все старые политические партии были партиями, выражавшими стремления таких классов или слоев французского общества, интересы которых были противоположны интересам пролетариата или, по крайней мере, очень сильно расходились с ними, между тем как социализм даже в своей утопической фазе был, правда иногда довольно фантастическим, выражением именно пролетарских интересов. Все старые партии прекрасно понимали это, и потому все они восстали против социализма. Из этого положения был только один выход: возникновение самостоятельной политической партии, служащей интересам пролетариата. И этот выход был найден историей: мало-по-малу рабочие партии возникли во всех передовых странах Европы. Но Чернышевский, как видно (?), еще не терял надежды на то, что выход найдется в примирении с социализмом одной из старых политических партий»¹.

Откуда это «видно», — остается секретом Плеханова. Все то, чему он поучает здесь Чернышевского, тому прекрасно было известно и неоднократно им высказывалось, между прочим в той же статье. Никакого «недоумения» насчет поведения буржуазных партий Чернышевский не выражал, ибо очень хорошо знал то, что советует ему «принять во внимание» Плеханов, а именно, что все они представляют различные слои господствующих классов². И тот вывод, который Плеханов подсказывает Чернышевскому и который, по его мнению, якобы противоречит ходу мыслей нашего автора, на самом деле является единственным выводом, вытекающим из его слов.

Но констатирование политического индифферентизма массы не приводит Чернышевского к абсолютному пессимизму. Массы безучастно относятся к политическим вопросам, но это не значит, что они не чувствуют своего тяжелого материального положения, и что

¹ Плеханов — «Соч.», т. VI, стр. 49.

² Говоря о событиях 1848 года, Чернышевский между прочим замечает: «Раскрылось для всех, что между коммунистами или социалистами и всеми другими партиями есть большая разница, гораздо значительнее даже той, какая существует между самыми далекими друг от друга из остальных партий. Приверженец абсолютизма и красный республиканец чувствовали, что у них обоих есть что-то общее, против чего идут социалисты и коммунисты. А эти люди, оказавшиеся идущими против учреждений, равно драгоценных и для реакционеров, и для огромного большинства революционеров, оказались в некоторых местах довольно близкими к получению власти над обществом». Но социалисты не сумели использовать положения и дали себя одурачить, как, напр., во Франции Луи Блан («Соч.», т. VII, стр. 629).

они не имеют и н ы х стремлений. Напротив, зачастую их безразличное отношение к политическим перипетиям объясняется их уверенностью в том, что не на этом пути они найдут удовлетворение своих э к о н о м и ч е с к и х интересов. Они не умеют связать своих социальных стремлений с политическими вопросами, но отсюда не следует, что они лишены всяких порывов, что они тупо мирятся с своим положением.

В своих политических обзорах Чернышевский не раз указывал на хладнокровное отношение итальянского крестьянства к предпринятой буржуазиею борьбе за национальное освобождение и объединение страны. Но вместе с тем он решительно протестовал против того мнения, будто в этом холодном отношении проявляется сочувствие крестьян австрийцам. И он цитирует письмо одного из корреспондентов «Таймса», в котором сказано: «В одном из моих первых писем отсюда (из восточной части Сардинии) я говорил, что поселяне вовсе не расположены были к войне, а готовы, пожалуй, к социалистской революции, ненавидя своих господ, богатых собственников, живущих в Турине и Милане. Одна из австрийских газет сочиняет из этого, будто бы народ здесь расположен к Австрии. Нет, я могу уверить вас, что поселяне Ломеллинской провинции (земли между Сезиею и Тичино) не любят ни австрийцев, ни французов, ни своего правительства. Они имеют только одно чувство — ненависть ко всем «проклятым господам» (*maladetti signori*). Они думают, что богатые — «богатыми» называют они всех неработающих руками — имеют выгоду от войны и приносят ей в жертву поселян и их интересы. Видя, как легко могло бы быть произведено здесь социалистическое возмущение, я не могу верить словам Туринского бюллетеня № 32, говорящего, что австрийцы старались возмутить бедный класс жителей в Страделле и Вогере против богатых»¹.

Крестьяне вовсе не реакционеры по принципу и вовсе не сочувствуют врагам свободы и национального единства. Итальянские крестьяне, с удовлетворением подчеркивает Чернышевский, не оправдали надежд реакции и Наполеона III. Когда в 1860 году встал вопрос о присоединении центральной Италии к Пьемонту, французский император вдруг проявил необыкновенный демократизм и потребовал, чтобы по этому вопросу голосование производилось не на основании какого-либо ценза, а было всеобщим. Это требование, как поясняет Чернышевский, было «основано не на отвлеченном уважении к демократическому принципу, а просто на том предположении, что простолюдины и в особенности поселяне центральной Италии менее проникнуты стрем-

¹ «Соч.», т. V, стр. 231.

лением к единству, чем горожане и люди образованных сословий». Но Наполеон ошибся в своих расчетах. Масса крестьян поголовно вотировала за присоединение к Пьемонту, оправдав надежду сторонников объединения Италии. И Чернышевский с чувством глубокого удовлетворения констатирует, что «результат вотирования оправдал эту надежду с такою полнотою, какой не ожидали даже люди, наиболее уверенные в патриотизме простолюдинов»¹.

Массы индифферентны к политике, они не умеют еще связывать своих классовых стремлений с политическими. Революционеры должны понять это и соответственно этому действовать, т. е. выяснить крестьянам связь их социальных требований с политическими. Политический индифферентизм массы не должен приводить их в отчаяние, а только подсказать им правильный образ действий. Они, революционные социалисты, должны сделать то, чего не умели и не хотели сделать буржуазные партии всех юттенков, т. е. опереться на материальные потребности и интересы трудящихся масс².

4. Отдельные политические вопросы

В связи со взглядом Чернышевского на политический индифферентизм и темноту народных масс, в особенности крестьянства, стоит его отношение к всеобщему избирательному праву. Чернышевский относится положительно к этому политическому институту, хотя не скрывает от себя, что в первое время применение его может да и должно было повлечь за собою довольно неожиданные результаты. Он напоминает, что во времена июльской монархии всеобщее избирательное право считалось само по себе достаточной гарантией для составления такой палаты, которая действительно была бы представительницей народных интересов. Но, замечает он, когда опыт показал, что всеобщим голосованием дается власть обскурантам и реакционерам, многие лучшие люди потеряли веру в этот принцип. Однако в качестве старого диалектика Чернышевский и здесь не склонен поддаваться унынию и осуждать институт всеобщего избирательного права («всеобщего избирательства») только за то, что первое применение его оказалось не совсем удачным и разочаровало друзей прогресса. Дело в том, говорит он, что и тут, как во всех исторических делах, отдельные моменты общественного благосостояния — политическая власть, материальное довольство и образованность — неразрывно

¹ «Соч.», т. VI, стр. 464. — Про надежды Чернышевского на революционность русского крестьянства мы говорим во втором томе.

² «Соч.», т. V, стр. 365.

связаны один с другим. Материально необеспеченные классы не могут достичь умственного развития; умственная отсталость мешает им воспользоваться своей силой выгодным для себя образом; а кто не пользуется политической властью, тот не может спастись от угнетения, т. е. от нищеты и от невежества. Создается таким образом порочный логический круг, приводящий в отчаяние людей, нетвердых духом или нетерпеливых. Но Чернышевский не хочет приходить в отчаяние, ибо ему прекрасно известно, что такой порочный круг составляет явление обычное в истории и что разрывается он человеческой деятельностью.

«Этот фальшивый круг, — замечает Чернышевский, — не абсолютно сковывает развитие жизни». Дело в том, говорит он, что если каждое условие благосостояния порождается только совокупностью всех других условий, то успех, сделанный каким-нибудь из них в отдельности, все-таки отражается несколько благоприятным образом на других условиях, как бы неудачно ни было его действие в собственной частной сфере. Так, по мнению Чернышевского, результат декрета, внезапно давшего каждому взрослому французу голос на выборах, сослужил французскому обществу все-таки известную службу, так как воочию обнаружил губительную роль крестьянской темноты. Демократы могли убедиться, что все их стремления к прогрессу останутся бесплодными до тех пор, пока французский крестьянин не будет вырван из состояния умственной отсталости. В эту сторону теперь и направлены их усилия. И таким образом введение всеобщего избирательного права, хотя непосредственно и принесло Франции значительный вред, но косвенно принесло ей несравненно большую пользу¹.

Эти слова Чернышевского пытались истолковать в невыгодном для него смысле: дескать, какой ничтожный вывод извлекается из такого гигантского исторического урока!² Мы не можем согласиться с этим

¹ «Июльская монархия», loc. cit., стр. 81—82.—Чернышевский прекрасно знает, что именно крестьянство оказалось особенно неспособным воспользоваться своим избирательным правом; пролетариат в этом отношении вел себя иначе. Он настолько успешно начал пользоваться своим правом голоса, что реакция поспешила вырвать у него из рук это оружие. И Чернышевский совершенно справедливо указывает, что закон 31 мая 1850 г., принятый монархическим Национальным Собранием во Франции, направлен был прямо против рабочих. «Работники, часто переменяющие место жительства, теряли право голоса, и число избирателей уменьшалось с 9 млн. до 6 и даже до 5. Три или четыре миллиона, терявшие право голоса, вотировали большею частью за красных».—Примечания к Кинглэку. «Соч.», т. X, ч. II, стр. 76—77.

² В частности Плеханов (т. VI, стр. 14—15) старается истолковать это место в невыгодном для Чернышевского смысле. По его словам, Чернышев-

мнением. Не забудем, что эти слова написаны Чернышевским в 1860 г., когда многие европейские демократы под влиянием печального зрелища бонапартовской Франции чрезвычайно скептически относились ко всеобщему избирательному праву. Не забудем, что через пять лет после Чернышевского, а именно в середине 60-х годов, Маркс и Энгельс довольно отрицательно отнеслись к кампании Лассаля в пользу всеобщего избирательного права. Энгельс в 1865 году доказывал на примере Франции, что правительство, располагая вымуштрованной бюрократией и печатью, опираясь на отсутствие свободы союзов и собраний, может в стране с преобладающим сельским населением организовать самые послушные выборы, и утверждал, что в Германии при слабости городского пролетариата всеобщее и прямое избирательное право сделается для рабочего класса не орудием освобождения, а ловушкой¹. Но Чернышевский (кстати, написавший свой отзыв о всеобщем избирательном праве за 3 года до выступления Лассаля) вовсе не приписывал всеобщему голосованию значения панацеи, как немецкий агитатор. Во всяком случае вывод Чернышевского вовсе не так наивен, как кажется на первый взгляд: в современных терминах он гласит, что практика всеобщего голосования косвенным путем содействует развитию классового сознания среди трудящихся и способствует их организации.

В статье о Тюрго Чернышевский, говоря о диалектике истории, замечает, что «одно и то же слово может быть представителем про-

ский обращается здесь к каким-то «лучшим людям» и возлагает свои надежды на то, что эти «лучшие люди» займутся воспитанием поселян, вследствие чего «прогресс во Франции станет легче». Так можно вышутить всякую мысль. Во-первых, термин «лучшие люди» Чернышевский употребляет совсем в другой связи: когда выяснилось, говорит он, «что всеобщим избирательством дается власть обскурантам и реакционерам, многие лучшие люди потеряли веру в этот принцип». По поводу же пропаганды в крестьянстве он возлагает надежды на «честных людей». Неужели же Плеханов забыл, что по тогдашним цензурным условиям Чернышевский употреблял этот термин вместо «последовательные революционеры»?!. Именно об этом он и говорит, указывая, что голосование крестьян заставило революционеров обратить внимание на необходимость их политического развития, что кое-что в этом направлении уже и теперь делается, и усилия все же не остаются совершенно бесплодными. В нарочито туманных выражениях, для усыпления бдительности цензуры (страх перед которой заставляет Чернышевского тут же пояснить: «разумеется, мы говорим только о Западной Европе»), Чернышевский проводит тут свою постоянную мысль о необходимости «левого блока», союза рабочих и крестьян для успеха социальной революции.

¹ В предисловии ко 2-му изданию «Классовой борьбы во Франции» Маркса (1895 г.) Энгельс признал свой тогдашний взгляд ошибочным.

гресса или отсталости, смотря по различию времен». Vernunft wird Unsinn, Wohlthat Plage — это положение было хорошо известно нашему автору¹. То же самое, продолжает он, можно сказать о всеобщем избирательном праве — с той разницей, что первые попытки его применения оказались неудачными, но в дальнейшем оно может послужить орудием освобождения². Вместо того чтобы после первой же неудачи забраковать самый принцип, Чернышевский советует подумать, «во-первых, верно ли было наше понятие о принципе, которым мы очаровывались, и не надобно ли видоизменить формулу, его выражающую; во-вторых, следует подумать, нет ли других принципов, могущих служить ему коррективными средствами». И вместе с «умными людьми» он находит, «что *suffrage universel* понимался односторонним и узким образом, и что каким бы образом ни понимать его, необходимыми коррективными средствами ему должны служить просвещение и децентрализация»³.

Как же относился наш автор к вопросу о централизации и децентрализации? Исследуя этот вопрос, мы лишний раз будем иметь случай убедиться в проницательности и самостоятельности этого великого ума, столь безвременно погибшего для русской науки.

В конце 40-х годов Маркс был решительным противником децентрализации, которую он отрицал безусловно; столь же безусловно он восхвалял централизацию. В знаменитом обращении Центрального Комитета «Союза Коммунистов» к секциям союза, разосланном в марте 1850 г., он дает немецким рабочим тактические директивы и указывает, как им следует относиться к вероятной тактике буржуазной демократии. Демократы, говорит он, будут прямо или косвенно добиваться учреждения федеративной республики и, если им не удастся обойтись без единой и нераздельной республики, попытаются парализовать центральное правительство путем предоставления возможно более полной самостоятельности и независимости отдельным общинам и провинциям. Рабочие не должны поддаваться гипнозу громких фраз о самоуправлении и т. п.; в отличие от буржуазных демократов

¹ «С изменением обстоятельств... полезное может делаться вредным, бесполезное полезным», говорит он в статье о Studien Гакстгаузена. «Соч.», т. IV, стр. 234—235 (1858 г.).

² Так впоследствии смотрел на дело и Маркс. Это видно из того, что в программу французской «Рабочей партии», которую он в 1879 г. выработал вместе с Жюлем Гэдом, был включен пункт, говоривший о том, что всеобщее избирательное право из орудия дурачения масс может и должно обратиться в орудие их освобождения (Ю. Стеклов — «Карл Маркс», изд. 3-е, 1923, стр. 90).

³ «Соч.», т. IV, стр. 234—235 (1858 г.).

они должны отстаивать самую решительную и строгую централизацию, которая придает всеобщий характер уступкам, вырванным народом у законодательной власти¹.

Этот взгляд Маркса и его единомышленников объясняется целым рядом исторических условий: деятельностью бланкистов, которая в 40-х годах влияла на формирование политических воззрений основателей научного социализма; примером Конвента (Маркс прямо указывает на 1793 г., когда советует немецкому пролетариату добиваться «строжайшей централизации»); отчасти тем обстоятельством, что требование децентрализации в 1848 г. было выдвинуто во Франции реакционерами, желавшими получить развязанные руки в тех департаментах, где им принадлежало большинство, и таким образом парализовать революционные мероприятия центрального правительства. Но главную роль играли здесь, конечно, тогдашние условия немецкой жизни, раздробленность Германии, благодаря которой «немцам, — говоря словами Маркса, — приходится одно и то же завоевание прогресса проделывать особо в каждом городе, в каждой провинции».

Впоследствии Энгельс в примечании к вышецитированному месту (1885 г.) признал, что оно основано на недоразумении. В то время, благодаря бонапартистским и либеральным фальсификаторам истории, считалось твердо установленным, что централизация правительственного механизма была введена во Франции революцией и в руках Конвента оказалась необходимым и решающим оружием в борьбе с роялистической и федералистической реакцией и с внешним врагом. Дальнейшие исторические исследования выяснили, что в течение всей революции вплоть до 18-го брюмера (т. е. до государственного переворота, произведенного Бонапартом, впоследствии Наполеоном I) на местах действовали власти, избранные самим народом, и что как раз это широкое провинциальное и общинное самоуправление сделалось сильнейшим рычагом революции. И Энгельс заключает: «Так же мало, как местное и провинциальное самоуправление противоречит политической и национальной централизации, так же мало необходимо связано оно с тем ограниченным или коммунальным себялюбием, которое в таком неприглядном виде выступает перед нами в Швейцарии, и которое в 1849 г. все южно-немецкие федеративные республиканцы хотели сделать общим правилом в Германии».

Политические воззрения Чернышевского также складывались под влиянием бланкистов; общие политические условия, при которых при-

¹ М а р к с — «Кельнский процесс коммунистов». Спб., 1906, стр. 115. — Ср. сборник «Памяти Маркса», Спб., 1908, стр. 319.

ходило ему работать, также толкали его к бланкистским взглядам ввиду отсутствия в тогдашней России способной к самостоятельному историческому действию массы. Так что мы ничуть не удивились бы, если бы встретили у Чернышевского восхваление централизации и якобинства — по крайней мере, якобинства в том виде, какой в конце 40-х годов рисовался Марксу, когда он указывал на пример Конвента. И тем не менее этого не случилось: Чернышевский, будучи поклонником Робеспьера, оказался свободен от увлечения таким якобинством и от безусловного преклонения перед идеей централизации, хотя бы революционной.

Напротив, Чернышевский осуждал централизацию, особенно в той крайней форме, как она сложилась к середине XIX века во Франции. Перечисляя грехи умеренных республиканцев, скомпрометировавших и погубивших февральскую революцию, он выставляет против них, между прочим, и то обвинение, что они ничего не сделали для устранения «излишеств административной централизации», от которых страдала Франция¹. Он прямо говорит, что демократия враждебна централизации, и что ей скорее соответствует идея децентрализации и полного местного самоуправления².

Возражая против мании Б. Чичерина, отождествляющего в своей книге «Очерки Англии и Франции» демократию с централизацией и бюрократией, Чернышевский доказывает ему, что в этом отношении, т. е. в смысле симпатии к централизации и бюрократии, демократия не имеет ничего общего с абсолютизмом, как это померещилось г. Чичерину. «По существенному своему характеру, — говорит Чернышевский, — демократия противоположна бюрократии; она требует того, чтобы каждый гражданин был независим в делах, касающихся только до него одного; каждое село и каждый город независимы в делах, касающихся его одного, каждая область в своих делах. Демократия требует полного подчинения администратора жителям того округа, делами которого он занимается. Она хочет, чтобы администратор был только поверенным той части общества, которая поручает ему известные дела и ежеминутно может требовать у него отчета о ведении каждого дела».

¹ «Кавеньяк», loc. cit., стр. 34 (1858 г.).

² Можно было бы подумать, что Чернышевский и здесь сходит с исторической точки зрения, придавая некоторым понятиям характер абсолютистности, но на самом деле этого не было. Он, как увидим ниже, хорошо знал, что в известные исторические периоды централизация может оказаться орудием освобождения в руках демократии.

Здесь Чернышевский прямо выдвигает принцип выборности всех чиновников и ответственности их перед народом. Автономии общин и областей, широко разветвленного и демократически организованного местного самоуправления он ничуть не боится. «Демократия, — продолжает он, — требует самоуправления и доводит его до федерации (курсив мой). Демократическое государство есть союз республик или, лучше сказать, образуется из нескольких постепенных наслоений республиканских союзов, так что каждый довольно значительный союз состоит в свою очередь из союза нескольких округов, — таково устройство Соединенных Штатов»¹.

Вот вам типичная демократия, говорит Чернышевский, но в ней нет ни централизации, ни бюрократии. По такому же принципу построен и Союз Советских Социалистических Республик, как бы предсказанный Чернышевским.

В этой статье, посвященной полемике с доктринерством Чичерина, Чернышевский еще думал, что современная французская централизация создана абсолютной монархией, усилена революцией и перенята у последней Наполеоном I. Приблизительно так же смотрел в 1850 году на дело и Маркс, но, как мы видели, Чернышевский делал из этой неверной посылки вовсе не такие выводы, как Маркс и Энгельс, и все-таки склонен был считать «строжайшую» централизацию скорее злом, чем явлением положительным. В статье, написанной через два года и посвященной полемике с Токвилем, Чернышевский уже высказывает мысль, высказанную Энгельсом в 1885 г. в вышецитированном его примечании. Здесь он определенно говорит, что полную централизацию ввели во Франции не революционные собрания, как это думают многие, в том числе и Токвиль, а Наполеон I²; усилили же ее, как он указывал в первой статье, Реставрация и Июльская монархия и, наконец, Вторая Империя.

Токвиль, говорит наш автор, видел у себя на родине демократию рядом с централизацией. Не разобрав, что это — два явления разных периодов и совершенно различных тенденций, он вообразил, что демократия и централизация имеют необыкновенное влечение друг к другу, что это чуть ли не два явления одного и того же порядка. На самом деле деспотизм прекрасно обходится без централизации, говорит Чернышевский, и приводит в пример Турцию, где каждый паша — полновластный правитель в своем округе, и до-революционную Францию, где абсолютизм уживался с пестротой провинциальных особенно-

¹ «Г. Чичерин как публицист», «Соч.», т. IV, стр. 471 и сл. (1859 г.).

² «Непочтительность к авторитетам», «Соч.», т. VIII, стр. 192.

стей. «При старом порядке существовал безграничный совершенно хаотический произвол. Новые принципы законного порядка еще не достигли той степени торжества над ним, чтобы вовсе устранить его, а до сих пор успевали лишь несколько обуздывать его подчинением хотя некоторой форме. Формой этой пришлось быть, по особенным историческим обстоятельствам, централизованному принципу». Централизация уничтожила произвол интендантов (областных правителей); современем и у министров во Франции будет отнят произвол; «тогда исчезнет и централизация».

Рост демократии равносителен, по словам Чернышевского, ослаблению централизации и бюрократии и расширению местного самоуправления (с которым он отождествляет децентрализацию). Идеалом его является федерализм.

Не следует из этих слов заключать, чтобы Чернышевский стоял за умаление прав государства, общества, центральной власти. Как социалист, он мог только приветствовать расширение этой власти в делах общегосударственного значения, в сфере общенациональной экономической политики — на том, конечно, условии, чтобы эта власть была организована на демократических началах и подотчетна народу. Он вел самую энергичную борьбу со сторонниками государственного невмешательства в отношения между капиталом и трудом — и никто из русских писателей не нанес таких сильных ударов теории *laissez faire*, как Чернышевский. Но вместе с тем он полагал, что истинная демократизация государства не может осуществиться иначе, как на основе полной самостоятельности провинций и общин в местных делах. Он умел сочетать принцип централизации, неизбежной в современном обществе, основанном на социальном разделении труда, с принципом федерализма и местного самоуправления, без которого немыслимо полное осуществление свободы и полное развитие сил нации.

Как и всякий вдумчивый коммунист, Чернышевский считал отделенным общественным идеалом анархию, т. е. безвластное общежитие людей, связанных коллективной солидарностью (как мы это видели уже из его студенческого дневника). Но он полагал, что для установления такого порядка, свободного от элементов принуждения, от законов, необходимо предварительное высокое развитие производительных сил. Вот что он говорит по этому вопросу в статье «Экономическая деятельность и законодательство», написанной в начале 1859 года.

«Необходимость законов возникает из несоразмерности человеческих потребностей с средствами удовлетворения...

«Мы принимаем за арифметическую истину, что современем человек вполне подчинит себе внешнюю природу, насколько будет ему нужно, переделает все на земле сообразно с своими потребностями, отвратит или обуздает все невыгодные для себя проявления сил внешней природы, воспользуется до чрезвычайной степени всеми теми силами ее, которые могут служить ему в пользу. Этот один путь уже мог бы привести современем к уничтожению несоразмерности между человеческими потребностями и средствами их удовлетворения. Но достижение такой цели значительно сократится изменением в размере и важности разных человеческих потребностей... С одной стороны, самый труд будет становиться все производительней и производительней, с другой стороны — все меньшая и меньшая доля его будет тратиться на производство предметов бесполезных. Вследствие дружного действия обоих этих изменений люди придут когда-нибудь к уравниванию средств удовлетворения с своими потребностями. Тогда, конечно, возникнут для общественной жизни совершенно новые условия, и, между прочим, прекратится нужда в существовании законов для экономической деятельности (курсив мой). Труд из тяжелой необходимости обратится в легкое и приятное удовлетворение физической потребности, как ныне возвышается до такой степени умственная работа в людях просвещенных... Тогда, конечно, производство ценностей точно так же обойдется без всяких законов, как теперь обходится без них прогулка, еда, игра в карты и другие способы приятного препровождения времени. Каждая пробужденная потребность будет удовлетворяться до-сыта, и все-таки останется за потреблением излишек средств удовлетворения: тогда, конечно, никто не будет спорить и ссориться за эти средства, и распределение их вообще будет обходиться без всяких особенных законов, как ныне обходится без особенных законов пользование водами океана; плыви, кто хочет, — места всем достанет».

Но этому отдаленному идеалу предшествует переходный период, в течение которого будут преобладать принципы централизации и регламентации. «В конце развития экономические понятия будут сходны по форме с теми, от которых началось развитие этой науки. В конце она будет провозглашать, как провозглашала вначале, безграничную независимость индивидуума от всяких стеснений. Мы, к сожалению, живем в периоде переходной формы, отрицающей такую независимость и выставляющей необходимость подчинения экономической деятельности специальным законам. Характер фактов в конце развития также будет иметь сходство с тем, что было при начале. В половине

XVIII века, когда явилась политическая экономия, почти не было конкуренции. Современем конкуренции также не будет; но теперь она существует, и ее существованием обуславливается необходимость понятий, несходных с теми, какие были порождены ее отсутствием»¹.

Другими словами, классовое деление общества порождает необходимость в элементах государственности. Только с исчезновением деления общества на классы исчезнет и необходимость в принуждении. Но достигнуть уничтожения классов можно лишь путем социальной революции, во время которой пролетариат должен будет довести принцип принуждения и централизации до высочайшей степени посредством установления революционной диктатуры.

5. Вопросы революционной тактики

Пожалуй, ни в одной области Чернышевский не подошел так близко к современному коммунизму, как в области вопросов революционной тактики. В этом отношении его сочинения и в особенности его политические обзоры представляют компендиум тактических указаний, свод революционной стратегии и тактики. Целый ряд тактических приемов, которые так восхищают нас в Ленине, был сформулирован в общем и главном и Чернышевским, но за отсутствием подходящего хора и благоприятной исторической обстановки остался погребенным в его статьях и не получил практического применения.

Как мы видели, Чернышевский был глубоко убежден, что исторический прогресс совершается с помощью скачков в краткие периоды революций. Но значит ли это, что он совершенно отрицал всякое значение частичных реформ? Этого мы не можем сказать, по крайней мере относительно первого периода его литературной деятельности. Бывают такие исторические положения, когда, по словам нашего автора, самый требовательный человек видит себя в необходимости говорить: «лучше хлеб с мякиной, нежели совершенно ничего»². При всем своем отрицательном отношении к Июльской монархии Чернышевский готов был допустить, что даже немногие частичные преобразования, осуществленные в эту эпоху, имели положительное значение и содействовали общественному прогрессу; такую роль играло, например, понижение ценза с 300 до 200 франков³. Относясь совершенно отрицательно к русскому государственному бюджету, Чернышевский тем не менее готов был приветствовать увеличение расходов на народ-

¹ «Соч.», т. IV, стр. 449—450.

² «Очерки гоголевского периода». «Соч.», т. II, стр. 78 (1856 г.).

³ «Июльская монархия». «Соч.», т. VI, стр. 87 (1860 г.).

ное образование, на отправление правосудия и некоторые другие подобные этим предметы¹.

Но для Чернышевского важен не добытый результат; для него важнее всего движение. «Движение есть реальность, потому что движение — это жизнь, а реальность и жизнь — одно и то же», — говорит Алексей Петрович в романе «Что делать?»². Все достигнутые человечеством завоевания во всех областях жизни и мысли, как бы ни казались они блестящими по сравнению с прошедшим, все еще ничтожны в сравнении с тем, что должно быть приобретено мыслью и трудом для обеспечения материальной жизни, для прояснения знаний и понятий. «Важнее всех добытых результатов — стремление к приобретению новых лучших; важнее всего пытливость мысли, деятельность сил»³.

Но реформы могут иметь положительное значение лишь в том случае, если в наличности имеются силы, способные добиться их действительного осуществления в жизни; в противном случае реформы будут проведены в урезанном и искаженном виде, и тогда они будут способствовать не историческому прогрессу, а укреплению тех сил, против которых они направлены. Горьким смехом смеется он над наивностью Тюрго, который стремился к отмене феодальных прав, уничтожению привилегий дворянства, преобразованию системы налогов, гражданских и уголовных законов и всей системы народного просвещения, к установлению свободы печати и совести — и все это с помощью сил старого режима. «Разумеется, — говорит Чернышевский, — если бы ему удалось совершить все эти преобразования, не было бы революции. Но спрашивается, откуда бы он взял силу сделать хотя бы сотую часть того, что хотел сделать?»⁴.

Всё на свете, говорит он, требует для своего осуществления силы; дурное и хорошее одинаково ничтожно, когда бессильно⁵. С этой точки зрения Чернышевский осуждал всякие преждевременные революционные выступления, например, бланкистское восстание 12 мая 1839 года⁶.

¹ «Кредитные дела». «Соч.», т. VIII, стр. 24—25 (1861 г., январь).

² «Что делать?». «Соч.», т. IX, стр. 109.

³ «Лессинг». «Соч.», т. III, стр. 695—696.

⁴ «Тюрго». «Соч.», т. VI, стр. 338 (1858 г.). — То же, как мы видели, он говорил о Сперанском.

⁵ «Граф Кавур». «Соч.», т. VIII, стр. 208 (1861 г.) — «Кому охота слушаться увещаний, не поддержанных штыками!» («Народная бестолковость». «Соч.», т. VIII, стр. 327).

⁶ «Пролог», loc. cit., стр. 44; ср. стр. 91.

Пока у реформаторов нет достаточных сил, принципом их должно быть: «ждать и ждать, как можно больше и как можно тише ждать»¹. Ждать и накапливать силы для решительных выступлений. Однако неправильно понял бы Чернышевского тот, кто принял бы его за стратега, рекомендующего всегда выжидать и никогда не открывать боевых действий. Ничего подобного. Он был против неподготовленных выступлений, против отчаянных и необдуманных предприятий, не основывающихся на учете реальной обстановки. Но если обстановка благоприятствует, если масса готова поддержать инициаторов, если их дело может рассчитывать на сочувственный отклик, они обязаны начинать безотлагательно². Запоздалые выступления заслуживают такого же отрицательного отношения, как и преждевременные. Чернышевский, например, порицает сицилийцев за то, что они восстали против деспотизма короля только весной 1860 года, а не раньше³. И он напоминает нерешительным революционерам, что «отважность есть лучшая расчетливость»⁴.

Но если Чернышевский считал своим долгом бороться против иллюзий революционных, основанных на переоценке своих сил, то с еще большей энергией он выступал против иллюзий, основанных на вере в слова, в обещания врагов, в посулы правительств, попавших в трудное положение, в особенности против того, что впоследствии получило название парламентского кретинизма. Обращаясь к «благородным, доверчивым людям», сегодня готовым верить и восхищаться Наполеоном III, завтра Александром II или подобным душителем, Чернышевский говорит им: «Ваши враги становятся губительны для вас только тою самою силою, которую вы даете им. Вы — виновники всего зла, которое терпят люди... Научитесь же хоть сколько-нибудь опытом, будьте осмотрительнее, не вверяйтесь и не увлекайте других вверяться людям, которые не могут ни понимать, ни желать добра, не будьте их помощниками на собственную вашу гибель»⁵. Борьбу с такими иллюзиями, губящими народное дело, он считал задачей своей жизни.

¹ Ibid., стр. 115.

² В качестве опытного стратега Чернышевский указывает следующее основное условие успеха войны или революции: это когда «защищаемое дело имеет в свою пользу всех; враг, с которым надобно бороться, имеет всех против себя» («Соч.», т. V, стр. 8). Это напоминает положение Маркса о классе, представляющем всеобщим угнетателем, и о возглавляющем революцию классе, выступающем в виде всеобщего освободителя или представителя всех угнетенных.

³ «Соч.», т. VI, стр. 516.

⁴ Ibid., стр. 427.

⁵ «Соч.», т. V, стр. 210.

Тем наивным людям, которые увлекались, например, политикой Наполеона III в итальянских делах и готовы были верить в то, что он борется за свободу угнетенных народов (пресловутый «принцип национальностей»), т. е. предшественникам поклонников современной Лиги Наций, он говорил, имея, впрочем, в виду не столько французского императора, сколько всероссийского, и тех глупцов, которые ждали серьезных реформ от царизма: «Мы не в состоянии забыть прошедшего и не можем верить словам людей, которые, к сожалению, слишком хорошо познакомили нас с собою своими делами в течение последних десяти лет»¹. Точно так же по поводу толков о введении во Франции ответственности министров, этой «основной черты парламентского правления», Чернышевский, опять-таки имея в виду русскую публику, ждавшую от царизма крестьянской, административной и судебной реформ, спешит предупредить наивных людей: «Конечно, от формальных постановлений до действительного порядка дел очень далеко; ясно также, что при данном характере и данной предшествовавшей истории нынешнего правительства подобная перемена в нем — не только на деле, но и по форме — не более как мечта»². Словом, говоря более поздней формулой, нужны не реформы, а реформа, т. е. революция.

С особенной энергией Чернышевский восставал против иллюзорных надежд на мирный исход борьбы, в которой на карту поставлены более или менее серьезные интересы господствующих классов. Частичные — да и то большею частью обманчивые — реформы, не затрагивающие сильно правящих классов, могут еще осуществляться без глубоких потрясений, но основные, серьезные, коренные — никогда. Он говорил: «Каждый важный общественный вопрос возбуждает страсти... Если реформа касается только небольшой части общества или, затрагивая интересы всех, представляет для каждого риск лишь незначительного убытка или выигрыша, словом сказать, если реформа не очень важна, она может производиться хладнокровным путем... Но очень важные для общества дела никогда так не делались»³.

Обычно серьезные преобразования совершаются только посредством революции⁴. «Без войны не решается ни один важный вопрос, а война ведется огнем и мечом, а не дипломатическими фразами, которые уместны только тогда, когда цель борьбы, веденной оружием,

¹ «Соч.», т. V, стр. 277.

² Ibid., стр. 91.

³ «Соч.», т. VI, стр. 187.

⁴ «Обыкновенный путь к изменению гражданских учреждений нации — исторические события» (статья о Бентаме в «Соч.», т. III, стр. 526). Таким слогом приходилось тогда писать; но читатель умел читать между строк.

достигнута»¹. Обе последние фразы написаны в 1856 и 1857 годах, когда Чернышевский, по мнению некоторых историков, якобы не стоял еще на вполне определенной революционной позиции. Для нас-то, знающих теперь, что к таким взглядам он пришел еще в 1850 году, такие заявления его ничуть неудивительны и в первую пору его литературной деятельности. И когда по поводу итальянских дел он писал, что коренные вопросы решаются не парламентским путем, а силою оружия, он повторял свою старую мысль, которую старался внушить своим читателям применительно к русским делам².

Массы в общем консервативны и неподвижны, сила исторической инерции велика, реакция организована и беспощадна, но дело революционеров не безнадежно, если они сумеют опереться на интересы масс и проявят величайшую энергию и последовательность³. Пугаться силы врагов нечего, ибо обыкновенно — это сила кажущаяся, мнимая, ибо абсолютизм — это колосс на глиняных ногах и при серьезном ударе рассыплется прахом⁴. На примере итальянских событий 1859 года он старается показать, что армия деспотизма, лишенная внутренней спайки, ослабленная классовой ненавистью солдатской массы к дворянскому командному составу, дерущаяся механически, без руководящей и одушевляющей идеи, развращенная казнокрадством и телесными наказаниями, не может устоять против плохо организованных волонтеров, а не то что против хорошо организованной революционной армии, проникнутой сознанием высокой цели и одушевленной революционным идеалом⁵. А в обстановке народного под'ема организовать такую армию легко, если только революционеры окажутся на высоте задачи и сумеют опереться на массы⁶. Тем более, что в революционные

¹ «Соч.», т. II, стр. 120.

² «Соч.», т. VI, стр. 633.

³ «Соч.», т. VI, стр. 496—497.

⁴ «Соч.», т. V, стр. 210.

⁵ Он доказывает все это по отношению к австрийской армии, но совершенно очевидно, что он имеет в виду русские условия и дает советы русским революционерам («Соч.», т. V, стр. 231—232 и 310—312).

⁶ Обычно скупой на излияния и сдержанный в словах, Чернышевский не может удержаться от выражения восторга, когда заговаривает о подвигах отряда волонтеров под предводительством Гарибальди. Называя гарибальдийцев героями, он говорит, что дела их напоминают народные эпopeи, гомеровы рапсодии, сербские песни. «Этот отряд — не безразличная толпа людей, слитых в одну бездушную боевую машину, — нет, каждый боец имеет имя, известное и дорогое его соотечественникам, каждый знаменит своими подвигами, каждый должен в благородной памяти многих составлять предмет гордости своего родного города или села... Отряд героев и людей честных, ты один мог бы служить верною надеждою родины, но зато тебя

периоды силы революции растут, а силы реакции неудержимо тают. Надо только уметь выдержать и использовать краткие моменты передышки и относительной свободы для организации революционных сил и для подготовки к дальнейшему наступлению¹.

Раз история поставила на очередь вопрос о революции, раз активные выступления решены, раз открытая борьба завязалась, необходима строгая последовательность и энергия. Чернышевский беспощадно осуждает умеренных республиканцев 1848 года за их непредусмотрительность и нерешительность, гибельную для общества и для их собственной партии. «Нет ничего гибельнее для людей и в частной, и в государственной жизни, как действовать нерешительно, отталкивая от себя друзей и робея перед врагами»². С такою же суровостью он осуждает и тогдашних социалистов за то, что они не сумели использовать выгодную конъюнктуру, не захватили власть в свои руки пока враг их не успел оправиться, и не воспользовались революционной диктатурой для осуществления своей программы и для укрепления своих позиций *ibid.*, стр. 15).

«Смелость, смелость и еще раз смелость!» — готов он воскликнуть вместе с Дантоном. Логика, последовательность, решимость, готовность идти до конца и все рушить — вот что требуется от тех, кто берет на себя ответственную задачу руководства революцией. С горечью констатирует он наличие этих качеств у защитников старины и частое отсутствие их у борцов за новые начала жизни. «А если принцип, отживший, противный всему, что возрастает с каждым днем, в чем потребность общества, держится так долго и крепко благодаря своей последовательности, то как сильны стали бы принципы живые, соответствующие потребностям общества, если б их приверженцы постарались так же ясно определить свои отношения к другим силам и так же хорошо изучить, какими средствами должны они идти к своей цели!.. Хорошо было бы, если бы честные люди постарались сравниться

и оставили не имеющим ни палаток, ни плащей, не дали тебе оружия, отняли у тебя средства усилиться, выдали тебя беспомощным врагу — ты победил его, прославил себя и Италию, и не твоя была вина, если ты не успел спасти свою родину» (*ibid.*, стр. 318—319). И он прибавляет: «Дивная энергия, выказанная волонтерами Гарибальди, была выражением народных сил Италии».

¹ «Соч.», т. V, стр. 334 и 392.

² «Кавеньяк». «Соч.», т. IV, стр. 36 (1858 г.) — События 1848 года подтвердили «старую истину, что непредусмотрительность и нерешительность в государственных делах гибельны бывают и для государства, и для людей, не умеющих пользоваться властью» (*ibid.*)

с ними (реакционерами) в отчетливости и последовательности образа мыслей, — тогда правда успешнее торжествовала бы над ложью»¹.

Чернышевский не пропускает ни одного случая, чтобы в своих статьях и политических обзорах не подчеркнуть строгой, неумолимой последовательности реакционеров, не останавливающихся ни перед чем для защиты своего дела, и частой расхлябанности и бесхарактерности революционеров, своими шатаниями губящих собственное дело. «Одной честности мало, — говорит он им, — для того, чтобы быть правым и полезным. Нужна также последовательность в идеях. Если вы приняли принцип, не отступайте перед его последствиями; нужна прежде всего рассудительность во взгляде на стремления других, иначе вас обманут и употребят орудием на совершение самых нечистых дел, хотя бы вы были чистейшим человеком. Эта рассудительность первым своим правилом ставит: слов не слушай, а смотри на дела... и вверяйся только тому, который смотрит на мир такими же глазами, как ты, только тому, у которого потребности одинаковы с твоими (курсив мой). Доверчивость ко всякому чаще всего губила доброе дело»².

Замечательно, что эти советы Чернышевский дает революционерам как раз перед тем, как перейти к рассмотрению условий, при которых происходят соглашения между двумя из трех основных политических партий. Отсюда, как нам кажется, можно сделать только один вывод: Чернышевский, констатируя исторический факт этих соглашений, сам считал такие коалиции ошибочными и вредными. Это подтверждается и тем, что он говорит об этом предмете в статье о Кавеньяке. Там он пишет, что «честный человек, стремящийся сделать что-нибудь полезное», т. е. революционер, «должен быть уверен в том, что ни от кого, кроме людей, действительно сочувствующих его намерениям, не может он ждать опоры, что недоверие к ним и доверие к людям, желающим совершенно противоположного, не приведет его ни к чему хорошему. Напрасно стал бы он думать, что какими бы то ни было потворствами может он смягчить партию, которая не одобряет его коренных желаний, — вражда этой партии к нему останется непримирима, и для того, чтобы удержать за собой свои мнимые выгоды, она всегда готова будет погубить человека, намерения которого ей противны... Государственный человек не должен вверять ведения дел, не

¹ «Соч.», т. VI, стр. 428. — Кстати, это место показывает, что означают у Чернышевского слова «честные люди».

² «Соч.», т. V, стр. 337.

должен оставлять влияния на ход событий врагам своих намерений. Только при этом условии дела пойдут так, как он этого хочет»¹.

Одним словом, Чернышевский отвергает коалицию между социалистами и буржуазными партиями, по крайней мере, во время революции, хотя, повидимому, иногда допускал ее в подготовительный момент борьбы против абсолютизма. Основной ошибкой социалистов 1848 года, в том числе и Луи Блана, он считает их отвращение от наиболее крайних элементов коммунизма и готовность идти на соглашение с республиканской буржуазией, которая относилась к социализму так же враждебно, как и монархисты. Никакие компромиссы и уступки не смягчат принципиальных противников, а дело революции от них только пострадает.

Требуюя от революционеров энергии и последовательности, Чернышевский под носом у царской цензуры открыто восхваляет и рекомендует систему красного террора. Есть слабонервные люди, которые пугаются революционных крайностей, отвращаются от насильственных средств, пасуют перед предрассудками, навеянными идеологией старого строя. Таким нечего и браться за революционную борьбу. По поводу убийства толпою в Парме черносотенца и жандарма Анвити, Чернышевский, возражая прекраснодушным либералам, развивает целую философию красного террора.

«Надобно, — говорит он, — взвесить добро и зло, и если вам кажется, что в сущности дело хорошо, не смущайтесь тем, что есть в нем стороны дурные; если кажется, что в сущности дело дурно, не обольщайтесь тем, что в нем есть стороны хорошие».

«Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит», — говорит он и развивает свою мысль дальше. Одной идейной убежденности мало, нужна еще железная твердость на практике. «О том, что истина привлечет на свою сторону большинство, беспокоиться нечего: это неизбежно. Но должно позаботиться о том, чтобы люди приготовились, поняв истину, не отступить от нее легкомысленно из-за мелких неприятностей, от которых несвободно никакое дело».

«Если большинство бывает виновно в том, что исторические дела бросаются обыкновенно, не будучи доделаны как следует, то предводители большинства еще чаще бывают виновны в том, что дело подавляется в самом своем зародыше гораздо прежде, чем большинство успело бы охладеть к нему. Великие люди едва ли не потому только и бывают великими людьми, что спешат ковать железо, пока оно го-

¹ «Соч.», т. IV, стр. 49. Курсив в цитате мой.

рячо; умеют не терять дней, пока обстоятельства благоприятствуют делу. Но известно, что не может ковать железо тот, кто боится потревожить сонных людей стуком. Только энергия может вести к успеху, хотя бы к половинному, если полного успеха почти никогда не дает история; а энергия состоит в том, чтобы не колеблясь, принимать такие меры, какие нужны для успеха. И Суворов, и Наполеон, да и все великие полководцы, начиная с Александра Македонского... известны тем, что не жалели жертв для одержания победы: их сражения были вообще страшно кровопролитны... Что о войне, то же самое надобно сказать и о всех исторических делах: если вы боитесь или отвращаетесь тех мер, которых потребует дело, то и не принимайтесь за него и не берите на себя ответственности руководить им, потому что вы только испортите дело... Кто не хочет средств, тот должен отвергать и дело, которое не может обойтись без этих средств. Кто не хочет волновать народ, кому отвратительны сцены, неразрывно связанные с возбуждением народных страстей, тот не должен и брать на себя ведение дела, поддержкой которого может служить только одушевление массы»¹.

Борцы за народное освобождение не должны, по словам Чернышевского, смущаться тем, что для достижения своей цели им приходится иногда прибегать к таким средствам, которые с житейской, обывательской точки зрения могут показаться предосудительными. Это не значит, что цель оправдывает средства, но это значит, что нельзя отказываться от великих исторических задач только потому, что разрешение их связано с некоторыми неудобными сторонами. Люди, страшившиеся в 1848 году так называемых народных эксцессов, губили революцию и способствовали торжеству реакции. Чернышевский смеется над либералами, которые воображают, что революции могут обходиться «без нарушения уличной тишины». Но и демократы, по его мнению, не всегда были последовательны и губили свое дело половинчатостью и нерешительностью. «Демократ становится пустейшим и бессильнейшим из людей, как скоро придумывает разницу между демократизмом и демагогией».

В общественных делах излишняя разборчивость и щепетильность, по словам Чернышевского, сплошь и рядом бывает смешна, а зачастую прямо-таки преступна. Истинные борцы за народное благо не жалели своей репутации и обрекали свое имя на позор в устах всех так называемых порядочных людей, когда того требовала общественная польза (возможно, что Чернышевский вспоминал в этот момент слова Робес-

¹ «Соч.», т. V, стр. 406—408. Курсив мой.

льера и Сен-Жюста). Чернышевский приводит пример Юдифи, ибо по цензурным условиям он не мог сослаться на исторических деятелей, более близких к нашему времени и к идеям нашего автора. «Исторический путь, — говорит он, — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она — занятие, благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие несовсем опрятное. Правда, впрочем, что нравственную чистоту можно понимать различно»¹.

Итак, революции полезны и необходимы, но кто способен совершать их? К тайным обществам, оторванным от народной массы, Чернышевский, повидимому, относился скептически². Столь же скептически относится он к восстаниям, почва для которых не подготовлена особыми историческими обстоятельствами. Еще более скептически относится он к военным (особенно офицерским) восстаниям. Против народа будут посланы войска, — поворот Чернышевский по поводу надежд на революцию в Австрии в 1859 году. Войска разгонят народные толпы. На военный бунт, не связанный с движением масс, еще менее можно рассчитывать, несмотря на революционное настроение отдельных частей армии³.

Тайные общества, внезапное восстание решительного меньшинства сами по себе бессильны и обречены на неудачу, если не поддерживаются народными массами, предрасположенными к борьбе «или долгою агитациею, или какими-нибудь особенными обстоятельствами»⁴. В массе народ, по мнению Чернышевского, настроен вообще консервативно; за короткими периодами подъема он быстро впадает в прострацию, удовлетворяется частичными улучшениями, если они хоть сколько-нибудь облегчают его положение. Но эта масса, обыкновенно неподвижная и безучастная к политическим вопросам, которых она не понимает, способна приходить в движение, когда затрагиваются ее заветные верования и насущные материальные интересы⁵.

Этих указаний Чернышевского отнюдь не следует истолковывать в смысле неверия в революционные пути. Напротив, из всего вышеска-

¹ «О политико-экономических письмах к президенту амер. С. Штатов» Жэри. «Соч.», т. VIII, стр. 37—38 (1861 г.).

² «Лессинг». «Соч.», т. III, стр. 773 (1856 г.).

³ «Политика». «Соч.», т. V, стр. 465.

⁴ «Июльская монархия», loc. cit., стр. 120 (1860 г.).

⁵ «Борьба партий», loc. cit., стр. 202 (1858).

занного ясно, что только на революционные методы Чернышевский и рассчитывал, только их и признавал единственно верным и целесообразными. Его скептическое отношение к военным бунтам и тайным обществам можно отчасти объяснить тогдашней реакцией, не позволявшей надеяться на серьезные революционные вспышки в ближайшем будущем, и общим разочарованием после разгрома революции 1848—1849 гг. Только с 1859 года, под влиянием итальянских событий и растущего недовольства во Франции, у него появляются надежды на возможное возобновление более или менее широкого революционного движения в Западной Европе.

Но это только одна сторона вопроса. Суть всех этих скептических замечаний Чернышевского заключается в том, что он считал шансы революции высокими лишь в том случае, если на стороне революционеров стоят широкие массы. Это обстоятельство он и признавал необходимым всегда подчеркивать ввиду склонности тогдашних революционеров, вербовавшихся преимущественно из кругов интеллигенции, к вере в заговоры и восстания меньшинства. Против такой ошибки Чернышевский и считал нужным предостерегать склонную к увлечениям революционную молодежь, указывая ей на важность привлечения масс и на необходимость опираться на них.

Ни одно историческое действие не может, по его взглядам, совершиться без прямого участия народных масс или, по крайней мере, без их сочувствия перевороту. Раз констатирована наличность таких обстоятельств, раз существует широкое народное недовольство на почве материальных условий народной жизни, революционеры, выставив программу, защищающую народные интересы, и обеспечив себе таким образом сочувствие народной массы, не должны колебаться и обязаны приступить к решительным действиям. Эти решительные действия должны выразиться в захвате государственной власти и обращении ее на служение народным интересам, словом в революционной диктатуре. Этот взгляд до известной степени приближает Чернышевского к бланкизму.

Вы помните, как Чернышевский упрекал французских социалистов за то, что они в 1848 году не сумели извлечь пользу из благоприятных обстоятельств, не попытались захватить в свои руки власть и не утвердили своей диктатуры, давши возможность противникам оправиться и обратить организованную силу общества против социалистов. Вмешательству государства в общественные отношения, вмешательству организованной социальной силы в естественный ход вещей Чернышевский всегда придавал огромное значение. «Мы выходим из того факта, —

писал он в статье «Экономическая деятельность и законодательство», — что государство существует и пользуется огромной силой»¹. Влияние этого государства сказывается во всех областях народной жизни; правительственная система, по словам Чернышевского, есть отдаленнейшая и коренная виновница народных бедствий. Общества гибнут, доказывает он в статье «О причинах падения Рима», не от внутреннего разложения, а «от внешних фактов», совершенно посторонних самому обществу и его внутренней жизни². Как бы ни было ложно само по себе это положение, но из него прямо вытекала определенная мысль, что если в руках высших классов государство может служить орудием подавления и угнетения масс, то в руках революционной партии эта самая сила может явиться орудием освобождения и социального преобразования³.

Вот в каком смысле Чернышевский постоянно говорит о вмешательстве государства, полемизируя с сторонниками правительственного невмешательства в общественные дела. Чернышевский сам недоволен термином «правительство», находя, что он способен ввести в заблуждение. «Когда прогрессисты или так называемые утописты (Чернышевский хочет сказать: социалисты. — Ю. С.), — замечает он, — говорят о расширении круга общественной деятельности в экономической жизни, не следует воображать, будто бы они рекомендуют расширение того, что ныне называется правительственной деятельностью. Правда, некоторые из них употребляют слово «правительство», но они соединяют с ним не тот смысл, какой имеет оно в обыкновенном языке». Здесь, по словам Чернышевского, происходит то же неудобство, как и при употреблении введенного Смитом слова «капитал». «Как употребление слова «капитал» сбивает с толку своими привычным меркантильным смыслом, так слово «правительство» вводит в заблуждение своим привычным административным оттенком, так что считаются за регла-

¹ «Соч.», т. IV, стр. 439 (1859 г.). Ср. то, что он говорит об умеренных республиканцах: «сами по себе они были довольно слабы, но у них в руках было все то могущество, которое дается государственной властью» («Кавеньяк», loc. cit., стр. 36).

² «Соч.», т. VIII, стр. 161 (1861 г.).

³ В статье о Бентаме он говорил: «Закон бывает бессилен только тогда, когда обращается единственно против симптомов болезни; но он всесилен, когда, постигнув истинную причину зла, законодатель изменяет учреждения, производящие это зло» («Соч.», т. III, стр. 526). Чернышевский имеет здесь в виду частную собственность, которую рекомендует отменить путем «декретов», как сказали бы теперь. Это та же мысль, которая выражена в «Коммунистическом Манифесте», рекомендуящем пролетариату по захвате власти совершить ряд насильственных вторжений в право собственности.

ментаторов многие мыслители, идеям которых ничто так не противно, как регламентация»¹.

Ясно, что Чернышевский говорил о революционной диктатуре. Везде ли она будет необходима или в некоторых странах социальная революция совершится иным путем? На это он отвечает в тех же примечаниях к Миллю: «Способ осуществления в каждом деле много зависит от обстоятельств. Одна и та же цель достигается в иных случаях свободным действием индивидуальных лиц, в других — силою распоряжений общественной власти. О том, который способ лучше сам по себе, не нужно было бы по-настоящему и говорить нам: как мы думаем об этом предмете, должно быть понятно читателю, сколько-нибудь желающему вникать в наш образ мыслей; да и сам по себе вопрос очень ясен. Но в истории слишком часто задача бывает не в том, какой путь самый лучший, а в том, какой путь возможен при данных обстоятельствах... Очень может быть, что в некоторых странах, где народ имеет нравы вроде английских и северо-американских, дело исполнится исключительно или преимущественно частным образом»².

Чернышевский, стоявший за захват власти социалистической партией, опирающейся на массы, был «якобинцем» с тою поправкою, что он стремился не просто к демократии, а к коммунизму, и признавал рабочий класс главным деятелем социальной революции. Но, как заметил Ленин, якобинец, опирающийся на рабочий класс и защищающий его интересы, и есть революционный социал-демократ, по-нынешнему — коммунист. Коммунистами по существу и были бланкисты, — правда, в период слабого рабочего движения, не принявшего еще массового характера. Это были якобинцы по приемам, по признанию необходимости централизации революционных усилий, захвата власти революционной партией, установления революционной диктатуры для уничтожения сопротивления реакционеров, но с тем отличием, что они ставили себе не буржуазно-демократические, а коммунистические цели.

Таким был и Чернышевский — с тою разницею, что он еще лучше бланкистов понимал значение самодеятельности масс и их активного участия в историческом процессе. Что Чернышевский был поклонником якобинцев и в частности Максимилиана Робеспьера, видно из духа всех его писаний. Но у нас имеется и прямое свидетельство человека,

¹ «Примечания к Миллю». «Соч.», т. VII, стр. 555.

² «Соч.», т. VII, стр. 337. — Вспомним, что в то время и даже позже Маркс также допускал возможность мирной эволюции в Англии и Соединенных Штатах. По сравнению с нынешней эпохой империализма то были идиллические времена.

слышавшего такое заявление из уст самого Чернышевского. Мы имеем в виду Стахевича, воспоминания которого мы уже выше цитировали. По рассказу Стахевича Чернышевский в разговоре однажды заявил: «Я всегда был и теперь остаюсь высокого мнения о Робеспьере»¹. (Хихикает и бросает вскользь: «нахожу в нем большое сходство с собою». Продолжает серьезно...). И дальше следует рассказ о том, как Чернышевский в Бельгии подарил кондуктору железнодорожного вагона том истории французской революции Луи Блана, в котором говорилось о Робеспьере².

В этих якобы насмешливых словах о сходстве Чернышевского с Робеспьером мы видим нечто большее, чем простую шутку. Здесь речь идет о сходстве направлений и основных приемов революционной борьбы. Бланкистские устремления и симпатии Чернышевского подтверждает и другой сотоварищ его по каторге, П. Николаев.

«Глубоко ценя Фурье (его ценил, как известно, и Маркс), — пишет Николаев, — он не выносил Кабэ и в Прудоне ценил крепкую голову французского мужика, а к Луи Блану относился с некоторым презрительным сожалением как к бесхарактерному политическому деятелю. О Бланки же он всегда отзывался с большим уважением и сочувствием³. Чрезвычайно осторожны и уклончивы были его отзывы о А. И. Герцене. Видно было, что он высоко ценил его могучий ум и громадный литературный талант, но... считал его чужим».

Несколько выше Николаев говорит: «Н. Г. был несомненным бланкистом, и при том, в противность гипотезе г. Кудрина, мне кажется, я могу утверждать, что Н. Г. не постепенно, не под влиянием событий, увлекаемый ими и диалектическим развитием своей мысли, становился бланкистом, а был им с дней его юности, еще во время его жизни в Саратове»⁴. Дальше Николаев в подтверждение своего мнения ссылается на произведения, написанные в Сибири, а именно на «Введение к прологу пролога», где рассказ заканчивается восстанием крестьян и переселением запутанного в это восстание Волгина (автора) в Петербург, а также на две его комедии⁵.

¹ Курсив мой.

² Сборник «Н. Г. Чернышевский», изд. О-ва Политкаторжан, М. 1928, стр. 105. — Чернышевский в 1859 году ездил в Лондон для свидания с Герценом.

³ Замечательно, что ни у Маркса, ни у Чернышевского, резко отзывавшихся о социалистах разных направлений, мы одинаково не находим отрицательных отзывов об О. Бланки.

⁴ Как мы знаем, это совершенно справедливо.

⁵ Николаев, цит. соч., стр. 23 и 20.

Последнее соображение, правда, ничего не доказывает, но, поскольку из произведений Чернышевского можно составить себе понятие о его политическом направлении, то, если уж непременно подводить его под определенные рубрики, приходится признать, что ближе всего он стоял к бланкизму, т. е. к той форме коммунизма, которая была непосредственной предшественницей марксизма и больше всех других к нему приближалась. Единственная поправка, какую здесь надлежит внести, заключается в том, что Чернышевский в целом ряде пунктов еще теснее примыкает к научному социализму, чем даже бланкизм, и что в частности в вопросах политической тактики его взгляды во многом остаются верными до сих пор и поражают своей проницательностью и последовательностью.

6. Национальный вопрос

Такую же удачную позицию Чернышевский сумел занять и в национальном вопросе. Его время было эпохой пробуждения национальных движений: в Австрии шевелились чехи, поляки и русины, не говоря уже о мадьярах, оживших после войны 1859 года; Италия быстрыми шагами шла к своему освобождению и объединению; к такому же национальному объединению стремилась Германия. Даже многострадавшая Польша, подхваченная общим национальным потоком, стала готовиться к восстановлению своего национального бытия. Воздух был напоен национальным духом и по всей Европе заговорили о «политике национальностей».

Трезвый Чернышевский и здесь сумел нащупать истинный нерв событий. Что он признавал право всякой национальности на полное самоопределение, на независимое политическое бытие, об этом не стоит и распространяться.

«Удерживать в своей зависимости чужое племя, которое негодует на иноземное владычество, не давать независимости народу только потому, что это кажется полезным для военного могущества и политического влияния на другие страны,— это гнусно», — говорил он¹. Но и в этой области он считал своим долгом бороться с иллюзиями, которыми готовы были поддаться политически неискушенные люди, и которые в национальных вопросах особенно легко рождаются и укрепляются. Идея национального самоопределения — это идея революционная, но не ею увлекаются и не ей служат реакционные правительства и монархи, готовые в своих корыстных интересах драпироваться

¹ «Соч.», т. V, стр. 48.

в плащ борцов за освобождение угнетенных народов. Это положение он иллюстрирует на политике Наполеона III по отношению к итальянцам и русского царизма по отношению к славянам. Чернышевский насмехается над простодушными людьми, верящими в национально-освободительные стремления реакционных правительств; он издевается над тем, что в качестве «освободителей» выступают Наполеон III, австрийский генерал Гиулай и папский кардинал Антонелли. Всё дело — в захватнических планах и расчетах великих держав, раз'ясняет он, в том числе и либеральной Англии («империалистов», как сказали бы по нынешнему») ¹. Своекорыстие и интрига — вот основа политики правительств по отношению к национальному вопросу. И даже для пьемонтского правительства, стремившегося использовать в своих интересах национально-освободительное движение итальянцев, он не делает исключения и смеется над теми, кто воображает, будто «дело сардинской армии — дело Италии», ее народа ².

Но всем угнетенным нациям он сочувствовал горячо, рекомендуя им однако строить свои расчеты не на дипломатических комбинациях, не на вере в благожелательность правительств, а на собственной самостоятельности и энергии, на готовности к решительной борьбе. Он приветствовал национальное пробуждение украинцев и, насколько позволяли ему тогдашние цензурные условия, высказывался даже за политическую самостоятельность Украины ³ и, само собою разумеется, Польши ⁴. Он горячо симпатизировал мужественной борьбе итальянцев за освобождение из-под ига австрийцев и мелких отечественных тиранов; сочувствовал делу объединения Германии, хотя и утверждал, что объединение Германии «не может быть осуществлено иначе, как революционными средствами», которые не могут быть пущены в ход консер-

¹ Характерно, что он относится враждебно и к Пальмерстону («Соч.», т. V, стр. 96), к которому с особенной ненавистью относился и Маркс.

² «Соч.», т. VI, стр. 447, 491, 495; т. V, стр. 190, 195, 249, 316—318, 329.

³ Заметка по поводу № 1 журнала «Основа» за 1861 г.; «Соч.», т. VIII, стр. 53. «Мы (великоруссы) так многочисленны, так сильны, что и одни мы в отдельности не можем бояться никого, — нам нет надобности искать чьей-нибудь опоры для своей безопасности. Мы желали бы жить сами по себе» и т. д. — вот в каких осторожных выражениях Чернышевский принужден был говорить о праве украинцев на национальное самоопределение.

⁴ В такой же запутанной форме ему приходилось выражать свое сочувствие национальным стремлениям поляков. «С поляками мы не хотим иметь ровно ничего общего (!), кроме того, что имеем общего и с китайцами, и с англичанами, и со всякими другими народами» («Национальная бестактность». «Соч.», т. VIII, стр. 286). — Ясно, что Чернышевский намекает здесь на право Польши отделиться от России (а также от Пруссии и Австрии, разумеется).

вативными немецкими правительствами¹. Но при всем сочувствии к борьбе угнетенных национальностей, он не давал увлечь себя националистическими предрассудками и на первый план ставил интересы общечеловеческого освобождения от политического и экономического гнета. Там, где узко-националистические стремления приходили в конфликт с требованиями общечеловеческого прогресса, Чернышевский без колебаний выражал им свое порицание.

Прежде всего Чернышевский устанавливает экономическую основу национальных движений. «Мы нимало не желаем уменьшать значения, принадлежащего национальностям; но от национального чувства до стремления к полной государственной отделенности от других племен и к государственному единству с другими частями своего племени еще очень далеко». Приведя пример объединения Молдавии и Валахии, наш автор замечает, что в таких случаях действуют «материальные, если хотите, даже хозяйственные» причины; «национальность была тут лишь облегчающим обстоятельством, а не коренною причиною соединения». Без других, важных причин «национальное чувство еще не возбуждает стремления к государственному единству»². Когда эти «важные» причины, экономические интересы, направляют внимание массы не в сторону национальных стремлений, то она, несмотря на наличность национального угнетения, остается совершенно безучастной к борьбе за национальное освобождение. И Чернышевский иллюстрирует эту мысль на примере Италии³.

Национальные и даже расовые отличия играют второстепенную роль сравнительно с различиями классовыми — к этой мысли Чернышевский возвращается неоднократно. Он доказывал, что различия так называемых национальных характеров обусловлены не столько биологическими, расовыми, сколько историческими, социальными причинами. «Мы убеждены, что и негр отличается от англичанина своими качествами исключительно вследствие исторической судьбы своей, а не вследствие органических особенностей». Если это утверждение спорно, поскольку речь идет о различных расах, то «в вопросе о народах одной расы сомнение невозможно». Во всяком случае разница между различными народами одной и той же расы гораздо меньше, чем между отдельными классами одного и того же народа. «Говорят о различиях в фигуре черепа и величине так называемого лицевого угла; у англи-

¹ «Политика», сентябрь 1859 г.. «Соч.», т. V, стр. 401. — Такова же была точка зрения Маркса и Энгельса (в отличие от Лассаля).

² «Предисловие к нынешним австрийским делам». «Соч.», т. VIII, стр. 82 (1861 года).

³ «Политика» (1859 г.). «Соч.», т. V, стр. 364—365.

чанина, говорят, развит по преимуществу лоб, у француза более затылок. Сравните в этом отношении различные сословия одного и того же народа, и вы увидите разницу несравненно более значительную. Высшие сословия всегда отличаются от низших большим развитием лба; это зависит единственно от образа жизни и занятий». То же самое можно сказать о различии в объеме и развитии мозга, в развитии челюстей и т. д.; в основе всех этих различий лежат исторические, социальные факторы¹.

Как ни сильны симпатии и антипатии, возникающие из национальных различий, но еще сильнее чувства классовой вражды, вытекающие из деления современного общества на два класса: один, живущий собственным трудом, а другой — присвоением прибавочной стоимости². Классовая борьба отражается в борьбе политических партий — и вот «связь по принадлежности к одной и той же партии гораздо крепче, нежели связь по национальности, а вражда по различию партий — выше недоверия, внушаемого иноземцами. По всему матерiku Западной Европы реакционеры составляют нечто в роде старинного Мальтийского ордена, в котором были люди всех национальностей, и все стояли друг за друга и все стояли за свой орден. Точно то же и модерантисты, и революционеры».

Эти партии поверх государственных границ связаны солидарностью классовых интересов. «Элементы реакции, модерантизма и революции разлиты по всем странам Западной Европы, и падение или усиление какого-нибудь из этих элементов в одной стране непременно облегчает подобную перемену во всех других странах» (*ibid.*, стр. 344). И вот почему Чернышевский констатирует существование «общего принципа, по которому иноземцы одного и того же политического направления милее соотечественников, держащихся противного направления», а «Кавур и Маццини были друг от друга гораздо дальше, нежели, например, Кавур от французских орлеанистов или Маццини от французских революционеров» (*ibid.*, стр. 338—339)³.

Таким образом Чернышевский констатирует наличность реакционного Интернационала, с одной стороны, и революционного — с другой.

¹ Рецензия на брошюру Бабста. «Соч.», т. III, стр. 511—512 (1857 г.). — Ср. слова Маркса: «Первоначально носильщик менее отличается от философа, чем цепная собака от левретки» («Нищета философии», изд. «Пролетариат», Спб., 1906, стр. 120).

² «Политика» (1859), *loc. cit.*, стр. 335—337.

³ В международных делах эта солидарность иногда, впрочем, нарушается, когда сталкиваются интересы господствующих классов разных стран; но в общем замечание Чернышевского справедливо.

Понятно, что все его симпатии были на стороне последнего, и он хотел, чтобы это поняли и борцы за освобождение национальностей. Вот почему он так сурово осудил галицийских националистов, которые в борьбе за самоопределение русинской народности (каковой Чернышевский самой по себе горячо сочувствовал) протянули руку австрийской реакции и с пеной у рта напали на поляков.

Статья «Национальная бестактность» написана по поводу первых двух номеров львовского «Слова», органа русинских националистов в Галиции. В то время готовилось польское восстание, и польские деятели, наученные горьким опытом прежних неудач, выдвинули довольно демократическую (по понятиям польских националистов) программу социальных реформ, в том числе и признание права крестьян на находящиеся в их пользовании земли, а также протягивали братскую руку всем национальностям, в частности украинцам, признавая право каждого народа на самоопределение. В такой момент напоминать о старых грехах поляков и возбуждать против них темные демагогические инстинкты — значило, по мнению Чернышевского, играть в руку реакции российской, прусской и австрийской. А это делали русинские националисты из «Слова»; и вот почему Чернышевский с такой резкостью обрушился на них ¹.

Они, говорит Чернышевский, из-за воспоминаний о давно прошедшей старине поддерживают австрийское правительство, т. е. общего врага — своего и бывших их противников — поляков, и это в такой момент, когда поляки не могут быть вредными для них, а напротив ищут с ними союза для общей борьбы за освобождение. Меттерних совершенно одобрил бы эту политику. Вопрос должен быть поставлен так: «имеет ли этот спор двух народностей в Галиции такую первостепенную важность, какая придается ему, с одной стороны, предрасудками, а с другой стороны, людьми, для которых выгодно раздувать в каждой части австрийской империи вражду народностей, чтобы держать каждую народность в угнетении силою другой народности?» В этом и заключалась меттерниховская политика, но славяне ничего не выиграли от того, что помогли австрийской реакции раздавить, например, венгров ².

¹ «Национальная бестактность». «Соч.», т. VIII, стр. 279 и сл. (1861 г.).

² В другой статье «Народная бестолковость» (руссифицированный вариант заглавия первой статьи), направленной против славянофильского «Дня», Чернышевский снова убеждает австрийских славян не поддерживать реакционного правительства. «Жалея о том, что примирение до сих пор не устроилось по нерасчетливому пренебрежению славян к венгерским предложениям, мы жалеем теперь не столько венгров, сколько славян, которые сами

И Чернышевский старается перевести вопрос с почвы национальных препирательств на почву классовых отношений. «Очень может быть, что при точнейшем рассмотрении живых отношений львовское «Слово» увидело бы в основании дела вопрос, совершенно чуждый племенному вопросу, — вопрос сословный. Очень может быть, что оно увидело бы и на той, и на другой стороне, и русинов, и поляков, — людей разного племени, но одинакового общественного положения. Мы не полагаем, чтобы польский мужик был враждебен облегчению повинностей и вообще быта русских (т. е. русинских) поселян. Мы не полагаем, чтобы чувства землевладельцев русинского племени по этому делу много отличались от чувств польских землевладельцев¹. Если мы не ошибаемся, корень галицийского спора находится в сословных, а не племенных отношениях»². И дальше Чернышевский старается объяснить русинским националистам, что польская демократия, на которую клеветают публицисты из львовского «Слова», не имеет никакой вражды к русинской национальности как таковой, а в области аграрного вопроса готова на большие уступки в пользу крестьян как польских, так и русинских.

С другой стороны, в выступлении публицистов «Слова» подозрение Чернышевского возбуждали их клерикальные замашки. Он, осудивший за клерикальный элемент даже сен-симонизм, должен был с особенной строгостью отнестись к клерикальным ухваткам галицийских демагогов³. «Слово» приглашало митрополита галицкого Григория стать во

теряют не меньше того, сколько отнимают у венгров». — «Соч.», т. VIII, стр. 329 (1861 г.).

¹ Ниже Чернышевский пишет: «Много богатейших панов в Галиции — чистые русины; это засвидетельствовано самим львовским «Словом». Если оно хочет быть представителем интересов русинского народа, пусть оно спросит у русинов, меньше ли, чем польские паны, брали повинностей эти русинские паны, больше ли польских панов они сделали уступок русинскому народу, короче сказать, лучше ли было русинскому поселянину у русинского пана, чем у польского». И дальше следует ссылка на свидетельство Шевченко, который был одинаково невысокого мнения об эксплуататорах как малорусских, так и польских (loc. cit., стр. 290).

² Уже известный нам эсер Антонов, крайне недовольный «колебанием в сторону материалистического и классового понимания истории», обнаруживаемым Чернышевским в этом пункте, считает своим долгом поправить его. «В том-то и дело, — пишет Антонов, — что Чернышевский ошибался, так как корень галицийского спора заключался именно в племенных отношениях, в борьбе за национальное самоопределение, сословные же (т. е. классовые) отношения обуславливали споры другого рода» (цит. соч., стр. 106). Да, большой шаг назад сделала русская мысль после Чернышевского.

³ Чернышевский относился враждебно ко всем проявлениям клерикального духа, где бы он их ни встречал. Так, при мягком вообще отношении

главе русинского национального движения, рекомендовало русинам выбирать депутатами в Галицийский сейм священников и вообще выставляло духовенство чуть ли не единственным заступником русинского народа.

Чернышевский сразу узнал русинских клерикалов по этим неосторожно высунутым ушам и резко напал на попытки церковников захватить руководство национальным движением. На возможный аргумент в том смысле, что кроме православного духовенства в русинском народе не имеется достаточных наличных кадров интеллигенции, способной защищать его культурные и политические интересы, Чернышевский возражает, что если бы это было так, то лишь свидетельствовало бы против своевременности и возможности всего дела, затеянного львовской газетой. И Чернышевский рекомендует «просвещенным русинским патриотам» поспешить взять дело национального возрождения русинов из рук, в которых «оно только компрометируется».

Чернышевский явно увидал в направлении и физиономии «Слова» кончик царистского ушка и влияние московских рублей. В частности он указывает на странный язык, каким писала украинская газета. Приведя оттуда такие фразы, как «благослови нас на дело, на добрый подвиг духа, да соблюдем веру и отечество» и т. п., Чернышевский отмечает, что на таком языке говорят в Москве и Нижнем Новгороде, а не в Киеве или Львове, и прибавляет: «Наши малороссы уже выработали себе литературный язык, несравненно лучший, зачем отделяться от них? Разве он так далек от языка русинов, что им нужно писать другим наречием?» (ibid., стр. 280).

Статья Чернышевского вызвала взрыв негодования в лагере российских мракобесов. Начались обычные в этой среде разговоры о «польской интриге». По поводу этой статьи М. Погодин 20 ноября 1861 года писал Шевыреву: «В Современнике печатаются статьи против употребления русского языка в Галиции, и предлагаются советы жить мирно с поляками, которые их угнетают, вопия против угнетения русскими в Варшаве».

И. С. Аксаков тоже был возмущен статьей Чернышевского. «Вдруг, — писал он в «Дне», — появляется в Современнике статья, под названием «Национальная бестактность», которая, оскорбляя галичан в самых задушевных, теплых их стремлениях, осуждает их

к славянофилам, которым он первоначально симпатизировал за отстаивание ими общинного принципа, он, по словам Костомарова, терпеть не мог «их поповского направления» (Автобиография Н. И. Костомарова, «Р. М.» 1885, № 6, стр. 35). Костомаров забыл прибавить, что Чернышевский издевался и над ним самим за его ханжество.

старания писать русским литературным языком, предлагает им держаться малороссийской племенной особенности и не враждовать с поляками. Эта статья появилась в разных газетах Австрии на немецком и польском языках. Можно себе представить удивление, негодование, огорчение, весь ужас наших братьев русских! Письма, полученные нами из Вены, живо изображают душевную скорбь галичан, обруганных и осмеянных в России за сочувствие к России».

А в письме к Н. И. Костомарову он говорил: «Будь эта статья подписана поляком, пояись она в польском журнале, пояись даже в «Основе», значение ее было бы другое. Но допустить, чтобы голос польский (!) самозванно, исподтишка прикидывался (?) русским и морочил опасным мороченьем целый народ, нам сочувственный, допустить это было бы величайшею низостью для всякого истинного русского».

Против статьи Чернышевского выступил в «Дне» и В. И. Ламанский. Он говорил между прочим: «Политические враги русских пользуются его статьею как доказательством и орудием, обрадовались ей как новому поводу и средству нанести лишний удар этой несчастной, едва поднимающейся народности... Чернышевский говорит о львовском «Слове» не только за себя, за нас, великоруссов, но и за малоруссов, например за Шевченко, который по уверению Чернышевского, «лично его знавшего, во львовском «Слове» наверное не стал бы писать»¹.

«Признаемся, — продолжает Ламанский, — мы не могли удержаться от смеха, услышав, что поляки и немцы прочли статью Чернышевского и заключили: таков взгляд молодой России!»

Эту статью В. И. Ламанского Н. И. Костомаров, задетый в своих украинских чувствах, назвал доносом. «Вы, — писал он Аксакову, — с вашим христианским православным воззрением имеете из'ясняться прямо, смело, вразумительно. А Чернышевский должен перед вами лавировать, увертываться. Для вас доступно всякое оружие, для него — нет! Если же вы начнете развертывать все папильотки, в которые завито то, что подается им почтеннейшей публике, то результат выйдет тот, что Чернышевского посадят в крепость либо сошлют в Вятку как проповедника безбожия, социализма, революции, а вам дадут орден за разоблачение зловредного учения».

Костомарову Аксаков ответил невразумительной болтовней, а гр. А. Д. Блудовой он писал 27 октября 1861 г.: «Ну уж, если б вы знали, как разозлились на меня и на Ламанского хохлы и поляки (это Чер-

¹ Но, прибавляет здесь Барсуков, Чернышевский имел право говорить от имени малоруссов, так как литературный орган их «Основа» настаивал согласно с Чернышевским, чтобы галичане «бросили свою литературную речь и начали писать языком Основьяненко, Шевченко и Марко Вовчка».

нышевский-то «хохол» и поляк! — Ю. С.). У них в этих случаях всегда одна уловка — прикидываться лежащими, беззащитными, говорить, что им отвечать нельзя, опасно, что мы угрожаем силе, и что статья Ламанского — д о н о с, а я хочу распалить вражду и т. п. Как бы не вздумали в самом деле как-нибудь их преследовать», — лицемерно вздыхает он в заключение ¹.

Но, разумеется, вой черносотенных шавок не мог остановить Чернышевского, который хорошо знал, какую участь приуготовляют ему Погодины, Аксаковы и т. п. ². С такой же смелостью он высказывался против славянофильства, против панславизма и против надежд угнетенных австрийцами и турками славянских народов на помощь русского царя, надежд, которые использовались самодержавием для своей дипломатической игры. Аргументы, которыми пользовался здесь Чернышевский, во многом напоминают соответствующие доводы М. Бакунина, хотя ясно, что Чернышевский, писавший в подцензурном журнале, не мог выражаться так открыто, как эмигрант, выступавший в Европе, вне пределов досягаемости Третьего Отделения.

«Славяне — наши одноплеменники, — говорит он, — это правда; они гордятся нами, а мы любим их, и это правда; но не должно забывать, что вот уже целую тысячу лет они и мы жили отдельно друг от друга, в условиях совершенно различных, и потому приобрели гражданские привычки и общественные потребности, далеко не во всем одинаковые. Недаром говорят, что русская история самым резким образом отличается от истории всех других европейских племен, в том числе даже и славянских. Государственные учреждения получили и сохраняют у нас форму, нимало не похожую на все то, что когда-нибудь существовало или существует в Западной Европе... Поэтому надобно думать, что наша жизнь совершенно не соответствует потреб-

¹ Барсуков — «Жизнь Погодина», том XVIII, стр. 132—136.

² По поводу отношения Чернышевского к польскому вопросу Ленин в статье «О праве наций на самоопределение» («Соч.», т. XII, ч. II, стр. 523—524) замечает: «Было бы весьма интересной исторической работой сопоставить позицию польского шляхтича-повстанца 1863 года, позицию всероссийского демократа-революционера Чернышевского, который тоже (подобно Марксу) умел оценить значение польского движения, и позицию выступавшего гораздо позже украинского мещанина Драгоманова, который выражал точку зрения крестьянина, настолько еще дикого, сонного, приросшего к своей куче навоза, что из-за законной ненависти к польскому пану он не мог понять значения борьбы этих панов для всероссийской демократии (ср. «Историческая Польша и великорусская демократия» Драгоманова). Драгоманов вполне заслужил восторженные поцелуи, которыми впоследствии награждал его ставший уже национал-либералом г. П. Б. Струве».

ностям и привычкам западных славян. Если они думают иначе, они ошибаются по незнанию...

«Конечно, мы этим вовсе не хотим сказать, что их настоящее положение хорошо или жалобы их на Австрию несправедливы. В сочувствии к бедствиям австрийских славян мы не уступим никому. Но мы желали бы только, чтобы сами славяне хладнокровнее рассуждали о средствах улучшить свое положение, а главное, чтобы они точнее изучали нашу жизнь с ее особенностями. По географическому положению самыми естественными посредниками в таком изучении должны служить поляки. Теперь (т. е. после указания на судьбу поляков. — Ю. С.) читателю, может быть, хоть до некоторой степени известны основания, по которым и самое горячее сочувствие к австрийским славянам не представляется для нас побуждением одобрять вызовы французских газет к войне с Австрией. Не из особенного расположения к австрийским немцам, а из заботливости о судьбе самих славян мы находим, что они должны рассчитывать исключительно на свои силы для произведения улучшения в своем быте»¹.

Выразиться яснее было трудно. И дальше Чернышевский дает австрийским славянам конкретное указание: добиваться своей свободы они должны революционным путем в союзе с другими угнетенными Австрийской Империей народами, в частности с венграми. Вспоминая позорную роль, сыгранную славянами в 1848—1849 годах, он предостерегал их от повторения прежней ошибки, которая ничего не принесла им кроме позора и увековечения своего рабства (*ibid.*, стр. 313).

Эти советы Чернышевский считал тем более своевременными, что ожидал в результате австрийских поражений возобновления революционного движения в Венгрии и боялся, чтобы оно снова не было задавлено штыками одураченных темных славян. Поэтому он с чувством глубокого удовлетворения отмечал хотя бы мелкие признаки того, что в случае нового восстания славяне будут выступать совместно с венграми против австрийского правительства (*ibid.*, стр. 467).

Против реакционного Интернационала — революционный Интернационал! Вот какой ответ Чернышевский дает на вопросы, поднятые национальными движениями. Интересы всех эксплуатируемых солидарны, на каком бы языке они ни говорили, и они должны объединиться для совместной защиты своих интересов против «Мальтийского ордена» эксплуататоров. И в этом отношении Чернышевский, как мы сейчас увидим, возлагает главную надежду на пролетариат.

¹ «Соч.», т. V, стр. 136—137.

Что Чернышевский относился отрицательно к милитаризму, само собой понятно. «Человеку трудящемуся разорительна всякая война; полезна для него только та война, которая ведется для отражения врагов от пределов отечества»¹. Эти слова Чернышевского нужно понимать в том смысле, что он считает правомерной только такую войну, какая ведется народом, подвергнувшимся нападению или изнывающим в тисках завоевателя. Поэтому он сочувствовал войне итальянцев против Австрии, войне венгров против нее же, войнам поляков против своих поработителей и т. п. Не следует забывать, что то время было эпохой национальных войн, носивших освободительный характер. В этих войнах симпатии Чернышевского естественно были на стороне угнетенных наций. Вообще же Чернышевский полагал, что войны в большинстве случаев носят завоевательный характер и ведутся в интересах господствующих классов, и что они помимо того играют крайне гибельную роль в истории человечества тем, что часто помогают удержаться у власти реакционным правительствам² и почти всегда задерживают внутреннее развитие общества. Последнее особенно применимо к нашему отечеству³.

Но Чернышевский хорошо знал, что некоторые войны в конечном счете приносили больше пользы, чем вреда; так, о Крымской войне он положительно говорил, что она «принесла довольно значительную пользу России»⁴, расшатавши николаевский режим. Накануне итальянской войны 1859 года он присоединился к пожеланиям и надеждам австрийцев, что австрийская армия потерпит поражение, и что это послужит толчком к политическому возрождению монархии Габсбургов. «В Западной Европе покажется ненатуральным и невероятным, чтобы даже австрийские немцы считали несчастьем для государства тот случай, когда их правительство одержало бы победы, и надеялись добра только от поражения своей армии. Но мы совершенно понимаем это чувство»⁵. Как и все последовательные революционеры, Чернышевский был «пораженцем». Понимая, что царизм не ведет других войн кроме завоевательных, он всегда желал ему поражения, уверенный, что разгром сил самодержавия выгоден и русскому народу. С этой точки зрения в высшей степени характерно отношение Чернышевского к поступку старшего сына Александра, вздумавшего

¹ Статья о брошюре Бабста, *loc. cit.*, стр. 521.

² «Июльская монархия», *loc. cit.*, стр. 87—88.

³ Рецензия на «Сравнительную статистику» Кольба. «Соч.», т. IX, стр. 84 (1862 г.).

⁴ «Современное обозрение», ноябрь 1857 г. «Соч.», т. III, стр. 561.

⁵ «Политика» (1859 г.). «Соч.», т. V, стр. 315.

в 1877 году вступить добровольцем в армию, двинутую против турок¹.

— Верный своему методу, Чернышевский не переставал подчеркивать, что войны обыкновенно ведутся в интересах высших классов, и что выгодны они только для этих классов — в частности крупных землевладельцев с примыкающей к ним свитой военных и чиновников. Промышленная буржуазия, принимающая непосредственное участие в процессе производства и обращения материальных ценностей, по мнению Чернышевского, менее расположена к военным авантюрам; при этом он ссылается на действия манчестерцев Кобдена и К^о в английском парламенте². Мы думаем, что в общем Чернышевский был прав, указывая на преобладающую роль землевладельческого класса в развитии военщины и войн³, но в данном случае нас интересует не это, а его указание на роль пролетариата в деле уничтожения милитаризма и внешних авантюр.

Указавши на то, что появление в парламенте манчестерцев, представляющих, по его словам, «интересы фабрикантов», повлияло на из-

¹ Чернышевский отнесся крайне отрицательно к решению сына, которое он в письме к Пыпину назвал «дикой фантазией». Так как переписка его проходила через жандармскую цензуру, то ему приходилось в весьма осторожных выражениях раз'яснять причины своего недовольства поведением сына. В письме к самому сыну от 19 ноября 1877 года он называет себя «человеком миролюбивым», хотя признает, что «при настоящем состоянии человеческого развития» войны между народами неизбежны. Заявив, что к войне России с Турцией нужно отнестись «с ученой точки зрения», он прозрачно намекает, что эта война вызвана захватнической политикой царизма. В письме к тому же сыну от 24 апреля 1878 года Чернышевский подчеркивает, что, осуждая решение сына, он меньше всего руководствовался личными мотивами (совершенно не понявший Чернышевского Ляцкий именно так истолковал отрицательное отношение Чернышевского в предисловии к второму выпуску его сибирских писем, стр. XIII). Высказываясь против «благородных увлечений», приводящих к прямо противоположным результатам, он указывает сыну, что подвиги римских героев были нужны их родине, т. е. дает понять ему, что оказывая помощь самодержавию в его войне с турками, он не помогает, а вредит родине. И возвращаясь к той же теме через четыре года, он в письме к жене от 3 марта 1882 года иронически говорит о русско-турецкой войне, которая «представлялась русскому обществу благородною, прекрасною». Словом, ясно, что Чернышевский желал царизму нового поражения в интересах народной массы, и был удручен мыслью о том, что его сын по глупости готов оказать самодержавию поддержку («Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 198, 209, 212—214; вып. III, стр. 98—99, 179).

² О брошюре Бабста, *loc. cit.*, стр. 521.

³ Роль финансового капитала и тяжелой промышленности в войнах была в то время еще не столь решающей, как стала впоследствии.

менение характера английской внешней политики, Чернышевский продолжает: «Конечно, еще значительнее то изменение, которое будет внесено в эти дела прямыми интересами трудящегося класса... Когда трудящийся класс приобретает решительное влияние на английские дела и образуется опытностью в них настолько, что будет судить сообразно интересам труда, а не внушениям людей, чуждых этим интересам, Англия совершенно откажется от всяких войн вне пределов своих. Когда таково же будет положение других европейских стран, исчезнет всякая возможность войны между ними».

«Но до того времени, — прибавляет Чернышевский, — т. е. до захвата власти в государстве пролетариатом и до социалистической перестройки общества, — войны неизбежны».

7. Последнее политическое обозрение Чернышевского

В заключение этой главы мы позволим себе бегло рассмотреть последнее политическое обозрение Чернышевского, напечатанное в апрельской книжке «Современника» за 1862 год и являющееся, так сказать, лебединой песнью Чернышевского в области политики.

Это обозрение посвящено главным образом прусскому конституционному конфликту. Как известно, конфликт между правительством и палатой, в которой руководящая роль после выборов 1861 года принадлежала партии прогрессистов, возник по вопросам военному и бюджетному, но в сущности здесь шла борьба между принципами полуабсолютизма, прикрывающегося лже-конституционными формами, и настоящего парламентаризма, который отстаивала партия буржуазных либералов. В марте 1862 года король Вильгельм распустил палату и составил боевое министерство Гогенлоэ, но избиратели снова послали в палату оппозиционное большинство, и борьба продолжалась.

Об этой борьбе и говорит наш автор. Верный своей манере, он «одобряет» прусское правительство за проявленную им решимость. Благодаря ей вопрос поставлен резко и определенно, а вопрос заключается в том: ограничивается ли прусское общество отвлеченным сознанием необходимости истинно-конституционного правления, какого до сих пор в Пруссии не было, или же оно уже достигло и второй стадии политического развития и готово активно поддержать сторонников парламентаризма в их борьбе с правительством? Заставляя нацию открыто ответить на этот вопрос, «прусское правительство действовало как нельзя лучше в пользу национального прогресса». Дальнейшие шаги правительства показали, что спор идет не о той или иной частности в бюджете, а именно о введении в Пруссии парламентаризма, «совер-

шенно нового в Пруссии принципа, чтобы воля палаты депутатов вообще была законом для правительства». Оно пустило в ход свою силу, оказало давление на чиновников-избирателей и вообще высказало намерение действовать решительно.

Ну, а его противники либералы? Чернышевский мог бы сказать им словами Лассалья по поводу того же конфликта: «Слуги монархии — дельцы, а не краснобаи, и таких дельцов следует пожелать и вам». Чернышевский не верит в способность либералов к решительной борьбе, но он уверен, что ход истории сделал эту борьбу неизбежной. «Ход истории неуклонно определяется реальным отношением сил, и ошибки, делаемые людьми, имеют влияние только на форму, а никак не на сущность вещей¹. Сделает ли прусское правительство либералам какие-нибудь уступки или нет, от этого дело не изменится. Если бы правительство даже заменило боевых министров людьми либерального направления, оно все-таки сохранило бы сознание силы, а на противника смотрело бы как на слабосильную величину, пощаженную его снисходительностью. «Следовательно, действительные отношения остаются и после уступки совершенно таковы же, как были до нее, и уступка имеет лишь формальное значение: если она делается, то придает блеск великодушия снисходительному сильному, и если принимается его противником, то свидетельствует, что этот противник считает себя слабее его — ведь иначе этот противник не стал бы и ждать уступок, не только что принимать их, а сам продиктовал бы условия нового порядка вещей. Стало быть, исторические вопросы нимало не разрешаются уступками, которые имеют лишь то влияние, что на несколько времени замаскировывают реальное положение дел формальной благовидностью снисходительного великодушия».

Поэтому Чернышевский полагает, что прусское правительство поступило бы «неосновательно», если бы пошло на какие-либо уступки. Оно, вероятно, на них и не пойдет. А так как главная сила правительства заключается в армии, которую оно пустит в ход в последний момент, в случае, если народ пожелает поддержать депутатов, то спорный вопрос должен будет разрешиться открытым столкновением, гражданской войной. «Как споры между различными государствами ведутся сначала дипломатическим путем, точно так же и борьба из-за принципов внутри самого государства ведется сначала средствами гражданского влияния или так называемым законным путем. Но как между раз-

¹ В речи «О сущности конституции», посвященной тому же конфликту и произнесенной в том же апреле 1862 г., Лассаль также говорит о «реальном соотношении сил» как основном факторе исторических событий. «Соч.», Ф. Лассалья, Спб. 1905, т. II, стр. 9 и сл.

личными государствами спор, если имеет достаточную важность, всегда приходит к военным угрозам, точно так и во внутренних делах государства, если дело немаловажно. Если спорящие государства слишком неравносильны, дело обыкновенно решается уже одними военными угрозами: слабое государство исполняет волю сильного, и этим отвращается действительная война. Точно так же и в важных внутренних делах война отвращается только тем, если одна из спорящих сторон чувствует себя слишком слабою сравнительно с другой стороной: тогда она смирится, лишь только увидит, что противная партия действительно решилась прибегнуть к военным мерам. Но если два спорящие государства не так неравносильны, чтобы слабейшее из них не могло надеяться отразить нападение, то от угроз доходит дело и до войны»¹.

Итак, внутренние конфликты, подобно внешним, кончаются, по мнению Чернышевского, войной. Каково же реальное отношение сил в Пруссии? Слишком ясно, что подавляющий перевес силы в руках правительства. Но само по себе это ничего не значит, говорит наш автор: все зависит от настроения общественного мнения. «Та сторона, которая имела громаднейшую силу, может увидеть себя совершенно ослабевшею в несколько месяцев или даже недель». Правда, судя по настроению общественного мнения в Пруссии, Чернышевский не возлагает особенных надежд на прусских либералов и полагает, что они смирятся при первой решительной угрозе правительства. Но если внутри самой Пруссии не замечается достаточного количества горючих материалов и активных сил, то есть основание надеяться на возможность внешних осложнений.

Самое настроение общественного мнения, сделавшее возможным возникший в Пруссии конфликт, навечно, по мнению Чернышевского, заграничными событиями, итальянскими делами, брожением во Франции и «вообще тревожным, возбуждающим нервы состоянием всего континента Западной Европы». Эта сторона, по словам нашего автора, самая любопытная и важная в прусском движении. Будучи простым отголоском глухого шума, усиливающегося на западно-европейском континенте, оно является симптомом надвигающихся событий, от исхода которых зависит и его собственная судьба. «Если их наступление замедлится, конституционная партия в Пруссии снова подвергнется летаргической безнадежности, в которой лежала столько лет почти без всякого признака жизни. Но только начнись ураган на Западе, он захватит и Пруссию и в ней произведет ломку».

¹ «Соч.», т. IX, стр. 241.

Все надежды Чернышевский возлагает на Францию, этот «вулкан Европы». Ему кажется, что она «обнаруживает признаки расположения подновить свою старинную репутацию». Констатируя шаткость бонапартистской системы, он надеется, что великая страна, сыгравшая такую решающую роль в истории человечества, скоро подаст сигнал к революции, которая должна охватить всю Европу и в частности захватить на сей раз и Россию¹.

Но о надеждах Чернышевского на революцию в России мы поговорим во втором томе этой работы.

¹ Пробуждение революционного духа во Франции Чернышевский отметил уже в 1860 году. «Во Франции все чаще и чаще повторяются факты, сами по себе неважные, но показывающие, что пробуждение национальной жизни, начавшееся года три тому назад, продолжается, не задерживаясь даже такими крайними средствами к развлечению от внутренних дел, каким была прошлогодняя война и каким, вероятно, будет скоро какая-нибудь другая война, на Рейне или в Италии, на востоке или на западных морях» («Соч.», т. VI, стр. 542). Таким образом, Чернышевский за десять лет предсказал франко-прусскую войну 1870—1871 гг.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СОЦИАЛИЗМ

1. Источники Чернышевского

В последний период своей деятельности Чернышевский сосредоточил свое внимание на изучении политической экономии¹. В этой области он сыграл в истории русского самосознания гигантскую роль, подорвав влияние буржуазной политической экономии в тот самый момент, когда она только начинала распространяться в русской литературе. Он был первым оригинальным русским экономистом, смело выступившим против господствовавшей тогда у нас популяризации вульгарной политической экономии и пытавшимся создать свою собственную антибуржуазную экономическую систему. Конечно, в настоящее время многие взгляды Чернышевского на экономические вопросы устарели, да и вся его система в целом, поскольку о таковой можно говорить, является страшно отсталой сравнительно с системой научного социализма. Но в свое время работы Чернышевского сыграли значительную роль, а некоторые его взгляды до сих пор выдерживают строгое испытание научной критики.

Таково, напр., его замечание, сделанное в упомянутой выше рецензии 1854 года, относительно абсолютной земельной ренты. Вот что он там писал: «Теория Рикардо совершенно основательна, но не совершенно полна. Она объясняет только причину различия в ренте различных земель, не принимая, что и самая плохая из обрабатываемых земель приносит ренту, и не объясняя этого; она выводит ренту ниже действительной величины ее, потому что берет

¹ Впрочем, с экономическими вопросами он был знаком уже в 1854 году. Это ясно из рецензии на книгу А. Львова «О земле как элементе богатства», помещенной в № 6 «Современника» за этот год. Замечательно, что здесь он уже дополняет Рикардо, выдвигая учение об абсолютной ренте. В этой же рецензии имеется ссылка на Сисмонди, которого Чернышевский, следовательно, также знал уже в то время.

ренту только при достаточности, а не при недостаточности производства»¹.

Как ни странно это может показаться на первый взгляд, но именно в области экономических вопросов, разработкой которых Чернышевский наиболее интересовался и наиболее прославился², взгляды нашего автора оказываются наиболее уязвимыми. Здесь сказалось влияние исторической эпохи и социальной среды, окружавшей Чернышевского и заставлявшей его устремлять свое главное внимание не столько на анализ существующего, сколько на исследование желательного ему общественного уклада. А это придало особую окраску его экономическим воззрениям и не могло не оказать сильнейшего влияния на результаты его работы в этой области³.

Излагая свои взгляды, Чернышевский почти никогда не указывает своих источников, так что судить о писателях, внушивших ему тот или иной взгляд, приходится большей частью по догадкам. Здесь играло известную роль его отвращение к показным приемам учености; с другой стороны, немалое значение имели и тогдашние цензурные условия⁴, не давшие ему возможности называть по именам своих учителей, большинство которых принадлежало к заведомым «крамольникам».

¹ «Соч.», т. I, стр. 138. — Плеханов (том VI, стр. 171) по этому поводу замечает: «Это очень похоже на теорию абсолютной ренты Родбертуса и Маркса. Но этого взгляда на ренту Чернышевский совсем не развил, и в своих «Очерках политической экономии» он уже не возвращается к нему».

² Между прочим, именно по поводу «Примечаний к Миллю» Маркс выразился о Чернышевском как о великом русском ученом и критике, мастерски осветившем банкротство буржуазной политической экономии. Это не помешало Плеханову в своих статьях 1890 года (статья третья в декабрьской книжке «Социал-Демократа») заявить, что «и для своего времени Чернышевский не был большим знатоком политической экономии» (Плеханов, т. VI, стр. 411), — фраза, которую он впоследствии счел нужным вычеркнуть из своей работы о Чернышевском при издании ее отдельной книгой в 1910 году.

³ Отчасти это понятно. При выработке своих общих историко-философских взглядов Чернышевский имел в своем распоряжении весь коллективный опыт человечества на протяжении столетий и тысячелетий; при выработке своих экономических взглядов ему приходилось анализировать отношения, возникшие сравнительно незадолго до его выступления на литературное поприще и не успевшие (по крайней мере, в тогдашней России) резко проявить все свои существенные черты.

⁴ «Мы не имеем охоты говорить, чьих именно мнений мы держимся», — пишет он в статье «Капитал и труд». По тогдашнему времени это было бы и не безопасно. Дальше он указывает на Сисмонди и именно на его «Новые принципы политической экономии», но тут же прибавляет: «Мы назвали Сисмонди потому, что хвалить его очень удобно (Сисмонди, как

Это чрезвычайно досадно. Исследователь воззрений Чернышевского лишен возможности ответить уверенно на целый ряд существенных вопросов. В частности мы не знаем, были ли ему знакомы первые сочинения Маркса и Энгельса, в том числе «Нищета философии» первого и «Положение рабочего класса в Англии» второго. С большей уверенностью мы можем предположить, что он знал «Философию нищеты или систему экономических противоречий» Прудона, и имеются даже некоторые признаки того, что учение Прудона об «установленной ценности» (*valeur constituée*) оказало влияние на рассуждения Чернышевского о ценности меновой и внутренней¹. Конечно, внимательно присматриваясь к тем или иным взглядам нашего автора, можно с извест-

известно, не был ни революционером, ни коммунистом. — Ю. С.), но читатель знает, что между противниками так называемых экономистов он — человек далеко не самый замечательный. Каждый вспомнит многие имена, гораздо более знаменитые». Одно имя Чернышевский, впрочем, называет: это Роберт Оуэн.

¹ По мнению г. Богучарского («Из прошлого русского общества», стр. 352) Чернышевский и Добролюбов «восприняли также в весьма значительной мере учение Прудона». Доказывает он это цитатами... из Герцена, который хвалил Прудона как борца, гладиатора, даже «гения» и «одного из величайших мыслителей нашего века»! Впрочем, сам Герцен, личный друг Прудона, совершенно не замечавший его слабостей и отрицательных сторон, признавал, что «чтение Прудона, как чтение Гегеля, дает особый прием, оттачивает оружие, дает не результаты, а средства. Прудон по преимуществу — диалектик, контроверзист социальных систем» и пр. Словом, даже Герцен ценил в Прудоне не его положительное содержание, а главным образом метод. Но не Чернышевскому, ознакомившемуся с диалектическим методом из первоисточника, приходилось учиться у Прудона. Напротив, он относился к Прудону как к слабому мыслителю и самоучке, не стоящему на уровне современной ему науки. В Прудоне Чернышевский одно время главным образом ценил его резкую полемику с буржуазными сикофантами, но он прекрасно видел неопределенность его воззрений и не сочувствовал его грубым нападкам на коммунистических писателей. «Кто он такой, социалист, или не социалист, коммунист или не коммунист — этого никто из континентальных политико-экономов не умеет разобрать, да и сам Прудон, быть может, не знал определенно» («Соч.», т. VII, стр. 630). Внимательно изучая сочинения Чернышевского, мы нигде не открыли в них никаких следов влияния Прудона, — повторяем, если не считать, пожалуй, его взглядов на ценность.

Плеханов (т. VI, стр. 99) также думает, что в рассуждениях Чернышевского об обмене продуктов между общинами «выступает что-то вроде «*valeur constituée*» Прудона, известная книга которого не осталась, очевидно, без сильного влияния на него» (речь идет о «Системе экономических противоречий» Прудона). Впрочем, дальше (стр. 104) Плеханов прибавляет, что «в других отделах своего главного экономического сочинения Чернышевский несомненно имеет очень мало общего с Прудоном».

ной степенью вероятности предполагать влияние на него тех или иных писателей утопических школ, но все эти предположения в конце концов не выходят из области догадок.

Одно не подлежит сомнению: в области экономических вопросов учителями Чернышевского кроме утопистов, Сен-Симона, у которого Чернышевский ценил преимущественно его философию истории, Фурье, Оуэна («святой старик»), Виктора Консидерана, Сисмонди, Годвина и отчасти Луи Блана ¹, были главным образом представители классической школы политической экономии, как Адам Смит, Рикардо и Мальтус ².

¹ Выше (гл. IV) мы видели, что Чернышевский не очень-то высоко ставил Луи Блана как политического деятеля. Столь же невысоко он ставил его как экономиста. В статье «Капитал и труд» Чернышевский развивал план производительных ассоциаций, навеянный отчасти воззрениями Луи Блана. Но через год в примечаниях к Миллю он уже пишет: «Нам вздумалось взять в пример тогда Луи Блана. Не мешает сделать небольшую оговорку. Луи Блан — человек вовсе не из тех первоклассных мыслителей, каковы были Сен-Симон, Фурье, Роберт Оуэн. Он только — человек очень даровитый вроде Милля: выше Милля он в том отношении, что умел встать на почву новую и твердую; он учился на медные деньги, не имея даже куска хлеба от черной работы, которая дала Прудону время долго учиться хотя на медные деньги. Стало быть, если хотите, можете ставить его, как теоретика, далеко ниже Прудона и Милля» («Соч.», т. VII, стр. 640). А ведь и обоих этих писателей Чернышевский ставил, как теоретиков, не очень высоко. По словам Чернышевского, Луи Блан по особым свойствам своего литературного таланта случайно выдвинулся как представитель требований французского пролетариата в 40-х годах. «По особенному историческому случаю его мысли приобрели историческую важность, которой иначе бы и не имели, потому что оригинального в них мало». Учение о производительных ассоциациях, как средстве покончить с системой наемного труда, было со времен сенсимонистов и Бюше общим местом среди французских социалистов в 30-х и 40-х годах, и Чернышевский прекрасно об этом знал.

² О Рикардо Чернышевский до конца жизни сохранил самое высокое мнение. Так, в письме к В. Гольцеву от 19 августа 1888 года Чернышевский называет Рикардо «величайшим авторитетом по вопросам о законах материального благосостояния» («Русская Мысль» 1903, № 1, стр. 128). Относительно Мальтуса отзывы его лишены такого единства. С одной стороны, Чернышевский считал его одним из классиков политической экономии. В статьях о Лессинге («Соч.», т. III, стр. 707, прим.; относится к 1857 г.) он называет Мальтуса «немцем по неуклонности и логичности выводов», а в статье «Капитал и труд» (1860 г.) («Соч.», т. VI, стр. 17) признает его одним из «великих людей политической экономии», продолжавших дело А. Смита. Но уже тогда он видел и шуйцу Мальтуса, сознательно поставившего науку на служение капиталистическим интересам. Признавая его тенденциозным защитником буржуазного строя, он противопоставляет его социалистам. Уже в 1857 году он констатирует существование двух главных поли-

К представителям классической школы Чернышевский относился с уважением, как к людям, поставившим исследование экономических вопросов на научную почву и давшим более или менее точное решение многим из этих вопросов. Основные положения классической школы Чернышевский находил верными и старался доказать, что социализм «необходимо следует из основных понятий о ценности, капитале и труде, найденных Адамом Смитом¹ и, конечно, Рикардо. Аналогичную мысль высказывает Маркс, когда говорит, что «антагонисты политической экономии — социализм и коммунизм — находят свое теоретическое обоснование в трудах классической экономии, собственно у Рикардо, которого следует считать лучшим и последним ее выразителем»², и Энгельс, когда пишет: «Поскольку современный социализм, каковы бы ни были его тенденции, исходит из буржуазной политической экономии, постольку он, почти без исключения, связан с теорией ценности Рикардо. Оба положения, которые Рикардо в 1817 году принял в основание своих начал политической экономии, а именно: 1) что меновая ценность товаров определяется исключительно количеством труда, потраченного на их производство, и 2) что продукт всего общественного труда делится между тремя классами: землевладельцами (рента), капиталистами (прибыль) и рабочими (заработная плата), — оба эти положения, начиная еще с 1821 года, были использованы в Англии для всякого рода социалистических выводов»³.

тических школ, представителями которых в политической экономии он называет Мальтуса и Годвина, и которые, по его словам, на все вопросы, кроме разве астрономических, дают совершенно противоположные ответы. Полемике с Мальтусом (по вопросу о законе народонаселения) Чернышевский посвятил значительную часть своих примечаний к Миллю. А в письме от 21 апреля 1877 года из Вилюйска он дает о Мальтусе самый резкий отзыв, называя его «пустым шарлатаном, на которого стоит лишь плюнуть» («Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 141). В сущности этим духом и проникнут его ответ Мальтусу в примечаниях к Миллю. Очень резко отнесся Чернышевский к Мальтусу и в статье «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» (1888 г.).

¹ «Капитал и труд». «Соч.», т. VI, стр. 7, 28, 31 (1860 г.).

² Маркс — «Кэри и Бастия». Изд. Малых. Спб. 1905, стр. 8.

³ Эти выводы делал, конечно, и Чернышевский. Вот один характерный пример: «Теория капиталистов должна была начать анализом понятий производства и капитала. Результатом анализа был вывод, что всякая ценность создается трудом, и что самый капитал есть произведение труда. Нужно не бог знает какое глубокое знакомство с философскими приемами, чтобы видеть, к чему приводит развитие этих положений. Если всякая ценность и всякий капитал производятся трудом, то очевидно, что труд есть единственный виновник всякого производства, и всякие фразы об участии движимого или недвижимого капитала в производстве служат только изменениями

Эти выводы были настолько ясны и глубоки, что литература по этим вопросам... оставалась непревзойденной вплоть до самого появления *Капитала*¹.

С этой литературой, по крайней мере в лице ее главных представителей, Чернышевский, повидимому, был хорошо знаком. О Годвине он прямо упоминает, признавая его даже главой антибуржуазного направления в политической экономии². Вероятно, он был также знаком с сочинениями Вильяма Томпсона, видного последователя Р. Оуэна, особенно с его «Практическими предложениями», хотя он определенно на него нигде не указывает. Можно даже предполагать, что на него произвели сильное впечатление некоторые мысли Томпсона, как, напр., о том, что сумма накопленного продукта прошлого труда («капитала») совершенно ничтожна в сравнении с наличными производительными силами страны. Точно так же Чернышевский нигде не упоминает о другом английском коммунисте из школы Оуэна, Дж. Брэе (которого цитирует Маркс в «Нищете философии»). Но многие места в сочинениях нашего автора наводят на мысль о его знакомстве с сочинениями этого замечательного писателя, жестоко раскритиковавшего систему свободной конкуренции и обращавшегося (в отличие от самого Оуэна) не к представителям господствующих классов, а к самим рабочим и указывавшего им, что они должны стремиться не только к политическому, но и к экономическому равенству. Весьма даже возможно, что свой план производительных ассоциаций Чернышевский заимствовал (не говоря о Фурье) не столько у Луи Блана, сколько именно у Брэя, к которому он вообще стоит гораздо ближе по своим основным взглядам. Здесь, впрочем, возможно и влияние Консидерана.

Но идея производительных ассоциаций была вообще сильно распространена в 30-х и 40-х годах, и среди французских социалистов

мысли о труде как единственном производстве. Если так, то труд должен быть единственным владельцем производимых ценностей. Вывода, нами представленного, конечно, не хотят принять отсталые экономисты, но он необходимо следует из основных понятий о ценности, капитале и труде, найденных Адамом Смитом» («Капитал и труд», loc. cit., стр. 28). — Ср. рассуждения Маркса о том, что через известное число лет капиталист, присваивая прибавочную стоимость, потребляет всю первоначально авансированную им сумму, и «ни одного атома стоимости старого капитала уже больше не существует» («Капитал», т. I, стр. 538). Но Маркс основывает свои социалистические выводы не на этом постепенном исчезновении первоначальной капитальной стоимости.

¹ Энгельс — Предисловие к «Нищете философии», стр. 5.

² «Соч.», т. III, стр. 510. — Но анархических взглядов Годвина Чернышевский не разделял.

она пользовалась, пожалуй, еще большей популярностью, чем среди англичан. Вспомним хотя бы Бюре, главный труд которого о «Бедственном положении трудящихся классов в Англии и во Франции» (1840 г.) Чернышевскому также мог быть известен. И уже во всяком случае Чернышевский должен был хорошо знать сочинения фурьеристов, хотя опять-таки он о них не упоминает. Как мы знаем, он был знаком с работами и изданиями Консидерана, и весьма вероятно, что он имел также понятие о трудах Видаля и Пекера, которыми он мог интересоваться хотя бы как авторами известного заключительного доклада Люксембургской комиссии (а ее историю Чернышевский знал очень хорошо).

Социалистическая критика всех этих писателей, предшественников Чернышевского, примыкала к основным положениям классической школы, давая им дальнейшее развитие и истолкование в коммунистическом духе. И это совершенно естественно: социализм не мог сделать ни шагу вперед в научной области, не переработав критически и не преодолев положений, установленных экономистами-классиками:

Но если Чернышевский с уважением относился к представителям классической школы, зато резко отрицательно относился он к вульгарным экономистам. Правда, он не употребляет термина «вульгарные экономисты», введенного Марксом, а иронически говорит «так называемые экономисты», но ясно, что он говорит именно о них. Полемике с этими вульгарными экономистами (Бастиа, Молинари, Шевалье, Вольовский, Рошер, Рау) и их русскими подражателями (как Вернадский, Горлов) посвящено большинство экономических статей Чернышевского. Он утверждает, что эти экономисты ничего не дали для науки после классической школы, ничего не прибавили к результатам, добытым А. Смитом, Д. Рикардо и Мальтусом, но они не ограничиваются бесплодным пережевыванием старой теории, а стараются вытравить из нее все то, что, по их мнению, может служить подтверждением коммунизму.

Адам Смит и Рикардо могли изучать политическую экономию без всяких задних мыслей, преследуя чисто научные интересы. Они не предвидели логических последствий сделанных ими научных открытий, потому что, как замечает Чернышевский, в их время пролетариат ни в Англии, ни во Франции не обнаруживал никаких стремлений к самостоятельному историческому действию, а послушно плелся за буржуазией.

Совсем в ином положении находятся вульгарные экономисты, умы которых подавлены кошмаром коммунизма. Вот почему их влечет к себе не научная истина, а стремление опровергнуть «лжеучения»

социализма; вот почему вместо об'ективного научного исследования они дают нам лицемерную апологию существующего строя. Эта экономическая наука, по словам Чернышевского, меньше всего научна, ибо она преследует апологетические и сикофантские цели, ничего общего не имеющие с исследованием научной истины ¹.

С представителями такой «науки» не о чем разговаривать стороннику «новой теории», т. е. социализма. Ему приходится только облачать их классовые побуждения и обнаруживать воочию их пустоту. Иначе обстоит дело с творцами буржуазной политической экономии. Как мы видели выше, социализм, по мнению Чернышевского, естественно вытекает из установленных ими основных положений. Ему казалось, что отличие новой теории от старой состоит только в том, что новая теория, овладевая существенными выводами старой, развивает их с полнотой и последовательностью, которых не могла достигать прежняя теория. «Прежняя теория провозглашала товарищество между народами потому, что благосостояние одного народа нужно для благосостояния других. Новая теория проводит тот же принцип товарищества для каждой группы трудящихся. Прежняя теория говорит: все производится трудом; новая теория прибавляет: и потому все должно принадлежать труду. Прежняя теория говорила: не производително никакое занятие, которое не увеличивает массы ценностей в обществе своими продуктами; новая теория прибавляет: не производителен никакой труд кроме того, который дает продукты, нужные для удовлетворения потребностей общества согласно с расчетливой экономией. Прежняя теория говорит: свобода труда; новая теория прибавляет: и самостоятельность трудящихся» ².

Таким образом задача социалистического исследователя сводится как бы к тому, чтобы ловить буржуазных экономистов на слове и, принимая их послышки, заставляя их делать из этих посылок социалистические выводы. Буржуазный экономист говорит А; социалист подхватывает это и прибавляет: «теперь вам остается только сказать Б. И если вы его не говорите, то лишь по своей непоследовательности или робости». Надо признаться, задача сильно упрощается. Мы подчеркнули выше крайне характерное место: «прежняя теория говорит: все производится трудом» ³; новая теория прибавляет: и поэтому все

¹ О различии этих двух экономических школ см. Маркса — «Капитал», М. 1909, т. I, стр. 47

² «Капитал и труд», loc. cit., стр. 44.

³ Нечего и пояснять, что в такой абсолютной форме это положение совершенно неверно. Потребительные стоимости вовсе не все производятся

должно принадлежать труду». Но ведь такой морализирующий вывод ни на волос не подвигает нас в анализе экономических явлений труда, ценности и пр. О таких выводах из учения классической школы, — характерных для коммунистов первой трети XIX века, Энгельс замечает:

«Указанное выше практическое применение теории Рикардо, что рабочим, как единственным настоящим производителям, принадлежит весь общественный продукт, — приводит прямо к коммунизму. Но этот вывод, как показал Маркс, с экономической точки зрения формально ложен, так как он оказывается простым применением морали к экономике. По законам буржуазной экономии большая часть продуктов, произведенных рабочими, не принадлежит производителям. Скажем теперь, что это несправедливо, что так не должно быть; но все это вовсе не относится к политической экономии. Мы можем сказать лишь одно, а именно, что данное экономическое явление противоречит нашему нравственному чувству. Вот почему Маркс никогда не основывал на подобных соображениях своих требований, — в основание их он клал неизбежное крушение капиталистического способа производства, — процесс, совершающийся ежедневно на наших глазах, захватывая все более и более широкие круги»¹.

Итак, свое экономическое учение Чернышевский старается построить на данных теории классической школы, стремясь лишь дополнить ее выводами утопистов и очистить от искажений, внесенных в нее вульгарными экономистами, «рутинными политико-экономами».

«За основание своих понятий, — говорит он, — мы берем экономическую теорию в том виде, какой получила она от своих великих основателей, Смита, Мальтуса и Рикардо, а не в той жалкой переделке, какой подвергается эта теория у континентальных болтунов или компиляторов, недобросовестно или бессмысленно искажающих ее суровый, но благородный характер, набивающих в нее без разбора всякую дрянь (в пример приводится искажение, которому вульгарные экономисты подвергают учение Рикардо об обратно-пропорциональном отношении между прибылью и заработной платой. — Ю. С.)... Мы не допускаем искажений, внесенных в науку риториками и компиляторами. Но принимая за истину главные результаты исследований великих английских основателей науки, мы не думаем, что их трудами исчерпана вся истина. Вообще говоря, у них очень удовлетворительно

трудом; это можно сказать только о меновых стоимостях. Ср. замечания Маркса на первый пункт проекта германской с.-д. программы 1875 г. «Критика Готской программы». Спб. 1906, стр. 7 сл.

¹ Цитированное предисловие, стр. 7—8.

объяснены те стороны дела, которые исследованы ими внимательно; но они... заметив многое, многое оставили без внимания. Их труды нуждаются в пополнениях. Эти пополнения сделаны мыслителями, которых мы признаем своими прямыми учителями» (т. е. социалистами) ¹.

Чернышевский неоднократно возвращается к этой мысли. «С опасностью наскучить читателю слишком частым повторением одной и той же мысли, мы скажем и здесь, — пишет он в начале книги III «Обмен», — что совершенно ошибаются люди, полагающие, будто бы разница учения, разделяемого нами, от господствующей теории состоит в опровержении теорем, найденных Смитом и с наибольшей точностью формулированных Рикардо. Вовсе нет. Почти все эти формулы совершенно справедливы, и мы даже защищаем их против неверных учеников господствующей теории, старающихся замаскировать их силу разными пустыми возражениями. Так, напр., теория ренты Рикардо имеет в нас самых усердных защитников. Но науку в том виде, в каком оставил ее Рикардо и в каком с небольшими улучшениями ² излагает Милль, мы считаем только нача-

¹ «Примечания к Миллю». «Соч.», т. VII, стр. 398.

² Чернышевский прекрасно видел и разоблачал теоретическую слабость и непоследовательность Милля. «Улучшения», которые он у него констатирует, заключаются в том, что Милль сделал коммунизму некоторые частичные уступки. «Мы никак не думаем, — говорит он про Милля, — чтобы его теория была вполне удовлетворительна. Он — человек бесспорно очень замечательного ума и безмерно выше всех французских экономистов; но ум его силен только в логическом развитии подробностей. Он превосходно разъясняет частные истины, но создать новую систему, дойти до проверки основных принципов и пополнить их он не в состоянии» («Капитал и труд», loc. cit., стр. 30). Не забудем, что если Чернышевский хвалит Милля, то потому, что сравнивает его с такими буржуазными сикофантами, как Молинари, Шевалье, Сэ, Рошер и К°. «Милль несравненно выше их логическою силою, но и он не из тех людей, которые бывают в состоянии переработать науку. Главная его сила — в том, что он — мыслитель совершенно честный и человек, сочувствующий добру. Сойти с точки зрения, на какую он поставлен своими учителями, Мальтусом и в особенности Рикардо, он не может. Он умеет только ценить все хорошее, что успевает заметить с этой точки зрения» («Примечания к Миллю», loc. cit., стр. 363). В «Антропологическом принципе» Чернышевский указывает, что в Милле, которого он признает второстепенным мыслителем, он видит «представителя чувств, с которыми благородные люди Западной Европы встречают предстоящую перемену общественных отношений». Эти люди «ждут себе потерь от перемен, признаваемых ими самими за неизбежные и справедливые. Скорбь о своей предстоящей судьбе производит смущение в их уме. У них нет сил применить к близкому для них факту принцип, принимаемый ими в его общем отвлечен-

лом экономической науки, — началом в обоих смыслах этого слова: и в том смысле, что дальнейшее развитие науки выводится из этого начала, и в том, что в следующем развитии глубже и полнее исследуется значение формул Рикардо, делаются из них выводы, которых еще не сделано вначале»¹.

Итак, основные формулы буржуазной политической экономии признаются верными, но они нуждаются в дополнениях и выводах, которых сами творцы классической экономии почему-либо не сделали. Главный недостаток господствующей школы заключается дескать не в том, что она не сумела всесторонне разрешить основные вопросы о ценности, труде и капитале (все это в ней якобы есть), а в том, что мыслям, важным с точки зрения «новой теории», она дает недостаточное развитие, ограничиваясь по их поводу парой беглых замечаний.

Резюмируя свои примечания к предисловию Милля, Чернышевский констатирует два недостатка «смитовской теории»: раздвоенность, шаткость, непоследовательность понятий и их рутинность. Но тут же обнаруживается и третий ее недостаток, лежащий в основе двух других: это — равнодушное отношение к положению пролетариата. Давши «мастерский» очерк экономической истории, Милль в «двух несчастных строках» констатирует, что в богатых капиталистических обществах существуют классы, находящиеся в состоянии столь же незавидном, как эскимосы и готтентоты. «Этими двумя строками, — замечает наш автор, — портится все дело. История экономического развития портится фактом, о котором они гово-

ном виде» («Соч.», т. VI, стр. 189 и 205). Отсюда их половинчатость и противоречия. Добросовестность и симпатии к страждущим отметил в Милле и Маркс, вообще строго отнесшийся к нему за его теоретическую слабость и прстиворечия. «Чтобы устранить недоразумение, замечу, что такие люди, как Дж. Ст. Милль и ему подобные, заслуживают, конечно, всяческого порицания за те противоречия, которыми изобилуют и их старомодные экономические догмы, и их современные тенденции, но было бы в высшей степени несправедливо смешивать их в одну кучу с вульгарными экономистами-апологетами» («Капитал», т. I, стр. 574).

В «Разборе литературной деятельности Чернышевского», составленном Вс. Костомаровым, указана еще одна причина, по которой Чернышевский остановился на Милле: «Чернышевский переводит Милля потому, что он цензурнее других излагает коммунистические теории». А примечания к Миллю понадобились Чернышевскому для того, «чтобы превратить Милля в совершенного коммуниста, потому что настоящий, английский Милль недоволен коммунистичен для его русского переводчика» (Л е м к е — «Политические процессы», стр. 432).

¹ «Примечания к Миллю», loc. cit., стр. 416.

рят. А еще хуже для теории, предисловие к которой мы видели, то, что из двадцати страниц она посвятила этому факту ровно две с половиной строки... В таком равнодушии виноват не Милль; нет, он еще гораздо лучше всех других последователей смитовской школы. Виновата теория этой школы, построенная так, что в ней нет места для факта, ставшего теперь повсюду главным двигателем истории»¹.

В этих замечаниях Чернышевского много верного, но это верное сильно ослабляется поспешным согласием нашего критика с основными положениями буржуазной политической экономии. В ней, говорит он, нет места для социалистического рабочего движения; точнее — она не сумела выяснить положение пролетариата в общей хозяйственной системе капитализма. А это значит, что она не сумела достаточно разъяснить существенный характер капиталистического строя как в целом, так и в частностях. Дело вовсе не в том, что о положении рабочего класса «господствующая теория» говорит на двух строках, а не на десяти страницах, а в том, что и как она говорит о труде, капитале, ценности и пр. По словам Чернышевского, о том или ином важном по мнению социалистов вопросе смитовская теория «упоминает только мимоходом, не заботясь о том, чтобы дать ему развитие, соответствующее его важности», — и вот наш автор «старается восполнить этот недостаток, происшедший у Адама Смита просто от невнимательности». Он с радостью указывает на то, что не говорит «ровно ничего противного принципам той теории, которая основана Адамом Смитом», ничего «нового» против того, что сказал Милль. «Чем же наши понятия отличаются от понятий самого Милля? — пишет он. — Если хотите, ровно ничем не отличаются. Но мысль, общую нам и ему, мы выставили на первый план, между тем как у него она спряталась в каком-то уголке, где и не заметит ее невнимательный читатель. Мы обратили внимание на то, о чем он упоминает лишь мимоходом» (ibid., стр. 419).

Но в чем же заключается важность этой реформы, спросит читатель? А вот в чем: «От этого произошла и другая разница; если эта форма неудовлетворительна (речь идет о форме соперничества), то надобно искать другой, удовлетворительной, — и (мы) стали искать ее. Согласитесь, что этот вывод необходимо следует из факта, замечаемого и господствующею теориею». Если вы читаете Милля, замечает Чернышевский в другом месте, с одною только мыслью — проверить, справедливо ли все, что он говорит, вы дойдете до конца анализа, не заметив никаких ошибок в нем; но если вы

¹ «Примечания к Миллю», loc. cit., стр. 30.

станете перечитывать те же страницы с другою, более широкою мыслью — посмотреть, не остается ли пробелов в этом анализе, — вы будете шокированы некоторыми выражениями, прямо выдающими неполноту анализа (*ibid.*, стр. 434). Поэтому наш автор считает необходимым дополнять положения Милля с своей точки зрения, т. е. с точки зрения последовательных социалистических выводов из основных формул буржуазной экономики¹. Каков по большей части характер этих дополнений, можно видеть из следующего примера.

Приведя 17 положений Милля о ценности (в том числе много более чем спорных), Чернышевский замечает: «Все эти выводы совершенно верны; но читатель видит, что нам теперь можно дополнить их еще несколькими другими выводами, не менее важными.

«XVIII. Все предшествующие выводы относятся исключительно к меновой ценности. Она отделяется от внутренней², когда бывает товаром человеческий труд. Но такое состояние вещей невыгодно ни для самого работника, ни для общества при низком качестве наемного труда сравнительно с трудом на самого себя.

«XIX. Если же труд не считать продажным товаром, то меновая ценность совпадает с внутреннею, и понятия запроса, снабжения, стоимости производства получают точнейший характер, возводясь прямо к основным элементам экономической деятельности, к потребностям человека. Размер снабжения тут определяется количеством производительных сил; размер запроса — интенсивностью надобности производителя в продукте; стоимость производства определяется прямо количеством труда. Уравнение запроса и снабжения получается через расчет о том, по какой пропорции должны быть распределены производительные силы по разным занятиям для наилучшего удовлетворения надобностей человека» (*ibid.*, стр. 452).

¹ Плеханов (т. VI, стр. 72—73) правильно напоминает, что Эккарнус в своей книжке «*Eines Arbeiters Widerlegung der national-oekonomischen Ansichten John Stuart Mill's*» 1866 года подошел к критике Милля не так, как Чернышевский (Эккарнус был членом Генерального Совета Первого Интернационала, стоял в то время близко к Марксу, под влиянием, а отчасти и при содействии которого написал свою книжку, кстати, переведенную с сокращениями в журнале «Слово» за 1880 год). Эккарнус изобличал Милля в неправильном понимании законов капиталистического строя и упрекал его в отсутствии исторической точки зрения. Излагать свои социалистические взгляды в виде дополнений к Миллю было бы для Эккарнуса невозможно, замечает Плеханов и прибавляет: «Эти социалисты-современники по взглядам своим принадлежали к различным периодам истории социализма. Эккарнус был марксист; Чернышевский держался взглядов до-марксовой, утопической эпохи». Да, в этом пункте Чернышевский к марксизму не подошел.

² Ниже мы поймем смысл этого разграничения.

В этих дополнениях, переносящих нас из области экономической теории капитализма в область подлежащей созданию экономической теории коммунистического строя, сразу бросаются в глаза и сильные, и слабые стороны метода Чернышевского.

Как мы знаем, он находил, что господствующая теория имеет определенно буржуазный характер; это — теория капиталистов в отличие от социализма, который является теорией трудящихся¹. Поэтому-то в ней нет места для пролетариата. «Средний класс, которому принадлежит смитовская теория, думал тогда (когда она создавалась, т. е. сто лет назад), что простолюдину ничего особенного не нужно, что полным счастьем для народа будет то, когда ему, среднему классу, удастся осуществить свои требования». В действительности оказалось не то; рабочий класс, интересы которого не могли быть удовлетворены осуществлением буржуазной программы, самостоятельно выступил на историческую арену, добиваясь удовлетворения своих специфических требований. Поэтому теория, созданная средним классом, должна быть перестроена сообразно потребностям и запросам рабочего класса (ibid., стр. 30).

2. Задача экономической «теории»

Эту задачу и взял на себя Чернышевский². Но то, как он приступил к ее выполнению, чрезвычайно характерно для тогдашнего положения вещей в России и для состояния русской общественной мысли того времени.

¹ Маркс в «Учредительном адресе» Интернационала 1864 года также говорит о «политической экономии пролетариата», которую он противопоставляет «политической экономии буржуазии». Но у Маркса теория трудящихся строится иначе.

² Развивая свою теорию и стараясь оправдаться от упреков в утопизме, Чернышевский стремился доказать, что экономисты старой школы сами — страшные утописты; что меры, ими рекомендуемые, в действительности приводят к результатам, прямо противоположным их ожиданиям, и что выводы, вытекающие из их положений, коренным образом противоречат тем выводам, которые делают они сами. Это остроумное изобличение буржуазных экономистов в утопизме, напоминающее несколько сатирические приемы Фурье, к сожалению, помешали ему дать анализ буржуазного строя и исследовать его законы с научно-социалистической точки зрения. Его попытки дать правильное определение основным экономическим понятиям — капитал, труд, ценность — сплошь и рядом не выдерживают критики с точки зрения современного социализма; но, тем не менее, как мы увидим ниже, по целому ряду вопросов Чернышевский, можно сказать, вплотную подошел к научному социализму.

В то время, когда Чернышевский составлял свои «Примечания к Миллю», Россия из страны крепостнической, страны наполовину натурального хозяйства, наполовину примитивного товарного обмена, только готовилась превратиться в страну свободного наемного труда, в страну капиталистическую. Вместе с вступлением России на путь капиталистического развития в нашу литературу начали вторгаться учения вульгарной политической экономии. Этому вторжению Чернышевский и вознамерился дать отпор. При этом для него дело шло не столько о том, чтобы дать дальнейшее развитие и углубление верным на его взгляд положениям господствующей экономической школы (хотя абсолютно он от этого не отказывался и, как увидим, обнаружил и в этой области немало таланта и проницательности), сколько о том, чтобы подорвать веру в самый принцип буржуазной эволюции и раскрыть перед умственным взором молодого, до известной степени девственного русского общественного сознания перспективы иного развития. Он хотел указать возможность и осуществимость не только буржуазного, но и социалистического строя. Этим и только этим объясняются многие его приемы, вроде «гипотетического метода», и заявления, вроде признания правильными многих явно неверных положений буржуазной экономии. Неужели такой крупный и проницательный ум, как Чернышевский, не заметил бы грубых промахов Милля, если бы его внимание было преимущественно сосредоточено на анализе существующих отношений, а не на отыскании новых путей социального развития и на доказательстве их возможности и выгоды для народной массы? ¹. Но в том-то и дело, что его главным образом интересовала вторая сторона задачи, поставленная перед ним потребностями русского общественного развития. «Время требует слуги своего», и Чернышевский исполнял очередные требования своей эпохи. В этом отношении он сделал для русского общества очень много. До Чернышевского социализм насчитывал в России своих приверженцев единицами; после Чернышевского он для демократической массы разночинцев сделался своего рода «общественным предрассудком». Мы уже не говорим о том, что для научного анализа капиталистических отношений в духе Маркса тогдашняя русская жизнь давала Чернышевскому слишком мало материала ².

¹ Это признает и Плеханов (т. VI, стр. 90): «Если бы законы буржуазного хозяйства имели самостоятельный интерес в глазах Н. Г. Чернышевского, то он, конечно, понял бы их гораздо лучше и гораздо глубже, чем понимал их Милль».

² Даже такой строгий и очень часто несправедливый критик Чернышевского, как Плеханов, в предисловии к своей книге в издании «Шиповника»

Свойства и потребности этого исторического момента наложили свою властную печать на направление интересов Чернышевского и на характер его исследований в области экономических вопросов. Ставя себе целью не столько анализировать в деталях исторически данные общественные отношения с точки зрения их естественного, объективного развития, сколько обнаружить их губительное влияние на массу трудящихся, их «ненормальность» и выявить основные черты иного общественного уклада, соответствующего потребностям широких народных масс, Чернышевский невольно должен был стремиться к выработке именно такой системы, какую он представил читателям в своих «Примечаниях к Миллю». Задача этой системы заключается в том, чтобы найти и выставить общие принципы, применимые ко всем историческим укладам экономической жизни, и вместе с тем дать в виде общего абриса основы «рационального» экономического устройства, удовлетворяющего интересам всего общества. Так что и в основе его анализа существующих экономических отношений обыкновенно лежит задняя мысль: обнаружить противоречие этих данных отношений постоянным экономическим принципам и их убыточность для общества и вместе с тем набросать в самых общих чертах основные положения экономической теории будущего коммунистического строя¹.

Стремление найти постоянные экономические законы, одинаково присущие всем укладам хозяйственной жизни, заставляло Чернышевского сходить с исторической точки зрения и в сильнейшей степени ослабляло его аргументацию и выводы. Открытие же этих постоянных экономических законов, лишь искажаемых капиталистической системой, ему нужно было для доказательства той мысли, что только при социалистическом строе смогут получить нормальное и полное развитие эти законы, соответствующие требованиям «здравой» (т. е. коммунистической) экономической теории. Он неоднократно упрекает Милля и смитовскую теорию вообще в том, что они ограничиваются исключительно анализом капиталистического строя, что выводы у них «сделаны только в применении к быту, основанному на

(т. V, стр. 127) признает, что «критика буржуазной экономии с утопической точки зрения» была «вполне естественна в русской литературе в начале 60-х годов».

¹ Плеханов (том VI, стр. 70, 71, 78 и т. д.) не перестает упрекать Чернышевского в том, что он стремился «критикою господствующих понятий приводить читателя к общим принципам устройства, более выгодного для людей». Но именно за это его и похвалил Маркс, сказавший, что в своих примечаниях к Миллю великий русский ученый мастерски доказал банкротство буржуазной политической экономии.

трехчленном делении продукта», и что они не идут «в своем исследовании дальше частного видоизменения экономических принципов, свойственного этой форме устройства»¹. Он же всегда старается показать, в каком отношении находятся «нынешние формы экономических явлений» к этим общим и постоянным принципам экономической науки².

Propter vitam vivendi perdere causas! Именно историзм Чернышевского в данном случае превратился у него в свою противоположность. Именно потому, что он понимал преходящий, исторический характер капиталистического строя³, он при анализе его соскочил с истори-

¹ «Для него, — замечает Плеханов (т. VI, стр. 70), — как и для всех других социалистов-утопистов, главная задача науки заключалась не в изучении об'ективного хода развития ныншнего общества, а в исследовании того, каким должно быть будущее общество». И дальше следует ссылка на заключительные строки «Очерков из политической экономии», где сказано: «Не успела войти в наши очерки та часть теории, которая по нашему мнению наиболее важна в науке. Критикою господствующих понятий нам удавалось приводить читателя к общим принципам устройства, наиболее выгодного для людей. Но мы не успели изложить, в каких главных подробностях должны некогда осуществиться эти принципы, и какими переходными ступенями могут уже теперь люди приближаться к наилучшему устройству своих материальных отношений. Нам пришлось в этом отношении довольствоваться неопределенными очерками, представленными у Милля в главе о вероятной будущности рабочих сословий. Мысли его верны, но слишком бледны. И мы очень жалеем, что не успели дополнить их очерками более точными. Но что же делать!» («Соч.», том VII, стр. 616).

Указание Плеханова не совсем точно. Чернышевский исследовал также и об'ективный ход развития современного общества, но анализировал его главным образом с точки зрения невыгодности его для трудящихся.

² «Примечания к Миллю», *loc. cit.*, стр. 540. — Ср. стр. 156, где Чернышевский упрекает Милля в том, что он ограничивается рассмотрением явлений, «как они представляются в меркантильном свете обмена при посредстве денег», и смешивает «временные формы экономического устройства с коренною сущностью явлений, проходящих ныне через эти формы в известных странах, проходящих через другие формы в других странах и проходивших через третьи формы в прежние времена».

³ Он, напр., упрекает С. Муравьева, автора работы о Тюрго, в том, что «знаменитый принцип Гурнэ *laissez faire, laissez passer*, принимаемый за основание не только теории, но и практики многочисленной школой французских экономистов, чуть ли не кажется и ему не только временною потребностью истории, развивающейся резкими переходами из одной односторонней крайности в другую, но и вечным идеалом экономического устройства» («Соч.», т. IV, стр. 220). Но в борьбе с вульгарными экономистами Чернышевский сплошь и рядом оставлял свою диалектическую точку зрения на развитие исторического процесса. Пропандист брал перевес над исследователем.

ческой точки зрения, погнавшись за установлением постоянных принципов «экономической теории» вместо анализа существующих экономических отношений и их объективной тенденции к саморазрушению и подготовке новых социальных отношений. Экономисты старой школы выдавали специфические законы капиталистического уклада за вечные экономические категории; желая опровергнуть их ненаучные утверждения и разоблачить преходящий характер их «вечных законов», Чернышевский впал в противоположную крайность: он также признал существование таких «вечных законов», но старался доказать, что такие законы могут осуществиться не при капиталистических отношениях, а лишь в социалистическом строе, в котором не будет купли-продажи продуктов вообще и труда в частности, и который будет соответствовать неискоренимым потребностям человеческой природы.

Здесь Чернышевский, обыкновенно стоящий на исторической точке зрения, как будто забывает, что «вся история есть не что иное, как непрерывное изменение человеческой природы»¹, что и «наши потребности... создаются обществом» и имеют общественный, исторический и относительный характер². Он как будто повторяет ошибку Прудона, который, говоря словами Маркса, «без всякого основания провозглашал экономические категории предсуществующими, вечными идеями, вместо того, чтобы видеть в них теоретическое выражение исторических производственных отношений, соответствующих определенной ступени развития материального производства», и не в состоянии был «построить науку на основе критического познания исторического процесса, — процесса, который сам создает материальные условия эмансипации»³. Стремясь открыть постоянные экономические законы, одинаково применимые ко всем ступеням экономического развития, Чернышевский как будто упустил из виду, что «политическая экономия — в высшей степени историческая наука. Она имеет дело с историческим, т. е. изменяющимся материалом, она прежде всего исследует особые законы каждой отдельной ступени развития производства и обмена и лишь в конце этого исследования может установить немногие, имеющие применение к производству и обмену, совершенно всеобщие законы»⁴. Да и то эти «всеобщие законы» будут иметь не столько социально-экономический,

¹ «Нищета философии», стр. 135.

² М а р к с — «Наемный труд и капитал». М. 1905, стр. 40.

³ «Нищета философии», стр. 25—26.

⁴ Э н г е л ь с — «Философия, политическая экономия, социализм (Anti-Dühring)». Спб. 1904, стр. 205.

сколько технический, естественно-научный характер, ибо из них будет вытравлена их историческая, специфически социальная сторона. Они прежде всего будут абстрактны.

Посмотрите, например, как мало может дать с экономической точки зрения анализ ну хотя бы процесса труда, взятого абстрактно, как процесс физического взаимодействия между человеком и природой, независимо от конкретной исторической обстановки, «независимо от какой бы то ни было определенной общественной формы»¹. Получается несколько общих технических замечаний, — спору нет, крайне интересных, но ни на шаг не подвигающих нас вперед в деле выяснения специфических отношений капиталистического производства. Но Маркс так и смотрит на эти замечания, как на введение к настоящему анализу, введение, которое, для научного исследования стоимости, должно быть пополнено конкретными деталями данной общественной формы. Чернышевский сплошь и рядом поступает иначе: он абстрагирует от определенного общественного феномена его конкретные социально-исторические черты — и таким образом не подвигает свой научный анализ вперед, а наоборот затемняет действительный характер рассматриваемого явления. Так, например, он выделяет из идеи соперничества все ее специфически-капиталистические черты и получает «расчет экономической выгоды» или просто «расчет выгоды» и еще короче — просто «расчет» или «расчетливость»². Но ведь это уже не то: ведь в выводе нашего автора получается голый принцип так называемой житейской мудрости вместо требовавшегося закона определенного социального явления, а именно товарного и капиталистического производства!

То же самое можно сказать о том его упреке смитовской теории, который он делает ей за то, что она в анализе обмена не идет до конца, и что «теория распределения выходит в ней не результатом строгого научного анализа, а просто изложением довольно безобразной рутин, материальным основанием которой служит факт завоевания, доныне властвующий своими последствиями над экономической сферой того положения вещей, нравственной поддержкою которому служит невежество массы»³.

Это случилось с Чернышевским как потому, что та школа, представителем которой в политической экономии он был, не в состоянии была (как это впоследствии сделал Маркс) в самом анализе капитали-

¹ Маркс — «Капитал», т. I, стр. 42 и сл.

² «Примечания к Миллю», стр. 317.

³ Ibid., стр. 29.

стического режима открыть процесс его самоотрицания и приготовления им элементов социалистического строя, так и потому, что господствующая теория, с которой он полемизировал, пользовалась своим эмбриональным анализом существующего для оправдания и увековечения ненавистной нашему автору социальной несправедливости. Вот почему Чернышевский сосредоточил свое внимание на освещении экономических отношений преимущественно с точки зрения должного и желательного, с точки зрения интересов трудящихся и эксплуатируемых масс. «Расчет отношений между коренными элементами производства» и занимал его с точки зрения установления основных принципов идеального общественного строя, при котором наличные производительные силы были бы разумно распределены, а жизненные потребности широких масс получили бы удовлетворение. Вот почему, с другой стороны, он так легко соглашался с явно неверными положениями Милля: он не замечал их, они его сравнительно мало интересовали, ибо внимание его было поглощено совершенно другими вопросами. Говоря о швейцарских брачных законах, он замечает: «Люди, у которых нет понятия об устройстве лучшем, чем рассматриваемое нами теперь трехчленное устройство (т. е. капиталистическое), могут очень подробно и глубоко мысленно рассматривать сравнительные выгоды и невыгоды этих двух систем задержки размножения. Мы не обязаны рассуждать о подробностях дела, когда самый принцип его кажется нам неудовлетворителен»¹.

В данном частном случае Чернышевский, может быть, и был прав, отказываясь вникать в подробности тех или иных мальтузианских мероприятий. Но сплошь и рядом это настроение приводило его к ошибочным заключениям, заставляло его закрывать глаза на вопиющие противоречия и погрешности буржуазной экономики, когда он как бы спешил от них отмахнуться, чтобы поскорее перейти к своим «дополнениям» и построениям.

С точки зрения должного Чернышевский определяет и задачи политической экономики. Он зло издевается над Сэ за его утверждение, что наука не дает советов, а только описывает факты². Для нашего же автора эти «советы» дороже всего, а самый анализ фактов важен лишь постольку, поскольку он позволяет давать такие советы и доставляет для них материал. Сообразно с этим он ставит экономической теории определенные требования: дать указания относительно

¹ Ibid., стр. 376.

² «Примечания к Миллю», стр. 662.

нормального экономического устройства, найти формулу наиболее выгодного распределения ценностей¹. И когда Чернышевский утверждает (вслед за «теорией Смита»), что наука должна говорить о благосостоянии общества², то у него ударение стоит здесь не на слове «общество», а на слове «благосостояние»; другими словами, он в таких случаях не только обличает индивидуализм буржуазных теоретиков³, но и главным образом подчеркивает задачу теории: открыть способ рационального устройства общества в интересах большинства. «Основная идея — благосостояние общества, или человечества, или человека» (*ibid.*, стр. 131); здесь уже совершенно ясно, что ударение стоит на слове «благосостояние», и что нашего автора преимущественно интересует момент идеального или должного.

Но, спросит читатель, неужели тот самый Чернышевский, трезвость и реализм которого с такой несомненностью установлены в предыдущих главах, в области экономических исследований изменил своим обычным приемам и взглядам? Неужели этот детерминист и диалектик смотрел на политическую экономию с такой абстрактной и субъективной точки зрения? Не совсем и не всегда, ответим мы. Выше мы выяснили, какие именно условия исторического момента обусловили общее направление экономических исследований нашего автора. Но каждый раз присущие его научной физиономии реалистические черты прорывались наружу — и тогда перед нами встает во весь рост знакомая нам фигура «великого ученого и критика». «Примечания к Миллю», равно как и другие экономические работы Чернышевского, и поражают нас неожиданным и своеобразным сочетанием утопизма и реализма. Последний каждый раз пробивается и проступает на общем утопическом фоне и придает всему узору новый ха-

¹ Вот эта формула: «Наивыгоднейшее распределение ценностей производится такими отношениями и учреждениями, при которых общество идет к соразмерности между количеством ценностей, действительно принадлежащих каждому лицу, и тою долей ценностей, какая приходилась бы на его часть по отношению количества лиц, составляющих общество, к массе ценностей, находящихся в этом обществе» («Капитал и труд», *loc. cit.*, стр. 13). Другими словами, эта формула требует экономического равенства, которое, как автор поясняет дальше, осуществимо лишь при условии принадлежности орудий производства самим трудящимся на началах коллективизма.

² «Примечания к Миллю», стр. 81.

³ На эту сторону вопроса он часто обращает внимание читателя; А. Смита он, между прочим, упрекает в том, что «он обращал все свое внимание на индивидуальную деятельность, заслонявшую от его взгляда другой неизбежный элемент экономической жизни, коллективную деятельность» (*ibid.*, стр. 594—595).

рактар. Поэтому экономические труды нашего автора более, чем какие-либо другие, исполнены противоречий.

Он, например, прекрасно знает, что методологические приемы в политической экономии должны заключаться в дедукции и диалектике. «Господствующая терминология... не удовлетворяет двум коренным приемам метода политической экономии. Первый из этих приемов состоит в том, чтобы рассматривать не готовый, неподвижный факт, а силы, производящие этот факт; рассматривать продукты не как произведенные, а как производимые... Другой коренной прием науки состоит в том, чтобы рассматривать каждое данное положение экономических сил или фактов как самостоятельное целое, не спутывая его с посторонними делу феноменами» (ibid., стр. 446 — 447).

В примечаниях к главам «Труд» и «Капитал» Чернышевский следующим образом определяет задачу политической экономии: «Экономическая теория предоставляет естественным наукам и технологическим их приложениям исследование пригодных к производству предметов и сил внешней природы, а сама занимается только трудом и его отношениями к внешней природе; предметы и силы внешней природы рассматривает она только с той стороны, с которой они бывают продуктами труда, да и тут обращает внимание только на то, как входят они в экономический расчет труда» (ibid., стр. 151). И дальше поясняется, что предметом политической экономии труд является в двух формах — в форме производительной деятельности и в форме капитала, под которым Чернышевский понимает продукты прошлого труда, содействующие дальнейшему производству (об этом ниже).

Здесь Чернышевский уже отделяет круг предметов, входящих в область экономических исследований, от области естествознания и технологии. Могут заметить, что и здесь это разграничение не проведено до конца, что политическая экономия вовсе не занимается «отношениями труда к внешней природе»; что ее задача заключается в исследовании взаимных отношений (т. е. общественных отношений) людей в процессе производства и обмена материальных благ. Но в других местах Чернышевский еще определеннее говорит о предмете экономической науки. Говоря о роли денег в современном обществе, он приводит в пример калмыков, перешедших от натурального хозяйства к денежному, и тут же на возможные возражения, вроде господства среди калмыков насилия или возможного влияния страсти на поступки отдельных лиц, отвечает: «Нельзя же спутывать всего в одну беспорядочную груду. Мы говорим, собственно, об экономических отношениях и только о них», — а именно о том, что деньги служат «все-

общею покупательною силою»¹. И действительно, в большинстве случаев Чернышевский анализирует именно экономические отношения, т. е. взаимные отношения людей в процессе коллективного труда.

Наш автор в теории прекрасно понимает, что вопросы морали не имеют никакого отношения к научному анализу экономических явлений. Так, опровергая мнение о коммунистах как о людях, якобы ставящих печной горшок выше Аполлона Бельведерского, он указывает на то, что бедность и невежество массы представляют плохой фундамент для произрастания цветков культуры, и что развитие наук, искусств, нравственности и всех других прекрасных вещей всегда бывает прямо пропорционально материальному благосостоянию массы, о каковом главным образом и следует заботиться. «Справедлив ли такой взгляд, — спешит он прибавить, — предоставляем судить каждому, как ему угодно. Разбор этих вопросов принадлежит не политической экономии»².

Точно так же, когда пред ним встает вопрос: «с какими целями, по каким соображениям, для каких дел организовано общество во всех странах? Руководились ли народы заботою о наивыгоднейшей обстановке труда, когда давали обществам своим то устройство, которое до сих пор сохраняется в существенных и вернейших чертах?», — он спешит на это ответить, что «подробное исследование об этом — дело истории, а не политической экономии», которая берет «только готовый вывод, даваемый историею» (*ibid.*, стр. 73).

Но эти попытки ограничить предмет своих исследований областью исторически сложившихся экономических отношений независимо от морали и «психологии» разбиваются о тенденцию, навязанную Чернышевскому историческими запросами русской общественной мысли. И по поводу той же роскоши он, предварительно выгнав моральную точку зрения в дверь, через несколько строк впускает ее в окно и начинает рассуждать об убыточности роскоши для общества и в частности для трудящейся массы. Инстинктивно чувствуя, что он привносит в анализ экономических явлений моральную точку зрения, Чернышевский неудачно пытается оправдаться от такого упрека тем соображением, что моралисты недовольны человеческой природою и толкуют об изменении коренных ее стремлений (вроде эгоизма, стремления к благосостоянию и пр.). «Мы говорим вовсе не о том; бескорыстия мы не думаем требовать от людей, изменять их природы не желаем.

¹ *Ibid.*, стр. 453. На следующей странице он поясняет: «Мы здесь имеем ввиду только явления, основанные на экономических законах, а не на других вещах, подобных завоеванию, праву собственности над человеком и т. п.».

² *Ibid.*, стр. 62; то же он говорит о роскоши (стр. 68).

В признании принципа личной пользы за основное побуждение и за последнюю норму всей экономической деятельности человека мы не уступаем ни одному писателю школы Адама Смита и идем гораздо дальше большинства рутинных политико-экономов, которым предоставляем толковать вслед за моралистами о необходимости идеальных стремлений» (ibid., стр. 455).

Это верно. Но применение этого правильного методологического приема не мешало Чернышевскому невольно переходить на вообще ненавистную ему идеалистическую или, если хотите, на публицистическую точку зрения, когда он ставил политической экономии задачу давать гигиенические предписания. «Экономическая наука — медицина экономического быта, — говорит он в главе о кредите. — Но кроме давания лекарств у медицины есть другая, еще более важная обязанность: раз'яснить человеку условия, которые следует ему соблюдать, чтобы не нуждаться в лекарствах. Господствующая теория ограничивается одною патологиею. Гигиеническая часть — важнейшая часть науки — пренебрежена в ней. Она не говорит о том, что происходит в худосочном организме, преданном хмелю диких страстей, завещанных варварскими нравами старины, в организме, продолжающем питаться вредною пищею, приготавливаемою по пред-рассудкам дикого невежества. Господствующая теория или сама слишком трусит истины, или слишком угождает перед дикими капризами, грубыми привычками, нелепою апатиею невежественного быта, призывающего ее на помощь себе. Это нехорошо. Истина должна быть выше всего для науки. Надобно прямо говорить: «ты пичкаешь себя микстурами кредита и других фармацевтических ингредиентов. Этого мало для тебя. Твоя обстановка не подится для здоровья, твой образ жизни нелеп. Измени обстановку, прими другие правила для жизни» (ibid., стр. 465—466).

Таким образом на место политической экономии ставится экономическая политика, понимаемая в смысле социальной гигиены.

3. ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД

С этим взглядом на задачи «теории» тесно связан метод, употреблявшийся Чернышевским и названный им «гипотетическим методом».

Сложность экономических явлений, говорит он, требует применения особого метода. «Статистический факт обыкновенно бывает явлением очень многосложным, зависящим от действия многочисленных элементов, перепутывающихся в нем своими влияниями так, что трудно

бывает без особенных, облегчающих дело способов распознать, какая роль принадлежит в нем известному элементу; кроме того является вопрос: не играет ли этот элемент иной роли в других фактах? — надобно было бы перебрать все те факты, в произведении которых он участвует, а это очень трудно: все факты общественной жизни так перепутаны взаимным влиянием, все элементы ее так разветвляются своими последствиями по всем отраслям ее, что нельзя быть уверену, приняты ли в соображение все факты, на которых отразилось действие известного элемента, не ускользнули ли от внимания некоторые и, быть может, самые важные действия этого элемента» (ibid., стр. 55 и сл.).

Как мы видим, Чернышевский приводит здесь отчасти те самые аргументы, которые обычно приводятся в пользу применения дедуктивного метода в политической экономии. «Когда нам нужно, — говорит он, — определить характер известного элемента, мы должны на время отлагать в сторону запутанные задачи и приискивать такие задачи, в которых интересующий нас элемент обнаружил бы свой характер самым несомненным образом, приискивать задачи самого простейшего состава. Тогда, узнав характер занимающего нас элемента, мы можем уже удобно распознать ту роль, какую играет он в запутанной задаче, отложенной нами до этой поры». Но дальше дедуктивный метод, временно абстрагирующий отдельные моменты сложного явления для более удобного их анализа, а затем вводящий их снова и имеющий ввиду всю совокупность отдельных моментов в их диалектическом развитии и конкретной реальности, — этот метод превращается у Чернышевского в «гипотетический метод», состоящий в оперировании абстрактными числами, далеко не всегда дающими в результате материалы для выводов о действительных отношениях и явлениях.

Чтобы дать читателю некоторое представление о гипотетическом методе, приведем первый же пример у Чернышевского. «Предположим, что общество имеет 5 000 человек населения, в том числе 1 000 взрослых мужчин, трудом которых содержится все общество. Предположим, что 200 из них пошли на войну. Спрашивается: каково экономическое отношение этой войны к обществу? увеличила или уменьшила она благосостояние общества? Лишь только мы произвели такое простейшее построение вопроса, решение становится столь просто и бесспорно, что может быть очень легко отыскано каждым и не может быть опровергнуто никем и ничем. Каждый, кто умеет производить умножение и деление, скажет: до войны каждому работнику приходилось содержать пять человек, а во время войны, когда 200 работников отвлечены от труда, осталось 800 работников; они должны

содержать себя, 4 000 человек остального населения и кроме того еще 200 бывших работников, пошедших на войну, всего 5 000 человек; стало быть, каждому приходится содержать 6,25 человек (иначе говоря, прежде 100 работников содержали 500 человек, теперь содержат 625 человек), — ясно, что положение работников стало тяжелее, и что остальные члены общества не могут быть содержимы в прежнем изобилии. Ясно, что война вредна для благосостояния общества».

Несовсем ясно. О каком обществе идет здесь речь? Если о племени, живущем в условиях родового быта и первобытного коммунизма, или о социалистическом обществе будущего, то пример, пожалуй, относится к делу и убедителен. Но если речь идет, скажем, о современном капиталистическом обществе, то задача гораздо труднее и сложнее, и ее нельзя решить с помощью «четырех правил арифметики». Такое общество распадается на различные классы с противоположными интересами, и война может быть вредна для одних из них и очень выгодна для других (например, для крупных землевладельцев, которые смогут дороже продать свои продукты, для поставщиков, спекулянтов, банкиров, высших военных чинов, для промышленников, которые могут захватить новые рынки, и т. д.). И даже вопрос о пользе или вреде той или иной войны (а не войны вообще) для целого «общества» не так прост. Например, была ли война 1870—1871 гг. выгодна для Германии, а война 1904—1905 гг. для Японии? Несомненно была, ибо интерес капиталистического общества это — интерес его высших классов. Вообще, повторяем, вопросы такого рода гораздо сложнее, чем это представляется при свете гипотетического метода. Здесь необходим анализ конкретных условий и конкретной исторической обстановки. Вспомним, например, что сам Чернышевский говорил о диалектическом методе исследования, когда он в частности ставил вопрос о пользе или вреде войны (см. выше): «вообще нельзя отвечать на такой вопрос решительным образом; надо знать, о какой войне идет речь, ибо все зависит от обстоятельств времени и места»; «отвлеченной истины нет; истина конкретна».

Но из всего предыдущего изложения читатель мог заметить, что пред умственным взором Чернышевского все время предносится общество, построенное на началах коллективной собственности и коллективного производства, и с точки зрения такого общества он и пытается установить свои постоянные экономические законы. К анализу общества, построенного на таких сравнительно простых основаниях, гипотетический метод, пожалуй, подходит, но он не годится для установления действительных законов капиталистического

общества с его сложными отношениями и противоречиями. Для критики и обличения его он подходит гораздо лучше¹.

Для научного анализа действительных отношений этот метод арифметических выкладок может пригодиться лишь в качестве иллюстраций к положениям, полученным путем точного исследования реальных экономических явлений. И во многих случаях против него ничего нельзя было бы сказать, если бы вопросы при этом слишком не упрощались, и если бы автор смотрел на него только как на вспомогательный прием, имеющий целью помочь читателю следить за ходом мысли, но не претендующий на самостоятельное значение. Но, к сожалению, Чернышевский, исходя из положения, что «предмет (экономической) науки — количества, подлежащие счету и мере, понимаемые только через вычисление и измерение», придавал своему методу слишком решающее, чтобы не сказать — абсолютное значение. «Политико-экономические вопросы решаются посредством гипотетического метода с математическою достоверностью, — говорит он, — лишь бы только были поставлены правильно, лишь бы только обращены были в уравнения верным образом. Решение получается в словах увеличивается и уменьшается, т. е. польза и вред, выгода и убыток» (ibid., стр. 58).

Итак, тенденция того или иного экономического явления определяется по мнению Чернышевского с помощью гипотетического метода. Но если мы хотим узнать точный размер или степень вредного или полезного действия исследуемого элемента на данное общество в данном случае, то здесь мы должны уже призвать на помощь историю и статистику с их положительными цифрами и фактами. Гипотетический метод оказывается дедуктивным методом, упрощенным до механического выражения самых общих и отвлеченных тенденций; он настолько сдирает плоть с конкретных явлений и отношений, что в конце концов остаются голые цифровые абстракции,

¹ На эту сторону «гипотетического метода» указывает и Плеханов (т. VI, стр. 78), который пишет: «Для достижения этой цели (т. е. разоблачения невыгодности капиталистического строя для трудящихся масс. — Ю. С.) нельзя было придумать приема доказательства более удобного, чем тот, к которому так охотно прибегал Чернышевский. Гипотетический метод в том виде, как он понимал его, не имеет ровно никакого значения как метод исследования, но на известной ступени развития социализма он был самым лучшим методом раз'яснения (все равно себе или другим) социалистических учений. Поспорить с ним в убедительности могли только свойственные Фурье сатирические приемы».

Не надо также упускать из виду, что этот прием позволял Чернышевскому проводить социалистические идеи под носом цензуры.

дающие столь же абстрактные и неубедительные выводы. «Имея математический характер, гипотетический метод в сущности всегда действует цифрами, — говорит наш автор; — но часто уравнения, составляемые по его правилам, так немногосложны, что писатель предоставляет самому читателю вообразить в своем уме какие-нибудь цифры, а сам ограничивается только неопределенными словами «больше» или «меньше». Например: чем больше пропорция работников из взрослых мужчин в числе населения, тем благосостояние общества значительнее»¹.

К «историческому методу» Рошера и К^о Чернышевский, как и следует, относился совершенно отрицательно, вполне справедливо разоблачая его сикофантский и ненаучный характер. Вместо анализа отношений капиталистического общества Рошер нагромождает плохо переваренные пруды исторического материала, по большей части совершенно излишнего для раз'яснения вопроса и превращающего теорию экономической науки в собрание анекдотов из истории экономического быта. Для того чтобы выяснить законы ценности или ренты в капиталистическом обществе, недостаточно привести без разбору и критики сотни понадерганных из разных книг фактов из истории полинезийцев, мидян, египтян, греков и римлян². Но верно констатируя ошибки Рошера, Чернышевский не сумел стать в этом вопросе на вполне правильную позицию. Признавая, что «теория предмета и история предмета — науки, чрезвычайно тесно связанные между собою», он в то же время полагал, будто мысль, что история предмета должна служить основанием для его теории, применима только к отжившим

¹ «У Чернышевского, — говорит Русанов в статье «Чернышевский в Сибири» («Русск. Богатство» 1910, № 7, стр. 76), — ум носил очень отвлеченный характер. И в этом была его сила. Эта сила абстракции сказывалась во всех вопросах, которые занимали в данный момент мысль Чернышевского. Она ярко обнаруживается не только в его «Примечаниях». Она поражает читателя и в его замечательных статьях, посвященных общине. Нечего говорить, в какой степени превосходны эти работы именно с научной точки зрения. Чернышевский дает как бы алгебру вопроса, исчерпывающую общими формулами все частные случаи. И неудивительно, если позднейшие аналогичные исследования, например, г. Посникова в его «Общинном землевладении» (Одесса, 1878 г.), являются как бы детальным очерчиванием тех контуров аргументации, которые были неизгладимыми чертами прорезаны самим Чернышевским».

² «Ну, скажите, сделайте одолжение, что кроме своей охоты казаться ученым обнаружу я, начав историческим образом доказывать, или исследовать, или проверять, положим, тот экономический закон, что чем урожайнее год, тем дешевле бывает хлеб, а при неурожае цена поднимается? — кажется, можно и знать и доказать это без греческой истории».

эпохам. Правда, он возражает, собственно, против мнения, что «теория предмета должна выводиться исключительно из истории предмета». На это он справедливо указывает, что при изучении явлений, имеющих постоянный характер, кроме истории есть другой источник для теории предмета. «Для наук, излагающих не мимолетные явления, а вечные стороны человеческой жизни, этот второй источник — наблюдение над живой действительностью — гораздо важнее первого, т. е. исторических фактов»¹.

После всего вышесказанного нас не удивят слова о науках, излагающих вечные стороны человеческой жизни. Именно потому, что Чернышевский стремился открыть вечные, присущие всем эпохам экономические законы, он с легким сердцем забраковал исторический метод (правда, извращенный Рошером), не поставивши себе вопроса: а нельзя ли сочетать исторический метод (без кавычек) с методом дедуктивным для более точного анализа существующих отношений? Ведь исторический метод может выражаться не только в бессмысленном нагромождении исторических фактов à la Рошер для доказательства той истины, что дважды два=четыре, он может послужить могучим орудием исследования, освещающим существующие отношения с точки зрения их диалектического развития. «Экономисты объясняют, каким образом среди данных экономических отношений происходит процесс производства; чего они, однако, нам не объясняют, это того, каким образом возникают эти отношения, т. е. каково порождающее их историческое движение»².

Один дедуктивный метод здесь бессилён. Сам по себе он не может осветить существующие отношения с точки зрения их зарождения, роста, развития и неминуемого исчезновения. Для этого необходимо плодотворное сочетание обоих методов, вроде того, например, как это имеет место в работах Маркса.

Гипотетический метод Чернышевского вызывал много нареканий. Мы уже видели выше, что во многом эти нарекания справедливы, и что метод Чернышевского вряд ли может быть признан удачным и, главное, полным, адекватным методом научного исследования диалектически развивающихся экономических отношений. Но если принять во внимание отмеченный нами выше характер момента, тогдашние потребности русской общественной мысли и навязанную ими Чернышевскому задачу, то дело несколько меняется, и гипотетический метод полу-

¹ Рецензия на «Начала народного хозяйства» В. Рошера. «Совр.» 1861, № 4 («Соч.», т. VIII, стр. 135).

² «Нищета философии», стр. 98.

чает известное историческое оправдание: слабый в чисто научном отношении, он окажется исторически законным и целесообразным. Как мы видели, в то время дело шло не столько о научном анализе законов капиталистического строя, лишь начинавшего прокладывать себе дорогу в России, и даже не столько о научном обосновании социализма, как неизбежного результата капиталистической эволюции, сколько о дискредитировании самого принципа буржуазного уклада и об указании возможности другого, социалистического пути. Научное обоснование социализма — это уже вторая стадия критики буржуазных отношений, и до нее русская жизнь дошла лишь в 80-х годах, когда русский капитализм из потенции превратился в несомненный и основной фактор русской общественной жизни.

Вот почему Чернышевского так занимало доказательство «пользы» и «вреда», «выгодности» и «убыточности» того или иного экономического явления. Для выяснения таких вопросов перед русской публикой, начинавшей тогда с азов экономической науки, гипотетический метод с его цифровыми выкладками, рельефно обнаруживавшими «вред» господствующих отношений для массы и «пользу» организованного коллективного хозяйства, весьма и весьма годился. Столь же удобен он был и для выяснения ненормальности и нерациональности буржуазных отношений ¹.

Эти соображения необходимо иметь ввиду для правильной исторической оценки гипотетического метода. Помещавши Чернышевскому довести до конца анализ реальных отношений капиталистического общества и ограничив чисто научное значение многих его положений и выводов, он, с другой стороны, помог ему запечатлеть в сознании читателей социалистические тенденции и таким образом сыграл положительную роль в развитии нашей общественной мысли ².

¹ Кстати. Один из главных упреков по адресу гипотетического метода заключался в том, что его арифметические выкладки совершенно фантастичны и произвольны. Но в действительности это не совсем и не всегда верно. Вот, напр., в статье о Studien Гакстгаузена Чернышевский привел примерный расчет для доказательства той мысли, что для земледельческой массы общинное землевладение выгоднее фермерского хозяйства. Его противник, И. Вернадский, заявил, что этот расчет совершенно фантастичен. И что же оказалось? В следующей статье «О поземельной собственности» Чернышевский доказал, что «примерный расчет» основан на данных, содержащихся в известном труде Тенгоборгского «О производительных силах России» (см. «Соч.», т. III, стр. 427 и сл.).

² Проф. А. Посников в статье «Чернышевский и его комментарии к «Политической экономии» Милля», помещенной в «Юбилейном сборнике

Гипотетический метод, который впоследствии подвергся суровой критике, имел в свое время огромный смысл, когда в период либеральных увлечений «эпохи великих реформ» быстро насаждались в России буржуазно-капиталистические отношения, и когда идеологам трудящихся нужно было дискредитировать идею частной собственности и учения буржуазных экономистов, разоблачить недостатки капитализма и популяризировать в широких слоях демократии основные положения коммунизма, — словом, ярко и наглядно уяснить разницу между национальным богатством и народным благосостоянием. Ибо всей своей работой в области экономических исследований Чернышевский стремился популяризировать в сознании передовых элементов русского общества ту мысль, которую Маркс формулировал следующими словами Дестю де Траси: «Бедные нации суть те, где народу хорошо живется, а богатые нации суть те, где народ обыкновенно беден»¹.

Оригинальную, но по существу довольно остроумную оценку типотетического метода дал третьестепенский автор «Записки о литературной деятельности Чернышевского», вероятно, М. Касторский (о ней см. во втором томе). Вот что он там говорит об этом методе.

«Как вид, как подробность в приложении методы отрицательной, является метода гипотетическая или предположительная».

«В работе отрицания, конечно, школа Чернышевского встретила целый живой мир, восточный и западный, прошедший и настоящий, верящий в духовность и благоустройство. Особенно законы, ограждавшие и ограждающие собственность и наследство, повсюдны. Для этой

Литературного фонда», Спб. 1910, пишет (стр. 460—461): «Как бы ни были разнообразны взгляды на достоинство отдельных замечаний Чернышевского, достаточно знакомства с одной главой «Гипотетический метод», чтобы признать высокую научную заслугу автора, стоявшего за верный прием исследования». Указав далее, что русская публика знакомилась с этими взглядами в то время, когда в Германии на университетских кафедрах выдвигались преимущественно представители исторической школы, а голоса Родбертуса и Маркса еще едва слышались, Посников продолжает: «Нет никакого сомнения, что высказанное Чернышевским в главе «Гипотетический метод» нуждается в более подробном развитии и в некоторых существенных оговорках... Для большей ясности, конечно, следовало бы указать на те отделы экономической науки, где необходимо применение приема *a priori*, и на те, где наоборот успех исследования требует иного метода. Но ведь и в настоящее время это требование исполняется далеко не всегда, и теперь случается слышать о необходимости пользоваться методом дедуктивным в экономической науке вообще».

¹ «Капитал», т. I, стр. 611.

специальной борьбы с собственностью, для убеждения людей в необходимости нового распределения изобретен новый прием — гипотетический или предположительный.

«Особенность его есть следующая.

«Обыкновенно политико-экономы для своих выводов пользуются статистическими данными, но факт статистический есть произведение истории, он сотворился жизнью народа при господстве известной веры, законов, правления, обычаев. Поэтому, принявши статистическое данное, автор должен был принимать и факт исторический, и его всякого деятеля.

«Но этого-то наши экономисты и несогласны делать по закону отрицания. Для сего, чтобы провести свою мысль, они учат, что фактов статистических принимать не нужно, а нужно предположить известное состояние людей на основании мысли (фантазии) автора. Так, они предполагают (вне существующего мира) известное место с таким-то народонаселением, мужским и женским, с таким-то количеством рабочих сил, времени и выводят потом, конечно, те же результаты, какие сначала уже были в их мысли, и которые они как будто бы вывели на основании предположительных данных. «Ваши статистические данные — не суть данные чистые, одной причиной произведенные, а произведены они многими причинами; а наши предположительные данные суть данные чистые, верные, стоит их только увеличивать или уменьшать». На это можно ответить, что это-то и доказывает фантастичность данных ваших: значит, в жизни действуют многие факторы, вдруг и постоянно, и отклоняться от них мы права не имеем.

«Этим гипотетическим методом Чернышевский пользовался постоянно в своих замечаниях на политическую экономию Милля и с помощью его выводил свои результаты, которым недоставало одной реальной действительности»¹.

Таким образом III Отделение было за исторический метод в политической экономии, и Чернышевскому пришлось за гипотетический метод держать ответ...

Выяснив на предыдущих страницах цели и метод Чернышевского в области политической экономии, мы можем теперь не особенно подробно останавливаться на критической оценке его разработки отдельных экономических вопросов. Ее сильные и слабые стороны обусловлены общим характером тех задач, которые он, как мы видели, ставил «новой теории».

¹ Сенатское дело о Чернышевском, т. I, лл. 71—73; ср. Лемке — «Политические процессы», стр. 377—378.

4. Производство. Труд и капитал

Свой анализ Чернышевский начинает с производства (книга I у Милля), далее он говорит о распределении (книга II) и только затем об обмене (книга III у Милля). Таким образом он приступает к анализу производства, еще не успевши выяснить понятие стоимости и не исследовав свойств товара, этой «элементарной формы» капиталистического способа производства по выражению Маркса, который поэтому и начинает свое исследование с анализа товара. Конечно, Чернышевский был вынужден к этому самым характером своей работы, которая ведь и состояла-то в переводе трактата Милля с примечаниями переводчика к отдельным главам. Но дело в том, что Чернышевский не замечает этой ненормальности, и очень может быть, что если бы он писал самостоятельный экономический трактат, он также начал бы с производства, отлагая анализ обмена на конец — подобно большинству учебников и компендиумов того и последующего времени.

Это потому, что, как мы видели, он хотел проанализировать законы производства вообще, независимо от той или иной исторической их формы; точнее сказать, что он пытался дать не теорию капитализма, а теорию коммунизма. В этом анализе его, пожалуй, не столько интересовало детальное исследование законов капиталистического производства, сколько их изобличение и установление законов «рационального», т. е. социалистического производства. Признавая, с одной стороны, что производство есть «факт, который лежит в основе всего»¹, он, с другой стороны, указывал, что производство интересует его главным образом как подготовительная ступень к распределению. «Производство имеет своей основой распределение ценностей, потому и основной предмет исследований политической экономии находится в теории распределения; производство занимает ее только как приготовление материала для распределения»².

Смитовскую теорию, т. е. теорию товарного производства *par excellence*, он упрекает за то, что она «придает чрезвычайную и исключительную важность обмену», что она на самые законы производства смотрит сквозь призму меновых отношений. «Обмен в ней, как будто нечто самостоятельное, как будто нечто составляющее конечную цель всех забот производителя, властвует и над производством, и над распределением»³.

¹ «Примечания к Миллю», *loc. cit.*, стр. 29.

² «Капитал и труд», *loc. cit.*, стр. 14.

³ «Примечания к Миллю», стр. 28.

Но в капиталистическом обществе дело обстоит именно таким образом. Точнее, производство, обмен и распределение связаны в нем теснейшим образом, и изолировать их друг от друга нельзя без ущерба для научного анализа.

Только потому, что ум его был во власти мысли о возможности открыть общие, постоянные законы производства, Чернышевский мог согласиться с Миллем в том, будто «принципы только одной части экономического быта, именно производства, налагаются на человека с необходимостью физических законов», тогда как остальные элементы экономического быта, напр., хотя бы то же распределение, зависят от воли людей и «вполне подлежат власти исторических обстоятельств»¹. Но почему же законы производства имеют для человека значение чуть ли не физических законов? Да потому, что законы производства понимаются здесь как законы сил природы, якобы стоящих вне власти человеческой. В подтверждение этой мысли Милль, с которым Чернышевский соглашается (для того, чтобы резче подчеркнуть исторический характер и ненормальность существующих форм распределения), приводит следующие соображения: «Все производимое человеком должно быть производимо теми способами и под теми условиями, какие налагаются качествами внешней природы и внутренними свойствами физического и умственного устройства самого человека. Хочет или не хочет человек, но размер его производства все равно будет определяться размером его предварительного сбережения и при данном размере сбережения будет пропорционален энергии человека, его искусству, достоинству его орудий и благоразумному пользованию выгодами соединенного труда. Хочет или не хочет человек, но, удвоив количество труда, он не получит с данного пространства земли удвоенного количества пищи, если не произойдет улучшения в земледельческом процессе. Мы не можем изменить коренных качеств ни материи, ни мысли, а можем только с большим или меньшим успехом употреблять эти качества на произведение феноменов, нужных для нас».

«Человек», «его производство», «его сбережение», «достоинство его орудий» — нечего сказать, хорош анализ капиталистического производства! Мы нарочно привели довольно длинную цитату из Милля, чтобы читатель видел, с какими странными, чтобы не сказать более, положениями Милля соглашается наш обыкновенно столь умный и проницательный автор под влиянием своих *idées fixes*: желания выявить вечные законы производства *an sich* и стремления обличить ненормальные стороны господствующей системы

¹ «Примечания к Миллю», стр. 307.

распределения. Ведь в других случаях он сам опровергает эту мысль буржуазной экономии своими собственными рассуждениями, например, по поводу учения Мальтуса.

Способы производства и средства производства, говорит Маркс, подвержены непрерывным переворотам, революциям. История человечества — это ряд переворотов в отношениях и «принципах» производства, причем изменяются не только взаимные отношения людей в процессе производства, но и технические его условия под влиянием все большего подчинения сил природы силе общественного труда. Особенно ясно это видно на эволюции капиталистической буржуазии, прекрасно очерченной в «Коммунистическом Манифесте» (этот очерк слишком известен, чтобы здесь его цитировать). «При производстве люди воздействуют не только на природу, но и друг на друга».

В зависимости от того или иного характера средств производства, подлежащих непрерывному изменению, а вовсе не вечных, изменяются условия, при которых люди обмениваются своей деятельностью и участвуют во всем процессе производства. «С изобретением нового военного оружия необходимо должна была измениться вся внутренняя организация армии, должны были измениться те отношения, на основании которых отдельные личности спланиваются в армию и могут действовать как армия, равно как и взаимные отношения различных армий». Общественные отношения, при которых люди занимаются производством, или общественные отношения производства изменяются, следовательно, преобразуются с изменением и развитием материальных средств производства, производства производительных сил. «Отношения производства в своей совокупности образуют то, что называется общественными отношениями, обществом, образуют общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, общество с своеобразным, отличительным характером. Античное общество, феодальное общество представляют собою такие совокупности отношений производства — совокупности, каждая из которых вместе с тем отмечает особенную ступень развития в истории человечества»¹.

Если бы Чернышевский взглянул на производство с этой точки зрения (к которой он был в сущности подготовлен всем ходом своего умственного развития), то он обратил бы главное внимание не на вечные «принципы» производства, якобы налагающиеся на человека с необходимостью физических законов, а на взаимные отношения

¹ Маркс — «Наемный труд и капитал», стр. 50, 33 и 34.

людей в процессе производства, исторически изменяющемся. Ибо принципы производства, которых он искал, составляют предмет ведения технологии, физики, химии, агрономии и пр.; общественные же отношения производства, в частности в данном случае капиталистические производственные отношения, составляют предмет политической экономии. В действительности Чернышевский в большинстве случаев, руководимый верным инстинктом, собственно анализировал именно «отношения производства», но угол зрения, под которым он их рассматривал, связывал его по рукам и ногам и часто мешал продуктивности и научности его выводов.

В своем анализе законов производства Чернышевский с особым вниманием останавливается на рассмотрении вопроса о труде производительном и непроизводительном, потреблении производительном и непроизводительном. Мы также должны внимательно присмотреться к его рассуждениям по этому вопросу, ибо, не поняв их сущности, трудно нащупать узел всей вообще экономической системы нашего автора. В этом смысле характерен самый заголовок параграфа, посвященного этому предмету: «Выгодное и убыточное для общества производство и потребление». Итак, мы должны заранее приготовиться к тому, что речь будет идти о постоянных законах производства, другими словами — о рассмотрении того, что должно быть и «требуется теорией», т. е. теорией общества, построенного на коммунистических основах.

Чернышевский начинает с разбора понятий производительного и непроизводительного труда. Этот вопрос был поставлен уже Адамом Смитом. Подробно анализируя взгляды Смита на этот вопрос, Маркс¹ показывает, что производительным трудом в смысле капиталистического производства является наемный труд, который, будучи обменен на переменную часть капитала, не только воспроизводит эту часть, т. е. стоимость своей собственной рабочей силы, но кроме того создает для капиталиста прибавочную стоимость. С точки зрения законов капиталистического общества «производителен только труд, производящий капитал». К производительным рабочим принадлежат, конечно, все, кто так или иначе участвует в производстве товаров, начиная с собственно рабочего и кончая директором, инженером. Таким образом согласно точке зрения капиталистического производства производительным трудом будет труд, который обменивается непосредственно на капитал, а непроизводительным — труд, который обменивается не на капитал, но непосредственно на

¹ «Теории прибавочной стоимости», вып. I, Спб. 1906, стр. 200 и сл.

доход, т. е. на заработную плату, прибыль, а также на те различные рубрики, которые входят в прибыль капиталиста, т. е. на процент и ренту. В этом определении материальные формы труда, его конкретный характер и потребительные свойства его продукта не приняты во внимание; оно взято из определенной общественной формы, из тех общественных отношений производства, в которых этот труд осуществляется. Так что целый ряд категорий труда, с житейской точки зрения признаваемых непроизводительными (Маркс приводит пример актера, клоуна и пр.), с этой точки зрения является производительным, поскольку представители их работают на капиталиста-предпринимателя и создают для него прибавочную стоимость.

Но различие производительного и непроизводительного труда может иметь еще и другой смысл, также устанавливаемый Смитом. Производительным может быть назван такой труд, который или производит товар, или непосредственно создает, обучает, развивает, поддерживает, воспроизводит рабочую силу; личные же услуги с этой точки зрения будут отнесены к непроизводительному труду. Другими словами, здесь различные категории труда рассматриваются уже под углом особого назначения и потребительной стоимости продуктов труда. «Ясно, — пишет Маркс, — что в той мере, в какой капитал подчиняет себе все производство, стало быть, в той мере, в какой товары производятся на продажу, а не для непосредственного потребления, и развивается параллельно этому производительность труда, — все сильнее и сильнее становится различие между производительными и непроизводительными родами труда, потому что первые за немногими исключениями будут направлены на производство товаров, а вторые почти исключительно будут сводиться к личным услугам. Класс первых будет поэтому производить непосредственно-вещественное, из товаров состоящее богатство, все товары, поскольку они состоят не из самой рабочей силы». По этому определению производительным окажется тот труд, который производит товары и фиксируется в материальном продукте, а непроизводительным — тот, который выполняет личные услуги и не производит товаров. При такой классификации мы, по замечанию Маркса, далеко уходим от формального определения, от определения производительных и непроизводительных рабочих их отношением к капиталистическому производству. А так как товар является элементарной формой буржуазного общества, т. е. общества, находящегося еще на стадии простого товарного обмена, то определение производительного труда, производящего товар, более элементарно, чем определение его, как труда, производящего капитал.

Чернышевский принимает классификацию А. Смита, но не придает ей в той форме, какую она получила у Смита, особенно важного значения. Гораздо более важным он считает различие между производительным и непроизводительным потреблением. Казалось бы, что с точки зрения критика-обличителя капиталистических отношений он мог удовлетвориться делением труда на производительный, создающий материальные ценности, и непроизводительный, таких ценностей не создающий, как, напр., большинство «услуг», следы которых исчезают вместе с их осуществлением. Но наш проницательный обличитель правильно с своей точки зрения усмотрел, что эта классификация оставляет лазейку для защитников существующего строя. Она, по его меткому замечанию, раз'единяет на разные разряды такие роды труда, существенный характер которых одинаков, и соединяет в один разряд такие роды труда, которые не имеют между собою ничего общего по существенному назначению. Например, поясняет он, труд живописца или скульптора по этому делению будет называться производительным только оттого, что картина и статуя — вещи прочные и материальные, а труд актера и музыканта — непроизводительным; между тем «по всем коренным, важным для общества признакам все эти люди и их произведения составляют один разряд». Напротив этой же классификацией к одному разряду с живописцем и скульптором относятся землекоп и водовоз, тогда как по существенному характеру их труда между ними очень мало общего.

Иное дело классификация потребления на производительное и непроизводительное: она и практически важна для общества, и теоретически логична ¹.

«Основания этих классификаций, употребляющих один и тот же термин, совершенно различны: в труде основанием принимается внешний, случайный признак, материальность или долговечность продукта; в потреблении — н а з н а ч е н и е, смысл, экономическая роль того или другого потребления».

Но замена термина «труд» термином «потребление» еще не удовлетворяет Чернышевского: признаком производительного потребления, говорит он, служит то, что оно имеет целью увеличение средств к производству и является источником нового производства; но то же самое применимо и к производительному труду. Поэтому он отбрасывает также термины «производительный» и «непроизводительный», заменяя их новыми понятиями, соответствующими, по его мнению, сущности дела, а именно словами: «выгодный» и «убыточный». Для кого?

¹ «Примечания к Миллю», стр. 64 и сл.

Разумеется, для общества, нации, человеческого рода. И таким образом искомый и нужный для целей нашего автора критерий найден.

Путь к увеличению материального благосостояния — производство; поэтому выгодно то, что ведет к увеличению производства. Некоторые роды труда имеют характер абсолютно выгодный: таковы хлебопашество и вообще производство предметов первой необходимости, а также труд воспитания и образования, увеличивающий материально благосостояние общества. Другие роды труда имеют характер абсолютно убыточный: таково всякое занятие, уничтожающее физические, умственные или нравственные силы в людях: такова, например, война. Но кроме того есть обширный класс занятий, которые могут быть выгодны или убыточны для общества, смотря по тому, какой степени материального благосостояния оно достигло, и каков размер средств, которыми оно располагает. Например, труд, употребляемый на тканье тонкого сукна в обществе, которое не располагает достаточным количеством простого сукна, был бы убыточен; но когда потребность в простом сукне удовлетворена, общество может без убытка для себя употребить излишек своего времени на производство тонких сортов сукна. Сюда в частности относятся и предметы роскоши. После вышесказанного совершенно ясно, что производство предметов роскоши в то время, когда не удовлетворены более настоятельные потребности общества, т. е. массы, Чернышевский осуждает с точки зрения установленной им классификации.

Последнюю можно упрекнуть в том, что она слишком абстрактна, что она не взята из определенных общественных отношений и не относится не только к капиталистическому, но и к простому товарному обращению. И это будет верно: действительно, в ней определения не только не построены с точки зрения производства капитала или товаров, но даже не имеют ввиду производства вообще материальных продуктов как таковых, ибо многие категории труда, затраченного на материальное производство, с ее точки зрения должны быть признаны непроизводительными, если они не направлены на производство предметов первой необходимости для массы, предметов общепольных. Могут сказать, что эта классификация очень мало дает для анализа действительных отношений и очень удобна для критики и осуждения существующего порядка.

Но Чернышевскому последнее именно и нужно. Ему нужно такое определение, которое сразу и ясно вскрывало бы основной порок современного производства — игнорирование насущных потребностей массы — и вместе с тем давало бы общий, постоянный принцип классификации различных разрядов труда с точки зрения общества, т. е. мас-

сы или большинства. Этой цели его формула соответствует как нельзя лучше. И он спешит сделать из нее надлежащие выводы.

Классификация труда по его выгодности или убыточности для общества, говорит он, далеко не совпадает с обыкновенным делением труда на производительный и непроизводительный. Некоторые разряды непроизводительного труда (т. е. труда, продуктом которого не бывают материальные предметы) чрезвычайно выгодны, напр., труд, обращенный на умственное и нравственное усовершенствование человека. Зато очень многие разряды производительного труда убыточны для общества ¹, напр., труд, обращенный на производство предметов роскоши, и вообще всякий труд, вредный для физических, умственных или нравственных сил человека, занимающегося им. Напротив, это деление труда на выгодный и убыточный тесно связано с делением потребления на производительное и непроизводительное. По внутренним своим качествам, по существенному своему характеру, продукты выгодного труда (развитые физические, умственные или нравственные силы человека, хороший общественный порядок, орудия и материалы производства и пр.) должны обращаться на производительное потребление. Достигают ли они этого назначения, зависит от разных условий и обстоятельств, из которых важнейшим и постоянным являются общественные учреждения («законы»). Производительное потребление, ведущее к усилению производства, действительно выгодно для общественного благосостояния; непроизводительное потребление составляет для общества чистую потерю ².

Эти положения давали Чернышевскому возможность критиковать капиталистический строй с точки зрения его выгодности и убыточности для общества и рисовать перед читателем перспективы иного строя, в котором производительное потребление осуществляется в полной мере.

С той же точки зрения Чернышевский подходит и к анализу капитала.

«Капиталом, — говорит он, следуя за Смитом, Мальтусом и Рикардо, — называются те продукты труда, которые служат средством для нового производства» ³. Сюда он относит пищу, жилище, одежду, топливо, сырье, материалы, орудия («от какой-нибудь палки, служащей

¹ Ясно, что под «обществом» Чернышевский в данном случае понимает совокупность эксплуатируемых или, лучше сказать, будущее коммунистическое общество, теорию которого он и пытался построить.

² «Примечания к Миллю», стр. 148 и сл. — Ср. «Капитал и труд», *loc. cit.*, стр. 31 и «Тюрго», *loc. cit.*, стр. 223.

³ «Примечания к Миллю», стр. 135 и сл.

дикарю на охоте, от камня, которым он бьет зверя, от рыбьей кости, которая заменяет ему уду, до самых сложных машин»), пути сообщения («насколько они созданы или поддерживаются трудом»), силы природы, поскольку деятельность их или усиление этой деятельности обусловлены человеческим трудом. Итак, первое свойство капитала — производительное потребление. Отсюда ясно, что «не бывают капиталом те продукты, которые по своей природе не имеют этого назначения и должны потребляться непроизводительно». Из этого следовало бы, что капиталом нельзя признать все предметы личного потребления; и если бы Чернышевский ответил на вопрос так, то он не отошел бы от правильного понимания, к которому приближался всем ходом своего рассуждения. Но он пытается дать определение понятия «капитал» независимо от той или иной (в данном случае капиталистической) формы общества. Для него капиталом являются все продукты, которые нужны для «производительного труда» — будет ли это в капиталистической Англии или в первобытной общине, не знающей разделения труда и обмена. «Капиталом не служат предметы роскоши», говорит он; но и «предметы первой необходимости далеко не все входят в капитал»: например, поясняет он, часть пищи, производимой страной, потребляется производительными работниками и их семьями: эта часть — капитал; другая часть потребляется людьми, не занятыми производительным трудом или вовсе ничем незанятыми: эта часть не служит капиталом¹. Один и тот же дом может в одно время служить помещением для работников — в это время он капитал; в другое время может служить помещением для непроизводительных жителей — в это время он не капитал.

Итак, все дело в том, на производство каких предметов употребляются продукты прошлого труда: если на производительные цели, на выгодное для общества производство, на производство предметов первой необходимости, вообще предметов, полезных для массы, то это будет капитал. В противном случае продукты прошлого труда не будут капиталом. Капитал в научном смысле слова, поясняет наш автор, совершенно не то, что деньги; деньги сами по себе вовсе не составляют никакого капитала. Но деньги могут сделаться капиталом в зависимости от желания их владельца. «Деньги служат выражением покупательной силы; а желанием покупателей определяется, чем будут заняты рабочие силы, ими покупаемые, и какое назначение получают про-

¹ «Если работнику в сырую погоду нужно выпить чарку водки, эта выпитая им чарка — капитал (без нее он работал бы менее энергично, и продукта получилось бы меньше)». «Примечания к Миллю», стр. 104.

дукты, производимые работниками». Здесь Чернышевский вплотную подходит к вопросу об общественном значении капитала, но под влиянием своего деления труда на убыточный и выгодный снова отходит от правильного ответа на поставленный вопрос. Оказывается, что деньги превратятся в капитал, если купленные ими рабочие силы будут обращены на производство предметов первой необходимости.

Здесь от общественного характера капитала, этого исторического понятия *par excellence*, почти ничего не осталось.

«Капитал есть общественное отношение производства, а именно буржуазное отношение производства, отношения производства в буржуазном обществе. Разве составные части капитала — жизненные припасы, орудия труда, сырые материалы — произведены и накоплены вне данных общественных условий, вне определенных общественных отношений? Разве не при тех же данных общественных условиях, не при тех же определенных общественных отношениях употребляется он на новое производство? И разве не этот именно определенный общественный характер превращает в капитал продукты, служащие для нового производства?»¹.

Капитал состоит не просто из жизненных припасов, орудий труда и сырых материалов, словом, не просто из материальных продуктов: он состоит настолько же из меновых стоимостей, т. е. общественных величин, насколько и из материальных продуктов. Капитал останется таким же капиталом, возьмем ли мы вместо шерсти хлопчатую бумагу, вместо предметов первой необходимости предметы роскоши, если только все эти предметы имеют одинаковую меновую стоимость. «Тело капитала может постоянно изменяться, не подвергаясь этим самого капитала ни малейшему изменению»².

Но если всякий капитал есть сумма товаров, меновых стоимостей, то далеко не всякая сумма товаров, меновых стоимостей, есть капитал. Известное количество товаров, т. е. меновых стоимостей, превращается в капитал в том случае, когда он выступает в качестве самостоятельной общественной силы, т. е. одной части общества, владельцев условий производства, сохраняясь и умножаясь при этом путем обмена на непосредственную, живую рабочую силу. Капитал предполагает систему наемного труда. Существование класса, лишённого орудий:

¹ Маркс — «Наемный труд и капитал», стр. 34 и сл.

² «Машины так же мало экономическая категория, как и вол, впряженный в плуг; они представляют лишь производительную силу. Современная промышленная мастерская, основанная на применении машин, это — общественное отношение производства, экономическая категория» («Нищета философии», стр. 123—124).

производства и не имеющего ничего, кроме способности к труду, есть необходимое предварительное условие существования капитала. Капитал предполагает наемный труд, а наемный труд предполагает капитал: они обуславливают и создают друг друга.

«Только господство накопленного, прошедшего, овеществленного труда над непосредственным, живым трудом превращает накопленный труд в капитал».

Отличительный признак капитала заключается не в том, что накопленный труд служит живому труду средством для нового производства, а в том, что живой труд служит накопленному труду средством для сохранения и увеличения его стоимости. В обмен за свою рабочую силу рабочий получает средства к жизни, а капиталист в обмен за рабочую плату получает производительную деятельность рабочего, творческую силу, благодаря которой рабочий не только возмещает потребленную им стоимость, но и придает накопленному труду большую стоимость, чем этот труд имел прежде. Поэтому современный наемный рабочий производит не просто тот или иной материальный продукт, — он производит капитал.

Вот почему, вопреки мнению Чернышевского, деньги являются капиталом не только тогда, когда обращают купленную ими рабочую силу на производство полезных для массы предметов, но и вообще всегда и постольку, когда и поскольку они покупают рабочую силу для дальнейшего производства, безразлично какого, лишь бы это производство сохраняло и увеличивало первоначальный аванс. Товарное обращение есть исходный пункт капитала, а деньги, последний продукт товарного обращения, являются первой формой проявления капитала¹. Чтобы убедиться в этом, не нужно даже обращаться к истории, к тому периоду, когда капитал противопоставлялся земельной собственности в форме денег, в форме торгового и ростовщического капитала. История эта, говорит Маркс, ежедневно разыгрывается у нас на глазах. Каждый новый капитал при своем первом появлении на сцене, т. е. на товарном, рабочем или денежном рынке, неизменно является в виде денег, — денег, которые путем определенного процесса должны превратиться в капитал. Процесс этот заключается в том, что денежная стоимость путем купли и продажи дает в результате этого оборота некоторое приращение, прибавочную стоимость. «Таким образом первоначально авансированная стоимость не только сохраняется

¹ «Капитал», т. I, стр. 111 и сл. — «Деньги — не вещь, но общественное отношение... Это отношение есть лишь единичное звено во всем сцеплении экономических отношений и, как таковое, теснейшим образом связанное с этой цепью» («Нищета философии», стр. 76—77).

в обращении, но и изменяет свою величину, присоединяет к себе прибавочную стоимость или самовозрастает. И как раз это движение превращает ее в капитал».

Как сознательный носитель этого движения, владелец денег становится капиталистом. Цель его деятельности — получение прибавочной стоимости, т. е. приращения первоначально авансированной меновой стоимости. Потребительная же стоимость товара ничуть его не интересует. Эту «потребительную стоимость отнюдь нельзя рассматривать как непосредственную цель капиталиста» и капиталистического производства вообще. Точка же зрения, преимущественно интересующаяся потребительною или «внутреннею» стоимостью продуктов, не дает возможности проникнуть в сокровенные тайники капиталистических производственных отношений. К капиталистической системе она подходит с осуждением и старается не столько исследовать ее внутренние законы, сколько обличить ее несоответствие истинным требованиям здоровой организации труда. До известной степени к ней применимы слова Маркса об Уркларте: в ней видны «одновременно сила и слабость такой критики, которая умеет обсуждать и осуждать современность, но не умеет понять ее» ¹.

Но повторяю — и эту мысль я не устану подчеркивать, — что Чернышевский вынуждался к такой постановке вопроса условиями переживавшегося тогда русским обществом исторического момента. Что при этом клин вышибался клином, что великий критик буржуазных теорий сам допустил существование вечных экономических категорий, что, разоблачая исторический характер капиталистического производства, он при этом часто невольно «разоблачал» его в буквальном смысле, т. е. совлекал с него его конкретную оболочку, — все это, конечно, достойно сожаления с точки зрения научных результатов анализа, но исторически было вполне естественно и целесообразно.

«Капитал» в смысле продуктов прошлого труда, необходимых для дальнейшего производства, в смысле орудий производства, сырых материалов, продовольствия работников и пр., полезен и нужен, но это отнюдь еще не говорит в пользу современной формы капитала как орудия эксплуатации трудящихся. Такова точка зрения Чернышевского. Посмотрите, в чем он упрекает Тюрго: «Чрезвычайно живым и проницательным образом Тюрго перечисляет услуги капитала в промышленности и показывает их важность; но подобно всей школе, представителем которой он является, Тюрго совершенно произвольно и фальшиво смешивает капитал с капиталистом, из

¹ «Капитал», т. I, стр. 467.

необходимости капитала выводя законность владычества капиталиста»¹. В неоднократно цитированной нами статье, посвященной Басту и Бентаму², Чернышевский указывает на красноречивые голоса, раздающиеся в последнее время против капитала в Западной Европе, и признает, что «все эти нападения на него справедливы, когда это слово понимается в том узком смысле, какой имеет оно на языке спекуляторов парижской биржи и их друзей между экономистами». Эти господа, замечает он, понимают под словом «капитал» исключительно запас звонкой монеты, кредитных знаков и материальных вещей, которыми торгуют на биржах, и которые передаются по купчим крепостям, как то: фабрики с их машинами, пакгаузы с их товарами, дома с их мебелью, кипы акций и облигаций, груды золота и серебра. Нашему критику не нравится такое понимание капитала, потому что оно вредно отражается на распределении плодов труда между трудящимся классом и капиталистами. «Если капитал — только деньги и материальные вещи, — говорит он, — то, разумеется, надобно признавать справедливым, когда почти все производимые богатства обращаются в пользу капиталистов, а для трудящегося класса предоставляется только ничтожная часть, не больше того, сколько нужно для скудного поддержания жизни». И вот, чтобы парализовать вредные последствия такого ошибочного взгляда на капитал, Чернышевский указывает на то, что наряду с материальным капиталом, в виде зданий, машин и денег, существует еще «другой капитал, сливающийся с организмом работника, и что этот капитал, который можно назвать нравственным, гораздо важнее материального. Этот важнейший национальный капитал есть запас нравственных сил и умственной развитости в народе» (следует пример Англии и Испании). Это указание на существование «нравственного» капитала, быть может, вполне уместно для разоблачения апологетического характера буржуазной экономики, но оно ни на шаг не подвигает нас вперед в деле выяснения существенного характера исторически сложившихся отношений капиталистического производства, а скорее превращает понятие «капитал» в логическую абстракцию³.

Называя капиталом накопленный продукт труда, имеющий целью производительное употребление⁴, Чернышевский пытается дать этому

¹ «Тюрго», «Соч.», т. IV, стр. 227.

² «Соч.», т. III, стр. 505 и сл.

³ Следует заметить, что в своих примечаниях к Миллю он на этом делении не настаивает и говорит о «материальном» капитале.

⁴ Из всего предыдущего изложения ясно, что «производительное потребление» Чернышевского нельзя смешивать с марксовским «производитель-

понятию такое определение, чтобы из самого этого определения вытекало мысль о преходящем характере и нерациональности современного общественного устройства и о необходимости его преобразования и замены другим социальным укладом, основанным на противоположных принципах¹. Ниже мы увидим, что если это обстоятельство вредно отразилось на определении Чернышевским некоторых основных понятий политической экономии, оно все-таки не помешало нашему автору верно уловить многие существенные тенденции капиталистического режима в целом.

5. Стоимость

Именно потому, что Чернышевский давал такое вне-историческое или над-историческое определение капиталу, он мог посвятить ему целую главу, не касаясь вопроса о стоимости. К последней он подходит вплотную только в третьей книге, а между тем уже в примечаниях к I книге (Производство) и в особенности ко II книге (Распределение) ему неизбежно приходилось мимоходом касаться стоимости, цены и т. п. Если мы до сих пор держались порядка, принятого Чернышевским, то лишь для того, чтобы дать читателю более точное представление о методе и взглядах нашего автора. Но дальше мы не последуем за ним и, пропуская главы о труде, крупном и мелком производстве, распределении и пр., сразу рассмотрим его взгляды на стоимость (Чернышевский употребляет термин «ценность»).

«В теории обмена главное понятие — ценность и притом меновая ценность», — говорит он². Были экономисты, продолжает наш автор, считавшие это понятие основным понятием всей науки, которая у них сводилась почти исключительно к теории обмена; о производстве и распределении говорили они лишь для объяснения законов, по которым совершается обмен. Чернышевский, ставивший себе целью открыть законы, общие для всех экономических укладов, и не желавший ограничиваться анализом капиталистического строя и внутренних его тенденций, не согласен, конечно, с таким приемом. «Уже один тот

ным потреблением», так как в последнем элемент потребительной стоимости произведенных продуктов совершенно игнорируется.

¹ Чувствуя затруднительность определения понятия «капитал» и недовольный собственным определением этого понятия, Чернышевский находил, что лучше всего было бы отбросить этот «двусмысленный и потому неудовлетворяющий условиям научной терминологии» термин. Но он не решился на такое смелое новшество, не зная наперед, какое влияние получат в науке его «примечания» («Примечания к Миллю», стр. 134—135). Во всяком случае из предыдущего ясно, в каком направлении был бы придуман этот термин.

² «Примечания к Миллю», стр. 416 и сл.

факт, — говорит он, — что из пяти книг своего трактата Милль мог изложить целых две книги, почти не касаясь ценности, достаточно свидетельствует, по его словам, о чрезмерной узости взгляда, им опровергаемого». Вместе с Миллем он полагает, что «из двух великих отделов политической экономии понятие ценности относится лишь к распределению богатства, не относясь к его производству», но прибавляет, что «при нынешней системе распределения понятие ценности очень важно».

Мы не станем повторять того, что мы выше говорили о методологической ошибке, заключающейся в отделении производства от обмена при анализе капиталистического общества. Читатель и без того видит, что Чернышевский, понимавший задачи экономической теории гораздо шире (туманнее, если хотите) и требовавший от нее не только исследования существующего, но и преимущественно указаний должного, иначе и не мог смотреть на дело.

Рикардо в основных чертах установил понятие стоимости, которого после него продолжали держаться как большинство буржуазных экономистов (кроме «вульгарных»), так и социалисты. Основные положения теории стоимости таковы: «полезность не может быть мерилом меновой стоимости, хотя последняя без нее безусловно немыслима». Стоимость некоторых товаров, не могущих быть произведенными в любом количестве, определяется их редкостью и не зависит от количества труда, первоначально затраченного на их производство. Но в массе товаров, ежедневно обращающихся на рынке, такие товары составляют лишь незначительную долю. Вот почему, говоря о товарах, их меновой стоимости и законах, управляющих их относительными ценами, Рикардо «всегда имеет ввиду только такие товары, количество которых может быть увеличено человеческим трудом, и в производстве которых соперничество не подвергается никаким ограничениям». Меновая стоимость таких товаров, вообще говоря, определяется количеством труда, затраченного на их производство; всякое возрастание этого количества ведет к увеличению стоимости данного товара, а всякое его уменьшение — к понижению этой стоимости¹.

Маркс положил это учение Рикардо в основу системы научного социализма, развив его основные положения и снабдив их необходимыми дополнениями. Он указал, что определение меновой стоимости товаров количеством воплощенного в них труда не только не искажается сложными условиями капиталистического производства, но, напротив, «закон стоимости для своего полного развития требует

¹ Д. Рикардо — «Собрание сочинений». Спб. 1908, т. I, стр. 5—7.

существования крупного производства и неограниченной конкуренции, т. е. современного буржуазного общества»¹. Далее он показал, что меновая стоимость определяется количеством общественно-необходимого труда, затраченного на производство товара, при чем мерилом стоимости является абстрактный человеческий труд, независимо от его конкретных качеств, а известное количество квалифицированного труда сводится к некоторому кратному простого среднего труда. Наконец, он разрешил противоречия, перед которыми в смущении останавливался Рикардо, своим учением о заработной плате, прибыли и капитале.

Чернышевский в общем принимает теорию стоимости Рикардо². За исключением вещей редких, имеющих монопольную цену, меновая ценность принадлежит только продуктам человеческого труда и определяется количеством труда, затраченного на их производство; цена вещи есть «ее меновая ценность, выраженная в денежном счете». Но Чернышевский не всегда выдерживает эту определенную точку зрения, которая составляла последний результат исследований классической школы, и только исходя из которой, наука могла сделать дальнейшие завоевания в этой области. Сплошь и рядом он оставляет эту твердую почву и то смешивает ценность с ценой, то усматривает в ценности простое отношение, то сбивается на учение об издержках производства. Первая ошибка встречается у него очень редко³, так что ее можно счесть, пожалуй, за обмолвку, и если мы упоминаем о ней, то лишь для того, чтобы подчеркнуть шаткость его взглядов на меновую стоимость; вторая случается уже чаще⁴, а к третьей он возвращается неоднократно. («Соч.», т. II, стр. 434; т. VII, стр. 421 и сл., 456, 492, 513).

¹ Маркс — «К критике политической экономии». Спб. 1907, стр. 44.

² «Соч.», т. VI, стр. 28; т. VII, стр. 26, 418.

³ «Если количество известного предмета может быть увеличено по произволу, меновая ценность его определяется уравнением снабжения (этим термином Чернышевский заменяет термин «предложение», английское supply) и запроса, т. е. меновая ценность этих вещей имеет такую величину, при которой снабжение и запрос равны друг другу. От увеличения ценности запрос уменьшается, а снабжение возрастает; от уменьшения ценности бывает противное. Поэтому, если при известной высоте ценности запрос будет больше снабжения, ценность предмета станет возвышаться, пока снабжение увеличится, а запрос уменьшится настолько, что оба эти элемента сравняются» и т. д. («Примечание к Миллю», стр. 420). К такому смешению понятий Чернышевского привело определение ценности как простого отношения (см. след. прим.).

⁴ «Есть прием, посредством которого очень легко усвоить себе понятие меновой ценности, несмотря на его высокую отвлеченность. Что такое цена вещи, это очень ясно для каждого. Теперь: цена именно и есть ее меновая

Сложный вопрос о стоимости труда, этого всеобщего мерил стоимости, — вопрос, о который обломала зубы классическая экономия, — сильно занимал и Чернышевского. Он чувствовал, что этот вопрос не разрешен теорией Смита-Рикардо, делал энергичные попытки выбиться из заколдованного круга, в который попала буржуазная экономия, но не успел дойти до конца в своем анализе.

Вопрос стоял так: если труд является мерилom стоимости всех товаров, то чем же определяется стоимость самого труда, как товара? И далее: если меновая стоимость продукта должна равняться рабочему времени, которое в нем заключено, то меновая стоимость рабочего дня равна его продукту; иначе говоря, заработная плата должна быть равна стоимости продукта труда. Между тем в действительности имеет место обратное. Каким же образом меновая стоимость труда оказывается меньше, чем стоимость его продукта?

Решить этот вопрос значило вскрыть главную тайну капиталистического производства. Это и сделал Маркс своим учением о капитале и прибавочной стоимости.

Классическая школа рассуждала так: стоимость труда, подобно стоимости всякого другого товара, определяется издержками его производства, т. е. производства предметов, необходимых для поддержания существования рабочего и размножения его расы. Следовательно, поясняет Маркс, то, что она называет стоимостью труда, есть в действительности стоимость рабочей силы, которая реально существует в личности рабочего и столь же отлична от своей функции — труда, как машина отлична от своих операций. Фактически на товарном рынке владельцу денег (капиталисту) противостоит непосредственно не труд, а рабочий. Товар, продаваемый последним, есть его рабочая сила. Труд есть субстанция и имманентная мера

ценность, выраженная в денежном счете. Замените именованные числа рублей и копеек отвлеченными числами, проще сказать, отбросьте эти слова — рубль и копейка, оставьте только цифры, при которых они стоят, и вы будете иметь меновую ценность вещи. Положим, что четверть пшеницы стоит 5 руб., за рабочий день плотнику платится 1 рубль, за кубическую сажень березовых дров 15 рублей. Это цены. Отбросьте теперь слово рубль, и у нас останутся меновые ценности, состоящие в цифрах 5, 1, 15» («Примечания к Миллю», стр. 418). По поводу таких рассуждений Энгельс верно замечает, что определение меновой ценности как отношения — это, по меньшей мере, — крайне небрежное определение, которое «дает нам в лучшем случае лишь представление о том, как приблизительно выглядит ценность, но нисколько не объясняет, что такое ценность» (Предисловие к «Ниццетте философии», стр. 10).

стоимости, но сам он не имеет стоимости. В выражении «стоимость труда» понятие стоимости не только совершенно аннулировано, но и превращено в свою противоположность. Это — такое же фигуральное выражение, как и стоимость земли; но такие фигуральные выражения возникают из самих производственных отношений. А так как стоимость труда есть лишь иррациональное выражение для стоимости рабочей силы, то само собой понятно, что стоимость труда всегда должна быть меньше, чем вновь созданная трудом стоимость, потому что капиталист всегда заставляет рабочую силу функционировать дольше, чем это необходимо для воспроизведения ее собственной стоимости.

«Понятно поэтому, — заключает Маркс, — какое громадное значение имеет превращение стоимости и цены рабочей силы в форму заработной платы, т. е. в форму стоимости и цены самого труда. На этой внешней форме проявления, скрывающей истинное отношение и создающей видимость отношения прямо противоположного, покоятся все правовые представления как рабочего, так и капиталиста, все мистификации капиталистического способа производства, все порождаемые им иллюзии свободы, все апологетические увертки вульгарной экономии»¹.

В рассуждениях Чернышевского по этому поводу мы снова наталкиваемся на причудливое смешение гениальных прозрений и утопических тенденций, — смешение, объясняемое, как и во всех других случаях, общим характером его экономической системы, о котором мы говорили неоднократно.

Он упрекает Милля за то, что «о самом главном товаре — о труде» тот ограничивается парой замечаний, в то время как «труд — единственный или важнейший товар для огромного большинства людей» («Примечания к Миллю», стр. 436 и сл.). Чернышевский объясняет это обстоятельство тем, что весь анализ ведется у Милля с точки зрения капиталиста, что «точка зрения, из которой возникает идея стоимости производства, — точка зрения производителя, и собственно только производителя, покупающего труд у наемных работников» (ibid., стр. 492). Если не поставить коренного вопроса об этом «странном товаре», то ничего особенного и нельзя будет сказать о его меновой стоимости: товар как товар; подчинен уравнению снабжения и запроса — только и всего. «Но коренной-то вопрос состоит в том: следует ли труду быть товаром, следует ли ему иметь меновую ценность?»

¹ «Капитал», т. I, стр. 500.

Здесь Чернышевский подходит к вопросу, может ли труд, это мерило ценности, иметь меновую ценность; но в согласии с общим духом своей системы ставит вопрос так: следует ли ему иметь меновую ценность? Товар есть нечто, существующее отдельно от человека, говорит он, а труд есть функция человеческого организма, «часть человеческого существа, никаким способом не могущая существовать отдельно от человека». Продажа и покупка труда есть нечто иное, как продажа и покупка человека; поэтому, если труд — товар, то это возможно лишь в том случае, если сам человек — товар. «Следует ли человеку быть товаром, об этом можно думать различно; но политическая экономия утверждает, что не следует». Покупка труда от покупки раба отличается только продолжительностью времени, на которое совершается продажа, и степенью власти, какую дает над собою продающийся покупающему. Основная черта здесь одна и та же: власть частного человека над экономическими силами другого человека. «Юрист и администратор могут интересоваться разницею между покупкою труда и невольничеством; но политико-эконом не должен».

Приписывать труду меновую ценность, говорит Чернышевский, значит сравнивать его с предметами, посторонними для человека. Можно сравнивать между собою продукты труда, но нельзя сравнивать их с трудом: это — предметы несоизмеримые. «Положим, что труд превращается в продукт, но все-таки сравнивать их друг с другом точно так же не следует, как не следует звук фортепьяна сравнивать с деревом и железом, из которых возникает этот звук» (*ibid.*, стр. 439).

От имени читателя Чернышевский сам задает себе вопрос: «Но если труд общее мерило ценностей, то каким же образом доказывали вы в одной из предыдущих статей, что труд не должен иметь меновой ценности?» На этот вопрос он отвечает: «Очень легко убедиться, что эти два понятия о труде, как деятельности, которая служит мерилom ценностей и однако не должна сама быть ценностью, — что эти два понятия не противоречат друг другу, а наоборот необходимо вытекают одно из другого. Мерилom предмета или понятия, конечно, не может служить сам предмет или само понятие, — для этого нужны другой предмет, другое понятие, находящиеся в тесной связи с измеряемыми как их источники, причины или результаты, но совершенно различные от них. Например, нормою осадки речных судов служит не глубина какого-нибудь речного судна, а глубина реки; глубина реки и плавающее по реке судно — две вещи, совершенно различные. Нормою одежды служит никак не сама одежда, а очертания человеческой фигуры и климат. Нормою закона служит общественное благо; нормою пищи —

желудок и язык человека; нормою помады или духов — обоняние человека. Словом сказать, норма вещи всегда — нечто совершенно иное, нежели сама вещь. Таким образом, если ценность должна иметь свою норму (как имеет свою норму все в человеческой жизни), то сама эта норма не может быть ценностью. Господствующая теория только потому и не могла понять норму ценности, что причислила труд к ценностям. Припомним афоризм, который сама господствующая теория ставит верховным принципом учения о ценности и обмене: «продукты обмениваются на продукты». Труд не есть продукт. Он еще — только производительная сила, он — только источник продукта. Он отличается от продукта, как мускул от поднимаемой мускулом тяжести, как человек от сукна или хлеба»¹.

Здесь Чернышевский уже вплотную подходит к решению поставленного вопроса; он уже не говорит о том, что труд не должен иметь ценности, а о том, что он не может быть ценностью; он говорит о «производительной силе», в качестве каковой труд является творцом ценности и «источником продукта». И если он все-таки не распутал до конца этого противоречия между трудом и рабочей силой, если он таким образом обесплодил свой остроумный анализ, если все его рассуждения кажутся потому беспомощным блужданием вокруг да около, то виноват в этом общий характер его системы и в частности его своеобразный взгляд на отношение между меновой и внутренней ценностью, в свою очередь обусловленный своеобразным пониманием задач экономической теории.

Вслед за классической экономией Чернышевский различает два вида ценности: внутреннюю и меновую. Под внутреннею ценностью он понимает ценность потребительную² и в отличие от буржуазной экономики именно на анализе этой внутренней ценности он сосредоточивает главное внимание. Это совершенно естественно, если вспомнить, что Чернышевский критикует капиталистический строй не столько с точки зрения его внутренних объективных тенденций, сколько с точки зрения его противоположности интересам общества, народа, массы. Так как меновая ценность составляет лишь неотделимую принадлежность капиталистической системы, тогда как на докапиталистической стадии, а тем более в социалистическом обществе она не может играть никакой роли, то Чернышевский ею особенно и не интересуется. Напротив, он старается выдвинуть на первый план вопрос о

¹ Ibid., стр. 493.

² «Примечания к Миллю», стр. 420.

внутренней ценности, ибо именно с последней должен и будет считаться экономический порядок, построенный на рациональных, т. е. социалистических основаниях ¹.

Меновая ценность, отдельная от внутренней ценности, характерна лишь для «системы быта, основанной на соперничестве»; в этом смысле она есть «результат частного исторического факта». При нынешних общественных отношениях производители интересуются не внутренней ценностью продуктов, не их способностью удовлетворять человеческим потребностям, а исключительно их меновой ценностью. Результатом этого является затрата рабочих сил на производство предметов, требующих массы труда, обладающих поэтому высокой меновой ценностью, но лишенных внутренней ценности. Но «измерение ценности потребностями человека дает норму уже вовсе не меновой, а внутренней ценности». Чернышевскому и нужен этот закон ценности не капиталистического, а социалистического общества, ибо только в последнем производство будет соотноситься с потребностями «человека», общества. Он и не скрывает, что все его рассуждения о внутренней и меновой ценности, а также о труде, не имеющем ценности, направлены к обличению существующего строя. «Мы видим, — заключает он, — что по сущности дела меновая ценность должна совпадать с внутренней, и отклоняется от нее только вследствие ошибочного признания труда за товар, которым труду никак не следует быть. Поэтому возможность отличать меновую ценность от внутренней свидетельствует только об экономической неудовлетворительности быта, в котором существует разность между ними. Теория должна смотреть на раздельность меновой ценности от внутренней точно так же, как смотрит на невольничество, монополию, протекционизм. Она может и должна изучать эти явления со всевозможной подробностью, но не должна забывать, что она тут описывает отклонения от естественного порядка. Она может находить, что устранение того или другого из этих феноменов экономической жизни потребует очень долгого времени и очень значительных усилий; но как бы далек ни представлялся

¹ «О внутренней ценности она (господствующая теория) забывает тотчас же, как только скажет мимоходом, что есть кроме меновой ценности внутренняя, и сосредоточивает все свое внимание на одной меновой. Мы считаем это недостатком и, рассмотрев законы меновой ценности, исследуем, насколько позволяют нам пределы статьи, вопрос о том, какое влияние на экономическую судьбу общества должна произвести та неизбежная перемена, когда при развитии рассудительности люди станут прилежнее нынешнего всматриваться во внутреннюю ценность предметов» (ibid., стр. 417).

ей срок излечения той или другой экономической болезни, не должна же она не представлять, каково должно быть здоровое положение вещей» (*ibid.*, стр. 440—441).

Здоровое же положение вещей — это социалистический строй, при котором производство планомерно организовано сообразно потребностям общества, труд перестает быть товаром, а «меновая ценность совпадает с внутренней». Распределение производительных сил между разными занятиями при системе производства, основанной на обмене, или при производстве на продажу определяется распределением покупательной силы в обществе; при системе же производства, основанной «прямо на потребностях производителя», оно и определяется этими потребностями. Так дело обстоит на низшей стадии развития, характеризующейся существованием замкнутого мелкого хозяйства; но так же оно будет обстоит и на высшей стадии экономического развития, при которой будет господствовать коллективное организованное хозяйство ¹.

Нынешний экономический быт «основан на обмене, а не прямо на тождестве производства с потреблением». Этот разрыв между производством и потреблением является также основной причиной торгово-промышленных кризисов. Рассматривая «эти экономические землетрясения, ломающие фирмы, разрушающие фабрики, оставляющие без куска хлеба тысячи бывших богачей и миллионы работников», Чернышевский, поглощенный своей мыслью о необходимости организовать производство сообразно потребностям общества, соглашается с Миллем, который, как ему кажется, стоит на одинаковой с ним точке зрения. Милль возражает против мысли Сисмонди, что «коммерческий кризис происходит от общего излишка производства»; он доказывает, что об общем излишке производства не может быть речи, и что кризисы происходят «просто от излишка спекулятивных покупок». Но Чернышевский и Милль говорят на разных языках, и поэтому наш критик вычитывает у комментируемого им автора свои собственные мысли, высказывать которые тот и не думал. «Милль, — пишет он, — совершенно прав, доказывая против них (Мальтуса, Чомерса, Сисмонди), что производство не может превышать потребностей человека (Милль доказывает вовсе не это), что капитал, т. е. часть продуктов, употребляемая

¹ *Ibid.*, стр. 449—450. — Теперь становятся понятны те дополнения, которые Чернышевский сделал к 17 тезисам Милля о ценности (см. выше, стр. 507): в них он противопоставляет принципы капиталистического и социалистического хозяйства с точки зрения противоположности между двумя видами ценности.

на новое производство, не может возрастать слишком быстро, что с какою быстротою ни возрастал бы он, всегда можно было бы желать еще быстреего возрастания, потому что всегда нашлось бы ему нужное занятие и т. д.»¹ — конечно, при социалистическом строе, требуемом «теорией».

Когда А. Смит старался найти общую норму ценностей и ломал голову над вопросом о труде, как мере ценности, он по мнению Чернышевского думал не о меновой, а о внутренней ценности предметов². Последователи его поняли этот вопрос как вопрос только о меновой ценности. Но центр тяжести вопроса заключается вовсе не в ней, а именно во внутренней ценности, рассматриваемой под углом распределения производительных сил и удовлетворения человеческих потребностей. И Чернышевский подчеркивает разницу между его взглядом на количество труда как норму ценностей и буржуазным учением о стоимости производства. Близость этих идей, говорит он, так велика, что поражает с первого взгляда: и там, и здесь считается количество труда, употребленного на производство предмета. Но в стоимости производства считается кроме труда прибыль, да и самый труд принимается только как стоимость рабочей платы. Точка зрения стоимости производства — это точка зрения капиталиста; цель расчета тут — определить продажную цену предмета. «Норма, о которой мы говорим, принадлежит совершенно иной точке зрения, и цель у нее совершенно иная. Мы хотим знать, какое количество труда нужно потребителю для того, чтобы произвести своим трудом продукт своего потребления».

Но это уже — анализ не экономический, а технический. Чернышевского это не трогает, да он этого и не замечает. Ему важно внушить читателю мысль о возможности иных общественных отношений и противопоставить принципы капиталистического и социалистического строя для обличения нерациональности и непроизводительности первого. И он развивает детали своей «нормы ценности». Тут, говорит он, нет отделения прибыли от рабочей платы, нет и понятия об отдельной от самого продукта рабочей плате. Тут вознаграждением за труд признается весь продукт; но и самое понятие вознаграждения сюда совсем подходит: собственно говоря, тут продукт рассматривается не как вознаграждение за труд, а как результат труда. Вознаграждением предполагается какое-то постороннее лицо, присваивающее себе продукт и выделяющее из него производителю известную часть; в системе.

¹ Ibid., стр. 484.

² Ibid., стр. 489 и сл.

намеченной нашим автором, «нет постороннего ценовщика», присваивающего себе продукт и выделяющего одну часть работнику. В этой системе «меновая ценность продукта оставляется без всякого внимания; продукт прямо подводится под потребности человека, рассматривается только его годность для их удовлетворения — внутренняя ценность его; приобретение меновой ценности продуктом предполагается делом случайным, исключительным, потому что масса продуктов и не идет в продажу или обмен, а прямо служит на потребление производителя; если же часть продуктов и идет в обмен на продукты других производителей¹, меновая ценность не является чем-то отличным от внутренней, — внутренняя ценность прямо превращается в меновую без всякого увеличения или уменьшения².

Естественно, продолжает наш автор, что этот взгляд, предполагающий прямую связь между производством и потреблением без посредства обмена, предполагающий соединение прибыли с рабочей платой в руках трудящегося, предполагающий тождество потребителя и производителя, отрицающий систему наемного труда, — естественно, что этот взгляд не был понят ни Адамом Смитом, ни его последователями, не умевшими представить себе систему быта, которая была бы выше трехчленного деления продукта между тремя различными классами. «А между тем, даже и при нынешнем быте нельзя не видеть преобладания условий, соответствующих этому взгляду, если обратиться мыслию от частного хозяйства отдельных лиц к национальному хозяйству. Для целой нации потребители и производители — одно и то же; потребление прямо определяется производством; рабочая плата, прибыль и рента сливаются в одно целое, в продукт национального труда... При малейшем внимании к

¹ Здесь, как мы видим, Чернышевский допускает частичный обмен и в будущем обществе. Дело в том, что, как мы увидим ниже, он правильно допускал возможность промежуточной стадии между капитализмом и коммунизмом.

² Из всего вышеизложенного ясно, что если между взглядами на ценность Чернышевского и Прудона и можно установить некоторое самое общее сходство, то сходство это — чисто формального свойства. По мнению Прудона его «установленная (или конституированная) ценность» может осуществиться лишь в обществе мелких самостоятельных производителей, свободно обменивающихся своими продуктами-товарами; «норма» же ценностей Чернышевского предполагает как раз наоборот общество, организованное на началах коллективного труда и коллективного владения орудиями производства, пускающее в обмен лишь ничтожную часть своих продуктов. Исходная точка зрения у Чернышевского — социалистическая, у Прудона — мелкобуржуазная индивидуалистическая. Там, где начинает действовать «норма ценностей» первого, там для «установленной ценности» второго нет места.

национальному хозяйству, как одному экономическому целому, этот поверхностный взгляд на дело (учение о «стоимости производства» в господствующей теории) заменился бы изложенной нами идеей общей нормы ценностей».

Итак, ясно, какие цели преследовал Чернышевский, критикуя учение о ценности в буржуазной экономии. Для него важнее всего было разоблачить нерациональное распределение производительных сил в современном обществе, обусловленное отделением производства от потребления, определяющей ролью обмена, т. е. частной собственности на орудия производства, системой наемного труда и другими основными чертами капиталистического строя. В этом заключалась и его сила, и слабость. Сила — поскольку он своей критикой современной экономической системы расчищал почву для социалистических идей; слабость — поскольку эта обличительная тенденция уводила его в сторону от более внимательного анализа существующих отношений и в частности заставила его остановиться на полдороге в блестяще начатой им попытке разрешить антиномию между трудом и рабочей силой. Но изложенный им взгляд на «норму ценности» в социалистическом обществе, если освободить его от несколько туманной оболочки, совершенно справедлив. По существу он совпадает с следующими замечаниями Маркса.

«Потребление продуктов зависит от общественных условий, в которых находятся потребители, а эти условия создаются классовой борьбой... В будущем обществе, в котором, по предположению, не будет ни классовой борьбы, ни классов, потребление продуктов не будет более определяться минимумом рабочего времени, необходимого для их производства; напротив, количество общественного труда, уделяемого производству тех или иных продуктов, будет обусловлено степенью их общественной полезности»¹.

В этом и заключается основная мысль в рассуждениях нашего автора, который, с одной стороны, хотел дать критику капиталистической системы с точки зрения распределения производительных сил, а с другой — наметить основные законы будущего коммунистического общества.

6. Прибавочная стоимость

Трехчленное деление продукта (на ренту, прибыль и заработную плату) представляет историческую форму распределения, характерную для капиталистического строя или, как выражается наш автор, для

¹ «Нищета философии», стр. 59—60.

системы соперничества. Правда, и эта трехчленная формула отнюдь не находит всеобщего применения в различных областях экономической деятельности¹, но для современной экономической системы она характерна. В этом трехчленном делении продукта проявляется противоположность интересов различных классов, на которые распадается современное общество.

«Форма трехчленного распределения предполагает, что из трех элементов производства каждый особо принадлежит отдельному классу, и доля из продукта, достающаяся этому классу, определяется соперничеством. Класс, которому принадлежит труд, является при этой форме быта сословием наемных работников, получающих рабочую плату; капитал принадлежит классу промышленных антрепренеров, получающих прибыль, а земля — классу владельцев недвижимой собственности, не принимающему никакого личного участия в ведении предприятия, но получающему от предпринимателя ренту за дозволение пользоваться недвижимостью (землею), как орудием и помещением для промышленного предприятия².

Величина прибыли обратно пропорциональна высоте заработной платы. Из прибыли капиталиста выделяется часть в виде ренты, уплачиваемой землевладельцу; в этом отношении интересы класса капиталистов и класса поземельных собственников также противоположны. Но этот частичный антагонизм интересов между двумя фракциями класса собственников отступает на задний план перед общей противоположностью интересов между трудящимися и присвоителями прибавочной стоимости³.

Что источником прибыли является прибавочная стоимость, Чернышевский прекрасно знал. Выгодность наемного труда объясняется тем, что «содержание работника с избытком, и большим избытком, окупается его работою», — пишет он в статье «О новых условиях сельского быта»⁴. А в статье «Капитал и труд» он выражается еще опре-

¹ «Трехчленное деление сама господствующая теория находит только в земледелии». Почему же мы не находим этой системы в промышленности, где капиталист сплошь и рядом является собственником и зданий, и земли, находящейся под фабрикой? Ставя этот вопрос, Чернышевский стремится подорвать утверждение буржуазной экономии, будто трехчленное распределение оказывается чуть ли не экономическим идеалом, формой наиболее естественной и выгодной для общества («Примечания к Миллю», стр. 369).

² Ibid., стр. 370.

³ См. выше главу «Философия истории», стр. 405 — Чернышевский разделял учение о ренте Рикардо и пользовался им для обличения социальной вредности землевладельческого класса.

⁴ «Соч.», т. IV, стр. 75 (1858 г.).

деленнее. Экономическое положение класса капиталистов (одного из двух основных классов, на которые «по распределению ценностей» распадается современное общество) основывается на том, что в руках каждого из его членов остается количество ценностей, производимых трудом многих рабочих; экономическое положение рабочего класса характеризуется тем, что часть ценностей, производимых трудом каждого из его членов, переходит в руки капиталистов. Классы землевладельцев и капиталистов прямо заинтересованы в уменьшении доли, приходящейся рабочему классу, потому что их собственную долю составляет сумма продуктов за вычетом части, отдаваемой труду¹.

Итак, прибыль капиталиста создается неоплаченным трудом работника. И Чернышевский зло издевается над попыткой «объяснить» прибыль наградой за отсрочку личного потребления, в которой он справедливо усматривает стремление затушевать вопрос и оправдать существование класса капиталистов. «Это, — говорит он, — уже явление другого порядка вещей, явление умеренности, расчетливости, а не труда, т. е. нечто несоизмеримое с трудом. Продукт — плод труда; как же вы определите, какая часть продукта пойдет на вознаграждение за это явление, несоизмеримое с трудом?.. Сколько приходится человеку — не за то, что он совершил известное количество труда, а за то, что он добродетелен, или умен, или воздержан, или красноречив, или высок ростом, или изящен своими манерами? Это достоинства прекрасные, но совершенно различные от понятия труда, не имеющие с ним никакой общей меры; потому невозможно определить никакого вознаграждения частью продуктов труда»².

В сущности учение о прибавочной ценности содержится уже в теории ценности Рикардо. И действительно вскоре по выходе его «Начал политической экономии» из теории Рикардо, как мы видели выше, начали делаться социалистические выводы; в частности на основе его теории социалисты начали строить учение о нетрудовом доходе, которое впоследствии с таким блеском было дополнено и развито Марксом в «Капитале». Одним из первых теоретиков прибавочной стоимости был упомянутый нами выше Томпсон, исследование которого о «Началах распределения богатства» вышло в 1824 г. Взгляд на прибыль как на продукт неоплаченного труда рабочего быстро распространился среди английских и французских социалистов, у ко-

¹ «Соч.», т. VI, стр. 27; ср. *ibid.*, стр. 38.

² «Примечания к Миллю», стр. 79—80. — С таким же сарказмом писал об этом учении Маркс, но он определеннее подчеркнул невозможность для целого класса капиталистов лично потребить свою собственность даже при всем желании сделать это («Капитал», т. I, стр. 559—560).

торых с ним мог познакомиться Чернышевский. Но для него чрезвычайно характерно, что в своем главном экономическом труде («Примечаниях к Миллю») он почти не останавливается на этом вопросе, что он вообще нигде не углубляется в анализ прибавочной ценности, не пытается органически связать ее с понятием меновой ценности вообще, с анализом капитала и пр. В то время как у Маркса прибавочная стоимость красной нитью проходит через весь анализ капиталистического производства, Чернышевский ограничивается констатированием факта нетрудового дохода и парой беглых замечаний по этому поводу, сосредоточивая главное внимание на выяснении ненормальности системы наемного труда вообще, на положении рабочего класса в капиталистическом обществе и на принципах рационального экономического устройства. Впрочем, читатель, успевший уже ознакомиться с общим характером исследований Чернышевского, не очень удивится этому.

Из слов Чернышевского, приведенных выше, видно, что он принимал закон заработной платы, сформулированный Рикардо в следующих словах: «естественной ценой труда является та, которая необходима, чтобы рабочие имели средства к существованию и к продолжению своего рода, без увеличения или уменьшения их числа»¹. Насколько можно судить по отдельным замечаниям нашего автора, он даже готов был понимать этот закон в смысле близком к лассалевскому «железному закону заработной платы», т. е. готов был непосредственно связывать высоту заработной платы с движением рабочего населения, а колебания ее объяснять размножением или сокращением народонаселения². Такой несколько упрощенный взгляд на движение заработной платы преобладал среди социалистов до Маркса, и ничего особенно оригинального Лассаль в свой «железный закон» не внес. Чернышевский разделял даже теорию так называемого «рабочего фонда», объяснявшую размер заработной платы пропорцией между числом рабочего населения и размером капитала, предназначенного для покупки труда и составляющего якобы некоторую постоянную величину. Допуская справедливость этой «суровой теории», Чернышевский поступал совершенно в духе своей системы; он даже с некоторым злорадством спешил с нею согласиться, так как она помогала ему критиковать

¹ Рикардо, *loc. cit.*, стр. 52. — Учение о тенденции заработной платы к минимуму средств существования встречается уже у физиократов, в частности у Тюрго, со взглядами которого Чернышевский был хорошо знаком.

² Это констатирует и Плеханов (т. VI, стр. 131). «Знаменитый «железный закон заработной платы» Лассалья представляет собою лишь несколько иную формулировку того самого учения, которого держался Чернышевский».

«трехчленное деление», при котором дескать действует этот суровый закон заработной платы. «Когда прибыль и рента отделяются от рабочей платы, являются искусственные задержки надлежащему возрастанию продукта, так что с увеличением числа работников должна уменьшаться доля, достающаяся каждому работнику; и к трехчленному делению продукта прилагается в полной своей силе мальтусов закон»¹.

Эта ошибка Чернышевского, т. е. признание определенного «рабочего фонда», проистекла из того, что он недостаточно остановился на анализе прибавочной стоимости в связи с распадом капитала на постоянную и переменную части. Такого деления Чернышевский еще не знал. Вслед за господствующей теорией он делит капитал на основной и оборотный — понятия, заимствованные скорее из области обмена, чем из области производства; но он знает, что главная часть «оборотного» капитала идет на наем рабочей силы. «Вопрос о влиянии машин на судьбу рабочего класса, — говорит он, — дает практическую важность подразделению капитала на оборотный, потребляемый и воспроизводимый одною операциею производства, и основной капитал, служащий целому длинному ряду производственных операций, так что с каждою из них может воспроизводиться лишь некоторая, часто очень незначительная часть его. Главная часть оборотного капитала состоит в продовольствии работников. Если часть оборотного капитала переходит в основной, это значит, что та сумма продовольствия, которая ежегодно потреблялась и воспроизводилась работниками, берется из их потребления, чтобы впоследствии воспроизводиться лишь гораздо меньшими частями. Потому без вреда для работников может поступать в основной капитал только тот излишек ежегодных новых сбережений, какой остается за полным воспроизведением прежнего оборотного капитала, с прибавкою процента, соответствующего приращению населения страны»².

Здесь Чернышевский довольно близко подходит к решению занимавшего его вопроса. Если бы он сумел продолжить свой анализ до конца, он, конечно, должен был бы решительно отвергнуть теорию «рабочего фонда». Но, как мы видели, он напротив радостно принял ее, чтобы использовать ее в целях обличения существующего строя.

Маркс, как известно, разделил капитал (с точки зрения производства) на постоянный и переменный. Постоянный капитал, точнее, постоянная часть капитала — это та часть капитала, которая превра-

¹ «Примечания к Миллю», стр. 374—375.

² «Примечания к Миллю», стр. 155—156.

щается в средства производства, т. е. в сырой материал, вспомогательные вещества и средства труда; эта часть капитала в процессе производства не изменяет величины своей стоимости: ее стоимость переносится на продукт — целиком для одних частей, долею для других. Напротив, та часть капитала, которая предназначена для найма рабочих и превращена в рабочую силу, в процессе производства изменяет свою стоимость. Она воспроизводит свой собственный эквивалент и сверх того излишек, прибавочную стоимость. Это — переменная часть капитала или переменный капитал.

Переменный капитал есть лишь особая историческая форма фонда средств существования или рабочего фонда, который необходим рабочему для поддержания и воспроизводства своей жизни, и который при всякой системе общественного производства должен быть произведен самим рабочим. Рабочий фонд постоянно притекает к рабочему в форме платежных средств за его труд, так как собственный продукт рабочего присваивается капиталистом; но эта историческая форма рабочего фонда в капиталистическом обществе ¹ ничуть не изменяет того факта, что капиталистом авансируется рабочему его собственный об'ективированный труд. Если мы будем рассматривать капиталистическое производство в процессе его непрерывного возобновления, то переменный капитал утратит характер стоимости, авансированной из собственного фонда капиталиста.

С другой стороны, капитал, как указывает Маркс, представляет не постоянную величину, а очень эластичную часть общественного богатства, постоянно изменяющуюся в зависимости от того или иного распределения прибавочной стоимости на доход и добавочный капитал. Классическая экономия готова была рассматривать капитал как величину постоянную с постоянной сферой действия. Нет ничего ложнее этого взгляда, по которому невозможно объяснить самые обыкновенные явления капиталистического производства, напр., его внезапные расширения и сокращения и даже самый факт накопления. Эпигоны

¹ «Буржуазный экономист, ограниченный мозг которого не в состоянии отличить форму проявления от того, что в ней проявляется, закрывает глаза на тот факт, что даже в настоящее время рабочий фонд выступает в форме капитала в исключительно редких пунктах земного шара» («Капитал», т. I, стр. 530). Крестьянин, напр., постоянно воспроизводит свой рабочий фонд, причем этот последний никогда не принимает по отношению к нему формы платежного средства, авансированного ему в обмен на труд третьим лицом. То же будет и в социалистическом обществе. Чернышевский хорошо это понимал, и, как мы видели, делал буржуазным экономистам аналогичные упреки. Он только не постарался достаточно вникнуть в специфический характер рабочего фонда в капиталистическом обществе.

классической школы и в особенности вульгарные экономисты возвели этот ошибочный взгляд в непререкаемую догму, которая преследовала апологические цели, а именно цель представить в виде постоянной величины переменный капитал, т. е. часть капитала, предназначенную для покупки рабочей силы. Была сочинена басня, что вещественный состав переменного капитала, т. е. та масса средств существования, которую он представляет для рабочих, или так наз. «рабочий фонд», есть совершенно обособленная часть общественного богатства, определяемая неизменными и непреодолимыми силами самой природы. Учение это было придумано для того, чтобы обуздать и об'явить «нестественным» стремление рабочих увеличить свою заработную плату. «Сначала, — иронизирует Маркс по поводу рассуждений проф. Фаусетта, — мы вычисляем сумму всех действительно выплаченных рабочих плат, затем об'являем, что результат этого сложения представляет стоимость «рабочего фонда», октроированного богом и природой. Наконец, полученную таким путем сумму мы делим на число рабочих, чтобы снова открыть, сколько в среднем выпадает на долю каждого единичного рабочего. Процедура чрезвычайно хитроумная»¹.

Чтобы привести в движение ту часть общественного богатства, которая должна функционировать как постоянный капитал или как средства производства, необходимо, конечно, определенное количество живого человеческого труда. Это количество определяется техникой производства. Но не следует смешивать определенное количество живого труда с определенным числом рабочих рук, как делают теоретики «рабочего фонда». Степень эксплуатации рабочей силы, длина рабочего дня, интенсивность труда — всё это подлежит изменению и меняется, в значительной степени благодаря сопротивлению организованных рабочих. Следовательно, число рабочих, необходимое для приведения в действие средств производства, вовсе не есть определенная, постоянная величина. Столь же неопределенной остается цена рабочей силы, так как дана только ее минимальная, да к тому же эластичная граница. От организованного действия рабочих зависит поднять уровень заработной платы, хотя бы заставив капиталистов согласиться на уменьшение дохода и вообще сократить непроизводительное потребление.

Но Чернышевский не взглянул на учение о рабочем фонде с этой точки зрения. Он поспешил согласиться с ним, ибо это помогало его главной цели — обнаружить несоответствие капиталистической системы благосостоянию рабочих масс. При трехчленной системе, рассу-

¹ «Капитал», т. I, стр. 574.

ждает он, общество делится на два класса, интересы которых оказываются прямо противоположными по вопросу о рабочей плате. «Класс, которому выгодна низкость ее, управляет ходом экономических дел; теперь явна причина, по которой и рабочая плата низка, и размножение чрезмерно; причина эта — трехчленное деление продукта, раздельность рабочей платы от прибыли, то, что один человек нанимается, а другой нанимает на работу». Лишь в самых редких случаях рабочий класс может влиять на высоту заработной платы; это бывает в случае недостаточности числа рабочих, напр., в странах, только что начинающих населяться. Да и то, на взгляд Чернышевского, влияние это выражается в том, что в таких странах «работник, имея возможность располагать своей судьбой, вводит в общественную промышленность такой порядок, что прежде всего озабочивается она производством предметов необходимости, требуемых простолюдинами». Здесь таким образом парализуется свойственная капиталистическому обществу тенденция «отвлекать от выгодных для общества производств к убыточным, как можно большее число рук, стремясь оставлять на выгодные производства как можно меньше рук». А потому количество средств продовольствия увеличивается, и рабочий фонд возрастает. Но такое влияние рабочего класса на размер рабочего фонда составляет в капиталистическом обществе исключение; общим же правилом является такой порядок, при котором быстрый рост населения, выходящий за пределы наличного рабочего фонда, угрожает благосостоянию массы. «Если размножение не сдерживается какими-нибудь средствами, рабочая плата быстро падает до минимума, и дальнейшее ее понижение задерживается только физической невозможностью поддержать жизнь при меньшей величине ее. Постоянно возникающий излишек населения постоянно уносится последствиями материальной нужды — пороком и болезнью. Поэтому при трехчленной системе распределения необходимо приискивать искусственные средства, чтобы отвратить излишек размножения и избавить общество от его убийственных последствий».

Милль, в принципе приемлющий капиталистические отношения, не останавливается перед такими мальтузианскими выводами¹. Чернышевский, принципиально отвергающий принцип частной собственности и всякий основанный на нем режим, конечно, отказывается последовать за Миллем по этому пути, но признает логичность и неизбежность мальтузианских выводов при сохранении капиталистического строя. При нем «действительно существует для каждой европейской нации

¹ Следует заметить, что в 1869 году Милль под влиянием книги Торнтона «Труд» отказался от теории рабочего фонда.

дилемма: или общество не может обеспечить работу каждому желающему работать, или принуждено принимать меры против размножения». Но так как рабочий класс в массе никогда не согласится на широкую практику мальтузианства, и так как все иные меры, предлагаемые филантропами, экономистами и утопистами (вроде права на труд, минимальной заработной платы, расширения колонизации и т. п.), или неосуществимы при системе трехчленного деления, или представляют жалкие паллиативы, то отсюда следует один вывод: капиталистический строй должен быть в интересах массы заменен социалистическим. «Величина рабочей платы может быть удовлетворительна лишь тогда, когда в действительности не будет наемного труда, т. е. не будет и рабочей платы, — когда в действительности этот элемент будет сочетаться в одних руках с прибылью, когда отдельные классы наемных работников и нанимателей труда исчезнут, заменившись одним классом людей, которые будут работниками и хозяевами вместе» ¹.

Вот для чего Чернышевский так легко допустил теорию рабочего фонда, вот для чего он частично готов был признать даже правоту Мальтуса, с учением которого обыкновенно горячо полемизировал ².

¹ «Примечания к Миллю», стр. 370—388.

² Опровержению пресловутого «мальтусова закона» посвящена самая большая глава в «Примечаниях к Миллю» (стр. 244—303); кроме того Чернышевский неоднократно возвращается к этому вопросу в других местах. Неудивительно, что этот вопрос так сильно его занимал. Ввиду его стремления открыть постоянные экономические законы, собственно законы социалистического строя, ему необходимо было прежде всего опровергнуть закон Мальтуса, также и даже особенно претендующий на вечное значение и притом решительно противоречащий утверждению нашего автора о возможности счастья на земле при рациональной организации экономического устройства. Если бы оказалась верна «мальтусова теорема», гласящая, что население размножается или стремится размножиться с быстротой, с какою не может возрасти земледельческий продукт, то учение Чернышевского, объяснявшего все социальные нестроения неразумным распределением рабочих сил между различными занятиями, было бы в сильнейшей степени подорвано. Вот почему он с таким усердием и подробностями стремится опровергнуть учение Мальтуса. Ныне эта полемика утратила интерес современности, и мы не будем на ней останавливаться, равно как не станем проверять во всех деталях арифметические выкладки Чернышевского (некоторые, несущественные, впрочем, ошибки он сам признал в письме от 21 апреля 1877 года из Сибири). Скажем лишь, что по нашему мнению ему вполне удалось доказать произвольность и неосновательность аргументации Мальтуса и изобличить есикофантский характер, стремление сваливать причину зла на природу, ставить разрешение задачи выше власти человека, вместо того чтобы искать причину зла в исторически сложившихся общественных условиях. Мы, конечно, далеко не присоединяемся к положительным взглядам, высказанным

Разоблачать пибельное значение капитализма (или, употребляя его выражение, системы трехчленного деления продукта) было его главной задачей ¹.

Чернышевским во время этой полемики (напр., к его об'яснению «недостаточности земледельческого продукта» непроизводительным потреблением ренты и прибыли или прогрессивным уменьшением пропорции землепашцев в составе населения). Но мы совершенно согласны с его характеристикой учения Мальтуса, который, по словам нашего автора, «принялся за исследование с реакционной целью», чтобы найти «аргумент против радикальных теорий», и с сущностью его заключения, гласящего, что дело идет не о перedelке человеческого организма, а о преобразовании общественных отношений. Недостаток анализа Чернышевского заключается в том, что он не исследовал процесса образования относительного перенаселения или резервной рабочей армии, как общий закон капиталистического накопления. От этого его аргументация получила слишком абстрактный характер и много потеряла в своей убедительности. «Рабочее население, производя накопление капитала, тем самым в возрастающих размерах само производит средства, которые делают его относительно избыточным населением. Это — свойственный капиталистическому способу производства закон населения, как и всякому особенному историческому способу производства свойственны свои особенные, имеющие историческое значение, законы населения. Абстрактный закон населения существует только для растений и животных, пока в эту область исторически не вмешивается человек» («Капитал», т. I, стр. 594—595). Чернышевский в сущности хотел выразить эту мысль, когда указывал, что закон Мальтуса применим-де к трехчленной системе распределения (см. выше). — Возражения против аргументации Чернышевского см. у Плеханова (т. VI, стр. 181—231) и у Каутского — «Чернышевский и Мальтус» в приложении к книге «Размножение и развитие в природе и обществе», Москва 1923, страницы 215—235. Каутский признает Чернышевского самым опасным противником Мальтуса, а его метод называет блестящим математическим методом.

¹ По поводу констатированной даже буржуазными экономистами тенденции капитала низвести заработок целой пролетарской семьи до уровня заработной платы, прежде получавшейся одним мужчиной, Чернышевский саркастически замечает: «Очень милая вещь — этот принцип трехчленного деления. Чем больше вы всматриваетесь в него, тем яснее обнаруживается прелестная ответственность его с коренными идеями экономической науки. Если муж работает один, он получает известную плату. Если жена, вместо пустой траты времени на вздорные дразги, станет работать дельным образом подобно мужу, она вместе с мужем будет получать плату не больше той, какая прежде давалась одному мужу. Если дети станут помогать родителям, положение родителей и детей нисколько не улучшается. Какое прекрасное поощрение людям к тому, чтобы занимался дельною работой каждый, кто в силах заниматься ею, — какое хорошее возбуждение к трудолюбию и какая справедливая сообразность вознаграждения с количеством труда!» («Примечания к Миллю», стр. 392).

7. Капитализм и социализм

Из предыдущего изложения читатель мог составить себе представление о характере экономической системы Чернышевского, его методе и цели его исследований. Цель эта заключалась в том, чтобы путем критики существующих экономических отношений обнаружить вред капитализма для широких народных масс, подчеркнуть его преходящий характер и выявить основные черты будущего социалистического строя. При этом центр тяжести переносился естественно в область критики существующего с точки зрения предстоящего и в область характеристики будущего строя — хотя бы в самых общих чертах. От этого анализ существующих экономических отношений несколько пострадал, и, как мы видели выше, определение некоторых основных понятий политической экономии у Чернышевского оказалось невыдержанным с исторической и диалектической точки зрения.

Но если недостатки примененного Чернышевским метода вредно отразились на общем значении системы и сделали ее недолговечной, если эта система сыграла известную историческую роль, но в настоящее время должна быть признана устарелой ¹, то эти общие недочеты и неточность отдельных определений не помешали нашему автору высказать целый ряд глубоких критических замечаний относительно капиталистического строя в его целом. И в этой области дарование и проницательность нашего автора сказались с полным блеском.

Прежде всего Чернышевский неоднократно и упорно подчеркивает исторический и преходящий характер не только капиталистической системы, но и частной собственности. У разных народов и в разные эпохи у одного народа, говорит он, мы видим чрезвычайно разнообразные формы экономического устройства. У разных варварских и полуварварских племен до сих пор сохранились формы, представляющие видимое сходство с коммунизмом и некогда господствовавшие среди европейских наций, а отчасти сохранившиеся среди них и доныне, как, например, общинное землевладение, водное право и т. д. ². С другой стороны, среди передовых

¹ Возможно, однако, что в будущем, когда начнет вырабатываться политическая экономия коммунистического строя, многие положения Чернышевского, хотя, вероятно, и в измененной форме, войдут в эту теорию, в предвидении которой он писал свои экономические работы.

² Эти рассуждения Чернышевского напоминают рассуждения Гэда и Лафарга в комментариях к программе «Французской Рабочей партии», выработанной при участии Маркса. См. Гэд и Лафарг — «Программа рабочей партии». Спб. 1906, изд. «Знания», стр. 3, 7, 8.

наций за последнее время начинают намечаться некоторые тенденции, противоположные абсолютному праву частной собственности; Чернышевский указывает на акционерные общества, захватывающие все больше места в промышленной деятельности, и на экспроприации, совершаемые государством в интересах предприятий, имеющих общественный характер. Нынешний капиталистический строй развился исторически; он не представляет чего-нибудь естественного, вечного, и с дальнейшим историческим развитием он неминуемо должен исчезнуть¹.

Капитализм и рабовладительство по сущности своей представляют сходные институты, говорит наш автор, а наемный труд является последней степенью невольничества². «Пусть они (экономисты) подумают об основных чертах рабства, они увидят повторение всех этих невыгодных обстоятельств при таком порядке вещей, где собственность и труд не соединены в одном лице. Невольник получает за свой труд пищу, жилище и т. д., — то, что необходимо для поддержания его жизни, а продукт труда принадлежит не ему. Вот существенная черта невольничества». Невольник получает вознаграждение натурой, наемный рабочий деньгами, но норма вознаграждения в обоих случаях одинакова: это — возможность поддержать существование. Велика или мала ценность продуктов, производимых в течение известного времени наемным рабочим, для него все равно: он не получит больше того, что нужно ему для поддержания своей жизни. «Поэтому мы говорим, что между состоянием невольника и наемного рабочего существует огромная разница в нравственном и юридическом отношениях; но специальной экономической разницы в их отношениях к производству нет никакой³. Для экономиста важнее всего общая им черта: «власть частного человека над экономическими силами другого человека», как говорит Чернышевский, или «эксплоатация человека человеком», как говорили сен-симонисты.

Нынешние отношения труда к капиталу сложились исторически и с течением времени должны исчезнуть; в экономических отношениях труда к собственности должна произойти перемена, аналогичная юри-

¹ «Примечания к Миллю», стр. 308—309. — Ср. стр. 314. «Принцип соперничества не может считаться всеобщим принципом экономической деятельности. Лишь с недавнего времени, даже и в передовых странах, стал он господствовать хотя над некоторыми сторонами экономической жизни».

² Это — мысль сен-симонистской школы, особенно ясно изложенная в главном труде этой школы «Изложение сен-симонистской доктрины». Ср. «Великие утописты» под ред. И. Удальцова, вып. III—IV, М. 1926, стр. 144.

³ «Капитал и труд», loc. cit., стр. 15.

дическому раскрепощению личности. «Эта перемена должна состоять в том, чтобы сам работник был и хозяином. Только тогда и энергия производства поднимается в такой же мере, как уничтожением невольничества поднимается чувство личного достоинства» (ibid., стр. 16).

Переходя к мыслям Чернышевского о положении труда в современном обществе, мы сразу замечаем, что в значительной степени эти мысли навеяны творениями Фурье, в особенности его учением о человеческих страстях¹. Определенно намекая на учение Фурье, Чернышевский не решается высказаться категорически относительно абсолютного значения той мысли великого мечтателя и психолога, что «н и к а к о й род труда не заключает сам в себе ничего неприятного», ибо «экономическое устройство, которое считается рациональным в этой теории, до сих пор еще не осуществлено, и потому нельзя с достоверностью знать, в том ли именно размере изменится при этом устройстве характер всякого труда, как предполагает она»². Но он согласен с общей мыслью этой теории, утверждающей, что «неприятные ощущения, производимые трудом в трудящемся человеке, проистекают не из сущности самой деятельности, имеющей имя труда, а из случайных внешних обстоятельств, обыкновенно сопровождающих эту деятельность при нынешнем состоянии общества, но устраняющихся от нее другим экономическим устройством... Напротив, сам по себе труд есть деятельность приятная или по термину, принятому этой теорией, деятельность привлекательная, так что, если отстраняется внешняя неблагоприятная для труда обстановка, он составляет наслаждение для трудящегося».

Чернышевский устанавливает следующий психологический закон: ощущение приятное производится трудом всегда, когда существуют следующие три условия: во-первых, когда труду не препятствуют слишком сильные внешние помехи; во-вторых, когда человек совершает его по собственному соображению о его надобности или полезности для него самого, а не по внешнему принуждению; в-третьих, когда труд не продолжается более того времени, пока мускулы совершают его без изнурения, вредного организму, разрушающего организм. Неприятность труда всегда происходит от неисполнения этих условий. В этом отношении труд не отличается ни от какой другой органической деятельности: движение, работа составляют функцию мускулов, как зрение составляет функцию глаза, мышление — функцию мозга, пище-

¹ См. Б е б е л ь — «Шарль Фурье, его жизнь и учение», Спб. 1906; Т у г а н - Б а р а н о в с к и й — «Современный социализм в своем историческом развитии», Спб. 1906; «Великие утописты», loc. cit., стр. 227 и сл.

² «Примечания к Миллю», стр. 70 и сл.

варение — функцию желудка. А как известно, приятное ощущение получается каждым из человеческих органов тогда, когда он с известною степенью энергии занят своею функциею. Отсутствие надлежащего количества труда производит в мускулах чувство неудовлетворенности; чрезмерное количество труда ведет к их изнурению.

Совершенно очевидно, что этот анализ «антропологического» характера труда ¹ преследует все ту же цель — обличение капиталистического производства, при котором эти условия нарушаются, и доказательство необходимости социалистического строя, при котором и только при котором возможно создание благоприятной обстановки для труда. В будущем обществе «с одной стороны, труд будет становиться все производительнее и производительнее, с другой стороны, все меньшая и меньшая доля его будет тратиться на производство предметов бесполезных... Труд из тяжелой необходимости обратится в легкое и приятное удовлетворение физиологической потребности, как ныне возвышается до такой степени умственная работа в людях просвещенных» ².

С другой стороны, установленный нашим автором выше закон послужил ему фундаментом для исследования разделения труда — главным образом технического разделения труда ³. Для здоровья, говорит он, полезна та работа, которая дает хорошее занятие мускулам всех частей организма. Но такие производительные процессы свойственны преимущественно низшим стадиям экономического быта. «Чем более совершенствуется производство, тем одностороннее становится требуемый от работника труд». Разделение труда и специализация рабочих развивается все сильнее, а высокое разделение труда при нынешнем порядке производства, по которому каждый работник вечно остается при одной и той же частице дела, ведет к порче организма в огромном большинстве работников, находящихся при процессах усовершенствованного производства». Но кроме этих чисто физиологических последствий разделение труда влечет за собой для массы рабочих и вредные экономические последствия: уменьшая затраты на подготовку рабочего, оно ведет к понижению заработной платы. «При

¹ «Примечания к Миллю», стр. 76.

² «Экономическая деятельность и законодательство». «Соч.», т. IV, стр. 449—450. Эти же мысли, иногда почти в тех же выражениях, развивал Консидеран, сочинения которого несомненно оказали сильное влияние на Чернышевского.

³ В этой области у Чернышевского было немало крупных предшественников, разрабатывавших вопрос о вредном влиянии разделения труда на рабочих (особенно Сисмонди)...

машине почти все работники исполняют чисто механический труд; человеческое занятие, требующее ума и технического знания, имеет один управляющий всем механизмом; потому совершенствование производительных процессов при нынешнем экономическом порядке необходимо ведет к упадку рабочего класса в экономическом отношении»¹.

Итак, вредное действие разделения труда на экономическое положение и даже на самый организм рабочего не подлежит сомнению. Что же? Следует ли на этом основании осудить технический прогресс и рекомендовать возврат к давно пройденным стадиям экономического развития? Нет, отвечает Чернышевский. Если вредное действие разделения труда несомненно, то столь же несомненно, что «для человеческого благосостояния нужно усиление производства, а возрастание производства требует разделения труда». Что ж мы имеем теперь? — спрашивает наш автор, в котором просыпается старый диалектик. — Мы имеем две формулы, сопоставление которых приводит к такому выводу: элемент, развитие которого необходимо для благосостояния, гибелен для массы людей своим развитием. Но «к подобному выводу сводятся почти все вопросы политической экономии», а это объясняется антиномическим характером капиталистического производства. В данном случае антиномия, столь смущавшая экономистов, разрешается по словам Чернышевского очень просто.

Разделение труда необходимо. Но следует ли из этого необходимость отдельному работнику заниматься целый день, целую жизнь именно только трудом над известною дробною операциею? «Этого принцип разделения труда вовсе не предполагает. Напротив, чем выше проводится разделение труда, тем легче становится одному человеку поочередно заниматься множеством разных дробных операций». При высоком разделении труда для рабочих нет никакого затруднения поочередно переходить от одной операции к другой, меняя их так, чтобы организм его поочередно работал всеми частями, поочередно находился в разных положениях, чтобы разнообразием сохранилось его здоровье. «Этому разнообразию нисколько не мешает самый принцип разделения труда; напротив, он ведет к нему».

Чернышевский приводит пример простой кооперации — портняжной мастерской, почти не знающей разделения труда и тем не менее крайне вредной для здоровья рабочих. «Это — простое сотрудничество, — говорит он, — а не разделение занятий. Тут нет никаких усовершенствованных процессов, — в мастерской модного магазина

¹ «Примечания к Миллю», стр. 180—190.

платье изготовляется тою же самою техникой, как изготовлялось чуть ли еще не в померовское время. Но введите тут машины, усовершенствуйте процессы производства, и вы увидите, что с разделением занятий, с распадением одного неразрывного ряда операций, составляющего ныне все шитье, на множество отдельных операций, явится и разнообразие занятий. Из этого мы видим, что если какое-нибудь производство само по себе нездорово, то причиной тут бывает не разделение занятий, а именно недостаточное приложение этого принципа к производству, и что для поправления дела нужно усилить в нем разделение занятий».

Разнообразие занятий, содействуя физическому развитию работника, с другой стороны, явится могучим фактором его умственного развития, без которого нельзя достигнуть высокой производительности труда ¹. Разделение занятий зависит от размера рынка — это так; но переход от одного занятия к другому «дает возможность при каждом данном размере рынка доводить разделение занятий, т. е. совершенствование производительных процессов, до степени гораздо высшей, чем какая возможна без поочередного занятия одного и того же работника разными операциями» ².

При этом Чернышевский неоднократно и настойчиво подчеркивает, что эта тенденция наталкивается на современное общественное устройство, на организацию современной промышленности и в частности на отделение промышленности от земледелия ³. Поэтому бьет мимо цели

¹ Фурье вводит в своей фаланге порядок, обеспечивающий свободную смену занятий; это, по его мнению, должно сделать труд неизнурительным и привлекательным. А в этом вопросе Фурье был учителем Чернышевского. Возражая сторонникам специализации во что бы то ни стало, Чернышевский напоминает им, что «большая часть изобретений были сделаны неспециалистами», и что, согласно афоризму Пруtkова, «специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя».

² В «Нищете философии», стр. 127—133, Маркс высказывает ту же мысль, что и Чернышевский, а именно, что в своем диалектическом развитии разделение труда создает почву для своего собственного уничтожения и для всестороннего развития личности. В «Капитале» Маркс подчеркивает, что современная крупная промышленность своими катастрофами делает вопросом жизни и смерти признание перемены занятий, а потому и максимальной разносторонности рабочих за всеобщий закон общественного производства, к нормальному осуществлению которого должны быть приспособлены отношения («Капитал», т. I, стр. 451). — Как видим, Чернышевский по своему взгляду на разделение труда стоит довольно близко к Марксу; разница та, что у нашего автора вся аргументация носит более абстрактный характер, и почти отсутствует историческое освещение процесса.

³ Экономическим идеалом Чернышевский признает объединение промышленности и земледелия; но это не заставляет его закрывать глаза на

возражение П. Маслова, считающего предложенное Чернышевским решение слишком упрощенным.

«Если рассмотреть условия технического прогресса, какими они были до сих пор, — говорит Маслов, — то выяснится, что решение указанной антиномии едва ли так просто, как думает автор». И дальше он прибавляет: «Решение антиномии, указанной (-ое?) Чернышевским, тем труднее, чем больше преобладает мелкое производство, чем меньше средств производства ¹. Но в том-то и дело, что Чернышевский, когда давал свое решение, думал не о мелком производстве, а о совершенно другом экономическом укладе, о коммунистическом строе, основанном на широчайшем применении машинизма как в индустрии, так и в земледелии. И он был совершенно прав.

Не менее интересны соображения нашего автора о взаимоотношении крупного и мелкого производства. Уже буржуазная экономия установила преимущества крупного производства над мелким; социалисты-утописты еще глубже развили мысль о вытеснении мелких предприятий крупными, ремесла мануфактурой и машинной индустрией, и использовали ее для критики современной экономической системы. В этом пункте Чернышевский имел таких предшественников, как Фурье, Консидеран, Пеккер и Сисмонди, не говоря уже о теоретиках крупной буржуазии. Перевес и победа крупного производства над мелким в промышленности кажутся ему настолько бесспорными и ясными, что он на них и не останавливается, а сосредоточивает главное свое внимание на вопросе о крупном производстве в сельском хозяйстве.

В настоящее время, говорит он (и поясняет в скобках: в 1860 г.), земледелие еще стоит на низкой стадии развития, «или выражаясь экономическим языком, к нему еще в слишком слабой степени прилагается капитал». Но для него не подлежит сомнению, что эта экономическая отсталость сельского хозяйства долго не удержится. Торговля и промышленность в передовых странах уже переполнены капиталом, и он рвется к тому, чтобы захватить новые отрасли деятельности. «Ему остается одно производительное помещение — в сельском хозяйстве» ².

действительность, и он определенно заявляет, что при нынешних экономических формах отделение промышленности от земледелия неизбежно («Примечания к Миллю», стр. 187).

¹ Маслов — «Идеализация натурального хозяйства». «Научное Обозрение», 1899, № 1, стр. 171 и 174.

² Чернышевский указывает, что на очереди стоит вопрос о паровом плуге; удачны или неудачны первые опыты его применения, это все равно, говорит он: не ныне — завтра явятся паровые плуги удовлетворительной

Указавши на успехи техники, механики, химии и пр., Чернышевский заключает: «Кажется, всех этих фактов довольно, чтобы убедить нас в приближении коренной реформы земледельческого производства, реформы вроде той, какая произведена в мануфактурном деле открытиями конца прошлого и начала нынешнего столетий».

Чернышевский прекрасно знает, что «земледельческий процесс отличается от промышленного гораздо большею сложностью элементов, участвующих в нем. Тут входят климатические и геологические условия, которых не знает фабрика». Этим и объясняется, почему наука стала управляться с вопросами земледелия гораздо позднее, чем с промышленностью: решение более сложных задач требовало большего запаса знаний. В этом отношении наука уже прошла значительную часть нужного пути и быстро движется к дальнейшим завоеваниям. «Из этого надобно заключить, — смело делает вывод наш диалектик, — что скоро исчезнут причины различия между земледелием и фабричной промышленностью по отношению к выгодности производства в большом размере».

Чернышевский признает, что это еще — не факт, а гипотеза, имеющая большую степень вероятности. Предоставляя следующим поколениям детальный анализ вопроса о полном сходстве или о существовании некоторой внутренней разницы между земледелием и промышленностью, он обращается к общему разбору экономических свойств производства в большом и малом размере, независимо от частного вопроса о грядущем преобразовании сельского хозяйства. Все преимущества мелкого земледелия сводятся к одному: работы исполняются людьми, непосредственно заинтересованными в их успешности (крестьянином и его семьей). Все преимущества крупного хозяйства также сводятся к одному: «оно имеет очень хорошие средства к успешному ведению дела, имеет лучшие орудия, имеет экономное распределение земли. В малом хозяйстве значительная пропорция земли пропадает, нельзя так удобно расположить разных полей и угодий, нельзя иметь таких хороших угодий»¹.

конструкции. «Применение паровых машин к земледелию распространяется в передовых странах Европы с каждым годом и скоро должно перейти на главнейшие операции земледелия, на пахание и на уборку хлеба. Вместе с этим приложением больших машин к прямому земледельческому труду, начинается производство подготовительных работ в большом размере. Достаточно указать на дренаж» (ibid., стр. 208). — Здесь сказалась вся глубокая проницательность нашего автора.

¹ «Примечания к Миллю», стр. 210. — Правда, Чернышевский клонит все время к доказательству своей излюбленной мысли о необходимости кол-

Очевидно, технические преимущества крупного сельского хозяйства («большее сочетание труда, употребление более могущественных способов производства и... перевес большого хозяйства в некоторых специальных отраслях сельской промышленности, напр., в овцеводстве») — эти технические преимущества перевешивали в его глазах моральное преимущество мелкого хозяйства крестьян-собственников. Ибо в результате своего анализа он приходит к тому выводу, что сельское хозяйство не является исключением из общих законов промышленной деятельности: и здесь крупное производство должно одержать верх над мелким. «Перевес выгод, даваемых делу усовершенствованными процессами, требующими обширных размеров производства, так велик, что ни в какой отрасли экономического быта мелкое хозяйство не может выдержать соперничества с большим, как скоро прогресс технологии и механики открывает возможность усовершенствованных процессов в этом деле, и начинает прилагаться к делу капитал большими массами: никакое усердие в труде не спасает мелкого хозяина, когда являются у большого хозяина усовершенствованные процессы, недоступные мелким. Если при нынешнем общественном устройстве поселяне-собственники еще сохранились на континенте Западной Европы, это лишь потому, что земледелие в их местах еще сохранило неразвитые процессы производства и в больших хозяйствах. Когда оно станет (а оно уже начинает становиться) не патриархальным, а коммерческим делом, мелкие хозяйства должны погибнуть при нынешнем экономическом устройстве»¹.

Как видим, в этом вопросе Чернышевский стоит гораздо ближе к «догматикам»-марксистам, чем к эпигонам народничества, которые вслед за «ревизионистами» стараются доказать преимущество мелкого земледелия перед крупным и чуть ли не его победу. Это потому, что, по мнению Чернышевского, нет никаких рациональных оснований выделять сельское хозяйство из общих законов капиталистического развития. А экономический прогресс, говорит он совершенно определенно, ведет

лективного хозяйства, соединяющего в себе все хорошие стороны крупного и мелкого производства; но эта тенденция ничуть не умаляет значения его аргументации и не ослабляет ее силы.

¹ Ibid., стр. 361. — Это, впрочем, было для него ясно уже в 1857 году. «И земледелие, и заводско-фабричная промышленность, — писал он («Соч.», т. III, стр. 182), — находятся под властью безграничного соперничества отдельных личностей; чем обширнее размеры производства, тем дешевле стоимость произведений, потому большие капиталисты подавляют мелких, которые мало-по-малу уступают им место, переходя в разряд их наемных людей».

к замене мелких ремесленных предприятий фабрикой, а самостоятельных производителей наемными рабочими; вместе с тем крестьянин-собственник уступает место фермеру-капиталисту. «Поселянам-собственникам соответствуют те мелкие ремесленники и мастера, которые работают в своих мастерских по одиночке, при помощи лишь своей семьи, да разве двух-трех несовершеннолетних учеников. Коттерам соответствуют те работники мануфактуры, которые занимаются работою у себя на дому, получая работу от большого хозяина. Но масса работников во всех заводских, фабричных и ремесленных производствах быстро переходит в состояние наемных работников, а в отраслях промышленности, где наиболее усовершенствованы процессы производства, уже вся сполна перешла в это положение» (ibid., стр. 362).

Пролетаризация некогда самостоятельных производителей и концентрация производства составляют характерную и неотвратимую черту капиталистической эволюции. «Коренная черта экономического прогресса с технической стороны — расширение производительной единицы по мере успехов сочетания труда; все отрасли производства постепенно принимают фабричный размер. Ремесленник, работающий при помощи своего семейства и двух-трех учеников, заменяется фабрикантом; поселянин-собственник уступает место фермеру-капиталисту. От этого, соразмерно экономическому прогрессу, увеличивается пропорция наемных работников и уменьшается пропорция самостоятельных хозяев в рабочих классах» (ibid., стр. 523). По словам Чернышевского отрицательные стороны капиталистической системы сводятся к следующему: 1) пролетаризация самостоятельных производителей; 2) пауперизация мелких собственников, обремененных долгами и лишенных возможности применять в своем хозяйстве научные открытия; 3) эксплуатация наемных рабочих и мелких собственников крупными капиталистами; 4) неограниченная конкуренция; 5) концентрация капиталов и подавление мелких капиталистов крупными, причем первые переходят в разряд наемных рабочих; 6) систематическое понижение заработной платы в результате конкуренции между рабочими. «По роковому закону безграничного соперничества богатство (капиталистов) должно всё возрастать, сосредоточиваясь всё в меньшем и меньшем числе рук, а положение бедняков должно становиться всё тяжелее и тяжелее»¹.

¹ «Заметки о журналах», апрель 1857 г. («Славянофилы и вопрос об общине»). «Соч.», т. III, стр. 181—183.

Словом, Чернышевский явно разделял так называемую «теорию обнищания».

Капиталистическая эволюция ведет таким образом к социальной деградации трудящихся и к систематическому ухудшению их положения. В частности, говоря о влиянии машинизма на рабочий класс, он указывает, что: 1) сто лет назад масса народа в Англии носила льняное и шерстяное белье и платье вместо нынешнего хлопчатобумажного; 2) уничтожилась домашняя выделка льняных и шерстяных тканей; 3) возделыванием льна и шерсти занимались свободные люди в Англии или на континенте Европы; теперь вместо их продуктов, вместо льна и шерсти, требуется материал, производимый рабским трудом в южных штатах Северной Америки: «Без Манчестера рабство в Северной Америке давно уничтожилось бы»¹.

С другой стороны, Чернышевский неоднократно указывал, что капиталистический строй мешает нации использовать все естественные средства страны и сдерживает развитие производительных сил. Особенно вредно действует в этом отношении поземельная рента, которая «находится в обратном отношении к успехам земледельческого искусства... Она является силою, противодействующею прогрессу земледельческой техники, а по связи этой техники с другими производительными искусстваами и с чистою наукою становится во враждебное отношение ко всякому прогрессу»². Это же доказывается и кризисами, периодическими катастрофами, неизбежными в капиталистическом обществе.

Коммерческие кризисы, говорит он, зависят от расположения торговцев и спекулянтов пользоваться всею своею покупательною силою для чрезвычайного увеличения закупок. Но это, замечает наш автор, еще ничего не объясняет. Милль останавливается только на одной коммерческой стороне процесса, не считая нужным упомянуть о его влиянии на производство и потребление. В первое время, когда цены растут, производители, надеясь на продолжительный и легкий сбыт, усиливают свою деятельность. Но наряду с усилением производства потребление уменьшается, благодаря расстройству дел в эпохи

¹ «Примечание к Миллю», стр. 128. — Ср. «Нищету философии», стр. 59—60; «Капитал», т. I, стр. 720—721.

² Ibid., стр. 380, 449, 490, 509. — Один из главных учителей Чернышевского, Фурье, также много говорил об этом недостатке капиталистического строя или «цивилизации», которая частью не утилизирует наличных производительных сил, частью прямо разрушает их; в этом смысле цивилизация не удовлетворяет главному требованию, которое можно предъявить к социальной организации, — созданию максимальной суммы богатства.

торговых кризисов. От этого чрезмерные запасы еще дольше остаются непотребленными. Таким образом с коммерческим кризисом всегда бывает связан промышленный, во время которого ослабевает производство. При социалистическом строе, где производство точно рассчитано на потребление, общего перепроизводства быть не может. Но в капиталистическом обществе, где от сбыта на потребление отделен сбыт на спекуляцию, на перепродажу, и где производство регулируется этим последним видом сбыта, — при всяком отклонении в размере сбыта на спекуляцию от сбыта на потребление будет сказываться несоразмерность производства с потреблением. В таком обществе «производство... увлекается работать не по расчету потребления, опережать размер сбыта на действительное потребление. От этого происходит периодический излишек производства над потреблением, ведущий к остановке в производстве»¹.

«Корень этого бедствия, — поясняет Чернышевский, — заключается в отделении покупательной силы от производства и потребления»². Кризис представляет крайность, до которой дело доходит лишь по временам, в сроки, обыкновенно отделенные друг от друга несколькими годами. Но в капиталистическом обществе в меньшем размере непрерывно идет тот же процесс поочередной смены чрезмерного возвышения цен с соответственным усилением производства и чрезмерного упадка цен с ослаблением производства³.

Но, критикуя капиталистическое общество, Чернышевский отнюдь не впадал в приторное прикрашивание докапиталистических отношений и доброго старого времени. «Доказывая неудовлетворительность соперничества, выражаются или думают так, как будто лучше его были формы, им вытесняемые. Мы не имеем ничего подобного такому взгляду в своих мыслях и стараемся (не

¹ Ibid., стр. 477 и сл. — Еще Фурье указывал, что в цивилизации «бедность возникает из самого избытка».

² Ibid., стр. 485. — Ср. «Капитал и труд», *loc. cit.*, стр. 43: «Производство капиталиста подвержено непрерывным застоям, а весь экономический порядок, основанный не на потреблении, а на сбыте, подвержен неизбежным промышленным и торговым кризисам, из которых каждый состоит в потере миллионов и десятков миллионов рабочих дней. Эти кризисы, эта насильственная утрата рабочего времени невозможны при производстве, мерилom которого служит потребление».

³ Плеханов (т. VI, стр. 234), указывая на то, что Чернышевский не сумел выяснить действительного происхождения кризисов в капиталистическом обществе, прибавляет: «Указание на истинную причину кризисов заключается уже в собственных словах Чернышевского» (о перепроизводстве в результате спекуляции).

знаем, успеваем ли) выражаться так, чтобы не возбуждать ошибочных мыслей в этом отношении»¹. Итак Чернышевский старательно избегал всего, что так или иначе могло бы показаться идеализацией патриархальности, рутины и застоя. Отрицая капитализм с точки зрения будущего, а не прошлого, он не побоялся прямо поставить капиталистическую систему, систему конкуренции, гораздо выше патриархального, докапиталистического быта.

«Какие данные для своей расчетливости,— спрашивает он,— имеет производитель в патриархальном быте? Только свой личный или семейный опыт, с прибавкой довольно скудных сведений о производстве у некоторых соседей. Когда является биржа или возникают хотя зародыши ее, ярмарки и покупки товаров купцами для перепродажи, круг сравнения чрезвычайно расширяется. Являясь на базар, на ярмарку, на биржу, производитель видит свой товар сравниваемым с подобными товарами всех производителей целого обширного округа или целой страны, целого света; формой сравнения успешности производства тут служит цена. Производитель возбуждается к заботе об усовершенствованиях уже не одними своими личными наблюдениями и знакомствами, а всяким усовершенствованием, у кого бы то ни было, где бы то ни было достигнутым. Словом сказать, перевес соперничества над патриархальными средствами расчета тот, что оно сближает расчеты гораздо большего числа производителей.

«Есть у него и другое преимущество. При патриархальном расчете остается на произвол производителя, принимать или не принимать даже те усовершенствования, с которыми они знакомятся из скудных источников сведений того быта... При форме соперничества расчет выгоды приобретает силу физической необходимости; в этой форме он довольно быстро одолевает и рутину и фальшивое самолюбие»².

И если Чернышевский не останавливается на этих преимуществах системы соперничества, то «потому, что они очень подробно и резко выставляются на вид в каждом рутинном курсе политической экономии». Но капиталистическая система, хотя и стоит «гораздо выше» патриархального быта, отнюдь не является венцом творенья. Критикуя ее, мы «судим тут по требованиям науки, по средствам, какими

¹ Ibid., стр. 323. — Еще Фурье понимал превосходство «цивилизации» над докапиталистическими формами быта и, наряду с отрицательными ее сторонами, указывал и ее положительные стороны: «цивилизация создала средства для осуществления будущего строя, ассоциации: она создала крупное производство, науки и искусства».

² Ibid., стр. 322. — Ср. «Коммунистический Манифест».

снабжает она человека, а не по старинному, еще менее удовлетворительному быту. Не о том речь, лучше ли старого новое, удовлетворительнее ли настоящее прошедшего; речь о том, не следует ли искать еще лучшего, и не имеет ли человек уже и теперь средств ввести в свой быт принципы, которые были бы настолько же лучше нынешних, насколько нынешние лучше каких-нибудь чисто варварских старинных». Говоря, например, о тяжелом положении современного рабочего, мы отнюдь не выказываем этим какого-либо пристрастия к невольничеству, — нет, мы сравниваем положение наемного рабочего, эксплуатируемого капиталом, с положением свободного производителя, члена социалистического общества.

Капиталистическая система сыграла в истории положительную роль тем, что обеспечила юридическую свободу личности — и в этом Чернышевский признает ее громадную заслугу¹. Но тут же он указывает на отрицательные стороны капиталистической эволюции, которые мы перечисляли выше (пролетаризация самостоятельных производителей, сосредоточение богатств в руках кучки магнатов капитала, систематическое ухудшение положения пролетариата и пр.). При этом он подчеркивает, что все эти вредные действия капитализма «коренятся в самом принципе, в самой логике соперничества» и не могут быть устранены без устранения ее самой². Раскрепостивши личность юридически, капитализм с другой стороны сковал ее иными, не менее тяжкими, чем прежние, цепями. В результате капиталистической эволюции, охарактеризованной вышеуказанными чертами, и возник, по словам нашего автора, социализм как продолжение, дальнейшее расширение и дополнение борьбы за права личности. Чернышевский, очевидно, согласен был с мнением Лоренца Штейна, что верховной целью социализма является «законченное развитие личности».

А человеческая личность и ее благо стояли в центре мирозерцания Чернышевского³. «Выше

¹ «Обеспечение частных прав отдельной личности было существенным содержанием западно-европейской истории в последние столетия... В чрезвычайно высокой степени эта цель достигнута на Западе... Юридическая независимость и неприкосновенность отдельного лица повсюду освящена и законами, и обычаями» и т. д. («Заметки о журналах», апрель 1857 г., loc. cit., стр. 181—182). Ср. что он говорит о влиянии капиталистической эволюции на завоевание политической свободы (см. выше, стр. 385 и сл.).

² «Примечания к Миллю», стр. 325.

³ В сущности весь анализ и критику существующих отношений он вел с точки зрения своего «антропологического принципа», с точки зрения реального, чувственного и чувствующего человеческого существа. Выше мы уже намекнули на это, подчеркнувши его анализ «антропологического ха-

человеческой личности мы не принимаем на земном шаре ничего», — говорит он в статье «Экономическая деятельность и законодательство», посвященной полемике с теорией *laissez faire*. Общей нормой для оценки всех фактов общественной жизни служил для Чернышевского принцип «благо человека», и с точки зрения этого принципа он осуждал и современный капитализм, и теорию *laissez faire*¹. Он не отрицал, что принцип манчестерства в прежнее время «был чрезвычайно полезен, что и теперь во многих странах и во многих случаях он является благотворным»; но он утверждал, что, в свое время новый и благотворный, этот принцип с дальнейшим историческим развитием устарел и в настоящее время служит препятствием общественному прогрессу и дальнейшему освобождению личности. Полное освобождение личности будет обеспечено только социализмом.

Естественное развитие капиталистического общества ведет к социализму. «Экономическая история движется к развитию принципа товарищества»². Преимущества крупного хозяйства не подлежат сомнению; необходимо производство в крупных размерах, но с принадлежностью орудий производства самим рабочим³. Капиталистический строй способствовал развитию производительных сил; но для дальнейшего усовершенствования производства нужно сочетание всех трех элементов (земли, капитала и труда) в одних руках, т. е. установление социалистического строя. Полемизируя с Мальтусом, Чернышевский замечает, что люди должны переделать не свой организм, а общественные отношения, а это преобразование должно совершиться в смысле организации крупного производства в промышленности и

рактика труда. Капиталистический строй он осуждает с точки зрения потребностей человека, т. е. личности, имеющей право на всестороннее развитие. В анализе понятия стоимости он стоит на той же «антропологической» точке зрения; там он, между прочим, говорит: «Труд — единственный элемент производства, лежащий в организме самого человека; потому, с человеческой точки зрения, все продукты производства должны считаться продуктами исключительно труда» («Примечания к Миллю», стр. 150). Это необходимо иметь в виду, чтобы правильно понять метод и приемы Чернышевского.

¹ «Экономическая деятельность и законодательство», *loc. cit.*, стр. 423, 429.

² «Примечания к Миллю», стр. 539. — Ср. стр. 390, где Чернышевский говорит, что капитализм, не успевши развить всех своих тенденций, будет вытеснен социализмом: «Начинается поворот к другому устройству, противоположному той форме, которая превозносится господствующей теорией. Не успев дойти до полного развития, она будет вытеснена из науки и жизни принципом совершенно иного характера. Но если бы она не встретила этого противника, она сама себя уничтожила бы своим развитием».

³ *Ibid.*, стр. 210—211 и *passim*.

земледелии на коллективных началах. Экономический расчет существует и без формы соперничества (*ibid.*, стр. 321); социализм сохраняет и даже усиливает все выгодные стороны нынешнего производительного развития без его вредных сторон ¹. В частности он положит конец кризисам, «этой насильственной утрате рабочего времени», неизбежной при существующем экономическом порядке и невозможной при социалистическом строе.

8. ЭЛЕМЕНТЫ УТОПИЗМА В ВОЗЗРЕНИЯХ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Теперь ясно, в каком смысле Чернышевский говорит о необходимости для наемного рабочего сделаться самостоятельным. Этих слов Чернышевского отнюдь нельзя истолковывать в смысле мелкобуржуазного утопизма. Как мы видели выше, Чернышевский определенно утверждал, что при нынешних общественных отношениях мелкое производство обречено на гибель как в промышленности, так и в земледелии, и что производство в крупных размерах является исторической и общественной необходимостью. Его слова о превращении рабочих в самостоятельных хозяев означают лишь экономическую необходимость организации производства на коллективных началах ². Никакими мелкобуржуазными иллюзиями Чернышевский никогда не обольщался, и в статье «О поземельной собственности» он подробно доказывает, что источником бедности французского крестьянства является как раз его мелкая раздробленная собственность ³, да и вообще в жизнеспособность мелкого земледелия он, как мы видели выше, не верил.

В русской литературе имеется специальная работа, стремящаяся доказать, что Чернышевский в своих экономических построениях исходил из мелкобуржуазной точки зрения, иначе сказать, в своей критике капитализма и в своих проектах его переустройства исходил из идеологии мелкого крестьянина, ведущего натуральное хозяйство. Мы имеем ввиду статью П. Маслова «Идеализация натурального хозяйства», напечатанную в №№ 1 и 3 «Научного Обозрения» за 1899 год.

¹ «Капитал и труд», *loc. cit.*, стр. 39—40.

² «Примечания к Миллю», стр. 538—539. «Искать надлежащего благосостояния будет работник только тогда, когда станет хозяином; с тем вместе принцип сочетания труда и характер улучшенных производительных процессов требует производительной единицы очень значительного размера, а физиологические и другие естественные условия требуют сочетания очень многих разнородных производств в этой единице; и поэтому отдельные хозяева-работники должны соединяться в товарищества».

³ «Соч.», т. III, стр. 459.

Но Маслов сам опровергает свое надуманное построение. Установленная им «точка зрения» мелкого предпринимателя и мелкого собственника натурального хозяйства при ближайшем рассмотрении неожиданно переходит в свою полную противоположность, весьма сближаясь с точкой зрения пролетария. «Точка зрения собственника натурального хозяйства, разрушаемого товарным производством, — говорит он, — довольно близко подходит к точке зрения пролетария, являющегося результатом разрушения мелкого хозяйства. И та, и другая заключают в себе отрицание товарного хозяйства». В отличие от Сисмонди Чернышевский «рассматривал товарное хозяйство с точки зрения собственника и в то же время собственника-небуржуа, производителя продуктов, но не пролетария, — обладателя орудий производства, но не капиталиста. Поэтому он мог рассматривать товарное хозяйство как нечто постороннее, чуждое, не вдаваясь в апологию интересов крупной буржуазии или мелкого товарного производства, как делают защитники мелкого предпринимателя-товаропроизводителя — современные народники»¹.

Тщетно вы будете доказывать Маслову, что «собственник» и «в то же время собственник-небуржуа» это — *contradictio in adjecto*, что это — пустая абстракция, придуманная Масловым для подтверждения его противоречивой точки зрения, и что Чернышевский на самом деле в своих экономических работах критикует капитализм с точки зрения пролетариата, — все это будет напрасным трудом. Маслов сам сбил себя с толку, забыв, что коммунистический строй и есть отрицание товарного производства, восстановление натурального хозяйства на новой базе и в новой общественной обстановке, что это коммунистическое натуральное хозяйство ничего общего не имеет с натуральным хозяйством мелких разрозненных производителей, крестьян-собственников, что с точки зрения этого будущего натурального хозяйства на коммунистической основе, а вовсе не с точки зрения натурально-хозяйственного мелкого собственника Чернышевский критиковал капиталистический строй. Более того, когда он встречается у Чернышевского планы будущего коммунистического уклада, основанного как раз на коллективном товарищеском производстве, он упорно подводит их под свою предвзятую точку зрения, пытаясь и их истолковать в смысле идеологии... мы хотели было написать «мелких собственников натурального хозяйства», как это вытекает из исходного положения Маслова, если бы наш критик вдруг сам не забыл про свой исходный пункт и не завел песню из совершенно другой оперы.

¹ «Научное Обозрение» 1899, № 1, стр. 160.

«Для натурального хозяйства кооперативный труд является не только полезным, но прямо необходимым, так как чем больше работников в хозяйстве, тем лучше будут удовлетворены их потребности. Технический прогресс, введение машин тоже ничем не упрощает такому предприятию...

«Чернышевский и не задавался вопросом о том, возможно ли при данных общественных отношениях осуществление такого развития хозяйства, и указывал лишь на разумность и выгодность кооперации и техники при сокращении товарного обмена...

«Идеал автора, стоит выше существовавшего раньше натурального хозяйства, которое является у него лишь исходным пунктом развития»¹.

Итак, теперь уже речь идет не о мелком собственнике натурального хозяйства, с точки зрения которого Чернышевский якобы подходил к критике капитализма, а о крестьянской производительной кооперации как ячейке коммунистического строя, использующей завоевания техники, машины и пр. для коллективного труда. С идеологией мелкого собственника это имеет весьма мало общего. Каким же иным путем, кроме кооперирования разрозненных сельских производителей на базе машинной кооперации, возможно ввести крестьян в общую систему социалистического хозяйства? И разве в государстве победившего пролетариата, как сейчас в нашей Советской Республике, развитие совершается иным путем? Или же и точку зрения Ленина, который именно этот практический путь рекомендовал, и точку зрения Маркса, который несомненно смотрел на дело так же, можно объявить идеологией и идеализацией натурального хозяйства? Правда, при охоте можно сделать и это, но только при одном условии: если на место термина «коммунистический строй» подставить словечко «натуральное хозяйство», что, с одной стороны, будет как будто верно, но с другой — будет произвольным и непростительным смешением понятий.

Вся путаница Маслова проистекла от того, что он позволил себе играть термином «натуральное хозяйство», каждый раз придавая ему другой смысл. То под ним у Маслова разумеется докапиталистическое нетоварное хозяйство (хотя во времена Чернышевского такового в настоящем смысле уже почти не существовало), то Маслов отождествляет его с грядущим коммунистическим строем или, точнее, с переходным периодом от капитализма к социализму, характеризующимся кооперацией крестьянства, организацией сельскохозяйственных коллективов на основе механизированной техники. А так как по форме

¹ «Научное Обозрение» 1899, № 3, стр. 622.

оба они в некоторых отношениях (главным образом в отрицании товарного хозяйства и разрозненного мелкого производства) совпадают, то Маслову и нетрудно было превратить Чернышевского, идеолога грядущего «натурального хозяйства», т. е. коммунизма, в идеолога докапиталистического натурального хозяйства¹.

Утопистом не был Чернышевский и в том смысле, что прекрасно сознавал необходимость развития производительных сил. Меньше всего его можно обвинить в желании «повернуть назад колесо истории». Интересно в этом отношении то, что Чернышевский говорит об экономическом развитии России. Пусть он энергично защищал общину, как институт, способный при известных исторических комбинациях облегчить переход к социализму; это не мешало ему смотреть на действительность об'ективным взглядом. До сих пор, писал он в 1857 г., Россия была преимущественно государством земледельческим, и таковой она останется надолго. «Но того нельзя скрывать от себя, что Россия, доселе мало участвовавшая в экономическом движении, быстро вовлекается в него, и наш быт, доселе остававшийся почти чуждым влиянию тех экономических законов, которые обнаруживают свое могущество только при условии экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе. Скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции»².

Правда, в России существует общинное землевладение, обеспечивающее право массы населения на землю. Но этот институт не вечен, и легко может случиться, что он не устоит перед законами капиталистического развития. «При новой эпохе усиленного производства, в которую вступает Россия, многие из прежних экономических отношений, конечно, изменятся сообразно потребностям времени». Дальше Чернышевский рассматривает роль железных дорог, внутренней и внешней торговли и развития промышленности, причем его анализ сильно напоминает соответствующие страницы в марксовой «Нищете философии». Раз вступивши на путь капитализма, Россия должна будет подчиниться всем его законам³.

¹ Подробнее об этом см. в нашей статье «Был ли Чернышевский утопистом» («Под знаменем марксизма», 1928, № 1, стр. 72—76). — О неправильности применения к Чернышевскому термина «крестьянский социалист» см. в нашей статье «Мысли по поводу Чернышевского» («На Лит. Посту» 1928, № 13).

² «Соч.», т. III, стр. 185 (1857 г.).

³ «Соч.», т. III, стр. 186 (соответствующую цитату мы привели выше). — О том, что, по мнению Чернышевского, частная земельная собственность представляет неизбежный результат развития сельского хозяйства, мы также говорили выше; ср. «Соч.», т. I, стр. 389 и 429.

Но каковы бы ни были преобразования, вызываемые вступлением России в полосу капиталистического развития, «да не дерзнем мы, — говорит Чернышевский, — коснуться священного спасительного обычая, оставленного нам нашей прошедшею жизнью, бедность которой с избытком искупается одним этим драгоценным наследием, да не дерзнем мы посягнуть на общинное пользование землями!» Чернышевский в то время (1857 г.) еще надеялся, что с развитием в России машинизма, община, при условии демократического переворота в России и социалистической революции на Западе, сможет послужить базисом для организации коллективного земледелия на научных началах. В статье «Критика философских предубеждений», написанной в 1858 г., он со скорбной иронией насмехается над своими надеждами на торжество демократии в России, способной обеспечить возможность безболезненного и прогрессивного развития русской общины, так что от первой половины своей конструкции он на время как бы увидел себя вынужденным отказаться. Но так или иначе, даже увлекаясь общинной формой и связывая с нею преувеличенные надежды, Чернышевский меньше всего обманывался насчет ее содержания. Он прекрасно видел все варварство и всю отсталость, лежавшие в основе этой общины. Прочтите его рассуждение о русской общине и западной цивилизации в статье «О причинах падения Рима», направленной против славянофильских увлечений Герцена, и вы убедитесь, что говорить об утопических увлечениях Чернышевского общиной приходится с большой и большой осторожностью.

Община, неоднократно доказывает Чернышевский, вовсе не есть какой-нибудь чисто славянский институт: она составляет принадлежность всех народов на известной стадии их развития, а сохранение ее в России свидетельствует только о нашей отсталости, «о медленности и вялости исторического развития». Разглагольствования о том, что Россия призвана обновить жизнь цивилизованного мира и внести в нее высшие элементы, которых сама она выработать не в силах, приводят Чернышевского в негодование. Европе нечем позаимствоваться от нас, утверждает он: «если сохранился у нас от патриархальных (диких) времен один принцип, несколько соответствующий одному из условий быта, к которому стремятся передовые народы, то ведь Западная Европа идет к осуществлению этого принципа совершенно независимо от нас» (курсив мой). Европе тут позаимствоваться нечем и не для чего: у Европы свой ум в голове, и ум гораздо более развитый, чем у нас. «То, что существует у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники». Этому обычаю Европе поздно научиться от нас, да и не нужно

учиться, потому что сама она гораздо лучше нас понимает, какие новые порядки ей нужны, как их устроить и какими способами вводить¹.

В другом месте (еще в 1855 г.) Чернышевский утверждал, что не современная община, остаток варварских времен, является идеалом будущего. «Идеалы будущего осуществляются развитием цивилизации, а не бесплодным хвастовством остатками исчезающего давнопрошедшего»².

Итак, надежды на возможную при известных условиях в будущем великую историческую роль общины уживались в голове Чернышевского с самым скептическим к ней отношением в настоящем, в ее конкретной реальности. Но здесь двойственность заключалась, собственно говоря, в самом предмете. Вернее было бы говорить здесь не о двойственности, а об альтернативности. По существу Чернышевский ставит вопрос так: если дворянство в России будет лишено власти, и земля достанется народу без выкупа, что поможет общине удержаться, и если, с другой стороны, община сохранится до того времени, как в России власть будет захвачена крайней революционной партией, а в Европе начнется социальная революция, то в таком случае общинное землевладение сможет послужить исходным пунктом для некапиталистического развития, для перехода в высшую социалистическую форму³. Когда же он убедился, что нет основания рассчитывать даже на осуществление первого условия, он готов был признать неосновательность своего расчета⁴. В общем это приблизительно та же мысль, какая высказана в предисловии к русскому изданию «Коммунистического Манифеста» 1882 г: «Если русская революция послужит сигналом рабочей революции на Западе так, что обе они пополнят друг друга, то современное русское землевладение может явиться исходным пунктом коммунистического развития»⁵.

Что Маркс в общем смотрел на этот вопрос приблизительно так же, как и Чернышевский (если только правильно понять точку зрения последнего), видно еще из известного «Письма к редактору Отечественных Записок», вызванного статьей Н. Михайловского «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского» («Отечественные За-

¹ «О причинах падения Рима (подражание Монтескье)». «Соч.», т. VIII, стр. 171—172 (1861 г.).

² Рецензия на «Архив историко-юридических сведений, относящихся до России» Н. Калачова. «Соч.», т. I, стр. 430.

³ Подробнее об этом см. во втором томе этой работы.

⁴ Эту же мысль высказывает Пажитнов («Развитие социалистических идей в России», т. I, Петр. 1924, стр. 100—101).

⁵ «Коммунистический Манифест», М. 1923, стр. 52.

писки», 1877, октябрь). В этом, в свое время неопубликованном, письме ¹ Маркс писал: «В послесловии ко второму немецкому изданию «Капитала» я говорю о некоем «великом русском ученом и критике» с тем высоким уважением, какого он заслуживает (стр. 817). Ученый этот в своих замечательных статьях исследовал вопрос, должна ли Россия, чтобы перейти к капиталистическому строю, начать с уничтожения поземельной общины, как того добиваются либеральные экономисты, или же наоборот, она может, не переходя через все муки этого строя, усвоить все плоды его путем развития своих собственных исторических данных. Он высказывается в смысле последнего решения. И мой почтенный критик имел, по меньшей мере, столько же основания из моего уважения к этому «великому русскому ученому и критику» вывести, что я разделяю взгляды последнего на этот вопрос, как и наоборот из моей полемической выходки против некоего русского «беллетриста» и панслависта (т. е. Герцена. — Ю. С.) сделать вывод, что я их отвергаю».

Но дальше Маркс показывает, что для той эпохи он теоретически допускал правильность взгляда Чернышевского. «Я, — говорит он, — пришел к такому выводу: если Россия будет продолжать идти по тому же пути, по которому она шла с 1861 г., то она лишится самого прекрасного случая, какой когда-либо представляла история какому-либо народу для избежания всех злоключений капиталистического строя».

А ведь Маркса никто не решится на этом основании зачислить в утописты. Почему же это с легким сердцем делается по отношению к Чернышевскому? Ведь последний, как мы видели, решал вопрос о будущем русской общины условно и допускал способность ее сделаться исходным пунктом некапиталистического развития лишь при определенной исторической обстановке (революции в России и социальном перевороте в передовых странах Запада). Это-то обыкновенно упускается из виду ².

¹ Письмо Маркса было опубликовано: в «Юридическом Вестнике» 1888, № 10; в книге Л. Слонимского — «Экономическое учение Карла Маркса», Спб. 1898; в «Научном Обозрении» 1899, № 3; в изданных Адоратским «Письмах Маркса и Энгельса», М. 1922. — Мы исправили текст «Юрид. Вестника» по Адоратскому.

² Замечательно, что и Ленин, вообще относившийся к Чернышевскому с величайшим уважением, тоже готов отнести его к утопистам как раз на основании его воззрений на возможную будущую роль общины, впадая в этом отношении в обычное недоразумение. Правда, Ленин находит для Чернышевского смягчающие обстоятельства, когда говорит: «Чернышевский был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не

Еще характернее отношение Чернышевского к вопросу о развитии производительных сил, где мы уже не заметим никакой двойственности. Правда, о последнем предмете Чернышевский писал меньше, чем об общине, но мы нигде не могли констатировать у него отрицательного отношения к развитию производительных сил. Выше, в главе «Философия истории» мы видели, какое крупное значение Чернышевский придавал промышленному развитию страны. Заявлений в таком смысле мы найдем у него сколько угодно. В «Современном Обзрении» за сентябрь 1857 г. Чернышевский выражает сожаление о том, что Россия является страной торгового, а не промышленного капитала, и приветствует поворот в экономической политике правительства¹. По его мнению, такая мера правительства, как понижение банкового процента, выдаваемого частным лицам за вклады, с 4 до 3%, будет сильно содействовать отливу капиталов, бездейственно лежащих в банках, в область промышленных начинаний. Какое значение Чернышевский придавал развитию крупной промышленности, видно из той оценки, какую он дает этой правительственной мере: «понижение процентов с 4 на 3%, — говорит он, — есть важнейшее событие последних месяцев». И Чернышевский подробно рассматривает различные проявления начавшегося в стране промышленного оживления (*ibid.*, стр. 393—398, 553).

Вообще Чернышевский, как мы знаем, не только не боялся развития капитализма, но напротив ожидал от него общего прогресса русской жизни. В статье «Суеверие и правила логики» (1859 г.) он доказывает, что развитие капитализма даст толчок и развитию сельского хозяйства. Успехи земледелия, говорит он, зависят от густоты населения и от развития городов, т. е. от развития промышленности и торговли, а также путей сообщения². А в этой области, как конста-

мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма. Но Чернышевский был не только социалистом-утопистом». И дальше он переходит к восхвалению Чернышевского за его революционность и правильное понимание тогдашней политической обстановки (Ленин — «Соч.», т. XI, ч. II, стр. 263). Но Чернышевский смотрел на вопрос об общине не так просто и вдобавок понимал значение пролетариата, предварительную победу которого в Европе он признавал необходимым условием для развития русской общины в социалистическом направлении. Впрочем, специально вопросом о Чернышевском Ленин не занимался; иначе, мы не сомневаемся, он пришел бы к другому выводу об утопизме Чернышевского.

¹ «Соч.», т. III, стр. 392.

² «Соч.», т. IV, стр. 551—555.

тирует Чернышевский, после Крымской войны замечается значительное движение вперед. Железнодорожное строительство в России усиливается, и Чернышевский приветствует его развитие, несмотря на то, что оно имеет тенденцию разлагать устой патриархального быта. Он даже утверждает, что железные дороги в России должны сыграть еще большую роль, чем в Северной Америке, в том отношении, что у нас они будут еще относительно сильнее способствовать расширению товарного оборота ¹.

Вообще Чернышевский, в отличие от сложившегося впоследствии народничества; ничуть не страшился всесторонней европеизации наших общественных отношений и в частности развития производительных сил. С этой точки зрения он отрицательно относился к протекционизму. Протекционизм, по его мнению, не ведет к увеличению государственных доходов, а только стесняет развитие промышленности ². «В противность протекционному предрассудку национальная промышленность в общей своей массе выпрыгивает от понижения тарифа, а развитие промышленности ведет к увеличению государственных доходов». Придавая громадную важность развитию производительных сил, Чернышевский всегда высказывался против покровительственных пошлин и приветствовал всякое понижение тарифа. В частности он решительно протестовал против предложения (1857 г.) повысить пошлины на английский каменный уголь ввиду того, что промышленность нуждается в дешевом топливе для паровых машин. Если же он вообще посвящал сравнительно мало внимания защите свободной торговли, то это объясняется следующими его словами: «Мы, сами вовсе не сочувствуя протекционизму и полагая, что теория свободной торговли гораздо более соответствует выгодам наций, никогда не имели счастья находить, что хлопоты о низком тарифе должны быть для нас предметом первостепенной важности при нынешнем положении дел. Есть для России десятки экономических потребностей более важных» ³.

Чернышевского гораздо больше интересовали вопросы аграрный и рабочий. Их, как мы видели, он решал в духе социализма. Социализм Чернышевского, конечно, не был свободен от некоторых утопических

¹ «Соч.», т. III, стр. 118 (1857 г.).

² «Протекционизм относительно обеих своих целей (содействие развитию отечественной промышленности и увеличение государственных доходов) производит действие, противное тому, какого желал». «Соч.», т. IV, стр. 451.

³ О' К э р и. «Соч.», т. VIII, стр. 26.

элементов¹, но признать на этом основании Чернышевского только и просто утопистом мы не решаемся. Как мы уже сказали, Чернышевский занимает промежуточную стадию между утопическим и научным социализмом, в большинстве случаев стоя ближе к последнему. Так, мы можем встретить у него случайное указание на необходимость «заботиться о развитии домашней выделки фабричных изделий»². Но по существу этому нисколько не противоречит все то, что Чернышевский говорит о непреодолимых законах капиталистического строя (в том же 1857 г.; см. выше)³. В частности, говоря о нездоровой обстановке конфекционного производства, этой типичной формы домашней промышленности при капиталистическом строе, он, как мы видели выше, высказывается в пользу введения машин в этом промысле. Ибо, понимая все гибельное действие машинизма на трудящихся при современных общественных отношениях, Чернышевский все-таки видел в машине фактор обновления и прогресса, подготовляющий условия рационально общественного строя. «Машина не терпит подле себя невольничества», — замечает он⁴. В другом месте у Чернышевского попадаетесь заявление: «я не знаю и не хочу знать», что больше способствует производительности труда — капиталистическое производство или ассоциация; для него важно лишь то, что товарищества соответствуют стремлениям рабочих. Но тут же он спохватывается и старается доказать, что рабочее товарищество выгоднее для производительности труда, чем частно-капиталистическое хозяйство⁵.

¹ Сюда можно отнести и мысль о том, что переход от капитализма к социализму осуществится посредством ассоциаций, в которых промышленность объединена с земледелием, а не с помощью национализированной и по единому плану регулируемой крупной индустрии. Но в оправдание Чернышевского можно сказать, во-первых, что в его время такая мысль была еще широко распространена, а, во-вторых, что здесь на него оказали влияние и специфические условия тогдашней России с преобладанием в ней мелкого производства (особенно в сельском хозяйстве) и слабо развитой промышленностью.

² Рецензия на брошюру А. Шипова — «Хлопчатобумажная промышленность и важность ее значения в России». «Соч.», т. III, стр. 249 (1857 г.). Ср. «Примечания к Миллю», стр. 98, прим.

³ Вдобавок, это входило в его общий план поддержки крестьянского хозяйства, которое он при известных условиях (см. выше) признавал способным к переходу в социалистическую форму путем машинной кооперации. Ведь и в Советской Республике кустарные промыслы пользуются покровительством в период «новой экономической политики», также возлагающей надежды на кооперирование крестьянства под влиянием и при поддержке обобществленной промышленности.

⁴ «Примечания к Миллю», стр. 212.

⁵ «Капитал и труд», loc. cit., стр. 41—42

В той же статье Чернышевский развивает подробный план организации производительных ассоциаций с ссудой от казны, — план, сильно напоминающий соответствующие планы Луи Блана и Лассалья¹.

Вот в общих чертах этот план «осуществления теории трудящихся», рассчитанный или на Францию, или на Россию после переворота (Чернышевский называет его «своим», что можно принять и за иронию и за выражение серьезной мысли). Правительство за определенный процент назначает известную субсидию для первоначального пособия основанию промышленно-земледельческих товариществ. Число участников в каждом товариществе полагается около 1 500—2 000 человек обоего пола (вспомним, что таков же был и состав фаланстера у Фурье). Ассоциация, опять-таки как у Фурье, построена на принципе соединения промышленности с земледелием. Каждый занимается чем угодно, но товарищество не обязано доставлять средств производства

¹ Маркс относился к плану Лассалья крайне отрицательно, как к попытке вернуть социализм от классового движения к сектантскому. Он издевается над надеждой, что «при государственной субсидии так же легко построить новое общество, как новую железную дорогу», и продолжает: «Что же касается до самого рецепта, который при Луи-Филиппе Бюше прописал против французских социалистов, а реакционные рабочие из «Atelier» приняли, то на нем не стоит останавливаться... Когда говорят, что рабочие готовят условия общественного производства, сперва у себя в национальном масштабе, а затем в социальном, то это только то и значит, что они готовят переворот в современных условиях производства. Устройство кооперативных товариществ при помощи государства не имеет с этим ровнехонько ничего общего. Что же касается современных кооперативных товариществ, то они чего-нибудь стоят лишь в том случае, если создаются совершенно независимо самими рабочими без всякой протекции как правительства, так и буржуазии» («Критика Готской программы», стр. 24—25). Женевский конгресс Интернационала (1866 г.) признал крупной заслугой кооперативного движения то, что оно «доказывает практически возможность устранения капитализма и грядущее торжество системы ассоциации свободных и равных производителей, но при этом подчеркнул, что кооперативное движение, ограниченное своими размерами, не в состоянии собственными силами осуществить социалистический переворот; последний предполагает общее изменение всего социального строя и всех существующих отношений, что не может быть осуществлено иначе, как посредством организованной силы общества, т. е. путем перехода государственной власти из рук капиталистов и землевладельцев в руки самих рабочих. При этом резолюция конгресса рекомендовала рабочим обратить преимущественное внимание не на потребительные товарищества, а на производительные ассоциации, так как первые затрагивают только поверхность современной экономической системы, а последние подрывают ее в самом корне. — От этого взгляда Чернышевский стоял не так уже далеко.

для промысла, ему ненужного. Во главе товарищества стоит выборный административный совет, контролирующий директора и выбранных им чиновников (директор назначается правительством только на первый год: со второго года все управление делами переходит к самому товариществу). Часть его идет на содержание общественных учреждений, находящихся при товариществе; другая — на уплату процента по ссуде из казны и на ее погашение; третья — в запасный капитал. За покрытием всех этих расходов остается еще значительная сумма, которая распределяется в качестве дивиденда между членами товарищества пропорционально числу проработанных каждым дней. При товариществе имеются дешевые квартиры, кооперативные лавки, школы, больница и пр., что сокращает расходы членов на их личное потребление. При этом члены ассоциации пользуются полной свободой¹.

По поводу этого плана Плеханов (т. VI, стр. 27—28) говорит: «Чем отвлеченнее была точка зрения Чернышевского в вопросах социализма, тем легче ему было отвлекаться от индивидуальных особенностей каждой данной социалистической системы и беспристрастно защищать только то, что составляло, по его мнению, общую душу всех этих систем, т. е. отвлеченные положения вроде того, что наука должна заботиться об интересах трудящейся массы, а не об интересах людей, эксплуатирующих эту массу, и т. п. И тем естественнее было для него, нисколько не противореча себе, излагать под видом своего собственного (?) плана общественного переустройства план того или другого, более или менее случайно выбранного социалиста-утописта. Так, например, в статье «Капитал и труд» он изложил план Луи Блана, придав

¹ «Соч.», т. VI, стр. 45 и сл. — Чернышевский считает такие товарищества жизнеспособными и экономически выгодными. Допустим, что он даже преувеличивает их значение. Но такое ли уже это преступление? В те времена социалисты вообще готовы были преувеличивать значение производительных ассоциаций, как это видно и из резолюций Первого Интернационала. Да, наконец, и сам Маркс разве не писал в «Учредительном адресе», что успех кооперативного общества «рочдельских пионеров» и аналогичных социальных опытов доказал на практике, что рабочие способны самостоятельно организовать и вести производство в крупных размерах, и что наемный труд представляет историческую форму, которая уступит место свободному ассоциированному труду? А ведь это еще до завоевания власти пролетариатом! Однако, до сих пор никто не объявлял за это Маркса утопистом. Правда, Маркс дальше прибавляет, что для освобождения пролетариата кооперативный труд должен быть организован в национальном масштабе, а для этого рабочий класс должен добиться власти. Но это была мысль и Чернышевского, досказать которую он обещал «в другой раз», ибо в отличие от Маркса он писал под бдительным надзором царской цензуры.

своему изложению, как этого и надо было ожидать, до последней степени отвлеченный характер»¹.

Туган-Барановский готов даже усмотреть в этом плане доказательство частичного утопизма Чернышевского. «Для всех утопистов, — говорит он, — характерны вовсе не исторические их построения и не общий их социальный идеал, а характерна их своеобразная тактика». Они — сторонники социальных экспериментов, производящихся в небольшом масштабе, а не в государственных рамках (в пример приводится Оуэн и др.). А Чернышевский, по мнению Туган-Барановского, стоял в этом пункте на той же точке зрения, что и Сен-Симон, Оуэн, Кабэ, и поэтому его можно квалифицировать как утопического социалиста. «Нельзя отрицать, что у Ч. была склонность к социальным экспериментам. Вспомните хотя бы мастерские Веры Павловны, новых людей, описанием которых занимается Чернышевский, тех новых людей, которых роль сводится (?) к устройству швейных мастерских. Возьмем его практические предложения, его единственный формулированный проект социальной реформы, где он указывает на необходимость денежной субсидии со стороны государства ассоциациям, в которых будет соединяться земледельческий труд и фабричный... При этом он оговаривается, что нет абсолютной необходимости, чтобы государство непременно поддерживало ассоциации, государственная помощь имеет значение разве только для ускорения. Ч. в данном случае становится на точку зрения Оуэна, который тоже предлагал устройство ассоциаций с государственной помощью».

Но, спешит оговориться Туган-Барановский, «наряду со сходством мы имеем перед собой весьма характерное различие: утопические социалисты относились враждебно к политике; что же касается Ч.,

¹ Туган-Барановский (цит. речь, стр. 7) замечает: «Между прочим, у нас совершенно неправильно истолковывают точку зрения Ч. в этом вопросе. Плеханов и Стеклов говорят, что Ч. повторяет план Луи Блана. Но тут ничего общего нет: Лассаль и Луи Блан проектировали профессиональные организации труда, между тем как Чернышевский проектировал вовсе не организацию трудящихся, объединенных по специальностям, а коммуны типа Оуэна или Фурье. Ч. вовсе не имел ввиду план Луи Блана, а целиком воспроизводит план Оуэна, который был выдвинут последним в 1848 г., выдвигался им и позднее, отчасти же Ч. примыкает и к проектам Фурье». Но, во-первых, я прямо указываю на влияние Фурье в вопросе о соединении земледелия с промышленностью, а Плеханов (*ibid.*, стр. 28) говорит о Роберте Оуэне, которого он даже считает более близким к Чернышевскому, чем Фурье. А, во-вторых, по общей конструкции плана ассоциация Чернышевского все-таки напоминает соответствующие проекты Луи Блана. Наконец, сам Чернышевский (т. VII, стр. 640) заявляет, что он заимствовал свой план у Луи Блана.

то в вопросе о политике Ч. как раз держался диаметрально противоположной позиции. А потому и черты соприкосновения его с утопическими социалистами нельзя считать существенными, характерными для его духовной физиономии» (цит. речь, стр. 6—8).

Но вот вопрос: действительно ли Чернышевский, подобно Фурье, Оуэну и пр., смотрел на свой план как на социальный эксперимент, как на практическое доказательство осуществимости социализма? Если бы это было так, если бы он считал «свой» план осуществимым при всяком политическом режиме, то пришлось бы признать, что у него этот план носит еще более утопический характер, чем у Лассаля, так как у последнего он связан с мыслью о влиянии рабочих на государство, осуществляемом с помощью всеобщего избирательного права; у Чернышевского же этого не видно. Но в том-то и дело, что это не так. Как мы знаем, Чернышевский полагал, что при существовании самодержавного правительства нельзя провести ни одной маломальски серьезной социальной реформы, даже такой, как освобождение крестьян от крепостного права. Для этого Чернышевский считал необходимой радикальную революцию, вырывающую существующий политический режим с корнем. Следовательно, к тогдашней России его план совершенно не относится. Но допускал ли Чернышевский возможность широкого осуществления своего плана в буржуазных государствах (сам он намекает или на Францию, или на Россию после революции)? Думаем, что и это не соответствует его действительной мысли. Мог ли Чернышевский допустить возможность широкого развития производительных ассоциаций, входившего в его общий план социального преобразования, без предварительного социалистического переворота, без захвата власти революционной партией? Сомнительно. Основываясь на уже известных нам политических взглядах Чернышевского, мы приходим к тому выводу, что в его мысли план насаждения производительных ассоциаций связывается именно с диктатурой революционной партии¹.

Что это так, что наше толкование является единственно правильным, видно из заключительных слов статьи, на которые ни Плеханов,

¹ Что Чернышевский имел ввиду положение, при котором власть находится в руках социалистической партии, видно, между прочим, из того, что по его плану директор товарищества на первый год назначается правительством. Разумеется, он ни за что не пошел бы на это, если бы предполагал наличие царской или буржуазной власти. Это, впрочем, еще более ясно вытекает из заключительных слов статьи, приводимых в тексте.

ни другие писавшие о плане Чернышевского не обратили внимания, тогда как в них заключается ключ ко всей статье. Вот что там сказано: «Почему же такая простая и легкая мысль до сих пор не осуществилась и по всей вероятности долго не осуществится (курсив мой)? Почему такая добрая мысль возбуждает негодование в тысячах людей добрых и честных? Это вопросы интересные. Но ими мы займемся когда-нибудь в другой раз». Ответ на вопрос «почему» ясен: потому, что власть находится в руках буржуазии; для насаждения же производительных ассоциаций нужна социальная революция. Не имея возможности поставить точку над *i*, Чернышевский и обещает поговорить на эту тему в другой раз. У него это значило: ответить на вопрос мешает цензура ¹.

А в таком случае его план утрачивает характер «социального эксперимента», о котором говорит Туган-Барановский, сам, впрочем, принужденный ограничить и в сущности отвергнуть свое толкование указанием на позицию Чернышевского в политических вопросах. При нашем толковании плана Чернышевского становится не только понят-

¹ То, чего не заметил Плеханов, очень хорошо понял автор третьестепенной записки о литературной деятельности Чернышевского. Прежде всего он устанавливает, что план относится к России, на том основании, что Чернышевский говорит-де о государстве, где правительство «ежегодно бросает десятки миллионов на покровительство сахарным заводчикам и оптовым торговцам, дает десятки миллионов займы компаниям железных дорог и тратит десятки миллионов на разные великолепные постройки» (как видим, хорошего о себе мнения было царское правительство!). Но главное внимание свое автор записки останавливает на четвертом признаке, указываемом планом, а именно, что в государстве, к которому относится план, находится среди полей множество старинных зданий, стоящих запущенными и продающихся за бесценок. Как объяснить эту загадку? — вопрошает автор записки и отвечает: во Франции после революции стояло много запущенных, разрушавшихся, продававшихся за бесценок зданий, замков и домов, из которых крестьяне выгнали помещиков. Но так как Чернышевский говорит не о далеком прошлом, а о будущем, то ясно, что это государство — Россия. «Это на русских полях Чернышевский предполагает в будущем множество опустевших и запущенных зданий. Но что же это за здания? Кем и зачем они будут разрушены? Кто их будет продавать за бесценок? Не монастыри ли это, уничтожения которых так пламенно желает «Молодая Россия»? Не помещичьи ли дома, из которых большие землевладельцы должны быть выгнаны по исповедуемой Чернышевским теории уничтожения частной собственности и математически равномерного распределения богатства?» (Л е м к е — «Политические процессы», стр. 434—435). Надо признать, что враги часто бывают проницательнее друзей. Возможно, что план Чернышевского имел ввиду не Россию, а Францию (хотя не исключено и первое), но что он предполагает предварительную революцию и захват власти революционной партией, это III Отделение поняло правильно.

ным, но и вполне естественным указанное Плехановым обстоятельство, т. е. то, что Чернышевский при выработке «своего» плана мог взять отдельные черты его из различных социалистических систем. Для него важны были не их индивидуальные черты, а именно общее им предпочтение принципа ассоциации, осуществимого, по мнению Чернышевского, лишь в определенной политической обстановке. Самому же плану Чернышевский, видимо, придавал просто агитационное, показательное значение, стремясь с его помощью дискредитировать капиталистическую систему и, подчеркнув выгоды коллективного хозяйства, внушить читателю ту мысль, что оно неосуществимо при сохранении власти в руках буржуазии.

Такое же значение имеют и описанные в романе «Что делать?» швейные мастерские, организованные Верой Павловной и являющиеся, по словам Лопухова, «опытом применения к делу тех принципов, которые выработаны в последнее время экономической наукой». Характерно, что дальнейшее развитие мастерских в романе приостанавливается вмешательством полиции, и кружок Веры Павловны начинает задумываться о политической борьбе¹.

В этом пункте мы согласны с Н. Русановым, который именно в таком смысле толкует план Чернышевского и роман «Что делать?», хотя и не связывает их с взглядом Чернышевского на революционную диктатуру. В статье «Ученики Маркса о Чернышевском» (стр. 66) он, по поводу склонности утопистов решать социальный вопрос «лабораторным путем» с устранением политики, говорит: «План промышленно-земледельческих ассоциаций, который он двоекратно, в «Труде и капитале» и в «Очерках», развертывает (главным образом по Луи Блану), и радостные, вдохновленные преимущественно Фурье, видения будущего общества в «Что делать?», равно как описание швейной кооперации Веры Павловны, — все это является для Чернышевского только орудием пропаганды и агитации, лишь средством убедить людей, что социализм не только желателен, но и возможен... И в смысле выработки

¹ «Что делать?». «Соч.», т. IX, стр. 117—122, 266, 306—315. — Об этом особенно ясно говорится в недавно опубликованном отрывке романа, напечатанном в сборнике «Н. Г. Чернышевский» (издание О-ва политкаторжан, М. 1928, стр. 18 и сл.). Здесь рассказывается о шпионской слежке за мастерскими и о вывозе Кирсанова для объяснений в Третье Отделение и для объявления ему «высочайшей воли», после чего предприятию приходится «сжаться» и «застыть». И Чернышевский иронически поясняет читателю, что всю историю с мастерскими он выдумал, и что таких учреждений «нет в нашем любезном отечестве». Опубликование этого отрывка подтверждает то, что мы раньше писали об этих мастерских.

первых кадров проповедников социализма в России действие этих приемов Чернышевского было колоссально¹.

Плеханов держится на этот счет иного мнения. Указывая на то, что роман Чернышевского появился в 1863 году, когда Лассаль рекомендовал немецким рабочим ассоциации как единственное средство хоть некоторого улучшения их быта, Плеханов (т. V, стр. 67—68) проводит между обоими этими деятелями параллель к невыгоде Чернышевского, который ничего, мол, не говорит в романе «Что делать?» о политической самостоятельности рабочего класса. «По сравнению с Лассалем Чернышевский является в своем романе настоящим утопистом. По сравнению с Чернышевским Лассаль является в своей агитации истинным представителем новейшего социализма». Более того, «в своих практических планах Чернышевский был гораздо ближе к Шульце-Деличу, чем к Лассалю»!

Но, во-первых, если уже сопоставлять роман Чернышевского с каким-нибудь проявлением деятельности Лассаля, то его нужно было сопоставить тоже с каким-либо художественным произведением последнего, а не с его агитацией, т. е. чисто политической работой, в которой, разумеется, элемент политический неизбежно проявляется. Было бы странно, если бы в агитации, обращенной к рабочим, Лассаль ничего не говорил о задачах рабочих. Но ведь, как дальше вспоминает Плеханов, Маркс и Энгельс усматривали в планах Лассаля, — действительно практических его планах, а не в беллетристическом произведении, — самую настоящую утопию и на этом основании отказались поддержать его агитацию. В действительности вывод, к которому приводит Плеханова сравнение Чернышевского с Лассалем, надлежит вывернуть наизнанку. Лассаль, рассчитывавший на помощь прусского государства и на конкретную победу производительных ассоциаций над капиталистическими предприятиями, был утопистом с ног до головы, да еще утопистом мирным (мы уже не говорим о практических шагах Лассаля вроде его секретных переговоров с Бисмарком и т. п., граничивших с ренегатством). Чернышевский же в сравнении с ним был настоящим революционером — даже в столь неудачно использованном Плехановым романе. Плеханов забывает, что роман печатался в подцензурном издании, в разгар реакции, ставил себе специальные

¹ Зато другой эсер, М. Антонов, плохо понявший Чернышевского, хотя и написавший о нем целую книгу, уверяет, будто, «подобно большинству социалистов его времени, Чернышевский был убежден, что социальный вопрос (по крайней мере, на некоторое время) легко и просто разрешается устройством и распространением рабочих ассоциаций» (цит. соч., стр. 265). «Легко и просто»! Вот уже именно что называется «попасть пальцем в небо».

цели и нигде не говорил о неминуемо предстоящей победе швейных мастерских над сталелитейными и другими заводами. Это раз. Роман, по существу посвященный вопросу о женской эмансипации и лишь слегка затрагивающий некоторые социальные мотивы, нельзя брать и оценивать как политическую программу. А главное — даже в этом романе Чернышевский выступает перед нами как революционер, ибо роман заканчивается намеком (по цензурным условиям только легким намеком) на социальную революцию, доставляющую власть революционно-социалистической партии. Вот это была действительная мысль Чернышевского, ставящая его головою выше Лассалья, о чем Плеханов как будто и не догадывается ¹.

Во всяком случае, если в плане Чернышевского и имеются некоторые следы утопизма, то они не настолько велики, чтобы на их основании зачислять его в представители утопической школы ².

У Чернышевского можно найти еще некоторые другие элементы утопизма, но они так тесно переплетены у него со здоровыми мыслями и реалистическими замечаниями, что трудно выделить их из общей системы его взглядов. Вспомним его утверждение, что наука политической экономии не должна ограничиваться анализом фактов, а должна указать способы рационального устройства общества ³. Допустим, что это требование утопично. Но дело изменяется, когда Чернышевский прибавляет, что «формулы абсолютно-выгоднейшего сочетания элементов производства наука может давать лишь самым отвлеченным образом в самых общих выражениях, не представляющих никакой опреде-

¹ Дальше Плеханов цитирует статью, повидимому, не принадлежащую Чернышевскому, и делает из нее вывод, будто Чернышевский не понимал, что «экономическое освобождение пролетариата явится следствием его политического господства, захвата им политической власти в свои руки» (стр. 70). Мы уже не говорим о том, что инкриминируемая статья не содержит того, что вычитал из нее Плеханов, упорно забывающий о тогдашних цензурных условиях, заставлявших говорить намеками. Когда мы встречаем там разговоры о кредите французского правительства лионским рабочим и т. п., мы вправе скорее объяснить их как надежды на будущее революционно-социалистическое правительство, которое обратит государственные средства на помощь пролетариату. А то, что Чернышевский не возлагал на всеобщее избирательное право неограниченных надежд, в чем также упрекает его Плеханов, говорит скорее в его пользу, чем против него.

² Об этом плане говорит и К. Пажитнов в брошюре «Н. Г. Чернышевский, как первый теоретик кооперации в России», М. 1916. Там он, между прочим, уверяет, будто Чернышевский верил в мирные пути (стр. 16). Надо знать сочинение автора, о котором берешься писать.

³ «Соч.», т. VI, стр. 33; т. VII, стр. 81; 364.

ленной картины нашему воображению»¹. Указание общих основ будущего строя не противоречит современному социалистическому пониманию. И сам Чернышевский набрасывает эти основы социалистического строя в таких общих принципиальных очертаниях, что ничего возразить против них нельзя: «Производители, работая сами на себя, будут, конечно, соображать не случайную принадлежность продукта — цену, потому что главная масса их продукта вовсе и не пойдет на рынок, не будет выходить из их рук, стало быть, и не будет искать себе цены; работая на собственное потребление, они будут соображать коренные элементы дела: мы располагаем известным количеством рабочего времени и рабочих сил; в какой пропорции выгоднее всего для нас распределить эти силы, это время между разными производствами для удовлетворения разных своих надобностей? Основанием расчета тут будет служить классификация надобностей с соображением того, какая доля труда может быть обращена на удовлетворение известной надобности без вреда для других надобностей, не менее или более настоятельных». Далее Чернышевский указывает, что только с изменением форм производства, т. е. с заменой капиталистической формы социалистической, возможно осуществление условий, требуемых принципом экономического расчета. «Главное из этих условий — точный счет общественных сил и потребностей» (*ibid.*, стр. 328 — 329; 336), как сказали бы теперь, плановое хозяйство².

Повторяем, об утопизме Чернышевского следует поворить *sum grano salis*. Строгий реалист, он брал из утопических систем главным образом их критику частной собственности и капиталистического строя, а также общие принципы будущего строя, как, например, ассоциация, соединение промышленности с земледелием, организация производства и т. п.; но он прекрасно видел недостатки утопических систем и блестяще критиковал многие их положения. Так, например, Чернышевский разоблачает утопизм знаменитой формулы «право на труд» и более чем скептически относится к законодательным попыткам повысить заработную плату, — конечно, при современных обществен-

¹ «Соч.», т. VII, стр. 367.

² Кстати, Плеханов несколько раз (т. V, стр. 67, 99; т. VI, 29) высказывал ту мысль, что «социалистический строй представлялся Чернышевскому в виде ассоциаций». Это неверно. Чернышевский имел ввиду национальное (а в будущем и интернациональное, вероятно) хозяйство, организованное по единому плану с учетом производительных сил и потребностей населения. Первичной ячейкой этого общества могла быть ассоциация, но только ячейкой. «План» его, как мы указывали, имел для него лишь агитационное значение.

ных условиях ¹. Его отношение к Луи Блану и Прудону ² мы видели уже выше; весьма строго относится он также к утопиям Сен-Симона, доказывая, что сенсимонизму присущи многие реакционные черты ³. Но вместе с тем, он высказывает глубокую мысль, впоследствии выраженную и Энгельсом ⁴. Он решительно высказывается против огульно-отрицательного отношения к так называемым утопиям, которые при всех своих крайностях и преувеличениях заключали в себе здоровое

¹ В капиталистическом обществе, говорит Чернышевский, «право на работу» было бы мыслимо лишь при законодательном ограничении размножения. Другая «паллиативная мера», рекомендуемая Миллем (наделение части рабочих земель, чтобы повысить плату остальных), привела бы лишь к тому, что капиталисты более передовых стран стали бы усиленно выписывать дешевых рабочих из-за границы. Все такие меры ни к чему не могут привести до тех пор, «пока ведение промышленных дел остается в руках предпринимателей, которым выгодна низкость рабочей платы» («Примечания к Миллю», стр. 380—388). — Вспомним, что Фурье, в отличие от своих учеников, также доказывал неосуществимость права на труд в пределах «цивилизации». В этом пункте Чернышевский стоял ближе к Фурье, чем к Консидерану.

² Прежде Чернышевский считал Прудона недоучкой и был недоволен его нападка на коммунизм, но относился к нему все-таки мягко и даже считал его представителем пролетариата (подобно Марксу, первоначально тоже высоко ценившему Прудона). Но позже Чернышевский резко изменил свое отношение к этому мелкобуржуазному софисту. Вот как он характеризует его в письме из Сибири от 24 ноября 1873 года: «Один из прогрессивных глупцов, имевших очень сильное влияние на всех глупцов без различия, был Прудон. Быть может, и даровитый от природы; быть может, и бескорыстный (хоть это известная манера со времен Агатокла Сиракузского: пренебрегать светскими приличиями и не набирать себе денег; манера множества честолюбцев). Но каков бы ни был он от природы, он был невежда и нахал, кричавший без разбора всякую чепуху, какая забредет ему в голову; из какой газеты ли, идиотской ли книжонки, умной ли книги, — этого различать он не мог по недостатку образования. И теперь он — один из оракулов людей всяческих мнений. И удобно ему быть им: какая кому нравится глупость, всякая есть у этого оракула. Кому-нибудь кажется, что $2 \times 2 = 5$? Ищи у Прудона: найдется подтверждение с прибавкою: «мерзавцы все те, кто в этом сомневаются»: другому кажется, что $2 \times 2 = 7$, а не 5; ищи у Прудона: найдется и это с той же прибавкой». И дальше: «А кто-нибудь вроде Прудона проповедует без разбора и без скупости на ругательства — и оракул» («Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 82—83). — Не сказалось ли в этом более резком отношении к Прудону влияние Маркса, первый том «Капитала» которого и, судя по воспоминаниям Стахевича, «К критике политической экономии» были Чернышевским к тому времени уже прочтены. Высказываем это в виде простой догадки.

³ «Июльская монархия», loc. cit., стр. 131 и сл.

⁴ «Философия, политическая экономия, социализм», стр. 373 и сл.

зерно, а именно констатирование того положения, что в своем историческом развитии человечество идет от принципа вражды и соперничества к коллективизму и товариществу. Серьезный человек, говорит Чернышевский, будет обращать внимание не на частности и не на ошибочные гипотезы, а на общий смысл системы¹. Чернышевский знает, что главная ошибка утопистов заключалась в том, что они со своими планами обращались не по адресу, надеясь, что господствующие классы из чувства гуманности возьмут на себя инициативу социального преобразования. Такой наивности Чернышевский, прекрасно понимавший роль классовых интересов в истории, разделять, конечно, не мог. Точно так же Чернышевский понимал наивность убеждения утопистов, что человечество спасется только исполнением их планов, выработанных в тиши кабинета. Он говорил: «Энтузиасты прогресса ошибаются в одном: в том, что цель их будет достигнута их путем; но они правы не сомневаясь в том, что она будет достигнута»².

Вместе с тем Чернышевский определенно высказывал ту мысль, что эта цель, т. е. социалистическое переустройство общества, будет достигнута только путем самостоятельного исторического действия рабочего класса. Сурово осудивши сенсимонизм как галлюцинацию, вытекшую из ошибочной идеализации католицизма и кроме того носившую какой-то приторный характер изящной аристократичности, аффектирующей замашки сентиментального демократизма, Чернышевский заключает: «Но называя притворной ту форму, которую имело первое проявление мысли о преобразовании общества, мы, конечно, должны ценить историческую важность этого первого ее

¹ Ср. его отзыв об утопических системах в «Очерках гоголевского периода». Указывая на те влияния, которые действовали на кружки Станкевича и Герцена, Чернышевский пишет: «В то время во Франции возникали, как противоречие бездушному и убийственному учению экономистов, новые теории национального благосостояния. Идеи, одушевлявшие новую науку, высказывались еще в фантастических формах, и предубежденным или руководившимся своекорыстными побуждениями противникам легко было, оставляя без внимания здравые и высокие основные идеи новых теоретиков и выставляя в утрированном виде мечтательные увлечения, которых вначале не избегает ни одна новая наука, осмеивать системы, им ненавистные. Но под видимыми странностями и под фантастическими увлечениями скрывались в этих системах истины и глубокие, и благодетельные. Огромное большинство и ученых людей, и европейской публики, поверив пристрастным и поверхностным отзывам экономистов, не хотели понять смысла новой науки, все смеялись над несбыточными утопиями, и почти никто не считал нужным основательно и беспристрастно изучать их» («Соч.», т. II, стр. 194). Это очень похоже на отношение Маркса и Энгельса к утопическому социализму.

² «Июльская монархия», loc. cit., стр. 134.

проявления. Оно важно как признак того, что пришла пора обществу заниматься идеями, выразившимися на первый раз в этой неудовлетворительной форме. Скоро мы увидим, что они стали проявляться в формах более рассудительных и доходить до людей, у которых бывают уже не восторженной забавой, а делом собственной надобности; а когда станет рассудительно заботиться о своем благосостоянии тот класс, с которым хотели играть кукольную комедию сенсимонисты, тогда вероятно будет ему лучше жить на свете, чем теперь»¹.

Чернышевский понимал, что решение так наз. социального вопроса, т. е. вопроса о преобразовании капиталистического строя в социалистический, зависит от самодеятельности пролетариата. Насмехаясь над экономистами, рекомендовавшими рабочему классу «благоразумие» в мальтузианском смысле, он, указав на то, что «сами принципы нынешнего быта мешают благосостоянию массы, совершенно независимо от того, размножается она или не размножается», прибавляет: «Если под благоразумием работников понимать не одну воздер-

¹ Ibid., стр. 150. — По поводу этих, казалось бы, столь недвусмысленных слов Плеханов (т. VI, стр. 8—9) замечает: «В своих рассуждениях о будущем западно-европейского социализма Чернышевский очень близко подошел к теории борьбы классов... В своих рассуждениях о французских событиях 1848 года, равно как и в только что приведенных нами строках, он как будто (!) склоняется к той мысли, что освободительное движение пролетариата делается теперь главным двигателем общественного прогресса в Западной Европе (Чернышевский говорит здесь не о каком-то туманном «общественном прогрессе», а о социальной революции. — Ю. С.). Но эта мысль остается у него одним из зачатков материалистического объяснения истории». И Плеханов, на этот раз уже категорически, уверяет, будто Чернышевский смотрел на борьбу классов «скорее как на весьма (!) важное (?) препятствие для прогресса, нежели на необходимое его условие в обществе, разделенном на классы»! При этом он снова ссылается на рецензию о «Письмах из Испании» Боткина, где Чернышевский в слабом развитии классовой борьбы в Испании будто бы «видел одно из ручательств за прогрессивное развитие этой страны в будущем». Мы уже указывали, что Чернышевский в инкриминируемой рецензии говорил только о том, что отсутствие непримиримой вражды между классами в Испании поможет им скорее добиться низвержения монархии. Допустим, что мысль эта ошибочна. Но ведь не кто иной, как именно Плеханов, с 1905 года держался того мнения, что в борьбе с самодержавием пролетариат должен выступать в союзе с либеральной буржуазией, и даже после Февральской революции, когда Россия была уже республикой, он высказывался против классовой борьбы пролетариата с буржуазией во имя победной войны. Зачем же обвинять Чернышевского в собственных грехах? Впрочем, даже за рецензии и статьи других авторов Плеханов делает ответственным Чернышевского и пользуется ими для изобличения его идеализма или утопизма (см., напр., т. V, стр. 104 и 174; т. VI, стр. 10—12).

жанность, о которой говорит Милль, а вообще ясное сознание о качествах существующего экономического устройства и о том, как оно должно быть изменено, то, конечно, все зависит от благоразумия самих работников, потому что все в обществе зависит от характера мыслей у населения страны»¹. Если бы Чернышевский употреблял современные термины, то он, пожалуй, сказал бы, что социалистический переворот зависит от развития классового самосознания пролетариата. Этого мало. Будучи сторонником столь обесславленной бернштейнианцами «теории обнищания» и «теории катастроф» и подобно Марксу доказывая, что капиталистический строй ведет к пролетаризации и социальной деградации трудящихся, Чернышевский, с другой стороны, подчеркивал, что «число пролетариев все увеличивается, и, главное, возрастает их сознание о своих силах и проясняется их понятие о своих потребностях»². При этом он отмечал, что самостоятельное движение пролетариата только начинается; оно только делает свои первые робкие шаги, «это еще только зародыш, который развивается, а когда он разовьется, так еще не то будет»³.

¹ «Примечания к Миллю», стр. 538—539.

² «О поземельной собственности». «Соч.», т. III, стр. 455 (1857 г.). Ровно 10 лет спустя Маркс писал: «Наряду с постоянным уменьшением числа магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса (капиталистической эволюции), растет масса нищеты, гнета, порабощения, вырождения и эксплуатации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, непрерывно увеличивающегося, вышколенного, объединенного и организованного самим механизмом капиталистического процесса производства» («Капитал», т. I, стр. 724). А ровно за 10 лет до вышеприведенных слов Чернышевского в «Коммунистическом Манифесте», наряду с описанием роста эксплуатации и угнетения, указывалось на то, что «с развитием промышленности пролетариат не только численно растет, но и концентрируется в более значительных массах; растет сила пролетариев, и они начинают сознавать эту силу».

³ А. Плеханов, игнорируя все эти определенные заявления, рассказывает нам, будто «Чернышевский не рассчитывал на народную инициативу ни в России, ни на Западе. Инициатива прогресса и всяких полезных для народа перемен в общественном устройстве принадлежала, по его мнению, «лучшим людям», т. е. интеллигенции». И объясняет это Плеханов тем обстоятельством, что взгляды Чернышевского сложились в эпоху разочарований, последовавших за крушением надежд, возбужденных движением 1848 года, эпоху, характеризующуюся подавленностью западно-европейского рабочего движения. Но, во-первых, одно дело — инициатива, а совершенно другое, дело — осуществление планов инициаторов, и Чернышевский меньше всего рассчитывал на то, что это выполнит одна интеллигенция; во-вторых, прово-

Сопоставляя все, что мы выше говорили о политических и историко-философских взглядах Чернышевского, мы с полным основанием можем утверждать, что социальную революцию он представлял себе как внезапный переворот, подготовленный тяжелым положением рабочего класса, вызванный какими-нибудь серьезными осложнениями в международных отношениях и сопровождающийся захватом власти и революционной диктатурой социалистической партии¹. Но как он смотрел на условия постепенного приготовления этого социального катаклизма, — на этот вопрос ответить гораздо труднее. Его надежды на производительные ассоциации, а в России на общинное землевладение, как на факторы, способные облегчить переход к организации коллективного производства в национальном масштабе, нам уже известны.

Впрочем, роль этих учреждений должна была, по воззрениям Чернышевского, начаться в период перехода от капитализма к социализму, т. е. после переворота, приведшего к установлению социалистической диктатуры. Но мы почти ничего не знаем о том, как он смотрел на фабричное законодательство, на профессиональные союзы и их борьбу

дить знак равенства между «лучшими людьми» Чернышевского и интеллигенцией никак нельзя, ибо по цензурным условиям Чернышевский обыкновенно употреблял термин «лучшие» или «честные» люди вместо крайней революционной, социалистической партии, в которую входил и авангард пролетариата, увлекающий за собою, по его плану, рабочую массу и даже крестьянство; а в-третьих, взгляды Чернышевского в основном сложились именно в 1848—1849 годах, в период надежд и упований, и хотя наступившая вслед затем эпоха реакции внесла в них некоторые частичные изменения в смысле большего скептицизма и т. п., в существенном они не только остались неизменными, но даже еще больше обострились в смысле левого уклона. И сам Плеханов принужден непосредственно за вышеприведенными строками признать, что в начале и в середине 50-х годов Чернышевский не потерял веру в близкое торжество революции, а в начале 60-х годов его революционное настроение еще усилилось.

¹ «Как это по всему видно, — говорит Плеханов (т. VI, стр. 237), — он был убежден, что решение социального вопроса «частным образом» невозможно в большинстве европейских стран. Есть основания думать, что и само государственное вмешательство в этих странах представлялось ему в виде вмешательства правительства, выдвинутого «скачком» (т. е. революцией. — Ю. С.). На это предположение наводят нередкие у него отступления, где он старается решить, насколько требования здоровой теории обязательны для правительства, поставленного историей в необходимость исключительно руководствоваться принципом *salus populi lex suprema est*» (т. е. благо народа — высший закон). — Вот это и надо было помнить, а не рассказывать сказки, будто Чернышевский, подобно утопистам начала XIX века, считал классовую борьбу вредной для общественного развития и неясно представлял себе связь между экономическими и политическими задачами социалистического движения.

за улучшение условий труда, на потребительные товарищества и пр. в рамках капитализма¹. Об этих предметах Чернышевский почти ничего не говорит; о профессиональных союзах он упоминает чуть ли не один раз в статье («Капитал и труд»²). Конечно, известную роль сыграли при этом цензурные условия. Пример такого цензурного препятствия мы приводили уже выше: Чернышевский собирался посвятить особую статью забастовке английских строительных рабочих 1859 года за 9-часовой рабочий день, которую он характеризовал как один из грандиознейших конфликтов между трудом и капиталом (это кстати показывает, что он придавал большое значение стачкам, а значит и профессиональным союзам рабочих; но, судя по упоминанию их коммунистическим организациям, он, повидимому, видел в них преимущественно революционную силу, способную облегчить захват рабочими политической власти); но не только статья эта не появилась, но и вообще в дальнейших политических обзорах Чернышевскому удалось обмолвиться об этой забастовке лишь парой ничего не говорящих слов о том, что она еще не закончилась. Ясно, что здесь

¹ Потребительным товариществам не придавал значения и Первый Интернационал.

² «В Англии мы видим, что работники составляют между собою громадные союзы для самостоятельного действия в политических и особенно экономических вопросах... В практике промышленные союзы (trades-unions) работников представляют очень много соответствующего теориям, которые у французов называются коммунистическими. В Англии, где не любят давать громких имен вещам, эти союзы подвергаются упрекам в коммунистических стремлениях только при особенных случаях, каковы, напр., колоссальные отказы от работы для принуждения фабрикантов к повышению заработной платы» («Соч.», т. VI, стр. 29). И это все. Насколько мало значения Чернышевский, повидимому, придавал деятельности профсоюзов в экономической области, видно из его рассуждений о тенденции капиталистической эволюции понизить благосостояние рабочих масс. Пролетаризация самостоятельных производителей, говорит он, ведет к тому, что в составе рабочего класса пропорция наемных работников увеличивается, а самостоятельных хозяев уменьшается; а так как, при прочих равных условиях, в работнике-хозяине непременно (?) будет больше самоуважения, чем в наемном рабочем, то заработная плата последнего не удержится на уровне дохода мелкого самостоятельного производителя. А раз начавшись, падение продолжается безостановочно (характерно, что и здесь Чернышевский не касается вопроса о «резервной рабочей армии», давящей на уровень заработной платы). Но вышеуказанная тенденция капиталистического развития может парализоваться и даже перемещиваться другими противоположными влияниями. Однако и тут Чернышевский имеет ввиду не роль организованной борьбы рабочего класса. Он указывает на «прогресс понятий и знаний», благодаря которому улучшаются законы и учреждения, и на связанное с этим развитие в рабочих чувства самоуважения («Примечания к Миллю», стр. 523—525).

была вина не его, а цензурных препон. Но если цензура мешала, допустим, нашему автору много распространяться на тему о борьбе рабочих союзов, то о таких вопросах, как законодательство по охране труда и его социальное значение, он мог бы поворить довольно подробно¹. Остается допустить, что он не придавал ему особенного значения, как одному из паллиативных средств, неспособных произвести серьезного улучшения в положении рабочего класса при сохранении современных общественных отношений, что он мечтал о революции, которая сразу положит конец капиталистическому строю без дальних проволочек. С другой стороны, здесь несомненно сказалось влияние русской обстановки, при которой этот вопрос не играл в то время особенной роли вследствие малочисленности фабрично-заводских рабочих и отступал на задний план в сравнении с вопросами о земле, задевавшими интересы подавляющего большинства населения².

Но дает ли нам все это право причислить Чернышевского к утопистам *tout court*? Мы отнюдь этого не думаем.

Что Чернышевского нельзя причислить к представителям «мелкобуржуазного социализма», ясно из всего предыдущего изложения. «Коммунистический Манифест», имея ввиду Сисмонди, Пеккера, Видаля и других выразителей радикально-социалистической мелкой буржуазии³, указывает на следующие исторические заслуги мелкобур-

¹ Даже в статье, казалось бы, специально посвященной этому вопросу («Экономическая деятельность и законодательство»), дается довольно абстрактный разбор вопроса о законности и неизбежности государственного вмешательства в экономические отношения. Можно подумать, что Чернышевскому осталась чужда точка зрения Маркса, об'явившего закон о 10-часовом рабочем дне «не только крупным практическим успехом, но и победой принципа: впервые при ярком дневном свете политическая экономия буржуазии была побеждена политической экономией пролетариата» («Учредительный Адрес» Интернационала 1864 г.). А между тем, как мы видели в главе V, Чернышевский вовсе не относился абсолютно отрицательно ко всем реформам безразлично.

² Это обстоятельство отмечает и Плеханов (т. VI, стр. 134—135): «Наш автор нигде не касается вопроса о продолжительности рабочего дня и о фабричном законодательстве... (Дополнение 1910 года). Но понятно, что в России, едва раздлавшейся с крепостным правом и обладавшей лишь очень мало развитой капиталистической промышленностью, вопрос о фабричном законодательстве не мог иметь такого практического значения, какое он имел в Англии уже с начала XIX века. Поэтому он и в теории не привлекал к себе внимания Чернышевского» (характерная поправка через 20 лет).

³ Прудон, который в «Нищете философии» характеризуется как выразитель тенденций мелкой буржуазии, в «Манифесте» отнесен уже к представителям «консервативного и буржуазного социализма».

жуазного социализма: он с большой глубиной проанализировал противоречия, присущие капиталистическим отношениям производства; он разоблачил все лицемерие их апологетов-экономистов; неоспоримо доказал губительное влияние машинизма и разделения труда на рабочих, выяснил значение концентрации капиталов и поземельной собственности, перепроизводства, кризисов, нищеты пролетариата, анархии производства, вопиющего неравенства в распределении богатств, истребительной промышленной войны между нациями; он обнаружил разложение старых нравов, семейных отношений и национальностей. Но, наряду с этими достоинствами, мелкобуржуазный социализм страдал глубокими недостатками. Он критиковал капиталистическую систему с точки зрения устраняемых ею классов мелких самостоятельных хозяев, — крестьян, ремесленников и лавочников. Его положительная программа сводилась либо к восстановлению старых способов производства и обмена, а вместе старых имущественных и социальных отношений, либо к стремлению насильственно вогнать современные способы производства и обмена в тесные рамки старых производственных отношений, которые были ими разбиты и неизбежно должны были быть разбиты. В том и другом случае этот социализм был реакционным и утопическим. Для него последним словом в области промышленности была система ремесленных цехов, а в области земледелия — патриархальные отношения. Он верил в жизнеспособность мелкого хозяйства и идеализировал отношения «доброго старого времени». Но по мере того, как историческое развитие разбивало его иллюзии, он утратил бодрый тон и впал в слезливую меланхолию.

Все эти отрицательные черты мелкобуржуазного социализма были органически чужды Чернышевскому. От идеализации патриархального варварства он был совершенно свободен; жизнеспособность мелкого производства он категорически отрицал; положительная же его программа сводилась отнюдь не к восстановлению мелкого ремесла или земледелия, а к планомерной общественной организации производства на началах коллективизма.

Но есть ли основания причислить нашего автора к представителям критически-утопического социализма? Посмотрим.

Прежде всего отметим два характерные факта. Первый состоит в том, что «Коммунистический Манифест», переходя к критике утопического социализма, отказывается говорить о той литературе, которая в периоды всех значительных революций новейшей истории формулировала требования пролетариата (сочинения Бабэфа и др.); равным образом он ничего не говорит о Бланки и его последователях, игравших такую крупную роль в тогдашнем французском социалистическом дви-

жении. Очевидно, что бабувистов и бланкистов Маркс считал истинными выразителями интересов и стремлений рабочего класса ¹. Другой факт заключается в следующем: Маркс, столь строго отнесшийся к писаниям и деятельности таких представителей европейского социализма, как например Прудон и Лассаль (из них последний был его собственным учеником), и таких представителей русского социализма, как Герцен, Бакунин и Нечаев, относился к Чернышевскому с величайшим уважением и глубокой симпатией. Крайне сдержанный в похвалах и скупой на лестные отзывы, творец научного социализма признал нашего автора великим ученым и критиком, мастерски обнаружившим банкротство буржуазной экономики. Такой же лестный отзыв о работах Чернышевского Маркс дает и в письме к русской секции Международного Товарищества Рабочих от 24 марта 1870 года, напечатанном в № 1 «Народного Дела» за этот год. «Такие труды, — пишет Маркс, — как Флеровского («Положение рабочего класса в России». — Ю. С.) и вашего учителя Чернышевского, делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века» ².

О глубоком уважении автора «Капитала» к Чернышевскому свидетельствует и лично знавший Маркса Лопатин. В письме к генерал-губернатору Восточной Сибири от 15 февраля 1873 г. сидевший под стражей Лопатин, рассказав, что Маркс, изучив русский язык, ознакомился с примечаниями Чернышевского к Миллю и с некоторыми другими статьями его, продолжает: «Прочитав эти статьи, Маркс почувствовал глубокое уважение к Чернышевскому. Он не раз говорил мне, что из всех современных экономистов Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя, между тем как остальные суть только простые компиляторы, что его сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли, и что они представляют единственные из современных произведений по этой науке, действительно заслуживающие прочтения и изучения; что русские должны стыдиться того, что ни один из них не позаботился до сих пор познакомить Европу с таким замечательным мыслителем; что политическая смерть Чернышевского

¹ Это подтверждается договором, который в 1850 году подписан был Марксом, Энгельсом и Виллихом от имени «Союза Коммунистов», Адамом и Видилем от бланкистов и Ю. Гарни от чартистов, и согласно которому основывалось «Всемирное общество революционных коммунистов». Документ опубликован в № 1 «Бюллетеня Института Маркса и Энгельса», М. 1926. стр. 10—11.

² В. А. Горохов — «Русская секция Первого Интернационала». М. 1925, стр. 40.

есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы и т. д., и т. д.»¹.

Надо при этом заметить, что Маркс судил о Чернышевском не только на основании слухов и рассказов его учеников, а — как это Марксу обыкновенно было свойственно — на основании личного знакомства с его сочинениями. «Значительная часть его сочинений мне известна», — пишет Маркс Николаю — ону 18 января 1873 года. Получив от Николая — она рукопись «Писем без адреса» Чернышевского, Маркс находит ее «очень интересной» и, видимо, хлопочет об ее опубликовании (письмо от 12 декабря 1872 г.). В том же письме Маркс выражает желание (напечатать что-нибудь о жизни и деятельности Чернышевского, чтобы вызвать сочувствие к нему в Западной Европе», и просит доставить ему фактические данные. К сожалению, этому намерению Маркса по каким-то причинам не суждено было осуществиться, — но все это показывает, как высоко он ставил Чернышевского, и притом, что особенно важно, на основании изучения его произведений².

Примечания к Миллю Маркс читал внимательно, что доказывают многочисленные пометки, сделанные им на имевшемся у него экземпляре книги³. Впрочем, текстовых примечаний Маркса там немного: большая часть ограничивается вопросительными и восклицательными знаками. Естественно, что двойственный характер работы Чернышевского вызывает у Маркса попеременно то одобрительные, то отрицательные отзывы. С одной стороны, мы встречаем там такие замечания на полях, как «глупо», «какое заблуждение!» «дитя», «Черн. понятия не имеет о капиталистической производительности», а с другой — «хорошо», «браво» (по поводу рассуждения Чернышевского об историческом характере невольничества и наемного труда; см. «Соч.», т. VII, стр. 213). Внимательно Маркс читал и «Статьи об общественном владении землею», изданные в Женеве в 1872 году, и статью «Труден ли выкуп земли?»⁴.

¹ «Г. А. Лопатин». Петр., Гиз. 1922, стр. 71.

² «Письма Карла Маркса и Фридриха Энгельса к Николаю — ону». «Минувшие Годы» 1908, № 1, стр. 50, 56, 57.

³ Ф. Гинзбург — «Русская библиотека Маркса и Энгельса» в № 4 сборника «Группа Освобождение Трудя», Гиз. 1926, стр. 384 сл. — Отметим досадный промах в статье Ф. Гинзбург: ею не оговорено, что резкое замечание Маркса «asinus» (осел), сделанное к одному месту, находящемуся на стр. 623 т. VII «Сочинений» Чернышевского, относится не к нашему автору, а к Миллю, слова которого там приводятся.

⁴ Отметим кстати, что из сочинений Добролюбова особенное внимание Маркса привлекло «Темное царство», испещренное многочисленными замечаниями.

Впрочем, на основании одних этих пометок на полях книги, делаемых при чтении для себя, нельзя умозаключать об отношении Маркса к Чернышевскому. Это — первоначальные наброски, отмечающие и положительное, и отрицательное, — последнее естественно чаще и резче, чем первое. О действительном отношении Маркса к Чернышевскому можно судить по его печатным отзывам о нем, а, как мы видели, отзывы эти всегда носили похвальный и редкий у нашего строгого критика характер. Особенно же показательна в этом отношении та оценка, какую Маркс дал в беседах с Лопатиным экономическим трудам Чернышевского, признавая его единственным оригинальным экономистом своего времени, мысли его — полными силы и глубины, а произведения его — единственно достойными изучения (а ведь Маркс вряд ли знаком был в тот момент, т. е. в 1870 году, с замечательными историческими работами Чернышевского, а главное с его блестящими политическими обзорами, показывающими, как близко он подошел к новейшему коммунизму). Ясно, что этот лестный отзыв, чуть ли не единственный в устах сурового Маркса, имел же какие-нибудь серьезные основания, — особенно, если сопоставить его с строгими отзывами Маркса о других крупных представителях социалистической мысли. И такие основания несомненно имелись ¹...

Ленин также относился к Чернышевскому с величайшим уважением и любовью. Он называет его «великим русским гегелианцем и материалистом» и «великим русским писателем» ², даже гением ³. Признавая Чернышевского «главою немногочисленных тогда революционеров», Ленин восторгается не только его глубокой и непримиримой революционностью, но и его необыкновенной проницательностью, помогшей ему правильно разобраться в характере и взаимоотношениях русских

¹ Из переписки Маркса с Энгельсом видно, с каким вниманием Маркс относился к трагической судьбе Чернышевского, к суду над ним, к его ссылке после каторги в Вилюйск и пр. («Briefwechsel», т. IV, стр. 293 и 353). Для меня лично до сих пор остается спорным вопрос о том, знал ли Маркс о планах Лопатина освободить Чернышевского. Во всяком случае весьма вероятно, что высокое мнение Маркса об основоположнике русского коммунизма не осталось без влияния на решение Лопатина, стоявшего тогда близко к Марксу и беседовавшего с ним о Чернышевском, сделать попытку к увозу последнего из Сибири. Об этом мы будем говорить во втором томе этой работы.

² «Материализм и эмпириокритицизм» («Соч.», т. X, стр. 304); цитату из этой книги Ленина мы привели в главе «Философские взгляды Чернышевского».

³ «Что такое «друзья народа?»» («Соч.», т. I, стр. 194—195). Так как это — первая крупная работа Ленина, то мы вправе заключить, что в формировании его взглядов сказалось влияние не только Маркса, но и Чернышевского.

общественных сил, разобраться в действительном характере «крестьянской реформы» 1861 года, оценить и заклеить историческую роль русского либерализма. В отличие от Плеханова, приписавшего Чернышевскому готовность пойти на уступки царизму в интересах крестьянского дела и склонность к мирному решению социального вопроса, Ленин правильно подчеркивает «глубокое и превосходное понимание Чернышевским современной ему действительности», его желание полного провала правительственной политики и либерального обмана, провала, который «вывел бы Россию на дорогу открытой борьбы классов». Предсказанные Чернышевским результаты крестьянской реформы Ленин называет «гениальными провидениями». После приведенной выше цитаты об утопических надеждах Чернышевского на общину (как мы показали, на самом деле ошибочно истолкованных) Ленин продолжает: «Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей. «Крестьянскую реформу» 1861 года, которую либералы сначала подкрашивали, а потом даже прославляли, он назвал мерзостью, ибо он ясно видел ее крепостнический характер. Либералов 60-х годов Чернышевский назвал «болтунами, хвастунами и дурачем», ибо он ясно видел их боязнь перед революцией, их бесхарактерность и холопство перед властью имущими»¹.

Итак, Ленин считал политическую тактику Чернышевского правильной, подчеркивая выдвинутую им идею революционной борьбы масс за свержение всех старых властей. А уж в вопросах-то революционной стратегии Ленин знал толк...

Вообще можно сказать, что других отзывов, кроме положительных, мы у Ленина о Чернышевском не находим². Единственное место, где он говорит об утопизме Чернышевского, спеша, впрочем, тут же смягчить свой отзыв, в связи с отношением нашего автора к вопросу о грядущих судьбах русской общины, не является в данном случае характерным и вдобавок, как мы видели, основано на недоразумении, получившем, к сожалению, право гражданства в нашей литературе. Но присущи ли были Чернышевскому те специфические черты, которыми отличались основатели утопических систем и их последователи?

¹ «Соч.», т. XI, ч. II, стр. 263.

² Психологически Ленин вообще был родствен Чернышевскому. Об этом свидетельствует и хорошо знавшая Ленина Н. К. Крупская. «Вряд ли, — говорит она, — кого-нибудь Владимир Ильич так любил, как он любил Чернышевского. Это был человек к которому он чувствовал какую-то непосредственную близость и уважал его в чрезвычайно высокой мере... Я думаю,

Авторы этих систем прекрасно сознавали существование антагонизма классов¹, а также элементов разложения внутри современного общества; они безжалостно разоблачили материальное и моральное убожество буржуазного мира, противоречия современного строя, разрушающее действие капитализма, обнищание производителей и неспособность буржуазии использовать производительные силы современного человечества. Поэтому в свое время они дали весьма ценный материал для пробуждения сознания рабочих, а впоследствии и для построения системы научного социализма. Но они не видели со стороны пролетариата никакого самостоятельного исторического действия и не понимали значения его политического движения. Самодеятельность рабочего класса должна была таким образом уступить место деятельности их собственного критического ума; материальные условия эмансипации, подготовляемые историческим процессом капиталистической эволюции, — условиям, придуманным с помощью воображения; а вся будущая история человечества сводилась для них к пропаганде и к попыткам практического осуществления придуманных ими в кабинетной тиши проектов общественного переустройства.

Сочиняя свои утопии, они сознавали, что защищают интересы рабочего класса. Но в пролетариате они видели только наиболее страдающий, обездоленный и заслуживающий сожаления класс, не понимая его исторического призвания и значения его классовой борьбы. Полагая, что сами они стоят выше классового антагонизма, над классами, обещая всем классам безразлично улучшение их участи, они для осуществления придуманных ими планов обращались к человеческому разуму вообще, ко всему обществу и даже преимущественно к правящим классам, как обладающим силой, богатством и просвещением. Поэтому они отвергали всякую политическую деятельность, в особенности деятельность революционную, способную только отвлечь внимание общества от важных социальных задач и перепутать все расчеты основателей утопических систем. Эти системы должны быть осуществлены в стороне от шумных исторических передраг и конфликтов, испытываемые на опыте, на устройстве отдельных коммунистических общин,

что между Чернышевским и Владимиром Ильичом было очень много общего» («Доклад А. Луначарского — «Этика и эстетика Чернышевского» в «Вестнике Комм. Академии» 1928, № 25(1), стр. XXXIX—XL). Все содержание нашей книги подтверждает правильность мнения, высказанного Н. К. Крупской.

¹ Фурье и Консидеран, но особенно Сен-Симон и Базар подготовили почву для учения о борьбе классов. В этом отношении Сен-Симон оказал влияние и на Маркса, и на Чернышевского.

колоний или фаланстеров, успех которых должен убедить все общество в справедливости утопических планов. И потому утописты, особенно эпигоны утопизма, ожесточенно противились всякой политической деятельности рабочего класса, в которой они видели только результат политической невоспитанности и незрелости ¹.

И опять-таки, все эти черты утопистов совершенно чужды были Чернышевскому. И даже если допустить, что он считал возможною практическую осуществимость своего «плана» (чего, как мы показали выше, допускать не приходится), если даже признать, что он, подобно утопистам, видел в основании производительных ассоциаций способ доказать преимущества товарищеского хозяйства над капиталистическим и орудие пропаганды новых идей, то и здесь нужно будет констатировать колоссальную разницу между ним и утопистами. Во-первых, он никогда не об'являл основание ассоциаций единственным средством социального преобразования, не пытался доктринерски навязать рабочему классу эту единую форму и не противопоставлял ее историческим формам рабочего движения; во-вторых, он не только не отрицал политической борьбы и политических задач пролетариата, но напротив, как мы видели выше, упрекал социалистов в робости и непоследовательности при осуществлении этих задач, в частности по

¹ В «Манифесте социетарной (т. е. фурьеристской) школы» 1841 года говорится, что революционные идеи, как основанные на насилии, суть идеи ложные, и подчеркивается, что социетарная школа не есть какая-нибудь политическая партия. Консидеран в своей книге «*Destinée sociale*» доказывает, что социальная реформа есть дело науки, а не революции, которая способна только противопоставлять один интерес другому, а не примирять враждебные силы. Фурьеристы при всяком удобном случае выставляли на вид свой политический индифферентизм и свое отрицательное отношение к политической борьбе; их демократия предполагалась не только чисто промышленной, но и абсолютно мирной. Глава сен-симонистов, Базар, в этом отношении не отставал от них. «Пора умолкнуть звону набата и пагубным призывам к оружию», говорит он в своем изложении «Сен-симонистской доктрины». Оуэн, представлявший свои проекты на конгрессы государей, участников Священного Союза, также отличался политическим безразличием; он признавал одинаково безумными и существующие правительства, и революционных социалистов. А оуэнисты в Англии боролись против чартистов и решительно отвергали союз с людьми «физической силы». Для политического индифферентизма утопистов характерно, что сен-симонисты удалились в свою сектантскую колонию в Менильмонтанском предместье в тот самый день, когда на соседних улицах Парижа происходило республиканское восстание, вызванное похоронами генерала Ламарка, а первый авангард икарийцев отплыл в Америку для основания коммунистического поселения за три недели до февральской революции.

вопросу о захвате политической власти и революционной диктатуре¹. Политический индифферентизм, узкая исключительность изобретателя философского камня, кабинетного мыслителя, мечтающего облагодетельствовать глупое человечество своими гениальными выдумками и свысока посматривающего на беспомощное барахтанье непросвещенных масс в пучинах исторического водоворота, — словом, сектантская самоуверенность и педантизм были ему абсолютно чужды².

Как всякий политический деятель и социальный новатор, он, конечно, придавал большое значение пропаганде, но в отличие от утопистов он ничуть не верил в абсолютную силу идей, способную перевесить и заглушить голос классовых интересов. Поэтому он меньше всего думал обращаться со своей проповедью к господствующим классам, никогда не апеллировал ни к их сердцу, ни к их кошельку и не мечтал о притуплении классовых противоречий или о примирении противоположных интересов. Напротив, все свои надежды он возлагал на классовые интересы трудящихся, на развитие их сознательности и на их политическую активность. И несмотря на свое идейное одиночество, он никогда не верил, как это при аналогичных условиях делал Сен-Симон, в необходимость кучки просвещенных избранников, которые должны думать и действовать за народ³.

¹ Сен-симонистов он осуждает между прочим и за их политический индифферентизм, за сектантский исход в новый Иерусалим: «Торжественное вступление сен-симонистов в новый порядок жизни происходило 6 июня 1832 года, в тот самый день, когда соседние кварталы Парижа были театром республиканского восстания, возбужденного процессиею похорон Ламарка. Безмятежно приступая к своей внутренней организации среди грома пушек, истреблявших малочисленные отряды инсургентов, сен-симонисты как будто показывали, что нет им никакого дела до старых радикальных партий, идущих к преобразованию общества путем, который сен-симонисты считали ошибочным, и даже не понимающих, какие реформы нужны для общества: отрекаясь от старого мира, они отреклись даже и от людей, которые больше всех других в старом мире хотели добра простолюдным» («Июльская монархия», I. с., стр. 146).

² Это по существу признает и Плеханов (т. VI, стр. 28—30): «Несмотря на отвлеченный характер своей социалистической мысли, Чернышевский, при своем трезвом уме и при своем всегдашнем стремлении к практической деятельности, не мог принадлежать к числу тех утопистов, которые требуют, чтобы человечество целиком приняло их утопии, и считают бесплодными или даже вредными все частные экономические реформы. В общем можно, однако сказать, что так как идеалом Чернышевского был товарищеский труд производителей, то он готов был поддерживать все, в чем видел малейший намек на принцип ассоциации... С точки зрения большей легкости устройства ассоциаций отстаивал Чернышевский и русское общинное землевладение».

³ «По Чернышевскому, — говорит Плеханов (т. VI, стр. 22), — раз открытая истина становится доступной всем людям, имеющим материальную

На практическую программу Чернышевского имела влияние деятельность чартистов и французских социалистов 40-х годов. Те и другие стремились к преодолению капитализма посредством политического переворота, концентрированного политического действия, и добивались всеобщего избирательного права как орудия, обеспечивающего влияние трудящихся масс на государство; те и другие обращались не к состраданию и доброй воле правящих классов, а к эксплуатируемым массам, к пролетариату; те и другие смотрели на государство, на организованную силу общества, как на орудие, с помощью которого им удастся, предварительно наложив на него руку, осуществить свои социальные требования. И если в области научной критики капитализма Чернышевский был учеником Фурье, Оуэна и Сен-Симона, то в области практических действий и методов политической борьбы он примыкал к бланкистам и чартистам.

И применяя к нему известные слова Маркса, мы должны сказать, что в его руках «наука становится сознательным продуктом исторического движения; она перестает быть доктринерской, она становится революционной»¹.

Наше мнение в этом пункте расходится с мнением Плеханова, который считает Чернышевского утопистом. К сожалению, увлеченный стремлением во что бы то ни стало доказать утопизм Чернышевского, Плеханов иногда невнимательно его читает и делает из его слов произвольные выводы. Выше мы видели уже несколько примеров такого неправильного подхода к Чернышевскому. Приведем здесь еще один.

Указав на то, что в исключительных случаях правительство по мнению Чернышевского должно руководствоваться принципом «благо народа — высший закон», Плеханов (т. VI, стр. 237—238) продолжает: «Вот, например, теория безусловно осуждает чрезмерные выпуски бумажных денег. По теории выходит, что лучше прямое, откровенное решение вопроса — налог. Так и должно поступать правительство, чувствующее себя прочным. Но бывают исключительные положения, бывают исключительные события вроде событий 1848 года во Франции. «В этом (?) шатком положении приходится лавировать, сообразоваться с господствующими предубеждениями, принимать не тот способ действия, который сам по себе наилучший, а тот, который произведет наименее тяжелое впечатление на общество. Что делать? Тут задача исполняется не такими (?) людьми, которые

выгоду в ее понимании. Это — утопический взгляд на вопрос». Вот уж несколько!

¹ «Нищета философии», стр. 117.

спокойно могут рассчитывать на свою будущность¹, а такими (?), жизнь которых висит на волоске, а волосок этот оборвется, непременно (?) оборвется, не ныне, завтра (?) оборвется, и погибнет с ними их дело, если волосок оборвется ныне, — во что бы то ни стало надобно продержаться нынешний день, чтобы уметь хотя что-нибудь сделать. Да, представьте себе это положение, и вы поймете мысль о неограниченном выпуске бумажных денег для произведения коренных реформ экономического быта» (Чернышевский — «Соч.», том VII, стр. 475—476).

Вы поняли, о чем здесь говорится, читатель? Нет, не поняли, ибо из книги вырван отдельный пассаж, и вырван довольно произвольно. Плеханов сам чувствует, что в таком виде читатель ничего не поймет, и он подносит ему новую цитату, поставленную, правда, на ненадлежащее место, — в конце вместо того, чтобы стоять в начале. Итак, он поясняет: «Выпуск бумажных денег предполагается здесь необходимым в видах организации рабочих товариществ (как увидим, у Чернышевского говорится вовсе не об «организации рабочих товариществ»: это — догадка Плеханова. — Ю. С.): разумеется, раз начавшись, дело будет развиваться собственными средствами; но чтобы завести его, чтобы дать ему возможность начаться, все-таки нужно очень много денег».

Теперь дело стало несколько яснее, но не вполне, и смысл поставленных нами выше вопросительных знаков еще будет выяснен дальше. Однако Плеханов спешит сделать вывод: «Замечательно, что у Чернышевского правительство, начинающее коренное «изменение экономического быта в пользу работников и в невыгоду капиталистов» (вот и третий обрывок разодранного зачем-то на части пассажа, тот обрывок, который Плеханов выше интерпретировал как «организацию рабочих товариществ», что совсем не одно и то же. — Ю. С.), старается не запугать общество, т. е. этих (?) капиталистов, не произвести на них тяжелого впечатления».

Действительно «замечательно». Каким же чудаком был этот Чернышевский! Но Плеханов не успокаивается на достигнутом триумфе. Книга его подходит к концу (это — последняя страница его сочинения о Чернышевском), и нужно на прощание окончательно вдолбить в голову читателя, что Чернышевский был утопистом и, как выходит, довольно-таки отсталым. И вот Плеханов на одну цитату нанизывает другую, столь же произвольно вырванную из контекста. Приводим эту цитату, взятую из того же тома сочинений Чернышевского, стр. 566.

¹ Смысл поставленных нами вопросов читатель поймет ниже.

«Мы приводили основания, по которым некоторые экономисты находят наилучшим порядком такой быт, который существенно разнится от нынешнего; содействовать введению этого лучшего быта можно, не нарушая заметным образом никаких существенных интересов; а прогрессивный налог значительного размера был бы явно противоположен интересу богатых сословий, которые всеми силами боролись бы против него, между тем как прочное и благоразумное правительство могло бы, нисколько не раздражая их, вести дело коренной реформы быта» (подчеркнуто оба раза у Плеханова).

И Плеханов делает свой заключительный вывод: «Одни эти строки могли бы убедить нас, что в лице Чернышевского мы имеем дело с социалистом-утопистом».

Нам кажется, что вывод этот, сделанный из двух цитат, прибереженных на самый конец книги, даже слишком слаб. Чернышевский оказывается не только социалистом-утопистом, но даже весьма ограниченным и слишком умеренным социалистом-утопистом, да еще социалистом ли вообще, — это тоже вопрос!

Но не так страшен чорт, как его малюют. В действительности у Чернышевского сказано в обоих случаях не совсем то, что вычитал у него предубежденный Плеханов, обычная проницательность которого на сей раз отступила перед предвзятой мыслью о характере воззрений Чернышевского. Вот как обстоит здесь дело.

С л у ч а й п е р в ы й.

Чернышевский, указав на вред чрезмерного выпуска бумажных денег, прибавляет, что имеется тем не менее много замечательных теоретиков, допускающих такие выпуски в целях проведения важных экономических реформ. Для некоторых из таких предприятий, как, например, для постройки железных дорог, устройства орошения и т. п., выгодных для господствующего класса, правительство найдет нужные средства в биржевых кругах. «Но, — продолжает он, — есть улучшения совершенно иного рода, которых никогда не захотят совершить собственными средствами господствующие над экономическим бытом силы. Это — реформы, которыми бы изменились принципы устройства, выгодного для них. При малейшем подозрении, что правительство намерено заняться такими реформами, коммерческий мир тревожится, наступает торговый кризис, и деньги исчезают с биржи. Так было во Франции в 1848 г.; тогда страх и озлобление коммерческого мира были совершенно напрасны: во Временном Правительстве господствовали люди, решительно не желавшие никаких важных перемен в экономическом быте (теперь

подчеркивать будем мы. — Ю. С.). Но предположим, что оно действительно желало бы совершить какие-нибудь перемены. На всякое дело нужны деньги; на такое большое дело, как изменение экономического быта в пользу работников и в невыгоду капиталистам, нужно очень много денег. Разумеется, раз начавшись, дело будет развиваться собственными средствами, но чтобы завести его, чтобы дать ему возможность начаться, все-таки нужно очень много денег. Это — один из тех экстренных случаев, которыми оправдывается заключение долгов: требуется поставить на ноги миллионы людей, забитых нуждою, избавить их от бедственной судьбы. Чтобы прекратить постоянное несчастье, тяготеющее над массою населения, на это и должен был бы поспешить кредит с своим пособием. Но кредит не может пособить тут, потому что кредита нет. Откуда же взять деньги?

«Сообразнее всего с экономической теориею было бы прямое откровенное решение вопроса, которое рекомендуется теориею и для всяких экстренных государственных расходов: взять нужные для дела деньги посредством налога. Так, если правительство чувствует себя прочным. Но вспомним, что мы говорим о временах, подобных 1848 году, и во Франции, когда правительство едва-едва держалось против партий, желавших возвращения к старому порядку. В этом шатком положении» и т. д. (как у Плеханова).

Собственно говоря, все это рассуждение Чернышевского о чрезмерном выпуске кредитных билетов дано вовсе не для раз'яснения теории денег, а для проведения под носом цензуры мысли о том, что в интересах социальной революции не следует останавливаться ни перед какими исключительными мерами. Говоря о деньгах, Чернышевский думает совершенно о другом. Это ясно из замечаний, которые он поминутно вставляет в якобы отвлеченное рассуждение о бумажных деньгах. «Нечего жалеть ничего, — говорит он, — для улучшения судьбы народа: *salus populi lex suprema esto*». И кончает он главу словами: «Если дело стоит пожертвований, люди, не отступавшие перед ними, оправдываются перед историею». Дело ясно. Рассуждение о деньгах Чернышевский использовал для своей постоянной цели — для доказательства, что революция осуществляется с помощью героических решений и нарушения всех общепринятых норм, которые не должны связывать волю революционеров.

Но оставим эту сторону вопроса. Подойдем к рассуждению Чернышевского так, как к нему подошел Плеханов. Можно ли и в этом случае сделать из слов Чернышевского тот вывод, к которому пришел его критик? Думаем, что нет.

В чем заключается исключительность положения, о которой говорит Чернышевский? В том ли, что мы имеем дело с революционной эпохой, как следует из изложения Плеханова? В этом ли революционном характере эпохи заключается шаткость положения, как выходит по изложению Плеханова? Ничего подобного. Шаткость положения, по точному смыслу слов Чернышевского, заключается в характере правительства, висящего в воздухе и не опирающегося прочно ни на один класс общества. Так как эта центральная фраза пропущена Плехановым, не обратившим на нее внимания, то все его изложение стало поэтому неясным. Именно этим объясняются те вопросительные знаки, которые мы наставили в приводимой им цитате. Чернышевский говорит о колеблющемся, шатающемся, непрочном правительстве, с трудом держащемся против буржуазных партий, принужденном с ними считаться, принужденном избегать мер, способных задеть интересы буржуазного общества, не смеющем прямо взять у него нужные деньги и т. д. Для такого правительства, если бы оно хотело хоть что-нибудь сделать для пролетариата, Чернышевский считает дозволительным прибегнуть к такой мере, как экстренный выпуск кредитных денег. А Плеханов отсюда заключает, что Чернышевский рекомендует революционному социалистическому правительству не запугивать общество, относиться бережно к капиталистам и т. п.! На самом же деле Чернышевский, как никто, постоянно бичевал нерешительность революционных партий, останавливавшихся перед крайними мерами, считавшихся с предрассудками, не готовых идти до конца для доставления успеха революционному делу, и колебаниями революционеров объяснял систематические неудачи революций. Это, впрочем, ясно даже из тех вставок, которые он там и сям делает в изложенное рассуждение о выпуске бумажных денег.

С л у ч а й в т о р о й.

Вторая выдержка, приводимая Плехановым из Чернышевского ¹, еще скандальнее для последнего. Но и здесь дело обстоит не так, как можно было бы думать по этой цитате без обращения ко всему контексту подлинника. Цитата взята из главы «Налоги». Говорится о прогрессивном налоге, его достоинствах и недостатках. Многие публицисты, говорит Чернышевский, высказываются за прогрессивный налог ввиду того, что он может способствовать более равномерному распределению богатств. Чернышевский, признавая некоторые положительные качества прогрессивного налога, однако прибавляет, что он

¹ Кстати, в сочинениях Плеханова (т. VI, стр. 238) здесь вкралась опечатка. Ссылка сделана на т. IV сочинений Чернышевского; нужно: т. VII. Но это, вероятно, ошибка издательства.

«имеет совершенно иной недостаток: он — не радикальная, а только паллиативная мера, и притом установить его в значительном размере было бы гораздо труднее, чем принять меры, прямее и полнее ведущие к той же цели». Далее идут слова, приведенные Плехановым и послужившие ему основанием для вынесения строгого приговора Чернышевскому, после чего у Чернышевского есть еще и продолжение, Плехановым не приводимое, а именно: «Надобно предпочитать реформы более легкие и более существенные прогрессивному налогу, который, не уничтожая источников нынешнего зла, — только стал бы грубым образом обрезать крайние его проявления».

Милль указывает такую меру — ограничение права завещания известной суммой. Но Чернышевский и ее находит паллиативной и «недовольно решительной».

«Мы, — говорит он, — совершенно согласны с Миллем в том, что гораздо лучше действовать на самый источник невыгодных для общества явлений, чем только бороться с их результатами. Но ведь предлагаемые Миллем меры относительно наследства точно так же, как и прогрессивный налог, прилагаются к невыгодному явлению в слишком поздней поре его развития, к факту уже выросшему, а не к зародышу этого факта. Очевидно, что они, подобно прогрессивному налогу, имеют только характер паллиативного средства, и рекомендовать их принятие надобно только в тех случаях, когда нет надежды на проведение мер более широких. Только в подобных случаях надобно рекомендовать и прогрессивный налог. Он годится как переходная мера, прилагаемая к такому быту, который не соответствует условиям экономической выгоды, и который нельзя же в один день заменить бытом, соответственным требованиям теории». Изменить нужно «самую экономическую обстановку», — говорит он далее и заключает: «Словом сказать, вопрос о налогах последовательным образом разрешается в тот вывод, что удовлетворительное его решение невозможно при существующем быте... Другое заключение — то самое, к какому приводил нас и всякий другой частный вопрос: должны измениться самые основания экономического быта»¹.

Итак, ясно, что Чернышевский отвергает все паллиативные меры, направленные к смягчению классовых противоречий, настаивая на не-

¹ Чернышевский — «Соч.», т. VII, стр. 562, 565—566, 567, 574, 581.

обходимости радикального преобразования буржуазного общества, на отмене самого принципа частной собственности. Он — за меры более широкие, более радикальные, чем прогрессивный налог, ограничение наследства, специальный налог на ренту и т. п. При таких условиях слова насчет «нераздражения богатых сословий» являются просто иронией. Зачем раздражать капиталистов такими пустяками, как прогрессивный налог и пр.? — как бы поворотит Чернышевский. Ведь они будут недовольны и такими мерами, хотя они и не задевают источника их господства. А раздражать буржуазию, оставляя в ее руках экономические источники ее силы, глупо. Давайте уж просто покончим с режимом частной собственности: это будет вернее. Умное и твердое революционное правительство так и должно действовать — ударить по самым корням капиталистического строя.

Вот что говорит Чернышевский в этой главе о налогах, как и во всех других. Он рассуждает как последовательный революционер, чего нельзя сказать во всех случаях о его критике...

Однако в очень близкое наступление социализма и притом без переходной стадии Чернышевский не верил. В этом отношении он смотрел на вещи более сдержанно, чем, напр., Маркс и Энгельс в конце 40-х годов (впрочем, при впечатлениях печальной российской обстановки того времени это вполне естественно). В статье «Экономическая деятельность и законодательство» (1859 г.) он говорит, что мы еще очень далеки от социализма, «быть может, и не на тысячу лет, но вероятно больше, нежели на сто или на полтораста»¹. Вот почему надежды Чернышевского на общину не следует истолковывать в таком смысле, будто он допускал возможность внезапного скачка из русского варварства с его безграмотностью и деревянными колесами сразу в коммунистическое тысячелетие. Вероятно, он полагал, что если история, которая, «как бабушка, страшно любит младших внучат» (*ibid.*, стр. 329), сложится особенно благоприятно для русского народа, то получится нечто вроде того, что в начале XX века называлось у нас «трудовой республикой», а в таком случае сохранение общины даст возможность постепенно переходить к настоящему коллективному земледелию с применением машин.

Но, не веря в непосредственную близость социализма, Чернышевский полагал, что необходимо уже теперь изучить социалистический строй в его основаниях, «иначе мы будем сбиваться с дороги»². Если сейчас немыслимо полное и окончательное осуществление социалистического строя, то теоретически, быть может, мыслимо частичное осу-

¹ «Сочинения», т. IV, стр. 450.

² «Примечания к Миллю», стр. 634 и сл.

ществление некоторых сторон будущего строя. «Разве не случается, — говорит Чернышевский, — что мыслитель, развивающий свою идею с одной заботой о справедливости и последовательности системы в своих чисто теоретических трудах, умеет ограничивать свои советы в практических делах настоящего лишь одною частью своей системы, удобоисполнимою и для настоящего?» Вот почему Чернышевский считает не бесполезным, сохраняя целостность своих социалистических стремлений, «поговорить и о возможном в современной действительности». И дальше Чернышевский повторяет свой план производительных ассоциаций, составленный по Фурье и Луи Блану, оговариваясь, что это — лишь одно из «предположений, имеющих в виду границы возможного для нынешней эпохи»¹.

Однако слова о «современной действительности» не должны вводить нас в заблуждение. Не следует полагать, будто Чернышевский допускал частичное осуществление социализма при господстве буржуазии. Об этом свидетельствует тот факт, что, повторив свой план в «Примечаниях к Миллю», он снова указывает на неосуществимость даже столь скромного проекта при настоящих условиях. Следовательно, он имел в виду промежуточную стадию между капитализмом и полным коммунизмом после низвержения буржуазии и в течение периода революционной диктатуры. Но свидетельствует ли допущение такого переходного периода между буржуазным и законченным коммунистическим строем об утопизме? Нисколько. Напротив, оно говорит только о глубоком реализме нашего автора. Вспомним, что и Каутский в своей брошюре «На другой день после революции» говорит о постепенном осуществлении социализма, — правда, после захвата власти пролетариатом; но ведь и Чернышевский, как мы показали, думал о предварительном установлении революционной диктатуры, низвергшей власть буржуазии.

¹ В этом отношении на Чернышевского возможно оказало влияние учение Фурье о гарантизме, как промежуточной стадии между капиталистическим строем (цивилизацией) и социалистическим (социетарным строем, гармонией). Гарантизм у Фурье это — такой социальный уклад, при котором частные интересы, господствующие в цивилизации, будут подчинены гарантиям общественного интереса. Абсолютное право частной собственности будет ограничено; акционерные общинные конторы организуют производство и торговлю на товарищеских началах; введена будет система широкого государственного страхования граждан от всяких несчастных случаев; организована будет широкая общественная помощь безработным и пр. Словом, система неограниченной конкуренции будет устранена, а государственное вмешательство в экономические отношения получит особенное развитие в интересах трудящихся масс, если только человечеству не удастся сразу перейти от цивилизации к гармонии, минуя стадию гарантизма.

Не забудем далее, — если взять эпоху, более близкую к Чернышевскому, — что конгрессы Интернационала, на работы которых со стороны влиял сам Маркс, допускали даже частичное осуществление социализма еще в рамках буржуазного строя (куда они относили национализацию земли, национализацию железных дорог, каналов и рудников и передачу их рабочим ассоциациям и т. п.). Промежуточную стадию между капитализмом и коммунизмом допускал и «Коммунистический Манифест». Ее же допустила и история в лице нашей Советской Социалистической Республики.

Итак, мы видим, что Чернышевского нельзя отнести к утопистам без многих и многих оговорок. От утопистов Чернышевский отличается и своим историческим детерминизмом, и своей, довольно выдержанной в материалистическом духе, философией истории, и своим реалистическим отношением к действительности, и своей оценкой движущих сил истории. Правда, во многих вопросах Чернышевский ошибался; иногда он сбивался с своего в общем реалистического тона. Но и самые его ошибки свидетельствуют о могучих задатках этого выдающегося ума, который, в силу окружавшей его неблагоприятной общественной обстановки и в силу несчастливо сложившихся личных условий, не успел продумать и развить до конца свою систему. Нет ничего легче, как критиковать и только критиковать недоговоренности, противоречия и промахи Чернышевского с точки зрения современной науки. Но это — неблагоприятная задача, способная скорее затушевать, чем выяснить истинный облик Чернышевского и место, занимаемое им в истории социалистической мысли. Читатель из всего предыдущего изложения мог убедиться, что из всех предшественников Маркса (а на Чернышевского, по характеру окружавшей его исторической обстановки, следует смотреть именно как на предшественника, а не современника Маркса) он ближе всех подошел к научному социализму¹.

Конец первого тома.

¹ Плеханов (т. VI, стр. 342) говорит: «Исследователи, подобные Ю. М. Стеклову, как будто стесняются признать Чернышевского социалистом-утопистом. Но это совсем напрасно. Быть в такой компании, к которой принадлежат Роберт Оуэн, С.-Симон и Фурье, отнюдь не зазорно».

Знаю, что не зазорно. Но вовсе не этим соображением руководствовался я, пытаясь опровергнуть неверные оценки моего учителя Плеханова, а желанием быть объективным и выяснить действительное место Чернышевского в истории социалистической мысли. Платон — друг, но истина — еще больший.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая.

ГОДЫ ПОДГОТОВКИ.

Глава первая. *Молодость Чернышевского.*

	Стр.
1. В семейной обстановке	3
2. В семинарии	8

Глава вторая. *Чернышевский — студент.*

1. Университетские занятия	18
2. Знакомства и связи	24
3. За письменным столом	38
4. Переход к материализму	50
5. Переход к социализму	60
6. Мысли о призвании и о революции в России	83

Глава третья. *На перепутьи.*

1. Переходный период	93
2. Чернышевский — учитель	96
3. Саратовский кружок	104
4. Женитьба	112

Часть вторая.

ОБЩИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО.

Глава первая. *Надежды на ученую карьеру.*

1. Конец педагогической деятельности	131
2. Магистерская диссертация	134

Глава вторая. *На литературной арене.*

1. Шестидесятые годы	144
2. Чернышевский как просветитель	157
3. Чернышевский и Некрасов	164
4. Чернышевский в «Современнике»	180

Часть третья.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО.

Глава первая. *Философские взгляды Чернышевского.*

1. Источники его философских воззрений	211
а) Французские материалисты XVIII века	—
б) Людвиг Фейербах	218

	<i>Стр.</i>
2. Материализм Чернышевского	225
а) Отрицание субъективизма и агностицизма	—
б) Материалистический монизм	233
3. Poleмика с противниками материализма	243
4. Диалектический метод	261
5. Общие выводы	265

Глава вторая. Этическая система Чернышевского.

1. Основоположники материалистической этики	276
2. Мораль разумного эгоизма	287
3. Ошибка этики разумного эгоизма	301

Глава третья. Эстетика и критика Чернышевского.

1. Корни реалистической эстетики	307
2. Эстетика Чернышевского	312
3. Критика Чернышевского	329

Глава четвертая. Философия истории Чернышевского.

1. Недостатки старого материализма	348
2. Элементы идеализма в исторических воззрениях Чернышевского	352
3. Исторический детерминизм Чернышевского	362
4. Роль экономического фактора	379
5. Борьба классов	402
6. Итоги	422

Глава пятая. Политика. Борьба партий и вопросы политической тактики.

1. Политические партии	423
2. Историческая легенда	438
3. Политический индифферентизм массы	450
4. Отдельные политические вопросы	456
5. Вопросы революционной тактики	465
6. Национальный вопрос	479
7. Последнее политическое обозрение Чернышевского	491

Глава шестая. Политическая экономия и социализм.

1. Источники Чернышевского	495
2. Задача экономической «теории»	508
3. Гипотетический метод	518
4. Производство, труд и капитал	527
5. Стоимость	540
6. Прибавочная стоимость	551
7. Капитализм и социализм	561
8. Элементы утопизма в воззрениях Чернышевского	576

